В.А. Потто

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

Том 3. Персидская война 1826—1828 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПРЕДВЕСТНИКИ ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ 3
II. ВТОРЖЕНИЕ ПЕРСИЯН 17
III. НА ЭРИВАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 25
IV. ЗАЩИТА ШУШИ 35
V. ИЗМЕНА ГАНЖИ 49
VI. ВОЗМУЩЕНИЕ ХАНСТВ 52
VII. ДЕЙСТВИЯ ЕРМОЛОВА 57
VIII. БИТВА ПОД ШАМХОРОМ (Князь Мадатов) 67
IX. ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКАЯ ПОБЕДА 78
X. ПАСКЕВИЧ 91
XI. ДАВЫДОВ НА ЭРИВАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 96
XII. В КАРАБАГЕ 109
XIII. ЗАМИРЕНИЕ ПРОВИНЦИЙ (Поход Ермолова) 114
XIV. ЗИМА В КАРАБАГЕ (Последние действия Мадатова) 124
XV. ПЛАНЫ ВТОРЖЕНИЯ В ПЕРСИЮ 138
XVI. СМЕНА ЕРМОЛОВА И ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПАСКЕВИЧА 143
XVII. ЗАНЯТИЕ ЭЧМИАДЗИНА 146
XVIII. АВАНГАРД ПОД ЭРИВАНЬЮ (Генерал Бенкендорф) 154
XIX. ПАСКЕВИЧ НА АРАКСЕ 162
XX. ВЗЯТИЕ АББАС-АБАДА И ДЖЕВАНБУЛАКСКИЙ БОЙ 172
XXI. ГРИБОЕДОВ В ПЕРСИДСКОМ ЛАГЕРЕ 180
XXII. ПОХОДНЫЙ АТАМАН ИЛОВАЙСКИЙ 186
XXIII. КОММУНИКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ (Карабаг и Дагестан) 196
XXIV. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРАБАГСКОГО ХАНА 203
XXV. СТОЯНКА В КАРА-БАБЕ И УРДАБАНСКАЯ БИТВА 210
XXVI. КРАСОВСКИЙ 218
XXVII. СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЭРЙВАНИ 224
XXVIII. АШТАРАКСКАЯ БИТВА 231
XXIX. ПОД САРДАРЬ-АБАДОМ 242
XXX. ПОКОРЕНИЕ ЭРИВАНИ 250
XXXI. ВЗЯТИЕ ТАВРИЗА 259
XXXII. МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 271
XXXIII. ПОХОД 1828 ГОДА 280
XXXIV. ТУРКМЕНЧАЙСКИЙ МИР 288
XXXV. ПОСОЛЬСТВО И СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА 300
XXXVI. ХОСРОВ-МИРЗА 316
XXXVII. СТРАНА АРАРАТА 326
XXXVIII. ДРЕВНЯЯ АРМЕНИЯ 327
XXXIX. ХРИСТИАНСКАЯ АРМЕНИЯ 341
XL. ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМЕНИИ 356

I. ПРЕДВЕСТНИКИ ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ

В эпоху великих европейских войн, 12 октября 1813 года, Гюлистанский договор заключил собой десятилетнюю войну между Россией и Персией. Но следовавшие затем тринадцать лет мира были лишь продолжительным перемирием. Затишье, восстановившее внешние признаки дружбы между двумя державами, было обманчиво и служило только предвестником новых военных бурь. Тихо зрело глубоко зарытое семя вражды, ожидая удобных моментов для всхода, и в действиях персидского правительства, сквозь обычную лукавую азиатскую скрытность, то и дело прорывалось тайное недоброжелательство, напоминавшее начальникам Кавказского края о необходимой осторожности.

Гюлистанский мир, заключенный под громовым впечатлением побед Котляревского, отторгнувший от шахских владений богатые закавказские провинции, не мог не оскорбить слабую, но гордую Персию, несмотря на века несчастий все еще связывавшую свою славу со славой Персидского царства эпохи калифов. Повелитель “средоточия вселенной”, преемник грозного Шах-Аббаса и представитель новой династии, шах глубоко был затронут потерей ханств, после того, как он мечтал уже отторгнуть от России свою древнюю данницу, Грузию; ниспровергнуты были честолюбивые замыслы любимого сына его Аббаса-Мирзы, желавшего ореолом побед обеспечить за собой наследие престола; роптали подкупленные англичанами сановники,

обманутые в своих расчетах; негодовал народ, на который всей тяжестью легли военные неудачи. Весьма вероятно, персияне, несмотря на все невыгоды своего положения, не заключили бы столь тяжкого мира, если бы англичане, дрожавшие за свои торговые интересы, не уверили шаха, что возвращение уступленных провинций будет достигнуто легко дипломатическим путем при могущественном посредничестве Англии.

Но и Англия, добившаяся постыдного для Персии мира в исключительных заботах о развитии своей торговли в монархии шахов, довольна не была. Удачно вытеснив в 1811 году окрепшее было там влияние французов, англичане боялись, чтобы Россия не получила преобладающего значения в стране, столь близкой к Индии, и всеми силами противодействовали успехам русского оружия. Несмотря на дружеский союз с Россией против общего врага, Наполеона, Англия пошла так далеко в своей расчетливой политике, что затратила крупные суммы на формирование регулярной персидской армии, так быстро погибшей под ударами Котляревского,— а английские офицеры принимали и непосредственное участие в делах персиян против русских. Гюлистанский мир, разрушив все плоды этих усилий, нанес Англии суровое дипломатическое поражение и должен был вызвать с ее стороны новые козни против возраставшего влияния России.

Действительно, во все тринадцать лет мира Персия была ареной дипломатической борьбы между Россией и Англией за влияние. В Тегеран и Тавриз являлись английские посольства со сказочной пышностью и блеском, так много значащим в глазах азиатских народов. Раболепно подчиняясь унизительным требованиям персидского придворного этикета, англичане в то же время с такой безумной расточительностью сорили деньгами и дорогими подарками, что все, окружавшее шаха и Аббаса-Мирзу, было закуплено и рвало обеими руками то, что можно было сорвать с англичан, отводя интересам государственным последнее место. Конечно, расчетливые англичане не на ветер пускали те баснословные суммы, которых им стоила Персия; эти суммы составляли лишь ничтожную часть барышей, которые приобретала ост-индская компания, сбывая персиянам свои товары, и особенно ром.

Бороться с Англией на этом поприще, уничтожить ее влияние — было для России не под силу уже потому, что “ни сей торговли, ни рассеваемых Англией денег мы ничем заменить не в состояний”, как справедливо замечает Ермолов в своих донесениях. Естественно, что в сферах, руководивших тогда судьбами персидской монархии, Россия, в противоположность Англии, друзей не имела; боялись ее грозных сил, помнили суровые уроки, данные ею при Мигри и Асландузе, но готовы были воспользоваться всяким случаем, чтобы нанести ей существенный вред. В основании всех отношений к ней Персии лежал исключительно страх перед ее могуществом.

Все политические обстоятельства складывались в высшей степени неблагоприятно для развития мирных чувств между двумя соседними монархиями. Подстрекаемая Англией, Персия путем бесконечных переговоров домогалась возвращения хотя бы части отторгнутых от нее земель и ежеминутно создавала все новые и новые политические затруднения. Но все ее домогательства встречали суровый отпор, возбуждавший в государственных людях Персии затаенное озлобление, едва прикрываемое маской восточной вежливости и низкопоклонных Фраз. Нет сомнения, что отношения Ермолова к персидскому двору также не способствовали упрочению приязненных отношений. Непреклонная политика, выдвинутая им с первых дней его пребывания в Тегеране и со строгой последовательностью проводимая в Закавказском крае, сделала его личным врагом наследника персидского престола, в руках которого соединялись все нити русско-персидских сношений. В личности Аббаса-Мирзы, по свидетельству Ермолова, лежала одна из главнейших причин тех политических затруднений, которые в будущем грозили неминуемой войной.

Дело в том, что года за четыре до поездки Ермолова в Персию, Аббас-Мирза, второй, но любимый сын шаха, торжественно и всенародно объявлен был, по воле отца, наследником персидского престола. Таким образом, законный наследник, старший его брат, Мегмет-Али, человек с выдающимися способностями, весьма расположенный к России, должен был уступить ему место.

Официальным предлогом к этому нарушению священных прав первородства послужило, кажется, то, что Мегмет-Али был рожден христианкой, в то время как мать Аббаса-Мирзы происходила из той же воинственной тюркской фамилии Каджаров, к которой принадлежал и царствовавший в Персии дом. Но этот предлог в глазах народа был не настолько важен, чтобы из-за него мог быть нарушен один из основных законов государства,— и положение Аббаса-Мирзы было двусмысленно и шатко.

Мегмет-Али как сторонник России мог рассчитывать на ее поддержку; в самой Персии он имел свою значительную партию приверженцев и однажды, в присутствии шаха и придворных, громко сказал Аббасу-Мирзе: “По повелению шаха я преклоняю голову свою перед тобой как перед наследником престола, но в свое время мечи наши решат, кому из нас владеть Персией”.

Таким образом нарушение прав первородства ничего не обещало стране, кроме потоков крови. И если самому шаху, по ироническому замечанию Ермолова, “достаточно было одной уверенности, что сего при жизни его не случится”, то Аббасу-Мирзе приходилось серьезно подумать о средствах удержать за собой незаконно захваченное наследие.

Первое, что представлялось ему на этом пути, было признание его наследником персидской монархии со стороны могущественного русского императора. Ермолов предвидел, однако, ту беспокойную и вредную для России роль, которая предстояла в

будущем Аббасу-Мирзе, и не спешил утвердить столь большие права за несомненным и непримиримым врагом, в прямой ущерб другому, дружественному России принцу.

Несмотря на то, что одним из пунктов Гюлистанского договора Россия обязалась признать наследником Персии того, кого назначит шах, Ермолов, в бытность свою полномочным послом в Тегеране, сумел ловко обойти вопрос и уклонился от официального шага в этом смысле; он даже не считал нужным скрывать своих настоящих чувств к Аббасу-Мирзе,— с тех пор заслужил его ненависть. Тогда Аббас-Мирза обратился окольными путями непосредственно к русскому министерству иностранных дел и успел добиться своей цели, благодаря именно тому, что взгляды Ермолова не разделялись министром.

Признание Аббаса-Мирзы наследником персидского трона оказалось, как и предвидел Ермолов, весьма важной политической ошибкой, и отношения между Россией и Персией, вместо того, чтобы выиграть, напротив, бесконечно проиграли от этого неосторожного шага. С того самого момента, как он был сделан, начинается новый ряд политических усложнений, который в конце концов неизбежно должен был повести к войне. Пока Аббас-Мирза не был признан русским двором, он имел лишь косвенное и незначительное влияние на политические дела, ограничивая их скромной ролью начальника смежных с Россией провинций; теперь с ним приходилось разговаривать как с наследником трона, и уже ни один хоть сколько-нибудь важный вопрос не мог пройти без его участия. И вот, под его влиянием снова появляются на сцену притязания Персии на Карабаг и Талышинское ханство.

Аббас-Мирза мечтал заставить Ермолова согласиться на эти уступки угрозами. На самой границе Карабага он отвел владения беглому царевичу Александру, а земли, смежные с Талышинским ханством, дал в управление убийце князя Цицианова. Все, что бежало из русских пределов, находило у наследного принца почетный прием и безопасное убежище; он вел тайную переписку с закавказскими ханами, волновал татар, поддерживал деньгами смуты в Дагестане и, наконец, почти открыто договаривался с Турцией, предлагая ей заключить наступательный союз против России, могущество которой, по его мнению, угрожало всем магометанским государствам. К союзу этому Аббас-Мирза мечтал привлечь весь мусульманский мир и, льстя самолюбию султана, тайно давал ему понять, что тот как глава союза, призван возвратить своему трону утраченный блеск времен калифата.

Признанием Аббаса-Мирзы не достигалась и та единственно уважительная цель, которую выставляла Персия перед русским правительством,— избавление страны от внутренних потрясений. Правда, Аббас-Мирза уже не мог опасаться происков старшего брата, к тому же скоро умершего, и партия приверженцев последнего должна была сойти со сцены, зная решительную волю русского царя; но именно то, что, казалось, должно бы дать Персии спокойствие, и послужило для нее источником бедствий. Уже не связанный соперничеством, Аббас-Мирза вовлек ее на скользкий путь политики приключений.

Нельзя, впрочем, не сказать, что его более или менее вынуждали к этой политике и самые обстоятельства. Династия Каджаров, в лице свирепого Ага-Мохаммед-хана овладевшая персидским престолом путем кровавых смут и цареубийства, не имела на своей стороне даже выгоды долговременного обладания властью, что на Востоке нередко заменяет законное право. И Аббас-Мирза, принадлежавший к этой династии, да к тому же и сам незаконно овладевший правами старшего брата, и в личных и в династических интересах должен был искать блеска военной славы и победных триумфов, чтобы по крайней мере оправдать в глазах народа свое избрание в наследники трона. К этому направлены были все его действия, и он не переставал питать надежду отторгнуть от России покоренные ею

области,— славнейшее дело, которое могло ему предстоять. Но на этом пути перед ним не было даже выбора: только одни англичане могли снабжать его деньгами и для рассеяния смут в русских пределах, и для заведения регулярных войск, на которые он смотрел как на будущий оплот своего могущества. И он по необходимости становился орудием в руках англичан.

В то время, как на сцене политической жизни Закавказья и Персии появился Ермолов, Персия, на четвертом году Гюлистанского мира, конечно, не могла и думать снова воевать с Россией. Но политика, направленная к приобретению военной славы наследнику трона, повела за собой сначала другие, меньшие войны. В 1818 году Персия воевала с афганцами, и шах, как бы напоминая Ермолову о своем могуществе, прислал ему следующее восточно-гиперболическое и цветистое извещение об одержанных им успехах.

“Победоносным войскам нашим,— писал шах,— всегда покровительствуют конные полки небесных сил, а потому действия неприятелей на ратном поле имеют против нас такую же силу, как звезды небесные против восходящего солнца... Пламенный меч наш, устремленный к поражению неприятеля,— есть молния, все сожигающая. И звезды светом победы освещают изображенную на счастливых знаменах наших луну”.

Описывая самую битву, шах говорит:

“От пыли, несущейся никем непобедимой конницы нашей, место сражения померкло так, что если бы открытый сарбазами огонь не освещал его, то стрелы, лишающие жизни, не находили бы пути пронзать сердца неприятельские. Пять часов длился бой, и воюющие не различали белого и черного. Наконец, на закате солнца, от огня пушек, сокрушающих Кавказские горы, разрушилось и основание неприятельских войск. Вдруг знаменитый наш сын, Али-Мирза-хан, хороссанский валий, со своими богатырями, наподобие волн морских, напал на неприятеля, и щедрой милостью Бога и нашим счастьем зефир победы развеял кисти у знамени победоносного сына нашего: несчастное же знамя неприятеля — низверглось. При сем нападении победоносный сын наш лично устремился на Ширдаль-хана (брата афганского владетеля) и мечом, сверкающим как молния, нанес удар ему в голову и разрубил его до самой груди, отчего тот упал с лошади, в пример прочим зрителям”...

Нужно думать, однако, что в действительности победа персиян не была так блистательна; по крайней мере, Ермолов, конечно не без основания, писал министру иностранных дел графу Нессельроде следующее:

“Хоросанцы вместе с афганцами разбили персидские войска, и урон ужаснейший. Начальствующий оными откупил свою голову большой суммой денег, и шах, хотя продолжил ему командование войсками, но, собрав большие силы, сам пошел на неприятеля. Жители Тегерана полагают, однако же, что он далеко не пойдет, опасаясь, дабы малейшая неудача под его собственным предводительством не произвела худое в народе впечатление. Невзирая, однако же, на неудачу, разглашаются ложные о победах известия и отправляются торжества. Таким образом уведомляет меня Аббас-Мирза о победе над курд-балдасами, когда имею я известия, что войска его понесли значащий урон”.

Так или иначе, но столкновения с афганцами значительно подняли дух персиян, и в 1821 году они начинают войну уже с Турцией.

С давних пор между двумя соседними мусульманскими державами были серьезные поводы к неудовольствиям, обостренные враждой пограничных начальников. Границы были ареной обоюдных набегов, разбоев и возмутительных насилий. Ермолов отмечает, что причиной вражды были, между прочим, притеснения, делаемые в турецких пределах персидским торговцам, и обиды, причиняемые ездящим на богомолье в Калбалай. Все внимание Порты было отвлечено в то время греческой войной за независимость, и многочисленные войска ее из Анатолии были выведены. Аббас-Мирза, уверенный, что Россия вступится за греков и объявит со своей стороны войну Оттоманской Порте, решил воспользоваться именно затруднительным положением последней и на ее счет создать себе военные триумфы. К Ермолову он писал между тем, что его подвигает к войне с Турцией чувство негодования на жестокость турецкого правительства против греков и вообще христиан. Он ездил даже в Эчмиадзинский монастырь и там просил католикоса на христианском алтаре освятить его меч. “Но, конечно, не мщение за христиан мог иметь в виду Аббас-Мирза, владетель мусульманский. Нельзя усомниться, что в расчетах английского правительства выгоды торговли дороже крови истребленных христиан”,— так доносил Ермолов, намекая, что и в этом случае Аббас-Мирза служил только послушным орудием английской политики.

В сентябре 1822 года, персидская армия быстро и неожиданно вторглась в турецкие пределы. Застигнутые врасплох и неготовые к обороне, турки не могли противиться, и Баязет, после слабой обороны, сдался. Персияне заняли также несколько небольших, но по своему положению довольно важных крепостей и в том числе Топрах-Кале, лежавший на арзерумской дороге. Отсюда набеги их простерлись даже до окрестностей Багдада, где все небольшие стычки окончились в их пользу. Даже жители Карса до того страшились персиян, что просили Ермолова занять войсками их крепость. “Не мог я сделать сего по настоящим обстоятельствам,— говорит он,— но многие селения спасли мы тем, что под видом охранения купленного нами хлеба расположили в них небольшие отряды”. Многие армянские деревни совсем бежали в русские пределы, и турки им не препятствовали.

Военные действия были, однако, не продолжительны. Оставив в Топрах-Кале небольшой гарнизон, Аббас-Мирза двинулся дальше. Не доходя до Арзерума, он встретил наконец турецкий лагерь. Здесь успели сосредоточиться войска двух пашей; но паши враждовали между собой, и никакого единства действий ожидать от них было невозможно. Аббас-Мирза стал готовиться к бою. Но турки бросили лагерь и пустились бежать по направлению к Арзеруму. Персияне кинулись грабить оставленное. Вдруг между ними пронесся слух, что турки возвращаются. Слух этот был ложен; тем не менее персидское войско пришло в неописуемый страх и, в свою очередь, поспешно стало отступать по направлению к Топрах-Кале. До сих пор еще не знают, которая из двух бежавших друг от друга армий остановилась прежде; известно только, что вскоре после этих маневров в персидском войске явилась холера, которую многие объясняют сильным нравственным потрясением людей. С тех пор с каждым днем возрастала в лагере персиян смертность — и солдаты толпами разбегались. Судьбе угодно было, однако, еще раз осенить знамена Аббаса-Мирзы победой. Дело в том, что сорок тысяч турок из Карсского пашалыка, пользуясь удалением его к Арзеруму, нахлынули на Топрах-Кале и, построив две батареи, принялись его бомбардировать. Гарнизон терпел, но не сдавался. Вдруг на соседних горах появились бегущие войска Аббаса-Мирзы. Турки поспешно сняли батареи — и отступили.

Одновременно с тем шли военные действия и со стороны Эриванского ханства. Но там дела персиян шли менее успешно. Курдистанский валий передался туркам и, делая набеги на Эриванское ханство, производил в нем страшные опустошения. В одной довольно горячей схватке была вырезана почти вся персидская конница, составленная

исключительно из разбойников, давно бежавших из татарских дистанций Грузии. Потерпел сильно около города Вана и батальон, составленный из русских дезертиров.

Эти неудачи и явившееся убеждение, что между Россией и Турцией войны не будет и что последняя, опомнившись, соберет достаточные силы, чтобы наказать персиян за внезапное нападение, заставили Аббаса-Мирзу удовольствоваться приобретенной, славой, и 27 октября он уже возвратился в Тавриз.

Мирный договор между Персией и Турцией заключен, однако, гораздо позже, именно в 1823 году. Извещая об этом Ермолова, Аббас-Мирза писал надменно, что турки принуждены к тому блистательными успехами его оружия.

Как ни были проблематичны успехи персидского оружия в войнах с афганцами и турками, они стали предметом гордости для самого Аббаса-Мирзы и окончательно убедили его в могущественном значении созданной им регулярной армии. С пылкостью воображения, характеризующей азиатский Восток, он уже мнил теперь, что в силах померяться и с Русской империей. И вот, по заключении мирного договора с Турцией, он поднимает новый вопрос о проведении границ, условленных Гюлистанским трактатом между Россией и Персией.

Еще во время посольства Ермолова в Тегеран все дело о границах, по повелению шаха, было окончательно передано на решение Аббаса-Мирзы, и с тех пор в течение шести-семи лет оставалось открытым. Но ставя его на очередь, Аббас-Мирза умышленно дал своим требованиям такие преувеличенные, размеры, которые рано или поздно, но неминуемо должны были повести к разрыву.

Дело в том, что по Гюлистанскому договору отошли к России, в составе Карабагской области, части Чаундурского и Копанского магалов, расположенных в треугольнике, образуемом реками Араксом, его притоком Копан-Чаем и линией, проведенной к северу от Мигри. Это-то пространство, оставаясь неразмежеванным, и служило постоянным предлогом к дипломатическим пререканиям. Персияне продолжали удерживать за собой весь этот треугольник, принадлежавший России по смыслу Гюлистанского трактата, а русские, взамен того, занимали принадлежавшее Персии северо-западное побережье прекрасного озера Гокча, расположенного на севере Эриванского ханства.

Гокча представляет собой одно из поразительнейших зрелищ. На высоте семи тысяч футов, среди обрывистых скалистых гор, перед вами открывается громадное водное пространство и будто огромное зеркало в каменных рамах отражает безоблачное небо и цепи гор,— снеговые со стороны Карабага. Площадь этого озера заключает в себе пространство более трех тысяч квадратных верст. Это целое море, море — на высоте, превышающей тысячи на две футов высоту Чатырдага! Та же бесконечная морская даль, та же безбрежная водная равнина, уходящая за горизонт, та же чудная синева, какая открывается взору при виде любого моря,— и все это на вершинах горных кряжей, на высоте семи тысяч футов.

Таково знаменитое Гокчинское озеро.

Серые, пепелистые горы справа и слева обложили эту морскую синеву, а прямо перед глазами бесконечная даль, неизмеримая масса воды. Влево, с небольшим в версте от западного берега, виднеется небольшой скалистый остров, имеющий верст шесть в окружности. Это — бесплодная скала, покрытая очень скудной землей, занесенной сюда ветром, выветрившейся лавой да расположившейся растительностью. На нем виднеются

серые стены древних построек и настоящих укреплений, над которыми высятся такие же древние конические купола армянской церкви. Это древний армянский монастырь, который, как и самая Гокча, называется по-армянски Севан.

Глубоким уединением веет от этого неприступного островка, сообщающегося с землей только посредством лодок, которые держат монахи. Тишину этого уединения нарушают лишь однообразные прибои волн да жалобные крики морских чаек. Горы амфитеатром обступают и озеро, и весь юго-западный горизонт и придают всей этой местности много величавой поэзии.

Окруженная водой, святая обитель только своей трудно доступной местности обязана тем, что ни разу не была разграблена кочевавшими здесь хищными курдами, не имевшими у себя флотилии. Предания хранят, однако, память о многих попытках разбойничьих племен добраться до монастыря и до его мнимых сокровищ. Монахи рассказывали много дивных и любопытных вещей, свидетельствующих и о хитростях, на которые пускались враги, и о небесной помощи, которая ограждала обитель. Говорят, например, что как-то раз лезгины задумали ограбить монастырь, но лодок достать им было негде. И вот они засели в деревянные ящики, которые под видом товаров и были нагружены на монастырские лодки самими же монахами, принявшими эти закупоренные тюки на берегу от возчика-татарина. По счастью, во время плавания, какому-то мальчику случилось услышать, как один из лезгин спрашивал другого: скоро ли берег? Мальчик поднял тревогу,— и предприимчивых разбойников вместе с ящиками побросали в воду.

В другой раз, при царе Ираклии Великом (5 января 1775 года), когда лезгины вторглись в Эриванскую область и опустошали христианские селения, большинство жителей по обыкновению укрылось на острове. Дело было зимой. Лезгины, не застав во многих деревнях ни души, пустились к монастырю по замерзшему озеру. В монастыре шла литургия, когда архимандриту Иоанну сказали, что неприятель вступает на остров. Он вынес к народу святые Дары и, обратившись к нему, сказал: “Молитесь, готовьтесь к принятию святых божественных Тайн!” В это время лед рухнул, и холодные воды озера поглотили неприятеля.

Благочестивый народ долго чествовал память своего избавления, и ежегодно 5 января, когда совершилось чудо, под сводами храма пелись благодарственные молитвы монастырскими иноками.

В этом-то величавом уголке природы и располагались летом русские войска для ркарауливания своих татарских кочевий. Закавказское начальство не прочь было уступить персиянам занятую ими часть Карабага, с тем чтобы удержать за Россией берег Гокчи, и такое решение пограничного спора было не безвыгодно для обеих сторон. Персияне получили бы лучшую и обширнейшую землю; выгода России заключалась в том, что, в место мусульманских подданных Карабага, она приобрела бы на берегах Гокчи армянское население, вместе с одной из тех древних святынь, которые так чтятся армянами.

Так или иначе, на обоих спорных пунктах необходимо было, однако, окончательно определить границы. Но начатые Аббас-Мирзой переговоры по этому вопросу, в течение всех последующих трех лет, до начала войны, носят характер упорных и намеренно создаваемых усложнений.

Когда, в 1823 году, решено было приступить к размежеванию и съехались назначенные для этого персидские и русские комиссары, скоро стало совершенно очевидно, что никакое соглашение невозможно. Под влиянием турецких побед, персияне надменно

противоречили русским комиссарам на каждом шагу и “вопреки даже здравого смысла”, как выражается Ермолов. Так, например, чтобы дать буквальному смыслу договора выгодное для себя толкование, персияне требовали, чтобы левый и правый берег реки определялись не стоя лицом к ее устью, по течению, а напротив. На этом настаивал и сам Аббас-Мирза, “которого — как ядовито замечает по этому поводу Ермолов,— многие считают великим гением, преобразователем своего народа, вводящим европейское просвещение”. “Мнение сие,— говорит он,— разделяет с прочими и наше министерство, имевшее бы, кажется, нужду знать его короче”.

Видя, что переговоры комиссаров не поведут ни к чему, Ермолов разрешил управляющему тогда Карабагом князю Мадатову иметь личное свидание с наследником персидского трона, охотившимся в то время на правом берегу Аракса.

Свидание это состоялось у Худоперинского моста. Окруженный блестящей свитой и многочисленной конницей, составленной из первейших фамилий трех мусульманских ханств, явился Мадатов в назначенный день у Худоперинского моста. Богатая одежда всадников, дорогое оружие, драгоценный убор статных карабагских коней в соединении с грозными рядами сорок второго егерского полка, стоявшего под ружьем с распущенными знаменами, представляли поистине внушительную картину. Аббас-Мирза приехал в сопровождении своих сыновей и всего двора. Его приняли с подобающими почестями, и все, что только могли позволить средства, было употреблено Мадатовым для того, чтобы придать этой встрече более наружного блеска, который так легко очаровывает умы персиян. В лагере целый день гремела музыка, устраивались маневры, скачки, разные военные игры, в заключение был сожжен великолепный фейерверк. Персияне, действительно, были так обворожены любезностью князя и пышностью даваемых им празднеств, что долго после того они обозначали 1823 год фразой: “когда был фейерверк князя Малахова”.

Но встреча эта не повела ни к чему. Мадатов тщетно старался утвердить добрые отношения с наследником Персии. На все, что говорил Мадатов, Аббас-Мирза отвечал одно, что он употребит все средства доказать, как велико желание его приобресть расположение к себе императора и угодить Ермолову. Этими неопределенными обещаниями все и ограничилось. “Зная Аббас-Мирзу,— говорит Ермолов,— я никогда и ни одному слову его не поверил”. И Ермолов не ошибался.

Скоро наступило холодное время; пограничные с Персией горы покрылись снегами, и комиссары, ничего не решив, разъехались. Острый вопрос о границах так и оставался открытым.

В начале 1825 года, в марте, переговоры возобновились. В Тифлис приехал некто Фет-Али-хан Тавризский, уполномоченный заключить окончательные условия о размежевании. Ермолов предложил обменяться участками: часть Карабага оставить за персиянами, Гокчинский берег — за Россией. На этот раз переговоры, по-видимому, пошли довольно успешно. Предварительный акт был заключен. Но сговорчивость персидского уполномоченного, как оказалось, имела в основании своем некоторые задние мысли. Дело в том, что Аббас-Мирза уже давно хотел поставить ханом Эриванской провинции одного из своих сыновей, чтобы предоставить ему богатые доходы с этой области. Но сардарь сидел в Эривани крепко и пользовался особенными милостями шаха. Аббас-Мирза рассчитывал добиться своей цели при посредстве кавказского начальства; были происки, чтобы Ермолов, жалуясь шаху на поведение эриванского сардаря, в то же время выхвалял бы перед ним добрые отношения Аббаса-Мирзы и указал бы ему на

пользу подчинить все пограничные с Россией области одному начальнику, то есть, конечно, наследному принцу.

Аббас-Мирза хотел сделать Ермолова орудием своих честолюбивых и корыстных замыслов.

Но пока Фет-Али-шах проживал в Тифлисе, дела неожиданно изменились: умер воспитатель Аббаса-Мирзы, старый каймакам, Мирза-Бизрюк, человек необыкновенно умный и ловкий, до последних дней сохранявший огромное влияние на своего воспитанника. Слабохарактерный Аббас-Мирза сделался игралищем партий. Теперь он подпал под влияние могущественного тавризского первосвященника, Муштенда-Мирзы-Мехти, страшного религиозного фанатика: Мехти уверил Аббаса-Мирзу, что малейшая сговорчивость по поводу границ уронит его во мнении народа и что необходимо оружием смирить гордость России, возвратить потерянные Персией области, не исключая самой Грузии, и изгнать русских за хребет Кавказа.

Аббас-Мирза собрал военный совет, на который приглашены были и первосвященник как человек, могущий дать направление — общественному мнению, и евнух, необходимая особа, хранитель тайн дворца и сераля, и беглые русские изменники. Все мнения оказались против мира с Россией. Сурхай казикумыкский ручался головой, что, имея в горах много приверженцев и сильные связи, он легко поднимет весь Дагестан и наводнит лезгинами Грузию. Хвастливый эриванский сардарь, не участвовавший в совете, но имевший много причин опасаться Аббаса-Мирзы, писал униженно, что, если ему позволят, он в течение двух месяцев будет в Тифлисе. Первосвященник торжественно объявлял, что он благословит победоносные знамена Аббаса-Мирзы и сам, с пятнадцатью тысячами мулл, пойдет впереди, указывая путь к славе.

Совет имел на наследного принца решающее влияние. Фет-Али-хан, возвратившийся в Тавриз, был уже принят весьма неблагосклонно, а акт, составленный им, уничтожен. Взамен его Аббас-Мирза предложил русскому правительству свои условия, которые принять было невозможно; он не только не соглашался ни на какой обмен участков, но желал оставить за Персией и карабагские земли, и Гокчу и требовал, сверх того, всего Талышинского ханства вместе с Ленкоранью. А под рукой делались уже усиленные приготовления к войне и собирались войска. Скоро на русских границах появились персидские отряды там, где прежде их никогда не бывало. Даже те пункты, которые занимались русскими караулами на летнее время для прикрытия кочующих татар,— персидским войскам приказано было тотчас занять, как только русские, с приближением осени, уйдут. В то же время дерзость пограничных персидских начальников стала переходить всякие границы. Так, посланный Ермоловым в Талышинское ханство полковник генерального штаба Эксгольм встречен был на границе его персидским чиновником, требовавшим, чтобы он возвратился назад, угрожая в противном случае прибегнуть к силе. На возражение Эксгольма, что он находится на земле, принадлежащей России, чиновник дерзко ответил, что земля принадлежит Персии и что он делает большое снисхождение, позволяя Эксгольму возвратиться.

Ермолов знал все, что происходило в Тавризе. Он писал государю, что Аббас-Мирза не остановится на дипломатических переговорах и будет требования свои поддерживать оружием; он просил усилить кавказские войска одной пехотной дивизией и несколькими казачьими полками, видя в этом единственное средство предупредить войну. Император Александр, судивший о русско-персидских делах по докладам графа Нессельроде, не разделял, однако, опасений Ермолова. Уверенный в миролюбии Персии, он писал к нему из Таганрога, что “должны быть употреблены все меры к сохранению мира, отнюдь не

доводя до войны, для нас тем более невыгодной, что войскам довольно было дела и у себя на Кавказе".

"Я не могу поверить,— писал и Нессельроде Ермолову,— чтобы персияне были так неблагоразумны, чтобы решились на войну, когда мы со всеми в мире". А между тем персияне не считали даже нужным скрывать свои приготовления. С осени 1825 года начались уже грабежи в пограничных русских землях и волнения между джарскими лезгинами. Персидские агенты рыскали в ханствах и по татарским дистанциям. Не замедлили последовать и пограничные столкновения войск.

В начале ноября 1825 года, Русский караул из небольшого числа татарской конницы, стоявший на берегу озера Гокчи, внезапно был атакован персидскими войсками. Пост отступал, караулка была сожжена персиянами. Ермолов приказал немедленно послать туда роту пехоты с орудием. Появление штыков заставило персиян удалиться, и берег Гокчи снова был занят русским постом. Тогда сардарь предложил начальнику пограничных постов, полковнику Северсамидзе, оставить с обеих сторон только конные караулы. Северсамидзе согласился. Но едва русская рота оставила позицию, как сардарь быстро стянул войска и двинул их для занятия Гокчи, с тем чтобы более не уступать ее русским. Рота поспешно вернулась назад — и предупредила персиян. Два батальона регулярной персидской пехоты с четырьмя орудиями, уже подходившие к озеру, остановились и, не решаясь атаковать роту, отступили.

Трудно предположить, чтобы подобные дела могли происходить без воли Аббаса-Мирзы, тем более, что и сам он в это время, под видом охоты, объезжал границы и даже был в Эривани, не уведомив о том Ермолова, "что, по обычаям персиян, разумелось величайшей грубостью".

Ермолов сообщил о всех этих происшествиях министру иностранных дел, графу Нессельроде. Он писал, "что одной твердостью можно достигнуть продолжения и прочности мира, но никак не чрезмерным снисхождением, которое вызовет со стороны персиян только новые наглости".

Между тем русский поверенный при персидском дворе, Мазарович, ездил в Тегеран с письмом Ермолова к шаху. Шах принял его ласково, но объявил безусловно, что возлагает на Аббаса-Мирзу все пограничные дела с Россией и предоставляет ему полную свободу действий. Мазаровичу было объявлено, впрочем, что с ответным письмом и окончательными предложениями будет прислано к Ермолову особое доверенное лицо.

Чиновник этот, действительно, прибыл в Тифлис. Случилось, однако, что в это время Ермолов находился на Линии, куда его вызвали тревоги в Чечне и смерть Лисаневича. Надменный персидский сановник, Мирза-Мамад-Садык, хотел вести переговоры не иначе, как с самим главнокомандующим и просил назначить ему место и время для свидания. Ермолов счел неудобным допустить его за Кавказский хребет и возложил ведение переговоров на генерала Вельяминова. Мирза-Садык отказался от этого и уехал.

При таких обстоятельствах наступило новое царствование.

Император Николай, обозревая сношения России с иностранными державами, обратил особое внимание на дела персидские. Но, под влиянием взглядов министерства, он писал Ермолову, 11 января 1826 года, все о той же необходимости удерживать заключенный с Персией мир, пока сама она явно не нарушит Гюлистанского договора. "Верность данному слову,— говорит император,— и существенные выгоды России того от Меня

требуют. Ныне, когда почти все горские народы в явном против нас возмущении, когда дела в Европе, а особенно дела с Турцией заслуживают по важности своей внимательнейшего наблюдения, неблагоразумно было бы помышлять о разрыве с Персией или умножать взаимные неудовольствия". Чтобы удержать мир, государь решался даже на уступку Персии полуденной части Талышинского ханства.

Ермолов со своей стороны также не стоял бы нисколько за Талышинское ханство: оно не приносило России ни малейших выгод уже потому, что малым числом войск оборонять его было невозможно, а большого числа оно не стоило. Но другие соображения заставляли его быть против такой уступки, она, как это Ермолов хорошо знал по опыту, повлекла бы за собой бесчисленные новые притязания со стороны персиян, уронила бы престиж и влияние России в закавказских мусульманских провинциях, а Аббасу-Мирзе, злейшему врагу России, дала бы не только повод и право кичиться успехами своей политики, но и возможность еще с большей силой и влиянием создавать новые недоразумения. Что такой именно смысл имела бы уступка Талышинского ханства, ясно было из самых обстоятельств переговоров о нем. Давно уже Аббас-Мирза выражал Ермолову желание приобрести его и не один раз предлагал ему значительные суммы денег, но только с тем, чтобы о передаче Персии ханства обнародован был акт, а деньги были бы уплачены по тайному договору. Ермолов, конечно, счел своей обязанностью просто отклонить ведение переговоров об этом, хорошо понимая их цель и значение.

Таким образом, Ермолов стоял в прямом противоречии с намерениями и взглядами высшего правительства. Положение его становилось все затруднительнее. Если при императоре Александре, вполне доверявшем ему, он был стеснен в своих распоряжениях противодействием министерства, то теперь все его действия были уже окончательно парализованы. А между тем обстоятельства слагались так, что и совсем почти отстраняли Ермолова от Фактической роли в делах и вопросах о Персии. Князь Меншиков, генерал-адъютант покойного государя, отправленный в Тегеран с объявлением о восшествии на престол императора Николая, вместе с тем имел и поручение укрепить дружественные отношения к Персии. В самом назначении нового посла Ермолов должен был видеть уже недостаток к себе доверия, а личное свидание их, состоявшееся 7 марта в станице Червленной, куда он прибыл из отряда, действовавшего против чеченцев, несмотря на всю осторожность Меншикова, только укрепило Ермолова в мысли, что политическая карьера его должна скоро окончиться. Хотя Ермолов в своих записках прямо нигде не говорит об этом, но он едва ли не знал, что Меншиков являлся по отношению к нему предшественником Паскевича и Дибича, что император поручил ему расследовать и донести как о военном, так и гражданском управлении Ермолова краем. Меншиков, правда, доносил государю в весьма успокоительном тоне; он писал, что Ермолов "мнит себя оклеветанным", что он отвергает от себя упрек в отступлении от правил, начертанных ему покойным императором, и приписывает такое заключение или неприязни к нему, или неизвестности в Петербурге местных обстоятельств Кавказского края, что в местах, на пути его лежавших, он, Меншиков, не заметил духа вольнодумства ни в войсках, ни в обывателях, а по доходящим до него сведениям не предполагает его вовсе на Кавказской Линии; что, наконец, никаких оснований для заключения о существовании каких бы то ни было тайных обществ в Кавказском корпусе он не имеет. Правда также, что и Ермолов, со своей стороны, вынес из беседы с Меншиковым самые отрадные впечатления, и впоследствии писал, "что будучи одарен отличным умом, счастливыми способностями и притом довольно хитрый, что в делах с персиянами совсем не мешает, Меншиков успеет исполнить поручение и без уступки ничтожной части Талышинского ханства". И тем не менее наступившие, вследствие недоверия к Ермолову, его нерешительность, неопределенность направления политики и двойственность распоряжений скоро принесли весьма печальные плоды.

Нужно думать, что персиянам не безызвестно было об изменившемся положении Ермолова, и со стороны их следует ряд прямо вызывающих действий, на которые Ермолов лишен был возможности ответить так, как того требовали обстоятельства. Присутствие в Персии доверенного лица от государя настолько стесняло его действия, что прямо мешало делать какие-либо приготовления на случай войны.

Так, с началом 1826 года, персидские войска стали значительно усиливаться в Талышинском ханстве, где стоял всего один русский батальон, а вскоре и сам талышинский хан, Мир-Хассан, бежал из Ленкорани, ограбив по дороге посты, занятые русскими,— обстоятельство уже не допускавшее сомнений насчет близкого открытия военных действий.

Со стороны Эривани, в то же время, сардарь надвинул войска к озеру Гокче, близко к урочищу Мирак. Но едва Вельяминов, за отсутствием Ермолова, ответил на эти вызывающие действия распоряжением занять Мирак двумя ротами пехоты и построить в нем небольшое укрепление,— в Персии поднялась тревога. Сардарь известил немедленно обо всем Аббаса-Мирзу. В Тавризе находился в то время полковник Бартоломей, посланный вперед князем Менши-ковым. Аббас-Мирза призвал его и выразил ему удивление, что русские с одной стороны посылают посольство, а с другой войска... Бартоломей должен был ехать назад. Он встретил Меншикова на Араксе, и посол, опасаясь невыгодного влияния этого случая на переговоры и даже прерывания их, почел нужным просить Вельяминова о приостановлении работ в Мираке. Правда, по настоянию Меншикова, послано было приказание и к эриванскому сардарю — отодвинуть войска от озера Гокчи, но это являлось пустой формальностью.

“Я удивляюсь,— сказал по этому поводу сардарь бывшему тогда в Эривани с русской миссией армянину, Ефрему Ковалеву,— что русский посланник с одной стороны просит признать Николая Павловича императором и привез с собой много подарков, а с другой стороны — русские занимают наши границы. Я не послушаю Шах-Заде. Но если русские войска не будут сняты, то из числа вот этих моих прислужников — он указал рукой на раболепно стоявших за ним ханских нукеров — одного сделаю в Тифлисе губернатором, другого комендантом, а третьего полицеймейстером...” И приказание об отводе персидских войск от Гокчи осталось неисполненным.

Аббас-Мирза, после знаменитого военного совета, конечно, мог только втайне одобрить дерзкое поведение сардаря. Опираясь на заведенную им, вопреки воле отца и народа, регулярную армию, он нетерпеливо желал открытия военных действий, надеясь загладить теперь все неудачи прежних персидских войн с Россией. И момент представлялся ему необыкновенно удобным, которого упускать не следовало: события, последовавшие в России за кончиной императора Александра, представлялись ему междоусобной войной двух царственных братьев за престолонаследие. Случилось, что Аббас-Мирза встретил для себя надежного союзника в лице Аллаяр-хана, зятя и первого министра шаха, действовавшего в том же направлении, как и принц, но из своих личных расчетов. Дело в том, что шах стал получать стороной известия о преступных действиях своего министра; и вот, чтобы отвлечь внимание его от этих сравнительно неважных дел и стать человеком еще более нужным, Аллаяр-хан и хлопотал об усложнении пограничных споров с Россией и о войне. В то же время требовали войны с Россией и англичане, угрожая в противном случае лишить Персию почти миллионной субсидии, которую платила ост-индская компания правительству шаха; требовали ее и многочисленные сторонники Англии, все те, которых она считала необходимым закупить,— а это были, конечно, самые влиятельные люди шахского правительства. Положение становилось все напряженнее и напряженнее, и столкновение было уже не далеко.

Меншиков, въехавший в пределы Персии в конце апреля, нашел там уже все признаки начинавшейся войны. Он вез богатые подарки шаху и его приближенным и был уполномочен, сообразуясь с ходом переговоров, предложить Аббасу-Мирзе для его регулярной армии или карабины, оставшиеся от Черноморского войска, или тысячу ружей, или, взамен их, по желанию принца, сукна на обмундирование целого батальона, тысячу тюленевых ранцев, или, наконец, шесть легких шестифунтовых пушек с зарядными ящиками и со всеми к ним принадлежностями. Но эти подарки, прямо направленные к усилению военных средств персиян и уже тем свидетельствовавшие о глубоко мирных намерениях русского правительства, стояли в странном противоречии со всем, что совершалось перед глазами Меншикова в самой Персии.

Первое известие, которое он должен был послать из Тавриза шифрованным, состояло в том, что Аббас-Мирза нашел человека, который за пятьсот тысяч туманов (двадцать тысяч рублей серебром) взялся убить Ермолова и с этой целью уже отправился в русские пределы через Дагестан. Ермолов получил это известие на пути в Тифлис, по усмирении чеченского мятежа. “Я удивлен был сим,— иронично восклицает он,— но не впал в отчаяние, что не нравлюсь такому человеку, каков Аббас-Мирза”.

Меншикова приняли в Тавризе с почестями; по приглашению шаха, он должен был отправиться в Султанию, летнюю шахскую резиденцию. Но по дороге туда его обогнал сам Аббас-Мирза, спешивший предупредить его у шаха. Повсюду на пути он слышал воззвания священных особ к поголовному вооружению против неверных, видел двигавшиеся войска, знал, что перед выездом из Тавриза Аббас-Мирза дал приказание им быть в совершенной готовности к походу. Сам Меншиков не мог ни о чем предупредить Ермолова — все бумаги, письма и курьеры его были задерживаемы. И тем не менее в Тифлис пробрались из Султании нехорошие вести. Говорили втихомолку, что Меншиков был дурно принят шахом, что шах, на торжественной аудиенции, вместо того чтобы принять из рук Меншикова письмо государя, указал рукой на подушку, куда его и пришлось Меншикову положить. Это было явное неуважение к особе императора, не обещавшее ничего хорошего.

Все это была правда. Меншиков узнал притом, что один из первосвященников, сидя на слоне и сопровождаемый народной толпой, явился перед шахом во всем блеске своего сана и именем Магомета требовал войны, при чем им совершены были какие-то неизвестные русским таинства, после которых, как уверяли, шах уже был не властен отказать требованиям первосвященника. Аббас-Мирза тотчас поскакал в Тавриз. Меншикову приходилось убедиться, что война неизбежна и что он из посла превращается в пленника.

Действительно, уже непосредственно после аудиенции его у шаха, посольский лагерь был оцеплен караулом, и никто не смел выйти из него иначе, как в сопровождении вооруженных солдат. Меншикову же было объявлено, что, по случаю скорого отъезда шаха в Ардебил, ему дадут средства возвратиться в Тифлис, а что дальнейшие переговоры могут происходить в одном из пограничных городов.

Обратно через Тавриз Меншиков проехал благополучно,— но в Эривани был задержан и просидел там почти шесть недель под настоящим арестом. Сардарь, встретив посла с обычным почетом, назначил для пребывания его свою загородную беседку, выстроенную на китайский манер в саду, раскинутом по правому берегу Занги. Но прошло пять дней, а об отправлении посольства в Россию не было и помину; напротив, каждый день придумывались все новые и новые предлоги для задержания посланника. То говорили ему, что русские удержали в заложниках жену талышинского хана,— и пока не освободят

ее, посол не будет отпущен из Эривани; то требовали от него уплаты за хлопок, посланный в Россию еще до начала войны; то выдачи драгомана посольства как уроженца Карабага, в то время уже занятого персиянами и потому, по мнению сардаря, уже совершенно вошедшего в состав персидского государства; то, наконец, без лишних слов, предлагали ему купить свободу ценой серебра и подарков.

“Можно бы составить целую книгу,— писал впоследствии Меншиков графу Нессельроде,— если бы я хотел исчислить вашему сиятельству все притеснения, коим мне надлежало противиться и коим изобретательский ум моих тюремщиков давал ежедневно новый вид, с постоянной целью вынудить у меня выдачу денег или вещей”.

Целых пять недель продолжалось тягостное положение, в которое поставлен был посланник. Почти все лица посольской свиты в это время переболели. Меншиков тщетно жаловался Аббасу-Мирзе и Аллаяр-хану; наконец ему удалось уведомить английскую миссию о своем положении, и он просил вмешательства ее в столь явное нарушение международного права.

Английский полномочный министр Макдональд, возмущенный поведением эриванского сардаря, почел необходимым вмешаться в дело. Он немедленно отправился к шаху и настоял на отпуске посланника в Россию. Один из членов английской миссии отправился даже в Эривань, чтобы проследить за точным исполнением шахского приказания. Посланный, однако же, опоздал — Меншиков уже выехал из Эривани.

Есть известие, впрочем, что не так легко было бы добыть свободу русскому послу, если бы не пущена была в ход некоторая интрига. Аллаяр-хану под рукой стали говорить, что его враги ждут только первой неудачи, чтобы погубить его во мнении шаха, что ему следует, пока есть время, пользоваться успехами персидского оружия и торопиться заключить выгодный мир; а для того необходимо, как можно скорее, отправить Меншикова, потому что без этого мир заключен быть не может. Это подействовало, и Аллаяр-хан тотчас послал повеление сардарю отпустить посланника. Сардарь вынужден был повиноваться. Однако же, он сделал все, чтобы затруднить путешествие посла, и даже покушался погубить его. Под тем предлогом, что не смеет дозволить ему проезд мимо персидских войск, он предлагал проводить его до турецкой границы, с тем, что если князь не согласится на это, то ему останется единственная дорога через Казахскую дистанцию, находившуюся тогда в весьма сомнительном положении.

Направляя его на этот путь, сардарь намеревался захватить посланника и всю его свиту, как только они удалятся на день езды от персидской границы, перебить всех и сложить вину на курдов,— народ кочевой, дикий и очень часто производивший разбои, которые унять персидское правительство было не в силах. К счастью, Меншиков был уведомлен о коварных замыслах сардаря. Как ни строго смотрели за ним, он нашел, однако, случай известить обо всем Ермолова через одного армянина, с трудом пробравшегося темной ночью через караульную цепь. Не подавая вида, что знает о намерении сардаря, Меншиков выехал из Эривани на Эчмиадзин, но отсюда он вдруг переменил направление и ближайшей дорогой, через Талынь и Амамлы, поскакал к Большому Караклису. Персияне, сторожившие его в Делижанском ущелье, поздно узнали об этом. Конница их, однако, понеслась в погоню и уже настигала Меншикова, как вдруг показалась русская рота, высланная к нему навстречу из Джалал-Оглынского лагеря.

Посол застал войну в полном разгаре на всех пунктах.

II. ВТОРЖЕНИЕ ПЕРСИЯН

Ррусская граница со стороны Эриванского ханства перед войной, в двадцатых годах нашего столетия, проходила всего в каких-нибудь полутораста верстах от Тифлиса. От северной оконечности озера Гокчи она тянулась на запад ломаной линией по Бомбакскому горному хребту и потом, отклонившись от него, через гору Алагез, упиралась под прямым углом в турецкую границу, шедшую по реке Арпачаю прямо к северу, к горам Триолетским.

На этом пространстве, на протяжении восьмидесяти верст в длину и углубляясь внутрь страны, к Тифлису, верст на пятьдесят, лежали две пограничные русские провинции: Шурагель и Бомбак. Страна наполнена разветвлениями тех громадных возвышенностей, находящихся в глубине азиатской Турции, которые дают начало значительным рекам: Евфрату, Араксу и другим. Одна из этих отраслей, Бомбакский хребет, спускаясь к юго-западу, к стороне Арпачая, образует наклонную равнину, только на границе с Персией нарушаемую горой Алагез. Здесь и лежит Шурагель с главным городом Гумры. К северо-востоку от нее расположилась Бомбакская провинция, в долине, очерченной двумя высокими и крутыми хребтами Бомбакским и Безобдалом. В центре страны Бомбакский хребет, понижаясь к северу верст на десять, встречается со склонами Безобдала, вновь поднимающими поверхность земли в заоблачные пределы. Расстояние между хребтами не переходит за двадцать верст. Долина постепенно суживается к востоку, по мере приближения к Большому Караклису, где ширина ее составляет уже только две версты, а еще верст пять далее — начинается ущелье. По этой долине протекает речка Бомбак, которая, соединившись с Каменной (Джалал-Оглы-чай), получает имя Борчалы и впадает, по слиянии с Храмом, в Куру. На восток от Бомбака, за Аллавердынским хребтом, лежит дистанция Казахская.

К северу, за серебристым, заоблачным Безобдалом, расстилается роскошная Лорийская степь, окаймленная вдали мрачными, голыми Акзабиюкскими горами. За теми горами лежит уже Иверия.

Привольное, красивое место — эта Лорийская степь, со всех сторон окруженная лесом, очерченная высокими горами: Безобдал — на юге, Акзабиюк с его разветвлениями — на севере, востоке и западе. Те горы, которые отделяют степь от Шурагеля, называются Мокрыми горами, и через них проходит кратчайшая дорога из Гумр на Башкечет и далее к Тифлису. На востоке замыкает ее Аллавердынский хребет, и степь оканчивается там, где Каменная речка впадает в Борчалу.

Сколько известно, Лорийская степь получила свое название от крепости Лори, развалины которой еще до сих пор виднеются посреди этой, ныне мирной страны как памятник другой поры, других дней, пережитых воинственной Грузией. Чем была в старинные годы эта крепость, какие драмы разыгрывались на ее каменных твердынях? Туземцы говорят, что, во времена цветущего состояния армянского царства, крепость эта стояла среди обширного города, на месте которого теперь виднеется лишь несколько жалких армянских лачужек.

Лорийская степь подчинялась в административном отношении Бомбакской провинции; но то была уже часть древней Грузии, и йа ней расположена одна из татарских дистанций — Борчалинская. Когда еще Шурагель и Бомбаки принадлежали Персии, Лорийская степь была местом, где Грузия ставила преграды вражеским нашествиям. Гергеры и Джалал-Оглы, защищавшие вход в нее, становились поэтому важными стратегическими пунктами.

Летом 1826 года все эти пограничные с Персией области, открытые с фланга, на западе, к Турции, охранялись лишь двумя русскими батальонами. В Гумрах, главном селении Шурагеля, стояли две роты Тифлисского полка при двух орудиях, да рота карабинеров, посылавшая от себя посты в Бекант и Амамлы, где также стояло по одному орудию.

В Большом Караклисе, важнейшем пункте Бомбакской провинции, расположены были три роты Тифлисского же полка, при трех орудиях. Отсюда два сильные поста выдвигались на Дорийскую степь: один, с орудием, для прикрытия переправы через речку Каменную у Джалал-Оглы, другой — на Безобдальский перевал, а третий стоял уже в самых Бомбаках, на речке Гамзачеванке, верст за восемнадцать от Караклиса, где пасся полковой табун Тифлисского полка. Женатая рота охраняла Гергеры за Безобдалом. Донские казаки, Андреева пока, мелкими частями разбросаны были по всему Бомбаку и Шурагелю. Наконец, на самую границу выдвинуты были передовые отряды: в Мирак, лежавший на восточных склонах Алагеза, две роты тифлисцев и рота карабинеров с двумя орудиями; в Балык-чай, прикрывавший единственную вьючную дорогу к Эривани из Казахской дистанции, по Делижанскому ущелью вдоль речки Акстафы — рота тифлисцев же, силой в триста штыков и также при двух орудиях. И Мирак, и Балык-чай занимались русскими войсками только летом, чтобы не допускать персидских шаек в русские пределы и удерживать в повиновении кочевавших близ этих мест казахских и шамшадильских татар. Осенью, когда татары возвращались с кочевок, посты снимались, так как зимой, по причине глубоких снегов, пути становились там непреодолимыми. Таким образом, общее число войск, охранявших весь край, состояло из казачьего полка, силой около пятисот коней, двух батальонов Тифлисского полка (третий батальон его был на Кавказской линии) и двух рот карабинеров, временно передвинутых сюда из Манглиса,— всего около трех тысяч штыков, при двенадцати орудиях легкой роты Кавказской гренадерской артиллерийской бригады.

Начальником всей пограничной линии был тогда командир Тифлисского полка, полковник князь Леонтий Яковлевич Северсамидзе. Это был один из последних представителей старой цициановской школы, человек с несомненно выдающимися боевыми способностями. Уроженец Моздока, сын бедных родителей, он начал службу в Тифлисском полку рядовым, и через двадцать лет без связей и покровительства добился звания полкового командира. Он имел пять ран и был известен своей храбростью еще со времен эриванского штурма при Гудовиче, когда его батальон один вошел на крепостные стены. Из всего этого батальона, как говорили, осталось тогда не больше семидесяти человек, и в том числе был сам Северсамидзе, жестоко, впрочем, израненный. На границе он был незаменимым человеком. Знание местных языков и обычаев, при его личном характере, помогло ему приобрести такое влияние на местное население, что татары и армяне сами приходили к нему для решения своих домашних ссор и споров. Он мирил, наказывал,— и народ безусловно покорялся его приговорам. Как начальник пограничных областей он непосредственно сносился и с карским пашой, и с эриванским сардарем и в их землях имел не только верных лазутчиков, но многих приверженцев. Отсюда непримиримая ненависть к нему эриванского сардаря, не раз подсылавшего наемных убийц, чтобы лишить его жизни. Но Северсамидзе берегла любовь народная, и покушения не имели успеха.

Войска его боготворили. Н.Н. Муравьев (Карский), хорошо знавший Северсамидзе, характеризует его так: “Удивительно, как с малыми средствами достойный офицер этот, проведший всю свою жизнь на границе, умел просветить себя: он судит о местности и военных действиях как самый ученый полководец”. Но в то же время, из разговоров с полковыми командирами в Тифлисе Муравьев вынес убеждение, что Северсамидзе не любит. “Мне кажется,— говорит он,— что тому есть много причин. Князь имеет полк,

известный своей храбростью, управляет пограничной областью и обласкан Ермоловым; этого довольно, чтобы зависть возродилась в других господах. Но, с другой стороны, надобно признаться, впрочем, что князь не скромен и возвышает до небес свою расторопность, храбрость и храбрость своего полка...” Замеченная Муравьевым самонадеянность Северсамидзе, воспитанная долгой привычкой и целым рядом удачных дел, конечно, не должна была остаться без влияния в трудных обстоятельствах того времени.

В таком положении находились боевые средства на границе Эриванского ханства в то время, когда между Россией и Персией шли переговоры о границах и русские войска пытались утвердиться на берегах Гокчинского озера. Переговоры шли, русский посол Меншиков въезжал в Тегеран, известны были всем миролюбивые намерения императора Николая,— и эти обстоятельства удаляли всякую мысль о возможности близкой войны, тем более, что на границах по-видимому, все было спокойно и тихо. Но спокойствие это было обманчиво. И тот, кто внимательно вгляделся бы в положение пограничного с Эриванью края, конечно, заметил бы острое волнение, постепенно охватывавшее тамошние татарские и армянские аулы, которые, при беспрерывных сношениях с Эриванью, могли, разумеется, знать все, что там затевается. Дело в том, что для армян и татар уже не оставалось никакого сомнения, что сардарь готовится с оружием в руках принудить русских отойти от берегов Гокчи. И в то время, когда Северсамидзе, по настояниям Аббаса-Мирзы, был вынужден прекратить даже работы по укреплению Миракского поста, персияне, под видом перевода кочевий, мало-помалу стягивали войска и располагали их на самой русской границе. Конница их подвигалась все ближе и ближе к Миракскому лагерю.

В половине июля стало известно, что против Мирака стоит сам эриванский сардарь с двумя батальонами при шести орудиях и с трехтысячной конницей. Далее, за Балыкчайским постом наблюдала тысячная партия конных карапапахов. Близ озера Гокчи стояла тысячная шайка курдов, а еще далее, в Адиамаке, где проходит дорога на Гумры, раскинулся обширный кавалерийский стан, в котором насчитывали до пяти тысяч конницы под начальством брата эриванского сардаря, знаменитого в Азии наездника Гассан-хана.

Помимо численного превосходства, в особенности конницей, эта персидская армия имела то огромное преимущество, что была сосредоточена, тогда как русские войска были разбиты на мелкие отряды, необходимые для охраны отдельных местностей, так что персияне могли по произволу ударить на любой пункт нашего расположения, нигде не рискуя встретиться со значительными силами. Татары, составлявшие хотя меньшую, но зато более воинственную часть населения Бомбака и Шурагеля, со своей стороны готовились к борьбе,— чаще и чаще происходили их ссоры с армянами. Армяне, боявшиеся разгрома своих аулов, также волновались, настоятельно прося у начальства ружей и пороха. Тревога эта, впрочем, там, где стояли русские отряды, сменялась спокойной уверенностью, что ничего не будет. В воздухе чувствовалась гроза, но никто не предвидел, до какой степени разыграется, да еще и разыграется ли приближающаяся буря. Нужно думать, что не предвидел ничего и сам Северсамидзе, уверенный, что персияне не осмелятся напасть на русские войска, и тем более внезапно, без объявления войны. По крайней мере, 15 июля, когда он прибыл в миракский лагерь, о каких-нибудь приготовлениях к военным действиям с его стороны не было и речи. Но тут-то и разразился громовой удар.

Прежде чем начать, однако, военные действия, сардарь еще раз попытался лишить русские войска их предводителя, которого считал противником для себя весьма опасным.

В Мираке Северсамидзе застал от одного из доверенейших приближенных сардаря, Джафар-Кули-хана, письмо, в котором тот просил начальника пограничных войск прибыть для свидания с ним на назначенное место, лежавшее в нескольких верстах от русского лагеря. Осторожный Северсамидзе отправился туда не один, как делал прежде, а в сопровождении двадцати солдат, и нашел Джафара, окруженного также семью-десятью всадниками. Появление русской пехоты смутило персидского сановника. Джафар до того растерялся, что, сказав лишь несколько ничего не значащих слов, поспешил — уехать. Вслед за ним из-за кустов один по одному стали выскакивать персидские всадники и, беспокойно оглядываясь на русских солдат, уходить к стороне персидского лагеря. Странное явление это и поведение самого Джафара дали повод усомниться в честности его намерений. Послан был лазутчик навести секретные справки, и возвратился с известием, что Джафар приезжал схватить или убить Северсамидзе, за голову которого сардарь обещал три тысячи червонцев. Северсамидзе тотчас послал Джафару записку: “Напрасно, Джафар, беспокоился. Русский государь так велик, что моя смерть для него была бы равна смерти одного солдата; стало быть, о моей голове не стоило тебе и хлопотать”. Весь вечер в лагере толковали об этом странном происшествии. Никому тем не менее и в голову не приходило, что попытка убить Северсамидзе — только прелюдия кровавой войны, которая, начавшись у мазанок ничтожного Мирака, окончится в стенах плененного Тавриза.

Но утро осветило уже кровавые сцены войны. 16 июля, когда солнце только что взошло и в русском лагере еще не успели пробить утреннюю зорю, выстрелы на аванпостах подняли на ноги весь миракский отряд. Прискакал казак с известием, что большие силы пехоты и конницы, с пушками, идут прямо на русские пикеты. Не зная, чему приписать внезапное наступление персидских войск, Северсамидзе послал одного армянина с письмом к эриванскому сардарю, приглашая его остановить беспорядок. Персияне схватили посланного, крича, что хан не имеет нужды вести переговоры с Северсамидзе, что он уполномочен Аббас-Мирзою очистить границы от русских войск. И персидская конница кинулась на русские пикеты. Девять казаков были схвачены, татары сбиты и прогнаны.

Весь миракский отряд, едва насчитывавший в своих рядах шестьсот пятьдесят человек при двух орудиях, стал в ружье. К счастью, артиллерийские лошади были в лагере. Дело в том, что накануне, вместе с Северсамидзе, прибыл в Мирак командир кавказской гренадерской артиллерийской бригады подполковник Долгово-Сабуров, чтобы произвести здесь инспекторский смотр. Это-то обстоятельство и заставило артиллеристов с вечера взять с пастьбы в лагерь всех своих лошадей — счастливая случайность, которой миракский отряд обязан был спасением своих орудий.

В цепи, между тем, началась перестрелка, а за густой завесой персидской конницы уже двигались батальоны сарбазов. Северсамидзе видел, что его хотят втянуть в перестрелку, а тем временем обойти и отрезать от Гумров. Ему ничего не оставалось делать, как снять лагерь и начать отступление. Тогда вся неприятельская конница, видя, что добыча уходит из рук ее, понеслась в обход и успела преградить отряду путь в тесном каменистом ущелье. Приходилось драться. Рота, шедшая в авангарде под личной командой князя, ударила в штыки, сбила персиян и открыла дорогу; но остальной отряд, свернувшись в каре, уже стоял в огне, настигнутый персидской пехотой. Быстро прискакал сюда Северсамидзе, осадил ударом в штыки неприятеля и, пройдя опасное ущелье почти без потери (в отряде были ранены только подполковник Долгово-Сабуров и один рядовой), повернул на гумринскую дорогу. Три тысячи персиян следовали за ним по пятам.

В тот же самый день, когда Северсамидзе должен был оставить Мирак, сильные персидские партии шли по направлению к Большому Караклису и к Балык-чаю. Малочисленные и разбросанные русские посты, застигнутые врасплох, нигде не могли остановить неприятеля и по необходимости должны были отступать. Небольшой казачий пост, выставленный на урочище Сатанагаче, был разбит, а пост на речке Гамзачеванке, в восемнадцати верстах от Большого Караклиса, совершенно вырезан. Там персияне отогнали и табун казенных лошадей Тифлисского полка, изрубив бывшее при нем прикрытие; пятнадцать обезглавленных русских тел, оставшихся на самом месте кровавой катастрофы, показывали, что нападение, по всей вероятности, сделано было на сонных и что спаслись немногие.

Но самое сильное нападение было произведено со стороны Адиамака, где стоял брат эриванского хана, Гассан-Ага, с курдами и карапапахами. Пятитысячная конная партия его, перейдя в русские пределы между горой Алагезом и турецкой границей, бросились грабить и жечь армянские селения по дороге к Гумрам. Истребляя все на своем пути, Гассан-Ага дошел до селения Малый Караклись, лежавшего верстах в двенадцати от границы и в семи-восьми верстах от Гумров. В Караклисе было до семи-десяти армянских дворов и стоял небольшой казачий пост, который, не имея возможности уже отступить в Гумры, отчаянно защищался вместе с жителями. До тридцати лошадей и весь армянский скот были отхвачены персиянами сразу. Селение защищалось несколько часов, даже женщины принимали участие в обороне,— но наконец и казаки, и жители должны были уступить многочисленному неприятелю. Селение уничтожено было огнем, часть жителей истреблена, другая — угнана в плен.

В Гумрах скоро узнали о вторжении. Перестрелка, раздававшаяся весь день по окрестным селениям, слышна была в крепости и ясно говорила о происходящем. Подполковник Дегтярев, стоявший в Гумрах, попытался было помочь несчастному населению и с ротой тифлисцев вышел по направлению к Малому Караклису. Но на пути, навстречу ему, всюду выступали сильные конные отряды врагов, и он, признав себя слишком слабым, чтобы выдержать открытую битву, и опасаясь к тому же возмущения в самих Гумрах, после нескольких выстрелов возвратился в крепость.

Путь персиян обозначался грудами развалин и воплями жителей, и они дошли до Малого Караклиса, не встретив никакого противодействия. Было, однако, одно селение, по имени Харум, лежавшее между персидской границей и Малым Караклисом, верстах в двадцати от Гумр, которое уцелело в этот роковой день, благодаря отважной стойкости своего юзбаши Дели-Хазара.

Повесть об этой смелой защите составляет исключительный эпизод в кровавой драме, разыгравшейся в этом крае и внесенной в историю под именем “последнего” персидского нашествия. Вот что рассказывал впоследствии сам Хазар.

Деревня Харум стояла под горой, усеянной грудами строительного камня, которые свидетельствовали о бывшем тут когда-то значительном поселении. Старожилы, действительно, говорят, что на этом месте был некогда большой армянский город. Огромные плиты, с высеченными на них надписями, вделанные в церковные стены, могли бы многое рассказать о былой старине; но эти любопытные памятники, как и во всей Грузии, еще ожидают исследователей. На горе, да и в самом селении сохранялись старинные полуразрушенные башни, на которые никто из жителей не обращал внимания, но которые именно и спасли селение от общего погрома, постигшего все соседние деревни.

Персидские войска стояли уже на границе, когда Хазару довелось съездить в Эривань — править долг с одного неисправного кредитора, курда. Северсамидзе дал ему письмо к эриванскому сардарю, которого просил оказать свое содействие. В Эривани Хазару сказали, что сардарь выехал в лагерь. Хазар отправился туда и добился-таки свидания с ханом,— очень уже любопытно было узнать последнему, что такое пишет ему враг его, Северсамидзе. Но когда разъяснилось, что дело шло о каком-то ничтожном армянине, сардарь расхохотался и, призвав к себе Хазара, много расспрашивал его о Дели-князе (бешеном князе), как звали в Эривани Северсамидзе за его неукротимую храбрость. В тот же день, шатаясь по лагерю (это было 15 июля, когда на жизнь Северсамидзе было сделано покушение), Хазар случайно подслушал разговор, что к вечеру поджидают курдов и что в ту же ночь войска пойдут на русских. Было о чем призадуматься Хазару. А тут, как нарочно, подошел к нему кредитор и сказал: “Послушай, Хазар, денег тебе я не отдам — не то теперь время; а вот тебе мой совет: беги отсюда скорее; тебя сочли за шпиона, и я слышал, как сардарь приказал надеть на тебя железный ошейник”.

Сначала Хазар подумал было, что это простая уловка должника отделаться от него. Однако, сообразив все виденное и слышанное, он, не теряя минуты, вскочил на коня и помчался из лагеря. Бегство его заметили. Поднялась тревога, и за ним погнались персияне. Ночь наступила темная, а конь под армянином был добрый,— и к утру, в то самое время, как под Мираком раздались первые выстрелы, начавшие персидскую войну, он уже был в Гумрах. Известие, сообщенное им, до того показалось нелепым, что его самого приняли за неловкого персидского шпиона, и гумринский комендант едва не засадил его в яму. Нашлись, однако же, люди, которые знали Хазара, и он был отпущен.

Выпросив у коменданта десять солдат, Хазар, не теряя времени, поспешил в свою деревню, поднял на ноги всех жителей и наскоро исправил одну каменную башню, укрепив ее земляными валами. Едва работы были окончены, как конная шайка куртинов налетела на селение. Видя, что оно укреплено и что меткие пули то и дело снимают их всадников — куртины остановились.

“Вдруг, вижу,— рассказывает Хазар,— из толпы курдов выезжает Халил-хан, мой приятель, с которым не раз приводилось мне иметь дела в Эривани. Слышу, кричит курд, что он начальник партии и зовет меня на переговоры. Я вышел. “Слушай,— сказал Халил,— сдайся; мы не сделаем вам никакого зла, а не то наши не оставят в деревне камня на камне”.

Я задумался. “Постой,— говорю,— я пойду и передам твои слова моим односельчанам. Захотят они сдаться — их воля; не захотят,— не прогневайтесь, берите силой”.

Пошел я, а из моих земляков никто и слушать не хотел о сдаче; все поклялись, что умрут до последнего. Тогда я вошел в башню и крикнул из окна, чтобы Халил отъезжал, не то будем стрелять.

Отъехал он; а минут через десять, глядим,— курды идут на приступ. Халил впереди всех, так и вертится на коне под самой башней. Не выдержал я, крикнул:

“Послушай, Халил-хан, отъезжай, не то будет хуже. Я давно бы убил тебя, да не хочу, помню твою хлеб-соль... Не веришь?.. Смотри...”

Я выстрелил, и Халил покатился наземь. Он-то, ничего, уцелел, а лошадь под ним я убил наповал.

“Вот видишь,— закричал я,— оставь же нас в покое; все равно мы не сдадимся, а пойдете на приступ,— много перебьем ваших”.

Нечего было делать курдам, постояли они, постояли, да и ушли ни с чем; потом уж огляделись мы, а скота да с полдюжины малых ребят не хватает,— видно, как-нибудь попали в куртинские лапы...”

Как только персияне ушли, Хазар поспешил опять в Гумры, чтобы выпросить на защиту деревни ружей и пороха. Но Гумрам уже было не до Харума: крепость сама с часу на час должна была ожидать нападения.

К вечеру 18 июля из Гумр увидели на далеких горах какие-то двигавшиеся массы. Хазар вызвался съездить и узнать, русские ли это или персияне. С большой осторожностью пробрался он оврагами и увидел отряд Северсамидзе, приближавшийся к Малому Караклису, который теперь лежал в развалинах. Хазар пошел вместе с войсками.

“Страшно было смотреть на Караклис,— рассказывал впоследствии Хазар,— когда Дели-князь вошел в несчастное селение. По улицам кровь, обезглавленные, еще не убранные трупы, стоны умирающих и вопли живых, убивавшихся над родными мертвецами. Едва показался русский отряд и впереди Северсамидзе, ехавший на дрожках, как женщины и ребятишки бросились к нему с упреками, что он не успел спасти их. Ожесточение толпы было так велико, что женщины стали кидать в князя камнями, из которых один попал ему в голову. Чтобы защититься от обезумевшего населения, князь спрятался под экипаж и крикнул Хазару: “Да уйми же ты этих дураков! Скажи им, что я не виноват в их разорении. Я сам ничего не знал о кизильбашах; они, не объявляя войны, разбойнически напали на нас, и я, как только управился с сардарем, сейчас же поспешил к ним на помощь. Жалею очень, что опоздал, но клянусь, что отомщу за них”. Странно и смешно было видеть мне,— говорил Хазар,— как этот Дели-князь, богатырь и телом и, душой, никогда ничего не боявшийся, спрятался под дрожки от баб и ребятишек...” С большим трудом растолковал он наконец жителям, в чем дело, и несколько успокоил их.

Из Караклиса отряд двинулся в Гумры. Он вступил в него, однако, уже ввиду трехтысячной персидской конницы и только после шестичасовой перестрелки.

Одновременно с Мираком персияне напали и на Балык-чай, другой передовой пост, на озере Гокче. Гарнизон его, состоявший из роты Тифлисского полка, под командой капитана Переверзева, весь первый день вторжения врагов стоял в огне жаркой перестрелки, а 17-го числа, с самого утра, неприятеле повел уже серьезное нападение. Подавляемый силой, отряд вынужден был начать отступление к Делижанскому ущелью; но на дороге он встретил шедшую к нему на подмогу татарскую конницу и предписание Северсамидзе — отстаивать пост до последней возможности. Он повернул назад и занял опять свое место. Неприятель понес в этот день большие потери; он мог бы быть и совершенно оттеснен от поста, если бы только находившиеся близ Балык-чая на кочевьях казахские татары исполнили свой долг и последовали бы за русским приставом, надворным советником Снежевским; но все увещания последнего остались напрасными: татарские дистанции показывали уже явную наклонность к возмущению, и их кочевья мало-помалу перебирались к персиянам.

А 19 июля война началась уже на границе Карабага.

Так совершилось внезапное вторжение персиян в русские пределы, без соблюдения даже первейших законов международного права, без объявления войны и в то время, когда

русский посол был в Тегеране для улаживания всех спорных вопросов между государствами, теперь вступавшими в войну. Бедствия, нанесенные разбоями персиян безоружному населению, были ужасны. Официальные источники того времени говорят, правда, что, при всей стремительности внезапного нападения, персияне успели увести в плен не более девятисот душ армян — цифра все-таки страшная,— а что остальные успели спастись; но современники-очевидцы говорят нечто иное. По их словам, в одном только Малом Караклисе неприятель захватил до тысячи двухсот душ, вырезав большую часть остального населения, а в других деревнях, сверх тысяч пленных, захватил многочисленные стада. Началось поголовное бегство жителей: одни уходили за Безобдал, в Джалал-Оглы и Гергеры, на Лорийскую степь; другие искали спасения в пределах соседней Турции. Не. лишнее сказать, что в Турцию же ушла и деревня Харум, предводимая Хазаром. Впоследствии, по окончании войны, она воротилась на старое пепелище, но имя ее навсегда исчезло с карты края: жители, в честь своего отважного старшины, назвали новое поселение Хазар-Абадом, и имя это деревня сохраняет поныне.

Не счастливее отозвалось внезапное нападение и на войсках русских,— война началась для них общим отступлением. В историках того времени замечается склонность приписывать бедствия, постигшие тогда край, вине Северсамидзе. Грузин по происхождению, отлично знавший туземные языки и характер населения, он — говорят — имел возможность наблюдать за всем, что делалось в Эриванском ханстве, и знать о сборе персиян на границе; а между тем никаких мер ни к сосредоточению войск, ни к лучшему обеспечению русских постов им принято не было: он дал захватить себя совершенно врасплох и позволил персиянам “одержать успехи, не соответствовавшие ни свойствам неприятеля, ни своей известной боевой репутации”.

Сосредоточь только Северсамидзе весь свой отряд,— говорят обвинители,— и под ружьем у него оказалось бы до трех тысяч храбрых кавказских солдат,— сила с которой за пятнадцать-двадцать лет назад тот же Северсамидзе ходил против огромных персидских и турецких полчищ. Но эта сила перестала быть силой, когда, раздробленная на части, она засела в укрепление, вынужденная беспомощно смотреть на то, как гибла страна, пылали деревни и кровь текла повсюду. Это тем справедливее,— прибавляют они,— что обвинять войска ни в чем невозможно. Только обстоятельства вынуждали их отступать, но они в высшей степени проникнуты были воинственным духом; в рядах их было много сподвижников Карягина и Котляревского, горевших нетерпением вступить в решительный бой с врагами, знакомыми им, и поучить молодых, как надо управляться в битвах с персиянами. И они дрались, как львы, подавляемые только массами врагов.

Не нужно, однако, забывать, что близость войск эриванского сардаря, при тогдашних политических обстоятельствах, естественно и просто могла быть почтена демонстрацией, имевшей целью склонить ход переговоров в пользу Персии, и ни в каком случае не давала повода подозревать в персиянах намерение, разбойнически и с крайней опасностью для самой же Персии, напасть на Россию. Недаром Нессельроде не мог даже и представить себе подобного неблагоразумия со стороны шаха, в противоположность опасениям Ермолова.

С другой стороны, Северсамидзе имел в своем распоряжении весьма недостаточное количество войск, особенно подвижной артиллерии, чтобы оказать серьезное сопротивление конным массам персиян. Сосредоточить весь свой отряд в один какой-либо пункт без достаточных оснований, без предположения о немедленном открытии военных действий, значило бы не только открыть границы для разбоев пограничных кочевников Персии и Турции, но и подвергнуть всю страну опасности внутренних смут и восстания мусульман. Против этого находят возражение в том, что во всей стране мусульманское

население было в меньшинстве. В Шурагеле, например, в его шестнадцати селениях, на пятьсот сорок семь армянских дворов считалось только сто семьдесят шесть татарских, а в Бомбаках в двадцати двух селениях, на пятьсот сорок семь дворов первых приходилось двести восемь последних. В общем, татары, таким образом, составляли, значит, около трети жителей. Но христианское население состояло из мирных граждан, в то время, как каждый татарин был прирожденный воин, и возмущение этой воинственной трети населения могло бы нанести несравненно страшнейшие бедствия для страны, чем какие нанесло вторжение персиян, при охране ее русскими отрядами.

Традиционное обвинение Северсамидзе и Ермолова далеко не согласно с фактами. Неудачи, постигшие русские войска, конечно, давали к нему повод, которым и воспользовался вполне Паскевич, положивший начало пристрастному отношению к событиям тогдашнего времени. Но неудачи являлись необходимым следствием обстоятельств, возникших не по вине Ермолова. Император Николай из ряда фактов вывел впоследствии совершенно справедливое заключение, “что персияне русских превосходством сил одолевали”; но это заключение само собой и опровергает упрек Ермолову, что не было сделано “никаких приготовлений к предвиденным военным обстоятельствам”, особенно после того, как все представления его о возможности войны и необходимости усилить Кавказский корпус были почтены незаслуживающими веры. Ему помешали укрепить даже ничтожный Мирак, не говоря уже о движении на границу новых войск, которое было бы принято прямо вызовом войны со стороны Ермолова. И Ермолов имел полное право писать государю, что “репутация его не должна терпеть или от не благоволения к нему лично министра, или от совершенного невежества этого министра относительно дел здешней страны и Персии”. Возможность войны, вопреки донесениям с места, отвергалась в Петербурге до самого момента ее, почему и не следует обвинять в непредусмотрительности и неподготовленности тех, кто все предвидел и только не мог воспользоваться своей предусмотрительностью.

Таким образом, несчастное начало персидской войны было скорее и более всего результатом недоверия к Ермолову.

III. НА ЭРИВАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Ермолов 18 июля 1826 года получил в Тифлисе первые известия о вторжении персиян со стороны Эривани. Была ли это настоящая война или только пограничное столкновение по недоразумениям — оставалось для него при тогдашних обстоятельствах открытым вопросом. Известие было тем тревожнее, что оно шло не от Северсамидзе как начальника пограничного края, а от командовавшего артиллерийской ротой в Большом Караклисе подполковника Флиге, писавшего к тому же в своем донесении, что о Северсамидзе, находившемся в Мираке в самый момент нападения персиян на это урочище, нет никаких известий.

Ермолов отправил к Северсамидзе немедленно приказание удерживать только Большой Караклис, чтобы не оставить врагам свободный вход через ущелье в Бомбакскую область да Балык-чай, на Гокче, защищавший путь в татарские дистанции; в Гумрах же оставить только две роты карабинерного полка налегке, а все тяжести и пушки перевезти из него в Большой Караклис. В то же время, беспокоясь за судьбу Северсамидзе, он приказал командиру карабинерного полка, полковнику Муравьеву, немедленно ехать в Большой Караклис и, если Северсамидзе там нет, вступить в командование его войсками. А на другой день, 19 июля, озабоченный тревожным положением дел на эриванской границе, Ермолов двинул из Белого Ключа на Каменную речку сводный батальон из двух рот карабинерного и двух рот сорок первого егерского полков, с четырьмя орудиями, лично

назначив командовать этим отрядом майора Кошутина, которого он знал как одного из лучших штаб-офицеров Кавказского корпуса.

Северсамидзе получил между тем предписание Ермолова в Гумрах, когда кругом, по всей стране, ходили огромные толпы персидской конницы. Он не решился, среди очевидных опасностей, перевозить в Караклис громоздкие обозы и, вопреки приказаниям Ермолова, оставил их в Гумрах с двумя карабинерными ротами и четырьмя орудиями, под командой Флигель-адъютанта полковника барона Фридрикса; сам же с остальными ротами перешел в Большой Караклис, где, таким образом, и сосредоточилось почти два батальона Тифлисского пехотного полка. Неприятель, заметив это передвижение, тотчас обложил Гумры тесной блокадой. Война приняла со стороны русских войск резко оборонительный характер. Отряды стояли на своих постах, защищаясь от вражеских нападений и отказавшись от всяких наступательных действий. Персияне, со своей стороны, наводнили большими конными партиями пограничные провинции; все сообщения между Амамлами, Караклисом, Бекантом, Гумрами и Гергерами были прерваны.

В действиях персиян, к счастью, не оказалось, однако, ни энергии, ни решительности. Если они еще и могли колебаться напасть на Караклис, где собраны были сравнительно значительные силы, то небольшие посты в Балык-чае, Амамлах, Беканте и Гергерах были настолько слабы, что не могли бы устоять против энергичного нападения многочисленного неприятеля. А в случае их взятия положение Караклиса и Гумров становилось также почти безнадежным. “В таком положении,— говорит сам Ермолов в одном из своих донесений,— не трудно было персиянам каждый из постов преодолеть поодиночке”. И тем не менее почти вся вторая половина июля прошла, а ни один из постов взят персиянами не был.

Разбросанность русских войск теперь становилась важной и с каждым днем более и более опасной ошибкой. Окруженные плотной стеной персидских отрядов, посты перестали быть полезными для защиты края, а каждая попытка выйти из блокады оканчивалась бедой. Известен целый ряд событий, показывающий, до какой степени было фальшиво положение войск в Бомбаках и Шурагеле.

26 июля русский отряд в сто шестьдесят шесть человек Тифлисского полка шел к Балык-чаю, прикрывая отправленный туда из Караклиса артиллерийский транспорт. Его встретил сильный отряд персидской пехоты и преградил ему путь. Командовавший тифлисцами штабс-капитан Воронков смело повел роту в штыки и сбил персиян. Но на подмогу к ним немедленно явилась многочисленная конница и атаковала отряд со всех сторон. Тифлисцы мужественно отражали нападения, но идти дальше, под постоянными натисками врагов, не могли,— и Воронков решился свернуть с дороги вправо к густому лесу, чтобы укрепиться в его опушке. Но и к лесу путь преграждался сильной толпой неприятельской кавалерии. Смелый натиск в штыки заставил ее, однако же, раздвинуться.— Но едва Воронков вступил в лесную опушку, как безмолвный дотоле лес вдруг оживился,— и рота тифлисцев была со всех сторон охвачена тысячным батальоном сарбазов. Условия борьбы становились слишком неравным. Не желая помрачить славы старого Тифлисского полка, русские солдаты держались до тех пор, пока не истратили всех своих патронов. Тогда они бросились в штыки — и, подавленная многочисленным врагом, рота погибла. Храбрый Воронков, тяжело израненный, был взят в плен; поручику Попову и инженерному прапорщику Хрупову персияне отрезали головы. Сто тринадцать человек геройской смертью запечатлели подвиг, который Тифлисский полк с гордостью внес в свою боевую хронику. Сорок человек, однако, штыками проложили себе дорогу в чащу леса и поодиночке пробрались в Караклис вестниками гибели своих храбрых

товарищей. В плен, кроме Воронкова, попали только семнадцать человек, но все тяжело израненные.

Причину этого несчастья приписывают измене казахских татар, которые, указав Воронкову ложный путь, навели его прямо на неприятеля, причем часть их обратила оружие против отряда, в то время как остальные ускакали при первых выстрелах.

В тот же самый день неудача постигла другой русский отряд,— на Лорийской степи, где татарское население, составлявшее ничтожное меньшинство, показывало, однако же, склонность к возмущению.

Дело было так:

Из одной тамошней армянской деревни Северсамидзе дали знать, что несколько татар приготовляются бежать и присоединиться к персиянам. Северсамидзе с вечера отправил туда тридцать человек Тифлисского полка и шестьдесят конных армян, под командой поручика Мочабелова, приказав непременно привести беглецов вместе с семействами к Караклису. Татары встретили Мочабелова, по-видимому, совершенно спокойно, они просили его разместить солдат по квартирам и даже предлагали радушное угощение, обещая, что утром, вместе с семьями, охотно пойдут в Карак-лис. Мочабелов, опасаясь измены, не принял предложения татар и стал бивуаком в полуверсте от деревни. Осторожность оказалась не лишней. Едва начало светать, как на деревню нагрянула персидская конница. Отряду пришлось засесть в камыши и отстреливаться. Сам Мочабелов был ранен в руку и в бок; один унтер-офицер убит; а пока тянулась перестрелка, татары собрались в путь,— и персидский отряд увел их с собой.

28 числа новое происшествие. Рано утром в Караклис дали знать, что небольшой отряд персиян ведет партию татар к Амамлам. Князь немедленно выступил сам с небольшой командой в селение Кишлак, миновать который персиянам было нельзя. С дороги он отделил тридцать человек и пятьдесят борчалинских татар, под командой подпоручика князя Чавчавадзе, на Безобдал, чтобы зайти персиянам в тыл, а сам остался всего с семьюдесятью солдатами при одном орудии. Скоро Северсамидзе убедился, что ему придется иметь дело не с ничтожным отрядом: огромные толпы персидской конницы, подвозившие с собой и пеших сарбазов, спускались с гор к Кишлаку. Князь начал ретироваться, но и отступать приходилось уже с боем. Персияне преследовали его до самого Караклиса и сожгли несколько копен хлеба и хутор всего в версте от укрепления. Кишлак также был предан огню.

А между тем команда Чавчавадзе, посланная в тыл неприятелю, поднялась на Безобдал; но тут она очутилась лицом к лицу с персидской конницей и в жаркой схватке была истреблена. Ночью в Караклис прискакал только сам Чавчавадзе с девятнадцатью татарами,— все остальные погибли.

На следующий день новая тревога вызвала Северсамидзе опять из Караклиса. На этот раз силы неприятеля были еще значительнее: конный двухтысячный персидский отряд спускался перед ним прямо с Безобдала, от Лори, другая конная же партия стояла на дороге от Безобдала к Кишлаку, а окрестные возвышенности были усеяны пешими сарбазами. Князь отошел к Караклису, который стал приводить в оборонительное состояние.

Положение русских войск в Бомбаке и Шурагели становилось, таким образом, все затруднительнее и затруднительнее: удерживать отдельные посты было невозможно,— и

первым сдан персиянам пост Балыкчайский. Когда дошла туда весть об истреблении отряда Воронкова и захвате персиянами шедшего с ним артиллерийского транспорта, в котором пост так нуждался,— храбрый капитан Переверзев, не имея чем защищаться, приказал готовиться к отступлению. В ночь на 28 июля, под шумные пирования персиян, праздновавших гибель Воронковского отряда как большую победу, Балыкчайский гарнизон тихо вышел с поста и, счастливо пробравшись мимо неприятеля, ушел в Караклис.

С падением Балыкчайского поста, вход в татарские дистанции был открыт, и непосредственным результатом этого было явное восстание казахских татар, так что пристав их, Снеженский, едва успел спастись, и то благодаря лишь нескольким преданным ему армянам. Открыто изменили России Борчала, Шамшадиль и Елизаветполь; Шуша была в блокаде, ходили слухи о колебании умов в Дагестане, о возмущении джарцев, о значительных сборах турецких войск в Анапе, Поти и Ахалцыхе; русский посол, как стало известно, задержан в Эривани. Все подобные Факты, слухи и известия усложняли и без того критическое положение дел. Защищать опорные пункты Бомбака и Шурагеля, рискуя разрозненностью войск, которой мог воспользоваться неприятель, после сдачи Балык-чая стало и невозможным, и ненужным. Ермолов решил отвести войска за Безобдал с тем, чтобы соединить их в Гергерах и Джалал-Оглы, на речке Каменке, и тем прикрыть Грузию.

Каменка, окрещенная так русскими, называлась прежде Джалал-Огль-Чай, но ныне даже туземцам известна под русским именем,— до такой степени оно пристало к ней. Образуемая соединением в Мокрых горах двух горных потоков, Джилги и Черной, и пересекая степь на протяжении двадцати четырех верст, она, до самого впадения в Бомбак, почти недоступна для переправы, по чрезвычайной высоте и крутизне своих берегов. Представьте себе глубокую скалистую трещину, по дну которой с быстротой каскада разливается по камням и рокочет горная речка. Чтобы перейти эту пропасть, более чем в тридцать саженей глубиной, надо спускаться извилистой тропой почти по отвесной стене, с тем чтобы, перебравшись с неимоверными трудностями через быструю речку, снова карабкаться уже наверх на такую же стену, усеянную торчащими из нее большими и малыми каменьями. Эта глубокая пропасть посреди совершенно ровной местности выдолблена в каменистом грунте в течение многих веков быстротой горных вод и поражает глаз. На единственно удобном для переправы месте через эту речку, на равнине, почти у самой подошвы Безобдальского хребта, и лежит урочище Ажалал-Оглы, названное так, если верить старожилам-армянам, по имени жившего здесь когда-то в стародавние годы татарского наездника, надолго заронившего в народе память о себе. Заняв этот важный стратегический пункт, русские войска владели ключом, запиравшим вход в Грузию.

Но и отступление за Безобдал, на этот важный пункт, совершилось не без препятствий, так как отряды, охранявшие посты в Бомбаках, совершенно лишены были свободы действий, и самые предписания Ермолова перехватывались персиянами. Так именно случилось в Гумрах, куда два предписания его об отступлении вовсе не дошли. А положение гумринского гарнизона между тем с каждым днем становилось труднее. В этой крепости, имевшей большое стратегическое значение при каждой войне с персиянами и турками, вовсе не было заготовлено провианта, и скудного количества хлеба, найденного в его магазинах, не хватило даже на две недели для продовольствия двух карабинерных рот. Солдаты голодали. К счастью, именно то обстоятельство, что персияне перехватили ермоловские предписания, и послужило в их пользу. Неприятель, справедливо рассчитал, что русский гарнизон не оставит крепости без приказания,— ослабил блокаду. Солдаты воспользовались этим и стали производить фуражировки: они выходили по ночам на

прилегавшие к крепости обывательские поля и собирали с них хлеб, достаточный, по крайней мере, для их дневного пропитания. Так изб дня в день и перебивался гумринский гарнизон.

Ночью на 31 июля, в крепость пробрался, наконец лазутчик и доставил Фридриксу третье предписание Ермолова об отступлении. Ночь случилась темная; страшная буря с грозой и ливнем разразилась над окрестностью. В эту-то ночь небольшой русский отряд, оставив в укреплении все лишние тяжести,— и тем не менее все-таки с обозом в тысячу двести арб,— приготовился к отступлению. В непроницаемой тьме, при грозном завывании бури и раскатах грома, осторожно двинулись войска за проводником, который благополучно и провел их мимо персидских караулов. Беспечность неприятеля была так велика, что отступление русских было замечено только тогда, когда отряд был уже далеко и миновал самые опасные горные проходы. Он отошел уже верст двадцать, когда его арьергард был наконец настигнут неприятелем. Трудно сказать, удалось ли бы двум истощенным ротам отстоять громадный обоз, если бы нежданно-негаданно не появился на помощь свежий батальон с четырьмя орудиями.

Это был тот самый батальон, который послал Ермолов еще 19 июля, под начальством майора Кошутина, на помощь войскам эриванской границы.

Достигнув Каменной речки, Кошутин получил обстоятельные сведения о том, что происходит по ту сторону Безобдальских гор, и, бросив в Джалал-Оглы обоз, двинулся дальше. И днем, и ночью, останавливаясь лишь на короткие привалы, шел он на выручку осажденным однополчанам в Гумрах,— поспел как раз вовремя. Прибытие свежего батальона заставило неприятеля остановиться. Отряд не потерял из огромного обоза ни одной арбы и, присоединив к себе по дороге посты, стоявшие в Беканте и Амамлах, благополучно пришел в Большой Караклис.

Таким образом, все войска, защищавшие Бомбакскую провинцию, соединились в Караклисе, с тем чтобы всей массой передвинуться за Базобдал. Князь Северсамидзе, однако же, не буквально исполнил приказание Ермолова; он отправил две роты егерей с двумя орудиями занять перевал на Безобдале, две роты со взводом артиллерии — в Гергеры, две роты, с большей частью казачьего полка и также с двумя, орудиями,— в Джалал-Оглы, а сам с остальными войсками держался еще за Безобдалом: три роты с тремя орудиями стояли в Кишлаке, шесть рот с семью орудиями, казачьей сотней и конной армянской милицией, занимали Большой Караклис. Желание сохранить полковые строения, воздвигнутые в Большом Караклисе многолетними трудами солдат, заставило князя медлить отступлением; он еще надеялся, что высшее начальство, узнав о совершенной безопасности, в которой находились войска в Караклисе, переменит намерение оставить это селение — последний пункт, остававшийся в руках русских в провинциях Бомбакской и Шурагельской.

Это заставило Ермолова послать новое предписание: отступать немедленно и стать в оборонительное положение на Каменной речке, укрепив, насколько позволят средства и время, Гергеры и Джалал-Оглы. “Вы держитесь за Безобдалом,— писал он Северсамидзе,— и не видите в том вашей непростительной вины: вы разбросали войска, когда надо иметь их вместе и на крепкой позиции”.

После этого предписания войскам приказано было готовиться к отступлению. Весть об этом быстро облетела окрестности, и все армянские селения, еще остававшиеся в Бомбаках, покинув скот и имущество на разграбление персиянам, массами бросились или в Турцию, или, кто мог это сделать, под прикрытие караклисского отряда.

9-го августа, предав огню все полковые строения и вещи, которых нельзя было забрать с собой, и прикрывая громадный войсковой и обывательский обозы, войска потянулись из Караклиса к Безобдалу. Персидская конница, кружившаяся все время около Караклиса, видя отступающие русские войска, подняла радостную джигитовку. Полковник Муравьев не мог стерпеть этого торжествующего ликования врага; он рассыпал стрелковую цепь, и “меткие выстрелы карабинеров охладили дикие порывы всадников”. Джигитовка стоила персиянам более тридцати человек убитыми. С отступлением Северсамидзе Бомбакская долина и Шурагель совершенно переходили во власть персиян; но эти провинции представляли собой теперь мертвую пустыню, усеянную следами еще недавно процветавшей здесь мирной жизни, и только военные клики бродящих по местам персидских шаек нарушали безмолвие опустелой страны.

Был уже поздний час вечера, когда авангард и головные части колонны поднялись на Безобдал; но огромный обоз, конвоируемый остальными войсками, растянулся на несколько верст и, застигнутый темной ночью в горных ущельях, вынужден был заночевать в виду неприятеля. Положение являлось в высшей степени опасным. К счастью, персияне не рискнули на ночное нападение и ограничились только ружейными выстрелами, которые в темноте не причинили никакого вреда.

10-го августа последняя русская повозка перевалила за хребет, и войска заняли Гергеры и Джалал-Оглы. Таким образом здесь сосредоточилось пятнадцать рот пехоты, шестнадцать орудий и казачий полк; особо, в виде резерва, обеспечивая сообщение с Тифлисом через Акзабиюкские горы, расположился батальон Херсонского полка с четырьмя орудиями. Войска вздохнули свободно. Перед ними, верстах в десяти, вставал заоблачный, серебристый хребет Безобдала, за ними — расстилалась роскошная Дорийская степь, уже тогда довольно густо населенная армянами, выходцами из Турции и Эриванского ханства.

Быстро закипела постройка джалалоглынского укрепления. А неприятель между тем подвигался вперед и поставил свои передовые посты на вершинах Безобдала. Персияне, конечно, не могли предпринять ничего серьезного против сильного, русского отряда, стоявшего в крепкой позиции, но мелкие партии их, то спускаясь напрямик со скал Безобдала, то перебираясь через Мокрые горы, тревожили Лорийскую степь. Не раз борчалинские татары, из тех, что находились в персидском стане, пытались пробираться к своим единоземцам, чтобы доставить им возмутительные прокламации эриванского сардаря. Один из таких шпионов был пойман армянами в самых окрестностях Джалал-Оглы и повешен.

Еще войска не успели установиться лагерем, а казаки имели уже небольшую схватку с куртинской конницей. 11 августа, часов в десять утра, с пикета, стоявшего на амамлынской дороге, дали знать, что показались курды. Пятнадцать казаков, с майором Басовым во главе, отправились открывать неприятеля; но едва они выехали из оврага, где протекает Черная речка, как лицом к лицу столкнулись с двадцатью куртинскими всадниками. Курды стали подаваться назад. Опытный Басов сметил, что это недаром,— и в обман не дался. Восточные наездники, превосходившие донцов подвижностью и ловкостью, всегда нападали сами и, конечно, не стали бы отступать перед малочисленным противником. Басов приказал казакам держать ухо востро и не увлекаться погоней. Казаки действовали прекрасно: едва приближались куртинцы — они бросались в пики; поворачивали куртинцы назад — и казаки останавливались. К вечеру Басов отошел в лагерь, потеряв двух человек ранеными. Позднее выяснилось, что верстах в десяти от места стычки, действительно, стояло в засаде пятьсот человек курдов, только и ждавших, чтобы казаки подальше отошли от лагеря.

На следующую ночь — опять тревога. Необычайный шум и выстрелы в армянских аулах, раскинутых по ту сторону речки, подняли на ноги весь отряд. Полковник Муравьев с ротой карабинеров и одним орудием тотчас выступил из лагеря на помощь. Но тревога оказалась фальшивой; армянам представилось, что кто-то подкрадываемся к их деревням, и они подняли перестрелку.

14 числа, около полудня, персияне, внезапно спустившись с гор, едва-едва не отрезали казачий пикет, стоявший на первом уступе Безобдала. Казаки успели, однако, отступить к пехоте, скрытой в лесу, и курды остановились.

Все подобные мелкие случаи убедительно показывали, что пока неприятель будет держаться[1] в таком близком расстоянии от русского лагеря — тревоги будут ежедневные. Полковник Фридрикс получил приказание сбить неприятельские посты с вершин Безобдала. Посланная с этой целью рота в темную ночь успела обойти сильный неприятельский пикет с двух сторон и, по условному сигналу, разом бросилась на белевшиеся перед ней балаганы. Удар пришелся, однако, в воздух: балаганы оказались пустые, пикет был спущен гораздо ниже и при суматохе успел ускакать благополучно. Но тревога тем не менее поднялась во всем персидском лагере, дошла даже до Кишлака, и сам Гассан-хан, как говорят, скакал до Амамлов, спасаясь от воображаемого врага.

К бедствиям войны с Персией присоединились в это время разбои со стороны турецкой границы. Первой и самой страшной жертвой их стала богатая Екатеринфельдская колония. Еще 13 августа князь Северсамидзе получил от армян известие, что какая-то сильная конная партия прошла от Мокрых гор к стороне Башкечета. Башкечет лежит уже по ту сторону Акзабикжских гор, вне района Бомбако-Шурагельской провинции и действий Северсамидзе. Поэтому князь, вероятно, рассчитал, что против этой партии будут высланы войска из Тифлиса, и, со своей стороны, не принял никаких мер к ее преследованию. Это оказалось ошибкой, и ошибкой, имевшей страшные последствия.

Тысячная партия курдов окружила на рассвете 14 числа Екатеринфельдскую колонию, лежавшую в Борчалинской дистанции, всего в пятидесяти верстах от Тифлиса, и произвела в ней ужасную резню. Колонисты были, правда, снабжены от правительства ружьями и порохом, но внезапное появление разбойников и самый вид свирепых курдов поразили таким ужасом миролюбивых немцев, что никто из них и не пробовал даже защищаться. В официальных донесениях значится, что в колонии убито было двадцать девять человек мужчин и женщин; но по свидетельству миссионера Зальцмана, очевидца кровавой ночи, было зарезано не менее семидесяти молодых людей и стариков и сто сорок душ, по преимуществу женщин, увлечены в неволю. Не более двухсот сорока человек из всего населения спаслось от гибели, укрывшись в ущельях и кустарниках по берегу Храма, но и те лишились крова и имущества. Чистенькая, опрятная колония обращена была в пепел, поля истоптаны копытами куртинских коней.

На другой день, 15 августа, известие об этой катастрофе дошло до Тифлиса. Но высланный оттуда Донской казачий полк и две роты пехоты, под командой полковника Костина, нашли только развалины колонии,— и никакого другого следа неприятеля.

На Северсамидзе, в глазах многих современников, да и позднейших военных историков, с этим фактом легло тяжелое обвинение в неподании помощи несчастной колонии. Но легко видеть, что самое положение Северсамидзе извиняет, если совершенно не оправдывает его. Не об одном только движении врагов к Башкечету он должен был получить в этот день известия, а целый ряд подобных. И если уже ему приходилось бы выбирать пункт, на котором следовало оказать сопротивление, то во всяком случае не тот,

который лежал вне его заведования и даже вне района военных действий. Он должен был предоставить действовать там — тамошним войскам. В противном случае, когда он, встревоженный несколькими такими сведениями, разослал бы свои войска в разные стороны, а стоявшие перед ним огромные персидские толпы воспользовались бы тем и нанесли его собственному, обессиленному отряду серьезное поражение,— он также не избежал бы обвинения. Но то было бы ухе обвинение резонное и тяжкое, в упущении из виду главной цели по поводу посторонних и мелких случайностей.

А были между тем и настоящие виновные в гибели несчастной колонии.

Есть известие, что во время разгрома Екатеринфельда, всего в десяти верстах от него, на Белом Ключе, находился батальон сорок первого егерского полка со своим командиром, полковником Авенариусом. Он еще накануне был предуведомлен о готовящемся нападении, но также не принял никаких мер к спасению несчастных жителей. Рассказывают, что, уже в самый момент разгрома, один из немцев, успевших бежать, просил его о помощи. Командир Донского полка, полковник Леонов, сам предлагал ему двести казачьих лошадей, с тем чтобы посадить на них пехоту и вместе с казаками напасть на неприятеля. Авенариус отклонил и это предложение, оставив несчастную колонию ее страшной участи.

Но в то время, когда в десяти верстах от места катастрофы бездействовали значительные силы, была попытка помочь населению совершенно с другой стороны. Борчалинский пристав, князь Орбелиани, находился в этот день в Шулаверах, в тридцати верстах от колонии, и при первом известии о нападении на нее поскакал туда с двенадцатью грузинами. Недалеко от колонии он был, однако, окружен куртинами. Не рассчитывая более на лошадей, измученных тридцативерстной скачкой, грузины спешились и заняли высоту, ограниченную с одной стороны крутым лесистым обрывом. Отчаянно защищались здесь храбрецы. Но из двенадцати человек — шесть были убиты, и положение стало критическим. К счастью, когда куртины спешились и уже готовились взять позицию приступом, Орбелиани выстрелом из ружья убил их предводителя. Куртины с воем бросились к трупу, а пока его подняли, Орбелиани со своими грузинами спрыгнул в овраг и скрылся в густом, колючем кустарнике.

Разграбленная колония догорала, когда к ней подошла сильная грузинская милиция. Отважный Орбелиани тотчас повел ее преследовать хищников. Партия была уже в виду, и, может быть, смелый натиск освободил бы хоть нескольких несчастных пленных, взывавших о помощи; но убеждение в неодолимости куртинской конницы так глубоко внедрено было в жителях Грузии, что Орбелиани решительно ничего не мог сделать, чтобы заставить свое ополчение броситься в сабли.

Хищники так и ушли безнаказанно. Между тем, если бы Авенариус воспользовался предложением Леонова, его батальон наверное успел бы отрезать неприятеля хотя бы в Шиндлярах, куда куртины прибыли только на следующий день, ухе гораздо заполдень. Обремененные добычей, они сбились ночью с дороги, долго блуждали по дремучему лесу и, наконец, выбравшись к селению Квеши, опять потеряли много времени на бесполезную борьбу с горстью казаков. Дело в том, что в одной из каменных саклей, в Квешах, помещалась команда из восьми донцов Леонова полка, оставленная здесь с полковым имуществом. Курды, считая их верной добычей, бросились было к дверям; но залп из ружей сразу обескуражил нападающих,— они смешались, отхлынули назад, и несколько трупов осталось на месте. Напрасно, стараясь возбудить в себе остывшую храбрость, они кричали и гикали. В ответ им, из окон, превращенных казаками в бойницы, летели выстрелы, и курды один за другим падали. Целые залпы из сотен ружей не причиняли

казакам особого вреда, так как каменные стены были прочны и пули могли влетать лишь в отверстия окон. Но в конце концов из числа защитников все-таки один был убит и двое ранены; остальные пять поклялись друг другу не сдаваться, пока будут живы... Несколько часов, среди ночного мрака, длилась перестрелка. Но вот показался рассвет. Курды спохватились, что их могут настигнуть русские отряды, и со стыдом отступили.

Геройская оборона в Квешах представляет собой отраднейший эпизод этого тяжелого, смутного времени в Кавказском крае. К сожалению, ни в официальных сведениях, ни в записках современников не сохранилось ни одного имени из этой славной горсти защитников, сумевших смело взглянуть в очи близкой гибели, но именно тем и избежавших ее.

Впоследствии сделалось достоверно известным, что большая часть пленных из Екатеринфельдской колонии очутилась в Ахалцыхе, переслана потом в Поти, а оттуда в Константинополь и Смирну на тамошние рынки, где окончательно и затерялся их след. Эти-то обстоятельства и выяснили вполне, что нападавшая на колонию партия состояла не из персиян, а преимущественно из турецких курдов, которые не преминули воспользоваться замешательством, естественно возникшим в стране в первое время персидского вторжения.

Разгром немецкой колонии показал, как доступны были тогда для врагов русские пределы, по ограниченности оберегавших их войск. Нужно сказать, что даже батальон Херсонского полка, стоявший, как было сказано, с четырьмя орудиями на перевале через Акзабиюк и охранявший сообщение с Тифлисом, за несколько дней до катастрофы получил приказание передвинуться оттуда на речку Акстафу, в Казахскую дистанцию. Батальон ушел, а заместить его в этом важном пункте было не из чего, и тыл джалалоглынского лагеря был совершенно открыт. К счастью, эриванский сардарь, предоставив своей коннице действовать, сам с главными силами спокойно стоял около Гокчи, выжидая время, когда Аббас-Мирза возьмет Елизаветполь и оттуда поведет наступление к Тифлису: только тогда рассчитывал действовать и сардарь.

А между тем конница, выдвинутая им на границу Самхетии, также держала себя настолько скромно, что в течение почти целого месяца ничем не проявила особенного стремления к какому-либо отважному, залетному набегу. Но пример, данный турецкими курдами, и отсутствие батальона в Акзабиюкских горах расшевелили наконец и ее: она решилась со своей стороны внести разгром на Лорийскую степь, в тылу русского лагеря. Это случилось 1 сентября, в тот самый день, когда князь Меншиков, благополучно избежав засады, прибыл из Эривани в Джалал-Оглы, и Гассан-хан, не успевший захватить его в дороге, рассчитывал, что встреча посла и празднества, даваемые в честь его, отвлекут внимание русских и ослабят их бдительность. И вот, в ночь на 2 число, трехтысячная персидская конница спустилась с Безобдала и пронеслась, опустошая Дорийскую степь, от Каменной речки вплоть до гор Акзабиюкских. Там, верстах в шести от Сомийского поста, стояла небогатая греческая колония,— персияне обрушились на нее всей своей массой. Деревня была разорена совершенно, греки частью изрублены, частью захвачены в плен. Этой колонии суждено было сделаться последней жертвой персидского варварства: далее ее нашествие в течение всей войны уже не доходило.

Нападение на Лорийскую степь не обошлось, однако, даром и персиянам. 2 сентября, часу в восьмом утра, необыкновенный шум и выстрелы по ту сторону речки возвестили русским войскам, стоявшим у Джалал-Оглы, о появлении неприятеля. В лагере ударили тревогу. Подполковник Андреев со своими казаками первый поскакал в ту сторону, откуда раздавались выстрелы, и, с небольшим в версте от лагеря, наткнулся на небольшую

конную партию, уже возвращавшуюся с Дорийской степи. При виде казаков персияне бросили было добычу. Но со стороны Акзабиюка показалась другая сильная партия, и казаки, поставленные между двух огней, в свою очередь очутились в критическом положении. Курды стремительно ударили на них в дротики. Донцы были сбиты с поля и в беспорядке поскакали назад.

К счастью, в это самое время полковник Муравьев, с тремя карабинерными ротами и двумя орудиями, уже перешел через Каменную. При его появлении, неприятель бросил казаков и стал отступать, заботясь о том, чтобы сохранить отбитую добычу. Особый неприятельский отряд занял скалистую гору, у старой церкви Матур, на левом берегу реки Джилги, в пяти-шести верстах от Джалал-Оглы, и прикрыл отступление; но ему пришлось стать искупительной жертвой за кровавый набег.

Крепкая горная позиция неприятеля не остановила Муравьева. Рота, с майором Кошутиным, пошла в обход; другие две повели наступление с фронта, и перед одной из них, седьмой карабинерной, шел сам Меншиков, изъявивший желание разделить опасность с храбрыми кавказскими войсками. Воодушевленные присутствием посла, карабинеры ударили с такой стремительностью, что персияне мгновенно были сброшены с Матурских высот и попали на отряд Кошутина. Тот принял их штыками — и неприятель рассеялся в разные стороны. Потеря его была громадна, но зато и Дорийская степь лежала в развалинах.

Свидетель этого боя, князь Меншиков, с особенной похвалой отзывается о действии карабинеров. На следующий день он выехал из лагеря в Тифлис, и его конвоировала та же седьмая рота, с которой он участвовал в битве.

Печальная катастрофа с немцами и греками навела ужас на жителей Грузии. Народ из окрестных селений бежал в Тифлис, под защиту войск; все дороги были запружены подводами, да и в самом Тифлисе горожане были неспокойны, ожидая нашествия. Повсеместное возбуждение было так велико, что многие бросали свои дома на произвол судьбы, зарывали в землю имущество и выезжали в Россию. И страх жителей не был совершенно напрасен. В другой раз персияне могли быть умнее и довести опустошение до самых ворот Тифлиса.

Чтобы устранить возможность подобных бедствий, из джалало-глынского лагеря отделены были две роты, под командой майора Хомутского, которые вновь и заняли единственный перевал через Акзабиюкские горы, известный под именем “Волчьих Ворот”. Это — небольшое узкое ущелье, высвеченное природой в скале, саженей в десять длиной, к которому по гребню хребта сходятся все вьючные дороги со стороны турецкой границы, от Гумр и Ахалкалак. Здесь, даже в мирное время, бывали нередки разбои,— обстоятельство, как кажется, и давшее ущелью его странное имя. В военном отношении ворота эти представляют дефиле, настолько важное, что, заняв его, можно перервать все сообщения между, живущими по ту и по сю сторону гор. Поставленный в этом ущелье пост опять обеспечил правильное сообщение с Тифлисом, прикрыл коренную Грузию и хоть до некоторой степени успокоил взволнованное население.

Так, в бездейственной, но тревожной и томительной охране проходов Безобдальского хребта, стоял русский отряд в Джалал-Оглы, ожидая того момента, когда дерзкий враг должен будет думать уже не о набегах в глубь русских владений, а о поспешном бегстве. В соседней Ганже это время тогда уже наступило. Громы Шамхора и Елизаветполя рассеяли как дым гордые мечтания наследника персидского престола и уже предрешили судьбу войны; скоро должно было настать такое время и для джалал-оглынского отряда.

В половине сентября в лагерь на Каменную речку прибыл известный генерал Денис Давыдов, который и принял от Северсамидзе начальство над отрядом. А с тем вместе закончился на Эриванской границе и первый период войны, период обороны, отступлений, неудач и бессилия перед внезапными и разбойнически дерзкими набегами персиян на мирное население.

IV. ЗАЩИТА ШУШИ

В половине июля 1826 года, одновременно с вторжением в русские границы эриванского сардаря, большая персидская армия, под главным начальством Аббас-Мирзы, быстро двигалась к Карабагу. В нем наследник персидского царства рассчитывал найти обширную, преданную ему партию, давно уже подготовляемую влиянием мусульманского духовенства и, не менее того, обещаниями и подкупами. И он не ошибся. На самой границе его встретила толпа знатных татар, предводимая Гаджи-Агалар-беком, знатнейшим из всех, капитаном русской службы, владевшим обширными поместьями на самой границе Персии.

Аббас-Мирза остановился в доме Агалара, где шумно и торжественно отпраздновано было победоносное вступление в неприятельскую землю. Предвидел ли принц плачевные для Персии плоды начатой им войны — неизвестно; но с историей его вступления в русские границы соединилась легенда о зловещем пророчестве, будто бы предсказавшем принцу Шамхор и Елизаветполь со всеми перипетиями предстоящей борьбы,— и внезапно внесшем в дом Гаджи-Агалара, после радостного пиршества, всеобщее уныние. После торжественного обеда, рассказывает эта легенда, два служителя несли на головах остатки разных яств, которые поданы были принцу в дорогих китайских сосудах, установленных на двух больших серебряных подносах. И вот, оба эти подноса одновременно сорвались с голов служителей, и вся китайская посуда разбилась вдребезги. Принц был поражен и втайне смущен той странной случайностью, что два опытных служителя одновременно обнаружили невероятную неловкость. Призван был снотолкователь,— но и он смутился не менее принца, узнав о случившемся. “Повелитель,— сказал он наконец,— потеряет в двух больших сражениях всю свою армию, а затем неверные перенесут свое оружие в Персию и истощат ее последние силы”. Принц пообещал предсказателю виселицу — и двинул свои войска к Шушинской крепости.

Между тем в Карабагской провинции расположен был тогда только один сорок второй егерский полк, в расстоянии трехсот верст от резервов и лишенный почти целого батальона, находившегося в Ширванской и Нухинской провинциях. В общем это составляло две тысячи семьсот штыков, при шести орудиях и четырехстах двадцати казаках Молчанова полка,— сила ничтожная перед огромной персидской армией.

Войсками в Карабагской провинции командовал полковник Иосиф Антонович Реут, кавказский ветеран, сподвижник Цицианова, герой ахалкалакского боя (И сентября 1810 года), памятью которого служил на груди его крест св. Георгия.

Реут, которому армяне доставляли обстоятельные сведения о сборах и числе неприятеля, давно предвидел возможность вторжения. Он знал, что уже около месяца назад персидская армия начала стягиваться к русским границам и что Карабаг переполнен агентами. Реут доносил обо всем, что ему сообщали, в Тифлис; из Тифлиса Ермолов доносил в Петербург. Но в Петербурге не ожидали войны, и донесения оставались без последствий. Тем не менее, в официальных предписаниях от 9 и 13 июля, Ермолов уведомлял Реута, что в помощь к нему прибудут две роты из Ширванской провинции, и

предписывал укрепить полковую штаб-квартиру Чинахчи; для защиты же Шушинской крепости выслал в помощь одну егерскую роту. Последнее распоряжение Реут исполнил немедленно, но этим пока и ограничились все меры к обороне страны, в которой, в случае войны с Персией, надлежало ожидать появления главных сил неприятеля.

В таком положении были дела, как вдруг, 18 июля, на границе неожиданно случилось следующее происшествие. Отряд из пятнадцати казаков, под командой хорунжего Крюкова, делал обычный разъезд по берегу Аракса. У Худоперинского моста он отделил от себя патруль из пяти человек — осмотреть, нет ли где на русском или на персидском берегу хищнических шаек. Пять казаков слезли с лошадей и отправились пешком. Но им только одним и суждено было уцелеть из всего разъезда. Вот что потом рассказывал один из них: “Прошло часа два времени. Мы уже проползли камышами верст пять, как вдруг позади нас зачастили ружейные выстрелы. Прислушались,— как будто бы на самом том месте, где остался хорунжий. Мы туда,— а навстречу уже едет человек триста персидской конницы, и в середине их все наши казаки, и хорунжий с ними,— связанные... Мы назад, запрятались в кусты, да так и просидели там до ночи. Партия прошла мимо и потянула к татарским кочевьям”...

В этот день, как только смерклось, за Араксом, где-то далеко грянул пушечный выстрел, а ночью разлилось по темному небу громадное зарево... То были бивуачные огни персидской армии.

Появление в Чинахчах этих пяти казаков, только случайности обязанных своим спасением, вызвало общую суматоху. Командир казачьего полка, взяв с собой сотню, сам поскакал на место происшествия и у Худоперинского моста столкнулся со всей персидской армией. Казаки понеслись назад и дали знать Реуту. Спустя два-три часа из Шуши прискакали армяне с известием от коменданта Карабагской провинции, майора Челяева, что на заре 19 июля персияне, в числе шестидесяти тысяч человек, при тридцати орудиях, вторглись в Карабаг и идут форсированным маршем к Шуше, поднимая повсюду среди татар возмущение.

В распоряжении Реута было в этот момент всего пять рот егерей, так как из остальных — одна рота стояла в Шуше, а три находились в Герюсах, в гористой части Карабага, прикрывая татарские кочевья. Чинахчи, где расположена была полковая штаб-квартира, еще не укреплялась, и перед ней не было возможности остановить неприятеля. Реуту оставалось отойти в Шушу, и в тот же день, перед вечером, две роты уже выступили в путь, оставив три остальные в Чинахчах до тех пор, пока не будут перевезены в Шушу все полковые тяжести.

А ночью от Челяева прискакал новый гонец с известием, что сильная персидская кавалерия и часть сарбазов быстро идут кратчайшей дорогой к Шуше и перед светом должны уже быть на месте, называемом Топ-хана, чтобы отрезать Реуту путь. Челяев извещал сверх того, что, по слухам, в эту самую ночь карабагские татары намерены напасть на роты, расположенные в самой крепости.

Реут был не из числа тех, которые способны терять голову в критические минуты, но и он был смущен вестью о приближении шестидесятитысячной армии, внезапно очутившейся от него в одном или в двух переходах. Терять времени было нельзя, и в ту же ночь он с остальными ротами поспешно отошел в Шушу, покинув Чинахчи на произвол судьбы со всеми находящимися в нем полковыми тяжестями.

Между тем в измене татар уже не было больше сомнений; под самыми стенами Шуши отряд видел несколько трупов армян, а на другой день, на мельнице, снова были убиты татарами двое солдат.

Нужно сказать, что крепость Шуша, как расположенная в стороне от дороги к границе, была совсем не готова к роли, которую ей предстояло теперь принять на себя; в ней не было ни достаточных вооружений, ни запасов. Рассчитывая строить крепость на Араксе, при Асландузе, Ермолов мало обращал внимания на Шушу. Он и не думал занимать ее, опасаясь именно того, что целые два батальона, запершись в ней, остались бы совершенно изолированными, тогда как в общем плане действий они могли бы принести существенную пользу. И потому в особой инструкции полковнику Реуту предписывалось собрать войска в Чинахчах, дождаться прибытия туда двух рот из Ширвани, усилить себя карабагской милицией и держаться насколько возможно в укрепленной позиции, чтобы поспешным отступлением не произвести волнения в народе; если же силы неприятеля окажутся значительными, особенно если сам Аббас-Мирза перейдет границу,— в чем даже Ермолов сомневался,— то истребить все тяжести и, совершенно очистив Карабаг, отступать на Шах-Булах, Елизаветполь и далее к Тифлису, не давая себя отрезать в горах. Инструкция эта, написанная в Тифлисе 21 июля, следовательно тогда, когда персияне были уже в Карабаге, не дошла по назначению,— персияне ее перехватили; а когда Реут получил дубликат ее, будучи в Шуше, то исполнить приказание было уже невозможно: роты, следовавшие к нему из Шемахи, узнав о вторжении персиян, вернулись с берегов Куры и пошли окружной дорогой к Тифлису, о сборе карабагской милиции нечего было и думать, да и дорога на Елизаветполь была уже отрезана.

Таким образом, приходилось защищаться в Шуше, и трем ротам с двумя орудиями, прикрывавшим, под начальством подполковника Назимки, татарские кочевья в гористой части Карабага, послано было приказание поспешить туда же для соединения с полком. Персияне, чтобы не дать усилиться шушинскому гарнизону, решили прежде всего помешать этому соединению.

“Хотя приняли мы намерение,— доносил Аббас-Мирза своему родителю, шаху,— сначала идти на Шушу, но вельможи и благороднейшие люди Карабага доложили нам, что герюсский гарнизон идет на помощь к Шуше и что если он туда достигнет, то крепость никогда не будет завоевана. Тогда мы в ту же минуту вознамерились атаковать отряд сей и наперед предать оный снедению блистательного меча нашего”.

Отряду Назимки предстояло пасть жертвой персидского вероломства.

Селение Герюсы лежит в глубоком ущелье. Ущелье это замечательно тем', что оно, как частоколом, уставлено какими-то высокими каменными столбами, вероятно, вулканического происхождения, придающими и окружающей местности, и самому селению необыкновенно своеобразный характер, единственный даже в прихотливых горах Кавказского края. Самые Герюсы со своими красивыми саклями и башнями, со своей армянской часовней и водяной мельницей на гремучем потоке, осененном развесистыми чинарами, расположены амфитеатром на террасах крутого спуска в Герюсское ущелье. Таким образом местность эта, красивая и оригинальная, чрезвычайно удобна для обороны. Но ничтожный отряд все-таки был бессилен перед подавляющей массой неприятеля.

Предписание об отступлении в Шушу, как рассказывают современники, почему-то Запоздало. К тому же оно, на беду, получено было в Герюсах во время раздачи солдатского жалованья, когда, по заведенному обычаю, бывал разгул в бедной

развлечениями кавказской жизни; поэтому выступление батальона замедлилось на целые сутки, и когда он вышел — неприятель уже был близко.

На двенадцатой версте от Герюсов, в глубоком каменистом ущелье, русский отряд настигнут был мятежной карабагской конницей. Одни персияне не могли бы остановить Назимку, они не смели бы даже войти в гористую землю, если бы не эти изменники, теперь окружавшие отряд со всех сторон и захватившие в свои руки все выходы из гор на равнину. Скоро на помощь к карабагцам подоспела персидская конница и подвезла с собой пехоту. С каждым шагом положение отряда становилось все затруднительнее и хуже. Персидская артиллерия, довольно искусно управляемая одним англичанином, которого впоследствии уложило навеки русское ядро под Шушею, скоро взорвала зарядный ящик, подбила лафет и истребила всех артиллерийских лошадей. В рядах русского батальона появилось замешательство. Говорят, что армяне предлагали Назимке провести отряд в Шушу по горным тропинкам, как это было некогда с отрядами Карягина, Котляревского и Ильяшенки, но он не решился бросить орудия и вьюки и продолжал драться на невыгодной местности, надеясь добраться до речки Ах-Кара-Чай. Дело в том, что за этой речкой, протекающей верстах в двадцати пяти от Герюс, на пути к Шуше, начиналась гористая местность, покрытая огромными густыми лесами, куда не отважился бы последовать за ним ни один персиянин,— и отряд был бы спасен. К несчастью, надеждам Назимки сбыться было не суждено. До Ах-Кара-Чая оставалось еще тринадцать верст, и все это пространство нужно было проходить при беспрерывном бое. Палящий зной, недостаток воды, поминутная убыль людей, оставлявших строй, чтобы помогать повозкам и артиллерии, мало-помалу истощили силы солдат. В продолжение трех часов стойко выдерживая натиск неприятеля, они подошли наконец к крутому спуску к Ах-Кара-Чаю; казалось, еще одно усилие — и цель была бы достигнута. Но здесь-то именно отряд и ожидала гибель. Переправа была уже отрезана.

Официальные донесения говорят, между прочим, что, достигнув берегов Ах-Кара-Чая, люди, истомленные до крайности и мучимые жаждой, вышли из повиновения и в беспорядке, покидая строй, бросились к воде. Неприятель воспользовался замешательством в отряде и быстро напал на него со всех сторон. Солдаты и казаки частью были вырезаны, другие побросали оружие и взяты в плен; между последними находился и сам подполковник Назимка. Орудие и вьюки, о которых он так заботился, достались персиянам.

Из рапорта полковника Реута видно, что в бою, в трех ротах сорок второго егерского полка, должны были участвовать два штаб-офицера, шестнадцать обер-офицеров и восемьсот семьдесят четыре нижних чина; сверх того, при двух орудиях находилось двадцать человек артиллеристов да в казачьей сотне — три обер-офицера и девяносто четыре казака. Сколько же из этого числа погибло в бою и сколько попало в плен, точных сведений нет. Достоверно известно, однако, что убитых было не много, но что из всего отряда спаслись только два офицера (поручики Назимов и Богданов) и шесть нижних чинов, которые, пробравшись в селение Камедарасы, укрывались там у армян до времени поражения персиян у Шамхора. Попавшие в плен подверглись жестоким истязаниям и посрамлениям, заставившим их, быть может, не раз позавидовать участи тех, которые легли в честном бою. Персияне толпами набросились на них, ограбили их, потом раздели догола и в таком позорном виде пригнали их обратно в Герюсы. Даже Аббас-Мирза тронут был жалким положением несчастных и приказал одеть офицеров в персидское платье.

Истребление целого батальона почти в тысячу штыков было делом неслыханным для Кавказского края. Со времен Паулуччи, когда батальон Троицкого полка в четыреста

человек, под начальством капитана Оловяшникова, положил оружие перед персиянами же, летописи Кавказа, изобилующие примерами геройских побед слабых отрядов над сильным неприятелем, не помнили подобного факта. Восточная фантазия мусульман, со своей стороны, раздувала персидские успехи до размеров чудовищных; о них повсюду ходили слухи, роняя обаяние русского имени и устрашая преданных России христиан. Хозяйничанье персиян в крае и разгромы мирных деревень, которым войска бессильны были оказать защиту, как бы подтвердили эти слухи, деморализуя все население. Особенно поразило армян разграбление их старинного Тативского монастыря.

В небольшой долине, углубленной среди карабагских гор, между утесами и скалами реки Базар-Чай, всего в полуверсте от каменного моста, перекинутого через пропасть самой природой и известного у татар под именем “Шайтан керпи” (Чертов мост),— стоит армянская деревня Татив, а неподалеку от нее Тативский монастырь, знаменитый в Армении еще со времен Тамерлана. В одной из монастырских церквей доныне показывают стены, испещренные сабельными ударами, и говорят, что это следы пребывания здесь Тимура, который хотел разрушить самую церковь, но не будучи в состоянии сделать этого, приказал своим воинам изгладить саблями стенную церковную живопись. О существовании монастыря более тысячи лет свидетельствовала и старая армянская надпись, уцелевшая на церкви апостолов Петра и Павла. Главный монастырский храм, в котором, по преданию, под жертвенником скрыты были косы Богородицы, привлек своим богатством алчные толпы персиян,— и они разорили его так, что он не восстал уже из развалин. Позднейшие путешественники видели эти священные руины обращенными в овчарни, в которых бедные тативцы держат своих коз и овец. Престарелый архиепископ Мортирос, живший в монастыре, был увезен неприятелем в Тавриз, где апоплексический удар пресек его многотрудную и полную служения своему народу жизнь.

Разграбление селения Чинахчи, принадлежавшего князю Мадатову, и в нем штаб-квартиры единственного в Карабаге сорок второго полка, брошенной в добычу неприятелю, еще более усилили невыгодное впечатление, произведенное обстоятельствами этого времени.

Между тем как нападение на герюсский гарнизон, разорение мирных деревень и торжества по случаю этих побед задержали персидские войска,— в Шуше с часу на час ожидали появления полчищ Аббаса-Мирзы, и Реут спешил исправлять крепостные верки. Но вот прошел день, другой,— а неприятель не показывался. Тогда Реут решился спасти полковое имущество, оставшееся в Чинахчах, и выслал с этой целью часть своих рот. Предприятие до некоторой степени удалось.

В первый день все полковые и ротные повозки успели два раза вернуться из Чинахчи нагруженными. Колесный обоз доходил, однако, только до деревни Шушакент, где воза разбирались и вещи поднимались в крепость уже на вьюках. На следующий день повторилось то же; но на третий — появились сильные шайки татар, пробовавшие нападать на прикрытие. Перевозка была приостановлена,— и часть полковых вещей захватил неприятель.

Прошло три дня с того момента, как Реут заперся в Шуше.

И вот, 24 июля, прискакал армянин с известием, что Назимка в плену и роты его истреблены. А вслед затем, утром 15 числа, горизонт зачернелся персидскими полчищами. Их было от пятидесяти до шестидесяти тысяч, как говорили тогда армяне. Ермолов сомневался в этом числе. “Это статистика здешних народов,— писал он

Мадатову,— а я имею сведение, что у Шах-Заде не более пятнадцати тысяч войска”. Но впоследствии официальные данные подтвердили, что с Аббасом-Мирзой, по вступлении его в Ка-рабаг, кроме отрядов, разосланных по разным направлениям для возбуждения и поддержания восстаний, было сорок тысяч пехоты, двадцать четыре орудия и огромные толпы иррегулярной конницы.

На следующий день, 26 июля, лазутчик передал в руки Реута дубликат известного предписания Ермолова об отступлении. Но отступать уже было невозможно, и Реут, решившись защищать Шушу до последней крайности, принял к тому все меры. Зная, какое дурное впечатление на гарнизон могло произвести в подобную минуту решение главнокомандующего оставить Карабаг, он благоразумно скрыл предписание даже от офицеров, а солдат воодушевил, напротив, энергичным приказом:

“Я совершенно уверен,— говорилось в этом приказе,— что всякий из моих сотоварищей по долгу присяги, чести, преданности к государю и любви к отечеству неизменно будет исполнять свою обязанность, не щадя себя до последней капли крови, имел в виду непременное правило — победить или умереть и тем заслужить бессмертную славу”.

Предстояла необходимость немедленно переслать Ермолову подробное донесение обо всем, что произошло в Карабаге. Дело представлялось далеко не легким, так как курьерам нужно было пробираться сквозь сплошную стену персидских войск, обложивших Шушу. Нашлись, однако, два казака, которые вызвались доставить в Тифлис донесения. В ночь на 27 число выехали они из ворот Шуши и стали пробираться к Тифлисской дороге, уже занятой персиянами. Их скоро открыли, и целые сотни всадников пустились за ними в погоню. Казаки порешили разъехаться, чтобы, на случай гибели одного, другой мог исполнить поручение; один пустился по большой дороге, другой свернул на проселочную. Тощие донские лошаденки превзошли, однако, отличных персидских скакунов,— и оба казака, далеко оставив за собой погоню, благополучно достигли Тифлиса.

Началась осада Шуши.

Взять эту крепость открытой силой почти не представлялось возможности. Правда, укрепления ее находились в довольно, жалком положении и не представляли собой никакой защиты для осажденных: стены во многих местах обвалились и частью были растасканы самими жителями на постройку своих домов; рвы осыпались, а крепостной артиллерии не было вовсе. Но построенная на высоких отвесных скалах, Шуша была доступна только с одной северо-восточной стороны, от Елизаветполя, да и этот единственный путь, поднимаясь в гору, был так извилист, крут и загроможден скалами и обрывами, что две пушки, поставленные на дороге, и рассыпанная рота стрелков могли остановить целую армию.

К сожалению, егеря вступили в Шушу только с восьмидневным продовольствием, а в крепости не было запасов — и не было воды; гарнизону предстояла опасная борьба с такими врагами, как голод и жажда. Аббас-Мирза знал это и только обложил Шушу со всех сторон, пока не прибегая к более энергичным мерам.

В столь затруднительном положении Реуту, запертому в Шуше с отрядом, в котором было не более тысячи семисот штыков, оставалось одно — исполнить долг храброго солдата и сохранить честь предводимого им полка. Одним из первых его распоряжений было выслать из крепости всех молодых татар, явно оказывавших расположение к неприятелю и потому представлявших собой только лишние и притом вредные рты; дача же провианта с первого дня блокады уменьшена почти на половину.

Аббас-Мирза, главной целью которого был Тифлис, не нуждался в Шушинской крепости; но он опасался, однако, оставить ее у себя в тылу и пытался склонить полковника Реута очистить Карабаг без боя. Уже вечером 27 июля прибыл от него парламентер с настойчивым требованием пропуска в крепость. Это был простой офицер, родом из астраханских армян, довольно хорошо говоривший по-русски; одет он был в красный мундир, на манер английского, с серебряными эполетами и аксельбантами. Выехавший к нему навстречу майор Клкжи-фон-Клюгенау, узнав в лице парламентера армянского выходца, наотрез отказался представить его коменданту.

— Если его высочество намерен вести переговоры о сдаче крепости,— говорил Клюгенау,— то он должен прислать почетного хана, а не простого армянина.

Напрасно обиженный армянин старался доказать важность занимаемого им положения в персидской армии и называл себя адъютантом принца. Клюгенау строго приказал ему ехать назад и сам возвратился в Шушу.

Через день к воротам крепости подъехал один из персидских сановников с блестящей свитой; ему завязали глаза и доставили к полковнику Реуту, который ожидал его, окруженный всеми своими штаб-офицерами. Хан объявил Реуту, что он уполномочен принцем предложить шушинскому гарнизону почетную сдачу. Дело было в том, что персияне, перехватив ермоловское предписание об оставлении Карабага, основали на нем свои планы. Опираясь на то, что сам Ермолов предписывал Реуту очистить Карабаг и все лишние вещи уничтожить или утопить, Аббас-Мирза, напротив, предлагал потребное число подвод для поднятия тяжестей, обязывался снабдить войска провиантом, обеспечить им безопасное следование и, наконец, дозволял выйти гарнизону с оружием и со всеми военными почестями. Аббас-Мирза писал, что все прочие начальники уже давно исполнили приказание Ермолова, что Шемаха, Куба и Нуха очищены русскими.

Это предложение произвело тяжелое впечатление на офицеров, от которых, как сказано, предписание Ермолова было скрыто. Тем не менее, когда Реут предложил вопрос о сдаче крепости на совещание, храбрейший подполковник Миклашевский, отважный и пылкий Лузннов, стойкий Михайлов, известный впоследствии герой Чечни и Дагестана — Клюгенау и, наконец, комендант Карабага, Челяев — единодушно отвергли предложение, объявив, что готовы защищаться до последней крайности.

Этот ответ Реут передал парламентеру, прибавив от себя, что охотно исполнил бы предписание Ермолова, если бы оно застало его в Чанахчи; но так как он занял уже крепость Шушу, то, при всем великодушии его высочества, он не может воспользоваться им для отступления, тем более, что со времени предписания обстоятельства могли измениться, а потому для оставления Шуши, а вместе с ней и Карабага, необходимо новое предписание.

Хан, пожалев об участи, ожидающей гарнизон, уехал. Прошло еще два дня,— началось бомбардирование крепости.

Положение гарнизона было весьма серьезное. Солдаты, проводя дни на работах, а ночи под ружьем, в ожидании приступа, изнурялись до крайности,, и число больных быстро возрастало. Жители страшно терпели от недостатка продовольствия, которым не успели запастись до начала осады. Было одно средство — снять с полей еще неубранный хлеб; но попытка эта едва не повела за собой кровавую катастрофу. Фуражиры, высланные из крепости 1 августа, были отрезаны персидской конницей и выручены только отчаянно смелой вылазкой майора Клюгенау. С ротой егерей он успел привлечь на себя всю

бывшую тут персидскую пехоту, а одна конница ничего не могла сделать с фуражирами. Отстреливаясь, они успели выбраться из ущелья к крепости; но попасть в нее через Елизаветинские ворота, около которых происходила сильная перестрелка персиан с отрядом Клюгенау, уже не могли. Пришлось направляться кругом, к Эриванским воротам, еще при начале осады заложенным землей и каменьями. Гарнизон быстро принялся очищать их, чтобы впустить фуражиров, а пока работа кипела, Клюгенау все время стоял в сильном огне. Но тщетно персияне пытались сломить храбрую роту. В своих записках Клюгенау говорит, между прочим, что не персияне были ему страшны, а батальон, составленный из русских дезертиров, который с неимоверной дерзостью неоднократно бросался на него в штыки. Батальон этот, одетый в персидские мундиры, с длинными волосами, в папахах, с офицерами из русских же солдат,— каким его видел в Персии Муравьев,— состоял из людей рослых, сильных и старых; он, действительно, находился в армии наследного принца, но некоторые участники персидской войны утверждают, что в делах с русскими он не был, получив на то, еще до начала похода, дозволение Аббаса-Мирзы. Легко быть может, что Клюгенау принял за русских входившие в состав этого батальона польские роты, участие которых в бою более чем вероятно. Но так или иначе, а Клюгенау твердо выдержал яростные нападения и начал отступать только тогда, когда фуражиры были уже вне опасности. С этого дня фуражировки, однако, совсем прекратились.

К счастью для гарнизона, персияне не могли прервать его сообщений с мельницами в деревне Шуша-кент,— по особым условиям местности, в которых они были расположены. На этих мельницах солдаты заготовляли муку, и если бы они достались в руки персиян, гарнизону пришлось бы питаться немолотым зерном. Аббас-Мирза неоднократно пытался истребить ненавистную ему деревню, но все его усилия разбивались о стойкость армян и неприступность гор, среди которых стоял Шуша-кент. Жители, предводимые своими старшинами Сафаром и Ростомом Тархановыми, засев в скалистом ущелье в вырубленных природой глубоких и мрачных пещерах, не только отражали врагов, но, время от времени, сами спускались с гор и тревожили весь персидский лагерь своими набегами.

Так прошло немало времени с тех пор, как персидские полчища обложили Шушу. Впечатление, вызванное внезапностью вторжения, притупилось, и фанатизм в умах самых непримиримых татар стал уступать место холодному рассуждению. Невозможно было не видеть, что богатый Тифлис с его караван-сараями, вопреки обещаниям Шах-Заде, не так-то легко мог быть взят. Да о Тифлисе мало кто уже и думал. Ожидали, что в то время, как наследный принц бесполезно стоит перед Шушой, Ермолов соберет войска,— и роли могут перемениться. В самом персидском лагере поднимался ропот и стал доходить до Аббаса-Мирзы. Тогда, чтобы покончить с Шушой разом, он решился на крайнюю меру — штурм ее. Но те же Сафар и Ростом Тархановы, имевшие в персидском стане своих приверженцев, предупредили Реута, что приступ поведется со стороны Елизаветполя, и тем дали ему возможность принять соответствующие меры.

В одну мрачную ночь часовой услыхал с вала шум взбиравшейся на горы персидской пехоты и дал залп дежурному офицеру. Войска, стоявшие наготове, тотчас заняли свои места. Майор Клюгенау, распоряжавшийся обороной этого фаса, строго приказал не открывать огня прежде сигнала.

Осторожно подвигались вперед персияне, таща за собой огромные лестницы и туры для закидывания рва. Но когда они приблизились на ружейный выстрел, вдруг вся окрестность мгновенно осветилась зажженными русскими подсветами, и убийственная картечь начала осыпать штурмующих. Персияне бросились назад, покинув и туры, и лестницы, которые наутро были подобраны солдатами.

Неудача заставила Аббаса-Мирзу перейти снова к переговорам. На этот раз свидание назначалось уже не в Шуше, а в персидском стане. В крепости бросили жребий, кому ехать, и он пал на майора Клюгенау.

В полной парадной форме, верхом на коне, спустился Клюгенау к дожидавшемуся его внизу персидскому конвою. В неприятельском лагере его встретили с почестями; войска при проезде его становились в ружье, музыка играла. У ставки наследного принца уже собраны были знатнейшие персидские сановники и ханы; отряд телохранителей, оберегавший вход, отдал честь, и Клюгенау заметил, что это были молодые люди знатнейших фамилий и на подбор красавцы. По сторонам палатки стоял лес распущенных знамен, принадлежавших полкам регулярной пехоты и возле них толпилось множество офицеров шахской гвардии. Все с любопытством смотрели на Клюгенау, который сойдя с коня, терпеливо ожидал представления принцу.

Через несколько минут шелковый занавес шатра раздвинулся, и Клюгенау лицом к лицу очутился с наследником персидского царства.

После обычных обоюдных приветствий, Аббас-Мирза сказал Клюгенау: “Я уже потерял всякое терпение и не могу быть более снисходительным к вам и к жителям города. Мои войска неотступно требуют нового штурма, но я не хочу кровопролития. Я все ждал, полагая, что вы образумитесь. Теперь не в моей уже воле сдерживать стремление моих храбрых войск. Я и так потерял слишком много времени через свою снисходительность”.

Клюгенау молчал.

“Неужели вы думаете,— продолжал Аббас-Мирза,— что я пришел сюда с войсками только для одной Шуши? У меня еще много дел впереди, л я предваряю вас, что соглашусь на заключение мира только на берегах Москвы”.

Заметив улыбку, невольно промелькнувшую на лице Клюгенау, он с живостью добавил:

“Клянусь вам честью, что вы не получите помощи. Вы, верно, не знаете, что ваш государь ведет междоусобную войну со своим старшим братом и, следовательно, ему не до Кавказа. Что же касается Ермолова, то его давно уже нет в Тифлисе”.

Клюгенау ответил, что он не имеет полномочий вести переговоры о сдаче крепости, но что если его высочеству угодно обладать Шушой, то он может обратиться за этим к генералу Ермолову, который, конечно, предпишет оставить крепость, ежели только удержание Карабага не входит в его соображения.

“В Тифлис мне посылать незачем,— ответил Аббас-Мирза,— я уже сказал вам, что город покинут русскими”.

На этом переговоры и кончились. Клюгенау воротился в крепость.

Опять началась усиленная канонада, и опять гарнизон, исправляя повреждения в стенах, должен был бодрствовать по ночам в ожидании приступа. Так прошла еще целая неделя. Наконец персияне, выбрав темную ночь, кинулись на приступ, но, встреченные батальным огнем, отхлынули назад, завалив всю гору своими телами.

Два отбитые штурма не поправили, однако же, положения гарнизона. Не было никаких известий о том, в каком положении находятся дела в Закавказском крае и можно ли

ожидать выручки. Несколько лазутчиков, посланных Реутом, или возвращались назад с полпути ни с чем, или не возвращались вовсе. Для осажденных настали минуты сомнений и колебаний. Жители, потеряв надежду на скорую помощь, роптали; были даже попытки вступить в тайные сношения с персиянами, и один молодой татарин хотел отворить им ворота. Правда, его поймали сами армяне и, не дав знать коменданту, распорядились своим судом, сбросив изменника в пропасть саженей сто глубиной; но гарнизону пришлось усилить бдительность. Чтобы успокоить осажденных, полковник Реут прибегнул к невинной военной хитрости. В темную ночь секретно был спущен в одну из амбразур башен переодетый армянин, который, обойдя вдоль стены до другой башни, назвался лазутчиком из Грузии и просил впустить его. Караул немедленно известил коменданта, и армянин был приведен к Реуту. Он вручил ему депеши, присланные будто бы от главнокомандующего, которые и были прочтены в присутствии всего военного совета. Содержание бумаг было весьма утешительно, а переодевание армянина исполнено с таким успехом, что в лице подателя никто не заподозрил знакомого человека. Приятная новость мгновенно облетела крепость,— и надежда скорой помощи подняла дух жителей и усугубила ревность храбрых защитников.

К счастью, Аббас-Мирза не сумел воспользоваться моментом колебаний в крепости, все еще не теряя надежды на успех переговоров, и в третий раз просил выслать к нему парламентера.

Отправился опять Клюгенау.

— Ну что, одумался ли наконец ваш полковник; кажется, уже пора! — сказал Аббас-Мирза.

— Я должен вам сказать прямо,— ответил Клюгенау,— что мы оставим Шушу только тогда, когда получим приказание Ермолова.

— Хорошо; я согласен,— живо ответил Аббас-Мирза.— Пошлите в Тифлис своего офицера, а до получения ответа пусть будет перемирие.

Составлены были условия. Но Аббас-Мирза, соглашаясь на то, чтобы шушинский гарнизон, в случае оставления им Карабага, вышел из крепости со всеми почестями, оружием и казенным имуществом как исполняющий только волю своего главнокомандующего, в то же время упорно отказывался пропустить с ним две шестифунтовые пушки. Он требовал безусловно уступки их персиянам, сказав, что такова его последняя воля.

— В таком случае, переговоры не могут продолжаться,— ответил Клюгенау и взялся за шляпу.

Присутствовавшие ханы стали его уговаривать исполнить желание наследного принца.

— Да вы скажите принцу,— возразил Клюгенау,— что располагая идти к Москве, он возьмет их там целую сотню; так стоит ли из-за таких пустяков теперь терять драгоценное время!

Этот аргумент победил настойчивость принца. Перемирие было заключено на девять дней. Аббас-Мирза послал в крепость в заложники двух знатных по своему происхождения ханов, а полковник Реут прислал в персидский лагерь майора Челаева.

Клюгенау между тем отправился в Тифлис, чтобы лично доложить Ермолову о положении дел в Карабаге.

Вот что ответил Ермолов Реуту:

“Я в Грузии. У нас есть войска и еще придут новые. Отвечаете головой, если осмелитесь сдать крепость. Защищайтесь до последнего. Употребите в пищу весь скот, всех лошадей, но чтобы не было подлой мысли о сдаче крепости”.

“Защита Шуши,— писал Ермолов в другом письме к Реуту,— одна может сделать вам честь и поправить ошибки (оставление Чинахчи без боя и гибель Назимки). Извольте держаться и не принимать никаких предложений, ибо подлецы вас обманывают. Зачем прислали Клюки, который вам нужен? Он лучший ваш помощник. Защищайтесь. Соберите весь хлеб от беков,— пусть с голоду умрут изменники. Великодушно обращайтесь с армянами, ибо они хорошо служат”.

Обе записки доставлены были в крепость лазутчиками, и персияне о них ничего не знали. Между тем условленные девять дней прошли, официального ответа от Ермолова не было, а гарнизон сдаться опять отказался. Раздраженный этой новой неудачей, Аббас-Мирза вероломно задержал у себя Челяева и отослал его в Тавриз, где тот и находился в плену до самого заключения мира. Для крепости снова началось томительное и тяжкое время блокады и бомбардирования. Впоследствии оказалось, что неприятель вел два подкопа под стены крепости. Из них один, впрочем, был брошен по неудобству грунта, но другой успешно подвигался вперед, и при помощи его Аббас-Мирза рассчитывал теперь сломить упорное сопротивление гарнизона. Но защитники Шуши, одушевленные доблестным примером начальников, готовы были лучше умереть под развалинами крепости, чем уронить честь русского оружия какой бы то ни было почетной капитуляцией. Терпеливо сносили они все недостатки, бессменно сторожили крепость и с мужеством противостояли громадным персидским толпам. Когда запасы истощились, полковник Реут сам обходил солдат и старался ободрить их надеждой на скорую помощь.

— Ничего, ваше высокоблагородие, подождем! — отвечали солдаты.

— Да уж коли на то пойдет,— шутили между собой егеря,— так мы по жеребью друг друга есть станем, а уж не сдадимся этим дуракам-кизильбашам.

И мужество гарнизона было награждено уже тем, что, несмотря на тяжкие лишения и вечную опасность, потери его были ничтожны. За все время осады среди защитников крепости убито только четверо, двенадцать ранено и шестнадцать пропало без вести.

Так наступило 5 сентября. Начался этот день обычными тревогами осажденной и голодной крепости. Но в самый полдень весь персидский лагерь пришел в неописанное волнение; как гром разразилось над ним известие о грозной Шамхорской битве, об истреблении авангарда Аббаса-Мирзы и о занятии русскими Елизаветполя. Поздно увидел Аббас-Мирза, сколько времени потерял он даром, стоя перед Шушинской крепостью, и, бросив блокаду, со всеми силами двинулся он против князя Мадатова.

Блокада Шуши была окончена.

Трагическая роль, выпавшая на долю Карабага в персидской войне 1826 года, поражает историка своими резкими противоречиями. Там целая тысяча человек, целый батальон, с какими Карягины и Котляревские ужасом поражали полчища персиян и одерживали

блестящие победы,— бросает оружие в тот момент, когда еще одно усилие спасло бы его; здесь горсть товарищей этого батальона, в течение почти семи недель, в полуразрушенной крепости, сопротивляется в сорок, в пятьдесят раз, сильнейшему врагу — и остается победителем.

Существуют мнения, стремящиеся оправдывать факты, подобные малодушной капитуляции батальона Назимки целой массой, которая еще была способна победить или дорого продать свою жизнь. Самое официальное донесение как бы оправдывает солдат, томимых жаждой, и потому, будто бы, расстроивших ряды при виде речки Ах-Кара-Чая, а затем уже под натиском врага и побросавших оружие.

Трудно представить себе эту нарисованную донесением картину, в которой солдаты, оставшиеся без воды, во всяком случае, слишком непродолжительное время, вдруг вышли из повиновения уже в виду верного спасения и, вместо того, чтобы проложить себе сквозь неприятельские ряды путь к реке штыками, беспорядочно бросились к ней прямо в руки врагов. Легче допустить, что позор, вынесенный батальоном в плену у персиян, был вполне заслуженным, что, быть может, именно недостойное поведение батальона и вызвало персиян, во всяком случае не лишенных чувства уважения к доблести врага, на издевательства. И тем не менее оправдывающие мнения все-таки существуют.

В последнее время в самой военной среде начали было распространяться quasi — утилитарные воззрения, совершенно извращающие элементарнейшие понятия об отношении отдельных личностей к целям и средствам войны. Вот что писалось, например, в специальном Военном журнале шестидесятых годов по поводу сдачи неприятелю одной русской крепости, и писалось притом лицом весьма авторитетным:

“Если гарнизон,— говорилось в статье,— не выполнил того, чего ожидали от него многие — не предпочел взорвать себя вместе с крепостью лучше, чем сдаться, то об этом, право, не стоит жалеть. Гораздо более он был бы достоин сожаления, если бы последовал минутному увлечению и взлетел бы на воздух. Конечно, на первых порах, в минуту энтузиазма, подвиг этот превознесли бы до небес; но потом разве не поставили бы его на одну доску с фанатизмом тех диких горцев, которые предпочитают лучше умереть без всякой пользы и надобности, чем сдаться в плен? Зачем было совершенно лишать Россию этих полутора тысяч людей, которые, по миновании плена, могли возвратиться в отечество и быть ему еще полезны своей деятельностью? Зачем было вследствие минутного и безрассудного увлечения повергать тысячи семейств в новый траур и притом в такое время, когда и без того не много было радости”...

Подобные воззрения, распространенные в массах войск, послужили бы источником гибели того духа, который один ведет к победам. Поставленный лицом к лицу с врагом, воин должен думать не о будущем, не о том, что он сделает, постаравшись остаться в живых, а исключительно о том, чтобы исполнить ясный и простой долг, в том состоящий, чтобы или победить, или умереть на своем посту. Золотые слова сказал по этому случаю “Есаул”, автор известного “Походного Дневника”, сторонник не тех воззрений.

“По-нашему,— говорит он,— назвавшись грибом, полезай в кузов, где бы ни пришлось, как бы ни пришлось. И показывать спину неприятелю — пропащее дело... Что из того, что останешься цель: какая польза для службы, честь для себя?.. По-нашему, досталось идти в дело, мы и идем добрым строем, а не башибузуками, идем без задней мысли, и к молитве: “избави нас от лукавого” прибавляем из самой глубины сердца: избави нас от смерти в спину. Побили мы — слава Богу; нас побили — так и у них рыло в крови, и в другой раз будут знать, что нас бить — не шутку шутить. А что из того, чтобы давать стречка? Это

одно баловство, и стоит только раз себе его позволить, то так уж и пойдут все одни стречки да улепетывания. За этим добром нечего и на войну ходить”.

Да, “прекрасен Божий мир, а умирать надо”,— приходится сказать словами того же казацкого барда: “Надо умирать, чтобы отечество жило. Может статься, есть там, в эти минуты, исключительные люди, которые думают иначе и, забиваясь поглубже под теплое одеяло, благословляют тихомолком свой жребий, что он удалил их от войны и трудов, от страданий и смерти. Пускай себе они там и остаются. Суворов никогда бы за ними не погнался и не пожалел бы об их отсутствии. Но когда уже все полюбят жизнь больше всего на свете и жертвы отдельных существований оскудеют, тогда придет смерть отечеству и самобытный народ сделается рабом другого народа, не столько животолюбивого, как он. Останется народ, но не будет уже отечества”.

Есть легендарное предание, относящееся к шведской войне 1808 года. Молодой офицер Лопатинский, окруженный сотнями шведов, предлагавших ему почетный плен, послал в ответ им гордые слова: “Нет! Кому не удалось сохранить свободу оружием — тот умирай!” Вот истинное и доблестное понимание долга, которое не научит обращать тыл ко врагу и оставлять отчизну беззащитной в надежде быть ей полезным когда-то впоследствии, в неизвестном будущем, которое не в наших руках. И те, кто способны порицать подвиги беззаветного самопожертвования, видя в них голый факт истребления людей, забывают ту истину, что дух доблести в гражданах — защитниках родины — воспитывается не одними победами, а, быть может, еще больше несчастьями, примерами исполнения великой заповеди любви: “Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя”.

По странной игре случая, печальный факт бесславной гибели батальона Назимки послужил, в общем ходе персидской войны, в пользу России и к страшному вреду для Персии.

“Как ни прискорбно поражение этого отряда,— справедливо говорит в своих записках известный историк тех времен Коцебу,— но не постижимы и не проницаемы для нас смертных благие пути, избираемые Всевышним к спасению верующих в Него. Если бы Назимка исполнил свой долг и достиг с батальоном Шуши, не отяготила ли бы продовольствием лишняя тысяча человек крепости, и без того терпевшей крайний недостаток в нем? Была ли бы она тогда в состоянии выдержать сорокадневную блокаду? И какие от того, могли бы быть последствия?”

Известный кавказский генерал, герой минувшей войны, И. Д. Лазарев, идет еще далее. Он говорит, в своих неизданных записках, что Грузия обязана спасением только геройской защите Шуши, которая сорок дней задерживала под своими стенами персидскую армию и тем дала возможность сосредоточить навстречу врагу разбросанные русские войска. Если бы Назимка в точности исполнил приказание и успел бы соединиться с Реутом, то и последний, без сомнения, не имел бы причин не исполнить приказаний Ермолова и, вероятно, отступил бы из Карабага. Но тогда он рисковал быть настигнутым всей персидской армией в безводных местах и, конечно, погиб бы со своими двумя батальонами. Последствием этого было бы то, что персияне, уже нигде не встречая препятствий, появились бы под стенами Тифлиса в тот момент, когда он был совершенно не готов к обороне, и Кахетия легко могла бы быть возмущена царевичем Александром, что было бы веским ударом русскому владычеству в Закавказье. Так гибель батальона Назимки стала звеном в общей цепи событий, обративших шансы войны против Персии”.

Но зашита Шуши, вынужденная обстоятельствами вопреки распоряжениям и планам Ермолова, могла бы, напротив, послужить и во вред России, лишив последнюю участия в войне всего запершегося в крепости гарнизона. Есть мнение, имеющее за собой большие основания, что сорокадневная остановка Аббас-Мирзы под Шушою была величайшей ошибкой с его стороны. Если бы он, минуя шушинский гарнизон, в самом начале вторжения ввел бы свои, еще полные фанатического энтузиазма, войска в сердце Грузии, он мог бы нанести, при благоприятных обстоятельствах, страшный удар всему Закавказью. К счастью, славные тени минувшего стояли на страже христианской страны. Персияне помнили еще Мигри, Асландуз и Ленкорань,— и наследник персидского царства не решился оставить в тылу своей колоссальной армии русский отряд в тысячу семьсот штыков. Это было такое обстоятельство, на которое Ермолов, очевидно, не надеялся, но все значение которого он тотчас же оценил, предписав Реуту держаться до последней крайности.

При данных обстоятельствах защита Шуши, стоившая столько лишений для отважного гарнизона и сделавшая безвредными персидские полчища, получила значение не только великого подвига, но и важнейшего факта, обнаружившего огромное влияние на ход всей войны. Так именно взглянул на дело император Николай Павлович. Храбрым защитникам крепости, егерям сорок второго полка, пожаловано было Георгиевское знамя с, надписью: “За оборону Шуши против персиян в 1826 году”. Полковник Реут получил орден св. Владимира 3-ей степени. Не были забыты и армянские старшины Сафар и Ростом Тархановы, оказавшие столь значительные услуги. Ростому пожалован был чин прапорщика и пожизненная пенсия; матери, жене и детям Сафара, умершего вскоре после снятия блокады, назначено особое содержание из государственного казначейства.

Память о геройской обороне Шуши сохраняется и поныне в тех полках, в которые поступили батальоны славного сорок второго егерского полка, при общем переформировании Кавказского корпуса в 1833 году, а Георгиевское знамя, пожалованное императором Николаем, перешло в третий батальон нынешнего Тифлисского гренадерского полка, который своей доблестной службой прибавил, впоследствии, к старой надписи новые славные слова: “...и за Кавказскую войну”.

Защита Шуши тесно связала с именем этой крепости доблестное имя Реута. Но слава, которой покрылось оно, была связана своим происхождением не выдающимся способностям вождя, а исключительно отличавшим Реута высоким чувствам долга и чести, которые не могут заменить никакие таланты. Благотворное значение этого чувства сказалось в истории осады Шуши со всей своей силой. В полуразрушенной, но почти неприступной по расположению крепости не нужно было составлять сложных планов защиты, но нужно было уметь смирить свою личность перед отчизной, поставить свои интересы и самую жизнь ниже интересов и жизни родины. И Реут, переносивший лишения наравне с солдатами, умел вдохнуть в них мужество не только личным примером, а и всеми своими действиями, прибегнув, в самую критическую минуту, даже к невинному обману, служившему к достижению высокой цели.

Реут был истинным сыном Кавказа и выразителем доблестного духа кавказских войск. Он начал службу в Грузии в 1801 году, в том самом сорок втором полку, которым довелось ему впоследствии командовать, и не покидал Кавказа до самой смерти, посвятив этой стране всю свою долгую пятидесятидвухлетнюю службу. Произведенный в генералы, во время турецкой войны 1828 года, он получил за штурм Ахалцыха золотую шпагу, осыпанную бриллиантами, в 1834 году участвовал в экспедиции к Гимрам, в 1836 — в Аварию. Последней экспедицией Реут закончил свою боевую деятельность и с тех пор занимал административные посты в Тифлисе. Он умер 10 сентября 1855 года, семидесяти

лет от роду, в чине генерал-лейтенанта, членом Совета главного управления Закавказского края. Последней наградой его был орден св. Александра Невского. Бессменный, одинокий человек, Реут не имел в Тифлисе никого из близких; но на погребении его был весь город. Его честная, многолетняя служба, вся посвященная Кавказу, поныне остается залогом прочной о нем памяти.

V. ИЗМЕНА ГАНЖИ

Вступая в Карабаг, острым углом далеко вдававшийся с севера в персидские владения и потому более доступный для нападений,— главная персидская армия, как гигантское чудовище, распростирающее от себя по всем направлениям жадные руки, разослала повсюду сильные побочные отряды, спешившие занять древние татарские ханства. Один из таких отрядов, тысяч в десять-двенадцать, под знойным южным небом тянулся к стороне Елизаветполя.

Елизаветполю, древней Ганже, в истории распространения русского владычества в Закавказье выпала значительная роль, благодаря мужеству последнего владетеля его, знаменитого Джават-хана. Русские гордились покорением храброго татарского народа, и сам Цицианов придавал этому факту большое значение. В крае долго помнили, с какой смелостью и настойчивостью он стремился показать это значение и высшему правительству. Есть легендарный рассказ, что император Александр, получив известие о взятии Ганжи пожаловал нижним чинам, участвовавшим в штурме, по рублю серебром; но такая награда обидела Цицианова. “Если Его Величество,— писал он в Военную Коллегию,— жалует солдатам по рублю за хороший развод, то за взятие города штурмом, вероятно, хотел дать медали, а потому и приказал к серебряным рублям приделать ушки и носить их в петлице, только всеподданнейше испрашиваю, на каких Государь прикажет лентах”.

Государь уважил тогда патриотическую Дерзость главнокомандующего: рубли оставлены были солдатам, а за взятие города установлена особая медаль.

С течением времени, с покорением других ханств, значение. Ганжи, переименованной в Елизаветполь, становилось все бледнее и бледнее в глазах русских властей. Роль историческая отходила все дальше и дальше в прошлое, а в настоящем, после окончательного присоединения Карабага, Ганжинское ханство, прикрытое от Персии озером Гокчей, не имело уже прежнего стратегического значения. К этому присоединился климат Елизаветполя, убийственный для северных пришельцев, почему даже те две роты сорок первого егерского полка с четырьмя орудиями и сотней казаков, которые должны были занимать древний город, не оставались в нем: чрезвычайная смертность среди войск с давнего времени побудила Ермолова выводить их каждое лето верст за двадцать от города, в селение Зурнабад, лежавшее в горах. Отвращение от этой местности среди русских было так велико, что в обширном городе не устраивались даже помещения для войск, не было даже казарм, которые так легко было устроить в покинутом ханском дворце; колодцы не чистились, что, в свою очередь, не могло благоприятно отзываться на здоровье солдат. Елизаветполь был почти покинут.

Такое отношение к старой Ганже едва ли, однако, оправдывалось политическим положением края и настроением умов его населения. Татары Ганжинского царства, в противоположность русским, не забывали истории своего народа, его борьбы и падения. Они помнили геройскую защиту и смерть Джават-хана как славное предание о былой силе и независимости мусульманства в их родной стране. В народе упорно держался слух о несметных ханских сокровищах, возбуждавших его восточную жажду роскоши и блеска

и, вместе с тем, боязнь, как бы эти богатства не попали в руки неверных пришельцев. Ходили рассказы, что под крепостью есть подземные ходы, которые настолько обвалились, что проникнуть в них уже не было возможности.

Предания утверждали, что хан, предвидевший намерение русских штурмовать крепость, зарыл большую часть своих сокровищ именно в этих подземельях; рассказывали, что в последние дни ханства он часто призывал в свою цитадель искусных землекопов, которые оттуда никогда уже не возвращались, становясь жертвой его предусмотрительности.

Некоторая часть богатств была, по рассказам, зарыта и в крепости, в ханском саду, откуда будто бы, уже в двадцатью годах, вырыл их один из сыновей Джават-хана, тайно приезжавший из Персии. Англичане, знавшие этого сына в Персии, подтверждали Муравьеву достоверность народных преданий. Соблазнительные рассказы волновали даже армян, втайне вздыхавших о сокровищах, успевших ускользнуть из их рук.

Словом, в древнем Ганжинском ханстве была готовая почва для смут. Там были еще поклонники старины, помнившие ханскую пышность, тревожившую их воображение, и не мирившиеся теперь со сменившим ее суровым и простым режимом, вырвавшим из рук сильных произвол, но зато лишившим и массу бедного населения возможности былых удалых наездов и грабежей.

И вот, когда персидские войска вступили в Карабаг, все население Ганжи сразу изменило русским. Были, конечно, многие, которых только страх заставлял идти по начавшемуся бурному течению. Но так или иначе, почетнейшие татары и армяне немедленно отправили к Аббасу-Мирзе депутацию, которая лично вручила ему просьбу от жителей, умолявших могущественного наследника персидского престола восстановить их старое ханство и осенить их древний город победоносными персидскими знаменами.

Аббас-Мирза был чрезвычайно доволен этим выражением чувств елизаветпольских жителей, и во исполнение их просьбы два батальона регулярной пехоты, с сильной конницей и четырьмя орудиями, скоро выступили по направлению к Ганже, чтобы водворить в ней нового хана.

Впереди этого отряда, осеняемые большим красным знаменем, ехали три полководца. Один из них, еще совсем молодой человек, с красивым, задумчивым лицом, был старший сын Аббаса-Мирзы, принц Мамед-Мирза. Отец охотно отпустил его, рассчитывая, что предприятие не будет трудное; но тем не менее, не доверяя опытности сына, он отправил с ним своего шурина, старого опытного вождя, Амир-хан-Сардаря, женатого на дочери шаха. Третий был Угурлу-хан, сын знаменитого последнего ганжинского хана, Джавата. Он был назначен правителем вновь образованного персиянами ганжинского ханства и теперь ехал в свои древние родовые владения, встречаемый на пути толпами татар, стекавшимися из всех окрестных деревень, чтобы поклониться тому, кого они считали своим законным повелителем.

Между ними было много еще тех, кто лично испытал на себе ханскую власть с ее бездушным произволом; но под обаянием минуты забыты были черные тени, ложившиеся от ханского престола на сонмы его раболепных слуг,— и эти слуги первыми явились приветствовать возрождающуюся в крае ханскую власть. Особенное впечатление на посторонних зрителей производил старый человек с зияющей раной вместо правого глаза — яркий след ханского времени. Старик этот при последнем хане был главным управляющим одного из его дворцов. По этикету, принятому вообще на Востоке, дворцовые служители, проходя по двору властелина, должны идти с опущенной вниз

головой и сложенными на груди руками. Но однажды этот несчастный машинально поднял голову,— и вдруг глаза его встретились с глазами хана, стоявшего у окна с одной из своих жен. Старик обомлел — и недаром. Хан тотчас потребовал его к себе и строго спросил: “Каким глазом ты видел султаншу?” — “Правым”,— отвечал трепещущий царедворец”. Преступный глаз был тут же вырван. Подвергшийся страшной казни остался, однако, рабски привязанным к своему господину и ревностно служил ему. Осада города русскими и смерть хана лишили его доходного места, и в двадцатых годах, перед войной, путешественник Гамба видел его сторожем елизаветпольской мечети, вздыхавшим о прошлых временах. Теперь этот старик, вышедший навстречу сыну своего тирана, свидетельствовал о возбуждении, которое охватило все население ханства.

В самом Елизаветполе было далеко не спокойно. При первых известиях о приближении персиян брожение среди татарского населения города сказалось так сильно, что заставило русских жителей подумать о своем спасении. Дороги между тем становились с каждым днем все опаснее и опаснее от множества тоща разбойничавших шаек. Окружной начальник, Симонов, потребовал в город две роты, стоявшие в Зурнабаде, чтобы конвоировать отъезжающих и казенный обоз с делами и казначейством. Роты, однако, замедлили. Тогда многие из русских решились поверить свою судьбу счастливой звезде и бежали из города, не дождавшись прикрытия. Обстоятельства вполне оправдали их. Все, заблаговременно уехавшие таким образом, успели благополучно добраться до Тифлиса; оставшиеся же в городе были в ночь на 28 июля предательски вырезаны.

Уже вечером, 27 числа, толпы вооруженных татар ворвались в крепость и устремились прямо к острогу. Небольшой караул заслонил ворота. Татары бросились тогда в рукопашную, и в то время, как одни резались с караулом, другие кидали в окна кинжалы. Преступники, теперь вооруженные, легко разбили острог и напали на караул сзади. Солдаты были перерезаны, арестанты вышли на свободу и пристали к мятежникам. Другая команда, защищавшая повозки, на которые сложено было елизаветпольское казначейство, кое-как отбилась, и татарам удалось отхватить лишь несколько тюков с медной монетой, тысяч на пять или на шесть; все же ассигнации, золото и серебро — отстояли и благополучно выпроводили на тифлисскую дорогу. Но дела из присутственных мест спасать было некогда; их бросили, а мятежники сожгли их торжественно на площади. Русских чиновников, не успевших бежать, разыскивали по всем домам и убивали.

Так началась в Елизаветполе страшная ночь на 28 июля. Отряд, следовавший из Зурдабада и задержанный в пути огромным обозом, подошел к городу в то время, когда никого из русских в нем уже не было. Начальник отряда, капитан Шнитников, выслал вперед двенадцать казаков с поручиком Габаевым предупредить окружного начальника о приближении войска, но встретившиеся на пути армяне посоветовали Габаеву как можно скорее уезжать назад. Офицер хотел, однако, лично удостовериться в том, что происходит в городе, и двинулся дальше, в городские ворота его пропустили свободно; но едва он втянулся в улицу, как моментально был окружен татарами и вместе со всеми своими казаками очутился в плену.

Роты Шнитникова между тем подошли к городу никем не предупрежденные. Их встретила депутация от татар, которые как победители предложили Шнитникову условия, соглашаясь пропустить роты, но требуя, чтобы весь русский обоз был оставлен в городе. Храбрый офицер отверг предложение и решился открыть себе путь оружием. Но едва роты двинулись вперед, как татары, засевшие в домах, встретили их сильным огнем. С помощью штыков и картечного огня, громившего улицы, отряд стал пробиваться на тифлисскую дорогу. В жестоком бою храбрый артиллерийский офицер, поручик

Корченко, лично управлявший орудиями, получил смертельную рану; тридцать солдат было убито. К счастью, в это самое время армяне успели освободить Габаева. Он явился в отряд в критический момент, когда роты, попавшие в лабиринт улиц, остановились и страшно терпели от перекрестного огня. Габаев, сам уроженец Ганжи, отлично знавший расположение города, свернул роты в сторону и повел их такими закоулками, которые вовсе не были знакомы солдатам,— приготовленные татарами засады были обойдены.

Персидский отряд между тем приближался к городу. Лежавшие в окрестностях его немецкие колонии были разграблены. Жители одной из них, Анненфельдской, находившейся на левом берегу Шамхорки, верстах в двадцати пяти от города, успели бежать в Тифлис заблаговременно; но почти все их имущество осталось в добычу неприятелю. Другая колония, Еленендорфская, всего в семи верстах от Ганжи, была занята персиянами, и колонисты успели спасти свою жизнь только при помощи армян, укрывших их в своих домах в самом Елизаветполе. Это была одна из богатейших и цветущих виртембергских колоний, насчитывавшая у себя восемьдесят девять прекрасных каменных домов.

Но чем ближе подходили персияне к старой Ганже, тем более замедляли шаг и, наконец, остановились совсем. Амир-хан-Сардарь первый начал сомневаться в искренности прошения елизаветпольских жителей — и не решался вступить в город, опасаясь засады. Посланы были искусные лазутчики, и только по возвращении их решено было вступить в Елизаветполь, чтобы предупредить небольшой русский отряд, бывший по сведениям персиян также в недальнем расстоянии от города, но, как выше рассказано, после жаркой битвы в улицах, ушедший на тифлисскую дорогу.

Елизаветполь был в руках персиян. По нравственному влиянию на жителей один этот факт стоил русским большого проигранного сражения. Ганжа в понятиях народа была такая неприступная крепость, которую могли взять только русские. И вот теперь эти самые русские уступают ее обратно персиянам,— персияне, стало быть, стали сильнее этих северных жителей,— такова логика Востока, раболепствующего только перед силой. Видя персидские знамена вновь на старых башнях Ганжи, где за двадцать три года перед тем пал храбрый Джават-хан со своими сыновьями, татары торжествовали падение русского владычества в Закавказье. Восстание получало в этом факте сильное нравственное поощрение.

Непосредственным следствием занятия персиянами Елизаветполя было возмущение соседних татарских дистанций.

Шамшадильская открыто стала на сторону врагов, Казахская готова была последовать ей, и только отряд русских войск, расположенный поблизости, стеснял проявление в ней враждебности; “Впрочем, доверия к оной ни малейшего иметь невозможно”,— говорит в своем донесении императору Ермолов.

Так, все пространство от самой границы Турции и до отдаленных пределов Карабага было охвачено пламенем бунта, и древняя Грузия, как в давно забытые времена, была окружена теперь плотной стеной враждебных мусульманских земель.

VI. ВОЗМУЩЕНИЕ ХАНСТВ

Вторжение огромной персидской армии в Карабаг немедленно отразилось на всех соседних с ним восточных ханствах Закавказья, окаймляющих Каспийское море. В руках Аббас-Мирзы было против России опасное оружие, в лице изгнанных ханов,

стремившихся вернуть свои владения, и он спешил воспользоваться им. Одновременно с занятием Елизаветполя, сын давно умершего Селим-хана текинского явился в Нуху, Мустафа в Ширван, сын Ших-Али-хана в Кубинскую провинцию, Гуссейн-Кули-хан в Баку, Мир-Хассан-хан в Талыши. Даже грузинский царевич Александр стремился проникнуть в Кахетию, в Дагестан пробрался Сурхай Казикумыкский со своими сыновьями и пятнадцатью нукерами. Не все они пришли с персидскими войсками, но все с английским золотом,— и скоро волны возмущения перебросились за Кавказский хребет, в Кубинскую провинцию, и уже лизали подножия вековых скалистых громад Дагестана. Мятеж и смута были и там, где не было к ним серьезного расположения,— страх гнева и мести персидской исключали всякое сопротивление; а изгнанные ханы между тем встречали повсюду родство и, с помощью старых приверженцев, легко распространяли среди легковерного восточного населения движение в свою пользу.

Волнение, подготовлявшееся заранее, прежде всего, еще до персидского вторжения, обнаружилось в Талышах. В начале июня тогдашний владетель ханства, Мир-Хассан-хан, вдруг, без всякой видимой причины, бежал из Ленкорани в Персию, бросив семейство, не успевшее последовать за ним и задержанное русскими. Побег Мир-Хассан-хана был тем страннее и необъяснимее, что со стороны России не было к нему подано ни малейшего повода, а ханский род издавна отличался верностью. Отец Хассана представлял неоднократные доказательства не только преданности русским, но и непримиримой вражды к персиянам. И сам Хассан, в 1812 году, укрепившись в горах, выдержал от персиян жестокую блокаду; талышинцы тогда переели всех своих лошадей и верблюдов, но не сдались и были выручены Котляревским. Эту черту семейной верности сохранила даже теперь сестра хана, Беюк-Ханум. Узнав об измене брата, она удалилась в Баку, приняла христианство и добровольно отказалась от всех деревень, принадлежавших ей в Талышинском ханстве, получив, взамен их, пожизненную пенсию в тысячу двести рублей.

Непонятный побег хана скоро нашел свое объяснение в персидской войне. И едва Аббас-Мирза вошел в Карабаг, как и Мир-Хассан-хан со значительным персидским отрядом явился в Талышинское ханство.

Талышинское ханство занимал тогда только один Каспийский морской батальон, силой в семьсот штыков, подкрепленный сотней казаков; а комендантом Ленкорани и вместе управлявшим Талышинским ханством был майор Ильинский. Судьба этого человека не лишена трагичности. Он служил прежде в Преображенском полку, женился в Петербурге на актрисе, даже не первоклассной, и вследствии того должен был оставить гвардию. Отец его, старый богатый помещик, отказался принять его с женой-неровней,— и Ильинский отправился служить на Кавказ. Там он занимал одно время место телавского уездного начальника, но вследствие какой-то истории был сменен и получил в командование Каспийский батальон, с назначением вместе с тем и комендантом Ленкоранской крепости. В Ленкорани он лишился жены, затосковал, начал пить, распустил батальон и, в заключение, перед самой войной, увез вдову какого-то знатного хана, с тем чтобы ее окрестить и жениться на ней. Последнее, само по себе незначительное, обстоятельство взволновало татар, и теперь, при неожиданном вторжении персиян, не осталось без влияния на общий ход дел: оскорбленные жители тем легче переходили к открытому восстанию.

Хассан напал с персидскими войсками на разбросанные посты Каспийского батальона, вырезал небольшой русский гарнизон в Акерване и, потребовав новых подкреплений, направился к Ленкорани. Ленкорань была уже не той сильной крепостью, которую когда-то брал Котляревский; самый наружный вид ее совершенно изменился: укрепления были разрушены, казармы срыты бурунами. Море, обрушив часть берега, подошло к самым

стенам укрепления, поглотив даже кладбище, где покоились вечным сном герои штурма Котляревского. Ильинский, со своей стороны, не мог рассчитывать ни на какую помощь. Ближайшие к нему русские войска находились за двести двадцать верст, в Ширвани, которая и сама нуждалась в охране, да и эти резервы состояли всего из двух рот егерей, занимавших Старую Шемаху. К счастью, на Ленкоранский рейд в то время прибыла часть Каспийской флотилии, под начальством капитан-лейтенанта барона Левендаля. Она забрала из Ленкорани батальонный лазарет, цейхгауз, солдатские семейства, а также армян и талышинских татар, искавших в укреплении убежища, и для безопасности перевезла их на остров Сару. Избавившись от лишнего населения и тяжестей, Ильинскому стало значительно легче защищаться.

Наскоро привел он Ленкорань в кое-какое оборонительное состояние, исправил по местам укрепления, вырубил окольный лес и, усилив свою артиллерию шестифунтовым чугунным орудием, взятым с одного из корветов,— приготовился к защите. Свой лагерь он истребил, сжег дома бежавших талышинцев, а с остатками своего батальона вошел в Ленкоранскую крепость, выдержав при этом сильную перестрелку с подошедшими уже войсками талышинского хана.

С талышинским ханом пришел персидский отряд настолько значительный и располагавший притом таким большим числом гребных судов, что мог свободно обложить Ленкорань и с моря, и с суши. Вокруг крепости, действительно, потянулись сильные земляные окопы, а неприятельские киржимы (длинные лодки) стали на рейде и так строго охраняли море, что мичман Соковнин, посланный на вооруженном катере от Левендаля к Ильинскому с какими-то депешами, не мог пробиться в Ленкорань, и должен был вернуться к своей флотилии.

Между тем персияне, распространяясь по берегу все дальше и дальше, овладели Сальянами на Куре и Кизил-Агачем,— двумя важнейшими пунктами к северу от Ленкорани. Содержатель Сальянских вод и русский офицер, поручик Кордиков, были взяты в плен: семейство преданного русским Ашим-хана ограблено, и сам он погиб. Множество людей захвачено было также на рыбных промыслах и перерезано, так как персияне платили по двадцать червонцев за русскую голову. Не больше двухсот человек из них, вместе с русской командой из двух офицеров и тридцати пяти солдат, спаслись только тем, что бросились в море, доплыли до русской шхуны и на ней благополучно добрались до острова Сары.

Как только — это было 26 июля — известие о взятии Сальян достигло персидского стана, персияне отправили к Ильинскому парламентера с требованием немедленно сдать им и Ленкоранскую крепость.

“Сим объявляю,— писал коменданту персидский военачальник, мулла Мир-Азис,— что по велению Бога какая была к вам милость, то оной уже больше от Него не будет, а должна она излиться теперь на персиян. Мы были унижены Аллахом и теперь должны повыситься,— так гласит святой шариат наш. Сальяны уже взяты, и какие были солдаты ваши — те побиты; киржимы, доставлявшие вам провиант, захвачены. Все, осмелившиеся противиться нам, преданы смерти, и головы их доставлены на Муганскую степь, к шахсеванцам, где за каждую из них платят по двадцать червонцев награды”.

Перечисляя затем все силы, которыми располагает шах, Мир-Азис говорит, что двенадцать тысяч сарбазов, и с ними шахский сын Али-Наги-Мирза, стоят под Ленкоранью и ждут только мановения его, Мир-Азиса, чтобы истребить неверных и выкрасить их кровью волны Каспийского моря.

“Если вы сдадите мне крепость без боя,— говорил Мир-Азис в заключение своего письма, обращаясь уже лично к Ильинскому, то вас никто не обидит; если захотите служить великому нашему государю,— будете одарены его щедротами; и я вам порукой, что над всеми солдатами, находящимися у вас, вы будете начальником. Не захотите принять этих условий, то именем Создателя возвещаю вам, что преданы будете смерти и никакой пощады вам не будет”.

В крепости собрался военный совет. Общее убеждение оказалось таково, что держаться в полуразрушенных укреплениях невозможно. Того же мнения был и начальник Каспийской флотилии, тем более, что русские суда, стоявшие на открытом рейде, при сильных ветрах не могли ничем помочь гарнизону. Оставление Ленкорани было решено единогласно.

В ту же ночь, едва взошла луна, русская флотилия в полном своем составе приблизилась к крепости. Комендант зажег Ленкорань и, посадив все войска на суда, отплыл на остров Сару, оставив персиянам одни развалины. Весь багаж и пять медных орудий были увезены; но чугунную пушку, взятую с корвета, перевезти не успели, и она, впрочем заклепанная, оставлена была неприятелю. Теперь все Талышинское ханство было в руках персиян. Тем не менее Ермолов был весьма доволен действиями отряда Ильинского или, по крайней мере, результатами их.

“Отступление Каспийского батальона,— говорит он в своем донесении,— почитаю я весьма счастливым событием, ибо в действии против него уже были два регулярные батальона с артиллерией, к которым возмутившийся талышинский хан присоединился сам с четырехтысячной милицией. Неприятель не сумел воспрепятствовать отплытию Каспийского батальона, и сие по расторопности морских офицеров совершилось без всякой потери (если не считать покинутого нами заклепанного орудия), на мелких судах, которые захватили у жителей. Некоторое время батальон остался бы без защиты против неприятеля, несравненно превосходнейшего”.

Пока Ильинский крепко основался на острове Саре, трехтысячный персидский отряд, приведенный беглым Гуссейн-Кули-ханом, убийцей Цицианова, обложил Баку. Трудно было подать туда какую-нибудь помощь с острова, так как все Каспийское море покрылось многочисленной персидской гребной, вооруженной Фальконетами, флотилией, которая преследовала русские суда, не давая им возможности пристать к западным берегам моря. Однако же, хотя и с большим трудом, удалось перевести в Баку две роты Каспийского батальона, что было очень кстати, так как в крепости защищались всего три роты местного гарнизонного батальона. Полковник барон Розен, бывший тогда комендантом в Баку, опасаясь измены, нашел необходимым выслать из крепости всех жителей, за исключением лишь нескольких стариков да еще семейства преданного России Казим-бека, некогда друга и наперсника Гуссейн-Кули-хана. В то же время он искусно расположил свои небольшие силы, воодушевил гарнизон и делал вылазки с величайшим успехом. Персияне несколько раз ходили на штурм с лестницами, но всякий раз были отбиваемы. После бесплодных усилий одолеть крепость открытой силой, Туссейн обложил Баку с моря и с суши. Были слухи, что неприятель помышлял даже перерыть канал, снабжающий город извне пресной водой,— единственный источник для продовольствия жителей. Положение Баку становилось весьма опасным. К счастью, персияне не воспользовались выгодами своего положения и дали гарнизону возможность продержаться до тех пор, пока изменившиеся обстоятельства войны не вынудили самих персиян оставить блокаду города.

В это тяжелое время Ермолову приходилось подумать о том, чтобы не дать возмущению возможности пройти сквозной полосой через Ширвань до гор Дагестана,— и он принял к тому меры. Еще 18 июля, в тот самый день, когда персияне только что вошли в Карабаг, он предписал генерал-майору Краббе, командовавшему войсками в Дагестане, оставить в полковых штаб-квартирах Куринского и Апшеронского полков, в Кубе и Дербенте, сильные гарнизоны, не менее батальона в каждом, а с остальными войсками быть наготове и, при первом возмущении в Ширвани, идти в Шемаху.

Краббе долго ждать не пришлось.

Почти одновременно с тем, как Гуссейн-Кули-хан обложил Баку, в Ширвани появился бывший владетель ее, Мустафа, и занял город Ак-Су (Новая Шемаха), куда вслед за ним прибыл персидский отряд, под начальством одного из братьев наследного принца. Краббе немедленно двинулся сюда из Дербента и разбил персиян. Но в это самое время в тылу у него поднялась Кубинская провинция. Краббе отступил из Ширвани и нашел в Кубинской провинции уже значительные силы, при которых находился сын умершего в двадцатых годах Ших-Али-хана, считавший себя законным наследником этого владения. Сюда же теперь двигались и те персидские войска, которые были в Ширвани. Едва Краббе занял город Кубу, как он был обложен персиянами со всех сторон,— и русский отряд очутился в осаде. Неприятель попытался было овладеть городским предместьем и два раза бросался на приступ,— но был легко отбит. Вообще тревожиться за участь Кубы было нечего: русский отряд был там слишком силен (три с половиной батальона), чтобы испытать серьезную неудачу; но, запертый в Кубе, он становился бесполезным,— и в этом смысле действия Краббе были в высшей степени ошибочны.

“Удивляюсь я,— писал Ермолов Мадатову,— как залез в Кубу генерал Краббе? Неужели не мог он совладать со сволочью? Бесят меня подобные мерзости, которые при малейшей распорядительности случаться не должны”.

Но так или иначе, Куба, подобно Баку, стояла в тесной блокаде, а Дагестан остался без войск. Можно было опасаться теперь, что персияне не упустят этого момента и сделают серьезную попытку вызвать в нем возмущения. Самые обстоятельства в крае, казалось, складывались так, что благоприятствовали этому предприятию. Уже в исходе 1825 года носились слухи, что лезгины Нагорного Дагестана посылали к Аббас-Мирзе депутацию — просить у него помощи в борьбе против русских, и в залог своей верности отправили к нему локоны жен и рукава от их платьев. Известие об этом подтвердилось официальным путем. Однако же, такое обстоятельство нимало не встревожило Ермолова.

“Покуда Акушинский народ пребывает верным,— писал он по этому поводу,— а в Казикумыке сидит Аслан-хан, то всякие предприятия прочих лезгин ничтожны и персиянами уважены не будут. Посланные в залог локоны и рукава одежды также не тронут чувствительности персиян, которые, конечно, предпочли бы им оружие, противу нас обращенное”.

Теперь обстоятельства усложнялись. Правда, персияне не осмелились вступить в Дагестан, но за то прислали туда злейшего врага России, бывшего казикумыкского хана, Сурхая, с грудами английского золота. Мятеж нашел себе даже отголосок в Южном Дагестане, в округе Табасаранском, и угрожал разлиться по соседним странам: Каракайтагу, Кюре и Казикумыку. К счастью, в этот критический момент, акушинцы наотрез отказались участвовать в восстании и даже персидские прокламации переслали Ермолову. В то же время шамхал тарковский употреблял все средства, чтобы удержать в повиновении весь Северный Дагестан, а Аслан-хан делал то же по отношению к Южному.

Тогда Сурхай собрал в горах значительное войско, с тем, чтобы прежде всего наказать Аслан-хана, и с трех сторон пошел на Казикумык. Аслан-хан — собственная участь которого зависела теперь от победы — встретил его с казикумыкцами на границе своих владений, и бой, почти одновременно происходивший в трех различных местах, при Кинсаре, Андаляле и Мурджи, окончился совершенным поражением Сурхая; казикумыкцы овладели четырьмя знаменами и взяли в плен двести пятьдесят человек. Эта победа дала чрезвычайно важные результаты. Дагестан затих и до самого конца персидской войны оставался спокойным. Затихла и Табасарань, ограничившись прибрежными грабежами.

Тщетно пытался Сурхай собрать новое войско, чтобы вести его на Кахетию; охотников не являлось, и он, удалившись в Сагратло, умер там, всеми покинутый, всеми забытый.

Заслуги шамхала и Аслан-хана были оценены государем по достоинству: шамхалу пожалован был орден св. Владимира 2-ого класса, Аслан-хану — анненская лента.

Не миновали волны возмущения и стран, непосредственно граничащих с Грузией с северо-востока. Взволновались джарские лезгины и грозили вторжениями в Кахетию. В Шекинском же ханстве появился Гуссейн-хан,— последняя отрасль некогда грозного текинского владетельного рода. Отец Гуссейна, Селим, добровольно вступивший когда-то в русское подданство, бежал при Гудовиче в Персию и там умер, владения его перешли в руки чуждых хойских выходцев, а после смерти последнего из них, Измаила, обращены были в простую русскую провинцию. Теперь Гуссейн-хан являлся в стране как настоящий законный владетель ее. Рассчитывая на то, что народ сочувственно примет потомка своих коренных ханов, персияне дали Гуссейну отряд и поручили ему организовать восстание народа. Выбор их оказался неудачным. Гуссейн занял Нуху, две русские роты, стоявшие там, отступили без выстрела,— но этим вся деятельность его и ограничилась. Он засел в нухинском дворце и не хотел никуда идти. Напрасно Аббас-Мирза требовал, чтобы он соединился с джарцами и шел на Кахетию; Гуссейн поджидал на помощь царевича Александра, а сам ничего не делал. Шекинская провинция, тем не менее, была от России отторгнута и находилась вся во власти персиян.

Так, к сентябрю 1826 года весь обширный восток Закавказья, все, что лежало непосредственно за пределами древней Иверии и до самого моря, стояло в огне возмущения. В самой Грузии, не исключая Тифлиса, настроение жителей было весьма тревожное. Одни, обольщенные персиянами и в особенности беглым царевичем Александром, ожидали только случая открыто перейти на сторону врагов; другие, помня зверства персиян при вторжении их в Тифлис, напротив, зарывали свое имущество в землю и бежали в Россию. И так продолжалось до тех пор, пока непостоянный жребий войны не изменил персиянам.

VII. ДЕЙСТВИЯ ЕРМОЛОВА

Прошло полтора месяца с тех пор, как вторжением эриванского сардаря со стороны величавого озера Севан началась персидская война. И это длинное число дней, когда персияне захватывали одно за другим свои бывшие владения, было для христиан Закавказья временем томительной тревоги, колебаний между страхом персидского нашествия с его ужасами, и надеждой, что вот-вот появится успокоительное известие, с которым грозовая туча бедствий. минует Грузию. Но таких известий — не было. Тифлис волновался, Ермолову делались представления об опасности, заключавшейся в том возбуждении, жертвой которого становилось население.

Где же был тот, чье имя одно устрашало врагов и на кого теперь, в эти страшные дни, устремлялись с надеждой все взоры? Впоследствии возникло прямое обвинение Ермолова в бездействии, в страхе перед многочисленным неприятелем в то время, как у него самого в распоряжении находилось в одном только Закавказье до сорока тысяч солдат.

Но чтобы с полной основательностью судить о действиях Ермолова и не подчиниться предвзятому взгляду, основание которому положил Паскевич, необходимо ближе всмотреться в тогдашнее положение дел и не только сосчитать войска, бывшие в Закавказье, но и понять, насколько они были в состоянии и возможности выйти против персиян.

В тот момент, когда неприятель вошел в русские пределы, войска распределялись по закавказским провинциям так: В Имеретин, Менгрелии, Гурии и Абхазии, на пространстве, превышающем в длину пятьсот верст, стояли шесть батальонов, три Менгрельского и три сорок четвертого егерского полков, с двенадцатью орудиями и одним казачьим полком.

На персидской границе со стороны Эривани, в Бомбаках и Шурагели — два батальона Тифлисского полка и две роты карабинеров с двенадцатью орудиями и казачьим полком.

В мусульманских провинциях: в Карабаге, в Елизаветполе, в Нухе, в Ширвани и в Талышинском ханстве размещены были пять батальонов, также с двенадцатью орудиями и двумя казачьими полками; из последних один стоял в Карабаге, другой на постах между Елизаветполем, Нухой и Ширванью.

В Южном Дагестане, примыкавшем непосредственно к театру военных действий, находилось шесть батальонов: два Апшеронского полка, два Куринского и два местные, составлявшие постоянные гарнизоны в Баку и в Дербенте. При этих батальонах находилось восемнадцать орудий и полк казаков, занимавший посты между Дербентом, Кубой и Шемахой.

На Алазанской Линии, в постоянной опасности лезгинского набега, стоял батальон Грузинского полка с тремя орудиями и казачьим полком, обеспечивавшим в то же самое время и сообщение этой линии с Тифлисом.

Кроме того, боевым резервом, обращенным к стороне Лезгистана, располагались в Кахетии же, в своих полковых штаб-квартирах, другой батальон Грузинского полка, три роты ширванцев и шесть эскадронов Нижегородских драгун. Две батарейных и одна легкая рота артиллерии, всего тридцать три орудия, размещались по Кахетии, в Гомбарах и в Царских Колодцах.

Наконец, в Грузии, в качестве общего и главного резерва для целого края, расположены были три казачьи полка и семь с половиной батальонов пехоты; четыре из них занимали Тифлис, остальные охраняли Гори, Манглис, Белый Ключ и посты по Военно-Грузинской дороге.

Таким образом, по всему обширному краю были действительно разбросаны тридцать батальонов пехоты, то есть при совершенно необычном, но постоянном в тех войсках, некомплекте никак не более тридцати тысяч штыков, шесть эскадронов драгун и девять казачьих полков, в общем числе до пяти тысяч всадников, полевых орудий было девяносто.

Подробная дислокация войск, в момент начала персидской войны, была следующая:

Пехота

В Имеретрии и по берегу Черного моря:

Менгрельский полк, три батальона, штыков — 3029

44-й егерский полк — 2977

В Бомбаках и Шурагели:

В Большом Караклисе — шесть рот Тифлисского пехотного полка — 1602

(из этих рот две находились в Мираке и одна в Балык-чае).

В Гергерах — одна рота Тифлисского полка — 256

В Гумрах — две роты Тифлисского полка — 560

В Амамлах — две роты седьмого карабинерного полка — 575

(из них одна находилась в Мираке).

В мусульманских провинциях:

В Чинахчах (в Карабаге) — шесть рот 42 егерского полка — 1757

В Герюсах (там же) — три роты 42 егерского полка — 934

В Старой Шемахе — две роты 42 егерского полка — 616

В Сальянах — одна Апшеронского полка — 271

В Нухе — одна рота 42 егерского полка — 311

— одна рота Ширванского полка — 307

В Елизаветполе (Зурнабад) — две роты 41 егерского полка — 586

В Ленкорани — Каспийский морской батальон — 778

В Южном Дагестане:

В Баку — гарнизонный батальон — 558

В Кубе — семь рот Апшеронского полна — 1842

В Дербенте — две роты батальона Куринского полка — 2077

— гарнизонный батальон — 512

В Кахетии:

На Алазанской линии — один батальон Грузинского полка — 1067

В Мухровани — один батальон Грузинского полка — 1062

В Царских Колодцах — три роты Ширванского полка — 840

В Грузии:

В Тифлисе: семь рот 7-го карабинерного полка — 1953

один батальон Херсонского полка — 1074

три роты 41 егерского полка — 846

две роты Грузинского полка — 515

Рота 8 пионерного батальона — 225

На постах Военно-Грузинской дороги — две роты Тифлисского полка — 564

В Гори — батальон Херсонского полка — 1167

В Сураме — рота Херсонского полка — 302

В Белом Ключе — три роты 41 егерского полка — 756

В Манглисе две роты 7 карабинерного полка — 592

В Цалке — рота 7 карабинерного полка — 282

Итого штыков — 30793

Кавалерия

Нижегородский драгунский полк (в Кара-Агаче), шесть эскадронов, коней — 868

Донские Казачьи полки: Ребрикова (в Кутаиси) — 532

Андреева (в Бомбаках и Шурагели) — 504

Молчанова (в Карабаге) — 420

Сысоева (в Мусульманских провинциях) — 453

Семенчикова (в Южном Дагестане) — 458

Кутина (в Кахетии) — 506

Иловайского (в Грузии, в Борчалинской татарской дистанции) — 503

Грекова (в Грузии, в Гори) — 331

Лернова (в Самхетии) — 460

Итого коней — 5035

Артиллерия

Кавказской гренадерской артиллерийской бригады батарейная первая рота (в Гамборах), орудий — 12

Той же бригады 2-я легкая рота (в Гамборах) — 12

(из них три орудия на Алазанской линии). Той же бригады 3-я легкая рота (в Бомбаках и Шурагели) — 12

(из них: в Большом Караклисе 3, в Гумрах 2, в Мираке 2, в Балык-чае 2, на постах: в Беканте 1, в Амамлах 1, на Каменной речке 1).

21 артиллерийская бригада, батарейная первая

рота (Царские Колодцы) — 12

Той же бригады вторая легкая рота (в Кутаиси) — 12

третья легкая рота (в Дагестане) — 12

(из них: в Кубе 8, в Дербенте 3, в Бурной 1).

Резервной батарейной пятой роты 22 артиллерийской бригады, с легкими орудиями — 18

(из них в Южном Дагестане 6, в Карабаге 6, в Елизаветполе 2, в Ширвани 4).

Итого орудий — 90

Но эта, по-видимому, значительная численностью армия могла вступить в борьбу с главными персидскими силами, шедшими к Тифлису, только самой малой своей частью. Из пограничных с Турцией и приморских областей, Имеретии, Мингрелии, Гурии и Абхазии, из стоявших там шести батальонов, с трудом можно было взять в крайнем случае разве один батальон. В тот момент, когда начиналась персидская война, являлась необходимость подумать о защите этого края не от одних черкесских нападений с севера, а и со стороны Турции, отношения с которой, частью даже и поощрившие персиян начать войну, становились все напряженнее. Известно было, что на русской границе, в Ахалцыхе, собиралось до десяти тысяч турецкого ополчения, и нужно было ожидать, что найдутся доброжелатели России, которые посоветуют Турции воспользоваться обстоятельствами.

Отряды, занимавшие персидские границы и ханства, не могли по самому свойству персидского вторжения, отрезавшего их друг от друга, служить осуществлению той цели, чтобы Ермолов соединил их в одну армию, которую и мог бы противопоставить армии Аббаса-Мирзы. Говорят, что Ермолов, предвидя войну, должен был бы и держать войска в такой готовности встретить врага, чтобы отдельные отряды могли тотчас же соединиться в один, способный дать отпор и по первому требованию идти по назначению

главнокомандующего, между тем как, например, в Бомбаках и Шурагели персияне нашли малую готовность к войне. Нельзя не допустить, что присутствие в Персии русского посла и щепетильность персиян по отношению к передвижениям русских войск повсюду располагали к уверенности, что войны тотчас не будет, а сообразно с тем были поводы к упреку в непринятии всех мер к отражению врагов; немедленного нашествия, точно, не ожидалось. Но, смотря на события в их исторической отдаленности с полным беспристрастием, можно еще удивляться, как повсюду неожиданно вторгнувшиеся персияне встретили должное сопротивление и часто геройский отпор. Немногие несчастные случаи, в которых ничтожные сравнительно русские отряды были прямо раздавлены массами персидских войск, ложатся лишь слабой тенью на совокупность событий. В результате, во всех захваченных персиянами областях, повсюду, начиная с Джалал-Оглы и Шуши и кончая Кубой, стояли еще русские войска, не настолько сильные, чтобы победить врага, но державшие его под вечной угрозой и связывающие его свободу действий.

Ермолов не мог и рассчитывать на какую-либо иную роль тех войск. Все это были в сущности гарнизоны и пограничные посты, весьма отдаленные друг от друга не только расстояниями, но и- трудностями путей, имевшие свое назначение в том, чтобы удерживать жителей в повиновении. Граница с Персией тянулась на расстоянии более шестисот верст по чрезвычайно затруднительной местности, с малым числом дорог, не имевших взаимного сообщения через высокие скалистые хребты гор, покрывавшиеся уже осенью глубокими снегами.

Невозможно и представить себе, чтобы Ермолов мог в предвидении войны соединить все эти отряды заранее; это значило бы бросить на произвол судьбы и на смуты те страны, которые они занимали. И какова же была бы виновность главнокомандующего во всех бедствиях, которым эти страны подверглись бы, если бы вторжения персиян не последовало, что было совершенно возможно. Очевидно, что отряды в провинциях должны были стоять в тех самых местах, где их застало персидское вторжение. А когда уже началась война, тогда попытка Ермолова ввести в район своих непосредственных распоряжений отряд Карабагский, не говоря уже об отрядах более отдаленных областей, и та кончилась неудачей, к счастью, ничему не повредившей, хотя и связавшей Ермолову руки заботой об освобождении его. Не лишнее заметить, что Ермолов, обвинявшийся в разбросанности его войск, облегчившей будто бы успехи персиянам, подвергся, однако, обвинению и за эту попытку в частности присоединить к себе значительный отряд, чтобы не дать ему быть осажденным в Шуше. К такому же обвинению, впоследствии, послужило и приказание, данное им полковнику Северсамидзе отступить за Безобдал,— что могло иметь значение опять-таки сосредоточения войск к Тифлису, поставление отряда Северсамидзе в связь с главной армией, готовившейся выступить навстречу врага.

Таким образом, все обстоятельства сложились так,— да иначе и не могли сложиться,— что Ермолов, по вторжении персиян, не мог ввести в дело с громадной армией Аббаса-Мирзы ни войск из западных провинций Закавказья, ни из провинции восточных и южных. Не мог он свободно располагать и тем батальоном, который стоял на Алазани, не открыв Кахетию вторжению волновавшихся джаро-белоканских лезгин. В его полном и непосредственном распоряжении остались только те войска, которые стояли в самой Грузии, в окрестностях Тифлиса. Это были батальоны, занимавшие Гори, Манглис и Белый Ключ. С ними да с теми двумя-тремя батальонами, которые он в случае последней крайности мог отделить из разных отрядов, рискуя совершенно обессилить их, нужно было — помимо караульной службы в Тифлисе — наблюдать за турецкой границей, откуда, действительно, вышел удар молнии, испепелившей Екатеринфельдскую колонию, удерживать внутреннее спокойствие в самой Грузии и действовать против персиян.

Средства, очевидно, были слишком ничтожны и объясняют, почему Ермолов с такой настойчивостью просил подкреплений.

В этом недостатке средств был частью обвиняем и сам Ермолов, передвинувший на Кавказскую линию, по случаю чеченского бунта, свыше семи тысяч штыков и тем обессиливший войска Закавказья. Уведенные туда батальоны оставались там и тогда, когда чеченский бунт был уже усмирен.

На Кавказскую линию взяты были войска:

Из Кахетии:

два батальона Ширванского полка — 2254 ч.

и две роты Грузинского полка — 555 ч.

Из Грузии:

батальон 41 егерского полка — 1163 ч.

три роты Херсонского полка — 840 ч.

рота 8-го пионерного батальона — 190 ч.

Из Бомбакской провинции — рота Тифлисского полка — 282 ч.

Кроме того, из войск Южного Дагестана постоянно располагались на севере, в Шамхальских владениях:

1 батальон Апшеронского полка — 1149 ч.

1 батальон Куринского полка — 1083 ч.

Всего — 7516 штыков.

В заботах о прочном покорении народов Кавказа, быть может, Ермолов, действительно, обнаружил преувеличенную осторожность,— он просил даже подкреплений и для Кавказской линии.

Были попытки объяснить первоначальные неудачи России в персидской войне вообще неправильным расположением войск и в самой Грузии. Один из военных авторитетов, Коцебу, утверждает, что первый, хотя бы и нечаянный, прорыв неприятеля не мог бы иметь столь пагубных последствий, если бы войска получили несколько иное размещение. Тифлисский полк, один охранявший всю границу со стороны Эривани, не только, по мнению его, не должно было раздроблять откомандированием целого батальона на Военно-Грузинскую дорогу (охранять которую было бы легко и одному батальону из Грузии), но, напротив, расположить в Бомбаках и Ширванский полк, составлявший с Тифлисским одну бригаду. Этих двух полков, по мнению Коцебу, было бы слишком достаточно, чтобы отразить вторжение сардаря и не допустить персиян до полного разорения двух пограничных провинций. Между тем штаб Ширванского полка, с третьим батальоном, находился в Царских Колодцах, расположенный всего в пяти верстах от штаб-квартиры Нижегородского драгунского полка, который один свободно мог

прикрывать этот край от набегов хищных лезгин. Остальные два батальона ширванцев десять лет находились на Кавказской линии; но ввиду серьезной опасности, угрожавшей со стороны Персии, их следовало бы возвратить. Все равно их пришлось же вернуть, но они вернулись поздно, когда русские вынуждены были отступить за Безобдал, оставив преданное нам армянское население во власти неприятеля. Особенную же крепость получил бы, по мнению Коцебу, правый фланг, в том случае, если бы на второй его базе не был покинут Башкечет. Там до 1823 года стоял седьмой карабинерный полк, имевший отличные хозяйственные заведения и всевозможные угодья, за исключением леса, который находился верстах в десяти от штаб-квартиры. При обилии лугов, а следовательно и при значительном скотоводстве, доставка его не составляла особого отягощения, а между тем это было одной из причин, почему карабинеры перешли в Манглис. Лес там находился, действительно, под рукой, но зато в стратегическом отношении пункт этот не имел серьезного значения, так как прикрывал только Тифлис си стороны Ахалцыха, да и то по такой трудной, гористой тропе, где могли пробираться разве лишь небольшие хищнические партии, для рассеяния которых было достаточно одних казачьих постов.

Такую же неправильность в размещении войск находит Коцебу и по отношению к Карабагу. Там надо было всегда ожидать появления главных сил неприятеля, там — исторический путь движений персидских армий к Тифлису, и потому-то квартировавший в Карабаге сорок второй полк раздроблять не следовало. Еще было бы лучше, если бы в этой провинции постоянно квартировал и сорок первый егерский полк, составлявший с сорок вторым одну бригаду. Тогда не было бы надобности оставлять Карабага или запираться в Шушу, так как шесть тысяч штыков могли бы дать серьезный отпор наступающей армии.

Таковы воззрения Коцебу. Но сам же он сознается далее, что в существовавшем размещении войск, начальство, помимо стратегических целей, могло иметь иные политические виды, могло преследовать и другие важные цели: сбережение казенного интереса относительно продовольствия, сосредоточение войск к Тифлису для более успешного производства городских работ, в большинстве производившихся руками солдат, и прочее, что, при малочисленности войск в крае, имело серьезнейшее значение.

Но и помимо того, нужно думать, что размещение войск, предложенное Коцебу, мало изменило бы результаты войны. Могло случиться, действительно, что русские войска не покинули бы тогда Бомбака и Шурагеля совершенно, не перешли бы за Безобдал в Джалал-Оглу, а остались бы, например, в Большом Караклисе. Но этим население провинций было бы защищено не больше и даже не больше была бы прикрыта Дорийская степь и пути к Тифлису, на которые персияне могли пробраться через Мокрые горы. Во всяком случае, не достигалась бы тем цель, в неисполнении которой ложится упрек на Ермолова, то есть сосредоточение по возможности войск Закавказья. Присутствие полка в Башкечете могло бы, конечно, помешать нападению на Екатеринфельдскую колонию; но разбойничьи турецкие шайки могли бы обойти русские посты и точно так же подвергнуть разорению те или другие селения, лежавшие вдали от Башкечета. Результаты только видоизменились бы в частностях, но общее положение дел осталось бы то же и, может быть, послужило бы к совершенно противоположным рассуждениям о должном размещении войск.

Едва ли справедливее мнение Коцебу и о том, что в Карабаге нужно было держать весь сорок первый егерский полк, расположенный тогда в Белом Ключе. Последний составляет с Манглисом и Гори одну боевую линию, обращенную фронтом к Ахалцыху. Опасность со стороны Турции, с которой бывший на сцене греческий вопрос необычайно обострял

русские отношения,— была несравненно серьезнее, чем опасность со стороны персиян, и вынуждала группировать войска в Картли, где находился жизненный центр Грузии — Тифлис.

Все подобные приведенным рассуждения о причинах русских неудач в начале персидской войны, хотя бы они были и справедливы, предполагают, однако, какое-либо другое положение войск, которого в действительности не было. На самом деле обстоятельства фатально сложились так, что, как сказано выше, в распоряжении Ермолова было только семь-восемь батальонов, в общей сложности тридцать рот, стоявших собственно в Грузии. Если из этого числа исключить три роты,— меньшее, что необходимо было для охранения полковых штаб-квартир в Гори, Манглисе и Белом Ключе,— да три роты для постов на Военно-Грузинской дороге и на сообщениях с Имеретией, да, наконец, минимум пять-шесть рот для постоянного гарнизона Тифлиса — всего двенадцать рот,— то для действия в поле Ермолов мог располагать, пока не прибыли подкрепления, самое большее восемнадцатью ротами. И Ермолов не медлил ввести эти роты в дело.

18 июля в Тифлисе получено было известие о нападении персиян на Мирак,— а 19 четыре роты, в составе сводного батальона, уже двигались из Грузии к эриванской границе, на помощь войскам Северсамидзе. Когда же стало ясно, что не самовольно действовал сардарь, а что и сам Аббас-Мирза уже в Карабаге,— Ермолов приказал (22 июля) оставить на Алазани только батальон Грузинского полка, да задержать три роты егерей, которые, не успев присоединиться к своему полку, запертому в Шуше, возвращались теперь из Ширванской провинции через Кизик,— а все остальные войска: другой батальон грузин, батальон ширванцев и весь Нижегородский драгунский полк — отправить немедленно к стороне Елизаветполя, на речку Гассан-Су, чтобы прикрыть большую дорогу, ведущую в Тифлис из Карабага. Часть этого отряда, 30 июля, то есть, спустя всего десять-двенадцать дней после полученных в Тифлисе известий о вторжении персиян, уже стояла на месте. Следовательно, из самого расчета времени видно, что Ермолов не потерял ни одного дня, чтобы сделать то, что сделать ему было невозможно. 4 августа туда же, к стороне Елизаветполя, отправлены были из Тифлиса еще девять рот пехоты,— и в распоряжении Ермолова свободных войск осталось всего четыре-пять рот, с которыми нужно было защищать границу от разбоев турецких курдов и охранять внутреннее спокойствие Грузии, с трепетом видевшей опять персидские знамена с одной стороны в ста пятидесяти, а с другой в шестидесяти верстах от Тифлиса. Таким образом, ни один солдат Закавказья не оставался без дела, опровергая тем обвинения Ермолова в бездействии,— и слабые силы были размещены по плану, полному смысла и понимания края. В результате — два достаточно сильные отряда совершенно прикрыли дороги к Тифлису: один, стоявший у Джалал-Оглы — со стороны Эривани, другой, занимавший Делижанское ущелье — со стороны Карабага. Правда, позади этих отрядов, в самой Грузии, войск почти не было; но то была уже не вина главнокомандующего.

При таких обстоятельствах Ермолову естественно было, до прихода подкреплений, предоставить инициативу решительного наступления неприятелю, чтобы действовать, смотря по обстоятельствам. Самому же соединить оба отряда и идти вперед по какому-нибудь одному из этих направлений, то есть к Карабагу или к Эривани,— значило бы открыть неприятелю ту или другую сторону для свободного вторжения в самое сердце уже беззащитной Грузии.

Вот как сам он, в донесении государю от 29 августа, определял предстоящие ему действия.

“Мне предлежат два пути,— говорит он,— один в Эриванское ханство, дабы внести войну в землю неприятельскую, другой — в Карабаг, дабы смирить возмутившееся мусульманские провинции.

Не восстановя порядка в сих провинциях, что требует и времени, и войск, невозможно идти в Эриванское ханство. С малыми силами предпринять сие не безопасно, тем более в позднее время года, когда выпадет снег в горах и дороги, делаясь совершенно неудобными, отнимут всякую возможность снабжения войск. По внезапности войны не сделано достаточных заготовлений, а измена татар лишила средств подвоза.

Занять Эриванское ханство не иначе должно, как стать в оном твердой ногой. Иначе персияне истребят значительное количество обитающих в нем христиан, ожидающих нас с нетерпением и готовых снабжать продовольствием. Для наступательных действий нужно устроить транспорты для провианта; нужны таковые и для парков. Мы вступим в землю совершенно неустроенную, где система реквизиций не может иметь места. Для движений необходим подножный корм, ибо, по свойству климата, фураж жители почти не заготовляют, и надлежит ожидать, что неприятель все средства станет истреблять.

В настоящее время и потому нельзя идти в Эриванское ханство, что возмутившиеся мусульмане почти до самых ворот Тифлиса могут, пользуясь отсутствием войск, внести в Грузию опустошение и поколебать жителей Кахетии, для возмущения которой персияне посылают беглого грузинского царевича Александра.

Теперь предлежит другой путь в Карабаг. Там большие силы персиян, поддерживающие возмущение мусульманских провинций. В движении туда я должен пройти Борчалинскую дистанцию, где уже явны признаки бунта, Казахскую дистанцию, удерживаемую единственно пребывающими там войсками, Шамшадильскую дистанцию и Елизаветпольский уезд, уже возмутившиеся и занятые неприятелем. На правом фланге моем будут открытые дороги со стороны озера Гокчи, по которым может пройти неприятель для соединения с мятежниками. С левого фланга бунтующие провинции — Шекинская и Карабагская.

Нет сомнения, что со всех сторон буду я иметь неприятеля и никакого сообщения с Грузией.

Избежать часть этих неудобств есть одно средство — идти в Карабаг в глубокую осень. Суровая погода в горах сделает пути затруднительными, и персияне не перейдут их с пехотой и артиллерией. Жители спустятся с гор на равнины, а, имея в залоге их семьи и имущества, можно будет достать часть продовольствия, которое везти с собой нет способов, ибо нет в земле повозок. Осеннее и зимнее время в Карабаге представляет и то удобство, что есть подножный корм”.

Доводы эти ясны и просты, и понятно, почему решительные действия Ермолов откладывал до прихода двадцатой пехотной дивизии. Это было расчетливое выжидание, намеченное на верное поражение врага. “Имейте терпение — писал Ермолов в приказе по корпусу от 26 июля,— и защищайтесь с твердостью. Я укажу вам, храбрые товарищи, когда нанести удар на врагов нашего Императора”.

В осторожных и медлительных действиях Ермолова нет, конечно, стремительности Карягиных и Котляревских. Но, очевидно, ему и не представлялось возможности тотчас же по вступлении персиян в русские пределы идти им навстречу с тем, что он мог немедленно стянуть к себе, и нанести им решительное поражение, как того хотелось бы

впоследствии некоторым историкам персидской войны. Войск на то, как ясно из предыдущего, вначале не было.

Правда, и впоследствии, когда русские войска стояли уже перед врагом, он рекомендовал им осторожность, быть может преувеличенную,— факт, достоверность которого не подлежит сомнению; но и этот факт понятен. Ермолов был озабочен численным ничтожеством русских сравнительно с персидскими полчищами,— и рисковать ничем не хотел. Дальнейшее течение войны показало, правда, что регулярные персидские войска не были лучше прежней иррегулярной толпы, которую бил Котляревский, и что незначительный русский отряд имел шансы рассеять многочисленного врага. Но Ермолов, благодаря донесениям Мазаровича, имел преувеличенные представления о духе и характере тогдашних вновь заведенных регулярных войск Персии и уже не считал возможным противопоставить десяткам тысяч их — простые тысячи. Это было роковой ошибкой; но ошибкой, имевшей значение гораздо более для него лично, чем для судьбы войны. Как главнокомандующему, ему должен был предстоять вопрос: что же будет, если последние силы, которые он выведет против врага, будут уничтожены? Положение тогда стало бы гибельным. И вот, он был осторожен и медлителен. Враг не выигрывал ничего, занимая татарские провинции и стараясь побороть охранявшие их русские отряды,— он только терял первый энтузиазм наступательной войны. А Ермолов, не рискуя, без блеска, но с глубоким расчетом, готовил ему тем вернейшее поражение. Этот образ действий послужил интриге против него, но не повредил общему ходу войны и подготовил торжество русскому оружию, которым только воспользовались — другие.

VIII. БИТВА ПОД ШАМХОРОМ (Князь Мадатов)

На пути к Елизаветполю постепенно формировался русский отряд, имевший назначение противостоять врагу в его движении из Карабага на Тифлис. 30 июля в Казахскую дистанцию пришел с Лезгинской линии Грузинский батальон, с сотней казаков и четырьмя орудиями, под командой графа Симонича. Соседних шамшадильских татар он нашел в полном возмущении. Конвой, находившийся у пристава, незадолго перед тем был вырезан, так что из него спаслось только два казака, и то один раненый. Сам пристав, полковник Остроуков, был вероломно захвачен, и татары, которым он безусловно верил, которых ласкал, о которых так много заботился, теперь намеревались отправить его, как пленника к эриванскому хану. Армяне давно предупреждали Остроукова быть осторожным, но он приписывал эти советы интригам и не хотел их слушать. И вот, когда гроза разразилась, те люди, которых он теснил в угоду татарам, явились его избавителями: они дали ему средство бежать из-под стражи и долго скрывали его в своих деревнях, рискуя тем навлечь на себя беспощадную месть шамшадильцев. Симонич в тот же день вошел в Шамшадиль и, не имея возможности проникнуть в самые горы, стал на реке Таусе.

На следующий день перед ним показались конные партии мятежников,— и была перестрелка. 1 августа татары явились уже в значительных силах и пытались даже отрезать фуражиров, но попали между двух огней и понесли большую потерю; с одной стороны сам Симонич ударил на них с ротой грузинских гренадеров, с другой — атаковали их казаки. Майор Князев, командовавший донской сотней, в порыве храбрости занесся слишком далеко и был ранен — один из всего отряда. 2 августа — опять перестрелка. Все это показывало, что неприятель держится где-нибудь поблизости в значительных силах, и граф Симонич решился переменить позицию. 3 августа он передвинулся опять в Казахскую дистанцию, на речку Акстафу, и занял важное в стратегическом смысле Делижанское ущелье, составлявшее с той стороны ворота в Грузию.

Здесь, 5 августа, присоединился к нему батальон ширванцев, прошедший кратчайшей дорогой из Царских Колодцев, под командой своего полкового командира, подполковника Грекова г ожидались и еще два батальона — из Грузии. Этот последний отряд (батальон херсонцев и сводный батальон из двух рот Грузинского полка и трех рот егерей при шести орудиях) выступил из Тифлиса 4 августа.

“Жители,— рассказывает один из участников похода,— провожали нас искренним пожеланием успеха, но тот, кто внимательно всмотрелся бы в лица этих провожавших, заметил бы на них выражение затаенного страха и недоверия. Мы также выступали не весело; мы знали, что персияне уже в наших границах, знали, что скоро должны встретить их в превосходных силах, слышали о наших неудачах, и под их влиянием в рядах солдат заметно было какое-то уныние; молча совершались переходы, и не слышно было тех веселых песен и шуток, которые обыкновенно сопровождают русских солдат в походе”.

После трехдневного марша отряд дошел до Красного Моста, на реке Храме, и там остановился отдохнуть. Вдруг явился верховой с приказанием не трогаться дальше до приезда князя Мадатова. Трудно описать тот восторг, который овладел солдатами при этом известии. “Ну, слава Богу,— говорили они между собой,— едет Мадатов! Теперь персиянам шабаш!”

В то время, как отряд постепенно усиливался, в Тифлис, действительно, приехал Мадатов. Он проводил лето 1826 года на кавказских минеральных водах, где и рассчитывал остаться до глубокой осени, чтобы восстановить расстроенное трудами и ранами здоровье. Вдруг пришла в Пятигорск неожиданная весть о вторжении персиян. Мадатов забыл свою болезнь, сел в перекладную тележку и на третий день был уже в Тифлисе. Ему и поручил Ермолов передовой отряд, собиравшийся к стороне Елизаветполя.

И вот, к войскам, стоявшим у Красного Моста, 9 августа, в два часа глухой ночи, в простой почтовой тележке, без всякого конвоя, приехал Мадатов. Красный Мост стоит на самой границе древних владений Грузии и перекинут через широкую и быструю речку Храм. Это — образец азиатской архитектуры. Он выстроен без помощи железа и утвержден на четырех каменных арках, пять столетий уже поддерживающих его без ремонтных работ и поправок. В виду этого-то древнего памятника, несмотря на ранний час, Мадатов встретил свои батальоны выстроенными поротно. Князь обошел весь бивуак и весело поздоровался с людьми. Солдаты кричали “ура!”

Мадатов по своему обыкновению шутил с солдатами.

— Ну, ребята,— говорил он,— правду ли я слышал, что у вас нет говядины?

— Так точно,— отвечали солдаты.

— Так вот, ребята, что: я вас знаю — вы русские воины. Я поведу вас на персиян, мы их побьем,— и тогда у нас всего будет вдоволь!

— Рады умереть под командой вашего сиятельства! — кричали солдаты.

В тот же день отряд двинулся дальше и 13 августа соединился с войсками, стоявшими, под командой графа Симонича, на реке Акстафе. Прибытие Мадатова в Казахскую дистанцию произвело большое влияние на колебавшиеся умы татар, всегда склонных стать на сторону сильного. Они совсем не рассчитывали увидеть Мадатова. Персияне, зная влияние его, давно распустили слух, что он отозван в Россию. Теперь приезд

Мадатова так сильно поразил татар, что они толпами приходили в лагерь, чтобы собственными глазами убедиться в этой истине. И если мятеж не потух окончательно в горах Шамшадиля, то в Казахской дистанции первейшие агалары тотчас же составили конную дружину, которая верно и служила под знаменами Мадатова против своих же единоверцев.

Солдаты ликовали.

Памятником такого настроения в войсках осталась и поныне солдатская песня, сложенная тогда в лагере на реке Акстафе унтер-офицером Грузинского полка Орловым, которому принадлежит целый цикл боевых песен, долгое время распевавшихся гренадерами.

Буря брани зашумела,
Поскорей, друзья, к ружью,—
В чисто поле поспешайте
Защищать страну сию.
Мы не в ней хотя родились,
Она наша — в ней живем,—
И равно, что за отчизну,
За нее пойдем умрем.
Слышно, братцы, персияне
Расхищают все и жгут
По сю сторону Аракса,
К Карабагу уж идут.
Ну, скорее, марш, навстречу,
Граф наш Симонич — готов,
Он в Европе научился,
Как разить своих врагов.
Генерал храброй Мадатов
Нас к победам поведет;
Он военные ухватки
Персов знает напролет.
Под командой их не страшно;
Хоть врагов и больше нас —
Саранча это пустая.
Только грянем дружно враз —
Разобьем мы эту сволочь
И всю Персию пройдем.
Уж потешимся, ребята,
Лавр отчизне принесем.
Ни пески, ни лес, ни горы,
Сама смерть нам не страшны,
Все труды почтем игрою —
Для того мы рождены;
Рождены на свет к победам —
И привыкли побеждать
Не таких, как персияне,
И сумеем доказать
Всему свету, что с Россией
Тщетный труд войну вести,
Что Россия свою славу
Всегда может соблюсти...

Назначая Мадатова начальником передового отряда, Ермолов вовсе не хотел отступить от своей программы оборонительных действий до прибытия подкреплений, двигавшихся уже с Кавказской линии. Главные цели, которые должен был преследовать Мадатов, были: прикрытие Делижанского ущелья, удержание казахских татар от попыток к восстанию и прекращение разбоев, производимых возмутившимися жителями Елизаветпольского округа и Шамшадиля. И ему категорически предписано было, в случае появления главной персидской армии из Карабага, отступить без боя в Борчалинскую дистанцию и стать у Красного моста, на Храме. Напротив, если бы персияне перешли в наступление только частью своих сил, занимавших Елизаветполь, то Мадатов обязан был вступить с ними в битву; в этом случае Ермолов требовал уже действий решительных и выражал полную уверенность, что Мадатов, имея достаточно войск и сильную артиллерию, может заставить "мошенников" раскаяться в подобной дерзости. "Употребите все силы, любезный князь, чтобы не допустить эту сволочь подаваться вперед,— писал он Мадатову в частном письме.— Ваше мужество и многолетние заслуги — ручательство в том, что вы успеете внушить неприятелю тот ужас, какой должно вселять в него храброе русское войско под начальством опытного генерала... Предупредите моих товарищей, что требую от них подвигов, достойных кавказского корпуса..."

Ермолов обещал, вместе с тем, при первой же возможности прислать к Мадатову еще батальон пехоты и четыреста конных и пеших горцев, отличных стрелков, под командой подполковника Конокова, а на первых порах отправил к нему пока грузинскую милицию, собранную в Кизике и Телаве. Эта милиция, впрочем, была довольно слаба и по своему составу, и по вооружению. Лучшую, превосходную во всех отношениях милицию выставил город Гори, но Ермолов предпочел оставить ее для наблюдения за Борчалинской дистанцией.

В лагере, действительно, давно уже носились слухи, что Амир-Хан-Сардарь намеревается перейти в наступление. Но пока это были только слухи,— военные действия отряда должны были ограничиться лишь наблюдением да мелкими стычками. Уже в самый день приезда Мадатова, вечером, из лагеря посланы были три роты Грузинского полка, под командой майора Полякова, в деревню Амерлы, чтобы захватить персидский наблюдательный отряд, выдвинутый туда из Елизаветполя. Несколько агаларов взялись быть проводниками. Рассчитывали ударить на деревню ночью и накрыть персиян врасплох. Но ночь проходила, а деревни все не было. Забрезжился наконец свет, и тогда оказалось, что агалары вели отряд не той дорогой, так что до деревни и теперь оставался еще добрый переход. Как ни спешили гренадеры,— они пришли в Амерлы только в десять часов утра и, разумеется, никого уже там не застали, персияне имели время собрать нужные им сведения и ушли заблаговременно. Роты остались ночевать в Амерлах, но отдыхать им пришлось плохо. В самую полночь ударили тревогу, и солдаты почти до рассвета стояли под ружьем. Тревога оказалось, однако же, фальшивой; ее произвели бывшие в отряде татары, с тем чтобы, воспользовавшись суматохой, угнать из лагеря несколько казачьих лошадей. Эти подробности, передаваемые графом Симоничем в его мемуарах, весьма характерно рисуют народ, с которым войскам приходилось возиться, и обстоятельства, с которыми нужно было считаться. Агалары еще держались русских, но, влияние их на татар было ничтожно, и они, несмотря на все обещания, не могли уговорить шамшадильцев спуститься с гор в свои деревни; даже с казахами сношения устанавливались медленно, и только в последнее время татары решились, наконец, пригонять в русский лагерь на продажу скот.

Из мелких событий этих дней выделяется еще одна небольшая экспедиция в деревню Кулабай, где, как дали знать тамошние армяне, все еще скрывался шамшадильский пристав полковник Остроуков, в вечной опасности быть открытым и захваченным

татарами. На выручку его ходила грузинская милиция и, возвращаясь в лагерь, имела незначительную стычку с татарами. Это была первая боевая служба туземного ополчения. Грузины храбро атаковали врагов и привели с собой пять человек пленных.

Но скоро наступило время крупных событий. Получены были достоверные сведения, что Амир-хан-Сардарь сам о наступлении еще думает, но что в Шамхорских горах, почти в соседстве с русским отрядом, появилась двухтысячная персидская конница, под начальством Зураб-хана, которому поручено было провести бывшего с ним царевича Александра за Алазань, чтобы поднять лезгин, а по пути, если возможно, произвести волнение в Кизике и в Кахетии. Носились даже слухи, что царевич намеревается внезапно напасть на отряд Малахова и открыть себе дорогу оружием. Расстроить эти планы было чрезвычайно важно, потому что появление царевича в Кахетии могло повести ко многим прискорбным событиям,— да и выжидать нападений было не в обычае Мадатова. Решено было действовать быстро и решительно, чтобы как можно скорее покончить с царевичем и развязать себе руки для свободных действий против Елизаветполя. Труднее всего, однако, было узнать, где именно находится лагерь Зураб-хана. Татары, очевидно, намеренно привозили известия одно противоречивее другого, а один из агаларов, добровольно вызвавшийся сходить на разведки, вернулся с известием, что дошел до Джигача и нигде не встретил даже следов неприятеля. Это было 22 августа. В этом неведении Мадатов приготовился идти наудачу, чтобы разыскать царевича в Шамхорских горах. Уже грузинская конница вышла из лагеря, уже гренадеры с четырьмя орудиями были готовы к движению,— как вдруг, часу в пятом вечера, прискакал армянин с важными известиями: царевич, с отрядом Зураб-хана, стоял всего верстах в тридцати от русского лагеря, на одном из притоков Тауса, Астрике.

Тотчас сделаны были новые распоряжения, и в девять часов вечера пять рот грузинских гренадер, шесть орудий и конная грузинская милиция, под личной командой Мадатова, быстро двинулись по дороге на речку Гассан-Су. В полночь к ним присоединился еще батальон ширванцев с двумя пушками, и отряд, под покровом густой предрассветной мглы, начал переправляться через Таус. Тут оказался персидский караул. Внезапно увидев перед собой войска, человек тридцать татар дали залп и во весь дух понеслись в закрытое туманом пространство. Слышно было, как где-то вслед за тем ударили тревогу. Войска прибавили шагу, и, если бы лагерь оставался на том же месте, где его видели накануне армяне, царевич мог бы попасть в русские руки. Но, достигнув Астрика, Мадатов нашел только пустые места с явными признаками того, что тут еще недавно стояли палатки. Оказалось, что неприятель еще вечером переменил позицию и теперь стоял на вершине соседней горы. Когда поднялось солнце, русские увидели персиян на горе, в боевом порядке. Среди них заметно было, впрочем, волнение, по всей вероятности, вызванное внезапным появлением отряда. Неприятель знал, что русские должны прийти, но такого скорого посещения не ожидал.

С гор персияне кричали грузинам, бывшим в отряде, что с ними царевич, и чтобы те не стреляли. Тогда старый картвельский князь подъехал к Мадатову и сказал ему: “Князья и простые грузины ничего не желают больше, как сложить свои головы за русского императора”. В ответ на эти слова Мадатов приказал грузинской коннице скакать наперерез неприятелю, чтобы захватить в свои руки путь его отступления. В то же время шесть орудий, выехав вперед, открыли по неприятелю огонь гранатами. Видя с одной стороны движение грозной пехоты, с другой — уже обходившую их конницу, потеряв надежду на измену грузин, персияне бросились бежать в совершенном беспорядке.

К сожалению, дорога, по которой скакала грузинская конница, была так дурна, что помешала вовремя отрезать им отступление,— иначе потери неприятеля были бы громадны.

Царевич ускакал в Эривань; шамшадильские татары, его окружавшие, отстали от мятежа и возвратились в свои деревни; персидские войска частью рассеялись, а частью, расстроенные и беспорядочные, прибежали в Елизаветполь и первые принесли туда весть о поражении царевича.

Предоставив окрестным армянам добивать жалкие остатки сброда, искавшего теперь спасения в горах, Мадатов в тот же день перешел обратно за Таус. Пехота, находившаяся семнадцать часов в беспрерывном движении, с одним только получасовым привалом, остановилась ночевать на берегу реки бивуаком; Мадатов же с грузинской конницей вернулся в лагерь. Там ожидал его курьер из Тифлиса. Ермолов предупреждал князя, что по верным сведениям, имеющимся у него, царевич Александр идет в Кахетию. Мадатов ответил, что царевича больше уже не существует.

Между тем в Тифлис, во второй половине августа, прибыли с Кавказской линии Лейб-гвардии Сводный полк и второй батальон ширванцев. Это дало возможность Ермолову усилить Мадатова еще батальоном Херсонского полка и разрешить ему наступательные действия к стороне Елизаветполя.

Говоря о принятом им доселе строго оборонительном образе действий, Ермолов,— как он объясняет в рапорте своем государю,— разумел под ним только невозможность, до прибытия сильных подкреплений, внести оружие в неприятельскую землю; но в то же время он не переставал иметь в виду необходимость частных наступательных действий, чтобы освободить Шушу,— и Мадатову приказано было отбросить персидский авангард, занять Елизаветполь и тем заставить Аббаса-Мирзу или снять, или, по крайней мере, ослабить блокаду Шушинской крепости.

Но давая Мадатову полную свободу действий, как уже испытанному боевому генералу, Ермолов, однако же, старался умерить его известную отвагу и пылкость. “Бога ради,— писал он к нему,— будь осторожен и против сил несоразмерных не вдавайся в дело. Суворов не употреблял слово ретирада и называл ее прогулкой. И ты, любезный князь, прогуляйся вовремя, когда будет не под силу. Стыда в том нет нимало”. Так крепко было в нем убеждение в необходимости быть осторожным со вновь обученными регулярными войсками Аббаса-Мирзы.

Но Мадатов думал не об отступлении. Он спешил к Елизаветполю, где десятитысячный персидский авангард, выдвинутый от главных сил к стороне Тифлиса, заграждал путь к Карабагу,— и Мадатов принимал деятельные меры, чтобы, по возможности, облегчить и обеспечить успех смелого предприятия.

30 августа все пленные, больные, все лишние обозы и тяжести были отправлены им в Тифлис, под прикрытием роты Грузинского полка. Два батальона, херсонский и ширванский, с четырьмя батарейными орудиями, налегке оставлены были на прежней позиции для наблюдения за краем, а все остальные войска: батальон херсонских гренадер, пять рот Грузинского полка и три роты егерей, вместе с Донским казачьим полком и конной грузинской милицией, при восьми батарейных и четырех легких орудиях, перешли 31 августа на правый берег Гассан-Су, готовые начать наступление.

Ночью в этот день над лагерем разразилась страшная буря с грозой и ливнем. На солдатах, не осталось сухой нитки, так что на следующее утро отряду пришлось стоять и обсушиваться. И тем не менее к ночи войска уже были за Таусом.

Известия из Елизаветполя приходили между тем самые разноречивые. “Мы даже не знали наверное,— говорит в своих мемуарах граф Симонич,— есть ли там кто-либо из принцев персидской царствующей фамилии, и вовсе не были уверены в числе находящихся там войск”. Армяне до крайности все уменьшали, татары до той же степени все преувеличивали. Одно, на чем сходились и те и другие,— это то, что неприятель располагает большими массами кавалерии. Последнее обстоятельство и вытекающая из него вероятность неожиданно увидеть эту конницу на берегу Тауса, занятом русскими, заставила отряд быть осторожнее и ночевать в одном общем каре, с выдвинутыми вперед пушками, с дымящимися фитилями.

2 сентября отряд подошел к Дзигаму. Дзигамский шпиц (так называется островершинная гора, возвышающаяся над самым селением) уже был занят персидской конницей. С приближением русского авангарда она, однако, отступила по двум направлениям: часть ее потянулась в Дзигамские горы, другая — по большой дороге к Шамхору. Войска заняли Дзигам и здесь ночевали. Ночь прошла спокойно; патрули, объезжая окрестности, никого не встречали; о персиянах не было никакого известия.

Между тем, в то время, как Мадатов рассчитывал еще идти разыскивать неприятеля, последний сам шел прямо на него и был от Дзигама гораздо ближе, чем предполагали. Перед светом 3 сентября, неожиданно получены были точные сведения, что весь десятитысячный неприятельский корпус, оставив Елизаветполь, стоит уже под Шамхором, и что войсками командует принц Мамед-Мирза, при котором в качестве ментора находится Амир-хан-Сардарь, один из лучших полководцев Персии. По словам армян, персиянам известно, что русские в Дзигаме, и Мамед-Мирза сказал, будто бы, что он сам пошел бы из Шамхора разыскивать русский отряд, если бы Мадатов не предупредил его и тем не избавил от этого труда.

Едва забрезжилось утро, войска выступили из Дзигама уже в боевой готовности. Прошли верст пять. Начиналась обширная плоскость, и на горизонте вдали показался, стоявший перед Шамхором высокий, красивый столб, как вестник близости врага.

При всех переворотах, колебавших эту страну в течение многих веков, один этот гигантский столб противостоял разрушению и сохранился невредимо среди груды камней и развалин некогда окружавшего его большого города. Темные предания различно повествуют о сооружении этого столба; но есть основание думать, что он в былое время служил астрономической обсерваторией и что только уже в позднейшие годы муллы обратили его в минарет. Уставленная на четырехугольном пьедестале, колонна эта была замечательна смелостью полета в вышину и необыкновенной прочностью. Винтовая лестница внутри, достаточно широкая для двух человек, идущих рядом, вела на галерею, окружавшую колонну на высоте около двухсот футов от земли, и могла считаться образцом архитектуры по своей изящности и легкости, бремя основания этого замечательного сооружения теряется в глубине веков, и нужно сказать, что еще и теперь в развалинах Шамхора находят древние монеты с изображением Александра Великого.

Проезжая ныне через Шамхорскую станцию, вы бы напрасно стали искать интересных остатков знаменитого минарета, служившего предметом любопытства для каждого путешественника. В сороковых годах он упал, и теперь едва заметная груда мусора свидетельствует разве только о непрочности всего земного.

Этому-то вековому памятнику и предстояло теперь стать свидетелем битвы. Быстро приближался к нему русский отряд, виднелся уже Шамхор. Но вот, на горизонте, со стороны Дзигамских гор показалась какая-то конница. То Зураб-хан, собравший остатки своих войск, рассеянных на Астрике, спешил соединиться с Мамед-Мирзой. А впереди перед русскими стоял уже неприятель. В авангарде завязалась перестрелка и разгоралась сильнее и сильнее по мере того, как русские подавались вперед. То казаки перестреливались с конницей Мамед-Заман-хана и, поддержанные казахскими татарами, гнали неприятеля, в десять раз превосходившего числом. Шестьдесят персидских тел остались при этом на месте; пали и вожди этой конницы Мирза-хан и Риза-хан.

Персидский корпус отошел за речку Шамхор, на правый ее берег, и стал в боевом порядке. Шахская гвардия, сарбазы и артиллерия расположились в отлично устроенных шанцах; с флангов прикрыли их большие массы кавалерии, составленной из шамшадильских татар и шахсеванцев. В общем счете тут было больше десяти тысяч человек, предводимых Мамед-Мирзой и Амир-хан-Сардарем. Образуя сильно укрепленную линию на протяжении двух верст, фронтом к реке, персияне стояли дугой, полумесяцем, так что могли сосредоточить губительный перекрестный огонь на единственную дорогу, по которой должна была приближаться русская пехота.

Для Мадатова наступил один из тех решительных моментов, которые не забываются всю жизнь и обнаруживают на нее полное влияние. Перед ним был впятеро сильнейший и численностью, и положением неприятель, еще гордый предыдущими успехами, еще не утративший того порыва, с которым обыкновенно начинается наступательная война; за ним стояла русская земля, от него ожидавшая защиты. Он знал, что на нем лежало теперь спасение края от бедствий вражеского вторжения, и честь русского оружия. Ему предстояло сосредоточить все свои блистательные военные способности, чтобы не стать ниже тяжких потребностей минуты. И он не стал ниже их, распорядившись со всем искусством опытного вождя и в то же время оставаясь первым солдатом своего отряда.

Расположив войска в трех небольших колоннах, с кавалерии по флангам, Мадатов выехал вперед и, осмотрев неприятельскую позицию, приказал начать наступление. Неприятель тотчас открыл жестокий огонь, но Мадатов подтвердил гренадерам начать и кончить дело штыками.

Твердо, под мерный грохот барабанов, шли два батальона (грузины и егеря), без выстрела, с ружьем наперевес; за ними, в резерве, двигались херсонцы. Впереди колонн, верхом на золотистом карабагском коне, осыпаемый градом неприятельских пуль, ехал Мадатов; поодаль от него, несколько сзади, держалась его немногочисленная свита. Напрасно уговаривали Мадатова отъехать в сторону.

— Вас видят, в вас метят! — кричали ему из рядов офицеры.

— Тем лучше, что меня видят,— скорее убегут! — отвечал генерал — и приказывал прибавить шагу.

Восемь орудий, занявшие между тем высоты на левом берегу Шамхорки, открыли огонь через речку... Грузинская дружина завязала дело на правом фланге; ее поддержали донцы и казахские татары. Перестрелка охватила уже всю неприятельскую линию. А батальоны все шли и шли под мерный рокот своих барабанов. Все так же спокойно ехал Мадатов впереди всех, не вынимая сабли. Но вот русские колонны уже спустились к речке, вот они перебрались вброд через Шамхорку, по пояс в воде, и мокрые, взбираются на крутые высоты. В этот момент, вдруг, в руке Мадатова сверкнула кривая полоса обнаженной

сабли, и, сделав полуоборот в седле, он крикнул: “Ура!” Как электрическая искра пробежало это “ура” по рядам русской пехоты; батальоны ответили своему вождю громовым эхом — и ринулись на вражескую батарею. Кавалерия понеслась на фланги. Враг дрогнул. Быть может, шахская гвардия еще и встретила бы натиск русских штыками; но тут, как нарочно, пришло на помощь одно из тех мелких, ничтожных обстоятельств, которые, тем не менее, — как это известно каждому,— нередко сопровождаются важными результатами. Вдали, за Шамхоркой, вдруг показался громадный столб пыли, а за ним какие-то движущиеся конные массы. То был русский обоз, отставший от отряда и теперь спешивший приблизиться к месту сражения. Персияне сочли его за сильные резервы, о которых они ничего не знали,— и конница их первая обратилась в бегство. Персидская пехота осталась без помощи. Донцы, грузины и татары, бросившись преследовать бегущих, отрезали вместе с тем путь отступления и пехоте. Тогда у неприятеля все пришло в величайшее смятение; войска его смешались в один общий клубок, тотчас же разбросанный по всей громаднейшей долине Шамхора. Отдельные, беспорядочные кучки уже не могли держаться — и побежали. Конница насела на бегущих. Преследование было так горячо, что принц Мамед-Мирза, проскакав мимо своего лагеря, не успел вывести из него даже свою свиту молодых и красивых мальчиков, обыкновенно сопровождавших в походах знатных азиатов,— пришлось благодарить Аллаха за личное свое избавление. Менее счастлив был Амир-хан-Сардарь, его знаменитый пестун. Покинутый своим татарским конвоем, он быстро мчался один по елизаветпольской дороге на кровном текинском жеребце. Но именно этот-то конь и роскошь убранства всадника привлекли на себя внимание донцов, и один из них, увязавшись в погоню, скоро настиг бегущего. Почтенный седобородый старец попал под удар казацкого копья и был убит на месте.

Прекрасный конь, с великолепной сбруей чистого золота и седлом, украшенным драгоценными каменьями, достался казаку, только теперь, при виде этого необычайного богатства, и понявшему, что от его руки погиб один из важнейших персидских сановников.

Шамхорская битва длилась не долго и была не сложна. Она окончилась одним стремительным ударом. Сопротивление неприятеля было так слабо, что блистательная победа, разгром в пять раз сильнейшего врага,— стоили русским войскам всего двадцать семь человек, выбывших из строя, в то время, как потери неприятеля были громадны. По сознанию самих персиян, они потеряли в этот фатальный для них день свыше двух тысяч человек одними убитым. Шахская гвардия, участвовавшая в деле, более не существовала,— она почти вся легла под ударами русской конницы. Пространство от Шамхора до Елизаветполя, на протяжении тридцати с лишком верст, устлано было неприятельскими трупами. Об этом свидетельствовал, между прочим, и сам Паскевич, проезжавший, спустя восемь дней, через поле битвы,— а Паскевича никак нельзя заподозрить в пристрастии к Мадатову или в желании преувеличить значение шамхорской победы.

Трофеями сражения были: одно орудие английской артиллерии, одиннадцать фальконетов вместе с верблюдами и семьдесят пять человек пленных.

“Так храброе русское войско,— доносил Мадатов Ермолову,— исполнило приказание Вашего Высокопревосходительства идти и с малыми силами победить неприятеля, в пять раз сильнейшего”.

Ужас, внушенный победителями, был так велик, что персияне, не останавливаясь, бежали мимо Елизаветполя за Курак-чай и дальше по шушинской дороге.

“Таким образом,— отмечает Ермолов в дневнике со своей обычной иронией,— сын Аббаса-Мирзы на первых военных подвигах своих уподобился уже родителю, ибо начал их бегством. Сим же отличался родитель его в прежние войны против русских, и, конечно, не с меньшей противу него расторопностью”.

После победного дня, русский отряд быстро шел вперед, по следам бежавшего врага, и захватил по пути еще два брошенные неприятельские, лагеря. Общее воодушевление было так велико, что до заката солнца войска свободно прошли еще верст пятнадцать, не имея ни одного отставшего. Они дошли бы таким образом и до самого Елизавет-поля, если бы князь не остановил наконец отряда для небольшого отдыха.

Весело обходил он на бивуаках ряды своих гренадер и поздравлял их с победой. “Вы русские воины, русские богатыри! — говорил им князь.— Я с вами никогда побежден не буду; мы будем бить персиян везде, где их ни встретим!” Шамхорская победа действительно, по сознанию самого Мадатова, была счастливейшей минутой его жизни. Он приказал выдать людям по две чарки водки,— и готовиться к походу на Елизаветполь.

В полночь колонны тронулись. Малахов поехал вперед с казачьим полком и двумя орудиями, рассчитывая еще застать в Ганже неприятеля и напасть на него врасплох. Но неприятеля там уже не было. Слух о шамхорском поражении долетел до крепости, и батальон сарбазов, стоявший в цитадели под начальством Назар-Али-хана (из Маранды), поспешил выйти из города. Он выступил так скрытно, что даже жители узнали об этом только под утро, незадолго до приближения русских войск. Нельзя не сказать, что со стороны Назар-Али-хана это было актом высокого благоразумия. Граф Симонич замечает по этому поводу, “что он один из всех персиян выказал в этот день действительные военные способности и не только спас батальон, но большую часть обозов и даже ценные товары, принадлежавшие купцам из Азербайджана”. Но на нем-то именно и оборвался гнев наследного принца. Рассказывают, что, выступая из Елизаветполя, Назар-Али-хан забыл послать извещение об этом одному почтенному муштаиду, жившему где-то в христианском квартале,— и тот поутру захвачен был армянами. Вот этот-то ничтожный случай и послужил, кажется, предлогом для предания суду Али-хана. Его держали под арестом вплоть до Елизаветпольского сражения, и накануне его, в лагере на Курак-чае, подвергли позорному наказанию как труса, бежавшего от неприятеля; Аббас-Мирза приказал одеть его в женское платье, намазать ему бороду кислым молоком, посадить на осла лицом к хвосту и в таком виде возить перед фронтом армии. Впоследствии, когда принц вернулся в Тавриз,— вынужденный не с меньшей быстротой покинуть поле сражения,— он приказал задушить этого несчастного, вероятно, служившего ему живым напоминанием переменчивости военного счастья.

Подходя к Ганже, Мадатов узнал, что город покинут неприятелем, и остановился с казаками, чтобы дождаться пехоты и продолжать движение уже вместе с ней. Войска шли всю ночь форсированным маршем. И вот, утром 4 сентября, когда на востоке появился еще только слабый отблеск зари, вдали перед отрядом вырисовывались старинные стены Елизаветполя.

Вступление Мадатова в древнюю Ганжу было торжественно. Все христианское население, предшествуемое духовенством в белых пасхальных ризах, с хоругвями и крестами, вышло навстречу к русским войскам как к своим избавителям. Колонны остановились. Мадатов, сойдя с коня, просил духовенство отслужить благодарственный молебен. Жители подносили солдатам хлеб и вино, бросались к ногам Мадатова, обнимали его колени. Войска вступили в город и заняли цитадель, над которой тотчас же развилось победное русское знамя. Все ожило в мрачном перед тем Елизаветполе, и в роскошных садах его,

весь день и всю ночь, до самого утра, раздавались песни и восклицания: “Кгчах (молодец) Мадатов!”

Так ликовали армяне; но злобно смотрели татарские беки,— Шамхорская победа рассеяла их политические мечты. Исчезнувшее персидское знамя на цитадели заменилось знаменем русским,— и как все это просто, спокойно совершилось: персияне исчезли; русские, под командой знакомого всеми князя Мадатова, вошли и стали в цитадель, как будто бы никогда ее не покидали.

Не время еще было судить и разбирать виновных в измене, тем более, что персияне и сами не пощадили своих единоверцев, разобрав на прощание по рукам все их достояние, не разбирая, кто был за них, и кто против них. Целые кварталы свидетельствовали о печальных событиях, пронесшихся над городом, и старая Ганжа, когда-то оплот Азербайджана, мрачно возвышалась теперь над остатками опустошенного города.

Менее других пострадало армянское население, выказавшее вообще много твердости и решимости во все пребывание персиян в городе. Населяя отдельный форштадт, армяне его укрепили и, поставив на всех входах и выходах сторожевые караулы, объявили, что будут служить персиянам, но под условием, чтобы ни один их солдат не показывался в квартале и чтобы все требования персидского правительства производились не иначе, как через посредство выбранных ими самими старшин. Всякое насилие они положили отражать оружием и в случае крайности стоять до последнего. Умный Назар-Али-хан видел бесполезность силы и решил прибрать к рукам армянское население хитростью. Он предложил им, под видом особой любезности со своей стороны, сложить все их имущество и даже перевести семьи внутрь цитадели для безопасности на случай появления русских и штурма ими города. Армяне, понимая, в чем дело, отклонили это предложение; татары, напротив, вдались в обман и были жестоко наказаны за свое легковерие; покидая крепость, персияне увели с собой и всех татарских женщин.

Первой задачей Мадатова, по вступлении в Ганжу, было установить какой-либо порядок и спокойствие в городе. Но восстановить спокойствие там, где царили смуты, страх и взаимное недоверие жителей друг к другу — было не легко. К тому же, со стороны Карабага шли самые тревожные вести. Уже на другой день, 5 сентября, по городу носились слухи, что Аббас-Мирза, получив известие о шамхорском поражении, бросил осаду Шуши и со всеми силами идет навстречу Мадатову. Маленькому, ничтожному числом, отряду теперь грозила опасность стать лицом к лицу со всей персидской армией, и перед Мадатовым встала задача — не пасть в этой непосильной борьбе.

“Утром 6 числа,— так рассказывает граф Симонич в своих мемуарах,— известие о движении Аббаса-Мирзы подтвердилось, а вечером уже не было в верности его никакого сомнения. Естественное беспокойство овладело русскими предводителями. Командир Херсонского полка Попов и Симонич провели всю ночь в палатке князя Мадатова, изыскивая средства, как бы выйти из трудного положения. 7 числа они объехали все окрестности города, выбирая место под укрепление, так как защищаться в самом Елизаветполе считали невозможным по недостатку воды, а отступать Мадатов не хотел. В этот же день он послал одного курьера к Ермолову с донесением о движении неприятеля; другого — с приказанием, чтобы два батальона, Херсонского и Ширванского полков, оставленные им на Акстафе, шли в Елизаветполь форсированным маршем. Попов и Симонич опять провели всю ночь у Мадатова, соображая все шансы, если бы Аббас-Мирза подошел прежде, нежели получены будут подкрепления,— а это более чем возможно, так как раньше вечера 10 числа батальоны подойти не могли, а Аббас-Мирза уже мог быть в Елизаветполе. “Свое беспокойство — говорит Симонич,— мы, конечно,

никому не показывали, и ни жители, ни солдаты не подозревали даже, какие кошки скребут у нас на сердце”. К счастью, Аббас-Мирза подвигался вперед черепашьим шагом, и 9 числа еще был только на реке Тер-Тере. В тот же день, вечером, армяне привезли известие в русский лагерь, что какие-то новые войска пришли из Тифлиса на Акстафу, а с ними какой-то генерал, “которого никто не знает”.

Дело скоро разъяснилось: то был генерал-адъютант Паскевич, только что прибывший в Грузию и теперь ехавший принять под свою команду все отряды, высланные из Тифлиса навстречу неприятелю. Уведомляя Мадатова о своем назначении, Паскевич писал, что будет с кавалерией в Елизаветполе утром 10 числа; но если бы неприятель появился раньше, Мадатову предписывалось отступить, оставить, однако же, в крепости не менее шести рот при четырех орудиях.

И вот, в ту минуту, когда Мадатов уже готовился к кровавой развязке войны, ему приходилось уступить свое место другому. “Не оскорбитесь, любезный князь,— писал ему Ермолов,— что вы лишаетесь случая быть начальником отряда тогда, когда предлежит ему назначение блистательное. Конечно, это не сделает вам удовольствия, но случай сей не последний. Употребите теперь деятельность вашу и помогайте всеми силами новому начальнику, который, по незнанию свойств здешних народов, будет иметь нужду в вашей опытности. Обстоятельства таковы, что мы все должны действовать единодушно”. Мадатову оставалось только безропотно покориться.

На сцене персидской войны в первенствующей роли появляется Паскевич.

IX. ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКАЯ ПОБЕДА

В то время, как отряд Мадатова шел навстречу десятитысячному авангарду персидской армии, с тем чтобы разбить его у Шамхора, в Тифлис, 29 августа, прибыл генерал-адъютант Паскевич и, по высочайшей воле, вступил в командование действующим кавказским корпусом, хотя и под главным начальством Ермолова.

К этому же времени в Закавказье собрались и достаточные подкрепления, открывавшие возможность начать наступательные действия. Первым пришел в Тифлис второй батальон Ширванского полка с подполковником Волжинским, и пришел так, как умели ходить только ширванцы. Это был тот самый Волжинский, который в 1824 году, с тем же батальоном, в семь дней прошел триста верст из Прочного Окопа, на Кубани, в Нальчик, на Кабардинскую линию. Таким же замечательным, чисто суворовским маршем ознаменовал он и теперь свое прибытие в Тифлис. “Всегда видел я,— говорит Ермолов,— с особенным уважением службу подполковника Волжинского, что для него не существует никаких затруднений и что те же чувства у его подчиненных”... “От подошвы Эльбруса,— пишет он далее в приказе по корпусу,— пришел он в Екатериноград с чрезвычайной поспешностью; но далее скорость его движения была неимоверна. Выступив 8 числа из Екатеринограда, он 16 августа уже был у самого Тифлиса”... Стало быть, Ширванский батальон в эти восемь дней опять прошел триста верст, притом с трудным перевалом через Кавказские горы.

Днем позже ширванцев, 17 августа, в Тифлис вступил и Сводный гвардейский полк, под командой полковника Шипова. Полк этот был сформирован, по воле императора Николай Павловича, в двухбатальонном составе из людей лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков, вовлеченных мимовольно в роковые события 14 декабря. И государь, назначая их в состав боевого Кавказского корпуса, тем самым давал им случай кровью заслужить прощение. Гвардейцы выступили из Петербурга 21 февраля, когда еще

не было речи о Персидской войне, и долго плыли водой; но едва высадились они на берег Каспийского моря, как получили известие о вторжении персиян и приказание Ермолова — идти форсированным маршем в Грузию. Таким образом, с первых же шагов на Кавказе, полку представилась необходимость заявить себя достойным представителем императорской гвардии,— и полк от берегов Каспийского моря шел без дневок и роздыхов. В Тифлис гвардейцы вступили молодцами: больных было мало, отставших — ни одного.

Прибытие этих трех свежих батальонов дало Ермолову средства тотчас же отправить из Грузии новые подкрепления на Елизаветпольский путь. К движению назначены были: шесть рот Карабинерного полка, рота егерей, восемь орудий и весь Нижегородский драгунский полк; последний получил приказание идти из Кахетии прямо на речку Акстафу кратчайшей дорогой, через Карайскую степь. Так составился довольно сильный действующий корпус, еще пока разбросанный по дороге из Тифлиса к Карабагу. Часть этого корпуса впереди, уже близ Елизаветполя, под начальством князя Малахова; другая стояла еще на Акстафе, поджидая нижегородцев, третья — собиралась в самой Грузии, у Муганлы, на переправе через Храм, верстах в пятидесяти от Тифлиса. Над всеми этими отрядами Паскевич и принял начальство. Подвигаясь вперед, он должен был постепенно присоединять к себе одну за другой все части и, дав войскам небольшой отдых в Елизаветполе, идти на Карабаг.

В предписании Паскевичу Ермолов точно указывает цели и средства этого движения. “Главная задача, для которой посылается отряд в Карабаг,— писал он ему,— есть освобождение Шуши от блокады. Неприятель, узнав о нашем наступлении, или двинется навстречу нашим войскам, или будет ожидать их под самой Шушой, или наконец отступит к Араксу. В первом случае, неприятель, лишившись выгоды крепкой позиции, может быть атакован вами с основательной надеждой на успех; нужно только взять меры осторожности против многочисленной его кавалерии. Во втором случае, то есть, когда неприятель решится ожидать наши войска под самой Шушой, он потеряет все выгоды, какие мог бы иметь от своей кавалерии, ибо в гористых местах она будет для него бесполезна. Вероятно, что, ожидая нас у Шуши, неприятель сделает какие-нибудь укрепления; но здесь превосходство нашей артиллерии должно облегчить успех атаки, которой, сверх того, будет способствовать сильная вылазка из самой Шуши, откуда может выйти по крайней мере до полутора тысяч штыков.

Атаковать персидский лагерь должно со стороны Ах-Угланского замка, так как от Шах-Булаха и Аскарана дороги перекопаны, да и горные ущелья в некоторых местах так тесны, что неприятель может с удобством в них защищаться. Движение на Ах-Угланский замок имеет за собой еще ту выгоду, что неприятель будет отрезан от Худоперинского моста и, вероятно, сам поспешил отойти к Ах-Углану, как скоро заметит, что войска направляются к этому пункту. Тогда Шуша будет освобождена без сражения, и уже не трудно будет заставить персиян отступить к Араксу. В этом случае преследовать их, доколе не перейдут границы. Сим должны ограничиться действия отряда, который за Араке отнюдь не переводим”.

Дав эти точные указания, Ермолов отправил вместе с Паскевичем начальника корпусного штаба генерала Вельяминова, которого рекомендовал ему как человека, знавшего местные обстоятельства края и самый образ войны.

После разгрома персидского авангарда при Шамхоре, когда Паскевич был уже на пути и шел от Акстафы к Елизаветполю, в Тифлисе получились новые тревожные известия. Стали говорить, что эриванский сардарь, пользуясь тем, что русские войска отведены от

Делижанского ущелья, двинулся от озера Гокчи и идет в татарские дистанции, чтобы силой понудить их к возмущению. Говорили также, что он намерен был приблизиться к Куре, чтобы помочь царевичу Александру проникнуть в Кахетию; наконец, ходили слухи о том, что сардарь рассчитывает действовать в тыл войскам, во время наступления их к Кара-багу. Тогда Ермолов собрал последние войска, которыми еще мог располагать в Грузии, именно: гвардейский полк, второй батальон ширванцев, сводный батальон егерей, донской казачий полк, десять орудий — и во главе этих сил появился сам в Казахской дистанции, на речке Гассан-Су, закрывая Делижанское ущелье.

Паскевич между тем, быстро шел вперед и 10 сентября, в 10 часов утра, в сопровождении Нижегородского драгунского полка, прибыл в Елизаветполь. Отряд Мадатова встретил его под ружьем. Паскевич обошел весь лагерь и затем удалился в приготовленную для него палатку. Весь день он провел в том, что изучал положение дел, знакомился с новыми своими подчиненными. К вечеру подошла пехота и стала лагерем под Елизаветпольской крепостью. Таким образом, все войска, которым предстояло встретить врага, теперь были в сборе. Здесь сосредоточились семь батальонов пехоты от полков: Карабинерного, Херсонского, Грузинского, Ширванского и сорок первого егерского, весь Нижегородский драгунский полк, два полка казаков и татаро-грузинская милиция. Это не было сильное численностью войско — корпус не превышал восемь тысяч человек при двадцати четырех орудиях,— но зато здесь был отборнейший цвет боевого кавказского корпуса.

Совсем иными глазами взглянул, однако, на эти войска. Паскевич. Нужно думать, что он приехал в Елизаветлоль с такой же предвзятой мыслью по отношению к ермоловским войскам и к генералам Мадатову и Вельяминову, с какой отнесся к Ермолову в Тифлисе; все ему не нравилось, везде он находил беспорядки. Особенно беспокоило его неприглядное состояние войск в смысле обмундирования и фронтовой выправки. Смотр, сделанный утром шамхорским победителям, окончательно уронил их во мнении Паскевича, и гнев его поминутно обрушивался то на того, то на другого частного начальника.

А враг уже был близко. Последние известия говорили, что Аббас-Мирза со всей сорока-пятидесятитысячной армией перешел через речку Тер-Тер и находится всего в сорока верстах от Елизаветполя. О Шуше точных сведений не было; но ходили слухи, что в Карабаге шах и что он сам блокирует Шушинскую крепость.

11 сентября утром корпусу назначено было общее учение. Войска, выведенные из лагеря, то свертывались в каре, то снова развертывались в линии и маршировали колоннами.

“Нельзя представить себе, до какой степени они мало выучены,— писал Паскевич государю накануне елизаветпольской битвы. Боже сохрани с такими войсками быть в первый раз в деле; многие из них не умеют построить каре или колонну,— а это все, что я от них требую. Я примечаю даже, что сами начальники находят это ненужным. Слепое повиновение им не нравится,— они к этому не привыкли; но я заставлю их делать по-своему”. Хотел ли Паскевич этими донесениями отстранить от себя ответственность на случай неудачи, а в случае успеха тем в большем блеске выставить свою распорядительность даже и с такими плохими войсками,— неизвестно. Но только в странном противоречии с ними стояла его готовность принять сражение, о которой неоднократно говорит граф Симонич в своих неизданных записках.

Неприятель между тем подходил, и приближение его обнаруживалось несомненными признаками. В самый разгар учебных построений, 11 числа, перед русскими аванпостами вдруг показалась персидская кавалерия. Началась перестрелка. Паскевич послал сильный

разъезд с поручиком Ермоловым узнать, в чем дело, оставив войска в выжидательном положении. При приближении Ермолова персияне скрылись. Они, видимо, рекогносцировали русский лагерь.

На следующий день корпусу было опять учение. И опять появилась персидская конница, но уже в значительно больших силах. На этот раз она не бежала от русского патруля, как накануне, а остановилась и ждала. Паскевич прекратил учение, оставив в поле графа Симонича с одним батальоном Грузинского полка. Простояв некоторое время на месте, кавалерия отошла назад.

Теперь надо было ждать скорого появления Аббаса-Мирзы, и только тут поставлен был вопрос, где и как принять сражение. Паскевич сначала предполагал встретить персиян в узких улицах города; но намерение это было оставлено, вследствие энергичных представлений Мадатова о той опасности, которой могли бы подвергнуться войска от такого расположения. Мадатов стоял безусловно за наступление. Мнение его было поддержано начальником штаба Вельяминовым. Когда Паскевич уступил, то Вельяминов, как рассказывают, сказал Мадатову: “Тешьтесь, князь, но, как бы впоследствии нам не пришлось быть в ответе”. Но так или иначе, наступление было решено, и поход назначен на 8 часов утра.

Между тем жители города с разными чувствами ждали приближения персидской армии. Роли переменились. Армяне совершенно притихли, татары изъявили неистовую радость. Всю ночь в городе слышалось пение священных гимнов из Корана, и раздавались залпы из ружей, в честь будущих победителей. На русских никто не обращал внимания. Татары были уверены, что многочисленные, как морской песок, персидские полчища, предводимые самим Аббасом-Мирзой, разберут по рукам горсть несчастных гяуров. Но велико было их удивление, когда на следующее утро, вместо ожидаемого с часу на час отступления, корпус двинулся вперед, навстречу неприятелю.

В эту самую ночь, на 13 сентября, в палатку князя Мадатова явились трое армян, бежавших из персидского лагеря. Они принесли известие, что персияне, оставив за Тер-Тером все тяжести, налегке перешли Курак-чай и идут вперед, что Аббас-Мирза имел даже намерение атаковать русских уже этой ночью (как сделал с ним Котляревский под Асландузом), но военный совет отверг это предложение, и атака была отложена до утра. Один из этих армян был простой слуга, другой — авантюрист, прошедший огонь и воду; но третий, Бегляров, брат русского чиновника, служившего переводчиком при тегеранской миссии, внушал к себе полнейшее доверие. Аббас-Мирза, лаская вообще карабагских армян, приблизил к себе этого Беглярова как представителя одной из лучших фамилий Карабага. Но Бегляров воспользовался своим положением у наследного принца только для того, чтобы выведать все, что делалось в персидском лагере, и затем бежать. Мадатов пригласил к себе графа Симонича, и вместе они пошли разбудить Паскевича, чтобы сообщить ему полученную новость. Паскевич сам расспросил Беглярова и приказал тотчас готовиться к выступлению.

“Еще было далеко до свету, но “старые кавказские солдаты,— замечает в своих мемуарах граф Симонич,— никогда и нигде не опаздывают. Едва им объявили, что надо спешить, как ранний обед был съеден и люди, бодрые и свежие, стояли уже под ружьем, готовые к походу”.

В это самое время, в лагерь прискакал еще один вестник-татарин из Шамшадиля. Запыхавшись, едва переводя дух от усталости, он требовал, чтобы его провели прямо к генералу. Татарин рассказал Паскевичу, что эриванский хан со всеми своими силами

прошел Делижанское ущелье и теперь находится в тылу русского корпуса. “Я был проводником сардаря,— говорил он,— и оставил его в Шамшадиле, откуда мне удалось бежать, чтобы предупредить вас”.

Впоследствии оказалось, что донесения татарина были неверны: сардарь еще двигался от Гокчи и не занимал Шамшадиля. Припомним, однако, что и Ермолов получил в Тифлисе подобное же известие, заставившее его выйти с войсками к Гассан-Су. Очевидно, татарин сам проводником у сардаря не был, но желал получить награду за доставленное известие, основанное им на дошедших до него преувеличенных слухах. Нужно думать, что сардарь, действительно, и был бы теперь в тылу русского корпуса, если бы ему не воспрепятствовал Ермолов.

Выслушав сообщение татарина, Паскевич был озадачен. Обратившись к окружающим, он спросил: “Что нам теперь делать?” Симонич рассказывает, что среди общего молчания, он выдвинулся вперед и сказал: “Побьемте Аббасса-Мирзу, а тогда уйдет и сардарь!”

Паскевич согласился и отдал приказание начинать движение.

Войска выступили часу в шестом утра и в нескольких верстах от лагеря заняли позицию. Здесь местность представляет совершенную равнину, простирающуюся между реками Ганжой и Курак-чаем до самой Куры, в которую они впадают, и только от истоков этих речек тянутся незначительные возвышения, оканчивающиеся верстах в двенадцати от города. На одном из таких возвышений и стали войска, разослав от себя вперед сильные разъезды для наблюдения за неприятелем. Но неприятеля еще не было. Перед войсками лежала молчаливая степь, в которой, казалось, замерли все признаки жизни, как бывает в тишину перед бурей. И только вдали в нескольких верстах впереди, как свидетельство далекого прошлого, виднелся неподвижный памятник, напоминавший, что равнина эта искони веков была полна жизни, и притом не одних только столкновений между обитавшими тут племенами, а и поэтических прозрений. Предание говорит, что он воздвигнут персидскими царями в честь знаменитого поэта Абул-Хассан-Низами, жившего в VI веке магометанской эры.

Но вот, около 10 часов утра, за немым свидетелем стольких веков показались шумные массы людей. От Куракчайской почтовой станции шел неприятель. Все движения его по равнине видны были с возвышения, занятого войсками, как на ладони, и представляли собой живописное зрелище. Впереди всех джигитовали присоединившиеся к персиянам изменники-татары; небольшие шайки их сворачивали с большой дороги и пробирались к стороне вагенбурга. Вооруженные жители окрестных деревень также начинали занимать соседние высоты, ожидая только развязки дела, чтобы пристать к победителям и участвовать с ними в. добыче. В русском корпусе царствовала глубокая тишина.

Был уже близко полдень, когда войска Аббаса-Мирзы, с распущенными знаменами и барабанным боем, стали подходить к русской позиции. Пехота русская стала в ружье. Батальон ширванцев и далее — батальон егерей образовали первую линию, а между ними, в центре, развернулась батарея в двенадцать орудий первой батарейной роты кавказской гренадерской артиллерийской бригады. За ними в колоннах расположились: слева, за ширванцами, батальон Грузинского полка, справа за егерями, батальон карабинеров. По две роты от тех же полков, Грузинского и Карабинерного, с орудием при каждой, выдвинулись уступами за первой линией и свернулись в каре, прикрывая фланги от ударов неприятельской кавалерии.

Этими двумя линиями командовал Мадатов.

Еще позади, за интервалами второй линии, расположился подивизионно, в колоннах к атаке, весь Нижегородский драгунский полк, а в резерве стали полтора батальона херсонских гренадер с шестью орудиями. Две остальные роты херсонцев и два орудия остались в прикрытии вагенбурга.

Вся иррегулярная конница: два казачьи полка (Костина и Иловайского), вместе с татарской милицией, прикрывая боевое расположение отряда, разместились на флангах. На татар, однако же, много рассчитывать было нельзя, а казачьи полки были так малочисленны, что в обоих не набиралось даже и пятисот коней. Большая же часть грузинской милиции, как конной, так и пешей, отправлена была из Шамхора в Тифлис, чтобы сопровождать трофеи, взятые Мадатовым, и оттуда назад еще не возвращалась.

Таким образом, не считая двух рот и двух орудий, оставленных при вагенбурге, в русском корпусе было всего шесть с половиной батальонов, до полутора тысяч всадников и двадцать две пушки.

Этой-то горсти народа предстояло сразиться с пятитысячной “фалангой современного Дария”, как выражается Симонич.

Нападение предоставлено было персиянам. Некоторое время они шли одной густой, сплошной массой, которая, как туча, быстро надвигалась на русскую позицию. Но вот она остановилась и стала развертываться вправо и влево; толпы азиатской конницы появились на флангах, артиллерия стала выезжать на позицию. А далеко за этой боевой линией виднелся длинный ряд верблюдов с навьюченными на них фальконетами и горными пушками; еще позади — неподвижно стояла шахская гвардия и вся регулярная конница. Но и персидская армия, со своей стороны, развернув фронт,— стала, ожидая нападения русских.

В боевом порядке, неподвижно стояли теперь друг против друга две враждебные армии. Ни та, ни другая не хотела начать сражения. Так прошло около часа. Граф Симонич и Греков (командир Ширванского полка), бывшие вблизи Паскевича, пришли к убеждению, что у Аббаса-Мирзы недостает решимости и что, если русские не пойдут вперед,— он уйдет, не дав сражения.

Колебался и Паскевич. По крайней мере известный партизан, генерал Денис Давыдов, положительно уверяет, что, увидев перед собой тяжелую массу надвигающейся персидской конницы, сарбазов и шахской гвардии, Паскевич был смущен и хотел отступить и что только настояния Малахова и Вельяминова заставили его принять сражение.

Этого колебания не отрицает косвенно и преданный Паскевичу Симонич. Вот как описывает он этот момент нерешительности обеих армий.

“Боясь упустить благоприятный случай,— говорит он,— я обратился к Паскевичу со следующими словами: позвольте нам атаковать неприятеля; наши кавказские солдаты не привыкли обороняться,— они нападают.— Уверены ли вы в победе? — спросил Паскевич.— Да, уверен,— отвечал я,— и вот мой товарищ, Греков, тоже отвечает головой за успех.— Ну, так идите с Богом.

Полные радости, Греков и я вскочили на коней,— продолжает Симонич,— и поскакали к своим частям. Раздалась команда: “Смирно! На плечо!” — и затем я подъехал к ширванцам, стоявшим впереди, чтобы сказать им несколько теплых слов, которые шли от

сердца.— Братцы, ширванцы! — воскликнул я.— Ступайте смело; грузинцы за вами,— вас не выдадут!.. И русские линии зашевелились”.

Так или иначе,— русские шли вперед, отважно наступая на вражеские силы, черной тучей заслонившие горизонт.

Но вот со стороны неприятеля показался дымок — грохнула первая пушка, вероятно, и Аббас-Мирза победил свою нерешительность. Тогда русский отряд, всей, своей массой уже передвинувшийся вперед, остановился на новой выгодной позиции и стал опять выжидать нападения. Центральная батарея, при которой находился сам Вельяминов, тотчас ответила на вызов врага дружным залпом,— пушечный огонь разом охватил всю боевую линию. Сражение началось.

Неприятель, имея до шестидесяти тысяч войска, в том числе двадцать четыре батальона регулярной пехоты с двадцатью шестью орудиями, руководимый английскими офицерами, стянул всю свою артиллерию в одну огромную батарею в центре и открыл убийственный огонь из всех своих орудий, а иррегулярная конница быстро стала охватывать небольшой русский отряд и с флангов, и с тыла.

Скорым движением стеснялся полукруг наступающих персиян. Твердо и неподвижно стоял отряд русский. Князь Мадатов, на прекрасном карабагском коне, шагом объезжал войска под страшным огнем неприятеля и говорил солдатам: “Ребята! Не жалейте сегодня пролить свою кровь за Государя и Россию!” Подъехав к казакам, он сказал: “Помните мое наставление: держитесь час — и неприятель побежит”.

По всему фронту завязалась между тем сильная ружейная перестрелка.

Первые удары неприятеля обрушились на левый фланг русской позиции. Целая туча неприятельской конницы, обскакав первую линию, неслась на две роты грузин, стоявших, как сказано, в каре, уступом между первой и второй линией.

Грузинские стрелки, видя грозящую им опасность, отступили, в каре “в некотором беспорядке”, как выражается Симонич. Казаки и татары левого фланга, попавшие под удар, мгновенно были опрокинуты и неслись назад. Минута была критическая. В это время Паскевич пешком обходил интервалы линий и случайно, в сопровождении одного адъютанта, очутился в толпе беспорядочно бегущей татарской милиции. Его спокойствие и уверенный тон, с которым он обратился к этой разнузданной массе, имели магическую силу. Татары оправились и стали снова строиться.

Между тем граф Симонич, находившийся впереди у центральной батареи, заметил колебание в рядах своих гренадер, на которых неслась персидская конница, и через минуту уже стоял перед их маленьким каре. Положение этой горсти, рисковавшей ежеминутно быть растоптанной копытами бешено мчавшейся на нее громадной конницы,— было, действительно, серьезное. Но гренадеры оправились и смело смотрели в глаза опасности. “Я чувствую потребность,— говорит, в своих записках Симонич об этом эпизоде битвы,— отдать дань восхищения памяти офицера, мужество которого в этот день и в этот момент носило величавый характер. Это поручик Вретов, командир третьей гренадерской роты, тот самый, который, год спустя, нашел себе славную смерть в горячем деле под Урдабадом. Как он был красив и восхитителен в эти минуты, бедный мой Вретов! Честь его памяти!”

Конница между тем грозной лавиной приближалась: за ней шли батальоны сарбазов. К счастью, весь левый фланг оказался прикрытым небольшим, но крутым, бездорожным оврагом, который издали не мог быть виден неприятелю. Это обстоятельство неожиданно получило важное влияние на судьбу сражения. Разлетевшаяся во всю конскую прыть толпа как вкопанная стала перед оврагом,— стремительность удара пропала. А между тем на этот пункт сосредоточился огонь целого грузинского батальона. В то же время, обогнув овраг, насели на вражескую конницу оправившиеся казаки и татары. Потерявшие голову персидские всадники пустились уходить и, рассыпавшись по полю, открыли свою пехоту.

Паскевич, хладнокровно следивший с высоты за перипетиями страшного боя, видел стойкость сарбазов под огнем русской артиллерии и ловкость, с которой они пользовались неровностями местности. Был момент,— как впоследствии он рассказывал сам,— когда все шансы разом склонились на сторону врагов, когда персидские батальоны уже заходили в тыл русского боевого расположения,— и у сарбазов не было только души, талантливого начальника, который сумел бы воспользоваться счастливым моментом. Положение становилось с каждым мгновением опаснее. Тогда Паскевич послал приказание выдвинуть из резерва на левый фланг батальон херсонцев с четырьмя орудиями и в то же время, подозвав к себе бывшего невдалеке командира Нижегородского драгунского полка, генерала Шабельского, указал ему рукой на приближающихся сарбазов и лаконично сказал: “Истребите их”. Шабельский подскакал к полку. Задребезжала труба,— и третий дивизион, подавшись правым плечом, стал развертывать фронт... Вот грянула команда: “Марш-марш?” — и дивизион понесся. Оглушительный залп встретил нападающую конницу. Под Шабельским была убита лошадь; но драгуны, по следам своих офицеров, вломились в неприятельский батальон,— и его разбитые и стоптанные ударом шеренги одна за другой ложились под ударами шашек. Напрасно неприятельская конница, опомнившись, бросилась помогать сарбазам. Второй дивизион нижегородцев, обогнув скалистый овраг, охватил ее с флангов и с тыла. Все перемешалось в общей рукопашной свалке... Еще мгновение — и опрокинутая персидская конница бежала с поля сражения. Тогда второй дивизион соединился с третьим, и тем удвоил силу нападения на персидскую пехоту.

Разбившись на мелкие кучки, персияне залегли в канавах в густом кустарнике. Драгуны стремительным ударом выбили врага из этого последнего укрытия. Здесь ранены были: прапорщик князь Чавчавадзе — штыком, и поручик Заребский — штыком и саблей. Персидское знамя, высоко развевавшееся над одной из неприятельских кучек, было взято драгунами. Когда разнесся дым и улеглась поднятая скачкой пыль,— сарбазы уже были изрублены, а вдали, на самом горизонте, виднелись остатки разбитой, уходившей с поля персидской конницы. Подошедшему батальону херсонцев уже не досталось участия в бою.

Распорядившись, чтобы татары и казаки преследовали бежавших, Шабельский быстро устроил свои дивизионы и повел их вправо, на помощь пехоте, сражавшейся в центре. Там давно уже кипела кровавая битва. Когда восемнадцать персидских батальонов надвинулись на русскую позицию, Мадатов приказал пехоте сбросить ранцы и приготовиться к удару в штыки. Два батальона должны были сразиться с восемнадцатью! Солдаты рванулись вперед,— но Мадатов удержал их порыв. “Стой! — крикнул он! — Подпускай персиянина ближе, ему труднее будет уходить!” И вот, когда Вельяминов сосредоточил огонь двенадцати батарейных орудий на наступавших сарбазов, когда персидские батальоны, в синих куртках и белых панталонах, осыпанные картечью, замедлили шаг, заколебались,— Мадатов выхватил шашку и крикнул “ура!”. Это послужило общим сигналом к нападению. Ширванцы и егеря первые кинулись вперед; батальон грузинцев почти в тот же момент сравнялся с ними — и начался страшный

рукопашный бой. Храбрые командиры полков, Грузинского — граф Симонич и Ширванского — Греков, находились во главе своих батальонов, с такой геройской решимостью атаковавших в десять раз сильнейшего неприятеля: Скоро и Греков, и Симонич — оба выбыли из строя. Греков, сам сражавшийся казацкой пикой, был убит наповал; Симоничу пуля раздробила ногу. Он упал, но не позволил солдатам подать себе помощи, крикнув: “Вперед, ребята! Там ваше место!” — и приказал оставить возле себя только цирюльника и одного унтер-офицера. Доктор херсонского полка тут же сделал ему перевязку. Но рана была так тяжела, что заставила графа долго не покидать костылей и даже угрожала перейти в гангрену. “Если я живу,— говорит в своих записках Симонич,— то должен благодарить за это только Провидение”.

Место убитого Грекова заступил один из старейших ширванцев, майор Юдин. Под его начальством солдаты, раздраженные потерей любимых начальников, со страшным ожесточением нападают и опрокидывают неприятеля.

В это-то мгновение появился со своими нижегородцами Шабельский. Быстрым натиском драгуны проложили себе путь в самую середину уже смятых персидских батальонов, разбрасывая их в обе стороны и опрокидывая все им встречающееся. Соединенные усилия пехоты и конницы скоро решили судьбу сражения и в центре. Регулярные войска, оплот персидской монархии, были разбиты, рассеяны и бежали в беспорядке. Персидская артиллерия, опасаясь русской пехоты, поторопилась взять на передки и в общем бегстве шла так скоро, что драгуны ее и не видали.

Увлеченные солдаты преследовали врагов на пространстве двенадцати верст, до самой куракчайской станции, на речке Курак-чае. Там стоял богатый неприятельский лагерь. В ужасе и поспешном бегстве персияне миновали его, не успев ничего захватить, лагерь тотчас же занят был русской пехотой. Драгуны и казаки проскакали еще верст семь и за лагерь. Несмотря на то, что их было слишком мало, чтобы поспевать везде, и при них не было конной артиллерии,— они нанесли персиянам громадный урон. Пленных, однако, взято не было, “ибо,— как доносил Шабельский,— драгуны были так раздражены, что ни одному персиянину не давали пощады”.

В непрерывных атаках и сами нижегородцы понесли чувствительные потери, особенно в офицерах, свидетельствуя тем, что известный афоризм знаменитого кавалерийского писателя “сабля офицера не тупее солдатской, конь лучше,— и честь должна указать ему место” — был ближе их сердцу, чем изречение писателей другой формации, что “офицер не мясник, и дело его не рубить, а смотреть за порядком да руководить ходом битвы”... Из числа нижегородских офицеров: прапорщик Волжинский получил в упор две смертельные раны пулями в грудь в ту минуту, когда хотел взять неприятельское знамя; штабс-капитан Червонный ранен пулей в руку, другой штабс-капитан (фамилии в донесении не упомянуто) — штыком; у прапорщика Болдамуса перебита рука прикладом. Под поручиком Горешневым и прапорщиком Масленниковым, — убиты лошади.

Атаки нижегородцев происходили на глазах Паскевича, который впоследствии не мог нахвалиться драгунами. Почти сорок лет провел перед тем полк на Кавказе; много пришлось ему видеть за это время кровавых и безвестных сечь на шумных берегах Кубани и Терека, в горах Лезгистана и в долинах Грузии. Но то были битвы иного рода. Теперь же людям закаленным в малой войне, в одиночных схватках еще впервые пришлось участвовать в большом генеральном сражении, и им было где показать себя. День елизаветпольской победы был днем, в который ярким лучом загорелась слава Нижегородского полка,— и с этого дня начинается тот блестящий период его полковой

истории, полный героизма, на котором выросло и воспиталось нынешнее молодое поколение нижегородцев.

Когда увлеченные преследованием войска левого фланга и центра ушли слишком далеко от первоначального поля битвы, Паскевич стал сильно тревожиться за исход сражения. Опасаясь, что неприятель, опомнившись, перейдет снова в наступление и вырвет из рук его победу, он слал гонца за гонцом, чтобы остановить преследование. Но остановить ширванцев, грузинцев, егерей и драгун не было никакой возможности. Тогда Паскевич отправил на помощь к ним последние, еще не участвовавшие в бою, шесть рот карабинерного полка, которые, в случае надобности, могли бы послужить резервом. Но и карабинерам не пришлось идти по этому назначению,— они понадобились на правом фланге.

Дело в том, что в то время, как на левом фланге и в центре русские войска торжествовали полную победу, там, на правом фланге, дела слагались менее благоприятно. Правый фланг был почти забыт, так как все внимание Паскевича отвлечено было событиями в других местах. А между тем персидские пехотные и конные массы стремительным нападением загнали здесь казаков почти до Елизаветполя и обходили уже русскую линию. Ближайший к правому флангу первый дивизион Нижегородского полка и две роты Херсонских гренадер, выдвинутые из резерва, напрягали все силы, чтобы сдержать персиян и не дать им пройти в тыл русской позиции. Положение могло стать гибельным.

Драгунский офицер, посланный известить обо всем генерала Шабельского, долго ездил по полю, пока не разыскал своего командира далеко впереди, уже за куракчайской станцией. Выслушав донесение, Шабельский потребовал к себе свежую лошадь; ему подвели фруктовую. Он быстро вскочил в солдатское седло и поскакал на правый фланг, сопровождаемый одним ординарцем.

Дела он застал в следующем виде. Казаки и татары были под самым Елизаветполем; майор Гофман, рассыпав стрелков от двух Херсонских рот, перестреливался с неприятелем и при помощи единственной находившейся у него пушки едва мог сдерживать наступавшую пехоту; дивизион нижегородцев стоял в резерве.

Видя опасность положения, Шабельский решился изменить первоначальное распоряжение Паскевича и послал майору Клюки Клюгенау приказание идти с шестью карабинерными ротами не к Курак-чаю, на помощь к войскам, преследующим неприятеля, как приказал Паскевич, а взять правее между центром и левым неприятельским флангом, чтобы зайти в тыл последнему. Персияне вовремя заметили этот опасный для себя маневр и подались назад. Тогда Шабельский приказал майору Гофману собрать стрелков и перейти в наступление; а пока гренадеры с барабанным боем двигались вперед, нижегородцы обскакали неприятеля с фланга. Едва в пехоте грянуло “ура” — Шабельский стал во главе драгун, и, воспламенив их мужество коротким рассказом о славных подвигах их товарищей, повел дивизион в атаку. По словам очевидцев, это была одна из самых стремительных и бурных атак. Все, что попало под этот несущийся ураган, было смято и стоптано. Здесь ранен штыком поручик Кадников, а под поручиком Фроловым заколота лошадь. Первый и второй эскадроны врезались в самую середину неприятельской линии и произвели в ней страшное опустошение. Так еще раз, и на правом фланге, нижегородцы являются решителями битвы.

Совокупный удар с двух сторон сломил наконец сопротивление неприятеля, который и здесь предался стремительному бегству. “Только гористая и изрезанная оврагами местность,— как доносил Шабельский,— спасла неприятеля от истребления и не

дозволила нанести ему такой вред, какой бегущая и расстроенная пехота должна была ожидать от кавалерии”. Но напрасно Шабельский, понимая, что сидеть на плечах бегущих — значит позволить им уйти без особой потери, пытался еще раз обскакать неприятеля, чтобы отрезать ему отступление. Местность была в полном смысле адская, и только на высокой и ровной площадке, уже перед самым Куракчайским ущельем, драгунам удалось, наконец, отрезать часть вражеских батальонов. Они были изрублены, но два батальона успели избежать истребления и, кинувшись на лесистый курган, стали окапываться. В это время подошли сюда карабинерные роты с майором Клюгенау. Между тем осенний день приближался к концу, наступали сумерки. Чтобы скорее покончить дело, Клюгенау пошел на приступ. Но он встретил такой отпор, что вынужден был отступить, попытка эта стоила карабинерам до шестидесяти человек убитыми и ранеными. Тогда послали за подмогой, а сами залегли под горой, чтобы не выпустить персиян из рук; драгуны стерегли их с другой стороны.

“Сдавайся, Херам-заде! — кричали солдаты персиянам.— Поутру наелись грязи, так уж теперь не поправите дела!” Но в ответ из окопов гремел неумолкаемый ружейный огонь. Паскевич, встревоженный отдаленной и все усиливающейся перестрелкой на правом фланге, послал туда князя Мадатова. Но бой уже подходил к концу. Когда на помощь карабинерам подошли херсонцы и с ними два орудия, и батальоны, после нескольких картечных выстрелов, двинулись на приступ,— неприятель бросил оружие. Здесь взяты были два орудия, три знамени и до тысячи пленных. Это были почти единственные трофеи елизаветпольского сражения.

Кому принадлежала честь взятия окопа в этом заключительном эпизоде кровавой битвы — неизвестно. Об этом моменте боя имеются весьма разноречивые известия даже самих участников его. Клюгенау и Шабельский говорят, что Мадатов приехал на правый фланг, когда там все уже было кончено. Клюгенау рассказывает, между прочим, что, увидев пленных, неприятельские знамена и орудия, Мадатов сказал ему: “Ты, братец, счастливее нас и воротишься не с пустыми руками. Эти проклятые чабаны бежали так шибко, что нам ничем не удалось поживиться”. Сам Мадатов не оставил записок. В биографии же его, составленной правдивым А. С. Хомяковым со слов его сослуживцев, и в некоторых рассказах современников есть данные, по которым можно предположить, что Мадатов принял деятельное участие в самом бою на правом фланге. “Князь Мадатов,— говорит его биография,— подъехал к ним (к окруженным персиянам) сам и объявил им на их языке, что ежели они желают сдаться, то сейчас бы бросили с кургана вниз свое оружие. Персияне, видя, что сам начальник делает им предложение, и уверясь в бесполезности сопротивления, в числе девятисот восьмидесяти человек, с двумя знаменами, двумя батальонными командирами и семью офицерами, положили оружие”. В то же время, один из отставных эриванских солдат рассказывает следующее:

“До самой ночи палили мы. в неприятеля из пушек и из ружей; но он сделал завал из своих убитых — и не сдавался. Тогда подъехал к нам генерал Малахов и говорит: “Братцы! Возьмите его в штыки, зарядов он не стоит!” У нас господа офицеры были отважные,— того только и ждали. “Ну, говорят, ребята,— пойдем, живьем заберем персиянина”. Капитаны Долинин и Авраменко первыми ворвались со своими ротами в завал и всех позабрали в полон”...

Для славы и чести Малахова вопрос этот, впрочем, безразличен; довольно и того, что ему главным образом обязаны персияне разгромом своего центра, решившим судьбу сражения — чего в первые минуты не отрицал и Паскевич.

Была уже ночь, когда Малахов, утомленный боем, без голоса, покрытый пылью, приехал в персидский лагерь на Курак-чае, где расположились русские войска и был сам Паскевич. Малахов доложил ему о взятых на правом фланге трофеях. Рассказывают, что Паскевич, увлеченный и обрадованный победой, обнял его, благодарил и на рассвете приказал вновь преследовать бегущего неприятеля.

На следующий день, рано утром, взяв с собой два батальона, полк казаков и четыре орудия, Малахов с конницей пустился усиленным маршем за неприятелем и гнал его двадцать три версты. Аббас-Мирза, под этим новым натиском, до того ускорил свое бегство, что приказал пехоте сесть на лошадей вместе с кавалеристами, так что на одной лошади было по два всадника. 15 сентября сам он был уже за Араксом, 17 — переправилась за ним и его разбитая армия. Спустя пять дней после сражения, ни одного неприятельского воина не оставалось уже в Карабаге; попадались по окольным дорогам только отставшие, безоружные и голодные люди, которых немилосердно убивали и грабили сами же карабагские татары. Дело не ограничилось, однако, ужасом, преследовавшим персиян в русских границах,— он настигал их и в персидских землях. В то время, как Аббас-Мирза с небольшим числом войск прискакал в Тавриз, персидские сарбазы разлились по пограничным с Россией областям и всюду распространяли страх близкого нашествия русских.

Паника персиян еще более увеличивалась под влиянием гнева Аббаса-Мирзы,— несомненного признака страшного поражения его войск. За днем несчастного сражения последовали дни грозной кары.

Многие влиятельные лица в армии были отрешены от командования, четверо, бежавшие из-под Шамхора, повешены; многих он приказал посадить на ослов, лицом к хвосту, и в этом позорном виде возить по деревням на посмеяние народу.

И тем резче было впечатление этих кар, что они расходились с представлениями народа, приписывавшего исход битвы воле Аллаха, неизбежному предопределению. Рассказывают, что такой взгляд на дело скоро получил среди самих окружавших наследного принца некоторое поощрение. Был у Аббаса-Мирзы некто Хаджи-Мирза-Агасы,— позднее, во время осады Герата, сам командовавший персидской армией,— который был великим астрологом и умел чихать и гадать по звездам. На основании несомненных небесных предвещаний он еще накануне сражения узнал, что ему следует бежать без оглядки, не ожидая битвы,— и он не только бежал, но даже хвалился этим, говоря: “А, что? Видите ли теперь, что я был совершенно прав Я сейчас узнал, что будет беда, и ушел. Кто же из дураков, из людей несведущих, темных, остался — тех или побили, или забрали в плен, а кто из них и ушел, так ушел по той же дороге, как и я” В персидские войска, от начальников до солдат, внесена была страшная деморализация.

Так окончилось Елизавехпольское сражение, освободившее Закавказский край от нашествия врага и занявшее одну из видных страниц в военной истории России.

Общая потеря персиян не превышала двух тысяч убитыми и тысячи пленными. В числе последних находился Угурлу-хан, кратковременный повелитель Ганжинского ханства. Солдаты нашли его в кустарнике на берегу Курак-чая, уже ограбленным и полураздетым карабагскими армянами [Во время плена Угурлу-хан долго жил в Ставрополе, научился говорить по-русски и в 1828 году, при размене пленных, не с особенной охотой вернулся в Персию.].

При поспешном бегстве неприятеля и трофеев взято было не много: два орудия и четыре знамени: одно, добытое нижегородцами,— красное, с изображением золотого льва, державшего в лапе обнаженный меч, а три — белые, на которых: покоящийся лев освещен восходящим солнцем — эмблема могущества и. просвещения Персии на знаменных древках, вместо обычного копья, прибиты отлитые из серебра кисти правой руки с распростёртыми пальцами.

С русской стороны выбыло из строя двенадцать офицеров и двести восемьдесят пять нижних чинов. Особенно чувствительной для войск кавказского корпуса потерей была смерть одного из лучших представителей его, командира Ширванского полка, подполковника Грекова. Невольно останавливает на себе внимание странная судьба всего несчастного семейства Грековых. В Ширванском полку служило шесть братьев. Старший, бывший уже генералом, убит в Герзель-Ауле вместе с Лисаневичем; второй, командуя полком, погиб под Елизаветполем; трое пали еще прежде в боях с кавказскими горцами; теперь оставался в живых один, самый младший. Мать, пораженная фатальной потерей пятерых детей, написала государю письмо и, помимо желания сына, просила уволить его в отставку, ввиду того, что персидская война могла лишить ее и последнего сына. Император Николай снизошел к материнскому Чувству ее и повелел уволить Грекова от службы с полным пенсионом, на который тот, по молодости, не имел никакого права. Вместе с Грековым в Ширванском полку был убит и капитан Белькович, о котором память долго хранилась в дружной семье ширванцев. Он был сын провиантского чиновника, выросший, можно сказать, в Ширванском полку, с которым отец его делал частые походы. Юношей он поступил в этот полк на службу и в нем же дослужился до капитана. Храбрый до дерзости, он пользовался особым вниманием Ермолова и, несмотря на малую степень образований, обладал такими способностями, которые могли предрекать ему в будущем широкую служебную карьеру. Под Елизаветполем он, имея уже Владимирский крест, полученный когда-то из рук Ермолова, соблазнился персидским знаменем и бросился на него со своей ротой; знамя он взял, но тут же и пал, пораженный пулей. Знамя осталось за персиянами.

Елизаветпольская победа доставила справедливую славу Паскевичу.

“Мы, которые были свидетелями этой эпохи,— говорит граф Симонич,— мы, которые следили за генералом на поле битвы, которые видели его хладнокровие в опасности, можем отдать честь его величию, его способностям. Но нужно сказать и то, что маленький корпус наш составлен был из избранных кавказских храбрецов, которые были проникнуты собственным достоинством, для которых не было ничего невозможного; да с ними же были и Мадатов, и Вельяминов”.

К этому нужно, однако, добавить и то еще, что Елизаветполь был следствием Шамхора. Шамхор расшатал нравственные силы персиян, и нет сомнения, что Аббас-Мирза много потерял уверенности и в самом себе, и в своей армии, видя Мадатова в стенах Елизаветполя. Мадатову принадлежит, поэтому, значительная доля славы в Елизаветпольской битве.

Император Николай осыпал главных виновников Елизаветпольской победы наградами. Паскевичу пожалована была золотая сабля, осыпанная бриллиантами, с надписью: “За поражение персиян под Елизаветполем”. “Уверен,— писал ему государь,— что она в ваших руках укажет храбрым войскам путь к новым победам и к славе”. Князь Мадатов получил чин генерал-лейтенанта и бриллиантовую же саблю с надписью: “За храбрость”. Это была уже его вторая драгоценная сабля,— первую он имел еще в чине полковника, за отечественную войну. Генерал-лейтенанту Вельяминову пожалован орден св. Георгия 3-го

класса; генерал-майору Шабельскому, полковнику графу Симоничу и майорам Юдину и Клюки-Клюгенау — тот же орден 4-й степени. Ими и начинается длинный список георгиевских кавалеров славного царствования императора Николая Павловича.

Победа торжественно праздновалась и в самом Петербурге" Отбитые в сражении знамена возились по улицам столицы при звуках труб, и император Николай, в память того, что первые известия о вторжении персиян и первые донесения о их поражении получены были в Москве, в дни коронации, отправил эти трофеи в дар первопрестольному городу и приказал там же хранить и все другие трофеи, которые будут взяты в течение персидской войны,— знамена в соборах, пушки на кремлевской площади. Там они стоят и до настоящего времени.

Елизаветпольская битва имела в жизни Закавказья огромное значение по тому умиротворяющему смыслу, которое она получила для мусульманского населения. Разгром персидских сил, в четыре дня после того очистивших русские пределы, был поучителен для народов, уважающих только силу. Впечатление, произведенное им, было таково, что не только в Грузии, а даже и в самой Персии сочиняемы были песни в честь победителей, и подвиги князя Мадатова так воспламеняли воображение туземных бардов, что он представляется в этих песнях грозным карателем, призраком, являвшимся внезапно и повсюду для поражения персиян.

X. ПАСКЕВИЧ

Елизаветпольская победа выдвигает на сцену кавказских войн новую замечательную личность, генерал-адъютанта Ивана Федоровича Паскевича — впоследствии фельдмаршала, графа Эриванского и светлейшего князя Варшавского. С появлением его на Кавказе, и в значительной мере по его вине, Россия лишилась одного из своих гениальных деятелей, Ермолова. Но это обстоятельство не должно, однако же, затемнять несомненно выдающихся дарований знаменитого фельдмаршала, выразившихся в его деятельности.

Паскевич принадлежал к тем баловням судьбы, которым все дается без усилий. Самая наружность его выдавалась в толпе. При цветущем здоровье и неутомимости в перенесении военных трудов, он отличался замечательно красивой наружностью. Из-под роскошных темных кудрей, в художественном беспорядке обрамлявших его чело, сверкали большие, светлые голубые глаза, в которых светился огонь сосредоточенной решимости. В них было, однако, что-то строгое, надменное, что на людей, встречавшихся с ним взором, производило, как говорят современники, тяжелое впечатление.

На Кавказ Паскевич приехал в лучшую пору своей жизни; ему было только сорок пять. За ним следовала уже громкая репутация, приобретенная в великих войнах начала нынешнего века. Все прошлое его состояло из какого-то странного сочетания несомненных талантов со счастливыми случайностями, которым он был обязан и самым началом блестящей карьеры. Он родился 8 мая 1782 года в Полтаве, и как представитель древней и богатой малороссийской фамилии получил воспитание в Пажеском корпусе. Отсюда он был выпущен поручиком в Преображенский полк и, при совершенно исключительных обстоятельствах, назначен прямо флигель-адъютантом к императору Павлу Петровичу. Рассказывают, что однажды — это было 5 октября 1800 года — Паскевич и Башилов, впоследствии умерший московским сенатором, находились при императоре дежурными камер-пажами. "Вы не по форме одеты,— строго сказал государь, когда оба камер-пажа встретили его во дворце при возвращении с развода. Молодые люди обомлели, зная тогдашнюю суровость наказаний за малейшее отступление от формы. "У

вас в обмундировке нет того-то и того-то”,— продолжал император и перечислил все принадлежности офицерского обмундирования. Юные камер-пажи поняли, что “выговор” императора обозначал их производство в офицеры, и кинулись целовать его руки. “Ну, бегите одеваться,— сказал император,— и приходите ко мне”. Когда они явились уже в офицерской форме, государь, оглядев их, сказал: “Вы опять не по форме одеты: у вас нет аксельбантов,— наденьте их”. Через час бывшие камер-пажи явились уже флигель-адъютантами императора.

Наступило новое царствование и вместе с ним — ряд войн. Перед Паскевичем открывается путь военных отличий, которые могли быть тем заметнее при блестящем положении его при Дворе. Аустерлицкий поход был слишком кратковременен, чтобы осуществить стремления честолюбивого юноши, и по окончании этой кампании он перешел в Молдавскую армию, которая готовилась идти за Дунай, под предводительством старого Михельсона.

Здесь, в первом же деле, под Журжею, Паскевичу удалось оказать весьма важную услугу русской армии. Нужно сказать, что войска выступили ночью,— а ночь случилась ненастная, бурная, одна из тех, которые народ зовет воробьиными... Русские колонны сбились с дороги и разбрелись по степи, а между тем приближался рассвет. Паскевич прежде других сообразил опасность положения. Он поскакал вперед, сам разыскал дорогу и вывел на нее колонны. Таким образом, его распорядительности отряд обязан был тем, что пришел своевременно на назначенное место,— и в результате турки были разбиты.

Михельсон опытным глазом оценил в Паскевиче нечто более одной заурядной храбрости,— и Паскевич разом заслужил владимирский крест и золотую шпагу “За храбрость”. Сменивший Михельсона князь Прозоровский еще более приблизил к себе молодого флигель-адъютанта, и в 1807 году неоднократно посылал его с секретными поручениями в Константинополь, цель которых была склонить турок на войну с англичанами.

Эти поездки по пустынным дорогам, среди населения, настроенного весьма неприязненно к русским, сопряжены были всегда с большими опасностями. Однажды, на пути из Провод, турецкий конвой, сопровождавший Паскевича, разбежался, и он, оставшись один в незнакомых горах, пробрался через Балканские ущелья в город Айдос, где даже турки были изумлены его отважной решимостью. В другой раз, во время возмущения в Константинополе народа, требовавшего выдачи его как русского офицера, он спасся от ярости черни лишь тем, что бросился в рыбачий челн и один смело пустился на нем в Черное море. Убогая ладья с неумелым кормчим носилась несколько дней по прихоти бушующих волн, и вынесла наконец его и его счастье в Варну.

Подобные факты не могли не послужить к быстрому возвышению Паскевича, который скоро далеко опередил по службе своих сверстников. Весной 1809 года он уже был полковником. На штурме Браилова его жестоко ранили в голову; это: однако, не помешало ему участвовать во всех важнейших делах, под начальством князя Прозоровского, Багратиона и графа Каменского. Под Варной, 22 июля 1810 года, Паскевич, с одним Витебским полком, отразил яростную вылазку турецкой армии и отстоял русскую позицию; это доставило ему Георгия 3-го класса (4-ю степень он имел ранее, за штурм Пазарджика), а за сражение под Батыном произведен в генерал-майоры, всего на двадцать девятом году от роду. Пять лет, проведенные им в турецкой войне, послужили для него отличной школой, и. здесь-то он приобрел ту опытность и знание свойств противника, которые так пригодились ему впоследствии в его азиатских походах.

Назначенный, с производством в генералы, шефом Орловского пехотного полка, Паскевич поселился в Киеве в родной Малороссии. Там он оставался около года, до начала отечественной войны, когда является одним из видных деятелей, во главе двадцать шестой пехотной дивизии. Начавшийся продолжительный период больших европейских войн открыл талантам и храбрости Паскевича широкое поприще. Битва при Салтановке, защита Смоленска, Бородинский бой, где дивизия Паскевича почти целиком легла при обороне центрального редута,— доставили ему громкую и справедливую известность, которая закрепилась еще более в славных боях под Малоярославцем, Вязьмой и, наконец, под Красным, где его Орловский полк заслужил серебряные трубы.

За отечественную войну Паскевич был награжден аннинской лентой и Владимиром 2-го класса. В Вильне Кутузов представил его императору Александру как генерала, выдающегося своими боевыми заслугами, — и государь сам поручил ему осаду Модлина. Сражение под Лейпцигом доставило Паскевичу чин генерал-лейтенанта, на тридцать первом году его жизни, а взятие Парижа, где он командовал второй гренадерской дивизией,— александровскую ленту.

По окончании войн, Паскевич сопровождал великого князя Михаила Павловича в путешествии его по Европе, затем командовал первой гвардейской пехотной дивизией, и, наконец, за год до кончины императора Александра, назначен был генерал-адъютантом и командиром первого пехотного корпуса, расположенного в Остзейских губерниях. Здесь, в Митаве, Он получил известие о петербургских событиях 14 декабря, и поспешил в столицу. Новый император принял его как заслуженного генерала и назначил членом верховного уголовного суда, учрежденного над декабристами. В качестве генерал-адъютанта Паскевич сопровождал государя в Москву на коронацию,— и с этого момента начинается его крупная историческая роль.

Война с Персией принимала тогда размеры все более и более тревожные. Оборонительная система, избранная Ермоловым, не согласовалась с волей императора Николая, требовавшего действий решительных,— и в этих видах на Кавказ назначен был Паскевич.

Кавказ, таким образом, приобретал в лице Паскевича одного из весьма замечательных деятелей, отважного, решительного, отмеченного искрой военного дарования. Трудно не видеть, как выиграл бы воинственный край от сочетания сил двух славных представителей века, Ермолова и Паскевича, если бы они, подчиняясь высшей идее блага отечества, соединились в общности целей и действий. Ермолов приобретал в Паскевиче энергичного помощника, Паскевич имел бы в Ермолове глубокого политика и знатока местных условий, опытного руководителя на скользком поприще военной славы, которая могла бы обмануть храброго Паскевича при первой его неудаче.

К сожалений, Паскевич обладал характером неуступчивым и самовластным. Он неспособен был подчиняться, боялся допустить простое влияние на себя, чье бы оно ни было и как бы оно ни оправдывалось обстоятельствами. Граф Остен-Сакен рассказывает в своих записках, что, сделавшись позже начальником штаба и изучив характер Паскевича, он принял такую систему, чтобы просить всегда противоположного тому, чего хотел достигнуть. Так, желая дать, для пользы службы, гренадерскую бригаду генералу Муравьеву (впоследствии Карскому), но зная нерасположение к нему главнокомандующего, он при докладе сказал Паскевичу: “Вообразите, какое неумеренное желание высказал мне вчера Муравьев: только что произведен в генералы — и уже желает гренадерской бригады! Не рано ли?” — “Как рано! — вскричал Паскевич.— Он заслужил ее вполне. Сегодня же принесите к моей подписи представление”. В этом факте — весь Паскевич.

И вот, появившись на Кавказе, он начинает тяготиться подчинением Ермолову и, ища самостоятельности, желает сам занять его место. Своей близостью к государю, позволением писать непосредственно к нему, он воспользовался вполне, чтобы уронить в его глазах Ермолова. Все действия его принимают характер осторожной интриги [См. статью “Ермолов в персидской войне”.]. Не имея на то ни права, ни основания, он стал разыскивать какие-то злоупотребления по всем частям управления Кавказским краем, которые до него не касались, привлекая к доносам разных сомнительных личностей. Незнакомый ни с местными условиями солдатской жизни, ни с подчиненными ему лицами, он был строг, взыскателен и своенравен в отношении к тем самым войскам, которые впоследствии, когда ему уже нечего было искать, сам же не мог нахвалиться. В этом смысле он не был, впрочем, даже строго последователен, то хваля, то порицая войска и подчиненных, руководимый исключительно обстоятельствами и соразмеряя их со своими целями.

Есть даже черта рассчитанного двоедушия в его письмах к государю: ему он писал совсем не то, что всем на Кавказе было известно и о чем он сам же заявлял публично и громко.

К своим донесениям императору он прикладывал, например, обширные выписки путевого журнала, веденного им в течение всего похода в Карабаг, до того момента, когда его отряд был распущен; но в этом журнале перемешаны его личные впечатления от встреченных им будто бы неустройств в войсках с грязными инсинуациями персидских властей, ненавидевших Ермолова, армянина Карганова, прозванного на Кавказе Ванькой-Каином и других подобных личностей. Эта выписка из журнала сохранилась в документах. В то же время, в одном из своих донесений, и Ермолов представляет государю журнал Паскевича, но уже без всяких оговорок и со своим одобрением. Хотя этот второй журнал пока еще и не вошел в опубликованные документы и, быть может, не сохранился, но, очевидно, он был составлен совершенно в ином духе, очевидно, в нем не было ни инсинуаций, ни жалоб. Следовательно, Паскевич с первых же шагов, когда еще не был знаком с кавказскими войсками и с образом тамошней войны, уже вел два путевых журнала, из которых один назначался им для Ермолова, другой, секретный,— в руки государя, помещая в них противоположные извещения. Недоверие к Ермолову, возбужденное уже в императоре, было для него, конечно, импульсом, толкавшим его в этом направлении.

Самый Елизаветпольский бой, давший ему столько славы, и его донесения о нем служат резким подтверждением этой двойственности Паскевича. В реляциях он благодарил и превозносил доблесть Мадатова и Вельяминова, а в письмах к государю набрасывал тени и на того, и на другого. Посетив после боя тяжело раненного графа Симонича, как рассказывает сам этот последний, он сказал ему: “Когда атакуют так, как атаковали Вы, ни один неприятель не устоит; даже французы не выдержали бы такого удара”. И в то же время, в противоречие этим словам, про те самые войска, которые только что наголову разбили вдесятеро сильнейшего неприятеля, которые, как грузинцы, шли в битву, не получив определенного приказания, или, как нижнегородские драгуны, вихрем перелетали на помощь своим по всей неприятельской линии, всюду внося поражение,— про эти самые войска он писал государю: “Когда неприятель атаковал, я бросился в резерв, дабы заставить его идти, и насилу мог его подвинуть. Сохрани Бог быть с такими войсками в первый раз в деле... Войска храбры, но не стойки; вторая линия не выдержала двадцати ядер и смешалась с первой, потому что та стояла под крутизной...

Ширванский батальон, ударив в штыки, прорвал их линию. Вельяминов это приказал. Князь Мадатов на себя взял, чего не сделал, а я, не знав его, ему поверил и оттого в реляции его хвалил. Но тут все их распоряжения кончились, ибо войска, погнавшись за неприятелем, так разбрелись, что если бы персияне имели резерв, то мы могли бы быть

разбиты, ибо наш центр совершенно был рассеян, когда наши фланги, еще обойденные, дрались с неприятелем”...

Если припомнить, что, например, та вторая линия, которая, по донесению Паскевича, не выдержала будто бы двадцати ядер, была под командой храброго Симонича, что она смешалась с первой без разрешения Паскевича не потому, что та стояла под крутизной, а пошла с ней в бой по дальновидному расчету Симонича, который говорит: “Если бы персияне разбили первую линию и она побежала, то батальон грузинцев, конечно, не поправил бы дела и был бы разбит точно так же; следовательно, мне оставалось одно — поддержать первую линию в момент самого удара, когда, в общей свалке, тысяча лишних штыков много значит”,— если припомнить весь ход дела, рисующий в таких ярких красках неудержимую храбрость кавказских войск и решительность их начальников, то очевиден станет смысл донесений Паскевича.

На третий день после битвы, 15 сентября, Паскевич получает от Ермолова “весьма краткое” предписание еще от 9 числа, в котором, тот, зная характер врагов, предсказывает ему успех и последствия, говоря, что сражение кончится одним ударом и неприятель будет разбит. Но и это, уже оправданное обстоятельствами, мнение Ермолова Паскевич обращает против него в своих донесениях государю. “Итак,— иронически замечает он,— тот, который хотел вести оборонительную войну и без повеления государя императора не пошел бы вперед, теперь дает приказание столь смелое.

Я уверен, что он противное думает и, может статься, другим иначе пишет”,— заключает Паскевич, очевидно, не только бросая тень на добросовестность и патриотизм Ермолова, а почти прямо обвиняя его в измене делу отчизны из личных видов.

И это происходило тогда, когда отношения между Ермоловым и Паскевичем не были еще так обострены, как впоследствии.

Вся история Елизаветпольской битвы показывает, сколько намеренной несправедливости и неблагодарности в донесениях Паскевича, уже самих по себе, впрочем, нелогичных и странных, вызывающих недоумение и вопрос: каким же образом столь нестойкие и неустроенные войска могли нанести такое полное поражение вдесятеро сильнейшему врагу? Эти донесения были между тем только началом целого ряда других, совершенно подобных, для которых служило поводом каждое из последующих событий.

Небезупречное поведение Паскевича коснулось не одного Ермолова, а распространилось на всех его ближайших сподвижников. И уже в первом вышеприведенном донесении его положена тень на Вельяминова и Мадатова, которым он именно и был обязан в значительной мере победой.

Войска и офицеры, боготворившие Ермолова, естественно не остались равнодушными к этим действиям Паскевича, о которых многие не могли не догадываться и относились к новому начальнику с холодной сдержанностью, а это, в свою очередь, сердило Паскевича и побуждало его действовать против Ермолова тем с большей энергией.

Все это должно было кончиться тем, что Ермолов — пал и были устранены с Кавказа лучшие его генералы. К счастью, в кавказских войсках жил мощный дух “екатерининский и суворовский”, как выразился Дибич, и новое начальство ничего не могло изменить в нем и сумело повести его к новым победам.

Так приобретение Кавказом в лице Паскевича, замечательного генерала, стало для него однозначным с потерей замечательнейшего его предместника.

XI. ДАВЫДОВ НА ЭРИВАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Вскоре после поражения Аббас-Мирзы под Елизаветполем и бегства его из Карабага, совершилось изгнание персиян и из русских земель, пограничных с ханством Эриванским. Исполнителем этого дела является знаменитый партизан отечественной войны, генерал Денис Васильевич Давыдов, прибывший на Кавказ для участия в Персидской войне по личному повелению императора Николая Павловича.

Давыдов приехал в Тифлис 10 сентября, всего только несколькими днями позже Паскевича. Ермолов назначил его начальником войск, сторожившихъ Грузию со стороны Эриванской границы, и Давыдов тотчас же отправился в Джалал-Оглы, сопровождаемый грузинской дружиной. Поэтичные долины древнего Иверийского царства скоро остались позади, и, миновав Акзабиюкские горы, Давыдов вступил в роскошную Дорийскую степь, носившую теперь яркие признаки недавних вражеских набегов. Печальные развалины сожженных и покинутых деревень сменялись вытоптанными нивами, и эти следы разрушительной руки человека были тем поразительнее среди благодатной природы, благоуханной и сверкающей всеми красотами чудной южной степи. Вдали виднелись окаймлявшие степь дремучие бомбакские леса; за ними вставал высокий хребет Безобдала, и, извиваясь как змеи, бежали через него дороги и в Эривань, и в Гумры, и в Ахалцых. Чудная картина раскинулась перед Давыдовым, отражаясь в его чуткой поэтической душе Вся необозримая даль окаймлялась высокими, уже запорошенными снегом горами, и в то время, как на одних угасали последние отблески вечерней зари, другие каменные громады еще обливались розовым светом, кидая от себя голубые тени. Еще восхитительнее выглядели горы в бледном сиянии лунных ночей, когда месяц всходил на небосклон и тихо плыл над расстилавшимся под ним океаном снежных вершин. Но вот все ближе и ближе становились Безобдальские горы, и 15 сентября перед Давыдовым развернулась картина русского лагеря.

Давыдов принял от Северсамидзе начальство над отрядом.

Теперь перед ним была нелегкая задача — изгнание врага, который сравнительно был многочислен и дерзок. За хребтом Безобдальским, в опустошенных землях Бомбака и Шурагели, рыскали толпы полудиких всадников, под общим предводительством Гассан-хана, брата эриванского сардаря. За ними, на горах, лежащих около озера Гокчи, стоял с большими силами сам сардарь, только присутствием Ермолова на Гассан-Су удержанных от наступления в тыл Паскевичу,— отозвавший свои конные полки, когда они уже были на елизаветпольской большой дороге.

К счастью, среди персиян уже начиналась деморализация, вызванная слухами о елизаветпольском погроме. Враг переставал быть страшен. Его аванпосты стояли еще на высотах Безобдада, но уже чувствовалось, что при первом движении русских вперед персиане не будут защищаться и побегут. Давыдов через два дня назначил поход. Предстояли наступательные действия, и на первый раз решено было занять Мирак как пункт, от которого началось отступление русских. К вечеру 18 сентября все распоряжения к походу были окончены, и в лагере настало молчаливо-тревожное затишье, полное дум о завтрашнем дне, который для многих мог стать последним днем жизни. Вот заиграли вечернюю зорю; застучал барабан на молитву, резкой нотой отозвалась ему казачья труба за высоким холмом, где стояли донские шатры, и, благоговейно перекрестясь на звездное

небо, солдаты в последний раз улеглись в своих походных палатках. Наступила темная южная ночь.

На утро все встрепенулось, все двинулось вперед. Неприятельские аванпосты тотчас же исчезли с высот Безобдала, и русские войска поднялись на снеговой хребет и спустились с него в Бомбакскую долину без выстрела. Неприятель и там повсюду отступал, зажигая траву и оставляя за собой черные, покрытые горячим пеплом поля. 20 сентября, под Амамлами, донцы и грузины настигли куртинскую партию — и произошла горячая кавалерийская сшибка. Еще день — и Давыдов, 21 сентября, в виду заоблачного Алагеза, увидел четырехтысячный отряд самого Гассан-хана, стоявший на крутой каменистой возвышенности. Крепкая позиция его упиралась правым флангом в Миракский овраг, левым — в отроги Алагеза. Русские повели нападение. Бой начал полковник Муравьев. Он оттеснил персидскую конницу и, поставив орудия на высотах левого берега Баш-Абарани, принялся громить правый неприятельский фланг; а в это время рота карабинеров, с майором Кошутиным во главе, взбиралась по крутизнам Алагеза и уже заходила в тыл персиянам. Неприятель дрогнул и бросился в лощину речки Мирак, ища спасения в бегстве... Сам Гассан-хан с остатком своей конницы укрылся в оврагах Алагеза.

Миракское дело, незначительное в чисто военном отношении, было тем не менее весьма важно по своему моральному влиянию на персиян, что не замедлило сказаться в последствиях. Нравственная сила врага была сломлена сразу, и сам сардарь, со всеми своими войсками, поспешно отступил к Эривани. В бессильной злобе он постарался выместить свои неудачи на бедном армянском населении, и даже хотел предать огню знаменитый Эчмиадзинский монастырь; но он был удержан от этого безумного намерения самими же татарами. “Сардарь,— сказал ему один из старейших беков,— русские два раза были в Эриванском ханстве, два раза терпели поражение, но, уходя назад, никогда не оскорбляли магометанской святыни. Не делай и ты этого с христианским храмом. Вспомни: благословение монахов освятило меч непобедимого шах-заде, и этим мечом он поразил турецкие полчища...” Монастырь уцелел.

Давыдов между тем быстро шел вперед. 22 сентября, на другой день после миракского столкновения, русские войска уже вступили в пределы Эриванского ханства. Но многолюдная страна встретила их неприветливой тишиной, как будто бы это была мертвая пустыня. Окрестные деревни были пусты: татарское население, объятое страхом, бежало, увлекая за собой и несчастных армян. Давыдов подверг опустошению семь вражеских селений, встретившихся ему на пути,— и остановился только в двух небольших переходах от Эривани.

Для персиан это время было временем перехода от торжества и упоения июльскими победами к полному унынию; на их земле стоял малочисленный, но сильный одушевлением русский отряд,— и персияне боялись мщения за свое вероломство, предательское вторжение. Сам сардарь заперся в Эривань и даже крепостные ворота приказал засыпать землей и каменьями.

С минуты на минуту ожидали в Эривани появления Давыдова. Но пора наступательной войны еще не настала для русских. Внести войну в пределы персидского государства Ермолов считал рановременным. Предстояла зима, которая прекращала в горной стране удобные сообщения и создавала полную невозможность обеспечить действующие войска продовольствием; обширный район прикаспийских ханств не был еще усмирен и мог получить гибельное значение в случае малейшей неудачи, если не от персидских полчищ, то от губительных зимой местных климатических условий. Война по плану Ермолова

отлагалась до наступления весны и появления подножного корма. И вот курьер привез Давыдову приказание отступить и возвратиться в Джалал-Оглы.

“Рад сердечно успехам твоим,— писал ему Ермолов,— не досадую, что залетел ты слишком далеко. Напротив, доволен тем, что ты сумел воспользоваться обстоятельствами, ничего не делая наудачу. Похваляю весьма скромность твою в донесениях, которые не омрачены наглой хвастливостью, и сужу об успехах твоих действий по месту, из которого ты пишешь. Имей терпение, не ропщи на бездействие, которое я налагаю на тебя; оно по общей связи дел необходимо”.

23 сентября Давыдов возвратился на Дорийскую степь и принялся за постройку в Джалал-Оглы небольшого укрепления, которое должно было сторожить снеговой Безобдал. Между тем наступила глубокая осень, выпавшие снега в горах сделали Безобдал неприступным для персидских шаек,— и отряд Давыдова был распущен. Сам он возвратился в Тифлис, в главную квартиру. А когда, весной 1827 года, наступило вновь время военных действий, Ермолов не был уже кавказским главнокомандующим. Вместе с ним сошел со сцены персидской войны и Давыдов, успевший оставить на ней лишь мгновенный, но молниеносный след.

Давыдов — пламенный боец!
Он вихрем в бой кровавый,
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы...

Жуковский “Певец во стане русских воинов”

Как ни известны жизнь и деятельность знаменитого партизана Давыдова, и как, с другой стороны, ни мимолетно его участие в персидской войне, тем не менее здесь, на рубеже вновь вспыхнувшей ярким пламенем его победной звезды, не лишнее остановить внимание читателя на славном прошлом и на последних днях этого воина-поэта, русское сердце которого всегда билось в один такт с лучшими сердцами его времени.

Когда он, влекомый вечной жаждой подвига, явился на Кавказ, за его стареющими плечами стояла уже длинная не годами, а испытаниями жизнь, и за его именем следовала целая эпопея подвигов, значение которых приближалось к легендарному.

Человек русский, выражавший в лице своем отличительные качества истинного русского воина, Давыдов в рядах армии всегда пользовался необыкновенной популярностью,— был родной ей, чего недоставало многим вождям, не умевшим затронуть русской струны в сердце солдата. И обстоятельства жизни сложились исключительно благоприятно для развития в нем чисто народного воинственного духа. Детство, проведенное под солдатской палаткой, среди Полтавского легкоконного полка, которым командовал его отец, один из героев рымникской битвы, поэзия кочевого военного быта, наконец, встреча с великим Суворовым, мастерски впоследствии описанная самим Давыдовым, имели неотразимое влияние на весь умственный склад ребенка, одаренного пламенным воображением. В душе его вспыхнула искра любви к военным подвигам, и угасла она в нем только вместе с жизнью.

Давыдов начал службу в 1801 году, в кавалергардах. Беззаботная столичная жизнь, быть может, затянула бы другого в тину посредственности, но Давыдову довольно было случайного замечания, чтобы он серьезно взглянул на свое призвание. “Брат Денис,— сказал ему однажды Коховский, человек большого ума и обширного образования

[Коховский был брат А. П. Ермолова (от одной матери). Мать же Ермолова и Коховского была родной теткой Дениса Давыдова.],— что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом, а ты не знаешь даже того, что нужно знать штаб-офицеру”. Самолюбие юноши было сильно затронуто. С жаром принялся он за книги и скоро стал одним из образованнейших по тому времени офицеров — знатоком русской военной истории. В то же время сказались в нем и первые проблески поэтического таланта. Часто, на солдатских нарах, во время его дежурства, в читальне, на полу кавалерийского стойла, он писал сатиры и эпиграммы, которыми начал свое литературное поприще. Через два года он уже был поручиком кавалергардов. “Но судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее удары”, как выражается сам Давыдов, принудили его, в 1804 году перейти из гвардии в Белорусский гусарский полк, расположенный в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Это было “бешеное” время его. жизни. Поэт в душе, он вдохновлялся всем, что выходило из общего уровня жизни; он пел буйный разгул Бурцева с той же задушевной страстностью, как воспевал красоту женщины, природу — все, что поражало его воображение. Никто лучше его не опоэтизировал тогдашнюю гусарскую жизнь с ее добрыми товарищескими отношениями, беззаботной удалью, ухарскими проказами, лихими наездами... И стихи Давыдова выучивались наизусть, расходились в тысячах рукописных экземплярах, распевались повсюду. Справедливо сказал Языков:

Не умрет твой стих могучий.
Достопамятно живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно летучий,
И разгульно удалой...

Но перевод в Белорусский гусарский полк был вместе с тем первой злой насмешкой судьбы над Давыдовым: он помешал ему участвовать с кавалергардами в знаменитом Аустерлицком сражении, и когда, через два года, Давыдов переведен был обратно в гвардию, в гусары, положение его среди товарищей сделалось истинно нестерпимым. “В полку,— говорит Давыдов,— мы жили ладно; у нас было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дела, более золота на шашках, чем в ташках, более шампанского, чем печали... Всегда веселы и всегда навеселе!.. Но мне было двадцать два года от роду; я кипел честолюбием, уставал от бездействия, чах от избытка жизни... Оставив гвардию, еще не слыхавшую боевого выстрела, я провел два года в полку, который не был в деле, и поступил обратно в ту же гвардию, которая пришла из-под Аустерлица. От меня пахло молоком, от нее несло порохом, я говорил о рвении моем — мне показывали раны, всегда для меня завидные, или ордена, меня льстившие. И не раз вздох ропота на судьбу мою заструивал чашу радости”...

Судьба, однако же, продолжала смеяться над ним. Новая война,— и Белорусский полк, из которого Давыдов только что вышел, отправился в поход, в Пруссию, а гвардия, куда он поступил,— осталась на этот раз на месте. Все хлопоты попасть в действующую армию были безуспешны. “Вы знаете,— говорили ему,— что государь не любит волонтеров”.

“Я принимал за клевету такое святотатственное слово насчет государя,— говорит Давыдов,— почитая за сверхъестественное дело, чтобы русский царь не любил тех, кои рвутся вперед”...

И он, “закусив повода”, как выражается сам, бросался на каждую стезю, которая, как казалось ему, могла привести его к цели. Наконец хлопоты его увенчались успехом,— он был назначен адъютантом к князю Багратиону.

Первое сражение, в котором участвовал Давыдов, было Вольфсдорфское. Здесь он окурился порохом, и здесь же впервые ему пришлось обнажить свою гусарскую саблю. “Благородный пар крови курился и на ее лезвии” — говорит Давыдов, описывая свои первые боевые впечатления. Отгремела Прейсиш-Эйлауская битва, не имеющая в позднейшей истории равной себе по кровопролитию, кроме Бородинского побоища, которое, впрочем, едва-едва превышало ее потерями сражавшихся. “Черт знает,— говорит Давыдов, описывая, спустя много лет после того, это сражение,— какие тучи ядер пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг земли, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших, какие тучи гранат лопались под ногами моими. То был широкий ураган смерти, ломивший все вдребезги, стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание...” Русские потеряли до тридцати семи тысяч убитыми и ранеными. “Подобному урону,— замечает Давыдов,— не было примера в военных летописях со времен изобретения пороха”.

Едва смолкли громы, оглашавшие поля Восточной Пруссии, как загорелась война в Финляндии, и Давыдов отправился туда вместе с Багратионом. “Там пахло еще жженым порохом,— говорит он,— там было и мое место!” В Северной Финляндии он поступил под начальство знаменитого Кульнева, говорившего, бывало, что “матушка Россия тем и хороша, что в каком-нибудь уголке ее да дерутся”,— и не отлучался от него уже до самого окончания кампании. Здесь-то и свел с ним ту задушевную дружбу, которая продолжалась до самого дня блистательной и завидной смерти последнего в 1812 году. Под руководством Кульнева прошел Давыдов курс аванпостной службы, вместе с ним разделял его суровую пищу, спал на соломе под открытым небом и познал всю цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто рвется “нести службу, а не играть со службой”. Финляндскую кампанию Давыдов впоследствии считал счастливейшим временем своей жизни. “Я был молод,— говорит он,— упоен военной службой, в беспрерывном бою с храбрым неприятелем и под руководством беспримерного авангардного начальника, Кульнева. К этому я был влюблен до поэтического вдохновения, окружен добрыми, славными товарищами, и с каким-то радостным чувством летел на пули бесстрашных стрелков неприятельских, посреди грозной финляндской. природы, в снегу по колено или на раскаленных летним зноем скалах. После жизнь никогда уже не дышала для меня такой поэзией.

Окончилась война в Финляндии,— и Давыдов уже сражается с турками под Гирсовым, Мачином, при Россевате, у Силистрии, в жарком бою под Татарицей, у стен Шумлы, на кровавом приступе Рущука. Он был в это время уже украшен золотым прейсиш-эйлауским крестом, золотой саблей за храбрость, носил в петлице владимирский крест, бриллиантовые знаки ордена св. Анны 2-й степени — на шее. Замечательно, однако, что в тот век, когда так быстро создавалась карьера многих военных людей, Давыдов медленно подвигался по лестнице чиновной иерархии и, после трех больших кампаний, все еще оставался только гусарским ротмистром. “Тому причинами были,— говорит его сын; — дух свободы, не терпящий стеснения слова, действия без оглядки, русское удальство, очертя голову — и за все про все ответ своей головой”.

Но вот наступил 1812 год, и Давыдов перешел во фронт, в Ахтырский гусарский полк, подполковником. Отступая от Немана, русские армии соединились под Смоленском и продолжали отходить к Бородину. Видя себя во всех арьергардных делах полезным не более простого гусара, Давыдов решился просить отдельную команду, создать партизанов,— и войну войсковую обратить в войну народную. Мысль эта нашла горячее сочувствие в пылкой душе Багратиона, и его же ходатайству она обязана была своим осуществлением. А войска тем временем занимали уже бородинскую позицию. Давыдов близко знал и это село, и окружающие поля: Бородино принадлежало деду и отцу его.

Теперь ему приходилось быть свидетелем того, как дом отеческий, с которым он связан был дорогими воспоминаниями детства, одевался дымом бивуаков, и ряды штыков сверкали среди жатвы. “Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал,— говорит он,— закладывали теперь редут Раевского. Красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаей гончих собак, с которыми я носился по мхам и болотам. Все переменилось. Завернутый в бурку и с трубкой в зубах, я лежал под кустом леса за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но и в овинах, занятых начальниками”...

В самом Бородинском сражении Давыдов, однако же, не участвовал. За два дня до него, 24 августа, он с первой русской партизанской командой был брошен в тыл неприятельской армии,— и первые девять дней кочевал и сражался, имея только сто тридцать всадников. “Никогда не забуду тебя, время жестокое! — восклицает Давыдов, говоря об этих днях.— И прежде, и после я был в горячих битвах, проводил ночи стоя, прислонясь к седлу, и руки на поводьях, но не десять дней, не десять ночей к ряду,— и дело шло о жизни, а не о чести”. Опасность встречалась на каждом шагу не от одних неприятелей но и от русских крестьян, не всегда умевших отличать партизанский отряд от французов. В каждом селении ворота были заперты, и их оберегали толпы вооруженных крестьян. К каждому селению должен был подъезжать один из партизанов и говорить, что пришли к ним на защит, и освобождение русские, их земляки и братья. И часто в ответ на эти слова гремел выстрел, или летел пущенный с размаху топор. “Отчего же вы нас принимали за французов?” — спрашивал Давыдов, когда дело объяснялось и улаживалось. “Да, вишь, родимый, отвечали крестьяне,— это (показывая на его гусарский ментик), бают, на их одежу схоже”. “Да разве я не русским языком говорю?” “Да ведь у них всякого сброда люди”...

Тогда Давыдов убедился, что в народной войне надо применяться к народу не только языком, но и наружностью. Он сбросил гусарский ментик, облачился в чекмень, отпустил бороду, вместо аннейского ордена повесил на шею образ святого Николая,— и заговорил языком, понятным русскому простолюдину. Множество портретов изображают его в этом наряде, с бородой и с нагайкой в руке. С этой одеждой он не расставался до самого Дрездена. “Да и не до бритья горла было мне,— восклицает сам Давыдов,— когда неприятельская сабля так близко ходила вслед за бритвой”...

Первые действия Давыдова ограничились пространством между Гжатью и Вязьмой. Здесь, проводя ночи без сна, а днем прячась в лесах и вертепах, всегда настороже, всегда в тревогах,— он, поминутным истреблением обозов, транспортов и небольших отрядов, до такой степени тревожил тыл неприятельской армии, что французский губернатор Смоленска, Бараге д'Илье, отправил, наконец, для истребления его двухтысячный конный отряд; приметы Давыдова были подробно описаны, и приказано было схватить и расстрелять его как разбойника. Но Давыдов счастливо избежал встречи с Сильнейшим противником. Между тем французы покинули Москву, началось бедственное отступление их по смоленской дороге, появились новые партизаны— и Давыдов, вместе с Сеславиным, Фигнером и графом Орловым-Денисовым, был уже в состоянии выдержать кровопролитный бой под Ляховым, пытался даже померяться силами со старой наполеоновской гвардией. Вот как описывает он это в своем “Дневнике партизана”:

“3 числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные неприятельские колонны тянутся между Микулиным и Стеснами. Мы примчались к большой дороге и покрыли нашей ордой все пространство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, чтобы дождаться хвоста колонны. Заметив это, граф Орлов-Денисов приказал нам атаковать его. Колонна была смята, и при этом отбито четыре орудия, взято в плен два генерала и до

двухсот нижних чинов со множеством обозов. Наконец подошла старая гвардия, посреди которой находился сам Наполеон. Это было уже за полдень. Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок, и гордо продолжал путь, не прибавляя шага. Сколько мы ни покушались отхватить хотя одного рядового от этих сомкнутых колони, они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы. Я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку этих, всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля. Я как теперь вижу графа Орлова-Денисова, гарцующего у самой колонны на рыжем коне своем, окруженного моими ахтырскими гусарами и ординарцами лейб-гвардии казачьего полка. Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки устремились на неприятеля, но все было тщетно. Колонны двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством”... Тем не менее, в течение этого дня, партизаны взяли еще одного генерала, множество обозов и до семисот пленных; но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков “как стопушечный корабль между рыбачьими лодками”.

После этого дела Давыдов опять отделился со своей партией от остальных партизан и простер свои залетные набеги до самого Немана. Под Гродно он напал на четырехтысячный отряд венгерских гусар. “За стуком сабель,— говорят он,— застучали стаканы,— и город наш!”

Партизанские подвиги доставили Давыдову чин полковника, георгиевский крест и орден св. Владимира 3-й степени. “Меня уверяли,— прибавляет Давыдов,— что если бы я сказал тогда хотя два слова о Георгии 3-го класса, то, без сомнения, получил бы его весьма легко; но я был слишком высокого мнения об этом ордене, и притом слишком убежден, что далеко его не заслужил”.

Так окончился 1812 год, в котором Давыдов, как выражается сам,— “зарубил и свое недостойное имя”. Языков сказал про него:

Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу,
У врагов ты отнял славы,—
Ты, боец чернокудрявый,
С белым локоном во лбу...

Сам Давыдов никогда не забывал этой кипучей, полной поэзии поры своей жизни: “Кочевье на соломе, под крышей неба!.. Вседневная встреча со смертью, неугомонная жизнь партизанская! — Вспоминаю о вас с любовью и теперь, когда в кругу семьи своей пользуюсь полным спокойствием, наслаждаюсь всеми удовольствиями жизни... Но отчего по временам я тоскую о той эпохе, когда голова кипела отважными замыслами, и грудь, полная надежд, трепетала честолюбием изящным и поэтическим”...

С переходом в Германию, Давыдов со своей партией шел впереди корпуса генерал-адъютанта Винценгероде. Но в сущности это был уже не партизанский отряд, а один из тех авангардов, которые предшествуют движению передового корпуса. Крутой поворот от вольных перелетов к размеренным переходам по маршрутам, запрет сражаться с неприятелем без особого разрешения — были не по душе Давыдову. Кипучая молодость, удалая и своевольная, и, главное, соблазнительная близость неприятеля вызвали его на тот последний смелый наезд, от которого пострадала вся его заграничная служба. С горстью

казаков он взял столицу Саксонии, Дрезден,— и через сутки был отрешен за это от командования и послан в главную квартиру для предания суду.

Чтобы понять это обстоятельство, нужно знать, при каких условиях совершено Давыдовым это дерзкое покорение Дрездена. Бурное военное время создало в эту эпоху целые толпы искателей известности. “В союзных армиях — рассказывает Давыдов,— все только и мечтали о столицах, торжественных въездах, о повержении ключей их к стопам императора. На мою беду подручных столиц в то время было только две, из коих Берлин захватил уже Чернышев, а Дрезден оставался еще на удалого. И Блюхер, и Винценгероде двинулись к этому доброму Дрездену с целыми армиями, не постигая, что слава подвига оценивается большим или меньшим количеством средств, употребленных на предприятие, и что взятие Берлина целой армией не составило бы никакого подвига, тогда как взятие того же Берлина легким отрядом Чернышева справедливо его прославило. Вот почему Блюхер,— тогда еще без ореола Кацбаха, Бриена и Ватерлоо, желая захватить Дрезден, направил Винценгероде в противную сторону, а Винценгероде, имея ту же самую мысль, действовал подобным же образом относительно меня и Ланского, желая, так сказать, украдкой достигнуть соблазнительного предмета. Я не понимал тогда этой особого рода политики, не мог предвидеть, чтобы взаимные тонкости моих начальников остались тщетными и что мне было определено судьбой, поддев их обоих, сломить себе шею. И вот этот добрый Дрезден является подводным камнем, о который ударилось в беззаботном и отважном полете своем на всех парусах мое корсарское судно”.

Дело в том, что 8 марта Давыдов с тремя казачьими полками, в которых было не более пятисот наездников, явился под стенами Дрездена, разложил огромные костры, чтобы ввести неприятеля в заблуждение” и послал требовать сдачи города. После длинных переговоров, французский генерал Дюрют с пятитысячным отрядом согласился, наконец, очистить весь новый Дрезден и отступить на Эльбу. Условия были подписаны и 10 марта, задолго еще до рассвета, Давыдов велел своей партии готовиться к парадному вступлению в город. “Надо было блеснуть чем Бог послал,— говорит он,— и мы сами нарядились в самые новые одежды. Я тогда носил курчавую, черную, как крыло ворона, окладистую бороду; одежда моя состояла из черного чекменя, красных шаровар и красной шапки с черным околышем, я имел на себе черкесскую шашку и ордена: на шее Владимира, Анну, алмазами украшенную, и прусский “За достоинство”, в петлице — Георгия. В полдень партия села на коней и вошла в ворота укрепления. Тут стоял французский караул, который отдал честь, при барабанном бое”... Исключить из договора эту статью Давыдов ни за что не соглашался, желая сделать жителей Дрездена очевидными свидетелями унижения французов перед русскими.

Поблагодарив гарнизон легким приподнятием шапки, Давыдов, окруженный своими офицерами и конвоем ахтырских гусар, въехал в Дрезден; за ним потянулись казачьи полки, “и песенники, ехавшие впереди Бугского полка, залились:

Растоскуйся, моя сударушка...

Погода была прелестная, число любопытных было невероятное, и на улицах не было свободного места, во всех окнах торчали головы: самые крыши были усеяны народом; иные махали платками, другие бросали шляпы в воздух; и все кричало, ревело и вопило: “Ура, Александр! Ура, Россия!” И в этом многогласном хоре, прославлявшем два столь огромные имени, и мое недостойное имя извивалось, подобно звуку флейточки среди оглушительного гула труб и литавр”.

11 числа, ночью, неприятель стал отступать из Старого города. Судьба, улыбаясь, казалось, призывала Давыдова овладеть и последней половиной Саксонии,— как вдруг, на рассвете 13 числа, явился сам Винценгероде, бросивший корпус и прискакавший на почтовых из Бауцена. Он обвинил Давыдова в том, что тот самовольно подошел под Дрезден и осмелился заключить конвенцию, тогда как существовал приказ, строго запрещавший входить с неприятелем в какие бы то ни было условия и договоры. Последнее Винценгероде называл государственным преступлением и заключил свою речь словами: “Я не могу избавить вас от суда. Немедленно сдайте вашу команду и отправляйтесь в главную квартиру”.

Каждому, кто был отрываем от своей любимой военной семьи, будут понятны чувства, взволновавшие тогда Давыдова. “От Бородинского сражения до вступления в Дрезден,— говорит он,— я сочетал свою судьбу с судьбой своей партии, мое существование с ее существованием. Я расставался уже не с подчиненными; я оставлял в каждом гусаре — сына, в каждом казаке — друга. О, как черствый сухарь на бивуаке, запах жженого пороха и кровавая купель сближают людей между собой! При расставании со мной пятьсот человек рыдало... Я сел в почтовую коляску и выехал в те самые ворота Нового города, в которые за два дня перед тем так радостно и с торжеством входил во главе своей партии”...

Через несколько дней по прибытии его в главную квартиру, в Калиш, в соборе служили благодарственное молебствие, сопровождаемое пушечными выстрелами, за взятие Дрездена. “А я,— говорит Давыдов,— слушал их, скитаясь по улицам города”. Но справедливость царя-покровителя, как выражается он, была щитом беспокровного. “Как бы там ни было,— сказал Государь, по выслушивании дела,— а победителя не судят”,— фельдмаршал приказал немедленно возвратить Давыдову ту самую партию, которой он командовал. Но партия была уже распущена, и Давыдов остался при армии без должности, как корсар, потерявший корабль свой. Позже он был назначен командиром Ахтырского гусарского полка, с которым и кончил кампанию 1814 года.

Замечательно, что Давыдов, герой отечественной войны, герой Дрездена, деятельный участник битв под Лейпцигом, под Ларотьером и Красном, за весь заграничный поход не получил ни одной награды. С ним вышел даже беспримерный случай, которого, можно сказать, ни с кем никогда не бывало: за сражение под Ларотьером, 20 января 1814 года, он был произведен в генерал-майоры, а спустя некоторое время ему было объявлено, что производство его состоялось по ошибке,— и Давыдов должен был снова надеть полковничьи эполеты. Генеральский чин возвращен был ему только 21 декабря 1815 года.

Войны окончились. Давыдов уехал в бессрочный отпуск, женился и в 1823 году окончательно вышел в отставку. К этому времени относятся его капитальные труды: “Опыт теорий партизанских действий” и “Партизанский Дневник”,— сохранившие за собой большое значение в военной литературе и до настоящего времени.

Его стихотворения того времени отмечены талантом сильным и оригинальным. Но Давыдов не сделался записным литератором и не видел в этом настоящего своего признания.

Я не поэт, я партизан-казак,—
сказал он сам про себя в известном стихотворении:
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током

Свой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой...
Пусть грянет Русь военною грозой —
Я в этой песне — запевало.

Но войны не было. Ермолов два раза просил о назначении Давыдова командующим войсками на Кавказской линии,— и ему дважды отказали. “Сперва,— говорит Давыдов,— мне предпочли Лисаневича, а потом Горчакова”. Между тем все, знавшие Давыдова, говорят, что это был немаловажный промах. На Кавказской линии был нужен человек решительный и умный, не только исполнитель чужих предначертаний, но сам творец своего поведения, недремлющий наблюдатель всего, что угрожало порядку и спокойствию от устьев Лабы до Андреевской. “Давыдов,— писал Грибоедов своему другу Бегичеву,— во многом исправил бы здесь ошибки самого Алексея Петровича. Эта краска рыцарства, которой судьба оттенила характер нашего приятеля, привязала бы к нему кабардинцев,— а это именно и было то, чем мы никогда не умели воспользоваться...”

С восшествием на престол императора Николая, Давыдов снова поступил на службу, и с берегов Москвы судьба переносит его на отдаленную границу с Персией, на ту единственную пограничную черту России, где земля не звучала еще под копытами его коня. Его назначение в Грузию состоялось при довольно исключительных обстоятельствах. Вот как рассказывает он об этом сам.

Зачисленный по кавалерии и живя с семейством, то в Москве, то в своем подмосковном имении, он ожидал коронации, ни мало не думая о действительной службе, то есть о службе во фронте или на войне. “К первой я совершенно неспособен и признан таковым высшим начальством,— говорит он,— а о войне не было и слуху”. Но 9 августа, приехав во дворец, чтобы представиться государю, прибывшему тогда в Москву для коронации, он заметил, как Дибич беспокойно переходил от одного генерала к другому и делал распоряжение о немедленном возвращении в Грузию тех, которые принадлежали к отдельному Кавказскому корпусу. Ничего не зная о вторжении персиян, Давыдов полагал, что черкесы сделали один из тех набегов на Кубань, которые случались и прежде,— а многочисленные и сильные недоброжелатели Ермолова старались, вероятно, придать этому простому обстоятельству какое-нибудь особенное значение. Но вот в залу вошел государь и, подойдя к Давыдову, сказал, что рад его видеть, благодарил за то, что он снова надел эполеты в его царствование, и, наконец, спросил: может ли он служить в действительной службе? Давыдов отвечал: “Могу, государь”,— и император, милостиво улыбаясь, пошел далее.

На следующий день, на разводе, генерал Бутурлин отвел Давыдова в сторону и сказал: “Знаете ли, что я сейчас говорил о вас с Дибичем? Он спрашивал, согласитесь ли вы ехать в Грузию, где теперь война и куда государь хочет послать вас?” “Что же ты сказал?” — “Я не знал вашего намерения и, желая дать вам средства отказаться, буде вы не захотите принять такого предложения, сказал, что вряд ли вы согласитесь, имея большую семью и расстроенное имение. Теперь ваше дело, решиться ехать в Грузию или нет”.

Пока Бутурлин говорил, Давыдов уже решился — и решился ехать. “Слово война,— говорит он,— по сю пору имеет для души моей звук магический, да и выбор меня первого на путь опасности и чести не мог не льстить моему самолюбию, столь мало избалованному в течение всей моей двадцатисемилетней службы”. 11 августа Давыдов явился к Дибичу. “Государю угодно, чтобы вы ехали в Грузию,— сказал ему Дибич,— там война, ему нужны отличные офицеры; он избирает вас, но прежде желает знать —

согласитесь ли вы на это назначение?” — “Прошу вас, доложите его величеству,— ответил Давыдов,— что я не колеблюсь ни минуты и что благодарное сердце мое никогда не забудет этого знака его внимания ко мне”.

Так решено было назначение Давыдова. На следующий день, 12 августа, он уже откланивался государю. Император принял его в своем кабинете. “Прости меня, Давыдов,— сказал он,— что я посылаю тебя туда, где, может статься, тебе быть не хочется”. “Я пришел благодарить ваше величество,— отвечал Давыдов,— за выбор столь лестный для моего самолюбия. Я так мало избалован, государь, судьбой в течение моей службы, что от милостивого вашего воззрения я вне себя от восторга и счастья. Сделайте милость, государь, коль скоро предстанет прямая, честная, опасная дорога, не спрашивайте, хочу я или нет избирать ее. Бросайте меня прямо на нее; верьте, что я это сочту за особое благодеяние А теперь,— добавил он — позвольте мне, ваше величество, изложить мою просьбу”.— Что такое? — “Когда война кончится, позвольте, не спросясь ни у кого, возвратиться в Москву,— я здесь оставляю хвост, жену и детей”. “Я тебя не определяю в Кавказский корпус,— сказал государь,— а посылаю туда для войны с оставлением по кавалерии; следовательно, ты к этому корпусу не принадлежишь. Когда война кончится, скажи Алексею Петровичу, что я желаю твоего возвращения, он тебя отпустит, и дело кончено”.

Потом, остановившись у бюро и рассказав Давыдову с очевидным неудовольствием о вторжении персиян, о взятии у нас двух орудий и гибели нескольких рот, государь передал словесно некоторые приказания к Ермолову, обнял Давыдова и заключил свидание следующими словами: “Ну, прощай, любезный Давыдов, желаю тебе счастья, и первое известие о тебе иметь вместе с твоими успехами”.

Довольный, полный надежд и желаний, Давыдов через три дня уже скакал на Кавказ. Но, как мы выше видели, надеждам его исполниться было не суждено. Вся роль его в персидской войне ограничилась незначительным миракским делом и набегом на Эриванское ханство, которому со стороны персиян не было противопоставлено никакого сопротивления. С падением же Ермолова, Давыдов обречен был на полное бездействие.

“Родство мое с Алексеем Петровичем, сошедшим так рано со служебного поприща,— писал он в одном из своих частных писем,— поставило меня в затруднительные отношения с Паскевичем и с новыми лицами. Я, впрочем, перенес бы стоически все неприятности, если бы получил какую-нибудь команду, ибо был прислан самим государем на действительную службу, а от Паскевича получил приказание сопровождать без службы главную квартиру, вместе с маркитантами, тогда как генерал Панкратьев, младший меня в чине, никогда не бывший военным человеком и давно уже просившийся в обер-полицеймейстеры, получил блистательное назначение и команду, состоящую из шести тысяч человек. Я бы, может быть, победил в себе чувство оскорбленного самолюбия, если бы сам просился в Кавказский корпус; но это дело было уже не мое, а моего государя — и потому я решился выбыть из корпуса”.

Зимой Давыдов ездил в Москву повидаться с семейством; весной он возвратился на Кавказ, но, не получив никакого назначения в действующем корпусе, остался в Пятигорске на минеральных водах и провел там все лето 1827 года, прислушиваясь к отдаленному грому русских побед. Тогда-то, в грустном уединении, он написал свое известное стихотворение:

Нет, братцы, нет! Полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,

Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой.
.....
Аракс шумит, Араке шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
А Алагез, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;
И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом.
Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края,
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека груда снеговая...
На нем знакомый вихрь, на нем громада льда,
И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая недоступном
Горит родимая звезда.

Величавая природа Кавказских гор, роскошные долины Иверии, библейский Арарат, в виду которого, как буря, пронесся он со своим летучим отрядом, неизгладимо запечатлелись в его чуткой душе и отразились в звучных стихотворениях его. Персидская война, по своей кратковременности, конечно, ничего не прибавила к славе знаменитого поэта-партизана, но она связала имя Давыдова с Кавказом, куда так долго и так напрасно стремились его желания и думы.

Возвратившись с Кавказа, Давыдов поселился в своей приволжской деревне. И вновь потекли для него дни томительного бездействии, тем более отзывавшегося на нем, что вслед за персидской войной возникла турецкая, а он лишен был участия в них. Душевное состояние его сказывается в его стихотворениях, относящихся к этой эпохе.

Давно ль под мечами, в пылу батарей,
— говорит он в одном из них.
И я попирал дол кровавый
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?
Давно ль?.. Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит...

Мятеж, вспыхнувший в Польше, вызвал его, однако же, еще раз на ратное поле. 12 марта 1831 года он прибыл в главную квартиру русской армии и тронут был до глубины души приемом, который ему сделали. Знакомые и незнакомые, старые и молодые, офицеры и солдаты,— все приветствовали его с нескрываемой радостью. Через десять дней он был уже в Красноставе, где кочевал порученный ему отряд — Финляндский драгунский полк и три полка казаков. С этим летучим отрядом он берет приступом город Владимир-Волынск и усмиряет этим мятеж, охвативший Волынь и Подолию. Затем он командует передовыми отрядами в корпусе Ридигера, сначала в окрестностях Люблина, потом за Вислой, между Варшавой и Краковым.

За приступ Владимира Дибич представил Давыдова к ордену св. Георгия 3-го класса; но этой награды он получить не удостоился. Чин генерал-лейтенанта, анненская лента и Владимир 2-го класса — вот последние боевые награды его. Окончилась война, и Давыдов снова в Москве, на родине, в кругу своего семейства, снова за литературным трудом.

В это время он ведет обширную переписку с Вальтером Скоттом и обменивается с ним подарками. Английский романист прислал ему свой портрет; Давыдов, не считая приличным отплатить тем же, отправил ему куртинскую пику и персидский кинжал, отбитые им вблизи Эривани, и черкесский лук с колчаном, наполненный стрелами, который ему удалось добыть проездом через Кавказскую линию. Но Вальтер Скотт сам приобрел гравированный портрет русского партизана,— “черного капитана”, как звали его в Англии. “Портрет этот,— писал Давыдову Вальтер Скотт,— висит в моем кабинете оружия, над предметом весьма для меня драгоценным: это меч, завещанный мне предками, который в свое время не оставался в праздности, хотя три последние миролюбивые поколения нашего племени и вели жизнь спокойную”.

Пушкин, Жуковский, Языков, Вяземский и многие представители русской литературы находились с Давыдовым в дружеской переписке. Посылая ему историю Пугачевского бунта, Пушкин писал ему между прочим:

Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою,
При громе пушечном, в огне,
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир ...
Но и на этой службе трудной,
И тут, о, мой наездник чудный.
Ты мой отец и командир.
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой!

Наступил 1839 год. Россия готовилась, к торжественному открытию Бородинского памятника. Давыдов не остался равнодушным к этим приготовлениям. Он подал государю записку, в которой убедительно просил перенести тело славного князя Багратиона, покоившегося в селе Сима, Владимирской губернии,— или на Бородинское поле, или в Александро-Невскую лавру, где лежит Суворов. “В первом случае,— писал Давыдов,— великая жертва сочеталась бы с великим событием; во втором — знаменитый питомец лег бы возле великого своего наставника”. Император Николай вполне оценил эту мысль и приказал перенести прах Багратиона на берега Колочи, на то место, где герою суждено было в последний раз померяться с врагами России. На Давыдова возложено было сопровождать гроб князя на Бородинское поле. Но Провидение не судило ему, однако, дожить до этой торжественной минуты. За несколько месяцев до открытия памятника, 22 апреля 1839 года, он неожиданно скончался в своем имении в Верхней Мазе, Сызранского уезда, Симбирской губернии.

Торжество на Бородинском поле происходило без него.

Так без тебя торжествовала
Россия день Бородина,
И в час молебствия, когда
Своих защитников считала,—
“Еще одним их меньше стало”,
Сказала с грустию она.

Так писала о нем графиня Ростопчина. Жуковский также посвятил ему строфы в своей известной “Бородинской годовщине”:

И боец, сын Аполлонов,
Мнил он гроб Багратионов
Проводить в Бородино...
Той награды не дано:
В миг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нем друга жаль друзьям!

Давыдов представлял собой необыкновенный пример служения отечеству вполне бескорыстного. “Мир — и о Давыдове нет слуха; но повеет войной — и он уже тут, торчит среди битв, как казацкая пика”. И в этих немногих словах вся характеристика Давыдова.

XII. В КАРАБАГЕ

Победоносный отряд Паскевича, нанесший поражение персиянам под Елизаветполем, быстро двигался вперед по следам бегущего неприятеля. От Тер-Тера,— пункт, с которого началось прослеженное русскими движение Аббас-Мирзы навстречу Мадатову,— войска, как занес в свой путевой журнал Паскевич, делали по тридцать и тридцать пять верст в сутки. Персияне нигде не встречались. Они бежали с такой быстротой, что 18 сентября были уже за Араксом. Но в разоренной пребыванием шестидесятитысячной армии Аббас-Мирзы и обезлюдевшей стране отряд не находил достаточного продовольствия и терпел весьма ощутительный недостаток в удовлетворении первейших потребностей.

В авангарде шел князь Мадатов. Вступая теперь снова в должность окружного начальника татарских ханств, он принимал на себя тяжелую обязанность продовольствовать вступавший в Карабаг одиннадцатитысячный русский корпус. Но, чтобы быть в состоянии исполнить ее, необходимо было немедленно принять меры, чтобы, насколько позволяли средства, умиротворить край, без чего невозможны были ни продовольствие, ни целесообразные действия русских войск. Узнав на первых же шагах в Карабаге, что Мехти-Кули-хан, бывший владелец страны, вместе с шахсеванцами, старается увлечь все кочевое население ханства в пределы Персии, он тотчас разослал прокламации, в которых, изображая вероломство персиян, убеждал жителей возвратиться в свои зимовки и заняться хозяйством. Не довольствуясь этим и считая полезным рассеять ложные слухи, распущенные персиянами о его смерти, Малахов опередил свой отряд и, свернув с дороги от речки Хочини, близ Шах-Булаха, поехал с пятьюдесятью казаками в Шушу, обязанную ему, как победителю под Шамхором, своим спасением. Шуша сделала ему торжественный прием. В четырех верстах от крепости встретил его полковник Реут, в сопровождении армянского духовенства в полном облачении, и массы народа. Князь, тронутый выражением народного чувства, сошёл с коня и пешком вступил в город через Елизаветпольские ворота. Со стен шушинской крепости его приветствовали пушечными

выстрелами, в городе играла военная музыка; войска стояли в ружье, и народ, не исключая женщин и даже детей, теснясь вокруг князя, благословлял его имя, как избавителя от бедствии продолжительной осады.

Но здесь же, в Шуше, среди триумфа и ликования жителей, Малахову пришлось услышать и печальную весть о своем разорении. Селение его Чинахчи, с богатым помещичьим домом, и шесть принадлежащих к имению деревень были преданы персиянами полному разрушению. Малахову рассказывали, что из крепости, в продолжение нескольких дней, видно было зарево тамошнего страшного пожара. Персияне истребили все, чего не могли увезти с собой, уничтожили все виноградники, сады и угнали табуны лучших его карабагских лошадей. С покорностью судьбе князь перенес этот тяжкий удар, скорбя о тех, которые лишились при этом и последнего куска насущного хлеба.

Взамен того Малахов имея утешение убедиться, что деятельность его в крае не прошла бесследно. Нужно сказать, что свое имение в Карабаге Малахов получил от хана карабагского еще в 1819 году. Из этого обстоятельства возникло, впоследствии, весьма оригинальное дело. Комитет министров, на рассмотрение которого поступило ходатайство Ермолова по этому вопросу, нашел, что русскому чиновнику, находящемуся на государственной службе, неприлично принять такой подарок от хана, тем более, что и хан, по обычаям страны, не мог по произволу распоряжаться имениями, принадлежащими к ханству. Ермолов возразил на это, что комитет министров, конечно, пришел бы к другому заключению, если бы граф Нессельроде представил для его соображений подлинный трактат, заключенный с карабагским ханом; что по этому трактату ханская власть в раздаче земель ничем не ограничена, и ханы пользуются правом отдавать их кому заблагорассудится. “Что же касается до неприличия в принятии подарка,— писал Ермолов,— хан и не имеет дерзости предлагать подарок русскому генералу,— он только возвращает часть того, что некогда принадлежало предкам Малахова и было утрачено ими вследствие неоднократных переворотов, испытанных Карабагом”. Так ли это было на самом деле, или предки Малахова вовсе не владели никакими имениями — для Ермолова, имевшего другие виды, вопрос казался безразличным; он только опровергал претензии на эхо имение одного из карабагских жителей, армянина Шах-Назарова, снискавшего себе сильного покровителя в лице министра иностранных дел, графа Нессельроде. Не разбирая вопроса, принадлежали или не принадлежали земли этим предкам Шах-Назарова, Ермолов указывал на факт, что в настоящее время они принадлежат карабагскому хану и, как собственность отняты от него в пользу того или другого быть не могут. К тому же, права свои Назаров основывал лишь на том, что родной его брат признан был владельцем этого имения грамотой императора Павла I, данной 2 июля 1799 года. “Но на сие,— замечает Ермолов,— довольно сказать, что ханство Карабагское поступило в подданство России при императоре, ныне благополучно царствующем”. Император Александр признал вполне основательными доводы Ермолова, и высочайшей грамотой 8 октября 1821 года утвердил за Малаховым Чинахчи со всеми принадлежащими к нему деревнями. Цель дарования Малахову этих земель была указана в самых словах высочайшего рескрипта, служащих как бы подтверждением тех политических расчетов, которые при этом преследовал Ермолов. “Нимало не сомневаюсь,— писал государь,— что владелец благоразумными распоряжениями своими и лучшим обхождением с поселянами покажет пример превосходства управления благоустроенного перед своенравным господством азиатским, и через то расположит более сердца жителей к Державе, всегда готовой споспешествовать благу своих подданных”.

Впоследствии Паскевич воспользовался этим обстоятельством, чтобы обвинять Малахова в насильственном захвате ханских земель. Но теперь, пока налицо были только одни яркие доказательства, что цель, с которой ему было дано правительством имение,—

достигнута. Он употреблял все средства, чтобы привязать к русскому владычеству жителей, еще недавно безответных рабов ханских, и вполне в этом успел: во время нашествия персиян крестьяне его были единственные во всей Карабагской провинции, которые остались верными русским. Бросив дома и все свое имущество, они вошли в Шушу и, с оружием в руках, отстаивали крепость вместе с гарнизоном; последние шестьсот голов рогатого скота, которые они успели ввести за собой в Шушу, добровольно отданы были ими на общее продовольствие. И этот пример не мог не произвести известного впечатления на других жителей края, служа доказательством, что инсинуации персиян против русского управления заведомо ложны.

Из Шуши Мадатов поспешил к своему отряду и догнал его уже в Ах-Углане, Весь этот марш был сделан с такой быстротой, что авангард пришел в Ах-Углан 19 числа, то есть шесть дней спустя после Елизаветпольского боя.

Главный корпус, предводимый самим Паскевичем, минуя Шушу, прошел, между тем, окружной дорогой далее к персидской границе, куда скоро потребован был из Ах-Углана и весь отряд Мадатова. Сам же Мадатов, приняв в управление Карабагскую провинцию, должен был пока остаться в стороне от военных действий и возвратиться в Шушу. Там ожидали его другие труды и заботы. Он скоро имел возможность убедиться, что его прокламации, отправленные с похода, произвели свое действие: кочевые племена стали возвращаться в свои жилища и даже обратили оружие против самих шахсеванцев и Мехти-Кули-хана. Но это было только началом дела. Нужно было установить порядок в казенном хозяйстве, открыть суды, стараться о том, чтобы жители вспахали и засеяли поля, для избежания голода на будущий год, и, наконец, что представляло особенные трудности, добывать войскам продовольствие.

Паскевич между тем расположил свои войска лагерем на реке Черекене, верстах в двадцати двух от Асландуза, заслоняя дорогу из Персии к Шуше. Но это бездействие, наложенное на него Ермоловым, вовсе не согласовывалось с личными воззрениями его на положение дел. Он рвался вперед и настоятельно просил разрешения перейти Араке, считая возможным продолжить и окончить войну действиями в пределах Персии. По его плану следовало немедленно вступить в пограничную с Карабагом, Карабагскую персидскую провинцию, занять ее главный город Агар и оттуда идти прямо на Тавриз. Он был уверен, что быстрое движение русских войск застанет неприятеля врасплох, не даст ему времени приготовиться к защите — и Тавриз будет в русских руках. Тогда, с завоеванными в нем орудиями, можно будет идти и брать Эривань.

Ермолов смотрел на дело совершенно иначе и не дал Паскевичу согласия на это наступательное движение. По его мнению, высказанному в донесении государю, Аббас-Мирза, сохранив после сражения всю артиллерию и большую часть пехоты, мог воспользоваться гористым положением Карабагской земли и задержать войска, чтобы дать время подойти к нему на помощь шаху, который, по последним известиям, был в Агаре,— а между тем многочисленная конница кочевых персидских народов охватила бы русских с тыла... “Карабаг,— прибавляет Ермолов,— не довольно дает продовольствия собственным жителям и еще менее представит, оного войскам нашим, когда пройдет впереди Аббас-Мирза”. В то же время Ермолов писал более подробно Паскевичу, что желаемый им несвоевременный переход через Араке не принесет ни малейшей пользы; что если Аббас-Мирза не имеет достаточных сил, чтобы опять вступить в Карабаг, то и за Араксом защищаться не будет, а, не имея конницы, преследовать конницу невозможно. Напротив, можно опасаться, что, отвлекая за собой русские войска, он бросит сильные толпы кавалерии на левый берег Аракса и произведет опустошение в самом Карабаге, где нет еще спокойствия...

Нужно заметить, что свое воззрение на дело Ермолов применял не к одному Паскевичу. Воспрещение действовать за границей распространялось и на отряд генерала Давыдова, что указывает на связный и целесообразный план войны, созданный Ермоловым. Паскевич остановился. Впоследствии он донес, однако, государю, что Ермолов из личных видов помешал ему блестяще окончить войну в стенах резиденции наследного принца. Доводы Ермолова против его предприятия он старается опровергнуть. По его мнению, Ермолов должен был купить тысячу повозок, наложить на них шесть тысяч четвертей хлеба и доставить к нему, а сам идти от Гассан-Су не в Тифлис, как это он сделал, а через Куру в Нухинское ханство и далее, на соединение с Паскевичем и отрядом полковника Мищенко, действовавшим тогда в Ширвани. Двенадцать тысяч войск во всех трех отрядах могли бы, как думал Паскевич, свободно идти за Араке и разгромить персидское царство. Указание на невозможность найти продовольствие Паскевич представляет вдвоем донесении государю также простой отговоркой. Дорога на Агар через Мешкин, по его мнению, хороша; в Агаре — населенный край; дорога из Агара в Тавриз — весьма удобная. Тавриз взять совершенно легко,— окрестности его весьма населены, и “нельзя, чтобы не найти там продовольствия”; но если бы последнее и случилось, то, “по необыкновенному счастью, неприятель не истребил запаса на Куре, возле Зардоба, в восемь тысяч четвертей, а затем подвозы из Астрахани могли бы быть сделаны в Баку, от которого до Зардоба двести верст...

В действительности все это легло только на бумаге. Купить повозок было невозможно, потому что их в крае не было вовсе. Кура была в разливе, и Ермолов не имел обеспеченных средств переправиться через нее, чтобы идти в Нуху, если бы он этого и хотел, горные дороги были дурны, и обозы на них встретили бы в неустроенных провинциях не только препятствия, а и подверглись бы многочисленным опасностям; слабое население около Агара и Тавриза было истощено войной и ушло бы, при вступлении русских, внутрь Персии; из Зардоба перевезти запасов было не на чем и некому, и Паскевич впоследствии сам испытал недостаток продовольствия; из Баку подвозы не могли идти, пока не было усмирено население и не обеспечены пути сообщения в Прикаспийских ханствах. В сложном плане быстрых движений Паскевича, без надежных подготовлений,— все представляло собой риск, и малейшая неудача могла бы страшно отозваться на всей судьбе войны...

Итак, отряд Паскевича остался стоять на Черекене. Обстоятельства складывались между тем именно так, как предвидел Ермолов. Аббас-Мирза с теми войсками, которые успел сохранить и вновь собрать, стал за Араксом в ханстве Карабагском. Ходили слухи, что шах отдает в распоряжение его и свои войска. И хотя неприятель бездействовал, но если бы Паскевич двинулся за Араке, Аббас-Мирза отступил бы, а Карабаг сделался бы ареной вторжения персидской конницы. Между тем и русские, и еще более персидские войска крайне затруднялись в продовольствии. В русском отряде число больных увеличивалось ежедневно; более трехсот человек уже было отправлено в шушинский госпиталь, но вдвое большее число их находилось при отряде. Паскевич волновался и приписывал недоставку ему продовольствия злонамеренному желанию поставить его в затруднительное положение. Есть основание думать, что в тех, которыми Паскевич окружил себя, и особенно в армянине Карганове, он нашел людей, готовых на все, чтобы оклеветать Ермолова и Мадатова. В представленной государю выписке из журнала Паскевич доносил, что в то время, как Мадатов не мог найти двести штук скота, Карганов возвратился с весьма хорошим известием, будто бы он уговорил жителей поделиться своими запасами с нуждающимся русским войском и закупил около шестисот четвертей хлеба; “они, жители, по словам Карганова, с удивлением отвечали, что не знали о нуждах русских войск, иначе последнее отдали бы”. Неизвестно, однако, говорил ли Карганов правду и исполнил ли он свои обещания по крайней мере относительно тех шестисот

четвертей, о которых упомянуто выше,— Паскевич об этом нигде не говорит ничего; войска же до последнего дня пребывания в Карабаге по-прежнему продолжали терпеть ощутительный недостаток.

В противоположность этим донесениям, по другим сведениям, Мадатов неустанно старался о том, чтобы как-нибудь добывать войскам жизненные средства. Но Карабаг, в корень разоренный, не мог вынести новую тяжесть. Зная, что можно бы было достать хлеб и скот в более богатых провинциях, Ширванской и Шекинской, Мадатов просил Паскевича отделить ему небольшой отряд, чтобы выгнать из них ханов, “неистовыми поступками державших население в страхе и делавших непрерывные набеги на соседние карабагские селения”. Но Паскевич отклонил его просьбу, ввиду присутствия поблизости войск Аббаса-Мирзы. Предоставленный самому себе, с одной карабагской конницей, Мадатов, тем не менее, сумел и добывать, хотя скудное, продовольствие войскам, и поддерживать порядок в крае, и обуздывать конные шайки, появившиеся в окрестностях Мигри и державшие границы Карабага в постоянной опасности. Один, без русского конвоя, разъезжая по селениям, он успевал внушать татарам доверие к себе и склонял исполнять его волю. Часть пограничных армян он переселил за Ах-Углан, ближе к Шуше; на границах расположил караулы и разъезды из вооруженных жителей, разослал новые прокламации,— Карабагский край становился все спокойнее и спокойнее.

Паскевичу пришлось довольно долго стоять на Черекене. Невозможно было, по вышеприведенным основаниям, идти вперед, в персидские пределы, нельзя было и отступить, не рискуя подвергнуть Карабаг новому вторжению персиян. На досуге, еще в конце сентября, Паскевич побывал в Шуше и осмотрел тамошние укрепления. Это дало ему новый повод обвинить Ермолова в неумении и нежелании охранять край. “Осматривая крепость,— доносил он,— я весьма удивлялся, что генерал Ермолов не считал оную за важную и оставил ее в дурном состоянии. Я спрашивал причину,— мне отвечали, что намерение было строить крепость близ Аракса, ибо Шуша находится в горах. Итак,— замечает ядовито Паскевич,— Елизаветполь брошен оттого, что находится в долине, а Шуша потому, что в горах”...

К половине октября обстоятельства изменились. Уже в начале этого месяца доходили до русских известия, что Аббас-Мирза собирается с новыми массами войск подойти к Араксу. Слухи указывали и пункт, окончательно избранный им для лагеря; говорили именно, что персидские полчища должны собраться 5 числа в Кир-Су, отстоящее от Худоперинского моста всего в четырех верстах. И Ермолов писал государю, что Паскевич пойдет навстречу им, если они осмелятся перейти на левый, русский берег Аракса. Действительно, к половине октября, в Кир-су уже стояли значительные массы персидской пехоты и конницы. Ермолов не рассчитывал, чтобы Аббас-Мирза решился вновь перейти Араке, и не потому, чтобы у наследника персидского трона не хватало войск,— их было достаточно,— но недостаток продовольствия, как в ближайших персидских провинциях, так и в Карабаге, должен был удержать его от рискованного шага. По мнению Ермолова, пребывание свое на Араксе Аббас-Мирза “почитает полезным только для поддержания мятежа в наших мусульманских провинциях, а может быть, он появился на Араксе и с тем намерением, чтобы занять Паскевича наблюдением за собой и не допустить его обратиться в Ширвань, что заставило бы сына Аббаса-Мирзы поспешно оставить Кубинскую провинцию и отняло бы все надежды у мятежников”. Ермолов, однако же, допускал возможность и того, что Аббас-Мирза, не переходя Аракса, пошлет свою многочисленную конницу для разорения, по крайней мере, ближайших карабагских селений.

Последнее, действительно, и случилось. 18 октября персидская конница вдруг появилась по сю сторону Аракса и увела с собой значительное число татарских кочевий. На другой день повторилось то же. Нужно было принять меры, тем более, что, действительно, близкое пребывание персиян неблагоприятно отражалось на всех мусульманских провинциях,— и Паскевич получил приказание перейти Араке, чтобы оттеснить от границ неприятеля. Но, разрешая это движение, Ермолов вместе с тем доносил государю, что не ожидает там ничего важного, что неприятель, не имеющий достаточных сил, противиться не станет и отступит, а в случае преследования его, кинет, в тылу русского корпуса, в Карабаг конные массы. Поэтому отходить далеко от границы Паскевичу не велено.

Действительно, едва русский корпус, 25 октября, перешел Араке, как Аббас-Мирза со всеми силами отступил к Ардебилю, оставив перед собой в горах только отряды кавалерии. Паскевич, со своей стороны, должен был ограничиться также высылкой вперед одних летучих отрядов, на долю которых и досталось лишь несколько удачных, но незначительных стычек.

Так, 28 числа, майор Поляков с донскими казаками выбил неприятеля из крепкого ущелья речки Дараурт, Неприятель защищался упорно, и из двух вождей его, один, Мирза-Измаил, был убит, другой, Нурали-бек, из беглецов ширванских, захвачен в плен в момент, когда под ним была убита лошадь. В тот же день генерал Шабельский со своими нижегородцами встретил в горах другую значительную. персидскую партию, разбил ее и успел возвратить часть угнанных из Карабага кочевий.

Через пять дней, 31 октября, Паскевич возвратился на русскую сторону Аракса и вновь расположился в старом лагере на речке Черекене. В дневнике, представленном им государю, он отметил: “В походе моем через Араке и обратно ничего замечательного не случилось, исключая, что я заметил, что войска наши не привыкли драться в горах”. Так писал он про войска, исходившие с Ермоловым весь Дагестан!

Прошел еще почти месяц бездейственной охраны границы с Персией. Наступила между тем зима; горные дороги покрылись снегами; переправа через Араке с каждым днем делалась затруднительнее — и сопряженное с громадными расходами содержание отряда Паскевича на несколько месяцев становилось излишним. В Карабаге, за исключением обычного тушинского гарнизона (сорок второй егерский полк), остались только: батальон Херсонского полка, с казачьим полком и двумя орудиями, в Агжибаде, в виде авангарда; батальон карабинеров, с двумя казачьими полками и четырьмя орудиями, между Зардобом и Адвентом, для охраны по Куре мельниц и магазинов, и, наконец, шесть рот Грузинского полка с четырьмя орудиями и казачьим полком Молчанова (в котором, впрочем, было не более ста конных казаков, так как все лошади погибли от голода во время осады Шуши) — в Ах-Углане для прикрытия транспортов, следовавших между Зардобом и Шушой. Все эти войска поступили в распоряжение Мадатова; остальные отведены были в Грузию.

Паскевич был обижен и этим обстоятельством. Он писал государю, что намеренно оттеснен с театра военных действий и заменен Мадатовым. Вслед за войсками он уехал в Тифлис и с этих пор, путем переписки с Петербургом, начинает борьбу против Ермолова, вызвавшую сначала приезд на Кавказ генерала Дибича, и затем окончившуюся падением Ермолова.

XIII. ЗАМИРЕНИЕ ПРОВИНЦИЙ (Поход Ермолова)

В то время, как персияне поспешно бежали с обоих пунктов войны, из Карабага и от озера Гокчи, Ермолов, со своим небольшим отрядом, стоял еще лагерем на речке Гассан-Су. Его

удерживало здесь тревожное состояние татарских дистанций, возбужденное недавним близким присутствием сардаря и требовавшее прочного искоренения.

Изгнание Давыдовым эриванских войск из Бомбак и Шурагеля и преследование их уже в пределах Персии, вместе с личным присутствием Ермолова в дистанциях, произвело в настроении казахских и шамшадильских татар крутой поворот. В русский лагерь стали съезжаться главные беки и старшины их с изъявлением покорности и раскаяния “в своих заблуждениях”, как выражается Ермолов. Вероятно, Ермолов и сам ходил по дистанциям, чтобы личным влиянием успокоить взволнованных жителей, которым непокорные беки, опираясь на близость войск эриванского сардаря, еще недавно грозили истреблением за непослушание. По крайней мере, в своем донесении императору он писал: “4 числа сего октября я возвратился из Шамшадильской дистанции, успокоив жителей как оной, равно и Казахской дистанций”.

Теперь очередь была за ханствами и джаро-белоканскими лезгинами, бывшими в полном возмущении. Ермолов намеревался было, прямо из лагеря при Гассан-Су, перейти на левый берег Куры, на путь в ханство Шекинское и к заалазанским лезгинам. Но в то время воды Куры от продолжительных дождей разлились, закрыв все броды, а лодок не было в достаточном количестве. Ермолов прошел в Тифлис.

По общему плану войны,— предполагавшему предварительное усмирение всех ханств, прежде чем военные действия будут внесены в пределы Персии,— Ермолову предстояло пройти с войсками от самой Кахетии до берегов Каспийского моря. Выполнение этой задачи он брал лично на себя. “Я пройду владения джарские,— писал он государю,— изгоню из Шекинской и Ширванской провинции мятежных ханов, движением в тыл заставлю сына шахского бежать из Кубинской провинции и сколько возможно устрою продовольствие войск на зимнее время, что составляет из всего самый затруднительный предмет”. Под этим последним он разумел такое расположение войск, которое, соответствуя военным обстоятельствам края, вместе с тем не истощало бы жизненные средства какой-либо одной провинции.

Выступить в поход Ермолов, однако, не торопился. Паскевич бросил на него тень по поводу и этого обстоятельства, придавая его промедлению вид неосновательной и вредной потери времени. Но были серьезные причины, заставившие его действовать не скороспело и осторожно, о которых если он и не доносил, то, очевидно, только потому, что боялся остаться не понятым в Петербурге, где были совершенно незнакомы с положением края и только нетерпеливо ждали известий о быстрых действиях и решительных победах. Дело в том, что в распоряжении Ермолова было мало войск, и ему приходилось быть осмотрительным. Он выступил на Гассан-Су, как мы видели, с последними силами, ничего не оставив в Тифлисе, кроме необходимой охраны города да главных путей сообщения. И теперь, если незначительного отряда, бывшего с ним, и достаточно было для похода в ханства, то снова оставлять Тифлис без войск, удалясь от него уже на значительное расстояние и на долгое время, Ермолов не решался: опасность могла возникнуть для Грузии не со стороны одной только Турции, могли потребоваться подкрепления Паскевичу, а еще более отряду, охранявшему Кахетию от нападений упорных лезгин, да и внутреннее спокойствие Грузии, где много таилось сторонников царевича Александра, не могло внушать к себе безусловного доверия. И вот, он медлит, ожидая прибытия из России подкреплений и донося государю, что собирает отряд в Кахетии при урочище Караагач. “О числе войск буду иметь счастье донести Вашему Императорскому Величеству,— добавляет он, выдавая свою затаенную мысль,— ибо не знаю теперь, какое количество оных должен буду оставить в Кахетии”.

Подкрепления между тем, подходили форсированными маршами. По расчету Ермолова, к 20 числу октября должны были прийти два полка черноморских казаков с Кубани и донской казачий полк полковника Сергеева с Дона; ожидались полки двадцатый и второй уланской дивизии. И вот, когда эти силы уже приближались, Ермолов не стал более медлить и выступил в поход, поручив Вельяминову распорядиться их размещением: черноморцы должны были стать в Караагаче, против джарских владений, где стоял отряд Ермолова, очевидно, не без основания; донцы назначались в Царские Колодцы, откуда должны были занять посты до Тифлиса; двадцатая дивизия шла в Караагач, уланская — в Шекинскую и Ширванскую провинции. На случай, если бы Паскевичу понадобились подкрепления, Вельяминов имел приказание немедленно отправить к нему через Елизаветполь одну бригаду пехоты и казачий полк с ротой донской конной артиллерии, а если будет нужно, то и один из уланских полков. Остальные полки двадцатой дивизии предназначались действовать за Алазанью, против джарцев.

Только сделав эти распоряжения, Ермолов спокойно двинулся в ханства. 16 октября он был уже на Алазани, на пути к главному городу Шекинского ханства, Нухе. Были слухи, что джарцы встретят отряд на переправе; но этого не случилось. Они ограничились только тем, что отогнали все лодки, чтобы задержать Ермолова и дать время Гуссейн-хану Шекинскому бежать. Отсутствие лодок, действительно, задержало войска на целых два дня. Тем не менее, 17 октября отряд уже перешел Алазань, а 19 подходил к Нухе.

Гуссейн-хана Ермолов там уже не застал. Узнав о приближении войск, хан поспешно бежал. “И сколько ни быстро преследовали его посланные мной казаки,— писал Ермолов,— он много был впереди и догнать его невозможно”. Переход шекинцев от возмущения к полной покорности совершили спокойно, потому что, как доносил Ермолов государю, если большая часть беков и были “виновны в самой гнусной измене, то простой народ был обрадован изгнанием хана”.

Действительно, народ радовался окончанию персидского нашествия, только истощавшего его. Он долго помнил трудное время, выпавшее на его долю, и в памяти народной Гуссейн-хан сохранился в образе пустого, ленивого и глупого человека, став притчей во языцех. Народное воображение создало целое сатирическое сказание, навек заклеймившее его пребывание в стране, которую он считал своим наследственным достоянием.

В Шекинском ханстве,— говорит это сказание,— есть армянское селение Джалуты, замечательное своим монастырем, а еще более древним колоссальным чинаром, росшим на монастырском дворе и считавшим за собой мифическое число годов,— восемьсот.

Однажды, когда персияне, в 1826 году, вторглись в русские пределы и Гуссейн-хан давно уже сидел в Нухе, спокойная жизнь деревни омрачилась известием, что персияне готовятся заглянуть и в ее скромные жилища.

Джалутские армяне, имели миролюбивые наклонности, презирали военные лавры и от души не любили персидских и татарских нашествий. Им по опыту было известно, как эти воители неучтиво обращаются с их женщинами, какое количество истребляют баранов, как важничают и распоряжаются в саклях, будто в кармане собственного архалуха, и вместе с тем, с какой легкостью берутся за нагайки, когда им прекословят. Ни в одной голове не мелькнула, однако, мысль об отпоре. Джалутцы собрались вокруг мудрого юз-баши и пошли совещаться на монастырское подворье, под сень векового чинара. С общего согласия решено было:

... колебаться.

И не мириться, и не драться,

если же мусульмане займут деревню, то поклониться начальнику их хорошим пешкешем и уверять гостей, что “наш дом — ваш дом”, что давно уже джалутцы с нетерпением ждали персиян, и место их всегда было не занято. Не долго пришлось ждать дорогих гостей. По Нухинской дороге вилась пыль, и передовой отряд подходил к деревне. Но как изумились джалутцы, как уничтожились они и душой и телом, когда, вместо незначительного отрядного начальника, увидели перед собой светлую особу самого Гуссейн-хана, а вдали большую массу кавалерии, двигавшуюся со стороны города. “Беда,— думалось им,— что значит теперь наш пешкеш? Тут мало поднести и всю деревню с восьмисотлетним чинаром”. Но хан не обидел своих новых подданных, и только еще более изумил их, начал расспрашивать повалившегося к ногам его юзбашу о Мигирдиче, одном из самых захудалых обитателей Джалута.

А дело объяснялось очень просто. Беспечно проводил Гуссейн безмятежные часы среди раззолоченных покоев нухинского дворца, нисколько не заботясь и ничего не делая, чтобы утвердить свою шаткую власть. Напрасно персияне ждали, что, собрав войско, он соединится с другими персидскими отрядами для действий против русских. “Куда пойду я? — думалось хану.— Разве персияне и без меня не сумеют истребить гяуров! Клянусь моей головой,— скоро ни один из них не останется в живых. Что они за железоеды, чтобы победить такого умного храбреца, каков Аббас-Мирза!” И хан не двигался с места. Дни проходили за днями, а он все сидел в Нухе, и только персияне, пришедшие с ним, рыскали по окрестностям, как голодные волки, и нещадно грабили бедные армянские деревушки. Должно быть, сильно надоел нухинцам хан с его ближайшими приспешниками. И вот, чтобы отделаться от них, кто-то шепнул ему, что в деревне Джалута, у армянина Мигирдича, есть удивительная курица, несущаяся золотыми яйцами. Ханская жадность была возбуждена, и вот он стоял теперь перед валявшимся в пыли джалутским юзбашой и спрашивал и Мигирдиче. Обладатель чудесной курицы предстал перед ханскими очами.

“Великий хан! — сказал он,— Что знает Мигирдич, то и говорит. Соседки стали болтать, что одна из моих кур несет золотые яйца; хозяйка же моя всегда находила только простые. Я сам стал следить за курами и заметил, что одна из них не походит на других, и петух иначе обращается с ней, и другие куры не вырывают у нее из-под клюва зерен. Подумал я и поехал на днях в Тифлис к одному татарину, который знает причину всех вещей, гадает и рассказывает как по книге, что было и что будет. Татарин сказал мне, что соседки правы: есть у меня одна курица, не похожая на других, и несет она золотые яйца раз в месяц, когда покажется новая луна; но что она старается всегда так запрятать их, чтобы люди не отыскали. С того времени, как я возвратился, месяц еще не показывался. Прикажи, хан, поскорей ему родиться! Может быть, татарин и прав”.

Хан завладел чудесной курицей и прочно основался в Джалуте, в ожидании, пока золотой серп молодой луны не украсит собой глубокой синевы неба. Вновь бездеятельно проводил хан дни за днями, в грезах о несметных сокровищах, которыми скоро должна была наградить его курица.

Легенда приписывает хану чудные мечтания: одно яйцо за другим продавал он в Испагани, получая за каждое по десяти туманов, он покупал уже всю Испагань, нанимал турецкие массы войск, а “инглезам” заказывал огромные длинные пушки, чтобы не приближаться к проклятым гяурам и бить их издали, из-за двадцати агачей; мстительные грезы доводили его до самой Москвы, и гяурам грозило уже полное уничтожение со всем их племенем, с женами и детьми.

А события между тем не ждали. В тот самый момент, как Аллах услышал наконец мольбы своего верного раба и молодой рог месяца робко выглянул из-за небесного края, какой-то всадник осадил измученного скакуна перед монастырскими воротами.

Пришли грозные вести. Усталый, покрытый пылью “чапар”-татарин рассказывал странные веши. Непобедимый Аббас-Мирза и его несметные полчища разбиты горстью русских под Елизаветполем и бежали в Персию, а Ермолов сам уже на пути к Джалуте и Нухе.

Медлить было некогда. Хан вскочил на поданного ему коня и с драгоценной курицей в руках — он никому не хотел доверить чудесной птицы в самый критический момент, когда она вот-вот снесет золотое яйцо — поскакал по дороге в Нуху. Судьбе не угодно было, однако, сделать хана обладателем несметных сокровищ: дорогой курица вырвалась из ханских рук и скрылась в придорожном колючем бурьяне. Насмешливое сказание непременно хотело, чтобы курица, улетая, задела своим хвостом за самый нос высокостепенного хана. Отыскивать дорогую птицу было невозможно; хан знал, что русские умеют шагать скоро и как раз могли дошагнуть до него; ему чудились уже приближающиеся полки казаков. Призывая на головы гяуров громы небесные, грозя им проклятием и страшной местью в будущем, Гуссейн покорился воле Аллаха и поспешно, даже не останавливаясь в Нухе, проскакал прямо в Тавриз, сразу потеряв и ханство, и уже касавшееся его рук несметное богатство.

Так, совершив волю рока и заставив хана в бездействии потерять драгоценное время, золотоносная курица скромно сошла со сцены истории и скрылась в бурьяне от глаз людей — современников и потомства. А с ней вместе покончил свою историческую роль и Гуссейн-хан Щекинский.

Вот какой злой насмешкой отплатил самозванному хану шекинский народ за непрошеное посещение. И Ермолов, вступая в ханство, нашел слишком много элементов, склонявшихся к спокойствию и полному подчинению, чтобы возможно было какое-либо сопротивление: мятежные беки молчали, народ был доволен.

В Нухе в руках Ермолова уже были отрадные известия и из других отдаленных провинций, куда он намеревался идти со своим отрядом. Слух о Елизаветпольском погроме и повсеместном бегстве персидских полчищ быстро произвел свое действие и совершенно изменил картину края. Гуссейн-хан Бакинский, блокировавший Баку, поспешил снять осаду и, разграбив крепостной форштадт с окрестными селами, ушел в Талышинские степи. Куба также освободилась от блокады. В ночь на 24 сентября, сын шаха, Ших-Али-Мирза, стоявший перед Кубой с шеститысячным отрядом и пятью орудиями, “бежал самым поспешным образом, и догнать его была невозможно”, как писал в своем донесении Ермолов. Бежал “стремительно” и Мустафа-хан Ширванский, занимавший с персидской конницей другую часть Кубинской провинции. Полковник Мищенко с Апшеронским полком, преследуя бегущих, вступил в Ширвань и 7 октября занял Шемаху. Отсюда он двинулся к Джавату и на самой переправе через Куру, 14 октября, имел жаркую стычку с мятежниками. Батальон майора Марченко овладел мостом, устроенным Мустафой на канатах, взял два персидских орудия и преследовал персиян по Муганской степи.

Теперь отовсюду из русских пределов неприятель был изгнан. Исключение составляло ханство Талышинское; но Ермолов решил пока не занимать его, “ибо малого числа войск послать туда я не решаюсь, большого же нет средств продовольствовать”, писал он несколько позже в своем донесении. Тем не менее, Ермолов продолжал свое устрашающее

шествие по ханствам, потому что, если внешние враги и были оттеснены,— в крае осталось достаточно врагов внутренних, к которым принадлежало все, что не желало замены персидского владычества русским, которое лишало их произвола и обуздывало их законом. Повсюду Ермолов встречал одно и то же явление: наклонность беков к мятежу, с целью восстановления своих утраченных деспотических прав над подчиненными им людьми, и желание народом спокойствия и охотное подчинение русской власти, от которого он отступал по чисто восточной привычке “к слепому подчинению своим старшинам”. И всюду находил Ермолов печальные следы персидского нашествия: “Кратковременное управление похитивших провинции размножило в оных величайшие беспорядки, все расхищено, разрушено”,— писал он государю. Его появление служило прямым доказательством непрочности надежд на персидские силы и устрашало тех, кто хотел мятежа; кто не имел причины желать низвержения русских, тех оно успокаивало. Перед лицом Ермолова все умиротворялось и затихало, как буря стихает с переменой ветра.

В начале ноября Ермолов пришел в древнюю столицу Ширванского ханства, Старую Шемаху. Провинцию он нашел в совершенном расстройстве. Мустафа-хан не оставил у зажиточных людей никакого имущества; персидские чиновники и конные войска, сопровождавшие его, производили ужасные грабительства; число приверженцев хана между беками и старшинами именно потому и возрастало, что хая, не надеясь долго владычествовать, позволял им разорять простой народ по произволу. Сам народ, устрашаемый персидскими войсками и подстрекаемый мусульманским духовенством, проповедовавшим истребление неверных, был взволнован,— и многие селения Ермолов нашел пустыми. Продолжительные беспокойства отвлекли жителей от полевых работ, и страшная бедность глядела со всех сторон. Теперь, с переменой обстоятельств, многое сразу изменилось в провинции; не многие из беков и старшин остались на местах,— остальные ушли с Мустафой в Персию; но, увлеченный туда силой, народ мало-помалу возвращался на свои пепелища.

Пройдя Ширвань и Бакинскую провинцию, Ермолов, в половине ноября, подошел к Каспийскому морю и вступил в Баку. Он нашел крепость в весьма хорошем состоянии, несмотря на продолжительную осаду: геройская зашита и отважные вылазки русских войск, державшие персиян в страхе, помешали неприятелю нанести ей какой-либо вред.

В Баку Ермолов получил от посланных им к персидским берегам крейсеров известие, что в Зинзилийском порту, в Гилянской области, удержаны многие из купеческих русских кораблей. Один из крейсеров, ходивший туда, встречен был пушечными выстрелами и должен был отойти, не имея орудий нужного калибра.

Между тем военные тревоги грозили краю с другой стороны. Пришли донесения о нападении джарских лезгин на Кахетию.

5 ноября, тысячная партия джарцев, конных и леших, перешла на правый берег Алазани и в окрестностях Царских Колодцев, и Караагача, где недавно еще стояли батальоны Ермолова, отбила у тушин четыреста баранов. Начальствовавший войсками в Кахетии, князь Эристов, быстро собрал в Царских Колодцах небольшой отряд и двинулся преследовать врагов. Под вечер 6 ноября, неподалеку от Алазани, на полях Зеленчинских, передовые разъезды увидели неприятеля, прогоняющего захваченные стада баранов. Заметив движение русских войск, джарцы приготовились к обороне. Началась перестрелка. Князь Эристов послал две роты Грузинского гренадерского полка опрокинуть неприятеля. Лезгины не выдержали натиска и рассеялись, оставив на месте боя несколько тел и бросив два знамени. Наставшая темнота помешала Эристову

продолжать преследование, и только это обстоятельство да гористая местность спасли неприятеля от большого погрома. На другой день, на рассвете, на высотах, по левому берегу Алазани, показывались большие партии лезгин, хотя и не осмеливавшихся ничего предпринимать.

По достоверным сведениям, добытым Ермоловым, это была только прелюдия к более энергичным действиям. Подстрекаемые царевичем Александром и Аббассам-Мирзой, не скупившимися на обещания, джарцы не думали о покорности. Они пригласили на помощь к себе более пяти тысяч лезгин из вольных обществ Нагорного Дагестана и готовились вторгнуться на поля Кахетии.

Получив эти тревожные известия, Ермолов послал князю Эристову приказание, с пятью полками двадцатой дивизии (Севастопольский полк остался в Елизаветполе) вступить во владения джарцев. Он предписывал, однако же, избегать неприязненных действий, стараясь заставить их повиноваться и выслать от себя пришедших на помощь горцев другими средствами; если же окажут сопротивление, то понудить их к тому силой оружия. В то же время сам Ермолов спешил в обратный путь, взяв направление опять через Шекинскую провинцию, так как ему дали знать, что дагестанские горцы угрожают напасть и на нее.

9 декабря, Ермолов уже был в Нухе. Здесь он узнал, что лезгины, действительно, незадолго перед тем готовились войти в Шекинское владение и объявить его независимым ханством, под властью одного из проживавших в Астрахани сыновей Медмед-Гассан-хана, опираясь на сильную партию его приверженцев, оказавшуюся в провинции. Дагестанские горцы разоряли те селения, которые не хотели принять их сторону, и даже напали на караулы шекинцев, учрежденные местными властями; но тут они встретили кровавое сопротивление. Прибытие Ермолова с войсками вновь водворило в провинции спокойствие; но он не считал уже это спокойствие прочным и решил расположить здесь часть войск, как только должно будет вывести их в земли джарцев.

В Нухе Ермолов получил известие, что Эристов с двадцатой дивизией и двумя кавказскими батальонами, грузинским и ширванским, 29 ноября перешел Алазань и вступил в землю врагов. Джарцы вместе с призванными ими на помощь горцами, в числе девяти тысяч человек, отступили и, заняв крепкую позицию в Закаталах, ожидали нападения русских. Но Эристов не пошел на них, а расположил свои войска поблизости, так что они отрезали все сообщения джарцев с окрестными селениями, откуда могли бы доставляться к ним жизненные средства.

Ермолов, зная, что нападение на Закатали слишком дорого обошлось бы русским войскам, одобрил распоряжения Эристова и предписал ему ограничиться только блокадой, а на досуге знакомить полки двадцатой дивизии, с образом горской войны, требующей ежеминутной осторожности.

Отпустив в Тифлис бывший с ним сводный гвардейский полк, Ермолов, с остальными войсками своего отряда, двинулся и сам на соединение с Эристовым. Он пришел туда 12 декабря.

С непритворной радостью ожидали старые кавказские войска своего любимого главнокомандующего. Один из современников-очевидцев, только что пришедший тогда с войсками из России, с удивлением описал впоследствии эту, поразившую его, встречу. По словам его, для Ермолова, по обыкновению, ничего не подготовляли, не отдавали приказаний чиститься, строиться перед палатками, кричать “ура”. Ему, “юному”, просто

“не верилось, что ждут главнокомандующего. Всюду говорят о его приезде, и нигде не делают репетиций, как это сто раз сделали бы уже в России”. На вопросы его старые кавказцы отвечали: “Дедушка наш этого не любит; он знает, что мы и без приказания рады ему”. В самый день приезда Ермолова, после полудня, в лагере поднялась суматоха: кто в чем был, выскакивали из палаток и бежали на алазанскую дорогу. Он бросился за ними. “Что такое?” “Едет, едет”,— отвечали ему солдаты. И вот, верхом на небольшом горском коне, в простом наряде, ласково приветствуя толпившихся солдат, показался Ермолов; весело и почти бегом следовал за ним батальон ширванцев. Неподдельная радость сияла на. лицах солдат и встречавших, и сопровождавших своего любимца; офицеры также выходили на дорогу запросто: они были большей частью в бурках и в косматых шапках. Каждый спешил взглянуть на Ермолова. “Алексей Петрович никого не осыпал наградами, был скуп на деньги, и несмотря на все это,— говорит очевидец,— войска любили его. Мне, находившемуся тогда в семейном кругу солдат, возможно было убедиться в этом. Войска видели в нем не начальника только, а и человека; и этим-то он привораживал к себе солдатские сердца”.

Не всем, однако, понятна была эта простота отношений между войсками, закаленными в боях, и вождем, водившим их к победам. К числу таких именно людей принадлежал, между прочим, и генерал-лейтенант Красовский, только что назначенный тогда начальником двадцатой пехотной дивизии. Он приехал в лагерь за Алазань, дня три спустя после прибытия туда Ермолова, и нашел свою дивизию уже перенявшей некоторые обычаи кавказских войск. В оставленных им записках он с раздражением говорит о замеченном им отступлении от формы в одежде солдат и офицеров, считая это “поселяющим при первом взгляде отвращение и разрушающим дисциплину”. Красовский передает, между прочим, что, осматривая полки, он с удивлением с первого шага заметил в них какое-то уныние, которое объяснялось, будто бы, холодным приемом Ермолова, не сказавшего ни одному полку даже обыкновенного приветствия: “Здорово ребята!” Мало того, Ермолов не захотел, будто бы, иметь при себе в карауле солдат Нашабургского полка, сказав, что на новые войска положиться не может, и заменил их ширванцами.

Нужно думать, однако, что Ермолов просто пожелал, чтобы в карауле у него были любимые им ширванцы, и нашабургцам обижаться здесь было нечего. Без сомнения, все это могло поразить Красовского как человека нового среди кавказской обстановки, привыкшего к совершенно другим порядкам. Удивительным показалось ему и то, что войска расположены были на небольшой площадке в каре, “с такой осторожностью, как будто бы их окружала многочисленная армия”; и Закаталы показались ему, незнакомому с горской войной, местом совершенно доступным, “не имеющим не только никаких укреплений, но даже и того непреоборимого препятствия природы, о котором так много говорили”. Так опрометчиво судили многие, приезжавшие тогда из России и не знавшие ни быта кавказского солдата, ни кавказской природы и связанных с ней опасностей, ни характера горских народов, с их оригинальным способом войны. Красовский был между тем одним из лучших боевых генералов того времени. Не лишнее, однако, сказать, что он принадлежал к числу открытых недругов Ермолова.

Личное присутствие грозного главнокомандующего в русском отряде не замедлило оказать магическое действие на джарцев. В лагерь явились их старшины, изъявляя покорность и прося пощады. Они представили аманатов из лучших фамилий, выдали захваченных ими пленных, обязывались выслать призванных к себе на помощь лезгин и уплатить все нанесенные жителям Кахетии убытки.

Ермолов дальновидно рассчитал всю выгоду мирного исхода затруднений с джарцами. Действия против них оружием могли стоить значительных потерь, тем более, что,

осматривая 14 числа позиции неприятеля, Ермолов нашел их, в противоположность мнению Красовского, “чрезвычайно твердыми”. Да и потери эти, в конце концов, грозили остаться совершенно бесполезными, так как, по удалении войск,— как бы ни были блестящи успехи их,— джарцы снова могли занять свои крепкие позиции, и, озлобленные, тем с большим рвением предались бы набегам и разбоям, как это было двумя десятилетиями раньше. И дело, таким образом, не подвинулось бы вперед ни на шаг. Ермолов принял поэтому благосклонно изъявления покорности и именем императора объявил джарцам забвение их измены; он только обратил им в наказание содержание значительного числа войск, оставленных на зиму, “что они весьма чувствуют и признают справедливым”, как он доносил государю.

Нужно было, однако, позаботиться о том, чтобы, в случае новой попытки к возмущению, иметь возможность беспрепятственно приблизиться к обычной позиции их в Закаталах. С этой целью, часть весьма богатых садов, окружавших Джары в виде густого леса, была вырублена, а несколько хороших домов в самом селении сломано. Джарцы беспрекословно подчинились этим распоряжениям и не сделали во все время ни одного выстрела против русских. Все данные ими обещания они с точностью исполнили, и скоро лезгины ушли от них в свои горы. Ермолов, со своей стороны, приказал князю Эристову отойти с войсками от селения, чтобы стесненные в нем жители могли разойтись по своим деревням.

Устроив здесь дела, Ермолов 27 декабря возвратился в Тифлис, а войска распущены были на зимние квартиры: князь Эристов с грузинским и ширванским батальонами возвратился в Кахетию; полки двадцатой дивизии, Козловский и Нашабургский, с легкой артиллерийской ротой, отправились в Шекинское ханство, где к ним присоединились еще три полка второй уланской дивизии, вместе с конной батареей. В Джарских владениях, под начальством генерала Красовского, остались; Серпуховский уланский полк, егерская бригада двадцатой дивизии и Севастопольский пехотный полк, смененный в Елизаветполе Крымским. Так простояли они до следующей весны, испытывая большие затруднения в продовольствии, так как земля была чрезвычайно истощена и лезгинами, и русскими. Тем не менее, в течение всей зимы спокойствие нигде не нарушалось. Случались, конечно, мелкие разбои, так, например, Красовский доносил, что В марта двое рядовых, вышедших за хворостом, были захвачены лезгинами, и один из них найден в кустарнике израненным,— но это были такие случаи, каких невозможно устранить в своевольной, привыкшей к разбоям стране, и во времена глубокого мира.

К январю 1827 года весь обширный район прикаспийских ханств и земли джарских лезгин, таким образом, затихли. В Дагестане также было спокойно, и только в Табасарани, от берегов Самура и до самого Дербента, долго еще шли разбои. Однажды сильные шайки мятежников напали даже на селения преданных России беков и были отбиты только благодаря упорному сопротивлению. В помощь бекам послана была татарская конница, и с ее прибытием табасаранцы хотя и отступили, но беспорядки не прекращались: мелкие шайки заходили даже в Кубинскую провинцию, и там нападали на оплошных солдат и казаков. Источником всех этих волнений был некто Кирхляр-Куди-бек, бывший майсюм Табасаранский, изгнанный за несколько лет перед тем из своих владений. Теперь, пользуясь общей смутой, внесенной персидским нашествием, Кирхляр задумал оружием возвратить утраченную власть и, в свою очередь, изгнать преданного нам Ибрагима-бека Карчагского. Чтобы прекратить волнения, генерал-майор Краббе поручил командиру Куринского пехотного полка, подполковнику Дистерло, вступить в Табасараньи обеспечить, по крайней мере, сообщения между Кубой и Дербентом. Дистерло выступил со своими куринцами 23 декабря и на пути соединился с конницей Аслан-хана Казикумыкского и Гамза-бека Каракайтагского. Большая часть приморской Табасарани

тотчас заявила покорность и дала присягу; но жители девяти селений бежали в горы и на предложение Дистерло возвратиться в свои дома не отвечали. Дело не обошлось без серьезного столкновения. Случилось, что Аслан-хан со всей конницей отдалился от пехоты и наехал в густом лесу на многочисленную партию. Завязался упорный бой; табасаранцы были разбиты, но победа недешево досталась и русским приверженцам: владетель Каракайтага Гамза-бек был убит, и вместе с ним выбыло из строя до шестидесяти всадников. Дистерло не имел, однако, достаточных сил, чтобы проникнуть в самые горы и окончательно подавить восстание. Он ограничился тем, что оставил две роты с Одним орудием для прикрытия дороги в Кубу, а с остальными отошел в Дербент. Но результаты его похода сказались скоро. Кирхляр-бек, отчаявшись найти убежище в терекеменских селениях бросился в Вольную Табасарань. Но вольные табасаранцы уже сами искали покровительства России, и 27 января 1827 года добровольно присягнули на подданство. Чтобы не нарушить священного обычая гостеприимства, они, правда, отказались выдать Кирхляра, но в то же время предложили ему или самому явиться к русскому начальству, или оставить их землю. Кирхляр отправился в Дербент и безусловно передал участь свою на милосердие государя. Мятеж, казалось, потух. Но в этой стране, издавна своевольной и буйной, веками накоплявшей в себе горючие материалы, спокойствие не могло быть прочно; вспышки продолжались. В апреле месяце, случилось дерзкое нападение на мельницу, стоявшую почти под самыми стенами Дербента. Семь человек Куринского полка, посланные туда для перемола провианта, оказали, однако, упорное сопротивление, но двое из них были все-таки убиты. На тревогу поднялся весь дербентский гарнизон. Партия скрылась, и не было возможности узнать, из каких людей она состояла. Сначала полагали, что то были вольные табасаранцы; казикумыкский хан писал, что они собирают злонамеренные шайки, которые могли отважиться и на такое дело, зная, что в Дербенте нет достаточно войск, чтобы их преследовать. Но дело объяснялось, однако, персидскими прокламациями. Распространенные в крае, они нашли себе отголосок в Аварии, и сын известного Сурхая Казикумыкского, Нох, стал во главе движения. Со значительной аварской конницей спустился он с гор, прошел Кубачи и уже приближался к Вольной Табасарани. Там он думал соединиться с каракайташами и, общими силами, вконец разгромить владения преданных России карчагских беков. Дела принимали серьезный оборот. Собственные выгоды Аслан-хана заставляли его зорко следить за этим сборищем, потому что всякий успех мятежа грозил прежде всего отторжением от него Казикумыка и низложением власти его даже в Кюре. И вот, в то время, когда аварцы двигались их Кубачей, Аслан-хан со своей конницей занял терекеменские селения. На помощь к нему подошли из Дербента три роты Куринского полка с тремя орудиями. Решено было защищать от Ноха только деревни, лежащие на плоскости, так как вдаваться в горы с таким малым отрядом было не безопасно. К счастью, дела неожиданно приняли опять благоприятный оборот. Несколько волостей, уже волновавшихся, сведав о приближении войск, сами просили карчагских беков ходатайствовать за них перед русским правительством. Эта перемена в настроении жителей поразила мятежников, и Нох остановился. Состояние края было напряженное. Но худой мир лучше доброй ссоры, и надо было пока довольствоваться этим. На всякий случай Краббе потребовал, однако же, в Дербент еще две роты Куринского полка из Бурной.

Так слагались обстоятельства в Табасарани. Но они, по отдаленности от театра войны, не могли обнаружить на нее почти никакого влияния; спокойствие в ханствах совершенно обеспечивало тыл русской армии, шедшей в Персию, чего именно только и добивался Ермолов.

Иное значение имело неусмиренное возмущение в ханстве Талышинском. Еще будучи в Баку, Ермолов получил известие, что талышинский хан строит укрепление в гористой и

покрытой дремучими лесами местности, чтобы оттуда делать набеги за Куру и тревожить с фланга русскую коммуникационную линию. Но Ермолов не считал нужным принимать против этого какие-либо меры, не располагая для того свободными силами. Он справедливо рассчитывал, что появление русских войск за Араксом само собой не только водворит повиновение в Талышах, но и поднимет мятеж в соседней с ними Гилянской провинции против самой Персии. Расчеты его были впоследствии оправданы обстоятельствами.

Не лишнее сказать, что в те тревожные времена. Россия неожиданно нашла себе сильного союзника за Каспийским морем, в лице Туркменского народа, издавна отличавшегося враждой к персиянам. Есаул Лалаев, посланный Паскевичем в 1830 году в Туркмению, доносил оттуда, что туркмены, кочующие у персидских берегов Каспийского моря и по рекам Атреку и Гюргеню, давно уже ищут только случая, чтобы вступить в подданство Русской империи, и в доказательство своей преданности рассказывали ему, что в 1826 году, когда началась война между Россией и Персией, они со своей стороны предприняли целый ряд нападений на Хоросанскую область. Граница Персии была опустошена и залита кровью. Туркмены возвратились с триумфом; но торжество победы омрачено было внезапной смертью их старого и знаменитого вождя, Бута-хана, прозванного в народе Грозным: он был предательски убит, уже по окончании набега, своим же туркменом, подкупленным персиянами. По смерти его вступил в управление страной старший в роде, двоюродный брат покойного, Султан-Мамед — человек кроткий и лишенный слуха. Только это обстоятельство и помешало дальнейшему развитию кровавой войны, и спасло пограничное персидское население от новых ужасов свирепого туркменского нашествия.

В общем обстоятельства сложились, таким образом, весьма благоприятно, сгладив невыгодное впечатление и уничтожив результаты успехов персиян, приобретенных имя в первое время вторжения в русские пределы. Наступила возможность с возвращением весенних дней внести русское оружие в сердце Персидской монархии.

XIV. ЗИМА В КАРАБАГЕ (Последние действия Мадатова)

Смутно началась в Карабаге зима 1826—1827 года. Волнения, вызванные вторжением персиян и разбудившие в своевольном народе дремавшие хищнические инстинкты, не сразу могли улечься. Войска, зимовавшие там, конечно, удерживали наружное спокойствие; но в сущности никакого спокойствия не было. Извне происходили разбои и грабежи со стороны кочевых народов, живших на границах России; внутри — ходили прокламации карабагского хана, сулившие всем под персидским владычеством золотые горы и поддерживавшие в беках дух мятежа и необузданной жажды старинного своеволия. Мадатов зорко следил за всем, что происходило в крае, и принимал свои меры. Рассчитывая на свое личное влияние, один, часто без русского конвоя, он продолжал объезжать те местности, где можно было ожидать вспышек бунта, и его отважная личность и спокойная речь образумливали население.

Но против разбойничьих набегов пограничных кочевников требовались более действенные средства. Уже вскоре после расформирования отряда Паскевича, дела приняли такой оборот, что Ермолов признал необходимым Допустить военную экспедицию за границы Карабагского ханства. Он свиделся с Малаховым в первых числах декабря, в Нухе, и поручил ему, соединившись с отрядом полковника Мищенко, пройти за Араке и дать хороший урок кочевым племенам, беспокоившим Карабагское ханство. Ермолов рассчитывал, что племена эти, вытесненные с Муганской степи внутрь Персии, внесут туда необузданность и своеволие и неминуемо произведут большие беспорядки в Карабаге, а быть может и около самого Тавриза.

Паскевич донес государю об этом обстоятельстве в том смысле, что тут произошла простая замена его, неугодного Ермолову, Мадатовым, и что не стоило расформировывать и вновь сформировывать отряд для похода, так как отряд Мадатова если и был меньше, то на каких-нибудь тысячу человек. Но в такой постановке вопроса лежало недоразумение. Для действий против разбойничьих племен не нужна была армия с расчетом на борьбу с правильно организованными силами неприятеля, а подвижной отряд, с начальником, близко знакомым со всеми мелочными обстоятельствами в крае и с характером местного населения,— отряд, по произволу дробящийся и собирающийся, действующий без заранее определенных планов и распоряжении. Такой случайный отряд и формировался теперь, причем Ермолов, распустив раньше отряд Паскевича, совершенно избегал на целый месяц затруднений, связанных с продовольствием в Карабаге сильного корпуса. И он поступил так, хотя и предвидел, что его распоряжения могут отозваться неудовольствиями со стороны Паскевича. Вызывая к себе Мадатова в Нуху, он писал ему от 20 ноября из Шемахи:

“Повидайтесь с Паскевичем перед отъездом, чтобы не навлечь на себя неудовольствий, к которым он, кажется, готов. Не раздражайте могущественного”.

Так или иначе, но экспедиция была решена. Ермолов отдавал ее судьбу в надежные руки. “Желаю вам успеха и не сомневаюсь в нем,— писал он Мадатову из Джар.— Не теперь знакомлюсь, я с вашей храбростью, и потому советую вам быть осторожным. Если что случится с начальником, не всегда между подчиненными сохраняется порядок. Дай вам Бог счастья, любезный князь”.

Мадатов собрал свой отряд при Ах-Углане и выступил к Араксу. Одному батальону сорок второго егерского полка, подкрепленному карабагским ополчением, приказано было расположиться выше Худоперинского моста и стараться переправить на русский берег некоторые кочевья, между которыми было много увлеченных из русских пределов, или отдалить их от границы оружием.

28 декабря, в сильный холод, войска Мадатова, соединившись с подошедшим из Джавата отрядом полковника Мищенко [В отряде Мадатова были: шесть рот Грузинского полка, батальон эриванцев, батальон херсонцев, рота 42 егерского полка, четыре донских казачьих полка, татарская милиция, пятнадцать пеших и двенадцать конных орудий. С полковником Мищенко пришел Апшеронский пехотный полк.], перешли через Араке вброд, по пояс в воде. Всегда решительный и быстрый в своих действиях, Мадатов форсированным маршем через Дарауртское ущелье прошел до речки Самбура и внезапно появился перед кочевавшими здесь шахсеванцами. Татарская конница и армяне бросились на кочевья. Застигнутые врасплох, враги рассеялись, и в руках Мадатова осталось до двадцати тысяч овец, верблюдов и лошадей. Вслед за тем пятьсот семейств карабагцев и ширванцев, уведенных персиянами и теперь, при перемене обстоятельств, ограбленных и брошенных на произвол судьбы, явились к русскому отряду, прося позволения возвратиться на родину.

Князь Мадатов оценил дальнейшую возможность наступательных действий. Он понял, что нужно по крайней мере еще раз сильно поразить кочевников, чтобы распространить страх в персидских пределах, а для этого необходимо заставить всех их сосредоточиться в одно какое-нибудь место, и лучше всего в Мешкинский округ. И вот Мадатов распускает слух, что двигается в Талышинское ханство. Кочевавшие там шахсеванцы невольно поддались дальновидному расчету Мадатова и бросились спасаться — именно в Мешкинский округ, так что там сосредоточилось почти все пограничное кочевое население. Этого только и хотел Мадатов. 1 января он вдруг повернул назад — и с

передовыми войсками, состоявшими из двух казачьих полков и татарской конницы, внезапно напал на кочевья. Там никто не ожидал нападения, и, пораженные ужасом, кочевники бросились бежать в разные стороны. Потеря их людьми была не велика, но они оставили на месте десять тысяч рогатого скота, шестьдесят тысяч овец и, наконец, до двух тысяч верблюдов, послуживших, впоследствии, в кампанию 1827 года, для перевозки в действующую армию провианта.

Теперь перед Мадатовым лежал открытый путь внутрь персидских земель. Бегущие шахсеванцы повсюду распространяли ужас и смятение, и занятие русскими Лори (Ларр), главного города Мешкинского округа, произошло даже без попытки к сопротивлению со стороны персиян. 2 января, совершив трудный переход через глубокие снега, покрывавшие огромный горный хребет Сават-Гядич, появился Мадатов у ворот этого города и был встречен начальником округа Ата-ханом и его братом, Шукур-ханом, поспешившими принести покорность.

Под распущенным георгиевским знаменем Грузинского полка, присягнули они на верность русскому государю. В Лори явилась к Мадатову из Ардебиля депутация от Шагагинского народа, с просьбой о покровительстве и с известием, что собранные Аббас-Мирзой регулярные войска распущены по домам. Мадатов успокоил их. Пользуясь благоприятным расположением умов, он оставил в Лори батальон пехоты с казачьим полком, чтобы прикрыть обратное переселение выведенных персиянами множества семейств ширванцев и карабагцев, а с остальными войсками двинулся на Агар, главный город Карадагского ханства.

Быстрая молва предшествовала ему, и страх распространился далеко по соседним городам и селениям. Начальник Агара со всем семейством заранее бежал в Тавриз; гарнизон, состоявший из полутора тысяч сарбазов, рассеялся.

5 января русский отряд занял селение Насир-Абат. Здесь к Мадатову явилась депутация от Карадагского ханства с изъявлением покорности. Жители сами жгли персидские магазины с провиантом и фуражом, войска разбегались.

6 числа малочисленный русский отряд отпраздновал на чужой земле, вдали от родины, день Богоявления. Совершен был священный обряд православной церкви, и крест Спасителя, при громе пушечных выстрелов, погрузился в воды Агар-чая.

На следующий день, не доходя 17 верст до Агара, Мадатов остановился. Кавалерийская партия в двести человек была отправлена вперед, для обозрения города. Но предосторожность оказалась излишней. Народная депутация сама явилась в русский лагерь, прося пощады городу. Мадатов именем императора обещал ее.

Войска стояли на этом пункте до 9 числа, пока не были собраны все русские подданные, рассеянные в Карадагском ханстве. По всей Персии, между тем, шла тревога. Были достоверные известия, что в самом Тавризе уже ожидали появления русских, и Аббас-Мирза высылал по ночам свою казну и сокровища, готовясь и сам выехать из Тавриза со всем своим двором при первом известии об опасности.

Мадатов не имел, однако, намерения продолжать экспедицию и доносил Ермолову, что выступит в обратный путь 9 числа. Но в то именно время, когда он готовился к этому, получено было известие, что сын талышинского хана и с ним шахсеванцы, в тылу у него, напали на карабагские семьи, возвращавшиеся на родину. В справедливом негодовании и

в пример другим, Мадатов разорил жилища шахсеванцев от реки Агар-чая до большой Ардебильской дороги и истребил все запасы их хлеба и фуража.

Медленными маршами и небольшими переходами, чтобы не утомлять усталые войска, двигался Мадатов к пределам России. Он прошел через Муганскую степь к Араксу и 17 января, переправившись на русский берег при Эдибулуке, вступил в Карабаг. Полковник Мищенко берегом Аракса прошел на свою прежнюю стоянку, в селение Джеват. Мадатов поехал в Тифлис, чтобы видеться с Ермоловым.

Экспедиция принесла весьма важные плоды. Она была предпринята в суровое время года, когда только знакомство с краем, уменье водить войска и деятельная заботливость князя Мадатова предохранили отряд от значительных потерь, которые все исчерпывались только четырьмя рядовыми и двумя казаками; имея во всем довольство, солдаты охотно преодолевали неимоверные трудности по дорогам, почти непроходимым. Но это-то именно обстоятельство и покоряло персидских подданных, показывая им русскую силу. Особенно изумлялись они трудному переходу через гору Салват, где снег был глубиной в аршин и мороз при резком ветре доходил до девятнадцати градусов. И одного появления русских войск было достаточно, чтобы все жители той местности смирились. Результаты этого были блестящие. Шахсеванский народ, гордый и славившийся своей конницей, поплатился за свои набеги чувствительными потерями, а присяга его русскому царю должна была научить персидское правительство не полагаться на народ, видя, как легко и охотно он переходил на сторону России. Пощаженное Карабагское ханство, где городу Агару и жителям не было сделано ни малейшего вреда, могло служить ручательством для всех племен, что власть России не будет так тяжка, как власть персиян, если бы некоторым из этих племен довелось стать под русское подданство. До трех тысяч семейств, ушедших с персиянами и теперь возвращенных на родину, горьким опытом узнали, как мало могли они надеяться на защиту Персии, не предохранившую их от ограбления ее же подданными. Во всей стране распространен был страх, ставший основанием смут и неповиновения жителей Аббасу-Мирзе. Истребление же заготовленного персиянами провианта уничтожало возможность скорых наступательных действий Персии против русских владений со стороны Карабага. И все эти обстоятельства были созданы почти без потерь.

Паскевич, систематически осуждавший действия Ермолова, правда, писал государю о своих опасениях, что экспедиция будет иметь весьма невыгодные следствия. Он полагал, что раздраженные персияне будут мстить грабежом армян за нашествие русских; что удержаться в Карабаге войскам невозможно; что пехота должна будет весьма терпеть без теплой одежды, кавалерия тем более,— и обе к весне не в состоянии будут действовать; что, наконец, это движение за Араке заблаговременно заставит неприятеля быть осторожным и собрать свои силы. Но действительность не оправдала всех этих предсказании, русские войска не думали оставаться в Карабаге долго и воротились почти без потерь; устрашенные персияне не вымещали на армянах свои неудачи, а неприятельские войска и вовсе не могли собраться в значительных силах на границах России, так как все продовольственные средства их здесь были уничтожены. Экспедиция Мадатова привела, поэтому, к результатам как раз противоположным тем, которые предсказывал Паскевич.

Рассчитывать, однако, на прочную покорность кочевников, на совершенное прекращение ими разбоев по Карабагской границе, конечно, было бы ошибочно. В своевольных и буйных племенах, населявших эти места, всегда могли найтись предприимчивые люди, готовые рискнуть своей головой в дерзком предприятии. Правда, ошеломленные нашествием Мадатова, они на время притихли. Но настал февраль месяц, и разбои

возобновились. И время, и обстоятельства для этого должны были казаться персидским кочевникам удобными, да и самая цель их была весьма определенная: в Карабаге шла заготовка провианта, формировались транспорты для будущих действий русского отряда,— и неприятелю естественно было позаботиться мешать этому своими нападениями. Безопасности в Карабаге, действительно, не было. Там уже не только женщина с блюдом золота на голове, как это было до персидской войны, но даже и вооруженные команды, если они были недостаточны, могли ходить только с большой осторожностью. До чего дороги сделались опасными даже внутри самой страны, могут свидетельствовать следующие случаи:

Однажды, в феврале, из Шушинской крепости отправлена была, под прикрытием небольшой команды, партия транспортных волов в, окрестную деревню, где были изобильные подножные корма. По дороге один из волов пристал, и команда, оставив при нем двух рядовых, пошла дальше. На следующий день оба солдата найдены были в ста саженях от дороги — с отрезанными головами.

В другой раз, жители одной из покинутых армянами деревень, Горовлы, собравшись в числе семнадцати человек, вздумали съездить на старое пепелище, лежавшее поблизости Аракса, чтобы забрать припрятанные там пшеницу и ячмень. В деревне они застали персиян, и одного из них схватили. Пленный показал, что шайка принадлежит к отряду Багир-хана, который с четырехтысячной конницей стоит за Араксом, выжидая только случая, чтобы ворваться в Карабаг. Пока армяне забирали пшеницу, прискакала новая толпа персиян, и горовлинские жители, в свою очередь, вынуждены были обратиться в бегство, бросив и пленного, и все свои вьюки. Персияне преследовали их ружейным огнем и трех из них ранили.

Спустя несколько дней после того, сильная партия, действительно, перешла Аракс и бросилась на две деревни, Гарив и Горанзур. Армяне отстояли деревни, но потеряли человек десять убитыми и свои стада. По собранным сведениям оказывалось, что персидское правительство нарочно держит в сборе кочевые племена с тем, чтобы делать большими партиями набеги в русские границы и наносить возможный вред карабагским жителям. И кочевники действовали с необыкновенной дерзостью. В течение нескольких дней, в окрестностях одного Ах-Углана, убито было трое армян, несколько ранено и одиннадцать захвачено в плен; сверх того, угнано более двухсот голов скота, что сильно подрывало в крае русские перевозочные средства. Подполковник Миклашевский, с батальоном егерей, по тревоге ходил преследовать партию, но настигнуть ее не мог. Дерзость персиян возросла до того, что они подъезжали даже к тем местам, где стояла пехота, будучи уверены, что она их не догонит; обывательских же караулов они вовсе не боялись, зная, насколько те беспечны и вялы.

Только один раз удалось настигнуть разбойничью партию, да и то благодаря лишь необычайно энергичному преследованию со стороны русского офицера. Дело было 15 марта. Зааракские хищники напали на курганское селение Агнус, и пока они его грабили, один из куртин, вырвавшийся из рук разбойников, успел добежать до деревни Каладараси, где квартировала рота егерей. Оттуда немедленно вышел прапорщик Хвостников с тридцатью егерями и пятидесятые конными армянами. Когда он прибыл в Агнус,— деревня уже была разграблена и неприятель удалился к Араксу. Хвостников бросил пехоту напустился в погоню с одними армянами. На пути настойчивым, энергичным требованием заставил он присоединиться к себе татарский караул поручика Сафар-Али-бека, поднял всех жителей попутных деревень, — и хищники были настигнуты. Малейшая попытка с их стороны к сопротивлению — и партия была бы истреблена совершенно; но персияне поняли это и бросились бежать в разные стороны. Тем не менее разнокалиберная

русская милиция положила девять человек на месте, двух взяла в плен, а главное — отбила назад стада и добычу.

В таком положении застал Карабаг Мадатов, вернувшийся из Тифлиса в начале апреля. С приездом его жители тотчас стали бдительнее отправлять свою службу, и набеги со стороны Асландуза уменьшились. Но зато значительный отряд неприятельской конницы появился в окрестностях Мигри и стал грабить селения по реке Бургушату. В той стороне совсем не было русских войск, и князь Мадатов должен был оборонять границы одной карабахской конницей. Он сумел, однако, внушить татарам доверие к себе и заставил их исполнять свою волю.

Так наступила весна, а с ней вместе и возможность открыть военные действия против персиян. В предстоявшей кампании, по принятому плану, Мадатову отведена была крупная роль и предстояли действия вполне самостоятельные. В то время, как главные русские силы, под личным начальством Паскевича, готовились вступить в Эриванское ханство, он со своим карабагским отрядом должен был прикрывать левый фланг действующего корпуса, охранять Карабаг и, наконец, смотря по обстоятельствам, способствовать главным силам овладеть Нахичеванью. Достигнуть этих целей можно было или пассивной обороной берегов Аракса, или же внезапным и сильным вторжением в персидские пределы к стороне Агара и Ардебиля.

5 апреля карабагский отряд сосредоточился у Ах-Углана и отсюда подвинулся еще вперед, на речку Черекени. Наличные силы Малахова состояли в то время из трех пехотных и трех казачьих полков, при двадцати четырех орудиях, да ожидался еще сорок первый егерский полк, находившийся уже на марше из Грузии.

Неприятель также собирал свои силы. Было известно, что у Худоперинского моста стоял Багра-хан с двухтысячным отрядом сарбазов и с конницей, при двух орудиях; далее, в Хан-Баге, напротив Маральяна, ширванский, шахсеванский и другие ханы собрали свои иррегулярные полчища; в Асландузе стояла тысяча человек ардебильской конницы. По достоверным известиям, пятнадцать орудий, под прикрытием пехоты, двигались из Ардебиля к Араксу. Говорили также, что Аллаяр-хан с тридцатитысячной армией находится в одном переходе по ту сторону Тавриза, но куда он возьмет направление, к Эривани или к Карабагу,— было еще неизвестно.

При таких условиях Мадатов предпочел идти за Аракс, чтобы не дать времени неприятелю усилиться,— идти немедленно, не ожидая ни егерей, ни транспорта. 16 апреля войска двинулись уже от Черекеня. На походе получено было известие, что сильная неприятельская партия появилась в тылу отряда, около Герюс, и после двадцатичетырехчасового боя с армянами, разграбила селение Вундерли и угнала весь скот. Мадатов не обратил на это внимание, зная неизбежность подобных происшествий, которые прекратятся сами собой, как только русские знамена появятся на правом берегу Аракса,— и торопился захватить переправу.

18 апреля, не доходя двенадцати верст до Худоперинского моста, Мадатов отправился вперед с тремя казачьими полками и занял высоту, командовавшую над всей окрестностью; здесь расположилась донская батарея и метким огнем через речку заставила стоявший там батальон сарбазов отодвинуться в горы. Между тем подошла русская пехота и стала лагерем почти в виду неприятеля.

Переправы через Араке, однако же, не было. Река была в разливе, а Худоперинский мост был разломан персиянами так, что от него остались лишь ближайшие к берегам

полуразвалившиеся своды, да и те прикрыты были с левого берега каменной башней, стоявшей здесь в виде предмостного укрепления. Тем не менее, Мадатов предпринимает целый ряд действий, окончившихся завладением переправы для русских войск.

На следующий день, 19 числа, рота егерей, предводимая подполковником Миклашевским, пошла вперед и, под огнем неприятеля заняла позицию, шагах в восьмидесяти от моста, на возвышении, обнесенном каменной оградой. Неприятель зашевелился. Два батальона сарбазов и сильная конница придвинулись также к реке и стали в ста саженях, по ту сторону моста. Армяне говорили, что за этими двумя батальонами со стороны Тавриза тянутся значительные силы. Но им мало времени. В бездейственном созерцании друг друга простояли противники весь этот день, а ночью рота егерей, с капитаном Калачевским, скрытно вышла из лагеря и, в двух верстах выше по Араксу, принялась устраивать плоты из леса, заготовленного там для починки моста. Шум топоров привлек внимание персиян, и работу пришлось производить уже под учащенным огнем неприятеля. Тем не менее, к утру плоты были готовы. Правда, они никуда не годились, потому что, сделанные из тяжелого дубового леса, едва держались на поверхности воды; но дело было не в плотах. Неприятель, ожидая в том месте переправы, сдвинул туда большую часть своих сил, а подполковник Миклашевский, воспользовавшись этим, кинулся из своего окопа и внезапно овладел стоявшей перед мостом укрепленной башней. Гарнизон ее был истреблен, а с русской стороны ранены поручик Макаров да шесть егерей,— и это была вся потеря, которую понес Мадатов в трехдневной перестрелке с неприятелем.

С особенным уважением говорит Мадатов в своем донесении, что семь человек, разжалованных в рядовые: Окулов, Веденяпин, Зубов, Рудницкий, Ляшковский, Титов и Фитиолин, желая кровью загладить свои проступки, стали впереди охотников, штурмовавших башню, и своей грудью проложили дорогу к победе. Из них Фитиолин тяжело был ранен пулей навылет. Здесь же получили первое боевое крещение и полки, пришедшие из России, Козловский и Нашебургский.

Пока егеря, овладевшие башней, расположились по самой реке, в ложементах, секретно приготовленных ими еще ночью, козловские и нашебургские стрелки в лодке переправились на ту сторону Аракса и, подкрепленные метким картечным огнем казачьих орудий, действовавших под командой есаула-линейца Зубкова, вынудили неприятеля отойти от берега. Весь пятитысячный персидский отряд удалился.

Так, с неимоверными трудностями открыта была, наконец, переправа через Араке, и Мадатов готовился к движению вперед. Но здесь внезапно были прерваны его действия. В тот же день, среди его боевых распоряжений, ему доложили о приезде из главного штаба курьера с депешами. Это было приказание Паскевича сдать отряд генералу Панкратьеву и ехать в Грузию... Через полчаса в лагерь приехал и сам генерал-майор Панкратьев.

Прощание князя с отрядом было трогательно,— велика была привязанность к нему солдат и офицеров. Не останавливаясь в своем имении, он, на пути, в последний раз взглянул на родные места и поехал в Тифлис.

Блестящая жизнь князя Мадатова, знаменитого не одной только деятельностью в Кавказской войне, в славе которой ему принадлежит немалая часть, а и вообще в летописях всей русской кавалерии,— весьма любопытна и поучительна. В ней только и можно найти объяснение необыкновенного нравственного обаяния этого человека на всех, кто имел честь становиться под его знамена и делить с ним боевые труды и заботы.

Князь Валериан Григорьевич Мадатов родился в Карабаге,— стране искони воинственной,— и впечатления юных лет, конечно, не могли не отразиться на всем складе его умственной и физической жизни. Храбрость была качеством ему прирожденным, и все свои награды, все почести он взял с острия сабли, и запечатлел их своей кровью. Сирота с детства, он был обязан своим возвышением единственно себе, и протекция не играла в его жизни ни малейшей роли по той простой причине, что ее у Мадатова не было. Только тот,— говорит один из его современников,— кто видел князя Мадатова в пылу сражения, под градом пуль и картечи, может судить, до какой степени храбрость может быть увлекательна и как одно появление перед войсками таких вождей, как Мадатов, служит вернейшим залогом победы.

В царствование императора Павла Петровича, Мадатов приехал в Петербург с одним из своих соотечественников, Меликом Джемшидом. Юноша пленился блестящей гвардией; но пока он хлопотал, чтобы его приняли в русскую службу, Джемшид должен был вернуться в Карабаг; вместе с ним уехал и Мадатов, не имевший средств остаться в столице без Джемшида. Так он и заглох бы в Карабаге, в своей прародительской чохе. Но судьба уже успела отметить будущего героя: император как-то вспомнил о молодом горце, которого видел раз на разводе, и узнал, что тот вернулся в Карабаг, не успев определиться в гвардию, приказал привезти его назад с фельдъегерем. Мадатов явился, был определен подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк, с титулом князя, а с производством в офицеры переведен подпоручиком в армию.

Так человек, которому судьба отводила в будущем такое блестящее место в немногочисленной плеяде русских кавалерийских вождей, начал свою службу в пехоте, в Менгрельском полку, с которым и выступил в турецкую кампанию 1808 года. С этих пор начинается его боевая известность. Командуя ротой, Мадатов, менее чем в два года, получил Анну и Владимира с бантами, Анну на шею, золотую шпагу за храбрость и чин капитана. Но уроженцу Карабага, страны отважных наездников, пехотная служба представляла мало простора; он рвался в кавалерию, и в феврале 1810 года ему наконец удалось осуществить свою заветную мечту: он был переведен в Александрийский гусарский полк ротмистром. Не успел он еще доехать до полка, как было получено известие о производстве его в майоры за прежние боевые отличия. В настоящее время такие поздние переводы из пехоты в кавалерию показались бы чем-то совсем необычайным: Но тогда подобные случаи бывали нередко. И не один Мадатов, многие знаменитейшие боевые русские кавалеристы вышли именно из рядов пехоты. Проще были тогда специальные требования от кавалерии, ближе стояла она к действительным боевым потребностям, и развитие духа преобладало в ней над технической стороной дела.

И вот пехотный майор, надев гусарский ментик, явился в Александрийский полк, издавна славившийся в сражениях “яростью ударов”, и тотчас получил эскадрон. Полк был в то время на походе к Шумле, и 12 июля, при селении Чаушкиой, произошло первое дело, в котором Мадатову пришлось участвовать с гусарами. Здесь, на глазах своих новых товарищей, врубился он со своим эскадроном в пехотную колонну — и возвратился назад с турецкой пушкой. Первый бой — и уже право на Георгия! Храбрые александрийцы увидели в Мадатове достойного сотоварища, и положение его в полку упрочилось сразу. Нужно сказать, что Александрийским полком командовал в то время полковник Ланской, убитый в 1814 году под Краоном, человек блистательной храбрости, которой завидовал даже сам Мадатов. Однажды, в десятом году, завязалась жаркая битва под Шумлой. Ланской ввел в дело весь Александрийский полк. Гусары шли на рысях; Мадатов видел, как Ланской ехал перед первым эскадроном, окруженный своим конвоем, в числе которого был юнкер Новинский. Полк уже близко подошел к турецкому ретраншементу, когда Ланской скомандовал: “Марш-марш”. Он первый вскочил в укрепление, и, вырвав

из рук турецкого байрактара знамя, бросил его Новинскому, крикнул: “Юнкер! Вот тебе георгиевский крест!”

Такая беззаветная отвага воодушевила всех александрийцев, и нелегко было состязаться с ними в храбрости. Но Мадатов жадно искал случая выделиться из среды даже таких сотоварищей,— и случай к этому не замедлил представиться.

Это было 26 августа, в генеральном сражении под Батиным, где граф Каменский разбил сорокатысячную турецкую армию. Когда началось дело, Александрийский полк стоял на левом фланге. Офицеры собрались около своего командира, Ланского, и слушали рассказ его про одного майора, получившего при Екатерине небывалую в этом чине награду — Георгия 3-ей степени. Мадатову, бывшему при этом, так захотелось Георгия (награды за Чаукиой еще тогда не вышли), что он обратился к Ланскому с вопросом: что ему сделать, чтобы получить георгиевский крест? Ланской шутя указал на четырехтысячную колонну турецкой кавалерии, шагом выезжавшую из лагеря, и сказал: “Разбей их!” Мадатов крикнул двум эскадронам: “За мной!” — и бросился на неприятеля. И Ланской, и товарищи Мадатова не успели прийти в себя, как два эскадрона русских гусар столкнулись со всей четырехтысячной массой турецкой кавалерии. Неприятель, однако, дрогнул — так стремительна была атака Мадатова,— и лощина на протяжении нескольких верст покрылась трупами изрубленных турок... Бой окончился поздно; войска вернулись в лагерь ночью, а утром 27 августа курьер из главной квартиры привез Мадатову пакет: это был георгиевский крест, пожалованный ему за дело под Чаушкиоем. За Батин его произвели в подполковники.

Отечественная война застала Мадатова уже в звании командира Александрийского гусарского полка, входившего тогда в состав третьей западной армии. С этим полком он участвовал в сражениях под Кобриным, под Городечной, в целом ряде кровопролитных битв на Березине, был произведен в полковники и получил алмазные знаки ордена св. Анны 2-ой степени.

Любимой поговоркой Мадатова в то время было: “Берегу полк, как невесту, но придет час, и я не пожалею ни людей, ни лошадей”. И час этот пробил в роковой день 11 ноября, под Борисовым, когда русский авангард, разбитый и отброшенный, должен был отступать через Березину по узкому, длинному мосту, загроможденному столпившимися на нем обозами и артиллерией. Положение было критическое. Мадатов решился остановить неприятеля, — это было единственное средство спасти остатки нашей пехоты и дать возможность убрать хоть часть застрявшей на мосту артиллерии. Он выдвинул вперед четыре эскадрона александрийских гусар и, проскакав по их фронту, сказал: “Гусары! Смотрите: я скачу на неприятеля! Если вы отстанете — меня ожидает плен или смерть! Ужели вы в один день захотите погубить всех своих начальников?” И, не ожидая ответа, он круто повернул коня, дал шпоры и помчался на неприятеля. Гусары не отстали от него — и, под огнем двадцати орудий, врубились в пехоту. Французские латники, в свою очередь, обхватили русских гусар с флангов и с тыла... Дорого стоил александрийцам этот кровавый бой, но они восстановили честь русского оружия, спасли артиллерию и дали возможность пехоте отступить без больших потерь. Подвиг Малахова был оценен историей. Известный военный писатель, граф Бисмарк, в своем сочинении о коннице называет действия Мадатова под Борисовым — образцовыми. Борисов доставил ему в полковничьем чине золотую саблю, осыпанную бриллиантами.

Война за независимость Германии дала Малахову случаи к новым блестящим отличиям. Первая встреча с французами за рубежом русской земли произошла у него под Калишем, 1 февраля 1813 года. Малахову, с двумя эскадронами гусар, удалось разбить здесь

сильную французскую конницу. Но в эту минуту, когда неприятель дал перед ним тыл, показались два саксонские батальона, которые шли, свернувшись в густую колонну. В пылу одушевления, Малахов тотчас повернул на них; но неприятель был силен и, остановившись, спокойно выжидал атаки. Малахов понял, что сломить такую пехоту трудно. Но военное счастье редко изменяет истинной отваге. Он стал впереди гусар и сам, во главе дивизиона, кинулся на неприятеля... Залп, ответный крик на него: “Ура!” — и гусары врубились в пехоту. Две пушки и саксонское знамя захвачены были с первого удара. Пехота, разорванная в рядах, дралась, однако, штыками, но, смятая и стоптанная, бросила наконец оружие. Два батальона и командовавший ими генерал граф Ностиц были взяты в плен. Малахов получил за этот блестящий подвиг орден св. Георгия 3-ей степени и, таким образом, был одним из весьма немногих офицеров в русской армии, имевших в чине полковника и бриллиантовую саблю, и Георгия на шее.

Затем Мадатов с отдельным отрядом блокировал крепость Глогау, сражался под Люценом, участвовал в нескольких отважных партизанских поисках и был в битве народов под Лейпцигом. Здесь, в пылу одной из атак Александрийского полка, он был жестоко ранен пулей в левую руку, но не сошел с коня и не оставил поля до окончания битвы. Это крайнее напряжение воли дорого стоило Малахову: сильная потеря крови и несвоевременная перевязка настолько ухудшили состояние раны, что болезнь надолго приковала Мадатова к постели. Это было причиной, что он не мог участвовать в кампании 1814 года. Но Мадатов не был забыт: государь пожаловал ему чин генерал-майора и орден Владимира 3-ей степени, а прусский король прислал ему орден.

Посетив Париж уже по заключении мира, Мадатов хлопотал о переводе его в корпус графа Воронцова, оставляемый во Франции. Но в это время уже состоялся приказ о назначении его на службу в отдельный Грузинский корпус. И вот Мадатов, за шестнадцать лет перед тем покинувший родину бедным, никому не нужным сиротой, теперь возвратился в нее правителем трех мусульманских ханств: Ширванского, Шекинского и Карабагского.

С этого момента начинается славная боевая деятельность Мадатова на Кавказе, навеки связавшая имя его с целым рядом выдающихся событий кавказской войны. Войска, предводимые им, проникали в такие места, в которых еще никогда не бывала нога победителей, и где народ не знал, что значит быть побежденным. Его видели в своих стенах неприступные аулы Лаваши и Хозрек; горы Дагестана склоняли перед ним свои непокоренные головы, а Шамхорское поле дало его имени неувядаемый блеск. Ермолов высоко ценил победы Мадатова, но еще выше ставил нравственное влияние, которое он приобретал над побежденными народами и которое было так сильно, что заставляло недавних врагов становиться под знамена Мадатова и идти на бой со своими единоземцами. Так было в Каракайтаге, в Табасарани и Казикумыке, так было и во время персидской войны, в Казахской дистанции. Скупой на награды, Ермолов не жалел их для Мадатова: за Табасарань и Башлы он получил анненскую ленту, за Акушу — алмазные знаки Анны 1-ой степени, за Казикумык — Владимира 2-го класса, за Шамхор и Елизаветполь — чин генерал-лейтенанта и вторую бриллиантовую саблю.

Не все, конечно, подобно Ермолову, умели ценить эту энергичную и плодотворную деятельность Мадатова. На самую память его брошено несколько жестких обвинений, в которых ему не пришлось найти всеобщего оправдания, хотя, конечно, и были люди, лучше понимавшие его и его положение. Следя за его управлением татарскими провинциями, многие и при жизни его и после находили в его действиях нечто азиатское, произвольное и деспотичное, от чего будто бы он сам, уроженец Азии, воспринявший с детства все политические и общественные понятия ее, не мог отрешиться в течение всей

своей жизни. Что в его действиях был этот характер,— оспаривать никто не будет; но ему есть другое, более веское и логическое объяснение. Нужно представить себе этот край, в котором ничто не уважается, кроме силы и власти, край, только что перешедший из рук ханского произвола под господство закона и не утративший ни одной черты в понятиях, которыми объяснялась и поддерживалась деспотичная власть, чтобы понять, что Мадатов, коротко его знавший, только приноравливался к его обычаям и нравам. Так, чтобы вызвать необходимое обаяние своей власти, он, как рассказывают, донося о всех предположенных им смертных приговорах, вместе с тем всегда представлял народу дело в таком свете, что он своей властью казнит и имеет на то право; и это было целесообразно с нравами и понятиями мусульман. Не нужно, притом, забывать и другой стороны деятельности его, той, что знание края давало ему постоянную возможность исправлять ошибки других. “Справедливость,— говорит один из современников Мадатова, бывший вместе с ним позже в Турции,— может быть достигнута только сравнением того, что совершил князь, с тем, чего не сделали или что испортили другие... Грузия была свидетельницей того же, что происходило на моих глазах в Турции. Делались огромные ошибки; князь исправлял их, и в то время, когда им уже были сорваны лавры, являлись распоряжения, мешавшие ему доплести из них венок...”

Падение Ермолова увлекло за собой и его любимого сподвижника. Мадатов сошел со сцены кавказской войны не обиженным только, но глубоко и несправедливо оскорбленным. Имение в Карабаге, оставленное за ним высочайшей волей не без политических расчетов, послужило для Паскевича главным предлогом к его обвинению и создало нарекания, мрачной тенью отразившиеся не только на нем, но и на самом Ермолове,— честность которого уже отмечена историей.

В тягостном и непривычном бездействии пробыл Мадатов в Тифлисе целые пять месяцев. Наконец, через Дибича ему удалось добиться позволения приехать в Петербург. В то время шли уже приготовления к турецкой войне, и Мадатов был прикомандирован к третьему пехотному корпусу, входившему в состав действующей армии. Там, на Дунае, с небольшим отрядом он овладел двумя турецкими крепостями, Исакчей и Гирсовым, и отстоял селение Проводы, расположенное у подошвы Балкан. “Ура! Любезный князь,— писал ему граф Воронцов из-под Варны,— я знал, что герой Дагестана будет героем и в Балканских горах”. Четырнадцать знамен и девяносто восемь орудий были трофеями Мадатова в эту кампанию. И несмотря на все это, неблаговоление Паскевича так сильно отражалось на службе его, что Мадатов за весь этот поход получил только одно “монаршее благоволение”. Наконец, уже в начале 1829 года, он был назначен начальником третьей гусарской дивизии. И вот, на тех самых полях, на которых за двадцать лет перед тем Мадатов получил георгиевский крест, теперь пришлось ему встретиться опять с александрийцами, уже входившими в состав его дивизии. “Ну, слава Богу,— шутил он с гусарами,— мы опять увидим турок. Только вы, братцы, их всех не рубите; за пленных дают по червонцу — сгодится, а лошадей их мы маркитантам за долг отдадим”. И гусары восторженно глядели на того, чье имя давно уже тесно связалось с их полковой славой.

В это. время имя Мадатова почти не упоминалось в реляциях, но популярность его в армии была велика. Вот как описывает, между прочим, один артиллерийский офицер свою встречу с ним в кампанию 1823 года, около Пазарджика.

“Батарея наша поднялась на небольшое возвышение, свернулась в колонну и остановилась для привала над берегом речки. Офицеры собрались на правый фланг, раскинули бурки, и денщики засуетились у походного завтрака.

— Кто это скачет на вороном коне? — спросил один из офицеров, поглядывая на большую дорогу.

— Господа, это какой-то генерал,— сказал капитан и, застегнув лядунку, пошел к первому орудию.

Все встали.

Через минуту подскакал к батарее гусарский генерал, высокий и статный, с белым крестом на шее. Он был молодец в полном значении этого слова.

— Здравствуйте, артиллеристы! — сказал он весело, сдержав коня у зарядного ящика, возле которого стояли офицеры.— Поздравляю вас с войной! Мы подеремся славно — я это вам предсказываю. Надобно только выманить этих мусульманских собак в чистое поле, а тогда и нам, гусарам, будет работа... Я знаю турок, я с ними вырос... Я вам пророчу, господа, что через год вы все вернетесь в Россию с георгиевскими крестами.

Капитан заметил, что без особенного случая трудно заслужить этот крест.

— Какой тут случай! — возразил генерал, играя поводьями своего коня, который так и рвался под лихим всадником.— Была бы охота да отвага! Знаете ли вы, как добываются георгиевские кресты?

И он рассказал о сражении под Батиным.

— Это было дело знатное,— заключил генерал, покручивая свои длинные усы,— оно утешает меня даже под старость. Дай Бог и вам когда-нибудь поработать таким же манером... А пока прощайте! Увидимся под Варной!..

С последними словами он круто повернул коня и поскакал по дороге в Мангалию. Впоследствии мы узнали, что это был известный по необычайной храбрости генерал-лейтенант князь Мадатов, который так блистательно начал и так печально окончил турецкую кампанию”.

Первое дело, в котором гусары Мадатова приняли серьезное участие, было сражение при Кулевче, открывшее, как известно, русским войскам путь за Балканы. На другой день после этого боя Мадатов был послан прервать сообщения разбитой турецкой армии с Шумлой. Турки, заметив движение, выслали из крепости трехтысячную конницу. Этого только и ждал Мадатов. Гусарские полки Александрийский, Ахтырский и Белорусский понеслись в атаку. Командир, из первых врезавшийся в ряды неприятеля, собственноручно вырвал знамя Ахмет-бея, командовавшего конницей в Шумле; другое знамя взяли гусары. После недолгого боя, турки, сбитые с поля, бросились в ближайший пехотный лагерь. Гусары в быстрой погоне пронеслись между двумя передовыми редутами, обдавшими их картечью, и на плечах бегущих ворвались в лагерь. Пехота, застигнутая ими врасплох и не успевшая построиться, частью была изрублена, а частью укрылась во рвах и между палатками.

Подвиг гусар этим не ограничился. Быстрым поворотом направо Мадатов успел отрезать другую пехотную колонну, поспешно отступавшую в Шумлу из соседнего лагеря, и на глазах гарнизона истребил ее так, что лишь ничтожные остатки успели укрыться в тех самых редутах, которые охраняли Шумлу и теперь одни возвышались среди опустевшего, покинутого врагами поля. Оба эти редута смотрели, однако же, грозно... Вооруженные

полевыми орудиями, они имели солидный профиль и глубокие рвы. Атаковать их одной конницей было делом неслыханным. Но Мадатов давно привык к неслыханным подвигам. По одному слову его Александрийский полк в карьер подскочил ко рвам, спешился и с саблями наголо полез на приступ. Редут был взят, и в руках гусар очутилось два знамени и два орудия. Небольшая часть гарнизона успела, однако же, спастись поспешным бегством и укрылась в другом редуте. Неустрашимые гусары, предводимые Мадатовым, бросились туда. Ахтырцы спешились. Сильный батальный огонь, картечь и целый батальон штыков, стоявших на валу, остановил порыв храбрых. Мадатов один подъехал ко рву и, зная турецкий язык, уговаривал их сдаться. Вместо ответа турки дали по нем залп, но в это время подоспела пехота — и редут взят был штыками.

Это дело третьей гусарской дивизии было необыкновенным подвигом. В военной истории не много найдется примеров, где бы гусары, с саблями в руках, брали укрепленные лагеря и штурмовали редуты, защищенные пехотой. Если бы множество блистательных дел в прежние войны с турками, французами и, наконец, на Кавказе давно уже не провозгласили Мадатова баловнем военного счастья, то уже одной этой атаки было бы достаточно для увековечения его известности.

Дибич был в восторге от этого дела. “Мадатов,— писал он государю,— отбросил вышедших из Шумлы полторы-две тысячи турецких всадников на их передовые редуты, гусары вели себя тут самым блистательным образом, особенно Александрийские, предводимые Муравьевым, который собственноручно взял пашинское знамя. Впереди всех находился сам Мадатов, Его гусары, бросившись на редуты, спешились и, действуя саблями, взяли первый из них; другой редут был взят пехотой. Двенадцать знамен и пять орудий были трофеями этого славного дела”.

Вот что отвечал на это письмо государь: “... Что за молодцы эти прекрасные войска, эти дорогие ратные товарищи, и как я сожалею, что более не с ними! Что за геройские полки: двенадцатый егерский и Муромский [Эти полки особенно отличились под Кулевчей.] и храбрые Александрийские гусары! Вот подвиги, которые должны быть отмечены в истории нашей армии!” Государь щедро наградил всех участников сражения; командиры Александрийского и Ахтырского полков получили георгиевские кресты; Муравьев — тоже, обоим полкам пожалованы знаки на кивера за отличие, Мадатов был награжден орденом св. Александра Невского.

Но это был последний подвиг и последняя награда Мадатова. Еще с прошлой зимы князь чувствовал сильную боль в левом боку — следы пережитых им огорчений. Он не обращал на болезнь никакого внимания и, после Кулевчинского боя, остался под Шумлой в составе блокадного корпуса. Между тем, снова и снова сыпались на него нравственные унижения. Интриги, происки, клевета людей, старавшихся, в угоду Паскевичу, чернить сподвижников Ермолова, не оставляли преследование Мадатова и в Европейской Турции. Из-под стен Шумлы он должен был отвечать на разные вопросные пункты, посылаемые ему Паскевичем. по невыносимым обвинениям. Доносы на него вызывались путем в высшей степени бесцеремонным. Так, в крепости Шуше, барабанным боем на улицах приглашали жителей подавать жалобы на князя Мадатова. Особенно досаждало ему дело о незаконном завладении имением в Карабаге, несмотря на то, что у Паскевича в руках были подлинные рескрипты императора Александра, которыми утверждались за ним эти имения. Преследование Мадатова дошло до того, что за небольшие долги, которые он легко мог покрыть собственными средствами, был продан в казну за ничтожную сумму его тифлисский дом, и Мадатов не был даже предупрежден об этом. И все это делалось в то время, когда Мадатов геройски дрался под Шумлой, когда, несмотря на болезнь, в

короткое время проявившую опасные симптомы, он беспрерывно делал поиски в тылу неприятеля.

Но чаша оскорблений наконец переполнилась, здоровье князя рухнуло окончательно. В последний раз он выступил из лагеря 28 августа к городу Тырнову. Очевидцы рассказывают, что, томимый грустным предчувствием, Мадатов как бы нехотя выступал из лагеря и во все продолжение похода был, против обыкновения, не весел, даже мрачен. Погода была сырая, туманная; отряд делал переходы чрезвычайные, по восемьдесят верст в сутки,— и эта экспедиция лишила Мадатова последней силы. Случилось, что на возвратном пути, 31 августа, верстах в пяти от русского лагеря, услышаны были ружейные выстрелы. Мадатов остановил отряд и послал узнать о причине. “Если турки сделали вылазку,— сказал он,— мы ударим им в тыл и отрежем от Шумлы”. Но тут же он начал жаловаться на нестерпимую боль в левом боку, слез с лошади и лег на разостланной бурке. Между тем ординарец возвратился с донесением, что это русская пехота стреляет в цель. Мадатов с большим трудом сел на лошадь и, уже совершенно больной, возвратился в лагерь. 2 сентября открылось у него внезапно сильное кровотечение из горла,— и через два дня его не стало.

Так угасла жизнь, полная сил, энергии и честных намерений, когда Мадатову не было еще и сорока девяти лет от роду. Весть о его кончине глубоко опечалила армию. Дибич почтил память его слезой и сказал знаменательные слова: “В Мадатове наша конница лишилась русского Марата!”

И это быта не фраза. Мадатов обладал замечательной храбростью, которая не бледнела ни перед какой опасностью, ледяным хладнокровием, которое не смущалось никакой неожиданностью, и, что всего реже,— тем нравственным мужеством, которое не пугается никакой ответственности. Смелый в решении, он был необыкновенно быстр в исполнении, и эта-то быстрота служила верной порукой успеха, по-видимому, в самом дерзком, залетном, отважном предприятии. Даже турки — и те сожалели о нем. Великий визирь, в знак уважения к памяти Мадатова, открыл для него ворота неприступной Шумлы и принял в ее стены прах смелого воина. Гроб из лагеря до самой крепости несли на себе попеременно гусары и офицеры третьего пехотного корпуса. У самых ворот Шумлы печальное шествие остановилось. Войска преклонили знамена и оружие, раздалось церковное пение,— и пушечные выстрелы отдали последнюю земную почесть тому, кто так любил внимать им на поле битвы. Когда окончилась лития, ворота отворились — и процессия вступила в Шумлу. Турки, однако же, впустили в город изо всего конвоя только конный взвод Белорусских гусар (тогда полк принца Оранского) с их трубачами. Толпы народа, привлеченные зрелищем пышного погребения русского генерала, сопровождали гроб Малахова до самого кладбища. Печальные звуки труб изредка прерывали глубокую тишину, царившую в толпе, которая сама заботилась о том, чтобы ничем не нарушить мрачной торжественности погребального обряда. Медленно тянулось шествие по узким улицам Шумлы, впервые еще видевшей в стенах своих вооруженного неприятеля, и наконец достигло ограды христианского храма, где могила и приняла бренные останки героя. Впоследствии, по окончании войны, тело Мадатова было перевезено, его женой в Петербург и ныне покоится в Адександро-Невской лавре. Большой четырехугольный мраморный мавзолей покрывает собой прах доблестного рыцаря. Памятник замечателен своей простотой и изяществом; на нем нет ни резьбы, ни вычурных украшений, и только наверху сияет золотой крест, рельефно выделяясь на фоне черно-серого мрамора. С одной стороны его барельеф, изображающий лавровый венок, надетый на рукоять меча. С другой — простая, крупная надпись: “Генерал-лейтенант князь Валериан Григорьевич Мадатов. Родился 18 мая 1782 года. Скончался под Шумлой, 4 сентября 1829 г.” С третьей: “Княгиня Софья Александровна Мадатова, рожденная

Саблукова. Родилась 21 ноября 1787 года; скончалась 4 сентября 1875 года". Супруги, скончавшиеся в один и тот же день, 4 сентября, погребены под одним камнем, навеки скрывшим от глаз людских того, кто, усыновленный Россией, отплатил ей всей горячей преданностью своего сердца, растерзанного людской несправедливостью.

XV. ПЛАНЫ ВТОРЖЕНИЯ В ПЕРСИЮ

В 1827 году, с появлением полях подножного корма, русским войскам предстояло внести войну в пределы Персии. Во всю предшествовавшую зиму, после изгнания персиян из пределов России и замирения ханств, вырабатывался план предстоявшей кампании и приготавливались к ней средства. Так как медлительные действия Ермолова не вполне соответствовали видам императора, то первоначальный план был составлен в Петербурге и сообщен Ермолову для общих соображений. Заключался он в следующих двух проектах:

По первому из них, вслед за прибытием в Грузию двадцатой пехотной и второй уланской дивизий, русские войска, сосредоточенные в Карабаге, тотчас должны были перейти Араке и начать наступательные действия через Агар на Тавриз, имея наблюдательные отряды к стороне Лори и Ардеби-ля. Этим маневром предполагалось отвлечь сюда внимание неприятеля от Эривани, куда между тем должны были направиться главные силы, под личным предводительством Ермолова. Вступив в Эриванское ханство, он не должен был останавливаться для осады крепостей, а оставив перед ними только наблюдательные отряды, продолжать решительное наступление к Нахичевани, Маранду и Тавризу.

Сборным пунктом для главных сил назначалась Дорийская степь. В состав их должны были войти:

Пехота: двадцатая дивизия в полном ее составе. Лейб-гвардии сводный, Тифлисский пехотный и сорок первый егерский полки — все в двухбатальонном составе, и кроме того, восьмой пионерный батальон.

Кавалерия: вторая уланская дивизия, в четырехэскадронном составе, и восемь казачьих полков, из которых два Черноморского войска и шесть Донского.

Артиллерия: Две конные и три пешие роты.

Таким образом, в главном отряде должны были сосредоточиться девятнадцать батальонов, шестнадцать эскадронов, восемь казачьих полков и восемьдесят четыре орудия.

В Карабагский отряд, имевший второстепенное значение, предназначались: три полка Кавказской, гренадерской бригады, Ширванский и Апшеронекий пехотные и сороковой егерский,— все также двухбатальонного состава. Кавалерия должна была состоять из Нижегородского драгунского и трех донских казачьих полков; орудий назначалось сорок восемь.

В Кахетии и на Алазанской линии оставались бы тогда третьи батальоны от полков Грузинского и Ширванского и два казачьи полка. Затем, третьи батальоны от полков Карабинерного, Херсонского, Тифлисского и сорок первого егерского, третьи дивизионы от всех уланских полков, два донские полка, сборный Линейный казачий полк и шесть полевых орудий — должны были образовать главный резерв, который оставался бы в Грузии, под начальством генерала Вельяминова.

Что касается Дагестана, то государь полагал достаточным оставить в крепостях Баку и Дербенте одни гарнизонные батальоны, а весь Куринский пехотный полк, в трехбатальонном составе, и два донские казачьи полка при десяти орудиях, под начальством генерала Краббе, сосредоточить в центральной позиции между Кубой и Старой Шемахой, откуда он мог бы действовать, смотря по обстоятельствам, или в Ширвани, или в Дагестане.

По второму проекту — главные русские силы должны были сосредоточиться в Карабаге и, перейдя Араке через Худоперинский мост, двинуться брямо к Тавризу. Предполагалось, что этим движением Эриванская и Нахичеванская области будут отрезаны от недр персидского государства, и все продовольственные средства, имеющиеся в них, перейдут к другому русскому отряду, который, наступая из Грузии, предназначался собственно для овладения Эриванской крепостью. В этих видах, к войскам, уже стоявшим в Карабаге, должны были присоединиться из Грузии остальные части кавказской гренадерской бригады, и полки: Лейб-гвардии сводный, Тифлисский пехотный, сорок первый егерский, Чугуевский, Белогородский и Борисоглебский уланские, и два Черноморские казачьи. А для взятия Эривани оставалась бы вся двадцатая пехотная дивизия (12 батальонов), Серпуховскии уланский полк и шесть казачьих. Артиллерия размещалась по этому проекту в обоих отрядах поровну, по шестьдесят орудий.

В Петербурге не только считались легко исполнимыми оба эти проекта, но полагалось вполне возможным, даже и без особых усилий, достигнуть при их посредстве важных результатов.

“Выжидая прибытия подкреплений,— писал государь Ермолову,— не следует упускать, однако же, случая, если бы представилась возможность, и ранее овладеть Эриванью, силой ли оружия, посредством ли денег или тайных сношений с эриванским сардарем... Во всяком случае, желательно не дать персиянам опомниться: стало, чем скорее мы появимся у них, тем считаю лучше”.

Ермолов, однако, не согласился ни с одним из предложенных ему проектов.

“Действовать по двум путям чрезвычайно выгодно,— писал он,— но для этого нужно иметь войск значительно более, нежели назначено. Оба пути, по которым предполагают действовать, не имеют между собой никаких сообщений, и потому каждый отряд должен быть настолько самостоятелен, чтобы мог противостоять всем силам неприятеля. Здесь краткость и удобства сообщений совершенно в пользу неприятеля. Из Тавриза он может, с равным удобством для себя, броситься как к Эривани, так и к Асландузу, сосредоточивая свои силы там, где потребуют обстоятельства. Напротив, наши отряды, разделенные едва проходимыми горами, не могут помогать друг другу и каждый должен рассчитывать только на собственные средства”.

Возможность действий главными силами со стороны Карабага Ермолов вовсе отвергал. Бедность страны, по которой войскам пришлось бы двигаться, требовала снаряжения значительных транспортов, а это, в свою очередь, повело бы к раздроблению войск на этапы, так как транспорты тогда нуждались бы в сильных прикрытиях, чтобы не подвергнуться опасности от шахсеванцев и других кочевых народов, богатых конницей.

Действия в этом направлении на Тавриз, по мнению Ермолова, вовсе не отрезали бы сообщений Азербайджана с Эриванской провинцией, да и Азербайджан сам по себе считается изобильнейшей провинцией Персии, так что неприятелю и не встретилось бы надобности получать продовольствие из Эривани. Наконец, овладев Тавризом, отряд все-

таки должен был бы вернуться назад, на помощь к другому отряду, недостаточно сильному, чтобы овладеть Эриванью. Ермолов не думал также, чтобы одно занятие Тавриза могло понудить персиян на какие-либо уступки; напротив, упрочение русских завоеваний покорением крепостей неминуемо должно было заставить их поспешить с заключением мира.

Таким образом, отдавая во всяком случае преимущество первому проекту, Ермолов находил в нем ошибочным то, что в состав второстепенного Карабахского отряда назначены лучшие боевые войска, которые имеют более навыка и опыта.

Петербугским проектам Ермолов противопоставил свой. По его мнению, следовало главные действия направить на Эривань, но с силами гораздо большими, чем предполагал первый петербургский проект, так, чтобы русские войска могли оставлять на своем пути сильные посты для охраны своих сообщений.

Корпусу этому предстояло бы тогда такое разделение: 5 апреля авангард его должен был занять армянский Эчмиадзинский монастырь и учредить там главный этапный пункт до взятия Эривани. Войска же главного отряда, между 10 и 15 апреля, собрались бы в Шулаверах и двумя колоннами направились на Эривань. Здесь одна часть войск должна была остаться для блокирования крепости, а остальные, не останавливаясь, быстро пройти дальше и занять Нахичевань. Отсюда Ермолов предполагал действовать уже сообразно с обстоятельствами, так как в течение июня или около половины июля образ действий персиян должен был бы обнаружиться.

Особый отряд назначался занять Карабаг. Но он должен был быть гораздо слабее предположенного в Петербурге. “Достаточно,— писал Ермолов,— если он будет иметь восемь батальонов и три казачьи полка, при двадцати четырех орудиях. Цель его — охранять наши пределы, прикрывать левый фланг главных сил, наступающих на Эривань, и, смотря по обстоятельствам, содействовать им к овладению Нахичеванью”.

Отряд этот к 15 апреля должен был сосредоточиться к Ах-Углану и перейти сам или выдвинуть свой авангард на ту сторону Аракса, по направлению к Агару, устроив складочный пункт на самой переправе, в особом укреплении. В случае особенно выгодных и непредвиденных обстоятельств, например, внутренних беспорядков в Персии, измены пограничных правителей и тому подобное, можно было решить и дальнейшее наступление его на Тавриз.

План Ермолова основывался на том, что если неприятель всеми силами пойдет в Карабаг (чего, впрочем, ожидать было нельзя, так как он скорее обратится к защите Эривани),— то Карабахский отряд, немного слабейший числом против разбившего персиян под Елизаветполем, будет в состоянии или остановить успехи неприятеля, или, отступая, держаться между Шушой и Елизаветполем. до тех пор, пока главные русские силы не зайдут ему в тыл.

В том случае, если бы Аббас-Мирза обратился на Эривань, навстречу Ермолову,— то персияне должны были бы отделить для наблюдения за Карабахским отрядом значительные силы, чтобы не допустить его действовать в тылу своей армии. Если же неприятель не сделал бы этого и Карабагу не угрожала бы никакая опасность, то Карабагский отряд, оставив в Шуше весь сорок второй егерский полк, должен был идти через Герюсы и Кара-Бабу к Нахичевани, в тыл персиянам.

Не согласился Ермолов и относительно количества войск, которое в Петербурге предположили оставить внутри страны для удержания порядка и спокойствия. Там, например, считали достаточным для Дагестана только одного дербентского гарнизона. Но, по мнению Ермолова, дербентский гарнизонный батальон не был в состоянии охранять ничего, кроме цитадели. На тишину же и спокойствие жителей мог оказать влияние только расположенный близ города батальон Куринского полка, который не допускал табасаранцев и жителей горного Кайтага выходить из гор в сколько-нибудь значительных силах.

“Снять отсюда батальон,— писал Ермолов,— значит отворить ворота в Кубинскую провинцию”. В Буйной менее батальона также иметь было нельзя. Куба, в свою очередь, не могла оставаться без войска, и менее батальона держать там было невозможно. Крепость Баку не имела на Дагестан ни малейшего влияния, но и ее гарнизон должен был быть усилен по крайней мере двумя ротами при двух орудиях,— “иначе может явиться опять какой-нибудь хан, обложит крепость и будет препятствовать пользоваться нам средствами земли”. Таким образом, из всей дагестанской бригады оставались свободными только два с половиной батальона, которые и могли расположиться у Старой Шемахи, как в центральной позиции между Ширванью, Баку и Дагестаном. Наконец, оставить алазанский отряд совсем без артиллерии, как это было предположено, Ермолов опять считал невозможным уже по самому характеру, свойству и духу заалазанских лезгин. Был и еще один пункт, с которым Ермолов никак не мог согласиться,— тот именно пункт, на котором особенно настаивал государь, требовавший, чтобы дивизии или, по крайней мере, бригады действовали бы непременно в полном их составе, отнюдь не раздробляясь по разным отрядам; мера эта казалось ему необходимой особенно по отношению к войскам, прибывшим на Кавказ из России. Против этого мнения Ермолов возражал, что неудобство сводных команд слишком известно, чтобы не стараться избежать их, но что, за всем тем, в Закавказье, более чем где-нибудь, невозможно миновать дробления, и притом именно по отношению ко вновь прибывшей двадцатой дивизии, в которой были люди, никогда не видавшие неприятеля. “Сего,— говорит он,— одного достаточно, чтобы сделать слабым тот отряд, главные силы которого составила бы эта дивизия”.

На основании изложенных соображений, Ермолов составил следующее распределение войск:

Главный корпус, действующий в направлении к Эривани, должны были составлять: Лейб-гвардии сводный полк, три полка Кавказской гренадерской бригады (Карабинерный, Грузинский и Херсонский), Ширванский и Тифлисский пехотные и восьмой пионерный батальон. К ним присоединялись еще четыре полка двадцатой дивизии: Севастопольский, Крымский, и егерские: тридцать девятый и сороковой.

Кавалерия: Нижегородский драгунский полк, вторая уланская дивизия в полном составе, две черноморских и шесть донских казачьих полков.

Артиллерия: пятьдесят два пеших и двадцать четыре конных орудия.

В Карабагский отряд назначались:

Два пехотные полка двадцатой дивизии (Козловский и Нашебургский), егерские полки: сорок первый и сорок второй; три донских казачьих и двадцать четыре орудия.

В Дагестане предполагалось оставить:

Куринский и Апшеронский пехотные полки в полном составе, донской казачий полк и восемнадцать орудий.

В Кахетии и в главном резерве в Грузии должны были остаться те самые войска, которые предназначались петербургским проектом; но число артиллерии значительно увеличивалось; в Кахетию назначалось шесть, а в резерв шестнадцать орудий.

Государь согласился с планом Ермолова и утвердил его 27 января, но с тем, однако, чтобы военные действия начались отнюдь не позже 1 апреля и чтобы конница Карабагского отряда была усилена двумя уланскими полками — Чугуевским и Борисоглебским.

Вместе с тем государь повелел поручить: генерал-адъютанту Паскевичу командование действующим корпусом, под главным начальством Ермолова, которому предписывалось руководствоваться положением о большой действующей армии; генерал-лейтенанту князю Мадатову — Карабагский отряд, генерал-адъютанту Бенкендорфу — авангард главного корпуса; генерал-майору Давыдову — действия с отдельными отрядами, по личному усмотрению главнокомандующего.

Приезд на Кавказ начальника Главного Штаба, генерал-адъютанта Дибича, внес новые недоразумения в отношении плана войны. Между Ермоловым и Дибичем возникает разногласие относительно самого хода кампании. Дибич считал возможным не останавливаться в Нахичеванском ханстве до разъяснений обстоятельств, а в исходе же мая перейти Араке и быстро овладеть Тавризом; если же и отложить занятие этого последнего до осени, то начать движение никак не позже 15 сентября и притом сразу двумя колоннами: главные силы с карабагским отрядом должны были идти от Нахичевани, а дагестанская бригада, замененная в местах своего расположения новыми войсками, с Кавказской линии,— через Агар. Если бы, по овладении Тавризом, неприятель не принял предложенных ему условий, тогда Дибич предполагал склонить на подданство России соседних ханов Хоя, Агара и Ардебиля и вызвать народное возмущение против Каджаров в самом Тавризе. Не удастся это — продолжать зимнюю кампанию и кратчайшей дорогой, через Султание, идти к Тегерану.

Ермолов, напротив, считал решительно необходимым остановиться в Нахичевани и упрочить за собой Эриванское ханство, прежде чем идти к Тавризу, опасаясь оставить в тылу у себя непокоренную Эривань. Мнение его имело сильное основание. Опасность заключалась не в самой крепости, в а том, что эриванский сардарь, конечно, не стал бы сидеть взаперти, вышел бы с конницей в поле и уничтожил бы наши транспорты и все, что двигалось за войсками; следовательно, мало было оставить отряд под Эриванью, надо было еще отделить значительные силы, чтобы противодействовать сардарю. “Не трудно будет прогонять его за Араке,— говорит Ермолов,— но столь же легко он опять будет возвращаться, и коннице его нельзя будет помешать действовать у нас в тылу”.

По взятии Тавриза, Ермолов предполагал расположить войска на зимние квартиры и, в случае надобности, предпринять поход к Тегерану уже только весной 1828 года, и не из Тавриза, как думал Дибич, а со стороны Карабага, через Ардебиль, так как ближайший путь, на Султание, представлял тогда чрезвычайные трудности,— летом от сильного зноя, безводицы и бескормицы, а зимой от глубоких снегов, заметающих всю эту равнину.

Дибич остался весьма недоволен возражениями. “Дальнейшие действия по овладении Тавризом рассчитаны Ермоловым так,— писал он государю 10 марта,— что едва ли можно надеяться наверное кончить войну прежде 1829 года. Сие последнее,— прибавляет он,— служит мне только к вящему удостоверению в том мнении об осторожности и

недостаточной предприимчивости генерала Ермолова, о которых я неоднократно уже доносил Вашему Величеству”.

Возможно с большой вероятностью предположить, что несогласия эти ускорили удаление с Кавказа Ермолова. По крайней мере, в ответ на приведенное письмо государь, 27 марта, отвечал Дибичу назначением Паскевича на место Ермолова. “Я со вниманием прочел предположение о кампании,— писал он,— и решение по этой части предоставляю Вам и Паскевичу. Что же касается осенней кампании, если персияне окажутся несговорчивыми, то необходимо начать ее взятием Тавриза; а оттуда можно действовать согласно предположенному плану. Во всяком случае,— прибавлял государь,— я воспрещаю по той стороне Аракса принятие всякого заявления подданства России; мы можем признать независимость ханств, но не присоединение их к нашей империи; нам достаточно Эривани с кампанией. Удовольствуемся этим и не зайдем далеко в наших расчетах”.

Так план военных действий был готов, все опасности предусмотрены и указаны Ермоловым. Но исполнение досталось уже на долю Паскевича.

XVI. СМЕНА ЕРМОЛОВА И ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПАСКЕВИЧА

Высочайшим приказом, отданным в Петербурге 29 марта 1827 года генерал-адъютант Паскевич назначен на место Ермолова командиром отдельного Кавказского корпуса, со всеми правами, властью и преимуществами главнокомандующего большой действующей армией. Но еще накануне этого дня воля монарха, известная Дибичу, уже объявлена Ермолову. Удаление Ермолова повлекло за собой немедленную смену всех, кто был близок к нему или пользовался его расположением. Оба Вельяминовы отозваны были в Россию, и место начальника штаба занял генерал-лейтенант Красовский, сдавший командование двадцатой дивизией генерал-майору Панкратьеву; помощником начальника штаба, еще при Ермолове, назначен был полковник Муравьев, которого Дибич, как говорят, прочил собственно в начальники штаба, откладывая это назначение лишь до окончания весенней кампании или до осени. Управление гражданской частью и вместе с тем командование всеми резервами, которые должны были остаться в Грузии, вверено новому тифлисскому военному губернатору генерал-адьютанту Сипягину, которого со дня на день ожидали из Петербурга. Двадцать первая пехотная дивизия поручена генерал-лейтенанту князю Эристову, а войска в Кахетии и на Алазанской линии, которыми он командовал,— полковнику князю Бековичу-Черкасскому, вызванному для этого с Кубани. Давыдов остался при армии без всякого назначения.

Место Мадатова, готовившегося начать военные действия из Карабага, предложено было походному атаману Иловайскому, а когда Иловайский решительно отказался от этого назначения, выразив желание сохранить команду только над одними своими казаками,— Карабагский отряд принял генерал Панкратьев; управление же ханствами возложено было особо на полковника князя Алхазова.

Для заведования инженерной частью в действующем корпусе, на случай осады крепостей, Дибич просил о назначении генерал-адъютанта графа Мишо де Баретура, известного еще с отечественной войны, но назначение это не состоялось, и государь прислал на Кавказ начальника инженеров второй армии, генерал-лейтенанта Трузсона. Затем к числу новых начальствующих лиц в Кавказском корпусе принадлежали и два генерал-адъютанта: Константин Бенкендорф и граф Сухтелен,— оба назначенные сюда для участия в персидской войне, оба известные своим образованием, военными заслугами и пользовавшиеся особенным доверием государя. Бенкендорф прибыл еще при Ермолове, Сухтелен ожидался только в июле месяце.

Войска, которые, конечно, не могли не пожалеть старых, любимых начальников, свыкшихся с ними в длинном ряде походов и битв, были воспитаны, однако, в том духе преданности отечеству, который исключает малейший ропот, и начальник уже сформированного тогда авангарда, генерал Бенкендорф, доносил Дибичу, что, при объявлении о перемене главного начальника, отряд его “не изъявил ни малейшего признака неудовольствия, но показал совершенную покорность и ревность в исполнении воинских обязанностей своих”. “Я уверен, по всему мной виденному,— писал со своей стороны и Дибич государю,— что войска здешние в таком устройстве относительно верноподданической их преданности престолу, что никакая подобная перемена не может иметь влияния на их покорность и усердие к службе”.

Нужно думать, что в Персии, напротив, не без удовольствия смотрели на перемены в высшем управлений Кавказским краем. По крайней мере переговоры о мире, затеваемые персидским правительством, носили характер весьма неуступчивый. Еще при Ермолове, в феврале месяце, когда Дибич только что появился на Кавказе, в Тифлис приезжал персидский посол с письмом от тамошнего министерства к графу Нессельроде. Тогда посол этот, при свидании с Дибичем, который считал неудобным отказать ему в приеме, старался оправдать действия персиян поведением русских пограничных начальников. На категорическое заявление ему, что переговоры не могут начаться до тех пор, пока персияне совершенно не признают свою вину в вероломном нарушении мира, что, во всяком случае, переговоры не остановят с нашей стороны хода военных действий, что, к тому же, перемирия Дибич заключить не вправе, за исключением разве того случая, когда персияне в залог искреннего желания мира дали бы те крепости и то пространство земли, которое он, Дибич, почтет нужным от них потребовать,— посол уклончиво сказал, что он не имеет на то полномочия, быть может, рассчитывая, что продолжающаяся зима пока не дозволит русским напасть на персидские земли. Теперь, в апреле, персидское министерство снова вошло в переписку с графом Нессельроде, но поставило вопрос более открыто, соглашаясь уступить России те земли, которые и без того уже, по Гюлистанскому трактату, остались русскими владениями. Переговоры на этих условиях были невозможны; Персии предложили — Араке границей и сорок миллионов контрибуции, которая должна была сделать персидское правительство более осмотрительным на будущее время. Государь тогда же обратил внимание Паскевича на то, чтобы не допускать к переговорам английскую миссию и отклонять ее посредничество. Это была программа, которой Паскевич и должен был держаться неуклонно. Продолжение войны становилось неизбежным.

Паскевич и Дибич находили, впрочем, что военные действия против персиян и не представят особенных трудностей. Внося изменения в план, составленный Ермоловым, Дибич писал государю: “Надеюсь, что возможно будет занять еще в марте месяце окрестность Эривани достаточным авангардом, и тем спасти тамошних армян и средства к продовольствию; что в первых числах апреля могут начаться действия и главных сил на поддержание авангарда и для совершенного занятия ханств Эриванского и Нахичеванского, а если в оных найдется несколько способов, то полагаю возможным еще до знойного времени овладеть Марандом, где, равно как в Хое, находится много армян,— а может быть и Тавризом”. Так казалось ему легко и просто проникнуть во внутренние владения Персии.

Действительность, однако, не замедлила опровергнуть расчеты, не основанные на близком знакомстве с местными условиями края, и показать, насколько основательны были осторожные соображения Ермолова.

Кампания началась с того, что русский авангард, под начальством генерала Бенкендорфа, действительно, в первых числах апреля, несмотря на бездорожье, выступил из Шулавер и с необычайными трудностями перешел Эриванскую границу. В половине месяца он уже был в Эчмиадзине. Паскевич твердо надеялся, что населяющие Эриванскую область армяне, к которым русское правительство обратилось с манифестом, не только будут снабжать авангардные войска обильным провиантом, как то они обещали, тем более, что при авангарде находился армянский архиепископ Нерсес, имевший огромное влияние на всех приверженцев армянской церкви, но и дадут возможность собрать в монастыре большие запасы для главных сил, вступающих в Эриванское ханство.

“Армянский архиепископ Нерсес,— писал государю Дибич,— принял высочайший рескрипт с глубочайшей благодарностью; рескрипт будет читан в церквах и публикован на армянском языке; он ручается за верность и усердие армянского народа и надеется при благоприятном вторжении в Эриванское ханство найти у тамошних армян еще довольно запасов, в чем и я уверен”. Вслед за авангардом готовился выступить со всеми войсками и сам Паскевич; поход назначен был именно на 24 апреля, с тем чтобы в начале мая быть уже около стен Эривани.

Но все эти предположения оказались неисполнимыми, и Паскевичу пришлось пробыть в Грузии до половины мая. Без сорокадневного продовольствия двинуться в неприятельские земли было нельзя, а транспорты оказались неготовыми. Навигация по Каспийскому морю еще не открылась, и транспортировка запасов из Баку через Зардоб и Карабаг не могла быть организована, а в Грузии много запасов достать было невозможно. Между тем от Бенкендорфа шли нехорошие вести: его отряд голодал и рассчитывал на подвоз продовольствия из Грузии; эриванские армяне, естественно, желавшие прибытия русских, которые защитили бы их от неистовства персиян, будучи истощены пребыванием у них в прошлом году персидских войск, не могли вынести и сотой доли того, на что рассчитывал Паскевич. Приходилось заботиться о доставке запасов и в Эчмиадзин.

Перевозочных средств между тем в распоряжении Паскевича также не оказалось. С большим трудом удалось собрать в целой Грузии только до восьмисот арб и отправить их с продовольствием вперед, в Амамлы. Но за этим распоряжением движение войск должно было остановиться: дороги были адские, и двигавшиеся по ним обозы прекращали всякое другое движение. “По горе Акзабиюк,— доносил офицер, посланный для сопровождения транспортов,— тянутся все восемьсот арб, и вся дорога между Шулаверами и Джалал-Оглы загорожена обозами; от беспрерывных дождей пути так испортились, что головные арбы, вышедшие из Шулавер 24 апреля, прибыли в Джалал-Оглы 4 мая, то есть в десять дней сделали только пятьдесят шесть верст”...

Вразбивку двигавшиеся обозы легко могли подвергнуться опасности от неприятеля, тем более, что о врагах никаких определенных сведений не имелось. От Бенкендорфа знали только, что эриванский гарнизон предоставлен собственным силам и что Гассан-хан со своей конницей оберегает Нахичеванскую дорогу. Но где именно стоит эта конница — не было известно, и это обстоятельство заставляло подумать о мерах предосторожности. Следовало опасаться, что смелый Гассан-хан, сделав большой переход, вдруг появится в тылу Бенкендорфа, в Бомбакской долине, и примется за истребление русских транспортов. И вот, чтобы обезопасить следование этих последних, бригада двадцатой дивизии, переброшенная за Безобдал, заняла Амамлы, и с этих пор только тем и занималась, что сопровождала обозы, двигавшиеся взад и вперед между Джалал-Оглы и Эчмиадзином.

Об Аббасе-Мирзе слухи были различные: одни утверждали, что он собрался было идти за Араке и остановился лишь вследствие повелений шаха, который, по совету англичан, решил собрать все оборонительные средства для защиты Тавриза; другие уверяли, что в случае движения русских за Араке, шах, по просьбе своих сыновей, решился дать генеральное сражение на пути к Тавризу и обещал победителя объявить наследником престола; наконец, третьи сообщали Паскевичу, что оба эти слуха не имеют никаких оснований, что план войны персиянами еще не решен и что Аббас-Мирза только что начинает собирать войска в окрестностях Хоя. Неопределенность и неизвестность эта ставили Паскевича в весьма затруднительное положение.

Есть данные предполагать, что и внутренние дела Закавказского края тревожили его. По крайней мере, он обращал внимание князя Абхазова на то, что "отношения наши к карабагцам по прошлогодней их измене сделались довольно щекотливы, и под предлогом действовать в нашу пользу, они могут сообщать вредные для нас сведения неприятелю". И он предписывал ему иметь за населением строжайший надзор.

Немало стоили забот Паскевичу и тайные сношения его с теми тавризскими жителями, которые были недовольны тогдашним положением дел в Азербайджане и только ждали случая восстать против Каджарского дома. Чтобы волновать их умы и в случае надобности вызвать смятение в самом Тавризе, наполненном скрытыми врагами Аббаса-Мирзы, туда отправлен был тифлисский житель, Якуб Ан-шинов, имевший доступ ко многим правительственным лицам, а между тем распространили слух, что он бежал к персиянам. Посланы были из Карабага и другие люди с той же целью. Но Паскевич, видимо, не доверял ни одному из них. "Препятствуйте,— писал он князю Абхазову,— всякому сообществу и знакомству этих людей с Аншиновым. Круг их деятельности один от другого пускай будет, сколько возможно, особый, ибо предатели, чем менее в соединении, тем безопаснее"... События как бы подтверждали его сомнения, и население Тавриза пока оставалось спокойным.

Среди этих забот, непредвиденных препятствий и неопределенных угрожающих слухов, Паскевичу удалось выехать из Тифлиса лишь 12 мая, а Эривани достигнуть только в половине июня, когда давно миновал уже срок, определенный предусмотрительностью Дибича для возможности овладеть даже самим Тавризом, как сказано выше.

Этот суровый урок, продолжавшийся и позже и оправдавший все колебания Ермолова, был необходим Паскевичу, чтобы вывести его на путь более рассчитанных и сообразных с характером местности действий, тот путь, который единственно мог вывести его к блистательному окончанию войны.

XVII. ЗАНЯТИЕ ЭЧМИАДЗИНА

Ранней весной 1827 года, когда карабагский отряд не открывал еще своих действий, авангард действующего корпуса, в составе двух батальонов Грузинского полка, двух батальонов Ширванского и батальона карабинеров, под начальством генерал-адъютанта Бенкендорфа, 30 марта стоял уже в совершенной готовности к выступлению, за речкой Храмом, в деревне Шулаверах, на пути к Безобдалу. Предполагалось скорое выступление его в Эриванское ханство. Главная цель этого движения была определена еще инструкцией Ермолова и заключалась в защите жителей от персиян, и особенно в сборе продовольственных средств в пространстве между реками Абаранью, Гарничаем и Араксом. Авангард должен был занять как можно ранее Эчмиадзинский монастырь, основав там укрепленный складочный пункт, а затем уже действовать, смотря по обстоятельствам, к стороне Эривани или Сардарь-Абада.

2 апреля, в шесть часов утра, Бенкендорф повел авангард через Акзабиюкские горы. Бездорожица стояла полная. На первых же семи верстах обоз застрял в невылазной грязи, и батальоны, закинув за спину ружья, должны были тащить его на руках. Целый день пробились войска с обозом, так как дорога, никогда на разрабатывавшаяся, теперь, при весенней распутице, была решительно непроходимой. Только к вечеру отряд перевалил наконец через горы и стал по ту сторону их, у Самисского поста. Обозы ночевали в горах и прибыли уже на следующий день после полудня.

В Джалал-Оглы присоединились к авангарду еще батальон тифлисцев, два казачьих полка и двенадцать орудий третьей легкой роты Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. Туда же 5 апреля прибыл генерал-адъютант Дибич и сделал войскам смотр, пропустив их мимо себя походным порядком.

Пехота и кавалерия с их обозами прошли спокойно; но с артиллерией вышла целая история. Новицкий, тогда молодой артиллерийский офицер, впоследствии один из видных деятелей Кавказа, рассказывает, что ремонтные лошади, только что приведенные со степей, в первый раз увидели орудия и упряжь, и каждого степного аргамака приходилось подводить к запряжке нескольким людям. Лошади тряслись, били, но кое-как к приезду Дибича были запряжены, и орудия одно за другим вошли в линию. Когда приехал Дибич и прошла мимо него пехота,— очередь дошла до батареи, которой командовал подполковник Эристов. Но едва раздалась команда: “Шагом”,— как первый взвод понесся в карьер, орудия и ящики рассеялись в разные стороны, врезались в пехоту и опрокидывались. Пехоте приказано было остановиться, составить ружья, поднимать пушки, ловить передки. Прочие артиллерийские взводы были задержаны на все время, пока первый приводили в порядок, они этим воспользовались, взяли лошадей под уздцы и сделали небольшое учение. Почва была растворена, колеса глубоко врезались в землю,— лошади утомились и пошли спокойнее.

“Вот вам и чудесные войска Алексея Петровича, всеми расхваливаемые,— заметил Дибич Бенкендорфу.— Какого успеха можно ожидать от подобной артиллерии!”

Но артиллерия эта впоследствии, однако, постояла за себя, и командир именно этой бригады, полковник Долгово-Сабуров, заслужил в Персии георгиевский крест. Сам Паскевич писал по взятии Эривани великому князю Михаилу Павловичу, что “ему, как генерал-фельдцейхмейстеру, конечно, приятно будет услышать о подвигах артиллерийских офицеров, которые покрыли себя славой в нынешней кампании уже при трех осадах”.

Прямо со смотра войска двинулись в поход, и начался трудный перевал через высокий снежный хребет Безобдала. Утро было прелестное. “Мы любовались,— говорит один из участников похода,— на снежные утесы Безобдала, поднимающие свои головы к небу из черного плаща окутывающих их лесов. Горы еще были покрыты снегом, и на белой пелене их красивыми световыми переливами ярко горели и играли лучи восходящего солнца. Самая вершина Безобдала скрыта была в облаках, которые, клубясь по всему гребню, уподобляли его огромному жертвеннику в храме вселенной. Безмолвная и пустынная долина серебряной скатертью расстилалась у преддверия этого храма, где человек является такой ничтожной точкой”.

Солдатам пришлось преодолеть неимоверные трудности. С первых же шагов на крутой Безобдал (“бес его дал” — толковали между собой солдаты), обозы и орудия остановились. Пришлось выпрячь лошадей и тащить тяжелые телеги и пушки на людях. Чем выше поднимались войска, тем более встречали снега и туманов и, наконец вошли в

облака, где дорога идет над самым обрывом лесистой пропасти, казавшейся бездонной. К тому же погода с полудня, когда отряд еще не поднялся до половины горы, стала портиться, а к вечеру поднялась вьюга; ветер, дувший до сих пор навстречу, перешел в настоящий вихрь, повалил густыми хлопьями мокрый снег, перемежающийся с дождем, дрогнуло, загудело и застонало ущелье. Дорога окончательно пропала. Ночь захватила батальоны в горах, и они вынуждены были, среди суровой погоды, остановиться под открытым небом.

Нужно было удивляться терпению и мужеству, с которыми кавказские солдаты переносили трудный переход и эту адскую ночь; в рядах их только и слышались походные песни да веселые шутки старых солдат над молодыми, ежившимися от холода. И Бенкендорф восторженно говорит, об этом в своем донесении: “Довольно было одного слова, одного взгляда, чтобы целые роты бросались в воду и в грязь и на плечах вытаскивали обозы”. Николай Павлович своим царским словом почтил эту невидную, но исполненную трудностей службу кавказского солдата: офицерам, участвовавшим в походе, объявлено высочайшее благоволение, нижним чинам — по рублю, по фунту мяса и по чарке водки на человека.

7 апреля войска спустились наконец в Бомбакскую долину. Неприятеля нигде не было видно, а потому, чтобы стянуть обозы и дать солдатам хоть немного оправиться, Бенкендорф сделал дневку, рассчитывая наверстать потерянное время на следующий день усиленным переходом. Для наблюдения за дорогой со стороны Амалов был выдвинут авангард из одной роты пехоты, сотни казаков и двух орудий, под командой князя Северсамидзе.

Кругом, однако же, все было тихо, и отряд 9 числа, уже с меньшими трудностями перевалившись через отлогий Бомбакский хребет, вступил в неприятельскую землю.

Внезапное вторжение русских и быстрое движение их к Эчмиадзину в такое время года, когда персияне считали горные хребты решительно недоступными не только для артиллерии, но даже для легких партий, произвели в татарском населении всеобщую панику. Ликовало только то ничтожное число армян, которых персияне не успели угнать за Араке и которые теперь, в этом смелом движении русских, видели залог близкого падения персидского владычества, столько веков тяготившего над несчастной страной.

Эчмиадзин, резиденция армянского патриархата, принадлежит к древнейшим монастырям христианства. Ему насчитывают более чем полторы тысячи лет, и им справедливо гордится армянский народ, давно уже утративший свою самостоятельность и подпавший под власть по очереди всех пронесшихся над Азией завоевателей; но ревниво сохранил он веру отцов своих. Церковь получила, таким образом, великое значение в судьбах армянского народа, проникнув собой все проявления его жизни; в ее самостоятельности и силе лежали все надежды армян на лучшее будущее. С течением веков, когда она, среди бедствий войн и разрушения, служила единственным прибежищем, она стала крепкой духовной связью, сплотившей в одно неразрушимое целое весь армянский народ, рассеявшийся по лицу земли, и голос главы ее с одинаковой силой звучал для детей древнего народа в далекой Индии, как и под самыми стенами Эчмиадзина. В деспотической стране, где всякая власть и всякое влияние так непрочны, мимолетны, власть независимого армянского патриарха возвышалась незыблемым колоссом, которого уже не могли свергнуть никакие политические бури. Власть католикоса стояла выше и прочнее всякой светской власти. В то время как последнюю оспаривали между собой различные претенденты, в то время как она переходила из рук Артакуни к Сассанидам, от Сассанидов к византийцам, в то время как нахарары отступничеством или насилием

старались вырвать ее друг у друга, власть церковная покоилась на незыблемом основании. Обладание Эчмиадзином, этим жизненным пульсом Армении, отдавало, следовательно, в руки русских ту силу, которой можно было управлять народной массой армян и подготовить в ней надежного и верного союзника. Необходим был только человек, который живым, пламенным словом мог бы расшевелить дремавшие, под гнетом векового ига, народные силы. Таким человеком в описываемую эпоху был, имевший неотразимое влияние на умы современников, армянский архиепископ Нерсес, впоследствии верховный патриарх и католикос Армении.

Личность Нерсеса весьма замечательна. Во время персидской войны ему насчитывали уже шестьдесят шесть лет; но годы не охладили энергии и бодрости святителя, готового пожертвовать всем, чтобы только увидеть освобождение отечества. Паскевич просил его сопровождать отряд до самого Эчмиадзина, с которым соединялись у него все светлые воспоминания его долгой жизни, в котором он получил свое образование, постригся в иноки и из простого монаха, еще в конце прошлого столетия, возвысился до сана архиепископа. Он управлял Эчмиадзином в трудное время цициановских войн и сумел тогда приобрести неограниченное доверие народа, заставив самих, мусульман охранять монастырь от покушений на него своих единоверцев.

Присутствие при русских войсках Нерсеса одушевляло армянский народ, доводило в нем чувство патриотизма до подвигов героизма и самопожертвования, которым удивлялся сам неприятель. Летописи тех времен занесли на свои страницы, например, следующий случай.

Приближаясь к Эчмиадзину, все думали, что персияне будут защищать монастырь, как защищали его во время Цицианова. Но обстоятельства на этот раз слагались иначе. Носились слухи, что монастырь разграблен, но что небольшой гарнизон, в триста-четыреста человек, занимавший его, получив известие о приближении русских, отступил на Абарайскую равнину, где собрана вся персидская конница, предававшая уничтожению продовольственные средства и перегонявшая армян на правый берег Аракса.

Нужно было проверить эти известия, и Нерсес отправил с похода одного армянина, по имени Оганеса Асланьянца в Эчмиадзин, со словесным поручением к тамошним монахам. Но Оганес попался в руки персидского разъезда и был подвергнут допросу.

— Куда ты ехал? — спросил начальник отряда.

— В Эчмиадзин, ага, с поручением от нашего архиепископа.

— В чем же заключается твое поручение?

— Я армянин, ага, и потому не имею права открыть тебе то, что мне поручено под величайшим секретом.

— Хорошо,— сказал хан. — Но что побудило тебя изменить своему государю и передаться русским?

— Вера и святой Эчмиадзин, который соединяет оба народа,— твердо отвечал Оганес.

Хан хлопнул в ладоши. Вошли несколько татар и, по знаку своего повелителя, повалили армянина на землю. Суд персидский короток: явился палач, и несчастному юноше отрезали нос и вырвали глаз.

— Так наказываются изменники,— сказал хан.

И он снова потребовал, чтобы Оганес открыл ему свое поручение.

— Нет,— отвечал армянин.— Я обязан открыть его только Эчмиадзину.

— Так ты не сделаешь этого, дерзкий гяур! — вскричал разъяренный хан, и приказал вырвать у несчастного язык.

Измученного пыткой армянина бросили в поле без всякого призрения. Когда он опомнился, персиян уже не было. Облитый кровью Оганес кое-как ползком добрался до Эчмиадзина. Лишившись языка, он, однако, не потерял способности говорить, хотя говорил медленно и не совсем внятно, и мог все-таки выполнить поручение. Весь русский отряд принял живое участие в судьбе Асланьянца. Бенкендорф исходатайствовал ему золотую медаль и сто рублей пожизненной пенсии.

13 апреля, в прекрасный солнечный день, русский отряд поднялся на последний горный отрог перед Эчмиадзином и стал. Отсюда перед ним развертывалась величавая картина. Среди пустынной неприятельской страны внезапно воздвигались перед глазами солдат высокие купола христианских церквей, величественно возносившие свои золоченые кресты в вышину лазурного неба, и вместе с этим небом отражались они в светлых струях потока. Это и был древний первопрестольный армянский монастырь. Вблизи наружность его, однако же, не поражала ни богатством, ни красотой. Массивные, прочные здания носили яркий отпечаток прожитых ими веков и смотрели угрюмо и мрачно; в сравнении с Русскими монастырями и лаврами Эчмиадзин являлся бедным, хотя и величественным памятником первых времен христианства. Это был убогий схимник перед митрополитом в облачении.

Зато природа и окрестности монастыря были прекрасны в полном значении этого слова. Серебряным венцом горели и сверкали на севере вековечные снега Алагеза; на востоке в смутных очертаниях виднелась знаменитая крепость, прославленная русским оружием, а там, вдали, выделяясь на знойной синеве горизонта, вставали на юге седые вершины библейского Арарата. Эти места были для русских полны воспоминаний исторической славы. Здесь подвизался пылкий Цицианов; здесь в грозном бою, на стенах неприступной крепости, полегла костьми храбрая дружина Гудовича; здесь праздновали свои набеги Несветаев, Портнягин, Симанович; здесь, на этих самых полях гремело русское “ура”, и казалось, тени погибших на них предков витали над головами новых завоевателей, в прозрачной синеве безоблачного неба.

Благоговейная тишина, невольно водворившаяся в рядах войск, прерывалась только тихим шепотом солдатской молитвы. Но вот в соборном храме Эчмиадзина ударил колокол, и мерно потекли его могучие звуки. В торжественном облачении вышло из ворот немногочисленное духовенство монастыря навстречу своему архипастырю и русскому отряду с приветственными кликами: “Да здравствует Николай! Да здравствует повелитель и государь Армении!” Бенкендорф сошел с лошади и, при пении священных гимнов, принял благословение пришедших иноков и приложился к чудотворной иконе Спасителя.

“Воссиял день избавления,— сказал маститый архипастырь Нерсес, обращаясь к эчмиадзинскому монашеству,— и вековая слава Армении вновь оживает на земле под сенью креста, с которым идут к нам русские братья. В призывном голосе вождя их мы видим указание Бога, располагающего судьбами царств и народов. Внимайте этому голосу,— и днесь, аще услышите его, не ожесточите сердец ваших!”

Он облачился в святительные ризы и на коленях, горячо и пламенно молился о спасении родины, о ниспослании ей долгих и счастливых дней под мощным покровом России,— молился о том, чтобы армянский народ “оказался достойным своего бытия и воскрешения из мертвых”... На чуждом и непонятном для русского войска языке совершалась божественная служба, но все молились усердно, как может молиться только человек вдали от родины.

“Молитва,— говорит один замечательный военный писатель,— под небесным сводом, в живом храме божьего мира и его красот, с челом, освещенным лучами солнца,— сколько в ней торжественной силы и наития, волнующего душу! Она свята и торжественна. Она звучит во всеуслышание стихиям. Ей вторит плеск волны, шум ветра, голос птицы, витающей в поднебесьи. Бесконечная синяя даль кругом расширяет смысл слов ее в самую вечность. Это она, солдатская молитва, которая до Бога доходит и за Богом не пропадает”.

По окончании молебствия войска прошли церемониальным маршем и в час пополудни, 13 апреля, заняли эчмиадзинский монастырь. С противоположного берега Абарани, следил за этим торжественным вступлением русских в центр религиозной жизни армянского народа сильный конный отряд, еще накануне наблюдавший за движением русских войск. Во главе его стоял Измаил-ага, один из старейших куртинцев.

Монастырь представлял теперь вид пустынный. Ворота его были завалены камнями, и из всего эчмиадзинского монашества осталось только двадцать два инока,— остальные все увезены были в Эривань; как ни торопился отряд Бенкендорфа, он все-таки опоздал: большинство населения было переселено за Араке. В опустевшем крае нечем было довольствовать войска, надежды на богатые запасы Эчмиадзина также исчезли. С другой стороны, на скорое прибытие транспортов из Грузии не было никакой надежды. Отряд очутился в отчаянном положении. Паскевич впоследствии обвинял в этом Нерсеса, приписывая бедствия авангарда его честолюбивому стремлению, несмотря ни на что, поскорее занять кафедру в Эчмиадзине, Монахи указывали, впрочем, на две деревни: Нижние и Верхние Айгланлы, покинутые жителями, где, по их соображениям, должно было быть значительное количество хлеба, зарытого в землю. Чтобы разыскать его, Бенкендорф послал две роты Ширванского полка, под командой майора Юдина.

Нижние Айгланлы оказались занятыми персиянами. Укрепившись в садах, за высокими глиняными стенами, встретил неприятель ширванцев сильным ружейным огнем. Это были первые выстрелы начинающейся кампании. Послав известие обо всем Бенкендорфу, Юдин повел решительное наступление и взял деревню. На помощь к нему скоро пришли остальные роты его батальона и две роты карабинеров с сотней казаков и орудием, под командой майора Хамуцкого. Юдин прочно утвердился в деревне.

Войска перерыли деревню, осмотрели окрестности — нигде не было ни зерна хлеба. Юдин порешил идти в Верхние Айгланлы, позже покинутые жителями и не успевшие, как казалось, побывать в руках хищных курдов. На пути, на Абаранском поле, стоял неприятель. Волнистая местность скрывала его силы, но видно было, что он не намерен уступить дороги без боя, и едва отряд тронулся, как курды уже завязали перестрелку. Здесь-то, в первый раз в эту кампанию, русские увидали знаменитую конницу. Не говоря уже о красоте кровных куртинских жеребцов, внушительное впечатление производили сами наездники, исполинский рост которых казался еще громаднее от высоких головных тюрбанов, украшенных перьями и золотом. Когда куртин, гремя и сверкая оружием, бешено несся на своем жеребце, крутя над головой гибкую пику, увенчанную пучком дорогих перьев, он имел поражающий вид, способный, по крайней мере на первых порах,

озадачить всякого противника. Донцы поддавались этому впечатлению каждый раз, когда на них налетала курганская конница,— и давали тыл... Кучки застрельщиков также невольно сжимались плотнее. Все это не останавливало, однако, общего наступления. Единственное орудие, бывшее в распоряжении русского отряда, смело выносилось вперед, меткой картечью заставляло куртинцев покидать преследование и расчищало дорогу стрелкам. Командовавший орудием прапорщик Отрада был героем этого дня, и Бенкендорф в своем донесении отдает полную справедливость как его отваге, так и распорядительности Юдина и Хамуцкого.

Усилия русских войск не послужили, однако, ни к чему: Верхние Айгланлы были так же пусты, как и Нижние, и отряду пришлось возвратиться в Эчмиадзин с пустыми руками. К тому же из этой экспедиции Бенкендорф вынес,— как писал он,— печальное убеждение, что донские казаки не могут противостоять пылкости куртинских наездников.

Недостаток продовольствия, угрожавший всему авангарду серьезной опасностью, встревожил Паскевича. В Грузии тотчас сформирован был воловий транспорт. Но так как дожди испортили дороги, и медленность движения обозов была такова, что на переход в тридцать верст, от Шулавер до Акзабиюкского поста, требовалось целых десять-двенадцать дней, причем от изнурения гибло множество скота,— то сформированы были два вьючных транспорта: один на волах, другой на лошадях двух конных черноморских полков, и немедленно отправлен в Эчмиадзин, под прикрытием батальона тридцать девятого егерского полка. Этой мерой имелось ввиду достигнуть и другую цель — усиление отряда Бенкендорфа двумя боевыми казачьими полками, видавшими у себя на Кубани и не такого неприятеля, как курды.

Но пока транспорты шли, Бенкендорф не мог оставаться без продовольствия, и должен был попытаться искать его в окрестностях Сардарь-Абида, с тем, что если не будет никакой возможности овладеть самой крепостью, то направиться через Талынь к Арпачаю и добыть съестные припасы из Карсского пашалыка.

16 апреля весь отряд, оставив в Эчмиадзине гарнизон из батальона ширванцев и сотни казаков при двух орудиях, выступил в поход. Дорогу к Сардарь-Абаду преграждала сильная куртинская конница, отступившая сюда с Абаранского поля. Чтобы отвлечь ее в сторону, Бенкендорф приказал Ширванскому батальону двинуться по эриванской дороге. Часть неприятельской конницы, действительно, направилась в ту сторону и окружила батальон. Граф Бельфорт, командовавший ширванцами, свернул их в каре и два часа отражал яростные нападения неприятеля.

Между тем Бенкендорф продолжал движение вперед. Верстах в двенадцати от Эчмиадзина находится урочище Карасу-Баши, болотистое и густо заросшее крупным камышом. Тут ждала русских отборная куртинская конница под личным начальством Гассан-аги и Измаила хана Айрюкского. Уверенные, что на болотистом грунте, гибельном для кавалерии, легкие и пылкие лошади их легко возьмут верх над казачьими маштаками, изнуренными трудным походом и притом тяжело навьюченными, куртинцы обскакали отряд с левого фланга и стали на высотах около истоков реки Карасу.

Бенкендорфу в первый раз пришлось наблюдать здесь эту типичную восточную конницу. Но он не поддался производимому ею впечатлению и, несмотря на недавно испытанную донцами неудачу в сражении с ней, предвидел, что действительная нравственная сила не на стороне разбойничьего племени. Мужественно выступил он навстречу врагам. Три сотни Карпова полка, по его команде, развернули фронт и направились на центр неприятеля; за ними непосредственно двинулись влево две сотни из полка Андреева и

стали обходить неприятельский Фланг; а далее бегом шли две роты тифлисцев, при которых находилось орудие. Пехота не хотела отставать от конницы, и стрелки, хватаясь за стремена, бежали наряду с казаками. Ободренные горячим словом Бенкендорфа, не раз водившего в бой их храбрых отцов, стыдясь малодушия, выказанного ими в деле при Айгланлы, донцы на этот раз с необычайным бесстрашием ударили на курдов. Полковник Карпов и флигель-адъютант граф Толстой — первые врезались в ряды персиян и увлекли за собой казаков. Изумленный неожиданно-стремительным ударом тех, которых его учили всегда презирать, неприятель не выдержал натиска и, сбитый с поля, понесся назад, не успевая даже подбирать тела убитых, которые так и остались разбросанными по всему протяжению боевого поля. Измаил-хан, видя поражение центра, сам бросился в толпу своих бегущих наездников, собрал их и возобновил бой. Но в эту минуту на него наскакал урядник Кульгин, любимец Бенкендорфа, и ударом пики сбил его с лошади. Храбрый Измаил-хан очутился в плену. Весь правый фланг неприятеля между тем был сбит двумя казачьими сотнями, которые вел подполковник Андреев. Тифлисские стрелки, приспевшие вместе с казаками, усилили поражение беглым огнем, а тут подоспело орудие — и выстрел картечью внес новое смятение в ряды врагов. Этим моментом воспользовался Карпов и с громким криком “ура” снова ударил в пики. Тогда вся куртинская конница бросилась бежать и рассыпалась по полю, преследуемая казаками почти до ворот Сардарь-Абада.

“Казаки,— писал об этом сражении Дибич государю,— горя желанием загладить неудачу, понесенную ими в последнем деле при Айгланлы, с невероятным мужеством бросились на курдов, в одно мгновение опрокинули и погнали их”.

Славный день этот стоил казакам двух убитыми и семнадцати ранеными.

Это был еще первый пример поражения отважных курдов донцами, и с этих пор имя Бенкендорфа получило грозную известность во всем Курдистане. Какое значение справедливо придавали современники этому небольшому делу, можно судить уже по тому, что грузинский князь Меликов, посланный в Петербург с известием о победе, как один из наиболее отличившихся участников его был награжден лично императором орденом св. Владимира с бантом и принят корнетом в Лейб-гвардии казачий полк.

Пока донцы управлялись с курдами, подошел весь отряд и расположился бивуаком в трех верстах от Сардарь-Абада.

Был уже темный вечер, когда глазам бывших впереди казаков и татар предстала огромная черная масса, рельефно выделявшаяся на темном небе. То были стены Сардарь-Абада. Бенкендорф, с пятью ротами пехоты при четырех орудиях, в ночном мраке тихо и осторожно приблизился вслед за казаками к персидской твердыне, разведывая, не удастся ли захватить врасплох сонную крепость... Но вдруг сверкнула молния выстрела, глухой удар потряс окрестную долину, и огненное ядро, описав яркую дугу на небе, упало перед русскими колоннами. Движение было открыто. Бенкендорф послал парламентера с требованием сдачи крепости. Комендант отвечал, что он лучше согласится быть погребенным под ее развалинами. Тогда батарея, вызванная вперед, открыла огонь.

Неприятель, со своей стороны, отвечал учащенной пальбой из всех орудий. Здесь едва не был убит и сам Бенкендорф,— граната с потерянной трубкой пролетела от него так близко, что обсыпала его пороховой мякотью.

В крепости от русских выстрелов вспыхнул между тем пожар; там поднялась суматоха. Все ожидали немедленного приступа, но Бенкендорф, удостоверившись в силе

укреплений, ограничился рекогносцировкой и на следующий день отошел к Эчмиадзину. Вопрос о продовольствии остался не решенным, и приходилось принять другие меры. На Арпачай, за покупкой хлеба у турок, был послан полковник князь Северсамидзе с шестью ротами пехоты, с казачьим полком и тремя орудиями. Нужно сказать, что Паскевич со своей стороны еще раньше отправил поручика Блома в Арзерум к сераскиру, чтобы получить от него разрешение на покупку припасов во владениях султана. Но и эта попытка оказалась неудачной. Сераскир согласился со своей стороны не мешать русским, но предложил провести все дело так, чтобы ни ему, ни карсскому паше как бы совершенно не было известно о производимых русскими закупках; он ссылался на то, что отказал уже персиянам в покупке свинца и пороха в турецких владениях, что Турция находится в дружеских сношениях с Россией и Персией, и потому помогать той или другой он почитает противным международным правам и нейтралитету.

Неудача этой попытки усложнялась еще тем, что казачий конвой, сопровождавший Блома до турецкой границы, постигла горькая участь. На возвратном пути, в окрестностях Цалки, близ озера Топорвани, он был внезапно атакован какой-то скитавшейся шайкой турецких разбойников и, 15 апреля, погиб в неравной битве. Из семнадцати донцов, бывших тут, сотник Миронов и с ним семь казаков были изрублены, пять человек раненых захвачены в плен, и только четверым удалось спастись в густых камышах Топорванского озера. Говорили потом, что головы убитых казаков были доставлены к Шериф-аге и что он отправил их в Эривань к сардарю.

Столь же мало успеха имели и сношения князя Северсамидзе с карсским пашой. Паша говорил откровенно, что если бы он и разрешил покупку, то транспортов все равно не пропустит подданный Турции, но тайный сторонник эриванского сардаря,— владелец Магазбертский, Ага-Шериф. Во всяком случае” закупка продовольствия без участия этого последнего производиться не могла, и Северсамидзе обратился к нему, но Шериф отвечал, что он не даст своего согласия без позволения эриванского сардаря. Таким образом, и миссия Паскевича, и экспедиция Бенкендорфа не повели ни к чему, и князь Северсамидзе с трудом достал хлеб только для своего отряда.

К счастью для Бенкендорфа, 23 апреля утром прибыл наконец в Эчмиадзин давно ожидаемый вьючный транспорт на волах из Грузии. На десять дней войска были обеспечены, и Бенкендорф решился немедленно, не ожидая возвращения Северсамидзе, продолжать наступление. В тот же день вечером войска двинулись к Эривани.

XVIII. АВАНГАРД ПОД ЭРИВАНЬЮ (Генерал Бенкендорф)

Знаменитая крепость Эривань стоит на скалистом, возвышенном берегу быстрой речки Занги, древнего Гураздана, верстах в тридцати к востоку от Эчмиадзина. Неприступны ее твердыни, и о них не раз уже сокрушались все усилия русских войск.

К концу апреля 1827 года, в то время, как Бенкендорф совершал свои движения по окрестностям Эчмиадзина и главные действующие силы русских готовились вступить в Эриванское ханство, в крепости тревожно ожидали блокады.

На помощь персиян надежды не было: ли шах, ни Аббас-Мирза еще не были готовы к военным действиям, и крепость должна была рассчитывать только на свои собственные силы против грозного наступления русских. Отряд Бенкендорфа был, правда, слишком малочислен, чтобы страшиться его нападения; но он мог блокировать крепость и подорвать ее нравственные силы до тех пор, пока надвинутся грозные силы Паскевича —

и безвозвратно решат участь Эривани. И много мучительных дум прошло за эти дни в седой голове сардаря.

Слух о каждом отважном движении Бенкендорфа в окрестностях Эчмиадзина в тот же день достигал Эривани. Но вот, в роковое утро 24 апреля, запыхавшийся гонец примчался с известием, что русские идут по направлению уже к самой крепости. Часу в девятом утра, действительно, послышалась вдали трескотня ружейной перестрелки: эриванская конница встретила русские войска в ближайшей деревне и, спешившись в садах за высокими заборами и рвами, пыталась остановить наступление. Целый час держалась она с непривычным для персиян упорством и стойкостью. Две роты грузинских гренадёр, наконец, штыками выбили ее из засады, прошли через всю деревню и на глазах эриванских жителей заняли высокий курган Муханат-Тапа, лежавший против юго-восточного угла укреплений. Со стен Эривани загремели пушки; гарнизон сделал сильную вылазку, и два батальона сарбазов, выйдя из южных и восточных ворот, заняли сады, облегавшие с той стороны городские предместья. Снова загорелся бой. Грузинские гренадеры пошли штыками очищать предместья, и к вечеру большая часть садов окончательно перешла в руки русских; неприятельская пехота ушла в город, конница отступила по дороге к. Нахичевани.

Оставив роту грузинцев в садах и две роты карабинерного полка на кургане Муханат-Тапа, Бенкендорф собрал остальные войска и расположил их лагерем против южной стороны Эривани. Отсюда он и начал постепенное обложение крепости.

В ночь на 25 апреля Ширванский батальон занял Ираклиеву гору, лежащую на западной стороне Эривани, и подполковник Эристов поставил на ней свою батарею. С первыми лучами солнца загремела по крепости канонада. Первая же граната обрушила одну из крепостных амбразур, сбив неприятельское орудие; вторая — зажгла дворец эриванского сардаря. В крепости ударили тревогу, и стены Эривани покрылись сарбазами. Завязалась упорная перестрелка, и гром пушечных выстрелов покрыл своими перекатами дикие крики, которыми, видимо, хотели ободрить себя персияне. Часам к одиннадцати утра канонада стихла. Ширванцы возвратились в лагерь, а на Ираклиевой горе остался наблюдательный пост из двух рот карабинеров и четырех батарейных орудий, под командой майора Хамуцкого.

Наступившее затишье было, однако, непродолжительно. В четвертом часу пополудни поднялась тревога уже в русском лагере. Сильный персидский отряд из пехоты и конницы, под личной командой эриванского коменданта Сават-Кули-хана, скрытно пробрался через восточное предместье, вошел в сады и неожиданно ринулся на грузинскую роту. Внезапно атакованная значительными силами, рота подалась назад. Но скоро на помощь к ней подоспели из лагеря остальные части первого батальона, под командой полкового командира флигель-адъютанта полковника барона Фридерикса. Персияне в свою очередь отступили и, заняв крепкую позицию, прикрытую с фронта глубоким, скалистым оврагом, упорно сопротивлялись наступавшим русским войскам. Завязался жаркий бой. Начальник отрядного штаба полковник Гурко, прискакавший из лагеря на шум битвы, приказал роте карабинеров, занимавшей Муханат-Тапу, вступить в дело. Капитан Колпинский, командовавший ею, искусным движением вышел в тыл неприятелю, и только тогда персияне, очутившиеся между двух огней, обратились в бегство. Напрасно некоторые части их пытались держаться в садах и на кладбище,— пункты эти взяты были штыками, и гренадеры остановились только под стенами крепости. Поражение неприятеля было полное, и потери его были весьма велики: сто неприятельских тел осталось на месте. Пленных не было, ибо, как доносил Бенкендорф, гренадеры никому не давали пощады. Дибич — все еще находившийся в Тифлисе —

поставил, однако, это обстоятельство на вид Бенкендорфу и просил его на будущее время удерживать солдат от напрасного кровопролития. Русские потеряли из строя восемнадцать человек, и между ними убитым подпоручика князя Вачнадзе.

На следующий день другой батальон ширванцев, под командой майора Юдина, был послан занять северный форштадт крепости. С барабанным боем и распущенным знаменем ширванцы прошли, под сильным пушечным огнем, мимо всего восточного фаса крепости, вступили в форштадт и заняли базар, мечеть и все предместье до самого берега Занги. На высоте Тапа-Баши стала деревня и открыла канонаду по крепости. Неприятель отвечал со всех орудий и бросил бомбы; но, к счастью, неприятельские выстрелы не причиняли осаждавшим никакого вреда. 27 числа, окончательно был занят и восточный форштадт. Теперь крепость была обложена со всех сторон.

Войска расположились так: три роты Тифлисского полка остались в Эчмиадзине, где собраны были больные и все лишние тяжести авангарда, в лагере, против южного фаса Эриванской крепости, стали: весь Грузинский гренадерский полк, три орудия и казачьи полки Андреева и Карпова, и тут же поместилась главная квартира Бенкендорфа. Сам он поселился в саду, в китайской беседке с белым мраморным фонтаном, в той самой, где год перед этим содержался князь Меншиков. Далее, курган Муханат-Тапа заняла рота карабинеров и сотня казаков; против восточного фаса стоял второй батальон Ширванского полка с двумя орудиями, под командой подполковника Волжинского; а между ширванцами и карабинерами, служа связующим звеном между ними, расположилась рота тифлисцев. Затем, против северного фаса действовал первый батальон Ширванского полка и четыре орудия, под командой майора Юдина, а против западного, на Ираклиевой горе,— три роты карабинеров, два орудия и пятьдесят казаков, под командой майора Хамуцкого. От последнего отряда был выставлен пост для охраны моста через речку Зангу.

Блокада Эривани началась. Бенкендорф имел, между прочим, поручение попытаться склонить сардаря на добровольную сдачу крепости. Но в успех этого предприятия едва ли кто верил. Сардарь обладал огромными богатствами, и деньгами подкупить его было невозможно. Оставалось одно средство, которое могло оказаться действенным,— это обещать ему, что, в случае присоединения Эриванского ханства к России, он будет оставлен в том же звании сардаря, с сохранением всех его доходов. Исполнение этого обещания Дибич считал весьма удобным и выгодным: сардарь был восьмидесятилетний старик, не имел сыновей, и со смертью его все обязательства по отношению к нему кончались бы сами собой. Но сардарь отказался и от этого. Неподатливость его объяснялась, между прочим, тем, что он знал о затруднительном положении русского отряда, не имевшего обеспеченного провианта и не находившего его в окрестностях. Небезызвестно было ему, что солдаты одно время питались кореньями. Рассказывают, что, как бы в насмешку над положение Бенкендорфа, он прислал просить у него бутылку шампанского. Этого добра в отряде оказалось вдоволь, и генерал отправил сардарю целый ящик вин с дорогими закусками. Тот должен был принять этот подарок и, по обычаю Востока, отблагодарил Бенкендорфа персидскими сластями и фруктами.

Неудача переговоров с сардарем не уничтожила, однако, надежд отворить крепость посредством золотого ключа, и Бенкендорф завел сношение с комендантом Эривани, Сават-Кули-ханом. Этот последний оказался сговорчивее, однако, не хотел дать решительного ответа до личного свидания с Паскевичем.

Так проходил день за днем, среди перестрелок и стычек; но в течение этого времени не было попыток прорвать блокирующую линию русских. Вдруг, в ночь с 29 на 30 апреля, на

пикет, охранявший мост через Зангу, бросилась персидская конница — Бог весть откуда появившаяся, но, видимо, намеревавшаяся прорваться в крепость. По первым же выстрелам гарнизон, со своей стороны, сделал сильную вылазку, и пост был окружен густыми толпами неприятеля. Пятьдесят человек солдат, с поручиком Петровым во главе, видя многочисленность персиян, заняли бугор неподалеку от моста и здесь выдержали геройский бой с неприятелем, в двадцать раз превосходившим их силами. Пока Петров отбивался, крепость гремела изо всех орудий северного и западного фаса, чтобы не допустить на место боя подкреплений. Батареи майоров Хамуцкого и Юдина стали отвечать, а взвод карабинеров двинулся на выручку Петрову. Но там уже дело окончилось. Петров не только отстоял свой пост, но смелым ударом в штыки разогнал неприятеля: сарбазы возвратились в крепость, конница ушла обратно на ту сторону Занги. С наступлением дня русские могли убедиться, что попытка неприятеля стоила ему громадных потерь: все поле между бугром и крепостью было завалено персидскими телами. В русском отряде потерь не было, что объясняется отличным выбором позиции и самой смелостью внезапного перехода от обороны к наступлению. Петров, в чине поручика, получил за это дело золотую шпагу — случай в то время исключительный.

Как ни ничтожна была сама по себе попытка неприятеля прорваться в крепость, но она наводила на мысль, что курды стояли где-нибудь поблизости. Предположение это имело основания; давно уже носились слухи, что Гассан-хан выступил из Сардарь-Абада со всей своей конницей, а в ночь со 2 на 3 мая казачьи разъезды видели большие огни за Араксом. Это обстоятельство могло выгодно отозваться на блокаде. По счастью, в этот самый день и в русский лагерь прибыли подкрепления. То были два конные полка черноморского войска, доставившие из Грузии вьючный транспорт на своих лошадях. И Бенкендорф воспользовался подкреплением, чтобы заставить Гассан-хана держаться подальше от русского лагеря. 4 мая барон Фридерикс с двумя ротами грузинских гренадер, с одним орудием и двумя сотнями черноморцев послан был на разведку к стороне Гарничая. Верстах в пятнадцати от лагеря, по Нахичеванской дороге, отряд этот внезапно был атакован Гассан-ханом. Поручик Коцебу, обер-квартирмейстер Кавказского корпуса, один, без конвоя, поскакал известить о том Бенкендорфа; но пока Бенкендорф вел из лагеря всю свою конницу, Фридерикс не только успел отразить нападение, но и заставил Гассан-хана отступить обратно к Сардарь-Абаду. Войска воротились в лагерь. Прошло три-четыре дня,— Гассан-хан появился снова, и на этот раз уже на самой Занге. Вечером 8 мая получил Бенкендорф об этом верные сведения и в ту же ночь решился жестоко наказать неприятеля.

Три казачьи полка, два черноморские и один донской, подкрепленные частью пехоты, в полночь вышли из лагеря навстречу неприятелю. Но Гассан-хан вовремя проведал об этом движении и, спешив свою конницу, занял крепкую позицию в углу, образуемом слиянием Аракса и Занги. Выгода внезапного нападения исчезла для Бенкендорфа, и ему приходилось или брать переправу открытой силой, или перейти реку правее, там, где не было бродов. А Занга была в разливе и со страшной силой несла свои мутные волны. Он выбрал последнее. Но едва казаки стали спускаться к реке, как неприятель, заметив обходное движение, отступил и стал на другой позиции, за глубокой и быстрой речкой Абаранью, через которую бродов уже не было вовсе. Медлить атакой было, однако, невозможно. Донской подполковник Карпов, знакомый персиянам с Карасу-Башинского дела, во главе полка первый бросился вплавь.

То было проявление безумной отваги. Абарань неслась со страшной быстротой, и лошадей относило течением далеко в сторону. Вода доходила до груди казаков, и на поверхности ее виднелись только конские головы да казацкие шапки. Но донцы плыли, все ближе и ближе к берегу. За ними следовала грозная черноморская сила. И вот донцы

на берегу. Вся курганская конница разом обрушилась на них. Но подоспела черноморская бригада и дружным ударом “на слом” опрокинула курдов. Тогда началось страшное истребление неприятеля. Волны Аракса поглощали тех, которые пытались переплыть на его правый берег, а казачьи пики уничтожали все, что спасалось по левому берегу. Жестокое преследование продолжалось до самого Сардарь-Абада. Часть неприятельской конницы успела вскочить в крепостные ворота, другая, отбитая в сторону, загнана была в турецкие владения. Никогда еще курды не испытывали такого страшного поражения; вся дорога, на протяжении двадцати пяти верст, была покрыта мертвыми телами, трупами лошадей, разбросанными вещами, седлами, оружием и даже палатками. В руках казаков остались вьюки самого Гассан-хана. Потеря неприятеля была чрезвычайно велика. Сперва ее считали в триста человек, но впоследствии курды сами говорили, что потеряли убитыми и утонувшими более шестисот всадников, и в том числе многих важных лиц из Карадага и Хоя. Знаменитый куртинский старшина, Гуссейн-Ага, и карапапахский владелец, Мурсал, пропали без вести; утонули ли они или были убиты,— но тел их так и не было найдено. В плен взято было пятьдесят три человека — все раненные, и в числе их тесть самого эриванского сардаря. К общему сожалению, сам Гассан-хан ушел невредимым; но была минута, когда он был уже окружен казаками и спасся только благодаря необычайной легкости своего коня. Со стороны русских потеря была совершенно ничтожна, изрублены черноморский сотник Ильяшенко и один казак, да двое черноморцев ранены.

Вестнику об этом славном деле, донскому есаулу Грекову, Паскевич собственноручно навесил орден св. Владимира с бантом.

Разбитый на Занге и Абарани, неутомимый Гассан-хан с необычайной быстротой успел собрать новый пятитысячный конный отряд и стал за Араксом, у Бей-Булаха, в самом центре армянского населения. Уже 14 мая, через три дня после рокового для курдов боя, полковник Гурко видел за Араксом большое число палаток. Армяне, ездившие туда, сообщили, что там стоит с карапапахами Наги-хан, к которому стягивались остатки разбитых войск и новые толпы. Получены были в то же время известия, что Гассан на место Измаил-аги, попавшего в плен, возвел в достоинство айрюкского хана родного брата его, Ибрагима, и поручил его наблюдению дорогу от Эривани вплоть до Амамлов и Беканта. Айрюкцам приказано было опустошить провинции, жечь армянские деревни, истреблять хлеба и убивать тех армян и татар, которые будут заниматься поливкой посевов, вопреки воле сардаря. За каждую русскую голову им обещано было по сто, а за армянскую по пятьдесят рублей. Гассан принимал систему войны самую опасную для блокадного корпуса, и нельзя было не удивляться его энергии и воинской опытности, которыми он, как выражается Паскевич, “далеко превосходил опрометчивые расчеты наследного принца”.

Не довольствуясь действиями на берегах Аракса, Гассан-хан всячески старался сообщать известия о них в самую крепость, чтобы поддержать в гарнизоне бодрость и энергию. В течение двух-трех дней на русских аванпостах пойманы были один за другим семь лазутчиков, пробиравшихся в крепость. А в ночь с 14 на 15 мая пыталась пробиться в нее, между ширванским лагерем и курганом Муханат-Тапа, целая конная партия. Ее отразили тифлисцы.

Гарнизон, со своей стороны, проявлял необычайную деятельность и частыми вылазками старался приковать внимание русских войск к крепости, чтобы тем дать Гассан-хану полную свободу действий. В ночь на 16 мая сарбазы произвели энергичную атаку против Ираклиевой горы; 17 мая вылазка повторилась; а пока карабинеры стойко выдерживали нападение, персидская конница пыталась прорваться из крепости с другой стороны, мимо

кургана Муханат-Тапа. Прискакавшие туда казаки разбили ее и гнали до крепостного рва. Одного пленного привезли с собой в лагерь и от него узнали, что партия сопровождала курьера, который должен был передать Гассан-хану какие-то депеши. 19 мая опять тревога — и опять сильная вылазка.

Бенкендорф нашел необходимым усилить пост Муханат-Тапа ротой Тифлисского полка, с одним орудием; но главное внимание его все-таки было обращено за Араке, откуда доходили недобрые вести. Бежавшие в русский лагерь армяне умоляли его о помощи, говоря, что Гассан-хан угоняет все христианское население внутрь Персии. Отходить далеко от крепости Бенкендорф не имел возможности, тем не менее, вся русская конница приблизилась к Араксу и стала высылать летучие наблюдательные партии.

Распоряжение это оказалось очень удачным и скоро принесло богатые плоды. Так, 21 мая Бенкендорф отрядил четыре сотни черноморцев, под начальством войскового старшины Вержбицкого, для нападения на татар, пришедших с прикрытием из Даралагёза в деревни, лежащие на речке Кара-Булак.

На следующий день, на рассвете, двенадцать человек татар с двадцатью вьючными быками нечаянно наткнулись на сильный пост, высланный этим отрядом. Сопротивление было бесполезно, и татары сдались без выстрела. Вержбицкий, присоединив к себе пост, выступил тогда далее, предполагая впереди близкое присутствие неприятеля. Пройдя не более четырех верст, он нашел конную партию в сто человек, со значительным количеством вьюков, засевшую в овраге. Татары открыли сильный огонь.

Казаки спешились и окружили врагов. Был тут один армянин. Он представил татарам всю бесполезность непосильного сопротивления, и партия положила оружие. Казаки взяли девяносто человек пленных и значительное количество быков.

Вслед за тем открыты были еще две конные партии, каждая по пятьдесят человек; одна стояла около деревни Чадкран, другая шла с вьюками к селению Башкент, лежащему за речкой Кара-Булак. Посланные за ними две сотни казаков не могли догнать уходивших всадников, но им удалось захватить несколько человек в плен и отбить нескольких лошадей и более ста быков, навьюченных пшеницей и разными вещами.

25 мая, будучи в Эчмиадзине, Бенкендорф получил известие, что Гассан-хан, с небольшим конным отрядом, расположился на правом берегу Аракса, против удобнейшего брода, и мешает жителям возвращаться на левый берег в свои селения. Бенкендорф немедленно собрал отряд и на следующий день, в пять часов утра, был уже в деревне Феда, в одной версте от Аракса. Там армяне сказали ему, что Гассан-хан действительно стоял вблизи с сильным отрядом, при котором были три пушки, но на рассвете поспешно ушел вниз, по направлению к Сардарь-Абаду.

Чтобы узнать действительные силы Гассан-хана, Бенкендорф предпринял рекогносцировку и, оставив на левом берегу батальон егерей и орудия, сам со всеми казаками перешел Араке.

В двух верстах от берега встретилось ему селение Хан-Мамат. Он занял его и отрядил Вержбицкого с тремя сотнями казаков вперед для наблюдения за персиянами.

Скоро Вержбицкий дал знать, что он наступает на неприятеля. Бенкендорф немедленно отправил на помощь к нему Донской казачий полк подполковника Карпова. Но прежде чем этот последний подошел,— с черноморцами случилась беда. Дело в том, что

Вержбицкий, старый и опытный воин, один их лучших представителей Черноморского войска, на этот раз оплошал. Неприятель сделал перед ним фальшивое отступление к горам и завел преследовавших казаков в каменистые, наполненные оврагами места, где они не могли даже развернуться. Несмотря на то, Вержбицкий, увлеченный храбростью, бросился на врагов и опрокинул было их правый фланг,— как вдруг массы конницы, бывшие в засаде, ударили на него с тыла...

В глухих оврагах черноморцы внезапно очутились охваченными всей четырехтысячной конницей самого Гассана. Они заметили опасность только тогда, когда уходить из-под ударов уже было поздно. Сам Вержбицкий, донской сотник Ушаков и с ними более ста черноморцев были изрублены; остальные в беспорядке поскакали назад. Но горе тем войскам, которые побегут от куртинской конницы,— редкий тогда избегнет ее горячего преследования. Поражение черноморцев было бы еще решительнее, если бы в этот момент не подоспел Карпов с донцами. Он остановил курдов и дал возможность остаткам черноморцев выбраться из западни, откуда никто из них уже не чаял выхода.

Воодушевленный успехом, Гассан-хан перешел Аракс и напал на татарские селения, чтобы перегнать их в. Персию. Бенкендорф вовремя подоспел сюда со всей своей конницей и отстоял татар. Гассан-хан был отражен и ушел снова за Араке. Частная неудача, конечно, не могла отразиться на общем ходе военных действий; она принесла даже некоторую пользу тем, что курды все-таки были спугнуты со своего гнезда у Бей-Булаха и отодвинулись дальше к горам, а это дало возможность одному из множества татарских племен, обитавших на Эриванской территории, именно целому Шадлинскому султанству, перейти на русскую сторону. Бенкендорф вернулся в лагерь.

Блокада Эривани шла между тем своим чередом, и русские батареи время от времени принимались громить ее вековые стены. Взирая на грозную позицию русского авангарда, гарнизон начинал уже падать духом. Напрасно эриванский сардарь, стараясь ободрить персиян, указывал им на прежние блокады, говоря, что русские скоро отойдут от крепости. Сам он мало верил этому и отправлял из города в Казбин все драгоценности, в том числе золотую луну, снятую с эриванской мечети. Мера эта еще более повергла в уныние и гарнизон, и жителей. Вылазки из крепости прекратились; в городе обнаружился в значительной степени недостаток жизненных припасов, а к этому присоединились еще гнилые горячки, от которых смертность достигла ужасающей цифры. Ходили слухи, что сардарь намерен был с небольшим конвоем прорваться из Эривани, и Бенкендорф обещал пятьсот червонцев тому, кто схватит его живого.

По словам очевидцев, наступило лучшее время, чтобы овладеть Эриванью, но Бенкендорфу приказано было ограничиться только блокадой и отнюдь не домогаться покорения крепости.

Положение Эривани с каждым днем становилось все хуже и труднее, и сардарь попытался наконец привести в исполнение свое намерение — вырваться из крепости. Это было 6 июля. Персияне внезапно сделали вылазку и напали на пост, занимавший Ираклиеву гору. Но пока карабинеры отбивались,— на всех постах усилена была бдительность, чтобы, под прикрытием этой вылазки, сардарь не бежал из крепости. Персияне это заметили, и вылазка кончилась пустой перестрелкой.

Так прошло время до 15 июня, когда в блокадном лагере появился сам Паскевич. А вслед затем, на смену Бенкендорфу, прибыла двадцатая пехотная дивизия, под командой генерала Красовского.

Константин Христофорович Бенкендорф, начавший походом к Эчмиадзину свою боевую кавказскую службу, принадлежал к числу весьма замечательных военных деятелей России первой четверти нашего века. Он был один из тех прославившихся в эпоху наполеоновских войн партизанов, на которых с глубоким вниманием должен остановиться каждый военный историк.

В тревожные, бурные времена, Бенкендорф появлялся всюду, где только начиналась война и слышались выстрелы. А между тем, в своей молодости он совсем не готовился к военному поприщу. Представитель одной из лучших, старинных эстляндских фамилий, он получил солидное образование, говорил почти на всех европейских языках и посвятил себя вначале исключительно дипломатической карьере. И в то время, как старший брат его, Александр Христофорович, впоследствии всемогущий шеф корпуса жандармов и один из приближенных к императору Николаю Павловичу людей, дослужился в военной службе уже до генеральского чина,— Константин Бенкендорф, состоявший при министерстве иностранных дел, получил звание камергера. Это было, впрочем, и последнее служебное повышение его на гражданском поприще. Наступил 1812 год, и Бенкендорф охотно променял свой камергерский ключ на скромный чин армейского майора и стал в ряды защитников отечества. Когда он приехал в Тарутинский лагерь, Кутузов предложил ему поступить в один из кавалерийских полков; но Бенкендорф, мало знакомый с фронтовой службой, просил назначить его в летучий отряд барона Винценгероде, действовавший в окрестностях Москвы и Можайска. В этом-то отряде, под руководством опытного генерала, он узнал военное дело и вскоре проявил такие боевые способности, которые быстро образовали из него лихого партизана. В отечественную войну он получил георгиевский крест и чин подполковника.

В 1813 году, когда началось освобождение Германии, Бенкендорф командовал уже самостоятельным отрядом, с которым и не расставался до самого заключения мира. С ним он прошел через всю Германию и Францию, ознаменовав свой путь целым рядом блестящих партизанских дел, которые доставили ему чин полковника и звание флигель-адъютанта, потом генеральский чин и орден св. Георгия 3-его класса. В то же время он сумел вызвать в подчиненных ему казаках любовь и доверие, которые сохранил до самой смерти; немецкое имя Бенкендорфа пользовалось среди донцов такой популярностью, которой могли позавидовать многие донские уроженцы, не говоря уже о просто русских офицерах, командовавших партизанами. Сам Бенкендорф объясняет это своей любовью к казакам и умением действовать на их нравственную сторону. “Безграничное самолюбие,— писал он императору Александру,— есть одно из отличительнейших свойств казаков, и я этим пользовался. В виду регулярных войск, из одного соревнования с ними, они готовы на все, и трудно себе представить такую лихую, молодецкую атаку, как под Жюилье (в январе 1814 года), когда казачий полк Жирова шел в атаку справа, полк Сысоева — слева, а два эскадрона павлоградских гусар в середине...”

После французских войн Бенкендорф командовал некоторое время драгунской бригадой, а затем, зачисленный по кавалерии, возвратился к своей дипломатической деятельности и был назначен чрезвычайным посланником ко двору короля Виртембергского.

Дипломатические занятия не могли, однако, погасить в нем воинственного духа. Приобретя военную опытность и имя, почетное в войсках, он ожидал только случая, чтобы снова явиться на свое любимое поприще. И вот, едва началась персидская война, как он, не колеблясь, решается оставить семью, прекрасный климат Германии, почет, которым был окружен при королевском дворе, и пишет государю письмо, прося для себя назначения в Кавказском корпусе. Император Николай вполне оценил благородный порыв отважного генерала, и, посылая его, еще осенью 1826 года, в Грузию, вместе с тем

назначил своим генерал-адъютантом. Назначение его на Кавказ было дано ему, однако, с тем, чтобы, по окончании войны, он немедленно вернулся в Петербург.

Бенкендорф приехал в Тифлис в самый разгар интриг и доносов Паскевича. По своему положению при Дворе, ему естественно было принадлежать к сторонникам Паскевича, чем Ермолова. Тем не менее он отнесся с подобающей справедливостью к сплетням о масонских и архилиберальных тенденциях, будто бы обуявших весь Кавказ, и писал своему брату, шефу жандармов, что все изветы на Ермолова лживы. Письмо это было показано императору.

Паскевич, согласно с желанием самого государя, поручил Бенкендорфу командование авангардом,— положение, которое в ермоловских войсках обыкновенно принадлежало Мадатову. Украшенный Георгием на шее, пылкий, отважный, он быстро овладел любовью и уважением своих подчиненных и повел их к победам.

XIX. ПАСКЕВИЧ НА АРАКСЕ

После замедлившихся приготовлений к военным действиям, Паскевич выехал наконец, 12 мая 1827 года, из Тифлиса, окруженный блестящим конвоем из пятисот человек грузинских и армянских князей лучших фамилий. Дибича тогда уже не было на Кавказе; он выехал из Тифлиса еще 30 апреля. И Паскевич был теперь полным и самостоятельным распорядителем вверенного ему края.

В Шулаверах он осмотрел полки, уже готовые к походу, и отдал приказ выступать. 13 мая войска пошли эшелонами, но подвигались вперед чрезвычайно медленно. Дороги были еще так плохи, что сам Паскевич, ехавший в легкой коляске, едва в три дня сделал тридцать верст и добрался до Акзабиюкского поста. Отсюда он писал государю, что понимает теперь, почему тяжелые транспорты проходили этот путь в десять и более дней.

Вообще, знакомясь с обстоятельствами, в которых жило Закавказье, Паскевич научился многому и принимал меры, необходимость которых еще недавно ему не была понятна. Действующие войска он усиливал: из Нальчика, с Кабардинской линии уже шли к нему два батальона Кабардинского полка, и в то же время формировался конный армянский легион в Тифлисе. Там, 15 мая, в армянском соборе совершилась торжественная церемония освящения армянского знамени, а 17 мая дружина уже выступила в поход к Эривани. На пути ее поднималось армянское селение и присоединялось к своим братьям. Скоро дружина насчитывала в своих рядах более тысячи всадников, “пылавших,— как доносил Паскевич,— духом верности и преданности к России”. Трудно изобразить восторг их, когда, впоследствии, перед их глазами встали святые стены Эчмиадзина, на которых тихо колебалось русское знамя.

В тот день, как армянский легион выступал из Тифлиса, 17 числа, Паскевич был еще в Акзабиюке. Там случилось одно обстоятельство, прибавившее уже к тревожным заботам о необеспеченном положении авангарда под Эриванью новые.

В главную квартиру приехал курьер из Карабагского отряда, от генерала Панкратьева, с депешами еще от 7 числа, чрезвычайной важности. В них говорилось о смерти персидского шаха, будто бы скончавшегося за несколько дней перед тем в Тегеране; известие это подтвердилось в тот же день и частным путем, совершенно с другой стороны, из Нахичевани.

Известия эти, основанные на слухах, не были достоверны; но с часу на час можно было ожидать, что они подтвердятся официальным путем, и тогда для России создалось бы совершенно иное положение. Смерть шаха, в которой не было ничего невероятного по самой преклонности его лет и по тем тревогам, которые пришлось ему пережить за последнее время, могла совершенно изменить русскую политику и повлиять на самый ход военных действий. Слишком хорошо известны были последствия, какими всегда сопровождается в Персии смерть царствующего государя, чтобы не глядеть с опасением на будущее. С большой вероятностью можно было ждать, что в Персии произойдут серьезные замешательства, что за раздорами многочисленных шахских сыновей поднимутся междоусобия и мятеж народный разольется от ворот Тегерана до русской границы. Могло случиться прежде всего, что один из сонаследников, ближайший по местопребыванию к сокровищам покойного отца, раньше других захватит вместе с ними власть и корону, как сделал сам Фетх-Али-Шах по смерти дяди, Ага Мохаммед-хана,— и тогда Аббас-Мирза, отвлеченный от столицы войной, мог быть легко оттеснен и от престола. Паскевичу представлялась сложная задача решить, как должен он поступать в смутных обстоятельствах, которые могли возникнуть в Персии: поддерживать ли Аббас-Мирзу и с ним трактовать о мире, если он на первое время восторжествует над другими претендентами на шахский престол, или же принять предложения того из претендентов, который покажет себя непритворно расположенным к России, допустит ее влияние и будет притом настолько силен, чтобы поддержать свои обещания на деле.

Но если бы исчезла всякая надежда на возможность восстановить порядок и единодержавие в земле, раздираемой различными честолюбцами, Паскевич предположил во всяком случае принять под русское покровительство все смежные с новой русской границей ханства на тех же условиях, на которых некогда были приняты в подданство ханы карабагский, ширванский и другие; он даже соглашался дать им права несколько большие, оставив им совершенную политическую независимость, лишь бы только владения их заслоняли новые приобретения России от всякого покушения персиян.

Все недоумения Паскевича, о которых он писал государю, были разъяснены впоследствии распоряжениями из Петербурга, которые вместе с тем должны были послужить программой для действий Паскевича и на будущее время при всяких обстоятельствах. “В случае междоусобной войны и всеобщего безначалия,— писал ему граф Нессельроде,— Персия легко может подвергнуться совершенному разрушению. Не будет существовать никакого правительства, и мы поставлены будем в недоумение, с кем начать переговоры или установить верные сношения. В таком положении дел, когда все погружено будет в замешательство и расстройство, не следует принимать никакого участия во внутренних раздорах, ни поддерживать ни того, ни другого соискателя престола, а быстро продолжать военные действия, перейти за Араке и, главным образом, занять Энзели, чтобы утвердиться на берегу Каспийского моря. В этом пункте держаться до тех пор, пока Персия будет волнуема междоусобиями, предлагая постепенно господствующей стороне мир и возвращение как всех завоеваний на правом берегу Аракса, так и самого Энзели, с тем, чтобы Персия уступила России Эриванское и Нахичеванское ханства и заплатила военные издержки”.

И относительно прочих ханств государь не был согласен с мнениями Паскевича. Если бы ханы, пользуясь безначалием, пожелали отторгнуться от Персии и сделаться независимыми, то Паскевич не должен был ни возбуждать их к подобной решимости, ни отклонять от нее. Единственное обещание, которое он мог им сделать — это обещание убежища в России в том случае, если бы опасность принудила их оставить ханства и удалиться в Грузию. Государь постановлял непреложным правилом — всемерно уклоняться от всяких обещаний, внушений и воззваний, которые могли бы возложить на

Россию какие-либо стеснительные обязательства в будущем; он требовал границы по Араке и не допускал никаких других соображений, могущих завлечь далее этой, ясно определенной цели.

Ответ этот пришел, однако, лишь впоследствии, когда Паскевич находился уже под Эриванью и когда достоверно стало известно, что слух о смерти шаха ложен. Теперь же Паскевич шел вперед, готовый к действиям, но еще не уверенный, какие действия ему предстоят. Обгоняя войска и любуясь их молодецким видом, он, впрочем, писал государю: “Надеюсь с Божьей помощью, что персияне раскаются до истечения пятимесячного срока в том, что дерзнули объявить войну, и почетный мир будет подписан в стенах Тавриза”. Из Гергер 3 июня Паскевич уехал, оставив войска позади, и приказал следовать за собой налегке только лейб-гвардии Сводному полку, полку донских казаков и армянской сотне с двумя орудиями. Он торопился в Эчмиадзин, чтобы до прибытия туда войск ознакомиться на месте с положением дел и безотлагательно принять необходимые меры к дальнейшему наступлению.

8 июня Паскевич уже был в Эчмиадзине.

Здесь встретил его посланный от Аббаса-Мирзы с письмом и новыми предложениями мира, впрочем, весьма уклончивыми. Персияне не шли далее уступок Ленкорани и Баш-Абарани, то есть владений, которые давно уже принадлежали России. Паскевич оставил письмо без ответа, а посланного приказал задержать, считая неуместным самое появление его в русском лагере.

“Аббас-Мирза еще не государь Персии,— сказал он посланному,— пусть его величество, шах, сам пришлет доверенного сановника и через него объявит мне свои предложения”. Очевидно, посланный приезжал только разведать о русских силах. Он скоро и переменил свою политику, стараясь выдать себя за человека, приверженного к русским, готового содействовать им своими связями и к овладению Сардарь-Абадом, и к возмущению сильного авшарского племени, кочевавшего возле Урмийского озера. Паскевич окончил все подобные разговоры словами: “Мы никого не обманываем, и сами в обман не дадимся”.

Войска подходили к Эчмиадзину и становились лагерем. Вся батарейная артиллерия тотчас была отправлена под Эривань, чтобы прибытием своим устрашить гарнизон, а если комендант расположен сдать крепость, то доставить ему для того благовидный предлог. Бенкендорф давно уже писал Паскевичу, что Сават-Кули-хан только ожидает русского главнокомандующего, чтобы войти с ним в непосредственные сношения. Но заявления со стороны коменданта были только хитростью, так как все дело обороны находилось в крепких руках старого сардаря, человека, по выражению Паскевича, “с большим нравственным духом”. А он был верен Персии. Комендант не смел, да и не мог действовать против воли сардаря, и даже ответ на записку, которую Бенкендорф послал к Сават-Кули-хану, пришел за ханской подписью. “Если Паскевич,— писал эриванский сардарь,— намерен видеть коменданта для переговоров о сдаче,— то это бесполезно, так как, будучи главным начальником, я решил уже не сдаваться”. Но свидание по всякому другому делу он разрешал, под условием, однако же, чтобы предмет разговоров был ему известен. Паскевич приказал Бенкендорфу ответить, что не он просил свидания у коменданта, а комендант сам хотел его видеть,— и затем перервать всякие сношения с крепостью.

Стойкость сардаря была тем непонятнее, что он, по-видимому, не мог рассчитывать ни на какую помощь. С прибытием Паскевича в Эчмиадзин все ожидали, что участь Эривани

будет немедленно решена. На этом настаивали генералы Унтилье и Трузсон. Между ними были разногласия только относительно времени, необходимого для овладения крепостью. Первый, начальник артиллерии, считал, что для пробития брешей потребуется 20 дней, а Трузсон, начальник инженеров, думал, что осада будет окончена в две недели. И как только прибыли под Эривань батарейные роты, Трузсон не медля начал устраивать батареи по ту сторону Занги, с тем, чтобы разбить башню, которой оканчивалась у реки северная сторона крепости.

9 июня Паскевич сам поехал под Эривань. Осматривая начатые работы, чтобы удостовериться в возможности овладеть Эриванью, он нашел, что успех предприятия почти безнадежен. Крепость имела две высокие параллельные стены, узкое пространство между которыми представляло препятствие еще труднейшее, чем самый ров, опоясывавший крепость. Внутренняя стена уставлена была орудиями, расположенными в закрытых башнях; наружная — имела бойницы и оборонялась ружейным огнем и фальконетами. Самый пункт для атаки выбран был весьма неудачно. Русским батареям приходилось стрелять с правого берега реки, на расстоянии около ста двадцати саженей, давая орудиям большое возвышение, так как левый берег, на котором стояла крепость, значительно командовал правым,— и выстрелы не могли быть верны. Если бы даже орудия и разбили башню, то брешь образовалась бы со стороны Занги, где возвышается скала более чем на пятнадцать саженей,— и штурмовать эту брешь было бы сопряжено с неимоверными трудностями, так как за ней вставала другая стена, также увенчанная башней. “При таких условиях,— писал сам Паскевич,— нельзя было определить, когда бы предприятие сие окончилось и сколько бы стоило зарядов, коих у меня только три тысячи. Я приказал прекратить работы, ибо успеха от них ожидать было нельзя”.

В это время в числе сподвижников Паскевича выдвигается новая личность, незначительная по своему служебному положению, но обнаружившая решительное влияние на ход военных действий. Это был рядовой восьмого пионерного батальона, Михаил Иванович Пущин, разжалованный по делу 14 декабря 1825 года из капитанов лейб-гвардии конно-пионерного эскадрона. Он приехал на Кавказ из Сибири, вместе со своим товарищем по несчастью, Коновницыным, в самом начале 1827 года, когда главнокомандующим кавказского корпуса был еще Ермолов. Снисходя к тяжелому положению молодых образованных людей, брошенных судьбой в его распоряжение, Ермолов принял их со своей обычной лаской. Вот как, тепло и сердечно, рассказывает Пущин в своих записках о своей первой встрече с ним:

“Ермолов,— пишет он,— не заставил нас (его и Коновницына) дожидаться, как Паскевич; он тотчас позвал нас в кабинет, где вместе с Раевским и Суворовым сидел без жилета и галстука, в одной рубашке. Раевский, с которым я был знаком еще в Могилеве, бросился меня обнимать; Суворов просил его познакомить с нами, и знакомство наше, тут начавшееся, обратилось в душевную дружбу во все время пребывания Александра Аркадьевича Суворова на Кавказе. Тогда и Ермолов, вставая, сказал: “Позвольте же и мне вас обнять и поздравить с благополучным возвращением из Сибири, что явно доказывает, что государь, возвращая вас к полезной деятельности, дает вам случай к отличию,— а наше дело вам в этом помогать”. Он просил нас сесть, предложил чаю, расспрашивал о пребывании нашем в Сибири, обнадеживал, что и Кавказ оставит в нас хорошее воспоминание. Продержав нас с час времени, отпустил с благословением на новое поприще”.

“Час этот, проведенный у Ермолова,— говорил Пущин,— поднял меня в собственных глазах моих, и, выходя от него, я уже с некоторой гордостью смотрел на свою солдатскую шинель”.

Зачисленный на службу в восьмой пионерный батальон, Пущин был назначен в авангард Бенкендорфа. Самоотвержение и мужество его искали только случая выказаться, а этих случаев в то время представлялось так много, что ими надо было только уметь пользоваться. По словам самого Паскевича, русские много были обязаны тогда энергии Пущина, который сумел поставить свое имя в ряду самых выдающихся деятелей персидской и следовавшей за ней турецкой войн.

Благодаря этому-то Пущину и был решен вопрос об осаде Эривани. Находясь все время в составе блокадного корпуса, он не терял времени даром и часто, по вечерам, переодевшись в персидскую одежду, тайно ходил в Эривань, снял на план укрепления и изучил окрестную местность так, что безошибочно мог судить о начавшихся тогда осадных работах.

Вот что рассказывает он об этом эпизоде эриванской блокады: “Два дня и две ночи вели мы траншеи, оставляя между собой и неприятелем реку Зангу такой быстроты, что вода ворочала и уносила каменья. Я не мог понять плана этих работ, не смел строго судить, потому что Трузсон пользовался репутацией лучшего инженера. На третий день осады, не знаю почему, сам ли от себя, или кто напомнил обо мне, но Паскевич призвал меня и просил откровенно сказать ему мое мнение об осаде. Я объявил, что “ничего не понимаю в этом плане и думаю, что со стороны начатой нами осады — мы крепости не возьмем. Но есть у меня свой план, изученный в два месяца стоянки под Эриванью, и отвечаю, что после восьмидневной осады крепость должна покориться, но только не в это время года, когда половина солдат, после ночи, проведенной на работах, отправляется в госпиталь, где скоро не будет места больным. Поэтому, по моему мнению, следует снять осаду и уходить куда-нибудь в горы искать прохлады и отдыхать до осени”.

Паскевич согласился. “Я видел,— писал он в одном из своих донесений государю,— что без осады нельзя овладеть крепостью и что, не сделав бреши, нельзя отважиться на приступ; успех был не верен, ибо средств было мало, и мне нужны были артиллерийские снаряды для решительных действий на левом фланге, в Нахичеванском ханстве. Кроме того, план Трузсона насчет осады совершенно не согласен с мнениями других, и на военном совете, на котором присутствовали генералы Красовский, Бенкендорф и Унтилье, он должен был действительно сознаться, что всего выгоднее вести апроши не оттуда, откуда он начал, а с юго-восточной стороны крепости, от кургана Муханат-Тапа. Продолжая осаду, я потерял бы двадцать дней и был бы должен идти к Нахичевани в самое жаркое время. Итак, самая необходимость заставляла меня, сходно с прежними предположениями, идти на Нижний Араке и прежде овладеть Нахичеванью, чтобы лишить эриванский гарнизон возможности получить с той стороны какую-нибудь помощь. Под Эриванью же, для наблюдения как за этой крепостью, так и за Сардарь-Абадом останется особый отряд, который, с наступлением сильной жары, расположится в горах и приступит к осаде только осенью, когда прибудет осадная артиллерия”.

На последнее решение Паскевича, без сомнения, имела влияние и страшная болезненность, опустошавшая ряды блокадного корпуса. “День ото дня,— писал он государю,— я убеждаюсь, что невозможно будет блокировать крепость, ибо в продолжение пяти дней, как я здесь, четыреста человек больных привезено в Эчмиадзин. Из опыта молдавских кампаний я знаю, как уменьшаются полки болезнями, и боюсь, чтобы войска не дошли до того, что нечем будет и осады делать. В Молдавии случалось, что из числа людей в полку три части были в лазаретах и четвертая только во фронте”.

Решения свои Паскевич немедленно начать приводить в исполнение. 15 июня блокадный корпус был сменен. Отряд Бенкендорфа поступил в состав главных сил, а полки

двадцатой дивизии, Севастопольский и Крымский пехотные, тридцать девятый и сороковой егерские, шестой пионерный батальон и тридцать восемь орудий двадцатой артиллерийской бригады стали под Эриванью.

Командиром нового блокадного корпуса назначен был генерал Красовский, бывший начальник корпусного штаба, отказавшийся от этой должности вследствие неприятностей с Паскевичем и по-прежнему вступивший в командование двадцатой пехотной дивизией. На место его, начальником корпусного штаба, уже по высочайшему повелению, назначен был генерал-адъютант граф Сухтелен, а до приезда его из Петербурга, временное исправление должности было возложено самим Паскевичем на полковника Н. Н. Муравьева.

Не лишнее, однако, сказать, что и с этим новым своим помощником Паскевич не ладил. По крайней мере, известный Грибоедов (родственник Паскевича), бывший в это время при нем в качестве дипломатического чиновника, писал к П. Н. Ахвердовой, на дочери которой был женат Муравьев, следующее: “Главнокомандующий очень уважает вашего зятя и имеет к нему полное доверие; но какая-то адская сила тут мешается. Между ними весьма часты сильные размолвки: один кричит, другой дуется, а моя глупая роль мирить их. Однако я вам не поручусь, чтобы в один прекрасный день они не рассорились навсегда. Дело в том, что генерал бывает иногда в таком настроении, что с ним ничего не поделаешь, а зять ваш по своему характеру не способен ублажать”... Так шли дела до тех пор, пока 14 июля не прибыл, наконец, граф Сухтелен. Он принял должность начальника штаба; Муравьев остался его помощником.

На другой день после смены блокадного корпуса, 16 июня, полки Бенкендорфа потянулись на сборный пункт, верстах в пятидесяти от Эривани, где сосредоточивались главные силы Паскевича. 19 числа весь корпус передвинулся на реку Гарни-чай,— и был объявлен поход в Нахичевань.

Здесь, на Гарни-чае, корпус разделен был на две дивизии:

В первую, под начальство генерал-майора князя Вадбольского, назначены были полки: лейб-гвардии Сводный, Херсонский гренадерский и седьмой карабинерный батальон пионеров, Борисоглебский и Серпуховский уланские полки, армянская дружина и двадцать четыре конных и пеших орудия.

Во вторую дивизию, генерал-лейтенанта князя Эристова,— Грузинский гренадерский, Ширванский и Тифлисский пехотные, Нижегородский драгунский и двадцать четыре конных и пеших орудий. Начальником черноморской казачьей бригады назначен полковник, флигель-адъютант князь Долгоруков; четыре донские полка остались в команде своего походного атамана, генерала Иловайского. Бенкендорфу поручен был авангард, а в бою — командование всей регулярной кавалерией.

Но поход замедлился на несколько дней, так как дальнейший путь требовал большой предусмотрительности.

О неприятеле верных сведений в то время не имелось. Были слухи, что шах, с двадцатитысячной конницей, находится еще в Уджанах, в двух-трех переходах от Тавриза, да от десяти до двадцати тысяч войск занимают этот город. Один из сыновей шаха, с отдельным корпусом, стоял у Худоперинского моста; но, как говорили, ему запрещено было переходить через Араке. Аббас-Мирза стоял в Хое; он приезжал осматривать укрепления Аббас-Абада и уехал назад, так как и ему предписано было не

вступать в дело с русскими. Шах рассчитывал, очевидно, соединить все свои силы и тогда уже дать генеральное сражение за Араксом. Таким образом, встретить на пути к Нахичевани сильного неприятеля Паскевич не рассчитывал. Тем не менее, предстоявший поход мог представить едва преодолимые трудности в других отношениях. Перед войсками лежала обезлюдевшая страна, грозившая именно своей пустотой и мертвенностью. До прихода русских войск Эриванскую область населяло до двадцати различных татарских племен, частью кочевых, частью хлебопашцев, и в числе последних были целые деревни армян. Теперь все оседлые жители угнаны были за Араке, чтобы оставить поля невозделанными и этим лишить русских возможности продовольствовать войска средствами края. Кочующие татары, спугнутые со своих пастбищ, также покидали землю; меньшая часть уходила в Турцию, большинство шло к персиянам: иные охотно поступали в конницу Гассан-хана, другие укрывались в горах, третьи, карапапахи, открыто разбили свое становище по ту сторону Аракса и, под начальством своих лучших наездников, Наги-хана и Измаил-Аги, готовились действовать самостоятельно. Из всех этих племен и составился теперь новый враг, не лишенный серьезного значения. Особенно карапапахи представляли противника, которого игнорировать не приходилось. Этот народ составился из бродяг — и русских, и персидских, и турецких. Между ними были люди необыкновенной храбрости, славившиеся удалью своих разбоев во всех окрестных областях. К ним под защиту стекались теперь толпы подобных им удальцов, и они могли стать весьма опасными. Вступление русских войск в близкие к ним области было им чрезвычайно неприятно: они чувствовали, что сильны только слабостью персидского правительства, и сознавали свою ничтожность перед твердым правлением и превосходством русского оружия. И из всех этих племен, кочевавших тогда в горах от истоков Занги до границ Карабага, ни одно не помышляло прибегнуть под русское покровительство: они думали в ущельях и скалах своих спокойно переждать тучу русского поражения, чтобы потом стать на стороне того, кто окажется сильнейшим. Единственное исключение составляли шадлинцы. Только их предводитель, Аслан-султан, представительный старик, явился в Эчмиадзин к Паскевичу и привел с собой нескольких молодых шамшадильских татар, приносивших повинную голову от имени своих отцов, бежавших в Персию, в числе восьмидесяти семей, еще при Ермолове. Главнокомандующий объявил им прощение и разрешил или вернуться на родину, или остаться на тех местах, которые они теперь занимали. “Ибо,— как говорил Паскевич,— везде Россия, где властвует русское оружие”.

Вместе с Аслан-ханом явились, правда, и десять карапапахских старшин. Но на самых лицах их написана была недоверчивость; они пришли единственно с тем, чтобы своими глазами убедиться, в достаточных ли силах пришли русские, чтобы удержаться в тамошнем крае. “Наружность их,— писал Паскевич,— была более испытующая, нежели покорная. Утвердить их в нашем могуществе было, однако, не трудно. Авангардный, лагерь под Эриванью и главный стан под монастырем внушили им почтение”.

Пребывание в Эчмиадзине, а потом и на Гарни-чае, таллинского султана успело несколько поколебать умы туземцев, склоняя их на русскую сторону. Человек шестьдесят шадлинцев бросили оружие и бежали из Сардарь-Абада, человек пятьдесят карапапахов, из лучших всадников Наги-хана, покинули его и вернулись к Гокче. Но то были пока лишь отдельные исключения.

Нужно было принять соответствующие меры, чтобы сделать татарские племена возможно менее опасными. Наиболее целесообразной из таких мер было войти с ними в мирные сношения. Как ни ничтожно было число татар, передавшихся на русскую сторону, но пример заразителен, и можно было надеяться, что найдутся и другие, которые последуют за ними уже по проложенной дороге. И вот Паскевич, еще из лагеря под Эриванью,

отправил в горы нескольких шадлинцев, чтобы завязать с татарами мирные сношения и на первый раз, по крайней мере, установить между ними и русскими торговлю скотом. Главная же цель главнокомандующего состояла не в этом. Ему нужно было занять кочевников переговорами, чтобы растянувшиеся на десятки верст русские транспорты были хотя на время обезопасены со стороны озера Гокчи, где именно и укрывались теперь карапапахи, дышавшие разбоем не менее тех из своих соплеменников, которые служили в полчищах у Наги-хана. Персияне и сами не побуждали их к переселению, зная, что, оставаясь и в горах, они сослужат им добрую службу. Отличные наездники, но нерадивые земледельцы, они не могли оказать русским никакой подмоги в продовольствии, а между тем, обращенные против русских, составили бы отборную конницу, которая на каждом переходе, отовсюду вредила бы отряду.

Последствия этих благоразумных мер сказались немедленно.

9 июня под Эриванью Паскевича известили, что Гассан-хан замышляет набег на русские сообщения, намереваясь пройти с огнем и мечом от Гумр через Джалал-Оглы и Башкечет до Цалки. Полторы тысячи всадников, предводимых Джафаром и Наги-ханом, уже были готовы к походу. Но прибытие Паскевича в Эчмиадзин и тотчас же начатые переговоры с окрестными татарами заставили Гассана приостановиться набегом; а между тем на Лорийской степи успели принять меры к его отражению,— и войска заняли некоторые пункты, чтобы охранять жителей во время их полевых работ. Предприятие Гассан-хана расстроилось. Конечно, сделать буйную персидскую конницу совершенно безвредной нечего было и надеяться. Но вся деятельность ее с тех пор ограничивается лишь несколькими набегами на русские сообщения, преимущественно в окрестностях самого Эчмиадзина.

Так, 18 июня, четыре донские казака и четыре всадника татарской милиции, отправившиеся на фуражировку, были окружены персиянами в пяти верстах от монастырских ворот, и из восьми человек спаслось только двое,— шестеро были убиты или взяты в плен. Через три дня, 21 июня, когда Паскевич был уже на Гарни-чае, случилось более крупное происшествие. В этот день три офицера, Шепелев, Бурцев и Волховский, ехали из Джалал-Оглы к Эчмиадзину. От Амамлов их сопровождала рота пехоты и несколько конных армян. На пути, за Бомбакским хребтом, в долине Баш-Абарани они встретили персидскую партию и выдержали с ней стычку. Курды нападали врассыпную; русские берегли выстрелы и все подавались вперед. Человек восемь татар было убито, и — что самое важное — убит был сын самого Наги-хана. Это расстроило партию,— и курды отстали. Между тем, проехав несколько верст, офицеры встретили маркитантский обоз в сто двадцать арб, следовавший из Эчмиадзина к Амамлам. Офицеры предупредили маркитантов, что на дороге стоит куртинская партия, с которой они только что имели стычки. Маркитанты махнули рукой и поехали дальше. Потом оказалось, что за три дня перед тем они уже пытались отправиться из Эчмиадзина, не ожидая оказии, но, встреченные случайно самим Паскевичем, были возвращены обратно. Когда войска ушли, они воспользовались слабым надзором и уехали одни, торопясь в Тифлис за новыми товарами. Их гнала жажда скорейшей наживы. Но случилось именно то, на что должно было рассчитывать. Курды напали на обоз, и из ста сорока человек грузин и армян не спасся ни один; часть отведена была в плен, в лагерь Наги-хана, остальные изрублены и брошены на месте. Шепелев, возвращавшийся на другой день из Эчмиадзина по той же самой дороге, видел их трупы. Конечно, против подобных частных случаев разбоя делать было нечего. Но чтобы обезопасить путь к Нахичевани, Паскевич перед самым выступлением на Гарни-чай завязал новые сношения с той отраслью карапапахского народа, которая держалась около Гокчи.

Ему известно было, что после Наги-хана, между карапапахами наиболее знаменит умом и отвагой некто Мамед-ага, оставшийся в горах по ту сторону Аракса,— и он попытался войти с ним в тесные сношения. С этой целью отправлен был в горы поручик Карганов с тремя грузинскими дворянами; за безопасность их поручился шадлинский султан, который вызвался служить Карганову и проводником, оставив сына и брата заложниками в лагере.

О том, что русские войска пойдут в Нахичевань, не знал даже Карганов. Паскевич хранил это в глубокой тайне, усиленно распространяя, напротив, между кочевниками слух, что намерен пока ограничиться одной блокадой Эривани.

Переговоры Карганов на первый раз повел так успешно, что Паскевич справедливо мог считать татарские племена, кочевавшие на его пути, достаточно успокоенными, чтобы не опасаться со стороны их сильной помехи в движении к Нахичевани. Но случилось неожиданное обстоятельство, которое, казалось, опровергало эти надежды. Едва войска, 19 июня, стали на Гарни-чае, как в первую же ночь от шадлинского султана прискакал в лагерь нарочный с известием, что карапапахи вновь поднимаются на русских, что Гассан-хан, по их приглашению, прошел горами, от Алагеза на Гокчу, и Карганов вместе с грузинами взяты в плен.

Известие это оказалось, к счастью, преувеличенным. В горах, действительно, поднялась тревога, но ее распространили искусственно неблагонамеренные люди, чтобы запугать как Карганова, так и тех из татар, которые уже склонялись изменить персиянам. Карганов при этих обстоятельствах не потерял, однако, присутствия духа. Зная характер людей, с которыми ему приходилось иметь дело, он захватил одного из возмутителей, несмотря на то, что был окружен толпой его единомышленников, и жестоко избил его нагайкой. В то же время он наугад объявил народу, что русские идут на Гарни-чай и что нет таких теснин, которые они не прошли бы для обуздания непокорных. Ни сам Карганов, ни карапапахи вовсе не ожидали появления войск на пути к Нахичевани; но когда наутро узнали, что русские действительно на Гарни-чае, участь возмущения была решена: девятьсот семейств изъявили покорность, и сто пятьдесят карапапахских всадников спустились с гор, чтобы представиться Паскевичу. Между ними был и Мамед-ага, о привлечении которого на русскую сторону так много заботился главнокомандующий. Паскевич тут же поставил его векилем, то есть начальником кочевок,— и половина племени отложилась от непримиримого врага России, Наги-хана.

21 июня, когда все успокоилось и перед русскими войсками лежал открытый путь, корпус двинулся наконец от Гарни-чая далее к Нахичевани. Переход этот оказался, тем не менее, сопряженным со страшными трудностями. Приходилось идти низменной долиной Аракса, отличающейся знойно-удушливым климатом. От Гарни-чая до Нахичевани всего семьдесят две версты; но это пространство по песчаным степям, в стране, превращенной в пустыню, под палящим солнцем, когда температура доходила до сорока трех градусов, при совершенном отсутствии воды и подножного корма — войска едва прошли в шесть дней. Ужасный, притом непривычный для русских климат отзывался не только на людях, но и на животных. Волы едва передвигали ноги, а лошади прекрасной уланской дивизии, воспитанные в конюшнях военных поселений, скоро пришли в такое изнурение, что почти не годились для борьбы с живой персидской конницей. Глядя на эти полки, очевидцы припоминали теперь, какие насмешки и шутки сыпались на головы кавказских драгун, когда красивые уланы, в невиданной дотоле пестрой одежде, на рослых и прекрасных конях, впервые появились из России на улицах Тифлиса. Каким ничтожным и мизерным казался в то время строй нижегородцев, сидевших на маленьких азиатских конях, круглый год ходивших на пастбищах по Алазани; но то были добрые степные кони, способные

выносить все трудности походного быта, и их стремительным атакам Паскевич был обязан впоследствии славой Джеванбулахской победы.

Неприятель только издали следил своими конными партиями за движением русских войск. У самой уже Нахичевани, по ту сторону Аракса, стоял более значительный конный персидский отряд: но едва Паскевич выдвинул свою кавалерию вперед, как персияне, слабо отстреливаясь, ушли.

Перед русскими войсками была теперь никем на защищаемая Нахичевань. Это — один из древнейших городов Армении, славившийся некогда своей обширностью, богатством и многолюдным населением. Время его основания теряется в отдаленнейшей глубине веков. Некоторые ориенталисты долго считали, что Нахичевань есть древняя Артаксата, построенная еще Аннибалом; но развалины Артаксата были открыты впоследствии верстах в семидесяти отсюда на северо-запад, между Араратом и Эриванью. Армянская история, полная библейских легенд, думает, что Нахичевань была первым местом поселения праведного Ноя, по выходе его из ковчега,— и на армянском языке Нахичевань так и значит “первое пристанище”. Предполагают также, что на том самом месте, где теперь стоит город, поселены были евреи, плененные Навуходоносором и подаренные им армянскому государю. Предание говорит, что один из этих пленников, Сумбат, сделался любимцем царя и что от него-то и произошло знаменитое поколение Багратидов, царствовавших целое тысячелетие и в Грузии, и в Армении.

Так или иначе, но в течение многих веков, пронесшихся над ней, Нахичевань испытала множество бедствий и от внешних врагов, и от внутренних переворотов, которыми так богата история Армении. Со второго века город переходит уже из рук в руки и принадлежит то армянам, то персиянам, то туркам. Сколько раз он был разрушаем и жители его истребляемы поголовно. Но город возникал из развалин с прежним блеском, и население его не уменьшалось. При последней катастрофе, постигшей его при Шах-Аббасе, он заключал в себе до сорока тысяч домов и более трехсот тысяч жителей. Шах-Аббас отнял тогда Нахичевань у турок; но, не надеясь удержать ее за собой, разрушил город до основания, а несчастных жителей, не разбирая пола и возраста,— вырезал. Нужно сказать, что в завоеванной им Армении, в тех местах, которые были отдалены от границы Персии, шах везде с такой же лютостью расправлялся с жителями: он хотел оградить Иран от соседней могущественной Турции — пустынями. По окончании жестоких войн, опустошенная вконец Нахичевань осталась, однако же, за турками. Надир-шах вновь закрепил ее за Персией; но город более уже никогда не возникал из своих развалин. И теперь, когда русские войска вступали в него,— Нахичевань представляла лишь жалкие следы прежнего величия. На пространстве более чем десяти верст лежали развалины, и на них — ничтожный город, вмещавший в себе не более пяти тысяч жителей.

26 июня Паскевич занял его без боя. Жители соседних горных отрогов явились с изъявлениями покорности.

Но в нескольких верстах к югу от Нахичевани лежала на Араксе значительная крепость Аббас-Абад, только овладев которой можно было довершить покорение Нахичеванской области. На нее и направил теперь свои удары Паскевич...

XX. ВЗЯТИЕ АББАС-АБАДА И ДЖЕВАНБУЛАКСКИЙ БОЙ

Нахичеванская область граничит с Карабагом. Но сообщения между ними по горным дорогам в эпоху персидской войны были трудны и сопряжены к тому же с постоянными опасностями от нападений разбойничьих татарских племен, кочевавших тогда по Араксу. Занятие Нахичевани устранило это последнее обстоятельство, и первой заботой Паскевича было открыть оттуда постоянные пути в Карабаг, уже давно разрабатываемые Карабагским отрядом, по которым должны были доставляться теперь все жизненные припасы и боевые средства. И в самый день вступления русских войск в древнюю столицу области, две роты херсонских гренадер и сотня казаков, под командой майора Гофмана, уже отправились на Кара-Бабу, чтобы войти в сообщение с Карабагским отрядом ближайшей дорогой, прямо через горы.

В то же время, исправлявший должность начальника корпусного штаба, полковник Муравьев, получил приказание произвести рекогносцировку к стороне Аббас-Абадской крепости, которой предполагалось овладеть немедленно.

Аббас-Абад построен на месте старинной крепости, разрушенной “львом” Ирана, Шах-Аббасом, в то время, когда его непобедимые полчища внесли опустошение во всю Армению. Эпоха, в которую построена была эта старая крепость, забыта; известно только, что в середине века христианского летосчисления лежало на ее месте большое селение Асдабад, а в XIV веке здесь был знаменитый армянский монастырь Банширванк, “Красный монастырь”, о котором часто упоминается в армянской истории. Теперь, на месте древнего Асдабада, стояла новая крепость, небольшая, но выстроенная уже под руководством английских инженеров, по образцу европейскому. Аббас-Мирза возлагал на нее большие надежды, и Паскевич, со своей стороны, не мог оставить ее в руках персиян, на линии своих сообщений. Лежащая неподалеку, всего в пяти-шести верстах, от Нахичевани, располагавшая сильным гарнизоном, крепость эта сообщалась с Хойской провинцией, и пока она находилась в руках персиян, до тех пор и область Нахичеванская не могла почитаться прочно покоренной. Неприятель, имея в Аббас-Абаде опорный пункт, конечно, препятствовал бы устройству в провинции какого-либо порядка и мешал бы жителям возвращаться из-за Аракса.

28 июня Муравьев, с двумя казачьими сотнями, вышел на рекогносцировку крепости, и остановился в полуверсте от нее, на возвышении, с которого можно было снять на план все неприятельские укрепления. Персияне заметили его. Отряд персидской конницы тотчас перешел на левую сторону Аракса и начал обходить казаков, с очевидной целью отрезать их от лагеря. Муравьев раскинул к стороне персиян конную цепь и стал отступать лавой. Завязалась перестрелка. В лагере между тем увидели опасное положение Муравьева, и сам Паскевич с донским полком двинулся к нему на помощь. Но пока донцы скакали лощиной, чтобы в свою очередь отрезать неприятеля от переправы, персияне повернули назад и скрылись.

Вот как в одном из своих частных писем описывает это дело Грибоедов, находившийся тогда при Паскевиче. “Муравьев,— говорит он,— сегодня утром был на рекогносцировке Аббас-Абада. Я не мог сопровождать его: дел у меня было слишком много, чтобы сесть на лошадь; но так как я пользуюсь лучшим помещением в лагере и из моих окон открываются чудные виды, то я часто отрывал глаза от бумаг, чтобы навести зрительную трубу на место действия. Я видел, как неприятельская кавалерия проскакала галопом и переправлялась через Араке, с целью отрезать путь Муравьеву и двум сотням казаков. Все кончилось у него благополучно; важного дела не было, и он возвратился к нам здоров и невредим, но не имел возможности высмотреть то, что ему хотелось видеть”.

На следующий день, 29 июня, с рассветом под стены Аббас-Абада посланы были пятьдесят казаков, чтобы встревожить гарнизон и навести неприятельскую конницу на засаду, где были скрыты три полка русской кавалерии. К казакам присоединился и Грибоедов. “Неприятель,— говорит он,— не захотел, однако, сделать нам угодное и не дал себя в обман. Несколько человек персидских охотников скакали вокруг отряда, но оставались слишком далеко от того места, где рассчитывали с ними переведаться. Пули свистали мимо ушей казаков, но, к счастью, никого не поранили”. Так продолжалось до десяти утра. В полдень, на место действия пришел сам главнокомандующий, со всей кавалерией, карабинерным полком и двадцатью двумя полевыми орудиями. Войска приблизились к крепости на пушечный выстрел; их встретили орудийным огнем. Русская артиллерия стала отвечать, и скоро по целой линии загорелась канонада. Между тем по ту сторону Аракса стала показываться персидская конница. Бенкендорф приказал двум казачьим сотням переплыть через реку. Казаки быстро переправились, сбили пикеты и, видя, что неприятельских всадников, рассыпавшихся между буграми, не более пятисот человек, понеслись в погоню. Опасаясь, чтобы донцы не попали на засаду, Бенкендорф двинул за ними остальную конницу. Два полка, Нижегородский драгунский и Серпуховский уланский, отважно бросились в воду и поплыли под огнем крепости. Конная артиллерия не хотела отстать от них и наплаву перетащила под водой свои четыре орудия. Никакой засады, однако, не оказалось. Русская конница быстро очистила от неприятеля весь правый берег Аракса, и монастырь Кизил-Ванк, стоявший в виду крепости на утесистом возвышении, был занят седьмой ротой карабинерного полка. Монастырь был пуст; карабинеры нашли, однако, в нем серебряную утварь, и эта находка, пожертвованная ими в Эчмиадзин, поныне остается памятью благочестивого смирения русского воинства перед святыней.

Грибоедов в качестве дипломатического чиновника, находился в этот день в свите Паскевича. “Мне было видно,— говорит он в одном из своих писем,— как проходили наши войска, точно я находился зрителем в самой середине крепости. Долгое время продолжалась пальба с обеих сторон; вид был чудный. Полагаю, что в смысле военного успеха дело не имело никакого значения; но оно представляло собой зрелище великолепное... Как бы мне хотелось, чтобы вы, с вашим искусством рисовать, посмотрели на все это и вдобавок на живописную равнину, где происходила эта сцена. У нас здесь со всех сторон целые ряды гор, с самыми странными очертаниями, какие только производила природа, и в числе их, так называемая, Помпеева скала, которая высится словно ствол гигантского дерева, пораженного молнией и обугленного. Это по направлению к нашей карабагской границе. Посреди этого лабиринта холмов, всякого рода возвышенностей и сплошного ряда гор — веселая долина, тщательно возделанная и орошаемая Араксом, а к северу снеговые вершины Арарата”.

В то время, как происходили эти небольшие стычки, Паскевич отправил в крепость одного татарина предложить коменданту, во избежание напрасной гибели людей, сдаться без боя. Из крепости явился парламентер с просьбой дать сутки на размышление. Паскевич согласился. Войска возвратились в лагерь, и только седьмой карабинерный полк да полк донских казаков оставлены были для наблюдения за крепостью. В то же время инженер-полковнику Литову, вместе с обер-квартирмейстером корпуса полковником Коцебу и разжалованным в рядовые пионерного батальона Пущиным, успевшим уже оказать большие услуги Паскевичу под Эриванью, приказано было докончить рекогносцировку и составить соображения относительно плана осадных работ. Между Литовым и Пущиным, как рассказывается в записках последнего, в присутствии самого Паскевича возникли серьезные разногласия. Батареи, предложенные Пущиным, громили бы крепость свободно, а орудия, поставленные Литовым, не могли действовать, потому что стали бы стрелять по своим батареям, расположенным на левом фланге осады. Тогда

рассерженный Паскевич отозвал Литова в сторону и со своей обычной раздражительностью сказал ему: “Я мог бы тебя сделать солдатом, но не хочу; а его (он указал на Пущина) я хотел бы произвести в полковники, но не могу. А вот что я могу: от сего числа не ты у меня начальник инженеров, а он, и все распоряжения его должны исполняться беспрекословно”... С этих пор начинаются ежедневные сношения Пущина с Паскевичем.

Осада крепости была решена. 1 июля корпус разделился: часть его, под начальством князя Эристова, осталась в Нахичевани, другая, под командой генерал-адъютанта Бенкендорфа, двинулась к Аббас-Абаду. В полдень войска разбили лагерь в двух верстах от крепости, на берегу Аракса, и Паскевич писал отсюда государю, что он “принудит персидскую армию или прийти на помощь к осажденным и потерять сражение, или видеть в двадцати пяти верстах от себя, как будет сдаваться крепость”.

Наступила ночь. Целый батальон, вооруженный лопатами и кирками, тихо вышел из лагеря и направился к северному полигону крепости, где для атаки был выбран левый бастион, примыкавший к реке так близко, что его можно было бы обстреливать и с правого берега. Пользуясь темнотой ночи и оплошностью персидских часовых, колонна, никем не замеченная, остановилась всего в двухстах восьмидесяти пяти саженях от крепости и принялась за работу. Гвардейский батальон, при двух орудиях, и два эскадрона улан подвинулись еще вперед и заслонили рабочих. К утру была окончена параллель, и две шестиорудийные батареи внезапно предстали глазам изумленного гарнизона. “Долго мы любовались друг на друга в ожидании первого выстрела”,— говорит один очевидец. Наконец персияне положили начало,— выстрел грянул, и поднялась канонада. Неприятельские снаряды доносились до главной квартиры, и бомбы разрывались возле ставки главнокомандующего и церковного намета. Русские батареи, со своей стороны, отвечали учащенным огнем, и к вечеру крепостные амбразуры частью были засыпаны и два неприятельские орудия сбиты.

В ночь со 2 на 3 июля траншеи были расширены, и приступили к устройству брешь-батареи. Неприятель на этот раз заметил работы, и с крепости, освещенной яркими подсветами, загремели выстрелы. В траншеях огни были потушены; русские батареи молчали; а вражеская канонада разгоралась сильней и сильней, так что Паскевич сам прибыл наконец из лагеря и приказал отвечать неприятелю. В эту ночь ожидали сильной вылазки, и прикрытие до самого света стояло под ружьем. Брешь-батарею между тем докончили, и первая батарейная рота Кавказской гренадерской артиллерийской бригады установила на ней свои тяжелые пушки.

В то время, как внимание неприятеля отвлечено было в сторону русских работ, особая команда, в полуверсте от крепости, плавила за Араке туры и фашины. Триста рабочих перешли на правую сторону и, под прикрытием Нижегородского полка, в одну ночь возвели редут, как раз на продолжении фаса атакованного бастиона. К утру драгуны вернулись назад, а редут был вооружен шестью конными орудиями и занят ротой Грузинского гренадерского полка. Положение гарнизона становилось уже опасным.

Весь день гремела канонада. Русская артиллерия пробивала брешь в тонкой стене, прилегающей к бойницам, бросала гранаты внутрь крепости, анфилировала верки, сбивала орудия. Скоро крепостные стены во многих местах рухнули, и сквозь отверстия их можно было различать уже крепостные строения. Ночью опять продолжались работы; линия атаки подвигалась вперед, и русские стали приближаться ко второй параллели. Но на этом осада должна была приостановиться.

В полдень 4 июля, казачий атаман Иловайский, прикрывавший осадный корпус со стороны Аракса, дал знать, что по дороге от Чорса двигаются значительные персидские силы. Аббас-Мирза шел выручать осажденную крепость. Впоследствии уже выяснилось, что с ним наступала одна только персидская конница; пехота его остановилась в Каразиадине, за Чорсом, и там, укрепившись, сама ожидала прибытия русских. План Аббаса-Мирзы заключался в том, чтобы заставить Паскевича отойти от крепости и потом постараться завлечь его к своей укрепленной позиции. А там он мог рассчитывать, если и не нанести русским совершенное поражение, то, по крайней мере, упорной обороной задержать их настолько, чтобы дать время Гассан-хану, с его летучей конницей, врубиться в русский вагенбург и произвести в нем страшное опустошение. План был задуман недурно и, при удачном исполнении, мог повести за собой важные последствия.

Паскевичу, конечно, не могли быть известны в точности все намерения наследного персидского принца. Но и во всяком случае положение его представлялось весьма затруднительным. Аббас-Мирза шел на него, как говорили, с сорокатысячной армией, а за ней, в Хое, оставалась, по слухам, еще такая же армия, под личным предводительством шаха, имевшего возможность во всякое время поддержать свои передовые силы. Продолжать осаду под угрозой двойного нападения было невозможно; отступить от крепости и покинуть осадные работы, которые неприятель, конечно, не преминул бы разрушить,— значило надолго, а может быть и совсем отказаться от покорения крепости: разделить свои силы, чтобы разом и продолжать осаду, и действовать в поле, было опасно,— тем более, что войска значительно были ослаблены болезнями и смертностью, низменная долина, зной, увеличивающийся от раскаленных солнцем песчаных полей, мутные и тинистые воды Аракса — все соединилось вместе, чтобы сделать этот край губительным для северных пришельцев.

Паскевич не решился взять на свою единоличную ответственность решение столь важного вопроса. Был собран военный совет, и большинством голосов постановлено — оставить под Аббас-Абадом для прикрытия осадных работ и для охраны складов и транспортов в Нахичевани — три с половиной батальона, при двадцати восьми орудиях, а со всеми остальными войсками идти вперед и самим атаковать неприятеля.

Пущину немедленно поручено было устроить плавучий мост, который мог бы выдержать тяжесть пехоты и артиллерии. На обычном броде, верстах в трех выше по Араксу, было самое удобное место для переправы: но берега Аракса и там были высоки и обрывисты; река, сжатая скалами, с ужасающей быстротой несла свои волны, и, казалось, устройство моста должно было представить непреодолимые трудности. Тем не менее Пущин энергично принялся за дело; со всех окрестных духанов к нему навезли бурдюков, их надули кузнечными мехами, подвязали под бревна,— утром 5 июля мост был готов.

Неприятель приблизился, однако же, раньше. Часов в шесть утра пришло известие, что персияне атаковали выдвинутые в направлении к Чорсу передовые казачьи посты. Паскевич тотчас поручил Иловайскому с двумя донскими полками перейти Араке и, притянув к себе на том берегу еще два полка черноморцев, прикрыть переправу. Ему приказано было наступать возможно медленнее, не слишком вдаваясь в гористую местность, чтобы вызвать неприятеля в открытое поле и тем заставить его обнаружить все свои силы.

Иловайский перешел Араке в версте выше моста и, гоня перед собой передовые неприятельские толпы, стал подвигаться вперед. Одна из донских сотен, увлекшись преследованием, занеслась слишком далеко — и очутилась перед всеми силами левого неприятельского фланга. С диким воплем бросились на нее персияне. Донцы поскакали

назад и потянули за собой всю массу неприятельской конницы. Удар ее пришелся как раз на черноморскую бригаду. Охваченная со всех сторон, бригада, по старому кавказскому обычаю, моментально спешилась и стала, как утес среди бушующего морского прибоя. Дружный огонь заставил персиян отшатнуться. Иловайский воспользовался моментом затишья и послал к Паскевичу просить подкреплений.

Паскевич двинул вперед весь кавалерийский отряд Бенкендорфа с конной артиллерией, чтобы помочь казакам сдержать первый напор неприятеля до прибытия пехоты. Бенкендорфу пришлось переправляться около устраивавшегося моста. Взвод третьей донской казачьей батареи первый кинулся за кавалерией в Араке, не теряя времени на отыскивание бродов; за ним пустились и остальные орудия. “Странно было видеть,— рассказывает один из очевидцев,— как конная артиллерия шла вплавь через реку: лошади плыли, а орудия катились на своих лафетах по дну Аракса, так что на поверхности воды видны были только одни их правила”. Через четверть часа вся конная артиллерия была уже на том берегу Аракса. Вслед за орудиями пустились вплавь драгуны и уланы и перевезли на руках заряды, которые артиллеристы вынули из ящиков.

Бенкендорф шел по той же холмистой лощине, но левее Иловайского. По обе стороны располагались возвышенности, из которых к правой были обращены казаки, а левая могла ежеминутно зачернеть персидской конницей. Появление конной артиллерии умерило несколько пыл неприятельских всадников, и они всюду уходили с пути Банкен-дорфа. Но верстах в восьми от Аракса, вдруг из одного ущелья, влево от дороги, показалась конная толпа, человек в пятьсот. Начальник артиллерии, генерал Унтилье, приказал послать в нее несколько пушечных выстрелов. Холмистая и изрытая оврагами местность сделала, однако, артиллерийский огонь совершенно безвредным. Тогда командир Нижегородского полка, полковник Раевский [Полковник Раевский принял в командование Нижегородский драгунский полк вскоре после Елизаветпольского сражения от генерала Шабельского, который был назначен командиром первой бригады второй уланской дивизии.], выдвинул вперед свой третий дивизион и бросил его на неприятеля. Под командой флигель-адъютанта графа Толстого, дивизион пошел с такой стремительностью, что персияне, не выдержав удара, бросились в горы. Пятый эскадрон, капитана Палена, и шестой, штабс-капитана Гавронского, рубили бегущих, там, где местность не позволяла действовать на конях, нижегородцы спешивались и сильным огнем гнали неприятеля. Персияне рассеялись и в том пункте уже более не показывались.

Бенкендорф стал в боевой порядок, так, чтобы казаки Иловайского образовали его правый фланг; в центре развернулась уланская бригада: желтый, Борисоглебский, полк справа, синий, Серпуховский, слева. Еще левее стали нижегородцы. Артиллерия заняла позицию и открыла редкий огонь.

Гул пушечных выстрелов, показывавший, что кавалерия уже вступила в дело, заставил Паскевича спешить с переправой. Пехота с песнями пошла через Араке: но едва прошел один батальон, как колыхавшийся мост вдруг разорвался на самой середине. Дружным усилием его успели поправить, но целый час был потерян; артиллеристам же снова пришлось переправляться вброд и на руках переносить снаряды.

Перед войсками, перешедшими Араке, поднимался крутой каменистый хребет; а день был знойный, солнце пекло. Тем не менее пехота в три часа без привалов прошла около пятнадцати верст. Впереди, с колонной генерала Мерлина, шел сам Паскевич, направляясь прямо на центр неприятельской позиции; три остальные батальона, под командой князя Эристова, двигались в некотором расстоянии позади и получили приказание стать с левого фланга.

Там, где возвышенности, изгибаясь, сходятся между собой, образуя полукруг, перерезываемый впадинами, Паскевич увидел неприятеля. Центр его, состоявший из полков регулярной кавалерии, предводимых самим Аббасом-Мирзой, занимал крутые возвышенности, за которыми могла скрываться многочисленная пехота и артиллерия. Левое крыло его было сборное: там находился и Ибрагим-хан с иррегулярными персидскими полчищами, и Гассан-хан со своей эриванской конницей. Это крыло подавалось вперед, по направлению к Араксу, обходя справа казачьи полки Иловайского. Правый неприятельский фланг, из пяти тысяч отборной шахской конницы, под начальством Аллаяр-хана, располагался на гребне утесистых гор против конных полков Бенкендорфа, не дававших ему выйти из горных теснин и ущелий.

При первом взгляде Паскевич убедился, что слабейший пункт русской позиции был там, где конные толпы персиян, обходившие Иловайского, могли ежеминутно ринуться в тыл русских войск, а при благоприятных обстоятельствах перейти Араке и стать на пути их сообщений. Паскевичу естественно было направить главный удар на это крыло, сломить его, и затем уже с двух сторон атаковать неприятельский центр, за которым предполагалась персидская пехота. Но позиция Иловайского оказалась отделенной от прочих русских войск глубокой рытвиной, препятствовавшей провезти туда артиллерию. Тогда Паскевич решил начать поражение врагов с противоположного, правого фланга, а на помощь к Иловайскому отправить Бенкендорфа с Борисоглебским уланским полком и двумя орудиями. Уланы заняли чрезвычайно удачную позицию,— они сами обошли неприятеля, и стали как раз на пути наступления его к Араксу. Теперь ни атаковать казаков Иловайского, ни продолжать обходного движения неприятель уже не мог без того, чтобы не подвергнуться самому фланговой атаке. Нельзя было ему предпринять и решительного наступления против улан, так как казаки Иловайского брали его в тыл и могли отрезать от центра. Силы неприятеля на левом его фланге, таким образом, были парализованы.

А между тем Паскевич уже приводил в исполнение предположенный план,— и на правом персидском крыле завязывалось жаркое дело. Как только батальоны Эристова подошли к позиции, он двинул их на густую пятитысячную толпу шахской конницы, укрепившуюся в теснинах. Эристов, поддержанный артиллерийским огнем, повел колонны в атаку,— и теснины взяты были приступом. Персияне побежали, дивизионы нижегородцев бросились за ними. Есть сведение, что одна из этих партий, будучи выбита из горных теснин, вдруг устремилась на русские пушки. “Когда ядра и гранаты вытеснили персиян из ущелий и драгуны пустились в атаку,— рассказывает один из участников боя,— то угорелые кизильбаши целой стаей бросились ко мне на батарею. Я успел перезарядить орудия картечью и ждал, чтобы неприятельская конница нанеслась на ту точку, куда наведены были дула моих пушек. При виде быстро несущейся кавалерии, все по обыкновению закричали: “Артиллерия, стреляй! Стреляй!” Некоторые в досаде даже прискакали ко мне на батарею, но я, “как упрямый хохол”, настоял на своем. Зато как все были восхищены, когда я открыл картечный огонь и большая часть персиян полетела, как пешки”.

Бегущий неприятель разбросался по высотам, а часть его кинулась в лощину между цепью гор и высоким холмом, отделявшим центр неприятеля от его правого фланга. Но тут-то и насели на него первый и третий дивизионы Нижегородского полка. Опрокинув блестящей атакой массу персидской кавалерии, Раевский, в горячем преследовании, несколько раз спешивал то тот, то другой эскадрон, сбивая неприятеля в местах, недоступных для конницы. Бой шел кровопролитный. Вся лощина покрылась изрубленными телами неприятельских всадников. Первый дивизион овладел персидским знаменем [Кому, собственно, принадлежала честь взятия его: первому эскадрону, капитана Маркова, или второму, Луневского,— сведений не имеется.].

Теперь все правое крыло неприятеля было уничтожено; центр обойден. Паскевич приказал ударить наступление, и русские колонны в грозном боевом порядке, с барабанным боем, вышли на с высоты, открывавшие всю неприятельскую центральную позицию; в то же время второй дивизион Нижегородского полка, еще не принимавший участия в битве, поскакал вперед, чтобы осветить лежащую за ней местность. Предводимые князем Андронниковым, драгуны стремительно атаковали встретившегося им врага, и в погоне за ним, выяснили окончательно, что пехоты в персидском отряде не было. Аббас-Мирза между тем, не дождавшись столкновения с главными силами Паскевича, уже отступил по всему протяжению боевого поля, преследуемый русской конницей. Отступал и левый фланг неприятеля. Пока шло дело на правом крыле и в центре, уланы Бенкендорфа и казаки Иловайского рядом атак оттесняли неприятеля с одной высоты на другую, и в тот момент, когда персидский центр стал отступать,— толпам Ибрагима и Гассан-хана ничего не оставалось более, как поспешно последовать его примеру. Но отступление это еще не было бегством. Отойдя версты четыре, Аббас-Мирза занял новую крепкую позицию, пытаясь остановить наступление русских. Пехота Паскевича, следовавшая по пятам неприятеля, уже подходила, но ей и здесь не пришлось принять непосредственного участия в деле: русская конница не дала Аббасу-Мирзе ни момента, чтобы устроиться на новой позиции. Конная артиллерия, подскакавшая к неприятельским линиям, быстро снялась с передков и открыла учащенный огонь гранатами. В то же время, левее ее, вынеслась голубая линия Серпуховских улан и первый дивизион пошел в атаку. Весь правый неприятельский фланг, попавший под этот удар, был моментально сбит; левый — бежал, не выждав даже натиска конных полков Бенкендорфа и Иловайского. Второму дивизиону нижегородцев, бывшему во главе кавалерийской колонны, пришлось вынести на своих плечах главную и решительную атаку на центр неприятеля.

Предводимые двумя храбрейшими штаб-офицерами, полковником Раевским и князем Андронниковым, третий эскадрон, капитана Семичева, и четвертый, штабс-капитана Эссена, понеслись прямо туда, где развевалось знамя наследного персидского принца. У подножья высокого холма, занятого блестящей свитой, драгуны моментально спешились — и бросились вперед. Поручик Левкович, под которым была убита лошадь, изрубил байрактара и вырвал из рук его знамя, на котором красовалась надпись: “Победное”. Все это произошло так быстро, что Аббас-Мирза сам очутился лицом к лицу с драгунами; он почти в упор выстрелил в них из ружья и едва-едва успел ускакать; но ружье, еще дымившееся выстрелом, и оруженосец, возивший его за наследником,— остались в руках победителей.

Пехота по следам драгун тотчас заняла центральный холм, господствовавший над всем пространством боевого поля, и поставила здесь сильную батарею. Но неприятель уже обратился в совершенное бегство. Началось горячее преследование. Пехота, продвинувшись вперед еще несколько верст, остановилась на урочище Хумлар, у ручья Джеван-Булака, по имени которого названа была и самая битва. Драгуны, уланы и казаки, несмотря на палящий зной, проскакали еще верст десять и за Хумлары.

Персияне потеряли в этот день до четырехсот человек убитыми и ранеными и до двухсот человек пленными. В числе последних были: Зейнал-хан, начальник сильного Мукаддемского племени, Асад-Ула-хан Коджарский, родственник шаха; любимцы Аббаса-Мирзы: Аскер-хан, Вели-хан, оруженосец его Мамед-Али-бек и, наконец, Неджеф-Али-суЛтан, тот самый, который приезжал к Паскевичу в Эчмиадзин с письмом от наследного принца. Это пленение знатнейших людей Персии придало Джеванбулакской победе особенно важное значение и вселило в славных азиатских всадниках уважение к русским конным полкам, которым принадлежало в сражении почти

исключительное участие. Русские потеряли в бою трех офицеров и тридцать восемь нижних чинов. Отличились особенно нижегородцы, и из числа их полковник Раевский и поручик Левкович получили георгиевские кресты 4-ой степени.

Не лишнее сказать, что в Джеванбулакском сражении участвовал младший брат величайшего из русских поэтов. Лев Сергеевич Пушкин, начавший свою службу именно в знаменитом Нижегородском драгунском полку. Он был тогда еще юнкером и находился ординарцем при храбром Раевском, поспевавшем со своими нижегородцами всюду, где только могла представиться в нем надобность. Среди беспрерывных опасностей, всегда у стремени своего начальника, юноша, в этом первом для него бою, выдвинулся тем безупречным хладнокровием, которое, впоследствии, было его отличительной чертой; на полях Джеванбулака он заслужил свой первый офицерский чин.

Паскёвич от пленных узнал, что в сражении со стороны персиян участвовало до шестнадцати тысяч человек конных, а что пехота оставалась в двадцати восьми верстах, в Каразиадине, на пути к Чорсу. Туда-то, по безводным путям, изрезанным оврагами и укрепленным искусными английскими офицерами, и думал Аббас-Мирза завлечь русские войска. Он совсем не рассчитывал вступать в решительный бой на берегах Аракса, ни в каком случае не предвидел столь быстрой переправы пехоты и надеялся несоразмерно превосходным числом своих войск раздавить русскую кавалерию. Джеванбулакский бой разрушил все его расчеты.

В тот же день Паскёвич вместе с пехотой возвратился в свой лагерь под Аббас-Абадом, а на следующий день вернулась и кавалерия. В лагере Паскёвич узнал, что в то время, когда войска сражались под Джеван-Булаком, гарнизон крепости сделал сильную вылазку, но был отражен блокадной частью с большим уроном.

Джеванбулакская победа, лишившая осажденных надежды на всякую помощь извне, должна была повести к серьезным последствиям и стала предвозвестницей тех громких подвигов, которыми ознаменовал себя кавказский корпус в дальнейших событиях персидской войны: теперь Аббас-Абад должен был сдаться, а в случае сопротивления Паскёвич уже решил штурмовать его. “Завтра,— писал он великому князю Михаилу Павловичу, только что возвратившись из боя,— нам лезть на штурм и гнать неприятеля до самого сердца Персии. Исчезли скука и усталость. Победители мои веселы и счастливы. Одна невыгода, неизбежная в здешнем климате — больные в страшном количестве и умножаются с каждым днем”...

6 июля Паскёвич приказал поставить на главной батарее отнятые у неприятеля знамена. Трофеи принесены были в девять часов утра и, при залпе целой батареи, показаны персиянам. В то же время один из пленных, взятых под Джеванбулаком, отправлен был в крепость с известием о поражении Аббаса-Мирзы и с предложением коменданту безусловной сдачи. Комендант просил трехдневной отсрочки. Паскёвич отвечал отказом. Весь день продолжалась слабая стрельба из орудий, а вечером, едва в русском лагере пробили зорю, из Аббас-Абада явились парламентеры. Это были начальники двух батальонов: нахичеванского, Эксан-хан, и тавризского, Мамед-Риза-хан. Они привезли известие, что гарнизон сдается безусловно,— капитуляция немедленно была подписана. Обоим парламентерам оставлена была свобода и позволено жить в новопокоренной русскими области. Тавризский батальон и Бахтиары сдавались военнопленными: Эксан-хан от имени своего нахичеванского батальона просил, чтобы его послали на службу против персиян, так как он считал уже себя подданным русского государя.

7 июля, в четыре часа утра, Паскевич, окруженный штабом, прибыл на главную батарею, где уже ожидал его комендант крепости, сардарь Махмет-Эмин-хан, один из важнейших чиновников Персии, женатый на родной сестре Аббаса-Мирзы. Он подал Паскевичу крепостные ключи, и тут же офицеры гарнизона вручили ему знамена своих батальонов. В Аббас-Абаде между тем очищали засыпанные камнями ворота, и гарнизон, в числе двух тысяч семисот человек, выстроившись на гласисе, положил оружие. В крепости досталось победителям двадцать три орудия, и в том числе три русские медные пушки, отлитые еще во времена царицы Елизаветы Петровны и, бог весть каким путем, перешедшие в руки к персиянам. Когда церемония сдачи окончилась, лейб-гвардии сводный полк, с барабанным боем и музыкой, вошел в крепостные ворота и занял караулы. Вслед за ним въехал Паскевич, приветствуемый духовенством и почетнейшими жителями города. Он обошел крепостные стены и долго любовался брешью, уже довольно широкой, но заложенной громадными мешками с хлопчатой бумагой. А на площади между тем выстраивались подходившие войска, группируясь вокруг того места, где уже устанавливался аналой и русский священник стоял в облачении, как бы знаменуя собой ту великую мысль, что не ради славы человеческой пришли сюда далекие северные победители, а во имя веры Христовой и защиты познавших ее. Но вот к месту готовившегося служения подъехал Паскевич. Началось торжественное молебствие с коленопреклонением, и при пении “Тебе, Бога хвалим” — грянул пушечный залп, приветствуя русское знамя, развевавшееся в этот момент над башней персидской цитадели. Нахичеванская область навсегда присоединилась к Русской империи.

Это был торжественный момент, вознаграждавший войска за неисчислимые труды и лишения, поднятые ими во славу великой родины. Искренне молились солдаты, и весь смысл этой молитвы в состоянии понять только тот, кто был в близости смерти и видел избавление от нее.

Паскевич и сам был глубоко растроган. “Я не могу и не в силах высказать все мои чувства в эти минуты,— писал он государю.— Этот день был в полном смысле слова прекрасен”...

XXI. ГРИБОЕДОВ В ПЕРСИДСКОМ ЛАГЕРЕ

Джеванбулакская победа и взятие Аббас-Абада послужили Паскевичу предлогом сделать неприятелю предложение о мире, так как император Николай желал воспользоваться для этой цели первыми же успехами русского оружия. Но Паскевич уже достаточно познакомился с характером персиян, чтобы не выказать слишком большого миролюбия, которое непременно было бы истолковано в смысле недостатка у России средств к продолжению военных действий. Поэтому он решился действовать косвенным путем, при посредстве шахского зятя, Мамед-Эмин-хана, взятого в плен при сдаче Аббас-Абадской крепости.

Живой свидетель событий, хан мог сообщить от себя персидскому правительству об истинном положении дел и представить ему всю необходимость искать с Россией немедленного сближения. Мамед-Эмин немедленно и написал в этом смысле письмо, а русский чапар отвез его в персидский лагерь.

Завязались переговоры, 13 июля к Паскевичу приехал Мирза-Салех, уполномоченный от Аббаса-Мирзы. Паскевич принял его в тот же день и объявил ему прямо, что территориальные требования России ограничиваются берегами Аракса, но вознаграждение за все убытки, понесенные ею от войны, должно быть заплачено персидским правительством немедленно и безоговорочно. Мирза-Салех ответил, что шах едва ли согласится на эти условия. “А я советовал бы ему согласиться,— резко возразил

Паскевич,— иначе, чем дальше пойдем мы, тем больше возрастут требования: ваше вероломство должно быть наказано, дабы все знали, что значит объявить войну России”.

На этом конференция и кончилась. Мирза-Салех написал о требованиях Паскевича наследному принцу.

Ответ пришел 17 июля. Аббас-Мирза писал, что шах, быть может, и согласится еще на уплату издержек, но что ни в каком случае не уступит ни пяди земли, издавна принадлежавшей персидской монархии. Из этого письма и из слов самого уполномоченного, Паскевич заметил, что ни Мамед-Эмин, ни Мирза-Салех не смели писать наследному принцу со всей необходимой откровенностью и что, таким образом, персияне никогда не узнают ни истинного положения дел, ни средств, которыми располагает Россия для ведения войны, ни опасностей, грозящих Персии в том случае, если мир не будет заключен немедленно. Это обстоятельство побудило Паскевича совершенно отстранить персидского сановника от участия в переговорах и отправить от себя доверенное лицо, которое могло бы лично сообщить Аббасу-Мирзе все необходимые сведения. Нужно было уверить персиян, что требования России таковы, что изменены уже не будут.

В числе немногих лиц, которых Паскевич удержал при себе, вступая в должность начальника Кавказского края, находился и знаменитый русский писатель, тогда чиновник иностранной коллегии, Александр Сергеевич Грибоедов, состоявший в родстве с женой Паскевича. Грибоедов уже с 1817 года был секретарем при персидской миссии, долго занимался изучением восточных языков и вообще прекрасно освоился с краем. Паскевич на нем и остановил свой выбор. Грибоедову приказано было отправляться в персидский стан и представить на усмотрение персидского принца: 1) что Эриванская и Нахичеванская провинции уже принадлежат России фактически, так как заняты русскими войсками: две крепости в них продержатся не долго, и, следовательно, уступить эти области все равно придется теперь или позже; 2) что чем дольше продлится война, тем более будет потрачено на нее денег персиянами, и, стало быть, если они решатся уплатить известную сумму, то тем избегнут будущих военных расходов, которые далеко превзойдут цифру, оспариваемую ими теперь; что, наконец, по мере успехов будут возрастать и требования России, в сравнении с которыми нынешние покажутся уже умеренными.

Снабженный такой инструкцией, Грибоедов 20 июля выехал из Аббас-Абада и в тот же день вечером прибыл в деревню Каразиадин, лежащую верстах в двадцати восьми от поля знаменитой Джеванбулакской победы. Здесь он должен был остановиться и ожидать приглашения Аббаса-Мирзы, находившегося в то время в горах, и лишь на другой день намеревавшегося спуститься или к Каразиадину, или в Чорсскую долину. К палатке Грибоедова поставлен был почетный караул, и все условия вежливости были соблюдены “даже до излишества”.

21 июля, поутру, подошва гор, к югу от Каразиадина, запестрела вооруженными толпами конных и пеших сарбазов. На огромном пространстве разбит был там обширный лагерь, а в час пополудни Грибоедов был приглашен к наследному принцу.

Аббас-Мирза принял его в своей палатке, окруженный некоторыми из своих приближенных. Он был одет очень просто, и только золотой кушак с бриллиантовой застежкой охватывал его стройную фигуру, да на боку висела сабля в бархатных ножнах с золотой оправой и с рукоятью, унизанной алмазами. Несмотря на смуглый цвет лица и

длинные черные усы, в чертах наследного принца проглядывали изнеженность и женственность.

Он начал беседу с того, что много и горько жаловался на Ермолова, Мазаровича и Северсамидзе как на главных, по его мнению, зачинщиков войны. Грибоедов возразил на это, что неудовольствия, по случаю спора о границах, были обоюдные, но что военные действия никогда бы не начались, если бы шах-заде сам не вторгся в русские пределы.

— Во всяком случае,— заключил он,— если бы это было и так, то вы имели законный путь обратиться с жалобой, и государь, конечно, не оставил бы ее без внимания. Между тем ваше высочество поставили себя судьей в собственном деле и предпочли решить его оружием. Но тот, кто первый начинает войну, никогда не может сказать, чем она окончится.

— Да, это правда,— отвечал принц,— военное счастье так переменчиво...

— В прошлом году,— продолжал Грибоедов,— персидские войска внезапно и довольно далеко проникли в наши владения; нынче мы прошли Эриванскую и Нахичеванскую области, стали на Араксе и овладели Аббас-Абадом.

— Овладели!.. Взяли! — с живостью заговорил Аббас-Мирза.— Вам сдал ее зять мой... Трус... женщина... хуже женщины!..

— Сделайте против какой-нибудь крепости то, что мы сделали, и она сдастся вашему высочеству,— спокойно сказал Грибоедов.

— Нет! Вы умрете на стенах, ни один живой не останется. Мои не умели этого сделать, иначе вам никогда бы не овладеть Аббас-Абадом.

— Как бы то ни было,— возразил Грибоедов,— но при настоящем положении вы уже третий раз начинаете говорить о мире. Теперь я прислан сообщить вам последние условия, помимо которых не приступят ни к каким переговорам: такова воля нашего государя.

— Послушаем,— сказал принц,— но разве должно непременно толковать о мире, наступая на горло, и нельзя рассуждать о том, что было прежде?

Тут Аббас-Мирза распространился 6 безуспешности своих желаний жить в добром согласии с русскими, под сенью благорасположения к нему императора. Обвинения пограничных начальников, и русских и своих, и потом неистощимые уверения в преданности к государю,— все это настолько быстро следовало у него одно за другим, что Грибоедов не мог возражать, и молчал. Из некоторых слов он заметил, однако, что личный характер императора Николая, его твердость и настойчивость во всех предприятиях сильно действуют на воображение принца.

— Я знаю решительные свойства великого императора,— говорил между прочим Аббас-Мирза,— и не один я: об этом свидетельствуют теперь все сыновья и братья европейских государей и их послы, приезжавшие поздравить его со вступлением на престол.

То же самое впоследствии Грибоедов слышал и от прочих лиц, с которыми довелось ему иметь дело в персидском лагере; все они рассказывали про государя множество анекдотов, иные справедливые, большей частью вымышленные,— но все представлявшие императора в могущественном виде, грозным и страшным для неприятелей.

— Как же, имея такое представление о нашем государе,— сказал Грибоедов принцу,— вы решились оскорбить его в лице посланника, которого задержали против самых священных прав, признаваемых всеми государствами? И вот, кроме убытков, понесенных нами при вашем нападении, кроме нарушения границ, теперь оскорблена и личность самого императора, а у нас честь государя — есть честь народная.

“При таких словах,— рассказывает Грибоедов,— Аббас-Мирза был как бы поражен какой-то мыслью, и так непринужденно, громко и красноречиво раскаялся в своем поведении, что мне самому уже ничего не оставалось прибавить”.

После этого Аббас-Мирза приказал всем выйти из палатки; остались в ней только принц, Грибоедов с переводчиком, да спрятанный за занавесью человек, в котором Грибоедов скоро узнал Аллаяр-хана. Аббас-Мирза приготовился слушать условия.

Но едва Грибоедов подробно объяснил ему, чего требовало русское правительство, как шах-заде поднялся с места в порыве сильнейшего раздражения.

— Так вот ваши условия! — воскликнул он.— Вы их предписываете шаху Иранскому как своему подданному! Уступку двух областей, дань деньгами!.. Но когда вы слышали, чтобы шах персидский делался подданным другого государя? Он сам раздает короны... Персия еще не погибла... И она имела свои дни счастья и славы...

— Но я осмелюсь напомнить вам,— возразил Грибоедов,— о Гуссейн-шахе Сефеви, который лишился престола, побежденный афганцами. Представляю собственному просвещенному уму вашему судить, насколько русские сильнее афганцев.

— Кто же хвалит за это шаха Гуссейна! — воскликнул принц в негодовании.— Он поступил подло. Разве и нам последовать его примеру?..

— Я вам назову другого великого человека, императора Наполеона, который внес войну в русские пределы и заплатил за это утратой престола.

— И был истинным героем! — воскликнул Аббас-Мирза.— Он защищался до самой последней крайности. А вы, как всемирные завоеватели, вы хотите захватить все и требуете от нас и областей, и денег...

— При окончании каждой войны, несправедливо начатой с нами,— говорил Грибоедов,— мы отдаляем наши пределы, и вместе с тем и неприятеля, который отважился переступить их. Вот почему в настоящем случае требуется уступка областей Эриванской и Нахичеванской. Деньги также есть род оружия, без которого нельзя вести войну. Это не торг, ваше высочество, даже не вознаграждение за причиненные убытки. Требуя денег, мы только лишаем неприятеля способность вредить нам долгое время.

Слова эти показались Аббас-Мирзе весьма неприятными. Но по крайней мере,— замечает Грибоедов,— при будущих переговорах русские уполномоченные будут уже избавлены от труда исчислять персиянам итоги военных издержек, которые они оценяют по-своему довольно дешево, ибо армия во время войны, даже в собственном крае, кормится сколько можно даром, за счет беззащитных жителей.

Затем, подозвав к себе Грибоедова как можно ближе и почти говоря с ним на ухо, Аббас-Мирза начал расспрашивать о степени власти, которой обеспечен Паскевич.

— Есть два рода главнокомандующих,— говорил он,— одни на все уполномоченные, другие с правами ограниченными. Какая же власть Паскевича?

— Большая,— отвечал Грибоедов.— Но чем она больше, тем больше лежит на нем и ответственности. У нас одна господствующая воля — воля самого императора, от которой никто уклониться не может, каком бы властью облечен ни был; условия мира начертаны волей государя, главнокомандующий — только ее исполнитель.

— У нас тоже не одна воля,— возразил на это Аббас-Мирза. — В Петербурге говорят одно, Ермолов другое. У нас был Муджтехид для мусульман; вы, для возбуждения против нас армян, тоже выписали в Эчмиадзин христианского халифа Нерсеса...

Высказав это, Аббас-Мирза быстро перешел к другим соображениям и стал домогаться перемирия, а вместе с тем права самому поехать в Петербург или послать туда своего старшего сына.

— Мы оскорбили великого государя,— говорит он,— и мы же будем просить у него прощения... Мы будем целовать трон его... Он во всем властен, но он великодушен. Захочет областей, денег — и деньги и весь Азербайджан, и самого себя отдам ему в жертву, но этим чистосердечным поступком приобрету приязнь и покровительство императора.

Грибоедов дал понять принцу, что Паскевич, при данных обстоятельствах, не вправе дать ему или его сыну пропуск в Санкт-Петербург; что даже в обыкновенное время международными приличиями требуется на это предварительное разрешение самого государя, что вообще намерение принца гораздо удобнее было бы исполнить в прошлом году, во время коронации императора, когда шах-заде предпочел взяться за оружие... И Грибоедов не скрыт, что государь разгневан именно и лично самим Аббас-Мирзой.

Все эти возражения не повели, однако, ни к чему. Аббас-Мирза тотчас принялся рассчитывать, как скоро может быть ответ из Петербурга, требовал от Грибоедова ручательства, что государь допустит его к себе, просил его стараться об этом перед Паскевичем, а самого Паскевича ходатайствовать за него в Петербурге. “Способ трактовать,— замечает по этому поводу Грибоедов,— исключительно свойственный одним персиянам, которые разговор о деле государственном внезапно обращают в дружескую, гаремную беседу и поручают хлопотать в их пользу чиновнику воюющей с ними державы как доброму их приятелю...”

После шестичасовой беседы Грибоедов возвратился, наконец, домой и ночью занялся составлением условий перемирия. На следующий день утром его посетил Мирзад-Мамед-Али, доверенное лицо наследника. Грибоедов воспользовался этим, чтобы высказать то, чего вчера не мог сказать самому шах-заде по той причине, что ни минуты не оставался с ним наедине. Грибоедов повел речь о будущей незавидной судьбе наследного принца, о ничтожной роли, которая предстоит ему среди его братьев, когда Азербайджан, удел, пожалованный ему шахом, перейдет в русские руки. “Бедствия, которые постигнут тогда Персию,— говорил Грибоедов,— всецело падут на принца, и средство выйти из этого положения одно — заключить возможно скорее мир, а пока принять те условия перемирия, которые ему предложат”. Эти условия должны были рассматриваться вечером, но Грибоедов внезапно заболел и слег в постель со всеми признаками горячки — действие губительного местного климата, ртуть в термометре в полдень возвышалась до сорока градусов, а к ночи падала до восьми градусов Реомюра.

Аббас-Мирза воспользовался болезнью Грибоедова, чтобы составить свой проект перемирия, который и был одобрен шахом, на два фарсаха приблизившимся в это время к Чорсу. Курьеры к нему и от него скакали беспрестанно. Шах ставил непременным условием, чтобы на время перемирия русские отступили к Карабагу, а Аббас-Мирза к Тавризу, и, таким образом, Нахичеванская область осталась бы нейтральной. Соглашаясь на то, чтобы в Аббас-Абаде остался русский гарнизон и даже принимая на себя его продовольствие, он требовал, чтобы Эчмиадзин был очищен, а для охраны Божьего храма предлагал назначить туда двух приставов, персидского и русского.

Грибоедов еще был в постели, когда Мирза-Мамед-Али вручил ему этот проект перемирия. Статьи об оставлении Эчмиадзина и Нахичеванской области он тотчас же вычеркнул. Персияне не прекословили, но, за всем тем, в этот день ничего не было окончено.

24 числа переговоры возобновились. “И я,— рассказывает Грибоедов,— в течение целого дня должен был выдерживать диалектику XIII столетия”. Возвращались к предложениям, о которых накануне уже условились. Главное разногласие вытекало из того, что персияне требовали перемирия на целые десять месяцев. Напрасно Грибоедов старался разъяснить им, что перемирие, заключенное на столь продолжительный срок, есть тот же мир, что русский главнокомандующий, оставленный среди своего победного шествия внутрь персидской монархии, потеряет время и все плоды, приобретенные оружием. Мирза-Мамед сам хорошо понимал всю несообразность этих требований и наконец, откровенно сказал, что они необходимы для удаления из Хоя шаха и его двора, от которых обнищала вся провинция. Грибоедов дал ему почувствовать, что подобные соображения имеют смысл только для них, но что русским, когда они одержали уже серьезные успехи, необходимо позаботиться о своих собственных выгодах.

“Мы не имеем надобности в прекращении военных действий,— говорил Грибоедов.— Мысль об этом принадлежит шах-заде. Я представил ему условия, на которых оно с нашей стороны может быть допущено. Вольны принять их или нет, но мой усердный совет, чтобы успокоить край и особу шаха в его преклонных летах, да наконец для собственной безопасности и Аббаса-Мирзы,— принять просто мир, который даруется им на известных условиях”. Говорили очень долго. Наконец Грибоедов подействовал на персиян той мыслью, что если Россия завладеет Азербайджаном, то обеспечит независимость этой обширной области со стороны Персии и на десять фарсахов не позволит никому селиться около ее границы. “Охранять же эти границы,— говорил он,— будут двадцать тысяч милиции, образованной из народа, известного духом неудовольствия против нынешнего правительства. Нам стоит только поддержать этот дух, и мы навсегда прекратим политические сношения с Персией, как с государством, не соблюдающим трактатов; мы так же будем мало знать ее, как знаем теперь афганцев и прочие отдаленные народы глубокой Азии. Этот план у нас очень известен и полагается весьма реальным, но к исполнению его приступят только в самой крайности, когда персияне, упорствуя, продлят войну, ими самими начатую. Скажите от меня шах-заде, что лучше принять условия, покуда их делают”.

Грибоедов говорил все это спокойно, более в виде рассуждения, чем угрозы. По-видимому, слова его подействовали, по крайней мере, на следующий день, 25 июля, Аббас-Мирза назначил ему новую аудиенцию. На этот раз он принял его, окруженный уже важнейшими сановниками, между которыми Грибоедов заметил Аллаяр-хана, Али-Наги-Мирзу, предводителя карапапахов, и самого Гассан-хана, ярого противника всякого сближения с русскими,— он только что возвратился тогда от шаха, куда ездил просить денег и войска для защиты Эриванской области. Несмотря на это присутствие в совете

лиц, явно враждебных русским интересам, Грибоедов думал, что условия России при этой последней аудиенции, в присутствии стольких важных свидетелей, будут наконец или приняты, или торжественно отвергнуты. Вышло, однако, опять ни то, ни другое. Тон принца был самый униженный, но в то же время он настаивал на перемирии на десять месяцев, и не отступал от любимой своей мысли — самому или через сына прибегнуть к великодушию русского императора.

Этим и заключилось все то, что шло к делу. Но посторонних разговоров было много, Грибоедов оставался у шах-заде еще дольше, чем в первый раз. Аббас-Мирза коснулся, между прочим, опять и ненавистного ему Ермолова. Сравнивая действия двух главнокомандующих, он говорил, что самым опасным оружием Паскевича считает то человеколюбие и справедливость, которые он оказывает всем мусульманам. “Мы знаем,— говорил Аббас-Мирза,— как он вел себя против кочевых племен на пути к Нахичевани: солдаты никого не обижали, Паскевич принимал всех дружелюбно. Этот способ приобретал доверие в чужом народе и мне известен; жаль, что я один во всей Персии понимаю его. Так действовал я против турок, так поступал и в Карабаге в кампанию прошлого года. Гассан-хан, напротив, ожесточил против себя всю Грузию, и в этом отношении усердствовал вам, сколько мог. Ермолов, как новый Чингис-хан, отомстил бы мне опустошением несчастных областей, велел бы умерщвлять всякого, кто попадет к нему в руки,— и тогда, об эту пору, две трети Азербайджана уже стояли бы у меня под ружьем, не требуя от казны ни жалования, ни продовольствия”.

Грибоедов ответил, что генерал Ермолов так же, как и нынешний главнокомандующий, наблюдал пользу государства и что можно к одной и той же цели идти различными путями.

Аудиенция кончилась в три часа пополудни, и Грибоедов, приняв от Аббаса-Мирзы письмо на имя Паскевича, в тот же день выехал из персидского лагеря, окончательно убедившись, что все рассуждения о перемирии были простой проволочкой, желанием затянуть время и хотя на несколько лишних дней остановить успехи русского оружия. Грибоедов оставил Чорсский лагерь, однако же, под впечатлением, что неприятель войны не желает, что она для него и страшна, и тягостна, что от постоянных неудач персияне пали духом, и все недовольны. Мирза-Мамед-Али говорил ему, что шахское войско наводит гораздо более трепета на жителей, нежели русские, что в виде подати на Хойскую провинцию .наложена доставка двенадцати тысяч халваров хлеба, и шах велел платить по туману за халвар, тогда как он продается по пяти между народом. И несмотря на все это, как стороной узнал Грибоедов, персидские войска готовились к нападению на Аббас-Абад. Дело в том, что военные предприятия были необходимы персиянам; иначе, оставался в бездействии, не видя случаев к грабежам и только испытывая всякого рода лишения,— войска Персии разбежались бы сами собой.

XXII. ПОХОДНЫЙ АТАМАН ИЛОВАЙСКИЙ

Походный атаман донских казачьих полков на Кавказе, генерал-лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский, участвовавший в Джеванбулакском бою, был одной из замечательнейших личностей, выдвинувшихся в предыдущую эпоху великих европейских войн. Как ни было незначительно его личное участие в походах Паскевича, но то влияние, которое он имел на донцов как ветеран наполеоновских войн и как один из лучших представителей казачьей славы,— доставляло ему не только первенствующее место среди генералов, окружавших главнокомандующего, но и весьма деятельную, хотя и не бросающуюся в глаза роль в тогдашних событиях. Фамилия Иловайских пользовалась на Дону уже давно всеобщей и заслуженной известностью. Прадед Василия Дмитриевича,

Мокей Осипович, уже жалован золотым ковшом с царским гербом, а дед его, Иван Мокеевич, сделался даже легендарной личностью вследствие одного обстоятельства, о котором семейная хроника Иловайских рассказывает следующее.

В царствование Екатерины II, Иван Мокеевич, будучи войсковым старшиной, ходил с полком на Кубань и там, в одной из схваток с черкесами, был взят в плен и продан в Снеговые горы. Ни увещания, ни угрозы горцев не могли склонить его к перемене веры и к женитьбе на черкешенке. Два раза пытался он оттуда бежать, и оба раза неудачно: горцы его ловили. И так как с каждым разом житье его становилось все хуже и хуже, то он наконец примирился со своей судьбой и перестал мечтать о возвращении на родину. Так прошло семь лет. Однажды, это было в августе, накануне праздника явленного образа Костромской Божьей Матери,— заснул он подле стала, которое пас, и вот, в сонном видении, предстала перед ним Богоматерь, которая вручила ему свой тропарь и благословила его возвратиться на родину.

Проснувшись, Иловайский с удивлением увидел, что читает наизусть молитву, которой прежде не знал и в которой часто упоминался совсем неведомый ему “град Кострома”. Чудесное событие его изумило. Но страх отважиться на новый побег заставил его пренебречь этой помощью свыше. Между тем на следующую ночь видение опять повторилось, и на этот раз Божья Матерь предстала перед ним с упреком за его сомнение в ее святой защите. Тогда Иловайский бежал. Несколько раз, уже настигаемый горцами, он скрывался от них то на вершинах деревьев, то в старых дуплах, то в высокой траве. Когда погоня, не найдя его, возвращалась назад, он шел опять, продолжая читать тропарь и направляя свой путь лишь по небесным светилам. Так шел он, не встретив на расстоянии семисот верст ни одного жилья и питаясь в пути только кореньями трав да древесными листьями. Наконец он добрался до Дона и прибыл в Черкасск. Там, прежде чем войти в свой дом, обошел он все городские церкви и в каждой отслужил молебен за свое спасение. Беседуя с одним из священников, он узнал, что в Костроме находится явленный образ Божьей Матери, и на другой же день, повидавшись только с семьей, отправился туда пешком. Там заказал он снимок с чудотворного лика и обложил его ризой, откованной из чистого золота. С тех пор эта икона хранится семейной святыней в роде Иловайских, а самое происшествие записано в числе чудес в костромской соборной церкви.

Сын Ивана Мокеевича, Дмитрий Иванович, впоследствии был генералом от кавалерии и наказным атаманом донского казачьего войска. Он дал хорошее образование всем своим семи сыновьям, из которых Василий Димитриевич, родившийся в 1785 году, воспитывался во втором кадетском корпусе, откуда, семнадцати лет от роду, и выпущен был на службу есаулом.

Полк, в который поступил молодой Иловайский, содержал тогда кордонную линию по берегу Немана, а затем участвовал в Фридландском походе, где донцы впервые создали себе европейскую славу. “Прибытие Платова с его казачьими полками к армии,— доносил тогда Бенигсен,— есть истинная гибель для наших противников”. Казаки, привыкшие к азиатскому образу действий, действительно, окружали врага своими мелкими партиями, бились с ним днем, не давали покоя ночью, расстраивали все его предприятия и лишали возможности продовольствоваться местными средствами края. Это была малая война, доведенная донцами до самых широких размеров. Сам Платов в письме своем к императрице говорит, что именно этой войне он был обязан тем, “что преизрядно шпиговал французов и брал у них в плен иного их дерзких штаб и обер-офицеров... а сколько,— наивно прибавляет атаман,— я и счет потерял, знает про то главнокомандующий армией, которому я их доставлял”...

Участвуя со своей сотней во всех этих наездах, молодой Иловайский обратил на себя внимание знаменитого атамана, который исходатайствовал ему золотую саблю “За храбрость” и, воспользовавшись случаем, представил его в Тильзите императору Александру I. Нужно сказать, что в этой войне, кроме Василия Димитриевича, находились и все остальные его братья; и вот государь, призвав к себе всех семерых Иловайских, представил их прусскому королю, говоря: “Вот как у меня служат донцы: семь сыновей у отца — и все они здесь налицо” [Из числа семи братьев Иловайских трое, Иван Димитриевич, Василий Димитриевич и Павел Димитриевич, имели впоследствии Георгия 3-го класса, а Григорий Димитриевич — 4-ой степени.].

Когда окончилась война на западной границе, Иловайский назначен был командиром казачьего полка и отправился с ним в Молдавскую армию. Там он участвовал с князем Прозоровским в битвах под Браиловом, с Багратионом — под Мачином, Гирсовом, Силистрией и Россеватом, с Каменским — при Пазарджике, Шумле и Батыне, с Кутузовым — под Рущуком и, наконец, в последнем блистательном бою 2 октября 1811 года, достойно закончившем собой пятилетние кровавые походы в Турцию.

Кампания 1811 года началась наступлением турок, которые, под личным предводительством верховного визиря, перешли Дунай и стали на левом берегу его, почти в виду нашей армии, собранной под Журжей. Удачная переправа через Дунай и взятие русского знамени исполнили врагов необычайной самоуверенностью. Вся Турция предалась безумным ликованиям и празднествам; все славили имя великого визиря, и султан из Царьграда прислал ему и пашам богатые награды. Но радость и ликования эти были преждевременны. Как только переправа окончилась, Кутузов приказал генералу Маркову скрытно переправиться через Дунай на турецкую сторону и взять визирьский стан, оставленный турками на том берегу, под охраной значительного корпуса. Там, посреди этого стана, который турки звали императорским, возвышался огромный разноцветный шатер великого визиря, с его несметными богатствами, и раскинуты были шелковые палатки министров; а кругом стояли табуны верблюдов и были нагромождены богатые товары, навезенные купцами из разных стран и земель Востока. Все это предназначалось теперь в добычу отважному корпусу, который, по взятии стана, должен был водрузить на месте его свои батареи и, таким образом, поставить турецкую армию между двумя огнями.

В глухую, безлунную ночь, освещаемую только зловещей кометой, считавшейся предвестницей войны двенадцатого года, войска подошли к переправе. Пока пехота рассаживалась в лодки, Иловайский с двумя казачьими полками кинулся в Дунай и вплавь достиг противоположного берега. Не теряя ни минуты, казаки во весь опор понеслись к Рущуку, на визирьский стан, и прежде чем турки успели сообразить в чем дело, донцы ворвались уже в лагерь и взяли девять орудий, двенадцать знамен и ставку великого визиря [Ставка великого визиря отправлена была в дар государю императору.]. Ужас овладел турецким отрядом, и двадцать тысяч людей, пораженных паникой, бросились бежать по дорогам к Рущуку, Разграду и Силистрии. Подоспевшая пехота поставила свои батареи на правом берегу Дуная и принялась громить верховного визиря с тыла...

Таким образом главная турецкая армия очутилась вдруг отрезанной от всех своих сообщений и шесть недель должна была претерпевать все бедствия самой строгой осады. Голод, снег и морозы породили между турками повальные болезни и сильную смертность. Все лошади пали или были съедены. Несчастные мусульмане стали питаться падалью и, не имея дров, оставались под покровом холодного, сурового неба. “Лагерь их,— говорит очевидец,— являл совершенное подобие острова, окруженного морем и ежечасно угрожаемого потоплением”. Наконец великий визирь, которому грозила неминуемая

личная гибель, в ночь на 3 ноября, покинул стан и бежал в Рущук один, на рыбачьей лодке. После его бегства войска держались не долго,— и в половине ноября жалкие остатки этой армии, уменьшившейся с тридцати до двенадцати, положили оружие. Война окончилась, и полк Иловайского получил приказание возвратиться в Россию.

Таким образом, в течение трех лет, проведенных в Турции, Иловайский, можно сказать, не выходил из боя. Кроме трофеев, добытых в визирьском стане, его казаки отбили у турок разновременно восемь орудий, шестнадцать знамен и доставили храброму своему командиру чины подполковника и полковника, георгиевский крест в петлицу, Анну и Владимира на шею.

Когда началась отечественная война, полк Иловайского стоял на Волыни, в составе второй западной армии, и вместе с. ней отступал к Смоленску. На пути, около Мира, присоединился к армии Платов со значительным числом казачьих полков. Здесь-то, в окрестностях этого местечка, произошло первое горячее кавалерийское дело с французами.

27 июня сильный отряд французской конницы двигался по дороге к деревне Романовой. Впереди всех шли польские уланы, под начальством отважного Рознецкого, который самоуверенно обещал в тот день королю Иерониму хорошо проучить казаков, чтобы отбить у них охоту тревожить Французские бивуаки. Привыкнув видеть их всегда отступавшими, Рознецкий неосторожно отделился со своим полком далеко от авангарда, и не заметил, как казаки, ехавшие до этого вразброд, вдруг сдвинулись в лаву, гикнули и в одно мгновение охватили полк... Пока Французы принеслись на выручку, уланы Рознецкого были уничтожены в буквальном смысле слова: из восьмисот человек — пятьсот, вместе с храбрым своим командиром, легли на месте под казацкими дротиками, а триста с восемнадцатью офицерами были захвачены в плен. Новая атака Французской кавалерии также не имела успеха и кончилась тем, что два храбрейшие полка, шассеры и конно-гренадеры, были истреблены “на прах”, как выражается Платов в своем донесении.

Бой у Романовой замечателен тем, что наводит самих Французов на грустные размышления по поводу их кавалерии в сравнении с нашими казаками.

“Не правда ли,— говорит Французский генерал Моран,— какое чудное зрелище представляла собой наша кавалерия, когда, блистая при лучах июньского солнца золотом и сталью, она гордо развертывала свои стройные линии на берегу Немана? Но какое горькое воспоминание оставили по себе те бесполезные, истощавшие ее маневрирования, которые она должна была употреблять против казаков, прежде презираемых, но сделавших для спасения России более, чем сделали все ее регулярные армии...

Каждый день видели их в виде огромной завесы, покрывавшей горизонт, от которой отделялись смелые наездники и подъезжали к самым нашим рядам. Мы развертывались, смело кидались в атаку и совершенно уже настигали их линии, но они пропадали как сон, и на месте их видны были только голые березы и сосны. По происшествии часа, когда мы начинали кормить лошадей, черная линия казаков снова показывалась на горизонте и снова угрожала нам своим нападением; мы повторяли тот же маневр и по-прежнему не имели успеха...

Таким образом самая лучшая, самая храбрая кавалерия, какую только когда-нибудь видели, была измучена и изнурена людьми, которых она считала недостойными себя, но которые тем не менее были истинными освободителями своего отечества. И эти люди

возвратились на Дон с добычей и славой, а мы оставили Россию, покрытую костями и оружием своих непобедимых воинов”.

Вскоре после этого дела, когда наши армии приблизились к Смоленску, главнокомандующий образовал особый летучий отряд барона Винценгероде, в состав которого вошел, между прочим, и полк Иловайского. Винценгероде должен был прикрывать Санкт-Петербургский тракт и не давать французам возможности распространять свои действия вглубь русской земли.

Неотступно, и шаг за шагом следя за неприятелем, Винценгероде дошел до Москвы и стал от нее в двух переходах по петербургской дороге. Авангард его, под командой Иловайского, был выдвинут еще вперед и расположился у Чашникова. Таким образом, стоя ближе всех к неприятелю, Иловайский лучше других знал бедственное положение великой армии, и через него император получал самые первые и свежие известия обо всем, что происходило в несчастной столице. Лихие казаки его, с каждым днем становясь смелее и смелее, окружили Москву тонкой, непроницемой цепью своих одиночных разъездов, врывались даже в самый город, ловили курьеров, перехватывали почты и каждый день приводили по несколько десятков пленных. От этих пленных Иловайский узнал однажды, что в деревню Химки прибыл значительный французский отряд. Собрав своих казаков, ночью 14 сентября; он внезапно, на самом рассвете, напал на Французов, разбил их наголову и взял до трехсот человек в плен. Эта первая победа, бывшая, так сказать, предвозвестницей тарутинского боя, доставила Иловайскому чин генерал-майора и особое благоволение императора.

7 октября французы наконец оставили Москву. Иловайский первым вошел в нее через Тверскую заставу,— и здесь-то, между заставой и Петровским дворцом, произошло его горячее кавалерийское дело с полуторатысячной венгерской конницей. Казаки смело атаковали противников, и в то время, когда венгры показали тыл, дорогу им заступила целая толпа мужиков, вооруженных топорами, косами и всем, что ни попало под руки. Произошло ужасное кровопролитие, и только остатки гордых венгерских гусар укрылись в кремле, где поспешили запереть ворота.

“Я был очевидцем этого боя,— писал Винценгероде императору Александру,— и не могу довольно нахвалиться искусством и мужеством генерала Иловайского, который распоряжался своими казачьими полками так, что, несмотря на громадное превосходство неприятеля в силах, обратил его в бегство и полонил у него шестьдесят два человека”.

“Привыкнув считать всегда венгерскую конницу первой в мире,— говорил впоследствии Винценгероде,— я после атаки Иловайского должен сознаться, что наши донцы превосходят даже и венгерских гусар”.

От ворот разоренной Москвы и вплоть до пепелища Смоленска, отряд Винценгероде, перешедший под начальство генерал-адъютанта Кутузова, неотступно сидел на плечах французов, и Иловайский по-прежнему командовал у него авангардом. Последнее дело в отечественную войну произошло 4 декабря у Ковно, где Иловайский, вместе с другими казачьими полками Платова, разбил и уничтожил последние остатки великой армии, находившейся под командой маршала Нея. “А с нашей стороны,— доносил главнокомандующему Платов,— урон при сем не велик, и ему в Донском войске ведется домашний счет”.

С переходом в Германию, Иловайский продолжал по-прежнему командовать казачьими полками и вместе с ними участвовал в делах под Люценом, Бауценом, Дрезденом и

Кульмом. В последнем сражении, преследуя бегущих французов, Иловайский взял в плен генерала Гано со значительным отрядом и восьмью орудиями; но, главное, на долю его казаков выпала в этот день завидная участь овладеть особой самого Вандама, о чем один из очевидцев рассказывает следующим образом:

“Когда по войскам пронеслось слово “победа” и громкое “ура!” огласило воздух, в это самое время из-за опушки леса выскакала толпа всадников, на которых можно было различить французские мундиры. Впереди всех, на тяжелом боевом коне неслась тучная фигура французского генерала в расстегнутом нараспашку сюртуке... Два казачьих офицера с пиками наперерез бросились к нему навстречу и до того напугали его своим внезапным появлением, что он охрипшим голосом начал кричать: “Русский генерал, спасите меня!” Казаки остановились и без труда обезоружили его и всю его свиту”.

Так очутился в наших руках маршал Вандам,— тот, который за пятнадцать лет перед этим, в Голландии, сулил сто луидоров тому, кто приведет к нему живым хотя одного казака, с тем, чтобы иметь удовольствие его расстрелять. Судьба жестоко отплатила ему за это намерение и передала его самого в руки ненавистных ему казаков. Эти два лихие донца были из полка Иловайского — есаул Бирюков и хорунжий Александров, которым главнокомандующий тут же, на самом поле сражения, пожаловал особые награды. Иловайскому государь назначил сам анненскую ленту, а затем, 6 октября, после Лейпцигской битвы, позвал его к себе и сказал:

— Наполеон разбит наголову и должен отступать в большом беспорядке. Опереди неприятельскую армию, ступай у нее в авангарде, разрушай мосты, гати, словом, наноси ей всевозможный вред... Но где же ты переправишься через реку? — быстро прибавил император.— Мост в Лейпциге занят неприятелем.

— Государь! — отвечал Иловайский.— Казакам река не преграда: переправимся вплавь.

Поблагодарив Иловайского, государь взял его за руку и подвел к федьмаршалу князю Шварценбергу, предлагая дать ему надлежащие наставления.

— Ваше величество избрали Иловайского,— отвечал Шварценберг,— и мне остается только ожидать успеха.

Такой же точно ответ дал и король Прусский.

С этих пор начинается для Иловайского длинный ряд трудовых, бессонных ночей, в седле, без отдыха и часто даже без пищи. Он шел, действительно, впереди французов, зорко выслеживая движение их авангарда, и затем, куда ни обращался последний, он находил везде мосты уничтоженными, дороги испорченными, гати разрушенными...

12 октября, в туманный и ненастный день, приближаясь к городу Веймару, Иловайский услыхал впереди сильнейшую ружейную перестрелку. Это его озадачило. Посланные туда казаки прискакали с известием, что конный французский отряд ворвался в город и на улицах идет ожесточенная рубка с казаками Платова, поспешившими туда прежде Иловайского. Иловайский тотчас повел свой отряд маршем и подоспел как раз вовремя, чтобы довершить поражение Французов. От пленных узнали, что летучий Французский отряд имел повеление Наполеона захватить со всей семейством великого герцога Веймарского, соединенного тесными узами родства и дружбы с русским государем.

Бой на улицах Веймара, поражение французской дивизии генерала Фурнье, разгром Мармона, битва при Ганау, занятие Франкфурта — следовали быстро одно за другим и доставили нашим казакам более шести тысяч пленных. Во Франкфурте на Майне Иловайский дождался прибытия императора Александра, и когда, в числе других генералов, явился во дворец,— начальник главного штаба, князь Волконский, отозвал его в сторону и сказал: “Государю угодно, чтобы вы сейчас же надели свой георгиевский крест вместо петлицы на шею”... Иловайский не успел исполнить этого приказания, как в комнату вошел император и, подойдя прямо к Иловайскому, сказал: “Поздравляю тебя с Георгием 3-го класса”. В тот же самый день ему пожалованы были золотая, осыпанная бриллиантами, сабля с надписью: “За храбрость”, прусский орден Красного Орла и австрийский — Св. Леопольда.

Участие Иловайского в кампании 1814 года, и особенно бой под Фер-Шампенуазом, где он с казачьими полками, на глазах государя, врезался в неприятельскую колонну и взял до тысячи пленных,— опять доставили ему алмазные знаки ордена св. Анны 1-ой степени и Владимира 2-го класса. По взятии Парижа, император принял его отдельно от других генералов в своем кабинете, находившийся в то время у государя цесаревич Константин Павлович, шутя заметил при этом, “что Иловайский хотя по номеру двенадцатый, но из дюжинных”.

Возвратившись с берегов Сены на Дон, Иловайский прожил несколько лет на отдыхе, среди своей родни, окруженный общим почетом. Изображение его можно было встретить в то время почти повсеместно, во всех уголках нашего обширного отечества, на тех немудрых лубочных картинах, которые так любы нашему простолюдину и в былое время украшали собой и хоромы купца, и курную избу простого крестьянина. “А вот извольте посмотреть,— говорит Федотов словами раечника,—

Там же, на правой стороне,

Иловайский на коне.

Казацкий хлопчик

Французов топчет...”

И кому из нас в ребяческие годы не приходилось видеть на этих лубочных картинах изображение молодого казацкого генерала, неистово скачущего по головам французской пехоты. Под ним лаконичная надпись: “Храбрый генерал Иловайский”.

Проведя несколько лет в бездействии, Иловайский назначен был походным атаманом донских казачьих полков на Кавказе и в этом звании много содействовал Ермолову в устройстве и улучшении казачьего быта, который он знал в совершенстве. Нужно сказать, что донские казаки не пользовались в то время особенным почетом со стороны кавказских наездников. Почему могли измениться, в такой сравнительно короткий промежуток времени, те самые донцы, которые служили в конце минувшего столетия грозой для прикубанских черкесов и еще недавно, в наполеоновские войны, стяжали себе громкую европейскую славу,— на это существовало много причин, и как на одну из главнейших указывают обыкновенно на кратковременность службы их на Линии и в Грузии.

Исторические обстоятельства, выдвинувшие донцов в начале минувшего века на новый пограничный театр военных действий — на Кубань, поставили их лицом к лицу со всеми силами кубанских и терских татар. По десяти и более лет не сходили тогда полки с

порубежной линии,— и трудно было сравниться кому-нибудь с этими закаленными в боях ветеранами. Но насколько крепли, развивались и выигрывали от этого боевые качества войска, настолько же, если еще не более, падали экономические силы донской земли, годами лежавшей без обработки за недостатком рук, оторванных от нее вечной войной и службой. И вот, когда к России присоединилась Грузия и наряд донских полков значительно еще увеличился,— признано было необходимым сменять донские полки на Кавказе через каждые два года. Сделано было это, конечно, в видах облегчения домашнего быта донцов,— но результаты вышли совсем не те, которые ожидались.

Едва полк приходил в чужую, незнакомую сторону, как казаки разбрасывались по отдельным постам, где попадали под начальство чужих офицеров, мало интересовавшихся их нуждами. Донским офицерам не поручалось ничего по той понятной причине, что они в новом для них крае ничего не знали — ни местности, ни свойств неприятеля. Предоставленные самим себе, без забот о них ближайшего начальства, казаки сразу попадали в такую обстановку, при которой каждый неверный шаг оплачивался с их стороны тяжелыми потерями и кровью.

Десятками ложились они в одиночных боях с врагом, к которому не успели еще приглядеться, сотнями погибали от климатических условий, ломавших самые крепкие железные натуры,— и, таким образом, на глазах у всех исчезла и падала боевая казацкая сила. Когда же, наконец, приобреталась казаками некоторая опытность и люди мало-помалу акклиматизировались, приходила смена,— и начиналась та же история, так как на сцене опять являлись неопытные, не знающие края люди старые же полки возвращались на Дон иногда в двух, и много-много в трехсотенном составе,— да и те приходили к домашнему очагу уже надломленные грузинскими лихорадками, от которых незаметно таяли и сходили в преждевременную могилу уже на родной стороне.

Тому, кто пожелал бы ознакомиться с нравственным состоянием духа тогдашних донцов на Кавказе, стоит проследить только их исторические песни, слагавшиеся, как говорит народ, “не ради забавы, а в назидание и поучение”. С беспощадной иронией, в картинах безотрадных и грустных рисуется в них жизнь, которая встречала казаков “на Линии-Линеюшке, на распроклятой шельме грузинской сторонушке”, откуда обыкновенно никто из них уже не чаял себе и выхода. Песни эти были дороги народу, как памятники старины, и их можно было слышать всюду, где только были казаки; но надо сознаться, что они запугивали воображение новичков целым рядом печальных и грустных сцен, ожидавших их в будущем, и мало способствовали развитию в них необходимой бодрости и смелости духа. И тени нет в этих песнях того широкого разгула, которым дышали песни минувшего века, времен “донских гулебщиков”. И это понятно, потому что здесь было уже “не охочее гулянье”, а тяжелый наряд, отбывание службы:

Ох ты служба наша нужная,
Сторона Грузинская,
Надоела ты нам, служба, надокучила,
Добрых коней позамучила...
Но замучивала она не одних только коней, а и самих добрых молодцев:
Ах ты, шельма, злодеюшка грузинская сторона.
Ах ты, шельма, грузинская сторона,
Без ветра и без вихря иссушила молодца...

И “лиха-чужа сторонушка” не выходила из головы. “Урядники, на линию!” — гремит, бывало, команда,— рассказывает Савельев,— а простодушные станичники боязливо

вздрагивают, потому что они не знают никакой другой линии, кроме “Линии-Линеюшки, распроклятой сторонушки”.

Воспоминания о подвигах донцов на Кавказе в минувшем столетии, подвигах, составлявших такой контраст с настоящим, невольно связывалось с представлением о долгой безустанной службе прежних казаков, и превосходство закаленных в боях ветеранов перед новыми выделялось в сознании всех тем с большей резкостью. А к этому прибавились еще и другие обстоятельства. Ряд войн, ознаменовавших первое десятилетие царствования императора Александра, потом нашествие французов, потребовавшее от Дона чрезвычайных вооружений, заставившее сесть на коня всю наличную боевую силу его, даже отставных и недорослей, затем опять три года беспрерывных заграничных походов и, наконец, громадный расход казаков на содержание кордонов внутри империи по всему протяжению границы от Ботнического залива до Турции,— ослабили Донское войско так, что в начале 1816 года уже некем было сменить донские полки, стоявшие на Кавказе.

И вот, чтобы облегчить службу донцов, является мысль вовсе не наряжать их ни в Грузию, ни на Кавказскую линию, оставив оборону тамошнего края исключительно на местном линейном казачестве. Кавказская Линия, сверх старых своих казаков, сидевших по Тереку, имела уже и новых, заселявших Кубань и образовавшихся опять из тех же донцов и частью из екатеринославцев. Могло казаться с окончанием войн, что этих казаков достаточно не только для содержания линий по Кубани, Малке и Тереку, но что они могли бы высылать от себя части и в Грузию. Так, по крайней мере, разрешили этот вопрос, согласно с желанием донского атамана, в Петербурге. Ртищев, бывший тогда главнокомандующим в Грузии, не пытался даже представить дело в истинном его положении и тотчас отпустил на родину шесть донских казачьих полков, а вместо них вызвал на службу линейцев.

В таком положении были дела, когда на Кавказ приехал Ермолов. Проницательным оком оценил новый главнокомандующий всю нецелесообразность подобной меры, и одним из первых его распоряжений было приостановить исполнение высочайшей воли. Четыре донские полка, из числа ушедших на Дон, тотчас были возвращены им назад, и Ермолов писал государю, что служба их на Кавказе необходима, что линейное войско находится в положении несравненно худшем, нежели Донское, что даже в 1812 году, когда на Дону было поголовное вооружение, у донцов не было на службе ни одного казака моложе семнадцати лет, тогда как в линейных полках, напротив, нет ни одного шестнадцатилетнего, который находился бы дома — все на службе, и в станицах остаются только женщины, дети и старики, уже не могущие работать; что нередко выходит на службу отец с двумя и тремя сыновьями, продается имущество, чтобы купить вооружение, которого не хватает на все число служащих казаков, рабочий скот выменивается у горцев на коней,— и многие семьи приходят в совершенное разорение. Конвой линейных казаков, встретивший Ермолова на самом рубеже Кавказа, действительно, произвел на него самое тяжелое впечатление. “Всегда,— говорит он,— отличались они от всех прочих казаков особенной ловкостью, отличным оружием, добротой лошадей. Напротив, я увидел между ними не менее половины молодых, нигде не служивших, и даже ребят. Что заключить должны,— продолжает он,— неукрощенные горские народы о поголовном вооружении линейных казаков? И что могут против них малолетние казаки, тогда как и хорошие донские полки не с первого шага бывали им страшны?”...

Приписывая громадную убыль донских казаков на Кавказе исключительно кратковременности их службы, Ермолов настаивал на том, чтобы донские полки

пребывали в крае не два, а четыре года, утверждая, что это не обременит, а скорее значительно облегчит донцов, так как им придется ежегодно наряжать на службу меньшее число полков, а число льготных казаков, между тем, будет увеличиваться в том смысле, что полки с Кавказа уже не будут приходить на Дон в половинном составе, как теперь.

Ходатайство Ермолова было принято, и срок службы донских полков на Кавказе увеличен с двух на четыре года. Но несмотря на это, несмотря даже на то, что смертность в донских полках, действительно, значительно уменьшилась,— сила казачья продолжала падать. Все еще существовали условия, мешавшие правильному развитию ее. Убыль старослуживых казаков заставляла составлять полки и на Дону все же наполовину из малолетков, дурно вооруженных, еще хуже обученных и на плохих лошадях, и потому понятно, что донцам приходилось играть страдательную роль при встрече с проворным и ловким кавказским наездником. К этому нужно прибавить, что состав полковых командиров, назначаемых зауряд, по дошедшей до них очереди, не всегда соответствовал своему назначению, и во главе полков нередко становились люди, кроме донского имени, не имевшие ничего общего с действительной боевой казацкой жизнью. Неразделенность военной и гражданской службы, существовавшая на Дону и сглаживавшаяся в то время, когда шли беспрерывные войны,— теперь начинала приносить свои печальные плоды. Недаром Ермолов в письмах к войсковому атаману жаловался, что в числе полковых командиров он вовсе не встречает на Кавказе имен, знакомых ему с наполеоновских войн. Еще худшее влияние оказало распоряжение, сделанное в 1820 году, по которому цесаревичу Константину Павловичу было предоставлено право всех нерадивых, дурных и порочных донских офицеров немедленно высылать из Польши обратно на Дон. “Дабы оные офицеры на Дону праздно не жили”, последовал указ отправлять их тотчас же на службу в Грузию и на Кавказскую линию,— и общий состав донских офицеров на Кавказе естественно ухудшался. Ухудшалось, конечно, с тем вместе и состояние полков.

Но дела стали изменяться к лучшему, когда в Грузию, в мае 1823 года, для общего заведования донцами прибыл генерал Иловайский. К сожалению, не имеется никаких данных, позволяющих судить о мерах, которыми он достиг лучшего хозяйственного устройства полков, строевого обучения их и нравственного подъема духа,— но результаты его деятельности скоро сказались в славной службе донцов, которой они ознаменовали себя в персидской и турецкой войнах.

Летом 1826 года Иловайский поехал в Москву на коронацию императора Николая Павловича; но он не дождался ее и накануне должен был выехать обратно в Тифлис, по случаю внезапного вторжения персиян. В Тифлисе застало его производство в генерал-лейтенанты и масса бумаг по снаряжению и отправлению в поход донских полков,— и только в 1827 году, управившись с этой работой, он получил назначение состоять в действующей армии при Паскевиче. Блистательное участие, принятое его казаками в решительной Джеванбулакской победе, доставило Иловайскому бриллиантовую табакерку с портретом государя. Но это была последняя его награда. Тяжелая болезнь, постигшая Иловайского на пути к Сардарь-Абаду, заставила его немедленно уехать в отпуск, на Дон, и с этих пор собственно начинается мирный, тридцатипятилетний период его жизни. В 1840 году он окончательно вышел в отставку, поселился в своем родовом имении, и умер в 1862 году, семидесяти семи лет от роду.

Иловайский оставил после себя на Дону народное имя, а признательность монарха сохранила для потомства в портретной галерее Зимнего дворца черты его, удачно схваченные искусной кистью Дова.

XXIII. КОММУНИКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ (Карабаг и Дагестан)

Когда Нахичеванская область была завоевана, когда пал последний оплот ее, Аббас-Дбад, на первый план выступила перед Паскевичем необходимость сношений с соседним Карабагом, откуда, уже по первоначальному плану, русский отрад теперь должен был получать провиант и боевые припасы. Между тем Карабаг, к тому времени, пока Паскевич совершал свой поход и дошел до Нахичевани, успел пережить весьма трудное время.

Вступление в командование Карабагским отрядом генерала Панкратьева сопровождалось решительной отменой всех предначертаний и распоряжений знаменитого предместника его, князя Мадатова.

Панкратьев, как говорит о нем Давыдов, никогда в сущности не был военным человеком, сам сознавал это и давно уже просился в обер-полицеймейстеры. Действительно, выдающихся боевых отличий за ним не имелось. Он начал военную службу волонтером в милиции, собранной в 1807 году, а когда она была распущена, перешел в один из егерских полков, находившихся в турецком походе. Через два-три года главнокомандующим молдавской армией назначен был Кутузов; Панкратьев поступил к нему адъютантом и был зачислен по гвардии. Это собственно и сделало его служебную карьеру. Вместе с маститым полководцем он прибыл к русской армии на Бородинском поле и неразлучно сопровождал его до Бунцлау. По смерти фельдмаршала, Панкратьев назначен был флигель-адъютантом. И вот, на исходе 1826 года, он появляется на Кавказе уже в звании командира второй бригады двадцатой пехотной дивизии.

Панкратьев прибыл к Карабагскому отряду 22 апреля, когда тот стоял близ Худоперинского моста. Новый начальник нашел расположение его на низком месте, подверженном притом неприятельским выстрелам,— и опасным, и вредным для здоровья людей. Переправа через разломанный мост казалась ему немыслимой без больших потерь, которые не выкупались бы результатами; да он не видел выгод даже и в удачной переправе, так как, по мнению его, неприятель, занимавший высоты и утесы правого берега, всегда мог уклониться от боя, отступить внутрь страны, оставив отряд в опасном положении. И на другой же день, 23 апреля, войска снялись со своей позиции и отошли на речку Кара-су. Неприятель с изумлением смотрел на отступление русских и, выдвинув два орудия, провожал их пальбой.

У Кара-су дневали. Панкратьев с двумя казачьими полками ездил на рекогносцировку к стороне Маральяна, чтобы отыскать удобное место для переправы. Течение Аракса там было, действительно, медленнее, могли даже открыться броды; но противоположный берег, высокий и крутой, требовал бы штурма, если бы только неприятель занял его значительными силами. Решено было вовсе отказаться от переправы, а если обстоятельства вынудят перейти в наступление, то переправиться несколько ниже Маральяна, где река гораздо быстрее, но берег отложе и ниже. В сущности и это наступление, должно было, по мысли Панкратьева, быть только демонстрацией, только занимать и тревожить неприятеля. “Больших же движений,— как писал Паскевич государю,—отряд делать не может, по недостатку транспортов”.

На следующий день отрад Панкратьева снова двинулся в путь и стал на речке Козлу-чае, в центральной позиции между Маральяном и Асландузским бродом, выслав две роты с казачьим полком для осмотра дороги к Герюсам... Нужно сказать, что Герюсы были назначены главным складочным пунктом, чтобы сблизить запасы с Нахичеванью, куда скоро должны были прийти главные силы Паскевича, и огромные вьючные транспорты день и ночь тянулись по горным дорогам из Шуши к Герюсам. Шушинские магазины

быстро опустели, герюсские, напротив, пополнялись. Специальным назначением Карабагского отряда становилась с этих пор охрана сообщений как здесь, так и от Зардоба до Ах-Углана и далее к Нахичевани, на всей, пролегающей через Карабаг, коммуникационной линии, по которой должны были доставляться в действующую армию жизненные и боевые припасы. Таким образом, сам характер действий Карабагского отряда потерпел радикальную перемену.

Единственным событием того времени, имевшим некоторую важность, было движение генерала Панкратьева, предпринятое им с частью отряда в Эрихлинское ущелье, куда войска ходили на исходе мая, чтобы помочь бывшему владельцу Карабага, Мехти-Кули-хану, выйти из Персии.

Бесплодные скитания по персидской земле видимо прискучили старому хану; он искал более спокойной, обеспеченной жизни под мощным покровом России и ехал на родину частным человеком, без всяких притязаний на какую-либо политическую роль. Паскевич принял его с удовольствием, потому что в лице его из рук персиян выпадало оружие, которым они так долго пользовались, чтобы волновать умы карабахских жителей. Из Эрихлинского ущелья Панкратьев форсированным маршем прошел к Маральяну, где, по полученным тогда сведениям, неприятель, будто бы, переправился на русскую сторону в значительных силах и на заре намерен был сделать нападение на один из вьючных транспортов, выступивший накануне низовой дорогой из Ахпуглана к Шуше. Тревога, однако, оказалась фальшивой.

Пока шушинские запасы шли в Герюсы, а в Ах-Углане устраивался новый складочный пункт, провиант подвозился морем из Астрахани в Баку. Там его укладывали на арбы и отправляли в Сальяны, к устьям Куры, откуда он доставлялся дальше уже сухим путем, средствами Ширванской провинции. Впоследствии стало возможным подвозить провиант, минуя Баку, прямо в Сальяны и потом сплавлять на киржимах вверх по Куре до Зардоба,— что значительно облегчало транспортирование. Вся эта часть коммуникационной линии поступила под защиту дагестанских войск. Действия Карабагского отряда становились, таким образом, в непосредственную связь и зависимость от хода дел в отряде Дагестанском.

Вначале дела складывались, однако, не совсем благополучно. Позднее открытие навигации помешало своевременной доставке провианта. А между тем, когда ни один транспорт еще не приходил из Баку, неприятель уже зорко следил за всеми приготовлениями и пользовался каждым случаем уничтожить русские перевозочные средства. Так, 1 мая между Зардобом и Агджибетом угнано было до ста черводарских лошадей, приготовленных под вьюки; 7 мая более сильная партия, по распоряжению Мир-Хассан-хана, вышла из Талышей, с намерением отогнать весь скот из пограничных карабагских селений. Она шла из Акервана на Лемберан, не зная, что это селение занято русскими, а между тем на самой пограничной черте ее встретили посты Белогородского уланского полка. Происшедшая тут незначительная аванпостная стычка осталась памятна местным жителям тем, что уланский офицер, поручик Маков, сразился один на один с известным персидским наездником Бейрамом. Поединок произошел в виду обеих сторон; Бейрам ранил Макова в ногу, Маков — богатырским ударом разрубил его пополам.

Пока аванпосты отстреливались, неприятель успел, однако же, захватить в ближайших селениях несколько сот лошадей. Выстрелы, между тем, подняли тревогу,— и целый эскадрон белогородских улан, под личным начальством полкового командира, полковника Макова, вышел из Лемберана; на пути присоединились к нему еще три полуэскадрона белогородцев, и неприятель, медленно отступавший с добычей, был скоро настигнут.

Стройная атака улан, их рослые лошади, пики с шумящими флюгерами — произвели такое впечатление на талышинцев, что они, бросив добычу, обратились в бегство. Уланы гнали их около пятидесяти верст и нанесли им большие потери.

Схватка эта, сама по себе слишком незначительная, имела, однако, последствия весьма важные. Удайся талышинцам первый набег,— и русским транспортам грозила бы вечная опасность; теперь талышинцы были обескуражены, упали духом, и в течение целой кампании они уже являются не иначе, как в составе персидских отрядов.

В ожидании подвоза войска заняли важнейшие пункты по коммуникационной линии и прочно в них утвердились. Из Дагестанского отряда пришли в Сальяны три роты Куринского полка и сотня казаков; две роты Каспийского батальона заняли Божий Промысел, а две роты куринцев и два эскадрона чугуевских улан, с двумя орудиями, стали в Зардобе; пространство между Зардобом и Сальянами поручено было охране ширванской и кубинской конницы, посты которой непрерывной цепью протянулись по берегу Куры; сильные резервы, собственно и обязанные сопровождать плавучие транспорты, заняли Джеват и Сальяны. Для большей безопасности линии приказано было, как только разольется Араке, спустить канавы и затопить земли, лежавшие по правому берегу Куры, там, где находились пашни муганцев. Разлив ожидался большой, и на нем основывался важный расчет: наводнение пашен должно было образовать повсюду непроходимые болота, которые могли исчезнуть не раньше августа. Таковы были распоряжения начальника Дагестанского отряда, генерала Краббе.

Панкратьев, со своей стороны, выставил две роты сорок второго егерского полка с сотней казаков и взводом артиллерии в Агджибеты и две роты сорок первого полка в Ах-Угланскии замок.

Коммуникационная линия, таким образом, была образована.

Первенствующее значение на ней получали Сальяны. И недаром Сальяны приобретали в тот момент такое особенное значение; вся местность, в которой они расположены, издавна играла роль пункта, оберегающего доступ в Каспийское море. На острове, образуемом Курой, рукавом ее Акушей и морским берегом, город занимает наиболее защищенный природой пункт, образуемый отделением Акуши от Куры, и сообщается с противоположными берегами этих рек паромной переправой. Кругом — памятники прошлого, свидетельствующие о пережитых городом бурных временах войн и нашествий. На левом берегу Куры, против местечка, тянется длинный земляной бугор, остаток вала, и старожилы рассказывают, что отсюда сальянский хан защищал Сальяны от нападений ханов ширванских. В семи верстах далее, по почтовой дороге в Шемаху, видны следы каких-то древних построек: домов, караван-сараев, мечетей, возведенных из жженого кирпича и камня; предание говорит, что это остатки обширного и богатого города,— первой столицы Ширванского ханства, разоренной монголами еще в XIII веке.

В мирные времена, когда меч вкладывался в ножны, Сальяны немедленно становились важным промышленным пунктом. Издавна были они знамениты своими рыбными промыслами. Петр Великий обратил свое внимание на Сальяны и думал устроить вблизи их гавань и ретраншемент; к сожалению, мысль эта, со смертью великого императора, осталась не исполненной; а впоследствии, когда русские внесли мир в эти вечно воинственные страны, главнейший пункт рыбных промыслов передвинулся отсюда вниз по Куре, в Божий Промысл.

На левом берегу Куры, в четырнадцати верстах от моря и в двадцати пяти от Сальян, стоит обширное местечко, теперь уже целый город, именуемый Божьим Промыслом. Основание его относится к той эпохе, когда, по переходе Ширванского ханства под русскую власть, рыбные сальянские промыслы были отданы в откупное содержание “индейцу” Могундасову. В то время и основана была эта “ватага” одним из подручных Могундасова, астраханским купцом Кафтанниковым, который дал ей и ее теперешнее имя. Во времена персидской войны Божий Промысл был мало кому известен; он не имел тогда еще прочных заведений, кроме нескольких амбаров для складки рыболовных орудий да нескольких камышовых шалашей, в которых ютились рабочие. Климат был нездоровый, и рабочие вымирали десятками от всевозможных лишений и скудной пищи. Лов рыбы производился только с первого мая по первое сентября, а затем весь рабочий народ, вместе с орудиями своего ремесла и наловленной рыбой, отправлялся в Астрахань до следующего года, и на промысле оставались только одни лодки под надзором туземцев. В 1826 году один из персидских отрядов проник до Божьего Промысла и сжег все, что только там находилось. Нашествие это не причинило, однако, больших убытков Могундасову, так как все ценные орудия и рыбные товары были заблаговременно отправлены им в Астрахань.

На эти-то пункты, важные для русских сообщений и льстившие к тому же хищническим инстинктам разбойничьих племен надеждой легкой и богатой добычи, устремились теперь усилия неприятеля. Эти попытки завладеть каспийским побережьем велись одновременно с севера и с юга, от Дагестана и от ханства Талышинского.

Еще с начала апреля по всем окрестным землям стали распространяться слухи, что сын Аббаса-Мирзы, Баграм, сам отправляется в Дагестан и везет с собой четыреста тысяч рублей, да на двести или триста тысяч товаров, предназначавшихся тем главарям, которые возьмутся поднять на русских народы Дагестана.

Говорили, что лучшие белады Кубы и Аварии взялись служить ему проводниками и что личный конвой его будет состоять из ста тридцати отборных лезгин и чеченцев. Ближайший путь Баграма лежал через Ширвань или Нуху, и Абхазов, управлявший в то время мусульманскими ханствами, принял все меры, чтобы не пропустить его через свои владения. Но Баграм мог проехать окружной дорогой через Елизаветпольский округ и Шамшадиль, а еще вернее — переправиться через Куру в Самухах, где неверность беков и даже самих жителей обратилась в пословицу. Таким образом, уследить и перехватить Баграма было почти невозможно. Да вопрос, впрочем, был и не в том, проедет или не проедет Баграм своей особой: личное присутствие его в Дагестане мало бы изменило тамошнее положение дел; важны были самые слухи, волновавшие дагестанцев и заставлявшие генерала Краббе держать войска около Кубы и Дербента, тогда как присутствие их было необходимо в Баку и в Сальянах, на коммуникационной линии, куда уже стали подходить караваны из Астрахани. В Дагестане потребовалось даже усиление войск. Как раз кстати, в это самое время, стали подходить на Кавказ третьи батальоны от полков двадцатой дивизии; их остановили на линии, а целая бригада, полки Тенгинский и Навагинский форсированным маршем двинуты были с Кубани в Ширванскую провинцию; но пока они шли, приходилось с трудом изворачиваться теми ничтожными силами, которые были уже в распоряжении Краббе.

В то же время надо было ждать нападений с юга, и три роты Куринского полка с сотней казаков, под командой полковника Кромина, охранявшие в Сальянах и на Божьем Промысле русские склады, зорко наблюдали пути в стороне Талышинского ханства. До Ленкорани, где стояли персидские войска, считалось около ста двадцати пяти верст, и оттуда скорее всего нужно было ожидать наступление неприятеля. И хотя кругом казалось

все спокойно и тихо, однако же транспорты отправлялись не иначе, как с сильными прикрытиями. События на первых же порах оправдали эти предосторожности.

В самом начале июня первое отделение доверху нагруженных киржимов вышло из Сальян и направилось вверх по Куре, конвоируемое ширванской конницей. Прикрытие шло по обоим берегам реки и своими разъездами наблюдало Муганскую степь. Киржимы плыли первые дни благополучно, с каждого ночлега давая о себе известия. В Сальянах снаряжалось уже и второе отделение, как вдруг, седьмого июня утром, показались персияне. Небольшой конный отряд их, верстах в десяти от Акушинской балки, стал переправляться на остров в том месте, где стояли посты Кубинской конницы. Неприятель выдвинул против этих постов фальконет, и едва грянул выстрел,— татары рассеялись и персияне заняли переправу. Кромину между тем дали знать, что по ту сторону Акуши, за этим отрядом, видны значительные силы. Там была уже не одна конница, а шла пехота и тянулся длинный ряд верблюдов с навьюченными на них Фальконетами. Не зная, какое направление возьмет неприятель, Кромин вздумал защищать все переправы по Куре и растянул свой маленький отряд верст на пятнадцать или на двадцать. Неприятель между тем остановился и ночевал на Муганской степи.

На следующий день, часов в восемь, персияне двинулись к Сальянскому острову. Нестойкая кубинская конница, сбитая фальконетным огнем, бежала еще поспешнее, чем накануне; русские войска, со своей стороны, должны были отступать со всех постов и стягивались к Сальянам. До полутора тысяч персидских всадников между тем уже рыскали по острову, угрожая захватить паром и отрезать от Сальян Божий Промысл; верстах в двух ниже, через Акушу, переправлялась на остров и персидская пехота с большим числом фальконетов. Кромин увидел невозможность защищаться в Сальянах, так как неприятель всегда имел возможность обойти его и овладеть Божьим Промыслом, где сложены были громадные бунты провианта и нагружались киржимы. И как ни важно было положение Сальян, отдать которые значило рисковать всем водным путем коммуникации, тем не менее приходилось покинуть их и защищать пока только запасы на месте их склада. К счастью, паром через Куру еще был цел, и войска могли переправиться свободно.

Десятого июня, подходя к Божьему Промыслу, Кромин услыхал сильную перестрелку. Две роты Каспийского батальона, находившиеся при складах, и русский вооруженный катер уже перестреливались с персиянами. Приближение Кромина заставило неприятеля отойти и скрыться на остров. Тем не менее нужно было ожидать новых нападений еще в больших силах — и готовиться к обороне. Так как киржимы второго отделения были уже нагружены и готовы к отправке, то, чтобы спасти их, Кромин приказал спустить их на банку, а из кулей с провиантом сделать укрепление, в середине которого поместились пехота и орудия.

Неприятель занял Сальяны. Часть его конницы тотчас пустилась вверх по Куре, вслед за киржимами первого отделения, которые в тот день ночевали в Джевате. К счастью, в Карабаге уже имелись сведения о том, что происходит в Сальянах, и полковник Абхазов успел принять свои меры: ширванский конвой, сопровождавший киржимы, был усилен, рабочие вооружены, а для большей безопасности из Зардоба, навстречу транспорту, на рысях пошел эскадрон чугуевских улан. Персияне вернулись.

Известия об этих событиях Паскевич получил под Эриванью, во время приготовлений к походу в Нахичеванское ханство. Потеря Сальянов, прекратившая коммуникацию в низовьях Куры, не могла его не потревожить, так как действующий корпус мог очутиться совершенно без продовольствия. Расстраивался весь план кампании. Понятно, с каким

нетерпением должен был ожидать Паскевич новых донесений. Но прошло несколько дней, а донесений не было. Тогда Паскевич отправил к Краббе курьера, с предписанием во что бы то ни стало вновь овладеть Сальянами, выгнать персиян и преследовать их за Куру на один или на два перехода. Предписывалось употребить для этого все наличные силы и целую бригаду, шедшую с Кавказской линии. “Даже с посредственными лазутчиками,— писал ему Паскевич с укором,— можно было знать о намерениях неприятеля и, заблаговременно собрав достаточно войск, самому к нему навстречу”...

Курьер застал, однако, все необходимые распоряжения сделанными. Уже девятого числа, когда, следовательно, отряд Кромина не отступал еще к Божьему Промыслу, из Шемахи уже двигались в Сальяны форсированным маршем две роты Апшеронского полка; а вслед за ними туда же направлялись: подоспевший с линии первый батальон тенгинцев, два эскадрона чугуевских улан и двести пятьдесят человек конных бакинских татар, поспешно собранных тамошним комендантом при первом же известии о вторжении персиян. Остальным батальонам, подходившим с линии, Краббе предписал идти без отдыха, чтобы как можно скорее прибыть в Шемаху, куда одновременно с тем отправлены были им из Кубы два орудия. Батальоны, двигавшиеся форсированным маршем от самой Кубани, усилили переход,— и 12 июня в Шемаху уже вступал второй батальон тенгинцев, а 14 там был и весь Навагинский полк.

Трудный поход в знойное время, однако, не дешево обошелся полкам; они оставили на пути до пятисот человек больных, и, при вступлении в город, во всех четырех батальонах было налицо только три тысячи штыков. Но зато за судьбы левого фланга теперь можно было быть совершенно спокойным. Персияне, узнав о приближении русских войск, уже двенадцатого числа сами очистили Сальяны и отошли за Куру. О возвращении им нечего было и думать. Целые три батальона стояли теперь в Шемахет, почти столько же в Сальянах, и при обоих отрядах было достаточное число орудий и конницы. Этого было с лишком довольно, чтобы совершенно оградить коммуникационную линию от повторения подобных набегов. Вступив в Сальяны почти по следам персиян, батальон тенгинцев нашел местечко в ужасном положении; оно буквально лежало в развалинах. Персияне выжгли дома, истребили все заведения, а жителей и весь скот увели с собой. Эта большая потеря была, однако же, ничтожной в сравнении с тем, чего стоило бы русским хотя бы только временное прекращение коммуникации.

Очистив Сальяны и отойдя за Акушу, неприятель остановился в угрожающем положении. Чтобы не подвергнуться новым тревогам и с большей свободой и безопасностью поднимать по Куре уже приготовленные транспорты, Кромин 20 июня со всеми своими силами переправился на Муганскую степь. Неприятель исчез; войска шли по большой Ленкоранской дороге, а персиян нигде не встречали.

На речке Кизыл-Агарум, уже дальше чем на половине пути от Ленкорани к Сальянам, Кромин остановился. Отогнав из ближних деревень до трех тысяч голов скота, захватив несколько персиян и возвратив до двадцати семейств сальянских жителей, которых персияне не успели еще угнать вглубь Талышей, отряд 24 июня повернул назад.

Но тут-то его и ожидал неприятель. Едва он стал выходить из камышей и густого леса на открытую степь, как сильная конница атаковала его арьергард; другая, еще большая толпа бросилась на голову колонны. Впереди отряда шел дивизион чугуевских улан. Их белые шапки, белые лацканы и серые кони рельефно выделялись на темной зелени муганской степи. Кромин не успел еще отдать приказание, как дивизион развернул фронт и, шумя флюгерами склоненных пик, стремительно помчался в атаку. Персияне дрогнули и дали тыл. К несчастью, под уланами были молодые, невыезженные кони, еще не умевшие

слушаться повода. В бешеной погоне, занесенные своими лошадьми, чугуевцы заскакали слишком далеко, наткнулись на новые вражеские толпы — и в свою очередь были опрокинуты. Персияне горячо их преследовали. Пушечные выстрелы остановили неприятеля и дали возможность уланам выйти из-под его ударов; тем не менее один офицер, пять солдат и восемь лошадей были убиты и ранены. Персияне после этого еще верст двадцать преследовали отряд, тревожа его огнем то с тыла, то с флангов.

Но это были уже последние усилия врагов. Позже, до самого конца кампании, неприятель со стороны Талышей больше не показывался.

Еще меньшей удачей сопровождались попытки персиян взволновать Дагестан. В июле сын известного Сурхая, Нух, поднял было на мгновение несколько аварских деревень и даже напал с ними на жителей Казикумыка. Видя затем, что все дальнейшие действия будут безуспешны, что в Дагестане все спокойно, он удалился в горы и выжидал только благоприятного случая, чтобы пробраться обратно в Персию.

Деятельность собственно Карабагского отряда во все это время была чисто пассивная. Выставив гарнизоны в Шушу и Ах-Углан, Панкратьев разделил остальные войска свои на две части. Бригада двадцатой дивизии, три роты егерей сорок второго полка, казачий полк и семь орудий, отправились в Герюсы для разработки дороги к Нахичевани. Шесть рот сорок первого полка и шесть рот сорок второго, с двумя казачьими полками и остальной артиллерией, расположились в Джабраиловских садах, вблизи пересечения дорог, идущих из Шуши в Герюсы и к Худоперинскому мосту, охраняя Карабаг от вторжения персиян из-за Аракса. Впоследствии войска в этих отрядах менялись, но роль их оставалась одна и та же. Оба отряда должны были находиться в беспрерывных сношениях между собой, и если бы один из них подвергся нападению, другой немедленно должен был идти к нему на помощь.

Но неприятель со своей стороны не пытался уже препятствовать начавшемуся большому движению транспортов по Карабагу. Только раз, 24 июля, однообразное бездействие русских войск было нарушено какой-то небольшой персидской партией. Человек семьдесят бросилось на вьючный обоз, переправлявшийся через речку Акару, и, пользуясь тем, что прикрытие находилось еще на другом берегу, угнало триста двадцать быков. Штабс-капитан Габашвили с пятьюдесятью казаками настиг, однако, хищников на берегу Аракса, и волы возвращены были в лагерь.

Если бы не этот случай, то войскам Карабагского отряда не пришлось бы услышать боевого выстрела во всю летнюю кампанию этого года. “Всю весну, лето и начало осени, — говорит один из участников похода,— отряд левого фланга стоял или бродил со своими транспортами между Ах-Угланом и Герюсами, двумя запасными магазинами для главного корпуса, действовавшего тогда в Армении. Мы не участвовали в его походах, но тем не менее пост наш был важен в общей операции корпуса,— мы были его кормильцами”...

Осенью обстоятельства войны, однако, изменились. Паскевич должен был воротиться в Эриванское ханство, а это не могло остаться без влияния на судьбы и положение всех войск, охранявших коммуникацию. Шестого сентября бригада двадцатой пехотной дивизии, вместе с Белогородским уланским полком, под личным начальством генерала Панкратьева, передвинулась из Карабага в Нахичевань, в состав вновь образованного там отряда генерал-лейтенанта князя Эристова; в Карабаг же, на помощь к оставшейся там егерской бригаде, прибыли из Дагестана Тенгинский и Навагинский пехотные полки, а в Тифлис пришла пионерная рота и два резервные уланские эскадрона от полков

Серпуховского и Борисоглебского. Так изменился состав Карабагского отряда, начальство над которым поручено было теперь генерал-майору князю Вадбольскому.

Неприятель, до которого в этой стороне должны были доходить преувеличенные слухи об успехах Аббаса-Мирзы в Эриванском ханстве, как бы подтверждаемые походом туда Паскевича, также снова зашевелился. Шестого сентября, громадная, как говорили, четырехтысячная, персидская конница вдруг нагрянула из-за Аракса и близ Шуши, в Аскаранском ущельи, угнала с кочевок весь рогатый скот и баранов. На следующий день, седьмого числа, набег повторился при следующих обстоятельствах. Шел транспорт из ста сорока восьми арб с годовыми вещами для некоторых частей Карабагского отряда; его прикрывало семьдесят семь солдат, и с ним ехал полковой казначей Нашабурского полка, поручик Климов. Дорога была узкая, трудная. Подходя к Шах-Булаху, обоз растянулся. И вдруг, из придорожного оврага, через который начал уже переправляться транспорт, вынеслась персидская конница. Девятнадцать повозок, находившихся уже на той стороне оврага, были моментально отрезаны. Подводчики, обрубив гужи и вскочив на лошадей, ускакали в горы, и брошенные возы захвачены были персиянами. Воспользовавшись этой минутой, Климов успел огородиться арбами и начал отстреливаться, а между тем донской казак, Аким Лагутин, поскакал в Шушу, чтобы известить о нападении. Целая толпа персиян погналась за ним. Лагутин был ранен, но все-таки успел уйти и совершенно уже обессиленный прискакал в Шушу, где поднял тревогу. Обоз между тем в продолжение восьми часов геройски отбивался от неприятеля, а к вечеру персияне, видимо утомленные и потерявшие надежду сломить мужество защитников, отступили к Араксу. Климов отстоял сто двадцать девять повозок, и были разграблены только те девятнадцать, которые сразу попали в руки к персиянам. Нашабурцы потеряли шесть человек, да из подводчиков двое были захвачены в плен. Рота, высланная из Шуши, пришла уже ночью, когда дело было окончено.

Подобные набеги, дорого обходившиеся врагам, более не повторялись. Неприятель увидел, что ничто существенно не изменилось в ходе войны, что он всюду встретит те же грозные русские силы. И вот для Карабагского отряда начинаются снова дни томительного бездействия. Правда, в случае дальнейшего наступления русских войск за Араке, в Азербайджан, он должен был принять теперь уже длительное участие в походе покорением Лори, Агара и Ардебиля; но это время было впереди, и в ожидании его войска спокойно оставались на своих стоянках.

Памятна осталась несчастная стоянка в Зардобе уланским эскадроном, пришедшим из Грузии. В продолжении двух-трех месяцев умерли там полковник Богданов, двенадцать обер-офицеров, два доктора и пятьдесят шесть нижних чинов; почти все остальные офицеры были больны, и двести шестьдесят девять солдат лежали в госпитале. Такая смертность, развивавшаяся в эскадронах совершенно внезапно, заставила вывести их в Шемаху и там расположить по окрестным селам. Причина болезни не была положительно выяснена, хотя доктора и приписали ее исключительно последствиям знойного лета. Но как бы то ни было, а уланы похоронили здесь лучших своих людей и, выступая из Зардоба, оставили обширное кладбище, усеянное убогими, деревянными крестами.

В ноябре Карабагский отряд начинает уже наступательные действия.

XXIV. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРАБАГСКОГО ХАНА

Среди живших в Персии ханов, некогда владевших теми землями, которые отошли к России по Гюлистанскому договору, выделялся своим влиянием и политическими связями Мехти-Кули-хан Карабагский. Когда, в 1826 году, персидские полчища вторглись в

Карабаг, значение хана, имевшего на родине много сторонников, втайне вздыхавших по деспотической татарской старине, возросло до самой высокой степени, до какой только оно могло достигнуть. Но Елизаветпольская победа в один момент превратила гордого хана опять в бездомного изгнанника, с той притом невыгодной разницей, что перед войной и сам он был полон надежд, и персияне возлагали на него надежды, а теперь его иллюзии были разбиты и влияние потеряно.

При таких обстоятельствах, положение карабагского хана в Персии, которая не могла не винить и его в возбуждении столь несчастной войны, становилось невыносимым. Ему естественно было склоняться к мысли — поискать более выгодных условий жизни на другой стороне Аракса, сблизившись с русскими. Такое настроение хана, конечно, не могло оставаться тайной в Тифлисе, и вот, еще во время пребывания на Кавказе Дибича, с ним начинаются переговоры относительно перехода его на русскую сторону. Полагали, что с возвращением хана исчезнет главная причина пограничных смут, волновавших население, и Карабаг, умиротворенный внутренне, станет, напротив, обороной для лежащих позади его других мусульманских областей Закавказья.

Карабагом управлял в то время князь Иван Николаевич Абхазов, один из немногих, еще оставшихся в рядах кавказского корпуса, героев Ленкоранского штурма. С доблестью солдата он соединял большие административные способности и возбуждал к себе нелицемерное уважение всех, кто имел с ним дело; его слово ценилось высоко азиатами, и на обоих берегах Аракса верили ему безусловно. На этого человека и было возложено ведение переговоров с Мехти-Кули-ханом. Хан охотно вступил в переговоры, и соглашался не только вернуться в Карабаг, но брался перевести с собой все те племена, которые вместе с ним укрывались в горах Даралагеза и оттуда, в случае движения русских к Нахичевани, могли угрожать сообщениям Паскевича. С переходом в русское подданство этих племен, персияне теряли в них до четырех тысяч превосходной конницы, а Закавказский край получал, напротив, крепкую охрану для своей границы. Но что было всего удивительнее, так это то, что хан не ставил со своей стороны никаких условий, и в письмах к Абхазову просто отдавал себя на милосердие русского государя, прося лишь, чтобы ему разрешено было жить в Шуше, в доме, который когда-то принадлежал ему и его предкам. Таким миролюбивым настроением хана не хотели, однако, злоупотреблять: ему обещали возвращение генеральского чина, четыре тысячи червонцев пенсии и управление в Карабаге теми тремя-четырьмя тысячами семейств, которые он обещал вывести из Персии. . Когда договор был заключен, колонна из двух батальонов Козловского полка, четырех сотен казаков и двух горных орудий, под личным начальством генерала Панкратьева, выступила 27 мая из Джабраильских садов, где стояли тогда главные силы Карабагского отряда, и пошла через Ах-Углан, Шушу и Герюсы к Эрихлинскому ущелью, чтобы оттуда содействовать хану в переходе его на русскую сторону.

Один из участников этого похода подробно описал и живописную природу гор, через которые проходил отряд, и трудности, которые пришлось преодолевать ему. В поэтических чертах рассказывает он, между прочим, о последнем вечере, проведенном перед походом, в лагере, в Джабраильских садах.

Полный месяц еще бледно светил с высоты небес на горы Дагестана и на Муганскую змеиную степь, серебря вечерние туманы, которые в фантастических очертаниях клубились над Араксом, по всему протяжению его от Худоперинских теснин до Асландузского, иначе, Котляревского кургана, столь памятного персиянам по двум боевым заутреням, отпетым здесь русскими в 1812 году, под начальством героя Котляревского. А за Араксом, из-за прибрежных его высей, вдали теплился замирающим

лучом уже зашедшего солнца один только ледяной череп великолепного Севелана. Направо, на серебряном поле заката, вырезывались черными зубцами вершины Саксагана и Зиарата,— исполинов живописного Карабага. В тылу лагеря, по мелким погорьям извивалась дорога, ведущая в Россию, доброе, славное, великое отечество.

Среди этой чудной картины, в чудный южный вечер солдаты готовились к походу. Снялись с лагеря еще до солнечного восхода.. Прохладной утренней зарей отряд успел выбраться из душного Черекенского ущелья,— и солнце застало его уже на высотах Кандалана, где зной сменялся горной прохладой. Первый ночлег войска имели в Чинахчи, имении князя Мадатова.

На другой день, разобрав по рукам горные единороги, отряд начал подниматься по горной лесистой тропе на высоты Саксагана, оставляя в стороне, вправо, живописную Шушу. То поднимаясь на возвышенные кручи, то опускаясь в глубокие теснины, усталые войска добрались наконец, к полудню, до его вершин и были вполне вознаграждены за трудный переход великолепной картиной природы, раскинувшейся перед взорами их на все четыре стороны. На север, из-за шушинских твердынь, синели снеговые выси Кавказа; на восток расстилалась необозримая Муганская степь, сливавшаяся в синеве дали с водной равниной Каспия; на запад картина обрамлялась, как резьбой, горами Даралагеза, на хребте которых, как три окаменелые всадника, три сторожа древней Армении, вздымались исполины Сальварти, Эрихли и Клисали; на юге беспорядочной толпой скучивались горы Азербайджана, и среди них вставал громадный Севелан, блистая ледяным своим шлемом, опушенным белыми, как перо страуса, махровыми облаками. Справа, из глубины ущелья, смотрело небольшое, но чрезвычайно красивое селение, Карагаралы, с его фиолетово-розовыми саклями и башенками, то погружаясь в воздушный поток клубившегося тумана, то снова выплывая на млечную его поверхность. Сама вершина Саксагана, на которой остановились войска, была покрыта голыми утесами, поросшими кое-где вековыми огромными соснами; соломенные курени постовых казаков и живописный бивуак русского отряда дополняли собой роскошную картину. Недоставало в ней только волн океана, чтобы соединить всю возможную красоту природы и довершить очарование. Недоставало еще Сальватора Розы, который своей волшебной кистью перенес бы на полотно этот изумительный горный пейзаж Карабага.

Гуськом начали войска спускаться по тропинке, едва проторенной и лепившейся по утесам, высящимся над безднами. “Проезжаешь такие места, скрепя сердце и удерживая дыхание, которое, вырываясь из груди, кажется, в состоянии, как вихрь урагана, сорвать тебя, вместе с конем, с утеса, на котором пробиты копытами ступени,— говорит очевидец.— Конь непременно должен ступать верно в эти каменные полированные гнезда,— в противном случае, ни он, ни всадник более не жильцы здешнего мира, а даровая добыча шакалам и орлам нагорным”...

К позднему вечеру, преодолев трудный путь и перейдя по деревянному мосту быструю каменистую реку Ах-Кара-чай, отряд остановился для ночлега на правом берегу ее, на том самом месте, где за год перед тем Аббас-Мирза, с большей частью своей армии, опрокинулся на батальон Назимки.

Отсюда, за Ах-Карачайским ущельем, начинается уже возвышенная равнина, и в одном из глубоких оврагов, которыми она перерезана, притаилась бедная армянская деревня Горонсуры. Здесь нашего рассказчика поразила одна случайная встреча, глубоко запавшая ему в душу и рисующая трагическую судьбу человека в этих странах, где так мало обеспечена была человеческая жизнь. “При самом входе в деревню,— говорит он,— я встретил молодую армянку, стоявшую с кувшином у каменного придорожного водоема.

Взглянув на меня, она вскинула кувшин на плечо и быстро, как джейран, взбежала на скалу к своей сакле. Я спросил о ней переводчика, и он, как уроженец Горонсуры рассказал мне много подробностей: имя ее Сусанна, она дочь тамошнего мелика, которому Аббас-Мирза в прошлом году приказал выколоть глаза за то, что в его магале не нашлось достаточного количества ячменя для конюшни шах-заде; теперь живет она со слепым отцом своим. Долго стоял я и смотрел на саклю, где скрылась армянка; а когда догнал ушедший отряд и оглянулся, Горонсуры потонули уже в своем глубоком овраге, и над ним высоко в небе, широкими кругами, носился хищный коршун”... Зловещая птица как бы предсказывала драму, уже готовую совершиться.

Ночевали в этот день в знаменитых Герюсах, расположенных в тесном и живописном ущелье; затем, 30 мая, прошли гремучую, богатую форелью, реку Базар-Чай, миновали пустое, издавна оставленное жителями селение Энгеля-Юрт, и к полудню достигли; наконец, Ах-Караван-Сарая, крайней цели экспедиции. Здесь Панкратьев должен был ожидать приезда Мехти-Кули-хана. Ах-Караван-Сарай находится на высотах, широким гребнем своим связывающих между собой Сальварти на юге и Эрихли на севере. Там, на этом гребне, поднимается довольно высокая и широкая в своем основании известковая коническая гора, в которой высечена пещера, могущая дать приют во время непогоды небольшой цепи лошаков с их вьюками и вожаками. Вот эта-то пещера и носит собственно название Ах-Караван-Сарая. На этой точке — перевал из Карабага в Нахичевань. Вид отсюда, особенно вдоль Эрихлинского ущелья, живописен, хотя дик и пустынен; долина Аракса с возвышенного места отсюда видна как на ладони.

Пока отряд делал привал, сотня казаков и двадцать конных армян, под начальством автора этих воспоминаний, посланы были осмотреть Эрихлинское ущелье, сделать съемку, а если можно будет, достать языка в селении Кара-Бабе и разузнать о неприятеле, особенно собрать сведения о крепости Аббас-Абаде, тогда еще бывшей в руках персиян. Медленно, с большими затруднениями углублялся небольшой конный отряд по нагорной тропе в ущелье и через час спустился на речку Кара-Бабу. Вырываясь из теснин с вершин Эрихли, с ревом и грохотом бросает она свои волны и пену через пороги обрывистого каменистого русла, и только уже далеко впереди течение ее становится более ровным, спокойным. Отряд нашел, однако же, безопасный брод и переправился на правый берег. Раздвинувшееся ущелье скоро открыло перед ним и селение Кара-Бабу. Оно стояло на возвышенной отлогой поляне и издали казалось небольшим, обнесенным стеной редутом, с торчащими по углам его башенками. Там можно было ожидать присутствия неприятеля, а потому отряд остановился и послал вперед, на разведку, небольшую летучую партию. Казаки, доскакав до селения, начали махать отряду руками и, в знак занятия грозной, молчаливо и угрюмо стоявшей твердыни, водружали на ее стенах донскую пику, накрытую шапкой. “Если такой, знак походил более на геодезическую веху, нежели на победную орифламу,— замечает рассказчик,— мы в том не были виноваты,— простым рекогносцировкам орлов не доверяют”.

Уже последние лучи заходящего солнца золотили высоты Ах-Караван-Сарая, когда возвращавшаяся назад рекогносцировочная партия стала подходить к русскому лагерю и увидела в нем необычное движение. Приехал Мехти-Кули-хан Карабагский. Его встретили с почестью и тотчас провели в палатку генерала Панкратьева. Пока они беседовали, в стороне, недалеко от бивуака, разбили для него огромный шатер, а далее шумным табором расположилась многочисленная ханская свита. Мехти был уже старик лет шестидесяти, с короткой и редкой седой бородой, с тусклыми, безжизненными глазами; высокий и худощавый, он отличался, однако, гордой осанкой, усвоенной им еще в то время, когда он был действительным повелителем Карабага.

Персияне неохотно выпускали Мехти-Кули-хана из своих рук. Он сам успел ускакать от погони, но весь обоз его был отбит, а семейство обязано спасением только необычайной отваге приверженного к нему Али-бека. Видя, что персияне уже настигают, отважный бек, несмотря на половодье, дерзко бросился в волны Аракса и успел переправить ханское семейство прежде, чем враги доскакали до берега. Все имущество самого Али-бека,— как говорят, тысяч на шестьдесят,— осталось в ханском обозе и взято неприятелем.

Наступила темная ночь. Тучи заволокли и небо, и русский отряд, бивуакировавший на высотах Ах-Караван-Сарая,— как вдруг, часов в десять вечера, ударили подъем. Получено было известие, что неприятель в значительных силах переправляется близ Маральяна на русскую сторону. И так как войскам, стоявшим в Джабраильских садах, предстояло, быть может, выдержать упорную битву, то Панкратьев должен был спешить к ним на помощь форсированным маршем.

В непроницаемой мгле, накрывшей солдат, “как инквизиторским капюшоном”, по выражению рассказчика, нельзя было различить дорогу, и отряд двигался ощупью вслед за проводником-татарином, который на белой лошади ехал впереди. А между тем дождь превратился в ливень; гигантские молнии, рассекая небо, опоясывали отряд огненными лентами; гром грохотал беспрерывно и сливался по временам в один нескончаемый оглушительный рокот. Лошади вздрагивали; люди скользили и падали. На каждом шагу грозила опасность оборваться в бездну, которая, при блесках молнии, показывала с левой стороны свою черную зияющую пасть. А грозный Сальварти, как горный дух, сопровождал отряд справа, выставляя из-за туч мрачное чело свое, увитое перунами.

По счастью, гроза скоро начала затихать, тучи быстро мчались на юг. Вот и небо распахнулось уже синим куполом, с мириадами звезд и полным месяцем. Выбравшись из душного ущелья, войска увидели перед собой горонсурскую равнину, покрытую густым черным дымом. Еще несколько шагов вперед,— и стало ясно, что горит степь. Пожар с невероятной скоростью обнял почти все видимое пространство, и русская артиллерия уже с трудом переехала через выжженное поле, ежеминутно опасаясь за свои зарядные ящики.

Горонсуры Панкратьев нашел в тревоге и смятении: там только-только что были персияне, и одна из их уходивших партий виднелась еще на горизонте. “Невольно вздрогнул я и вспомнил зловещую птицу,— рассказывает автор этих воспоминаний.— И предчувствие мое оправдалось: хищный коршун схватил голубку!.. Мы узнали от жителей, что персияне, вероятно, переправившиеся через Аракс из Урдабала или Мигри, всего за несколько часов до нашего прихода, сделали набег на селение, разграбили в нем несколько саклей, убили старого, слепого мелика и увезли его бедную дочь. Сердце мое облилось кровью при этой вести... Я видел и несчастного мелика, обезображенный и неприбранный труп которого еще лежал на окровавленном помосте его разграбленной сакли. Генерал немедленно отрядил пятьдесят казаков в погоню за хищниками. Казаки доскакали до Ахкарачайских ущелий и вернулись ни с чем; один из них во время погони поднял только красное покрывало и привез ега в лагерь. Это было покрывало армянки, дочери мелика; я его узнал и купил у донца на память за два червонца”.

В тот же день, на походе, рассказчику довелось увидеть еще раз карабагского хана, но уже при обстоятельствах необыкновенно странных, исключавших всякое представление об известной сановитости ханов, их азиатской гордости, презрения к женщинам и ярко рисующих в то же время полную распущенность восточных нравов.

“Когда отряд двинулся дальше,— говорит рассказчик,— я отделился от него, чтобы произвести по дороге маршрутную съемку. Поднимаясь в сторону по склону небольшой

возвышенности, я увидел внизу, на поляне, скакавшую женщину в татарской одежде. Разноцветное клетчатое покрывало ее развевалось по воздуху. Я невольно подумал о бедной армянке и, желая разглядеть наездницу, придержал коня. Вдруг из придорожных кустов выскочило человек десять верховых татар; они мгновенно окружили беглянку, и один из них, чрезвычайно красивый татарин, сильной рукой сорвал ее с седла, ловко перекинул к себе на переднюю луку и, как новый Малек-Адель, помчался со своей ношей прямо ко мне навстречу. Я стоял за возвышением, так что ему. нельзя было меня видеть. Первой мыслью моей было раздробить ему пулей череп, и я взвел курок пистолета. В это время из-за угла поворота, на место происходившей передо мной драмы, показался мой казачий конвой. Татарин, мчавшийся со своей пленницей, внезапно увидев нас перед собой, крепко осадил коня. Мы тотчас его окружили. Он до того оробел, что проворно соскочил с седла и начал осторожно опускать драгоценную ношу свою на землю... Женское покрывало, зацепившись за высокую луку татарского седла, открыло лицо незнакомки. Но кто же может представить себе наше удивление, когда в этой пленнице мы узнали... Мехти-Кули-хана Карабагского!.. Это, как я узнал от нашего переводчика и от офицеров, служивших в Шуше, была обыкновенная и частая забава хана... Оправившись немного от замешательства, хан велел подать себе коня и скоро скрылся из наших глаз”...

Таков был человек, становившийся теперь из преданейших слуг Персии — сторонником России.

Паскевич был чрезвычайно доволен возвращением карабагского хана, приветствуя это событие как одно из важнейших. В своем увлечении он перенес и на самую личность Мехти горячие симпатии. “Кроткий характер его,— писал он Дибичу,— так мало сходствует с хвастливой кичливостью его единоземцев, что нельзя не принять в нем участия”. Хан, со своей стороны, действовал весьма политично: он не предъявлял никаких неуместных требований, не прибегал ни к каким изворотам, чтобы казаться правым в своих отношениях' к России, и позволил себе лишь некоторые намеки на прежнее, незаслуженное с ним обращение, которое, будто бы, побудило его удалиться в Персию,— но и об этом он желал говорить только лично с Паскевичем. Подкупала Паскевича и надежда извлечь особую выгоду из родственных связей карабагского хана, через которые он думал вступить в сношения с Тавризом и Тегераном. Хан, увидевшись с главнокомандующим в Нахичевани, ловко поддерживал в нем эти надежды и не скупился на обещания; но чем он особенно обворожил его — это беспрерывным повторением, что безусловно предает себя милосердию государя и ничего не требует. “Я полагаю, однако, не совместным с достоинством и славой императора,— писал по этому поводу Паскевич графу Нессельроде,— если бы хан карабахский превзошел наше правительство в великодушных поступках”. По мнению его, услуги Мехти-хана были так важны, доверие его к России так велико, а отторжение от персиян трех тысяч воинственных семейств наносило им такой чувствительный вред, что он получал бесспорное и полное право на уважение. И Паскевич торопил министерство, как можно скорее испросить высочайшее соизволение на милости, которые обещаны хану. “Это только одно,— писал он,— и может восстановить доверие к русскому правительству, которое по эту сторону Кавказа в последнее время (то есть при Ермолове) крайне поколебалось”. И в Петербурге, действительно, торопились. Приведенное письмо Паскевича, судя по времени, еще не могло прийти, а условия с ханом были уже утверждены, и главнокомандующему оставалось только вручить ему высочайшие грамоты и царский подарок.

Возвращение карабагского хана, и затем личные беседы его с Паскевичем послужили последнему поводом лишь к новым обвинениям знаменитого предместника его, Ермолова, и в особенности ненавистного ему князя Мадатова.

Со своей стороны и Мехти-Кули-хан, осторожно исследуя почву, постепенно все более и более старался воспользоваться расположением к себе главнокомандующего и, раз убедившись в его сочувствии, пустил наконец в ход все извороты коварной восточной политики. Он написал письмо, в котором выставлял себя прямо невинной жертвой русских интриг, обвинял Мадатова в захвате у него угрозами и силой почти половины карабагских земель, жаловался на Ермолова, покровительствовавшего, будто бы, этим захватам, и побег свой в Персию объяснял уже необходимостью спасти свою жизнь, которой, будто бы, угрожали Ермолов и Мадатов. Паскевич. не взвешивал, насколько справедливы подобные жалобы; он тотчас сообщил их министру иностранных дел, прося довести до высочайшего сведения. “Гонения, претерпенные Мехти-кули-ханом,— писал он,— были устроены и приведены в действие с таким бесстыдством обмана и неправосудия, что нет ни одного голоса, который не свидетельствовал бы в пользу гонимого”. Паскевич находил даже, что строгая справедливость требовала бы возвращения хану в управление Карабагской провинции; но, к счастью, и сам он сознавал, что сделать этого уже было нельзя: время и обстоятельства настолько изменили отношения беков к их прежнему владетелю, что возвращение к старым порядкам, существовавшим в стране до удаления хана, являлось не мыслимым. Зато Паскевич требовал суда над теми, кого считал виновными в пристрастных и преступных действиях против хана. “Нужен непременно,— писал он,— хотя один торжественный акт правосудия, чтобы смыть с характера русских начальников те пятна и мрачные краски, которые навели на него поступки отважнейшего корыстолюбца”.

Государь, к счастью, видел дальше донесений Паскевича и не разделял его мнения. Он нашел, что “невозможно быть беспристрастным при том возбуждении, в котором находилась страна”, и приказал оставить все дело до окончания войны, когда жалобу Мехти-Кули-хана можно будет представить на предварительное рассмотрение комитета министров.

Жалобе этой, однако, не суждено было пойти так далеко и после войны, а Паскевичу еще раз пришлось убедиться в правоте и целесообразности политической системы Ермолова. Мехти-хан скоро разочаровал его, выказав те мелочные побуждения и честолюбивые замыслы, которые только и руководили всеми его действиями. Поступки хана настолько стали казаться ему подозрительными, что прошло уже целых девять месяцев после получения рескрипта на возвращение Мехти генеральского чина и, в дар от государя, бриллиантового пера на шапку, а Паскевич все еще не решался передать их хану.

Действительно, безусловная готовность Мехти отдаться на милосердие государя и разные услуги его были только на словах. Хан ровно ничего не сделал из того, что обещал Паскевичу; даже те три тысячи семейств, которые он хотел вывести из Даралагеза, оказались мифом. С ханом явилось только несколько приверженных ему фамилий, и для содержания его вынуждены были отдать ему в Карабаге те семьи, которые или вернулись в русские владения гораздо раньше его, или вовсе никогда не уходили в Персию. Но и этим дела не ограничились. Едва хан почувствовал, что в нем нуждаются, как тотчас же возвысил тон и дал понять, что пенсии в четыре тысячи червонцев ему недостаточно, а что если хотят его сделать полезным, то пусть водворят его в Карабаге вновь на правах владетельного хана,— ссылаясь на обещания, будто бы данные ему в этом смысле князем Абхазовым. Паскевич был взбешен подобной наглостью и приказал объявить Мехти, что “столь невыносимые требования не могут обещать ему пользы”. Он приказал военному губернатору Сипягину следить за поведением хана, а Сипягин доносил, что “хан собирается бежать обратно в Персию, но, не умея скрыть своих намерений, сам же и разболтал о них в пьяном виде”.

Сипягин, впрочем, не делал со своей стороны никаких распоряжений к задержанию Мехти. Он писал Паскевичу, что, по его мнению, бегство хана не составит большой потери для нас и что “четыре тысячи червонцев, назначенные ему, можно будет с лучшей пользой употребить на другие предметы”. Паскевич вполне согласился с этим. Но едва с ханом перестали церемониться — он тотчас же понял бесполезность всяких претензий на политическую роль и примирился со своей судьбой. Он спокойно дожил свой век частным человеком в той самой Шуше, где некогда был неограниченным повелителем.

Нелишнее сказать, что вернулся в Карабаг, несколько позднее Мехти-Кули-хана, и его племянник, Джафар-Кули-ага, некогда наследник карабагского ханства, игравший крупную историческую роль в судьбах своей родины. Сосланный в Симбирск Ермоловым, он еще при жизни императора Александра выхлопотал себе позволение жить в Петербурге, где воспитывались его сыновья, а один из них, Керим, уже служил в лейб-гвардии уланском полку. Когда Ермолов удалился с Кавказа, Джафар просил позволения вернуться туда, чтобы служить в действующей армии. Государь приказал, однако, спросить об этом мнение Паскевича. “Проситель сей,— писал ему граф Нессельроде,— храбр и отважен, ибо получил за отличия в боях чин полковника и золотую, украшенную алмазами саблю; но до того с равной же храбростью сражался и против нас за персиян”. Паскевич нашел неудобным возвращение Джафара; он полагал, что пребывание в одном месте двух кровных врагов, племянника и дяди, может сделаться причиной смятения целой провинции. Он уже перестал верить чистоте намерений обоих. Так и не пришлось Джафару участвовать в персидской войне. Только в 1830 году ему дозволили, наконец, вернуться в Карабаг, и он так же, как Мехти-Кулитхан, дожил свой век на родине частным человеком.

Один из путешественников, видевший Джафара в 1857 году, говорит, что это был уже маститый старик, но что и тогда еще поражало его красивое, типичное лицо, оттененное окладистой бородой, и колоссальная фигура, согбенная летами, но говорившая, что в этом теле было прежде много жизни и силы. Степенность его спокойных движений, его осанка и рост — все выделяло его из толпы почетных беков, тоже рослых и видных людей, тоже выглядевших не простыми татарами. А на Востоке высокий рост и важная осанка служат признаками хорошей крови и аристократизма. Это была одна из тех крепчайших человеческих натур, которую не в силах были сломить обстоятельства и едва одолевали годы.

XXV. СТОЯНКА В КАРА-БАБЕ И УРДАБАНСКАЯ БИТВА

После Джеванбулакской битвы пала крепость Аббса-Абад, и в Нахичеванской области русские стали твердой ногой. Та же судьба грозила теперь и области Эриванской; Сардарь-Абад и сама Эривань, с прибытием к Красовскому осадной артиллерии, которая была уже на пути, конечно, долго продержаться не могли. Персидский двор должен был убедиться в неизбежной потере своих двух провинций и навсегда отречься от них. По известной скупости шаха не было, однако, пока никаких надежд на его согласие уплатить военные издержки,— и войне, таким образом, суждено было продолжаться. Паскевич, отправляя Грибоедова в персидский лагерь для переговоров о мире, в то же время деятельно готовился к новому походу и писал государю, что как ни лестно ему провести несколько дней в шуме побед, но он не должен скрывать от себя, что надежда на примирение еще далека. “Разрушительный способ войны, избранный неприятелем,— говорит он в одном из своих донесений,— опустошение им целых областей и увод жителей, конечно, не для того им вымышлен, чтобы уступить нашим требованиям”.

Ежедневно приходилось убеждаться в важном значении Аббас-Абадской крепости, которая, прикрывая переправу через Араке и давая свободный вход в неприятельские земли, вместе с тем охраняла позади Нахичеванскую область. И первой заботой Паскевича было исправить, как можно скорее, разбитые стены Аббас-Абада и вообще привести крепость в оборонительное состояние. В покоренной области вместе с тем вводилось и русское управление. Вся военная и высшая административная власть сосредоточена была в лице Аббас-Абадского коменданта, которым, по личному выбору Паскевича, назначен был генерал-майор барон Остен-Сакен; гражданская же часть и непосредственное управление жителями временно оставлены были в руках местных владетельных ханов, вступивших в сношения с русскими. При их содействии порядок в стране, мало-помалу, стал водворяться, жители возвращались в свои дома и снимали жатву, которая иначе могла бы пропасть, обратив весь край в обширную пустыню.

Устроив управление областью, Паскевич оставался некоторое время в Аббас-Абаде для наблюдения за неприятелем. Собраны были сведения, что главные силы персиян сосредоточены в Хое, но что джеванбулакский бой и падение Аббас-Абада внесли такую деморализацию в ряды персидской армии, что серьезных наступательных предприятий ожидать оттуда было невозможно. Обстоятельства складывались, таким образом, весьма благоприятно, и Паскевич уже проектировал победоносный поход. “Если прибудут своевременно транспорты и число больных не лишит меня большей части строевых людей,— писал он государю,— то я иду отсюда не на Хой, где ныне шах,— ибо это не кратчайший путь к столице Азербайджана,— а прямо на Тавриз. Вероятно, шахское войско поспешит туда же; я дам ему сражение,— и город останется за победителем”.

Действительность не оправдала, однако, этих надежд главнокомандующего. Положение и русских войск, вследствие губительного климата, с каждым днем становилось все хуже и хуже,— болезни между людьми умножались, и симптомы их, по свидетельству врачей, были такого рода, что до декабря месяца едва ли можно было ручаться за совершенное выздоровление больных.

К этому присоединился падеж скота, сильно заботивший Паскевича; ежедневно падало по семьдесят и более быков,— и впереди грозило совершенное истощение перевозочных средств. Транспорты со стороны Эривани, таким образом, расстраивались, а из Карабага не приходили, так как дорога через горы еще была недостроена. Паскевич, ездивший самолично осматривать работы, хотя в общем и остался ими доволен, но должен был сознаться, что направление их несколько ошибочно. Взят был кратчайший путь через высочайшую гору Сальварти; и хотя разработка его была произведена весьма тщательно, но подъемы, которых миновать было невозможно, во многих местах все же оставались так круты, что тяжело нагруженные арбы едва-едва могли подниматься на них даже летом, а с наступлением зимы и совсем не могли бы ходить, вследствие беспрерывно свирепствовавших здесь снеговых метелей и вьюг. Была другая дорога на Герюсы, через Ах-Караван-сарай, лежавшая левее Сальварти, по ущелью реки Кара-Бабы; она не представляла таких затруднений летом и опасностей зимой, но не была выбрана своевременно как окружная и теперь требовала бы новой разработки. Между тем надежная коммуникация Карабага с Нахичеванской областью становилась во всяком случае безусловно необходимой, и Паскевич решил немедленно приступить к разработке и этой дороги. Батальон Козловского полка и две роты пионеров, стоявшие на Сальварти, с полковником Евреиновым, отправлены были на работы к Ах-Караван-Сараю.

Невыносимый зной между тем все увеличивал да увеличивал болезненность в русском корпусе. Паскевич рисковал остаться и без людей, и без продовольствия. И вот он решился наконец перенести лагерь из-под Аббас-Абада в горную полосу Нахичеванской

области, где сравнительная прохлада и лучшая вода должны были, казалось, оказать благотворное влияние на здоровье войска. Однако мистическое происшествие омрачило пребывание на новом месте: Внезапною лавиной был погребен поручик Семецкий, отошедший по нужде. Каково же было удивление однополчан, когда извлеченный из-под камней бездыханный поручик внезапно ожил и потребовал вина!

“Кратковременное прекращение военных действий,— писал Паскевич государю,— не отвлечет нашего внимания от неприятельских движений. Если он в мое отсутствие в значительных силах и обложит Аббас-Абад, или просто перейдет на эту сторону Аракса, то я быстро спущусь на равнину и, с Божьей помощью, разобью его. Между тем, кроткое обхождение с племенами, населяющими занятые области, частые сношения с жителями и роспуск по домам некоторых пленных подготовят нам расположение народа и по ту сторону Аракса. Отдых же в местах прохладных, укомплектование войск и возобновление запасов дадут мне способы открыть осеннюю кампанию еще с большим блеском”. Дело было спешное, и оно закипело в руках Паскевича. Уже 18 июля из-под Аббас-Абада вышли транспорты и больные, а двадцать третьего числа и последние войска покинули Аббас-Абад и потянулись в горы, к селению Кара-Бабе, прославленному кровавым боем, который здесь выдержал генерал Несветаев в 1808 году; Кара-Баба — один из тех уголков Кавказа, где русский солдат написал своей кровью в летописи кавказской войны знаменательный урок неустрашимости и самоотвержения,— урок, переходивший еще тогда по преданию к молодому поколению в рассказах стариков, свидетелей и очевидцев страшного боя. Войска расположились в Кара-Бабе до наступления осенней прохлады.

Но общим ожиданиям и надеждам не пришлось оправдаться и здесь. Не благорастворенный горной прохладой воздух, а ту же знойную, удушливую атмосферу, еще усиливавшуюся в каменных раскаленных ущельях, встретили в Кара-Бабе войска,— и болезненность в них не уменьшилась, а увеличилась. Официальные источники говорят, что войска привезли с собой сюда тысячу восемьсот человек больных,— и по происшествии четырехнедельной стоянки число их возросло до тысячи девятисот пятидесяти человек. К тому же войска терпели во всем большой недостаток. Один участник похода рассказывает, что Паскевичу приходилось платить по сто рублей за пуд сахара, а офицеры давно уже не видели ни чаю, ни водки.

“Лучше бы было в сто раз,— говорит этот участник похода,— если бы вместо несчастной, нездоровой стоянки у Кара-Бабы, Паскевич, по взятии Аббас-Абада, не останавливаясь повел бы нас прямо к Тавризу. Перейдя Араке, мы нашли бы хлеб уже сжатым, местность здоровую, жары менее знойными”. Тавриз, с его Азербайджанской областью, действительно славился в Персии хорошим климатом и плодородием там, только фруктов, которые в умеренной полосе не так роскошны и изобильны, как в знойной долине Аракса. Но отсутствие их было одним из залогов уменьшения болезней.

Пока войска стояли в Кара-Бабе, Паскевич приводил в подданство России обитателей левого берега Аракса, и небольшие русские колонны то и дело ходили по разным направлениям, чтобы защищать покорное население от курдов и карапапахов.

Один из самых выдающихся предводителей разбойнических шаек, наделавших русским так много хлопот, был в то время некто Керим-хан, последний правитель города Нахичевани, происходивший от одной из древнейших фамилий края, которая владела некогда наследственно всем Нахичеванским ханством. Когда Аббас-Абад был взят, Керим явился к Паскевичу и предложил ему свои услуги, а в то же время и те же услуги предложены были им персидскому правительству, и дело шло о том, кто больше заплатит. Паскевич постарался, конечно, избавиться от него, и Керим сделал тогда своей

специальностью набеги на мирных жителей Нахичеванской области,— ремесло, доставившее ему барыши, которые далеко превосходили и русское, и персидское жалование в сумме. Обстоятельства сложились так, что нашелся и ревностный сторонник России, ставший опасным противником Керима. Это был отважный Насиб-Эксан-хан, владелец Урдабадский, командовавший в Аббас-Абаде, во время осады его, батальоном нахичеванских сарбазов. Когда крепость сдалась, Эксан-хан открыто принял русскую сторону и остался в своем Урдабаде, городке небольшом, но с хорошо устроенной крепостью-замком. Паскевич предупредил его, что он не должен рассчитывать на русские войска, которые не могут защищать Урдабада, так как он выходит из плана военных операций. Но Эксан-хан, желая спасти город и жителей, решился держаться в нем своими силами до последней крайности. Керим не замедлил открыть против него военные действия.

Уже 17 июля, когда войска стояли еще под Аббас-Абадом, от Эксан-хана пришло донесение, что большие толпы персиян готовятся напасть на него; он извещал, что будет защищаться в городе и на людей своих надеется, но что если семейства преданных ему сарбазов, находящиеся по деревням без всякой защиты, будут захвачены персиянами, то возникнет опасность, что и большая часть гарнизона уйдет за своими семействами. Паскевич поставлен был в весьма затруднительное положение. Помочь Урдабаду было нужно во всяком случае. С одной стороны этим показана была бы готовность охранять население, искавшее защиты русских, и в то же время спасен был бы город, который мог послужить передовым постом в случае нападения персиян с Тавризской дороги. А с другой стороны систематическая защита населения, разбросанного на обширном пространстве, вела за собой бесконечное раздробление войск и в будущем служила бы только неминуемо причиной вечных тревог и часто напрасных походов. Надо было приискать среднюю меру. И вот Эксан-хан взялся собрать часть бывшего батальона, еще недавно защищавшего с ним Аббас-Абад, и таким образом организовать свою собственную вооруженную силу, с тем, однако, чтобы ему даны были ружья и пушки. “Я должен был согласиться на это,— говорит Паскевич в своем донесении,— ибо, в противном случае, оставшись без оружия, он, Эксан-хан, поневоле должен бы был сдаться неприятелю”.

19 июля Тифлисский полк, с черноморской бригадой и шестью конными орудиями, под начальством генерал-майора князя Вадбольского, уже вступал в Урдабед. Вадбольский имел поручение сдать Эксан-хану четыреста персидских ружей и четырехфунтовую пушку, взятые в Аббас-Абаде, а затем, если городу не предвидется особенная опасность, немедленно возвратиться в лагерь. Паскевич не хотел, да и не мог разбрасывать свой малочисленный корпус.

Вадбольский нашел в окрестностях Урдабада полное спокойствие. Он узнал, что неприятель далеко и сделает ли нападение — еще неизвестно. Целый день он посвятил, однако, устройству тамошних дел, назначил Эксан-хана нахичеванским наибом, а 21 июля выступил из Урдабада обратно. С ним вместе вышли много армян, и в том числе семейство брата владельца, Ших-Али-бека. Сам Эксан-хан со своими сарбазами остался в городе.

Спокойствие, найденное князем Вадбольским, было, между тем обманчиво. Не успел он вернуться в лагерь, как двадцать третьего числа Керим с конной партией появился верстах в пятнадцати от Урдабада, угрожая угнать на персидскую сторону ближайшие армянские деревни. Жители успели бежать, но скот и часть имущества попали в руки персиянам. Пока разбойники забирали добычу, человек семьдесят с самим Керимом бросились на армянское селение Сиары, лежавшее уже вблизи Урдабада. Эксан-хан с шестьюдесятью

сарбазами подоспел на помощь к жителям,— и Керим был разбит; преследуя его, сарбазы сбили также спешивший к нему сильный резерв и взяли в плен Али-Акбер-султана Даранского,— “человека,— как выражается Паскевич,— здесь довольно известного”.

“Таким образом,— писал главнокомандующий в донесении государю,— бывшие персидские подданные, будучи предоставлены самим себе, в первый раз обратили оружие свое против врагов Вашего Величества”.

Неудача, однако, только озлобила Керима,— и он снова двинулся на Урдабад с трехтысячной партией. После сильной перестрелки форштадт был занят, и положение Эксан-хана становилось опасным. Два батальона персидских сарбазов с орудиями окружали теперь замок, в котором заперся хан, а конница блокировала город с другого берега Аракса. Внезапность нападения не позволила принять какие-либо меры к обеспечению татарских семейств, оставшихся в городе, и надо было ожидать, что если неприятель захватит их, то и гарнизон оставит Эксан-хана.

Исход блокады и страшная участь, которая угрожала самому Эксан-хану, если бы он попался в руки персиян, встревожили Паскевича, и в Урдабад форсированным маршем двинулся второй батальон Грузинского полка с сотней казаков и двумя орудиями, под начальством полковника барона Фридерикса. Особым вспомогательным эшелоном, в тот же день и по той же дороге, был выслан к нему и генерал-майор князь Багратион с армянской сотней и конным грузинским ополчением.

31 июля, ночью, явился к Фридериксу бежавший из Урдабада армянин с известием, что положение Эксан-хана отчаянное. Восемь дней с горстью своих приверженцев выдерживал он блокаду в Урдабадском замке, и последние тридцать шесть часов не имел воды. Гарнизон уже колебался и помышлял о сдаче. По словам армянина, у неприятеля пехоты было не более семисот человек, но он располагал зато большой конницей; в составе последней находились, впрочем, целые тысячи невооруженных кочевников, приведенных Керимом исключительно для грабежа окрестных селений. Фридериксу нужно было торопиться,— и армянин немедленно отправлен был назад, чтобы ободрить гарнизон известием о приближении русских.

Наступило утро 1 августа. На походе прискакал к Фридериксу новый гонец, но на этот раз уже с известием, что слух о приближении русской колонны произвел в персидском стане панику, что только один из двух батальонов, осаждавших замок, с командиром более энергичным, по-видимому, намерен защищаться в городе, а другой уже немедленно ушел за Араке; Фридерикс приказал своим гренадерам готовиться к приступу. Но едва боевые колонны их развернулись в виду Урдабада, как решимость покинула сарбазов,— и последний батальон их поспешно отступил за Араке. Город был занят без боя. Между тем неприятельская конница, заметив малочисленность казаков, обошла стороной город и вдруг, в тылу отряда, кинулась вся на вьючный обоз. Керим справедливо рассчитал, что если ему удастся отбить транспорт, то русский отряд поставлен будет в необходимость или уйти назад, или очутиться вместе с Эксан-ханом в блокаде, при самых невыгодных для себя условиях, без воды и без продовольствия. К счастью, находившаяся в прикрытии вьюков рота Грузинского полка геройски отразила нападение. А в это время Кериму дали знать, что по дороге к Урдабаду приближается новая сильная русская конница,— то был грузинский эшелон князя Багратиона,— и персияне, опасаясь попасть между двух огней, поспешно отступили. Оба русские отряда соединились в городе, и князь Багратион, как старший, принял начальство.

Удерживать за собой Урдабад, источник вечных тревог, Багратион находил и невозможным, и бесполезным. С уходом русских войск, которые не могли постоянно стоять в Урдабаде, персияне, как надо было ожидать, появились бы еще в больших силах, и участь Эксан-хана, со всем подвластным ему населением, рано или поздно должна была завершиться кровавой катастрофой. Получены были к тому же достоверные известия, что дней за семь перед тем из лагеря наследного персидского принца вышел на помощь Кериму батальон русских дезертиров, которому приказано во что бы то ни стало взять Урдабадский замок и доставить в персидский стан самого Эксан-хана, живого или мертвого.

Эксан-хан и сам видел невозможность дальнейшей защиты родного города; он только просил несколько дней, чтобы ему и окрестному населению собрать свое имущество. Багратион согласился, и обратный поход назначен был в ночь на 7 августа.

Выступая из Урдабада, войска дотла истребили замок, в котором защищался Эксан-хан, чтобы не дать персиянам возможности устроить из него опорный пункт на левом берегу Аракса.

Медленно двигался русский отряд, конвоируя громадный обоз переселявшихся армянских семейств. Узкая дорога, пролегавшая между садами, позволяла двигаться только рядами, и потому лишь в девять часов утра войска и обозы стянулись наконец в деревне Ванант, пройдя всего двенадцать верст от города, и, утомленные, расположились было на отдых. Персияне, видевшие, что добыча уходит из их рук, решились напасть на обоз во время пути. Керим поспешил собрать все, чем только можно было воспользоваться в ближайших пунктах расположения персидских войск,— и перешел Араке с твердым намерением истребить малочисленный русский отряд и возвратить назад переселенцев. Все это сделалось так быстро, что отряду не пришлось путем и отдохнуть. Нужно сказать, что почти непосредственно за деревней начинался глухой овраг, известный под именем Ванантского ущелья, перерезывавший дорогу, по которой отряду приходилось идти в деревню Чаланапы. За этим-то оврагом с крутым, обрывистым спуском и еще более крутым подъемом, на высотах правее дороги вдруг показались перед русскими толпы неприятельской конницы. Медлить выступлением с привала, очевидно, было нельзя, чтобы не подвергнуться нападению в самой глубине оврага,— и Багратион, имевший приказание отнюдь не вступать в дело, при подавляющем превосходстве неприятельских сил приказал ударить подъем, торопясь скорее миновать опасное ущелье, и затем, по Чаланапской дороге, осторожно обойти неприятеля.

Но едва отряд по узкой тропе, проложенной между скалами, поднялся из оврага, как уже стало ясно, что избежать столкновения с неприятелем невозможно. Неприятельские толпы, медленно передвигаясь и растягивая боевую позицию по гребню высот, уже приближались к дороге. Тогда Багратион выдвинул вправо, навстречу к ним, грузинскую конницу, чтобы под ее заслоном продвинуть семейства армян и, таким образом, идти, отбиваясь одним арьергардом. Но и этот план оказался уже невыполнимым. Персияне увидели намерение Багратиона, и торопились обогнать войска, чтобы перерезать им дорогу. Конница быстро подвезла пехоту,— и на пути движения русских стояли уже грозные вражеские силы.

Перед Багратионом была трудная дилемма. Ему приходилось или вернуться назад, по дороге в Урдабад, с риском подвергнуться нападению в только что пройденном глухом ущелье, или прокладывать дорогу штыками, имея на руках семейства, которые подвергались в этом случае почти неминуемой гибели.

К счастью, бывший при отряде Эксан-хан, хорошо знакомый с местностью, указал Багратиону видневшуюся влево от дороги высокую гору, которая могла послужить отличной позицией. Там отряд мог продержаться весь день, а с наступлением ночи Эксан-хан брался провести его прямо через горы, как некогда ходили отряды Карягина и Котляревского, и как не хотел сделать Назимка, погубивший этим батальон свой на Ах-Кара-чае.

Решившись уступить дорогу неприятелю, Багратион раскинул к стороне неприятеля сильную цепь и поворотил влево, чтобы фланговым маршем достигнуть спасительных высот, до которых было не более полутора или двух верст. Вся шестая рота штабс-капитана Вретова, и взвод второй гренадерской, под командой прапорщика князя Чавчавадзе, рассыпались в стрелки, и под их прикрытием батальон мог идти совершенно спокойно; левее батальона, стало быть уже под двойным заслоном, шел армянский обоз, и спешенные казаки вели на поводу лошадей, навьюченных провиантом. Помешать этому движению неприятель не успел, и скоро весь отряд, за исключением стрелкой, уже стоял на позиции. Подходили к ней и стрелки. Медленно подаваясь назад, под беспрерывным натиском персидской кавалерии, они почти без потери достигли подошвы высот, занятых отрядом. Но тут подоспели два батальона сарбазов, подвезенных конницей, и бой неожиданно принял характер кровавый и грозный. Сарбазы начали сильно теснить правый фланг цепи, где был рассыпан гренадерский взвод, стараясь смять и отбросить его, чтобы открыть себе доступ к русской позиции. Командовавший этим взводом пылкий князь Чавчавадзе, увидел стремление неприятеля, сам бросился в штыки,— и этим неосторожным движением вовлек в сражение большую часть батальона.

Дело в том, что, отбросив в первый момент головные части сарбазов, он вслед затем был плотно сам окружен целой стеной их и вынужден прокладывать себе дорогу назад штыками. Багратион, так счастливо избежавший боя, теперь поставлен был в необходимость выручить зарвавшийся взвод,— пятая рота, вместе с остальной частью гренадерской, под общим начальством полковника Фридерикса, спустившись с высот, ударила на неприятеля. В то же время остальная цепь, уже поднимавшаяся на гору, повернула назад и, со штабс-капитаном Вретовым во главе, бросилась во фланг персиянам. Но помощь уже не могла спасти Чавчавадзе. Выбившись из сил, расстреляв свои патроны, его гренадеры погибали один за другим в неравной штыковой борьбе одного против шести. Напрасно товарищи пытались пробиться до них сквозь густые ряды врагов,— всюду встречали они грозный отпор, и все примеры геройского самопожертвования и подвигов, явленные здесь, не поправили дела. А подвигов этих было много. Командир гренадерской роты, капитан Подлуцкий, увидел Чавчавадзе в толпе неприятелей, бросился к нему на помощь. Но в этот момент, когда отважный Чавчавадзе пал,— получил смертельную рану и сам Подлуцкий. Персияне добили храброго офицера, но они не успели завладеть его головой,— унтер-офицер Кабанов пробил себе дорогу до тела Подлуцкого и вынес его из боя. Тут же, в рукопашной свалке был ранен командир пятой роты, капитан Чубский, и убит прапорщик князь Северсамидзе. Пал и герой Елизаветполя — Вретов, смертельно раненый при первом же натиске во фланг неприятеля. Персияне толпой набросились на него, чтобы отрезать голову, но фельдфебель шестой роты Яковлев, разогнал эту толпу и на своих плечах вынес умирающего капитана. Вместе с Вретовым был окружен неприятелем и прапорщик Лавров, еще совершенный юноша; тяжело израненный, он находился уже во власти персиян, когда в толпу врубился полковник Фридерикс и, вырвав его из рук неприятеля, вынес из боя, уцелев сам каким-то непостижимым чудом.

Нападение было отбито. Убедившись, что все дальнейшие покушения на этот пункт будут напрасны, что большая часть русского отряда стоит именно здесь, персияне повели атаку

на левый фланг позиции, где находились только одни спешенные казаки. На одной из горных высот у них появилось даже орудие. К счастью, Багратион вовремя успел придвинуть на помощь к казакам три роты Грузинского полка, и неприятель, заметив это остановился. Бой ограничился перестрелкой. Но стреляли только одни персияне. Гренадерам был отдан приказ не отвечать ни единым выстрелом, приберегая патроны до решительного момента, когда неприятель пойдет в атаку.

Стало уже вечереть, и вдруг в рядах неприятеля обнаружилось необычайное смятение, а вслед затем со стороны Чаланапы показалась рота карабинерного полка, конвоировавшая вьючный транспорт с патронами. Предусмотрительно высланная Паскевичем навстречу к Багратиону, рота эта появилась как нельзя более кстати: неприятель принял ее за сильное подкрепление, идущее к отряду, и стал поспешно отступать к Урдабаду. Карабинеры соединились с отрядом без выстрела.

Сражение окончилось. Потери русского отряда были значительны: один грузинский батальон потерял пятьдесят нижних чинов и большую часть своих офицеров. Все ротные командиры выбыли из строя: Подлуцкий и Вретов убиты, Литвинов и Чубский ранены; погиб и виновник Урдабадского боя, пылкий князь Чавчавадзе, “искупивший своей кровью,— как выражается официальное донесение Паскевича,— честь русского отряда”.

Урдабадская битва осталась памятна на Кавказе как один из тех подвигов героизма и самоотвержения, которые не забываются навеки. То, что в нем поражает с особенной силой, это ряд высоких проявлений поистине братского чувства, которое воодушевляло грузинцев, побуждая сражавшихся, от последнего рядового и до старших офицеров, жертвовать собой за спасение товарищей. Величавый образ полковника, врубающегося в густую толпу врагов, чтобы спасти меньшего из своих подчиненных, и не менее трогательный образ рядового, отнимающего из рук сильных врагов умирающего начальника, чтобы не дать посмеяться над его головой, говорят громко и ясно о той христианской любви, которая в том состоит, чтобы отдать душу свою за друзей своих, и выше которой — нет ничего на свете.

12 августа отряд Багратиона вступил в Кара-Бабу, доведя благополучно спасенные им семейства и не потеряв ни одного человека пленным; все раненые и даже почти все тела убитых, по прекрасному обычаю кавказцев, были вынесены из боя.

В опустевшем Урдабаде персиянам делать было нечего, и Керим попытался перенести свою деятельность в самые окрестности главного русского лагеря. Верстах в тридцати от Кара-Бабы, по направлению к Джульфинской переправе, в горах, стояла небольшая персидская крепость, Аланча, на которую до сих пор никто не обращал никакого внимания. Малочисленный, и притом совершенно изолированный гарнизон ее представлял слишком ничтожную силу, чтобы отважиться на какие-нибудь предприятия,— и покорение крепости предоставлено было времени; персияне естественно не могли держаться долго в отнятом у них крае, и рано или поздно сами должны были уйти за Араке. Вот эту-то крепость теперь и избрал Керим центром своих операций. И когда под стенами ее появилась многочисленная конница Керима, когда эта конница в один перевод могла нагрянуть на Кечеры, где ходили на пастьбе кавалерийские табуны, порционный скот и транспортные волы, когда всему этому стала грозить ежеминутная опасность, Паскевич встревожился,— и ничтожная крепость вдруг выросла до значения сильного опорного пункта, который оставлять в руках неприятеля было невозможно.

В Кечерах стояла всего одна рота, слишком слабая, чтобы с успехом противодействовать хищничествам необузданных наездников Керима, и Паскевич тотчас выслал туда же три

роты Тифлисского полка, дивизион нижегородцев и две сотни казаков, с одним горным орудием, под начальством полковника Муравьева, которому приказано было прогнать Керима за Араке, а если бы он вздумал запереться в Аланче, блокировать крепость и принудить ее к сдаче. От лазутчиков Паскевич имел сведение, что Аланча построена на высокой скале и что гарнизон ее может быть легко отрезан от воды, которую добывают с большим трудом из небольшой реки, протекающей у самой подошвы скалы.

18 августа Муравьев уже стоял под Аланчой. От жителей, которых успели захватить, он узнал, что Керим-хан с небольшим числом кавалерии отступил к Урдабаду и что под Аланчей был и Ибрагим-Сардарь, командовавший персидскими войсками при Вананте, но перешел уже обратно за Араке и стоит теперь там лагерем.

Между тем, осмотрев Аланчи, Муравьев должен был убедиться, что сведения о крепости, полученные Паскевичем, далеко не верны. Аланча оказалась на деле почти неприступной твердыней, овладеть которой можно было только в случае оплошности гарнизона. Блокировать ее было бесполезно; правда, воду, текущую в канаве, действительно можно было отвести, как доносили Паскевичу, но в самой крепости находились три родника, обильные водой, и собраны были большие запасы хлеба, позволявшие гарнизону держаться бесконечно долгое время. Очевидно, делать под Аланчей было нечего,— и Муравьев возвратился в лагерь. Вскоре получены были известия, что и последние персидские войска, еще стоявшие в Урдабаде, также ушли за Араке, без всяких к тому мер со стороны русских.

Прошло после того несколько дней, и неожиданные события под Эриванью вынудили Паскевича оставить лагерь в Кара-Бабе и спешить в Эриванскую область, на помощь к генералу Красовскому.

XXVI. КРАСОВСКИЙ

В июле 1827 года с движением Паскевича в Нахичеванскую область, туда же передвинулся и главный центр персидской войны, а Эриванское ханство, с армянской святыней Эчмиадзином, должны были занимать в ней уже второстепенное место. Между тем обстоятельства сложились под Эриванью так, что в конце концов должны были вновь привлечь к ней все внимание главного действующего 4 корпуса.

В этот момент на сцену персидской войны выдвигается в весьма видной и значительной, роли новая личность,— генерал-лейтенант Афанасий Иванович Красовский, соединявший в себе в одно и то же время качества и смелого, опытного вождя, и неустрашимого солдата. Личность эта настолько замечательна и своей предшествовавшей службой, что должна остановить на себе пристальное внимание историка той эпохи.

Красовский происходил из дворян прежней Слободско-Украинской губернии, Лебедянского уезда. Молодые годы его совпали со временем начинавшихся огромных европейских войн, представлявших для тех, кого щадила смерть, обширное поприще для отличий. Поручиком тринадцатого егерского полка Красовский, в 1804 году, совершил уже плавание из Одессы в Корфу и Неаполь с черноморской эскадрой, имевшей назначение вытеснить оттуда французов и затем идти в Северную Италию. Аустерлицкий разгром помешал осуществлению этой мысли, и эскадра вернулась в Корфу. Но во время обратного плавания, около Мессины, фрегат, на котором находился Красовский, сел на мель и был разбит волнами; страшная опасность грозила экипажу, и только благодаря присутствию духа и необыкновенной для начинающего жить юноши распорядительности

Красовского команда его спаслась от гибели. Это было первое служебное отличие молодого человека, давшее ему первую награду — орден св. Анны 4-ой степени на шпагу.

На следующий год черноморская эскадра ходила из Корфу в Каттарский залив, на помощь к черногорцам, и высадила десант около Старой Рагузы. В этой экспедиции был опять и Красовский. Действуя против французов вместе с черногорцами, он участвовал во взятии укрепленных высот Баргарта и в осаде Рагузы, а в 1807 году был в Герцеговине, при обложении крепости Никшич. Военная школа, пройденная Красовским в сообществе таких людей, как обитатели Черной Горы, не могла не обнаружить громадного влияния на всю его последущую боевую деятельность; от них заимствовал он ледяное спокойствие в опасности, неукротимый пыл во время атаки и те своеобразные приемы войны, которые могли быть создана только людьми, приученными к войне всей обстановкой своей обыденной жизни, почти не опускавшими меча с конца XIV века, с того момента, как Сербское царство погибло на Косовом поле.

Когда французы ушли из Черногории, тринадцатый егерский полк был перевезен в Венецию, а оттуда, уже сухим путем, отправлен в состав Молдавской армии, действовавшей под начальством старого фельдмаршала князя Прозоровского. Известны обстоятельства Неудачной кампании, ведомой старым фельдмаршалом. Полку, в котором служил Красовский, на первых же порах пришлось испытать рядом с славными делами и тяжелые неудачи. Он прибыл на Дунай весной 1809 года, в то время, когда русская армия выступала к Браилову. На первом переходе, как рассказывает Красовский, ночью застигла войска ужасная буря с вихрем, грозой и проливным дождем. В неизмеримых степях колонны сбились с дороги и только к утру малыми частями и с разных сторон стали собираться на Рымнике. Во всех этих местах, нужно сказать, водилось тогда множество зайцев, они стадами выскакивали из-под ног солдат и, при общем крике и улюлюканьи, метались в середине войск, так что солдаты ловили их за уши. В этом приятном занятии никто не заметил, как наехал грозный фельдмаршал. Разгневанный и без того ночной путаницей в войсках, он, при виде этой заячьей травли, окончательно вышел из себя, разбранил солдат, а вечером отдал свой замечательный приказ, начинавшийся словами: “К крайнему сожалению и к моему удивлению, вверенная мне российская армия до такой степени ослабела в дисциплине, что и малейший зверь, каков есть заяц, производит в ней беспорядок”...

Дальнейший переход от Рымника совершался уже в боевом порядке. Фельдмаршал ехал вместе с войсками и сам смотрел за точным соблюдением равнения и интервалом между каре. Марш, конечно, от этого замедлялся, и солдаты, томимые зноем и пылью, приходили в совершенное изнурение.

6 апреля, вечером, войска остановились в четырех верстах от Браилова. Сильная крепость была искусно заминирована и требовала правильной осады, но фельдмаршал торопился с ее покорением, и в ночь на 9 апреля назначен был штурм. Ночь случилась тогда необыкновенно темная, не позволявшая сохранить в штурмующих войсках хоть какой-нибудь порядок. Некоторые полки потеряли дорогу и, наткнувшись в темноте на какую-то глубокую рытвину, приняли ее за крепостной ров и закричали “ура!”. Из крепости тотчас открыли сильнейший огонь. И между тем, как одни русские колонны, бесцельно губя людей, блуждали под градом летевших на них снарядов, другие сражались уже на валах и, никем не поддерживаемые, гибли в бесполезных усилиях ворваться в крепость. Взошедшее солнце осветило страшную картину поражения русских войск. Тринадцатый егерский полк, в котором Красовский командовал гренадерской ротой, был из числа наиболее пострадавших на приступе: из целого полка возвратилось назад только двести человек, под командой четырех офицеров, в числе которых был и Красовский. Сюртук и

фуражка его были прострелены; рядом с ним пуля поразила в голову и будущего фельдмаршала, тогда еще штабс-капитана, Паскевича, командовавшего в том же полку стрелковой цепью.

Известие о громадных потерях в войсках, ходивших на приступ, глубоко опечалило больного фельдмаршала. Очевидцы говорят, что он во время самого боя сидел на кургане и, глядя на гибель храбрых солдат, обливался слезами. “И хотя Михайло Илларионович (Кутузов) и порывался утешить меня тем, что под Аустерлицем было хуже, но это не послужило для меня отрадой”...— так говорил в приказе по армии сам старый Прозоровский,— полководец, знаменитый, по словам Ермолова, своей долговечностью.

С возобновлением военных действий в следующем году, Красовский, во главе охотников, первым переплыл через Дунай и овладел редутом, прикрывавшим Туртукайскую крепость. Этот подвиг доставил ему орден св. Георгия 4-ой степени, и вместе с тем обратил на него внимание одного из лучших генералов молдавской армии, Засса, который и взял его к себе дежурным штаб-офицером. В этом звании Красовский находился при нем и во время Рущукского штурма. Когда войска, после геройских усилий, вынуждены были, наконец, начать отступление от крепости, Засс отправил Красовского доложить об этом главнокомандующему графу Каменскому. Вместе с Красовскин поехал и генерал-майор граф Сивере, колонна которого почти вся легла на валах Рущука. Каменский с нескрываемым гневом выслушал от них донесение. “Ваша резервная колонна,— сказал он Сиверсу,— еще не была на приступе. Поведите ее сами, покажите пример,— и вы возьмете крепость!” Отважный и пылкий Сивере, не сказав ни слова, сел на коня и, подъехав к резервной колонне, повел ее на приступ. Вместе с ним пошел и Красовский. На самом гребне гласиса Сивере упал, пораженный четырьмя турецкими пулями; и солдаты его рассеялись. Среди всеобщей суматохи, Красовский остался один около раненого графа и вынес его, с опасностью для жизни, на брешь-батарею, где этот молодой, любимый всеми генерал и скончался на его руках. Явившись опять к главнокомандующему с этим печальным известием, Красовский был осыпан ничем не заслуженными упреками. “Я уверен,— сказал ему наконец Каменский,— что в числе лежавших на валу, большая часть здоровых, которые только не хотят броситься в крепость”. Красовский отвечал, что на валу только мертвые. Главнокомандующий отправил тогда своего адъютанта удостовериться, правда ли это. Но смотреть, конечно, было нечего, истина сама бросалась в глаза: все поле покрыто было бегущими солдатами, а на валах по-прежнему чернели отдельными группами лежавшие люди... “Турки,— замечает в своих записках Красовский,— могли овладеть тогда не только всеми нашими батареями, но взять лагерь и даже самого главнокомандующего, если бы он не успел ускакать за Дунай”.

Прямым следствием неудачи рущукского боя было намерение верховного визиря скорее покончить с Сербией, где уже давно пылало народное восстание, и помогавший ей небольшой русский отряд графа Орурка, теперь, когда к берегам Моравы двигались громадные турецкие силы, был слишком незначителен; пришлось отправить туда целый корпус, по начальством храброго Засса. Засс взял с собой и Красовского.

В одном из самых первых дел, при взятии редута на острове Лом-Паланке, Красовский получил тяжелую рану в бок и должен был на некоторое время отказаться от участия в военных действиях. Между тем турки сами перешли Дунай и атаковали Засса. Выдержать особенно сильное нападение пало на долю Менгрельского полка, который был совершенно окружен турецкой конницей. Взрыв зарядного, ящика посреди одного из каре довершил расстройство полка,— и турки захватили орудия. Раненый Красовский сидел в это время на дрожках, при резервной колонне. К нему подъехал опечаленный Засс. “Если бы вы, Афанасий Иванович, были там,— сказал он ему,— этого с полком никогда бы не

случилось... Но знаете,— прибавил он,— я полагаю, что ваше присутствие даже и теперь могло бы поправить дело”... “Я готов,— отвечал Красовский,— прикажите только посадить меня на лошадь. Появление Красовского перед расстроенным полком, действительно, вдохнуло в солдат новое мужество. Собравшись вокруг Красовского, полк бросился вперед,— орудия были возвращены... С этой минуты Красовский продолжал лечиться, уже не покидая службы, и принимал деятельное участие в походе за Дунай, в отряде графа Воронцова, который отдал в его командование сербскую дружину, прибывшую из Неготина с известным воеводой Велько Петровичем.

Как известно, этот Велько, природный серб, находился долгое время в числе телохранителей виддинского паши; но когда Георгий Черный поднял в Сербии знамя восстания за независимость, Велько убил пашу, и, явившись с его головой в Сербию, стал славным гайдамаком, о котором ходили в народе целые легенды. Множество рассказов о его сверхъестественной силе и чародействе, охранявшем его от вражеских пуль, сделали имя его грозой и ужасом турок. При одном крике: “Гайдук Велько!” — целые турецкие деревни обращались в бегство. Признательный Георгий сделал его воеводой, и Велько до самой смерти воевал с турками.

С этим-то отрядом Велько Петровича Красовский действовал по большим дорогам, из Виддина к Софии. И если эти действия и не имели особенно важных последствий в чисто военном отношении, то они положили основание доброму братству между сербами и русскими. С другой стороны не оставались без влияния на общий ход военных действий в Сербии и такие подвиги, как уничтожение подвижных турецких колонн, захваты транспортов и разорение “кол”, небольших полевых укреплений; дела эти не вызывали громких реляций, но были дела удалые, славные, память о которых надолго осталась в преданиях сербов. Суровый Велько, до самой геройской смерти своей под стенами Неготина, любил вспоминать это доброе время, пережитое им с русскими братьями; он плакал, расставаясь с Красовским.

Целый ряд отличий, на Дунае и в Сербии, способствовал быстрому служебному возвышению Красовского. Начав турецкую войну никому не известным армейским поручиком, через три года он кончил ее уже полковником, с Георгием и Владимиром в петлице, с бриллиантовыми знаками Анны на шее и с золотой шпагой “За храбрость”.

1 января 1812 года он был назначен командиром четырнадцатого егерского полка и поступил в третью Западную армию, под начальство графа Тормасова. В отечественную войну Красовский встретился с французами в первый раз под Городечной. Вслед затем действуя в отряде графа Ламберта, он овладел местечком Новосвержем; без выстрела, с одними штыками, ворвался он на улицы города и заставил два батальона французов положить оружие. При этом ему достался в плен целый хор музыкантов чехов, принадлежавший к польскому полку Косецкого. Чехи эти служили по найму, и потому охотно согласились перейти на службу к егерям, с которыми вместе и дошли до Парижа.

В деле под Борисовым, когда атака русской пехоты на мостовое укрепление была отбита и граф Ламберт — ранен, Красовский принял начальство над всем авангардом, вторично штурмовал предмостный редут и занял Борисов. Наградой ему за этот подвиг был орден св. Георгия 3-го класса, а его полк получил надпись на кивера: “За отличие”.

За Вильной, под Молодечной, Красовский снова был ранен пулей в живот; но эта рана не помешала ему участвовать во всех важнейших делах 1813 и 1814 годов. За Лейпцигское сражение он произведен в генерал-майоры и получил в команду егерскую бригаду, полки: тринадцатый, в котором он начал свою службу, и четырнадцатый, с которым отличался в

отечественную войну. С этой бригадой Красовский бился под Краоном и Реймсом и заслужил золотую шпагу, осыпанную алмазами.

Наконец, последним подвигом его в эпоху наполеоновских войн было взятие деревни Лавалет, под самыми стенами Парижа. В этот памятный день, 13 марта, Красовский, оставленный в резерве, готовил свою бригаду к смотру фельдмаршала Блюхера. Полки уже были выравнены, как вдруг получен был приказ, вместо смотра, идти на батареи, стоявшие у Лавалета. В полной парадной форме, с распущенными знаменами и музыкой спустилась бригада с высот в виду императора Александра, долго любовавшегося ее стройным движением, и Лавалет был взят. Государь послал тогда Красовскому анненскую ленту.

По заключении мира Красовский одно время командовал бригадой в третьей гренадерской дивизии, потом несколько лет состоял по армии, и, наконец, в 1823 году, назначен начальником штаба четвертого пехотного корпуса. В день коронаций императора Николая Павловича он произведен в генерал-лейтенанты, и вслед затем получил в командование двадцатую пехотную дивизию, шедшую тогда по случаю персидской войны в Грузию, Красовский догнал свою дивизию уже на походе, за Алазанью, и вместе с ней участвовал в военных действиях против джаро-белоканских лезгин осенью 1826 года.

На Кавказ Красовский приехал уже с предвзятыми идеями против Ермолова, открытым противником его, как полководца и представителя особой системы воспитания войск; он более всего и хлопотал о том, чтобы его дивизия не заразилась “ермоловским духом”, как тогда говорили. Но это был искренний и убежденный противник, чуждый интригам, не завистливый к славе других и пользовавшийся сам редкой любовью своих подчиненных.

Проведя всю зиму в джаро-белоканских аулах, Красовский, по настоянию Дибича, занял должность начальника корпусного штаба в тот момент, когда Ермолов сменялся Паскевичем. Но сойтись с Паскевичем Красовскому оказалось еще труднее: размолвки между ними начались с первых же дней и в конце концов заставили Красовского удалиться с Кавказа. Этот эпизод настолько характерен и рисует личность Паскевича такими крупными и яркими чертами, что обойти его молчанием нельзя.

В своих еще неизданных записках Красовский рассказывает следующее. Приняв должность начальника штаба почти накануне открытия военных действий, он нашел дела крайне запущенными и должен был трудиться день и ночь, так что “часто не имел в сутки даже двух часов отдыха”.

Паскевич видел эти труды и не раз говорил барону Розену и Остен-Сакену, друзьям Красовского, что в трудном положении своем считает особенным счастьем иметь такого помощника, а самого Красовского просил всегда и откровенно высказывать ему свои мнения.

Но Паскевич принадлежал к числу тех, кто не выносит около себя никаких независимых суждений, кто за каждым самостоятельным и громко выраженным мнением способен заподозрить стремление играть первенствующую роль, обнаружить влияние и даже заслонить собой заслуги начальника. И в первый же раз, как только Красовский позволил себе высказать свое мнение, Паскевич вспылил и осыпал его ничем не вызванными упреками. “Я знаю, сударь,— кричал он,— что вы желаете, чтобы все делалось по-вашему! Но вы ошибаетесь,— со мной этого не будет!” Красовский взглянул на эту выходку как на минутную вспышку начальника, однако же сделался осторожней. И тем не менее каждый день стал приносить ему новые неудовольствия,— Паскевич, раз

заподозривший человека, не способен уже был отрешиться от такого предубеждения. “Ежели бы объяснять здесь все,— говорит Красовский в своих записках,— что мне приходилось выслушивать, и причины, побуждавшие к тому,— то сие было бы бесконечно”. Особенно рельефно обрисовывается личность Паскевича в двух-трех случаях.

Однажды Красовский докладывал ему донесение генерала Краббе. Тот писал, что на дороге между Баку и Зардобом, где должна была производиться сухопутная доставка провианта, есть много таких станций, близ которых, в знойное время года, трава совершенно выгорает; а потому он испрашивал разрешения заготовить там сено для продовольствия транспортов. Паскевич перебил доклад словами: “Вздор! Все это затевается, вероятно, только из корыстных видов”. Красовский просил разрешения собрать предварительно необходимые сведения. В тот же вечер, в присутствии корпусного интенданта Жуковского, он снова докладывал Паскевичу, что донесения Краббе совершенно основательны. В это время в комнату вошел известный интриган переводчик Карганов, и Паскевич обратился к нему с вопросом: бывает ли во время лета подножный корм на дороге от Баку до Зардоба? Карганов отвечал утвердительно. Тогда Паскевич резко сказал начальнику штаба: “Вот, сударь, видите, что мне самому надо узнавать истину”. Красовский сдержался; но когда Караганов вышел, он просил Паскевича не становить его на одну доску с каким-то Каргановым. Паскевич вышел из себя. “Вы, сударь, обижаетесь! — кричал он.— Извольте, я вам даю сатисфакцию, сейчас, здесь же, в этой комнате, на три шага!..” Красовский, которого, как он выражается сам, “многие опыты научили быть терпеливым”, просил его успокоиться и вспомнить, что он, со своей стороны, не подал ни малейшего повода, чтобы до такой степени можно было против него забыться. Между тем для разъяснения истины был призван человек, хорошо знавший Ширванскую провинцию, именно, тифлисский купец, занимавшийся постоянной торговлей в Ширвани, и тот объяснил, что есть две дороги от Баку до Зардоба,— одна через горы, вьючная, на которой летом недостатка в подножных кормах не случается, а другая, арбяная, около Куры, и что на этой последней есть много таких мест, где на большом протяжении трава совершенно выгорает. Об этой-то, дороге только и мог писать Краббе, потому что по вьючной транспорты двигаться не могли.

После этой сцены Красовский решил отказаться от должности начальника корпусного штаба; но Дибич, уезжавший тогда с Кавказа, уговорил его остаться до прибытия русских войск под Эривань, когда ему будет разрешено вступить по-прежнему в командование двадцатой дивизией. И Красовский остался.

Но те немногие дни, которые прошли до прибытия под Эривань, были полны для Красовского неприятных столкновений с Паскевичем.

Ни одно мнение его, как бы оно основательно не было, не проходило, и нередко, не выслушав его до половины, Паскевич говорил: “Вздор!”. Случилось, например, что на походе, в Джелал-Оглы, полковник Фридерикс, только что принявший полк от Муравьева, просил Красовского доложить Паскевичу, что он не видел еще батальона, находившегося в отряде Бенкендорфа, а потому просил позволения съездить туда с первой оказией. Красовский докладывал об этом в присутствии посторонних лиц и получил в ответ: “Вздор!” Но в ту же минуту вошел полковник Муравьев с той же просьбой, и Паскевич сказал ему: “Очень хорошо, пусть едет!”

Через день после этого, Красовский приехал с Безобдала, где пробыл целый день под проливным дождем, стараясь “все возможное придумывать и устраивать к скорейшему движению транспортов”. Он докладывал Паскевичу, с каким затруднением и

медленностью, при всех усилиях и общем усердии, идут транспорты. В ответ на это Паскевич сказал: “Это оттого, что я болен и сам не могу там быть, а те, кого посылаю, не хотят мне помогать; в прошлом году, в Карабаге, при мне были одни прапорщики, и дела шли успешно”.

Мелочная мстительность Паскевича дошла наконец до границ невозможного. Будучи в Эчмиадзине, он приказал известному художнику Машкову, сопровождавшему действующий корпус, написать картину “Торжественная встреча русских войск архиепископом Нерсесом” и указал те лица, которые должны были быть помещены на ней. Красовский из этого числа был исключен, “даже в ущерб исторической правде”, так как, в действительности, по звании начальника корпусного штаба, он был одним из первых лиц, окружавших в тот момент главнокомандующего.

В Эчмиадзине Красовский сдал наконец свою должность полковнику Муравьеву и по-прежнему вступил в командование своей двадцатой пехотной дивизией.

XXVII. СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЭРЙВАНИ

Генерал-лейтенант Красовский, с двадцатой пехотной дивизией (за исключением одной бригады, стоявшей в Карабаге) и двумя казачьими полками, 18 июня 1327 года перешел из Эчмиадзина к Эривани, чтобы сменить блокадный отряд Бенкендорфа, уходивший с Паскевичем.

Красовский обложил крепость. Но продолжать блокаду ему не пришлось,— обстоятельства скоро заставили бросить ее: наступившая жара начинала уже разрушительно действовать на русскую армию.

В продолжение двух месяцев перед тем не было ни капли дождя и солнце жгло невыносимо; от чрезмерных засух поверхность земли растрескалась; по дорогам глубоким слоем лежала пыль, а беспрерывно двигавшиеся обозы поднимали ее, и она стояла неподвижным столбом с утра и до вечера. А перед вечером, каждый день регулярно, с четырех пополудни, поднимался сильный северный ветер, срывал палатки и приносил в лагерь целые тучи едкой известковой пыли. Уже в отряде у Бенкендорфа болезненность стала развиваться так сильно, что, по свидетельству Паскевича, однажды разом заболело двести сорок человек в одном только Грузинском полку. Тогда обстоятельство это было приписано тому, что грузинцы стояли на открытом месте и не имели прохлады и тени, как другие части, стоявшие в форштадтах. Теперь опыт совершенно опроверг, однако, это заключение Паскевича. Узкие извилистые улицы форштадтов, тянувшиеся между каменными заборами непрерывных садов, представляли собой, действительно, как бы сплошные тенистые аллеи; а во многих местах фруктовые деревья, перекидываясь через заборы и сплетаясь ветвями над улицей, образовывали густые, непроницаемые для солнца своды. Но тут-то, среди этих тенистых мест, возбуждавших сначала зависть в войсках, стоявших на местах открытых, и развилась в отраде Красовского самая страшная болезненность. Дело в том, что палящие лучи солнца в течение дня раскаляли каменные строения форштадтов, делая в них жар нестерпимым, а по захождении солнца становилось еще хуже: весь форштадт походил тогда на вытопленную баню, где нечем было дышать обливавшимся потом солдатам. Что еще выносили стоявшие тут при Бенкендорфе ширванцы, привычные к кавказскому климату, то оказалось совершенно не под силу полкам двадцатой дивизии, пришедшим из России, и тридцать девятый егерский полк, занимавший форштадты, скоро буквально весь едва стоял на ногах. Командир полка, оба батальонные командира и большая часть офицеров лежали больные; солдаты отправлялись в госпитали целыми десятками. Служить было некому, а ежеминутно

грозившие вылазки требовали между тем именно самой бдительной службы, особенно по ночам, когда вся пехота и кавалерия небольшими отрядами расходились вокруг крепости и занимали все важнейшие пункты. К этому прибавились истощавшие солдат бесконечные фуражировки, верст за двенадцать от лагеря, так как артиллерийских и казачьих лошадей выпускать на пастбища было опасно.

В то же время было совершенно очевидно, что блокада Эривани не могла доставить в тот момент ровно никакой выгоды. Грозная, сильная крепость, конечно, не сдалась бы слабому отряду, да и без осадной артиллерии, которую ожидали только в августе, невозможно было предпринять против нее ничего серьезного. Само благоразумие, казалось, требовало, для сбережения людей и лошадей, снять блокаду и удалиться в горы, в здоровую местность, где много было воды и подножного корма.

Такую именно местность представляла собой Башабаранская возвышенность, откуда, в случае надобности, отряд мог одинаково быстро направить свои удары к Эривани, к Эчмиадзину и Сардарь-Абаду. Красовский и выбрал ее для отдохновения своего отряда. Он подробно написал обо всем Паскевичу,— и разрешение было незамедлительно получено.

21 июня, в полночь, все передовые отряды, тихо снявшись со своих позиций, соединились в лагере, откуда тяжести еще с вечера отправлены были к Эчмиадзину. За час до рассвета войска, стали в ружье и молча, осторожно двинулись по следам обозов. Отступление произведено было так тихо и скрытно, что персияне узнали о нем только на следующий день, когда взошедшее солнце неожиданно осветило перед ними пустые батареи да брошенные редуты — безмолвные остатки еще недавнего присутствия здесь русских войск. Но ни одного штыка, ни одной казачьей пики не было видно с самых высоких эриванских башен, откуда взор обнимает огромное пространство.

Радость и ликование эриванских жителей, впервые вздохнувших свободно после двухмесячной тяжкой блокады, не имели пределов. Тысячи людей, собранных в крепость из эриванских форштадтов и окрестных деревень со всем имуществом, терпели в Эривани чрезвычайную тесноту, жар и недостаток в продовольствии. В последние дни блокады персияне ежедневно хоронили за южными воротами крепости по десяти и более человек. Народ начинал роптать, и сардарь то лаской, то страхом и угрозой едва сдерживал общее неудовольствие. И вдруг русские отступили. Все живое, что было заперто в тесных и душных стенах Эривани, высыпало теперь в сады, на свежий воздух. Сам старый сардарь, при громе крепостных орудий, торжественно отправился в мечеть, благодарить Аллаха за избавление от нашествия неверных, и затем принимал у себя почетнейших старшин и представителей города.

Между тем, русский отряд на несколько дней остановился в Эчмиадзине; в монастыре оставалось более тысячи человек больных, и уже потому необходимо было укрепить его, устроить в нем гарнизон и снабдить провиантом, словом, привести в такое состояние, чтобы он мог защищаться своими собственными средствами. На другой же день после отступления от Эривани, весь отряд, вооружившись мирными орудиями, косами, серпами и топорами, рассыпался по окрестным полям; и пока одни укладывали длинными рядами траву да жали пшеницу, другие искали в ближайших деревнях дров и запасов ячменя. Всюду слышны были русские песни, веселые рассказы, шутки. Казалось, солдаты, припомнив тихую жизнь деревень и знакомые поля, на которых прошла их резвая молодость, забыли и думать о трудах, которые ожидали их впереди. Работа кипела. И вот, мало-помалу, вокруг лагеря и между, самыми палатками, уставились снопы собранного хлеба; поднялась молотьба, зашумели днем и ночью ручные жернова и мельницы,

задымился невысокий берег Абарани, где войска в небольших, наскоро устроенных печах пекли себе хлеб, булки и лепешки. Перемолотую пшеницу солдаты свозили в монастырь, где, по приказанию Красовского, за каждую четверть им платили по три рубля серебром. В течение шести дней, к 30 июня, было собрано достаточное количество запасов, и в то же время три монастырские башни укреплены полевой артиллерией.

Оставив в Эчмиадзине батальон Севастопольского полка, пять орудий и конную армянскую сотню, которая сама просилась защищать родной монастырь, Красовский с остальными войсками 30 июня двинулся по дороге на Ушаканы. Весь отряд ночевал в этот день за рекой Абаранью, в виду Аштарака. Переход был чрезвычайно трудный; приходилось идти ущельем, против сильного ветра, засыпавшего солдат густыми облаками пыли, и постоянно в гору. Отряд шел сплошной колонной. Поздно вечером он прибыл на место, назначенное для ночлега; но и место это было усеяно каменьями, под редким из которых не было тарантула, скорпиона или фаланги. При всех предосторожностях против этих смертоносных гадов, два солдата и один офицер были укушены ими; к счастью, в это время года, еще не совершенно созревший яд их действовал не с полной силой, и при скорой помощи укушенные отделывались болью и опухолью.

На следующий день, 1 июля, войска пришли на урочище Дженгули и стали в прекрасно устроенном лагере. После нестерпимого зноя, сильных ветров, нестерпимой пыли и множества всякого рода гадов и насекомых, не дававших ни днем ни ночью покоя, после сгоревшей на полях травы и пожелтевшего хлеба, — отряд вдруг очутился в горах, почувствовал прохладный ветерок, чистый здоровый воздух и увидел вокруг себя прелестную зелень, разукрашенную полевыми цветами, увидел другую весну. Солдаты ожили, минувшие труды и невзгоды были забыты.

Отступивший русский отряд в здоровой горной местности был, однако, быть может, опаснее для Эривани, Чем если бы он стоял под самой крепостью, но обессиленный болезнями. Ожидая только прибытия осадной артиллерии, а с ней в значительных подкреплений, чтобы снова подступить к Эривани, он, как грозная туча, висел над ней из своего горного расположения. Сардарь, конечно, не мог не предвидеть, что русские скоро придут опять, и спешил воспользоваться временем, чтобы усилить оборону крепости, в которой он провел двадцать три года, состарился, и с которой соединялись его лучшие боевые воспоминания. Все строения форштадта на ружейный выстрел от крепостной стены были уничтожены; гласис значительно возвышен; чтобы открыть эспланаду, сардарь не пожалел даже лучшего украшения эриванских окрестностей, и чудный сад, принадлежавший гарему, о котором сардарь так много заботился и где он в знойные дни, под тенью высоких тополей, любил отдыхать среди своих одалисок,— был беспощадно вырублен до последнего дерева. Рассказывали насмешливо, что заботливый сардарь пробовал даже отлить какую-то чудовищную пушку, которая одним выстрелом должна была положить лоском добрую часть русского корпуса, но что это предприятие не удалось ему, так как на всю дульную часть пушки, будто бы, не хватило растопленного металла.

Воинственные приготовления сардаря указывали, что гроза отдалилась от Эривани только на время, и мало-помалу ликование эриванских жителей охладело. С беспокойством смотрели они на прочное занятие русскими Эчмиадзинского монастыря. В то же время в Эривани знали, что весь гарнизон Эчмиадзина состоит из одного батальона, и естественная мысль о том, нельзя ли взять монастырь, овладевала умами все более и более. И вот, 4 июля, из ворот Эриванской крепости выступил четырехтысячный кавалерийский отряд, поддержанный двумя батальонами сарбазов, при двух пушках. Сардарь шел брать Эчмиадзин. Через несколько часов он был уже под его стенами.

Но прежде чем взяться за оружие, сардарь, по общепринятому обычаю, отправил к коменданту письмо с предложением сдаться. Он говорил в нем, что русские отступили уже в Грузию и помощи гарнизону ожидать неоткуда, убеждал не слушать архиепископа Нерсеса, которого называл обманщиком, и предлагал свободно пропустить войска в любую сторону, ручаясь за их безопасность. “В случае же упорства,— писал сардарь,— я возьму монастырь силой, и тогда уже никому не будет пощады”.

В ответ на предложение сардаря с монастырской стены грянул орудийный выстрел, и граната со свистом ударила близ персидской конницы. Сардарь счел благоразумным отойти из-под выстрелов и ограничиться одной блокадой. Пикеты и разъезды его тотчас заняли все тропинки, чтобы перервать монастырю всякие сообщения. Это, однако, не помешало нескольким армянам проскакать в Дженгули и известить обо всем Красовского. Генерал тотчас взял два батальона с четырьмя орудиями — это было 5 июля — и двинулся к монастырю. Сардарь, которого тотчас предупредили об этом движении русских, немедленно снял блокаду и отступил в Эривань.

Но едва Красовский возвратился в свой лагерь, как вновь пришли к монастырю и персияне. Вообще с этих пор персидские войска то и дело показывались перед Эчмиадзином; но к их появлению скоро привыкли. Вероятно, персияне просто старались отвлекать внимание гарнизона, чтобы дать время своей коннице вволю накормить своих лошадей на открытых пастбищах; для того же, чтобы с другой стороны на них неожиданно не нагрянул Красовский, конный отряд в тысячу всадников расположился на отлогостях горы Алагеза, как раз напротив русского лагеря, и о малейшем движении в нем тотчас уведомлял сардаря. Конный отряд этот был не только бдителен, но и отважен; это были знаменитые карапапахи, со своим предводителем Наги-ханом, не задумывавшиеся даже во время присутствия в Эчмиадзине главных сил Паскевича появляться на его сообщениях с Грузией. И Красовский, как ни старался, ни разу не мог захватить неприятеля на монастырской равнине.

Впрочем, и без этой конницы неприятель имел возможность знать все, что делалось в русском лагере, так как персияне пользовались большим числом шпионов и лазутчиков, между тем как у Красовского их не было. Дело в том, что сардарь, как говорит в своих записках один из участников похода,— предавал пойманных русских шпионов истязаниям, пыткам и мучительным казням, и охотников на это ремесло было поэтому не много. Русский лагерь, напротив того, кишел персидскими лазутчиками, которые были даже среди маркитантов и торговцев; за шпионство в нем брались охотно, потому что русские если и узнавали в ком шпиона, то обыкновенно выдерживали под арестом, много-много что секли,— и затем выпроваживали из лагеря; лазутчик, между тем, опять принимался за свое выгодное ремесло. Сардарь поэтому знал решительно все. Ему было известно, что отряд Красовского значительно ослаблен болезнями, а что подкрепления еще далеко, и он решил даже известить наследного персидского принца о своих мнимых успехах. “Эривань,— писал он ему с обычной восточной хвастливостью,— освобождена от блокады; русские отброшены в горы; отряд их малочислен, расстроен, и нет ничего легче, как овладеть теперь Эчмиадзином, отбить осадную артиллерию, двигающуюся еще в Безобдальских горах, и, истребив, Красовского, открыть дорогу в Грузию”...

Письмо это получено было Аббасом-Мирзой после поражения при Джеван-Булаке и падении Аббас-Абада, когда уже было очевидно, что опасность вступления русских войск в Азербайджан приближается. Чтобы отклонить удар, уже висевший над его головой, Аббас-Мирза остановился на смелом и решительном плане. Он задумал броситься от Чорса к Эривани, в тыл главного русского корпуса, разбить слабый отряд Красовского в Дженгулинских горах и затем идти на Тифлис. Этим он вынудил бы Паскевича двинуться

вслед за собой, отказавшись от наступления к Тавризу, и во всяком случае освободил бы Эривань от осады по крайней мере до следующей вёсны. При благоприятных обстоятельствах персидский главнокомандующий мог надеяться перейти в наступление по всей линии и вырвать из рук победителя все плоды его усилий и побед. Впоследствии, разговаривая с русским генералом бароном Розеном, эриванский сардарь приписывал этот план себе, утверждая, что Аббас-Мирза действовал по его советам.

Время отдыха для отряда Красовского миновало. В ожидании близкого, торжества враг становился дерзок, и уже до прихода Аббас-Мирзы были случаи серьезных нападений с его стороны. Так, 1 августа, трехтысячный конный отряд внезапно атаковал на Аштаракской равнине русский транспорт, возвращавшийся из Эчмиадзина в лагерь с пустыми телегами. Неприятель встретил, однако, стойкий отпор. Батальон Крымского полка, состоявший всего из четырехсот семидесяти человек, под командой майора Дрешерна, отразил нападение, не уступив неприятелю ни одной повозки.

Но вот 4 августа на Эчмиадзинской равнине появляется тридцатитысячная персидская армия. Несколько армян, ездивших в Эривань, привезли Красовскому это известие,— и в истине его нельзя было сомневаться уже потому, что главные слухи шли от известного Саака-Мелика, на дочери которого был женат царевич Александр: он сам ездил в лагерь Аббаса-Мирзы и своими глазами видел персидские полчища.

5 августа вся неприятельская армия дневала верстах в пятнадцати от Эчмиадзина, а 6 двинулась дальше и заняла деревню Аштарак, между Эчмиадзином и Дженгулями. Четырехтысячный отряд Красовского неожиданно очутился лицом к лицу с главными силами персиян.

В главном русском лагере у Кара-Бабы, ничего не знали о движении Аббаса-Мирзы. Напротив, в то самое время, когда Аббас-Мирза стоял уже в Аштараке и русские войска должны были готовиться к неравному бою, Паскевич извещал Красовского, что, по полученным им сведениям, в персидской армии — бунт, что сам Аббас-Мирза арестован и содержится в Чорсе под караулом, а весь багаж его разграблен персиянами. “Такое сведение,— говорит Красовский,— во всех отношениях противное истине, служило для меня ясным доказательством, что в корпусной квартире вовсе не знали, что Аббас-Мирза со всеми своими силами стоит против меня в Эриванской провинции, и я должен был убедиться, что ни в каком случае не могу ожидать подкрепления”.

Несмотря на колоссальное превосходство своих сил, Аббас-Мирза, однако, не решался сразу напасть на Красовского, и обе враждебные армии некоторое время бездейственно стояли, присматриваясь друг к другу. Прежде чем решиться на нападение, каждый хотел вызнать силы и расположение своего противника.

10 августа, в полдень, густая масса неприятельской кавалерии стала показываться против русского лагеря, между горой Алагезом и правым берегом Абарани. Казачьи пикеты, отстреливаясь и маяча, мало-помалу стали сближаться между собой и соединились в кучку человек в пятьдесят. Эта кучка твердо держалась на месте, а когда подошли из лагеря еще две сотни, то весь этот небольшой отряд вдруг с гиком бросился с горы в долину. Казаки летели с такой стремительностью, что вся персидская конница, конечно, предполагавшая их в гораздо большем числе, чем они были на самом деле,— обратилась в бегство. Казаки ссадили пиками двух отличных наездников и возвратились назад. Красовский отмечает с сожалением, что в этом деле был тяжело ранен саблей хорунжий Андреева полка Крюков, известный всему отряду своим удальством и храбростью.

Пока происходила эта кавалерийская схватка, верстах в четырех от нее, у самой подошвы Алагеза, на небольшом возвышении, стояла кучка неприятельских всадников, осененная большим пурпурным знаменем. Там находился сам Аббас-Мирза. В подзорную трубу рассматривал он местоположение русского лагеря и с большим огорчением увидел, что местность, занимаемая русскими, крепка — и лагерь почти неприступен.

В это же самое время Красовский, со своей стороны, пожелал осмотреть персидский лагерь. В час пополудни два батальона пехоты, с двумя орудиями, переправились за Аба рань и двинулись прямо по тому направлению, где веяло пурпурное знамя. Аббас-Мирза тотчас оставил свой наблюдательный пост и удалился в лагерь. Все, что было на равнине конного, обгоняя друг друга, понеслось по следам повелителя. Но, отскакав на значительное расстояние, персидская конница одумалась и пошла шагом. Между тем глубокие рытвины и каменистая отлогость Алагеза замедляли движение русского отряда; на четвертой версте у обоих орудий сломались боевые оси, и Красовский, оставив при них небольшое прикрытие, продолжал идти без артиллерии.

Но вот остановилась и пехота. Генерал поехал вперед в сопровождении лишь нескольких офицеров и двух сотен казаков, с тем, чтобы произвести рекогносцировку. Персидский лагерь весь был на виду, и Красовскому в свою очередь пришлось убедиться, что позиция неприятеля также неприступна. Обеим сторонам оставалось одно,— стараться выманить противника в открытое поле.

Так прошло два дня. Но 13 августа, когда Красовский, сопровождаемый генералом Трузсоном, выехал по Эчмиадзинской дороге произвести новую рекогносцировку, вдруг, с аванпостов дали знать в лагерь, что неприятель наступает в огромных силах. Два казачьих пикета были сняты; остальные бойко отбивались на месте от нападавшей на них персидской конницы и не пускали ее вперед. В лагере между тем ударили тревогу; пехота становилась в ружье, артиллерия запрягала лошадей и выезжала на позицию; за Красовским тотчас послали батальон с орудием. А неприятель все приближался. Вот уже грянул пушечный выстрел, и мало-помалу начала разгораться канонада,— а командующего отрядом все не было. В лагере шепотом начали выражать опасения, чтобы он не попал в руки персиян.

И Красовский, действительно, подвергался серьезной опасности. Он ехал ущельем горы Карны-Ярых, откуда до самой Абарани, пересекая монастырскую дорогу, шла глубокая рытвина. Сюда ежедневно ходил казачий разъезд, узнать посредством телеграфа, что делается в Эчмиадзине. От лагеря до этого места было верст пятнадцать. Персияне, уже давно выслеживавшие в этом месте казаков, как раз в этот день устроили засаду, чтобы схватить разъезд в то время, как из атакованного лагеря ему не могли бы дать помощи. И спасли Красовского только зоркость глаза да чуткое ухо лихого офицера, ехавшего впереди с пятью казаками. Он издали увидел засаду и вовремя остановил генерала. А тут вдруг донесся из лагеря гул пушечных выстрелов, и Красовский повернул назад. Пятьсот человек отчаянных персидских всадников, опасаясь упустить добычу, выскочили из оврага и понеслись в погоню. Быть может, Красовскому и не уйти бы от кровных куртинских коней, летевших как ветер,— но показался батальон пехоты, бегом спешивший из лагеря навстречу к генералу; персияне сдержали коней и повернули назад.

Когда Красовский вернулся в лагерь, неприятель уже прекратил наступление и орудийный огонь замолк. Но опасность не прекратилась, и только грозила теперь с другой стороны. Сильная неприятельская колонна обходила лагерь и выдвигалась на дорогу в Судагент,— а оттуда в, этот день ожидали приезда в лагерь тифлисского военного губернатора, генерала Сипягина, возвращавшегося из Кара-Бабы, от Паскевича. Красовский еще с

вечера отправил навстречу к нему батальон севастопольцев; но видя теперь, что персияне идут в том направлении в значительных силах, взял еще два батальона с четырьмя орудиями и выдвинулся с ними сам на Судагентскую дорогу. Скоро вдали послышалась перестрелка, и затем неприятельская колонна беспорядочной толпой отступила обратно в лагерь: севастопольцы и одни справились с ней. Нужно, однако, сказать, что большую услугу оказали им в этот день конгревовы ракеты, в первый раз в эту войну пущенные здесь в дело; они совершенно ошеломили неприятельскую пехоту, не говоря уже о коннице, которая в паническом страхе рассеялась при первых выстрелах.

Сипягин прибыл в лагерь вместе с Красовским. Там, посреди живописных гор, слегка запорошенных снегом, на небольшой равнине с пожелтевшей травой, выстроены были войска, и нарядный караул, с прекрасной музыкой Крымского полка, встретил губернатора обычными почестями. Сипягин привез известие, что осадная артиллерия уже перевозится через Памбу и дней через пять будет в лагере.

После обеда, проводив батальон Севастопольского полка, в тот же день выступавший в Джелал-Оглы за провиантом, Красовский предложил Сипягину “отдать визит наследному принцу за утреннее посещение им русского лагеря”. И вот два батальона, две сотни казаков и два орудия перешли с ними Абарань. Вся равнина тотчас же покрылась персидскими всадниками, скакавшими к своему лагерю, где скоро все пришло в движение. Оба генерала, сопровождаемые казачьим экскортом, поднялись на возвышение и осмотрели неприятельскую позицию. Неприятель осыпал их ружейным огнем. В шесть часов вечера отряд с песнями возвратился в лагерь.

А в лагере уже ожидали Красовского лазутчики с вестями весьма тревожного свойства. Значительные силы персидской конницы намеревались ночью выступить на Талынь и занять дорогу к Гумрам; до тысячи карапапахов, предводимые самим Наги-ханом, уже показалось на русской границе около Мокрых гор, а грузинскому царевичу Александру дано два батальона сарбазов и двухтысячная конница, для набегов на самую Грузию. Известия эти заставили Сипягина поспешить с отъездом в Тифлис. 15 июня, утром, он выехал из лагеря и с дороги послал приказание, чтобы две роты сорок первого егерского полка, стоявшие на турецкой границе, около Цалки, немедленно передвинулись в Башкичет, а батальон Севастопольского полка, посланный из отряда Красовского в Джелал-Оглы за транспортом, шел в Гумры, куда направлены были еще рота Тифлисского полка и два орудия. Граница была теперь прикрыта; но Зато небольшой отряд Красовского, имевший перед собой значительную персидскую армию, был еще ослаблен на целый батальон.

Между тем, 15 июня, в то самое утро, как Сипягин выехал в Тифлис, неприятельская конница снова приблизилась к лагерю Красовского и, рассыпавшись по Джингулинскому полю, зажгла его, чтобы лишить русских подножного корма. Опасности в этом, однако, большой не было: горела только сухая, негодная трава, зеленая же, еще сохранившаяся в сырых и низменных местах, оставалась невредимой. В два часа персияне, оставив за собой пылающие поля, потянулись к Ушакану, куда в этот день перенесен был их главный лагерь. Красовского известили, что все силы Аббаса-Мирзы направятся на Эчмиадзин, который мог очутиться в весьма тяжелом положении. Аббас-Мирза верно рассчитал, что опасность, грозившая монастырю, вынудит Красовского спуститься с гор и выйти в открытое поле.

XXVIII. АШТАРАКСКАЯ БИТВА

На речке Абарани, на пути в Эчмиадзин из Дженгулинских гор, где стоял лагерем Красовский, лежит селение Ушакан. Около него раскинулся обширный персидский лагерь. Переселение персидского лагеря к Ушакану было недаром. Все обстоятельства убеждали Аббаса-Мирзу, что Красовский, укрепившись в горной позиции, намерен держаться оборонительной системы, и вот наследник персидского трона решился направить удар в самое сердце христианского населения, двинув, 15 августа большую часть своих сил, под начальством Юсуп-хана, на Эчмиадзин. Он справедливо предвидел, что движением этим Красовский вынужден будет выйти в открытое поле, так как положение Эчмиадзина, защищаемого одним только батальоном Севастопольского полка, действительно, могло внушать ему серьезные опасения.

Комендантом Эчмиадзина был в то время старый артиллерист, подполковник Линденфельден, один из лучших штаб-офицеров двадцатой дивизии. Внезапное появление персидских полчищ перед монастырем не смутило его. На предложение сдать Эчмиадзин, он ответил лаконично одним решительным словом: “Не сдам”. Когда персидские сановники, рассыпая перед ним перлы своего красноречия, пытались переманить его в шахскую службу, он сказал, что “русские собой не торгуют, а если; монастырь персиянам нужен, то пусть они войдут в него как честные воины, с оружием в руках”. Упорство коменданта заставило Юсуп-хана обратиться к другому средству, и он написал архиепископу Нерсесу письмо следующего содержания: “Если ты добровольно не отворишь ворота, то я окружу монастырь всей артиллерией, пушками, мортирами — и разорю его до основания. Тогда, Нерсес, грех будет лежать уже на твоей душе”.— “Обитель сильна защитой Бога,— отвечал Нерсес — попытайся взять ее”... Тогда персияне поставили свои батареи и к вечеру открыли такой сильный орудийный огонь, что гул канонады доносился до русского лагеря и сильно волновал Красовского.

Началась строжайшая блокада монастыря, прервавшая все сообщения с ним. Несколько армян и татар, пытавшихся пробраться из русского лагеря в Эчмиадзин и из Эчмиадзина в лагерь, были захвачены персиянами; двум из них выкололи глаза, двум отрезали носы и обрубили уши, а несколько человек из них и совсем пропали бесследно: Красовский не мог быть уже уверенным, что получит известие даже в том случае, если бы монастырю угрожала самая крайняя опасность. Несколько сведений о намерениях неприятеля он, правда, получил, но только от четырех сарбазов, бежавших из персидского стана. Они говорили, что эриванский сардарь дал слово Аббасу-Мирзе поднести ему через два дня ключи Эчмиадзина, а Аббас-Мирза, со своей стороны, обещал сардарю подарить для Эриванской крепости всю русскую осадную артиллерию. То, что сообщали эти беглые, вскоре подтвердилось известием и из самой Эривани. Там проживал в то время один из армянских старшин, Исак-Мелик, человек преданный России, и он то сообщил Красовскому план Аббас-Мирзы, заключавшийся в. том, чтобы сначала взять и разрушить до основания Эчмиадзин, а затем, оставив Красовского в Дженгулях прикрывать дорогу, идущую из Эриванской области через горы Памбу и Безобдал,— самому, со всеми силами, устремиться в Грузию через Гумры. Путь этот был трудный, но весьма удобный для движения войск с артиллерией, и притом защищаемый всего только одним батальоном Севастопольского полка. Таким образом, Аббас-Мирза рассчитывал свободно овладеть Тифлисом, но не останавливаться в нем, а только разрушить его, и затем через Елизаветполь и Карабагскую провинцию возвратиться в Азербайджан через Асландузский брод или Худоперинский мост. Целью этого быстрого кругового движения предполагалось, сверх разрушения Тифлиса, истребление на всем пути продовольственных средств. План был задуман очень хорошо и показывал, насколько прав был осторожный Ермолов, предвидя для Грузии многочисленные опасности,

которых не хотели видеть и признавать другие. “Все это,— сознается Красовский,— Аббас-Мирза легко мог исполнить, ибо не встретил бы нигде более одного батальона для защиты в течение десяти-пятнадцати дней; и тогда все наши войска, находившиеся в главных силах при Кара-Бабе, в Дженгули и вообще в Эриванской и Нахичеванской провинциях, должны были бы, необходимо, претерпев бедствия без продовольствия, возвратиться в Грузию и там искать оного для своего спасения”...

Сам Красовский очутился в положении весьма тяжелом. Ожидая осадной артиллерии, а вместе с ней и Кабардинского полка, находившегося всего в трех-четырех переходах, он не мог идти на выручку Эчмиадзина и томился нетерпеливым ожиданием. Между тем, начавшаяся с раннего утра 16 августа под монастырем сильнейшая канонада гремела на равнине до самого полудня, показывая серьезные намерения неприятеля разгромить Эчмиадзин. В таких обстоятельствах один час промедления мог сделать невозвратный поворот в целом ходе кампании. Красовский горел от нетерпения. “Монастырь в опасности,— говорил он,— надо идти”...

Рассказывают, будто бы, как нарочно, в этот день ему доложили, что в Эчмиадзине нет провианта. Это оказалось впоследствии простым недоразумением, вызванным какой-то путаницей в книгах, в графах, обозначавших муку и крупу; хлеба в Эчмиадзине было еще много. Но это известие, вместе со словесной просьбой Нерсеса поспешить на помощь, порешило дело, окончательно утвердив Красовского в намерении идти в Эчмиадзин и, во что бы то ни стало, доставить туда быстро сформированный им транспорт с продовольствием. Многие пытались отклонить его от этого опасного движения; но он остался непреклонен. Старый ветеран наполеоновских войн, человек безупречной храбрости, Красовский верил в доблесть русского солдата и рассчитывал легко управиться с нестройными персидскими полчищами. “По многим опытам,— говорит он в своих записках,— я в полной мере мог положиться на усердие, неустрашимость и доверие ко мне, воодушевлявшие моих офицеров и солдат”.

Красовский спешил выступить к Эчмиадзину. К походу назначены были весь сороковой егерский полк, по батальону от полков Крымского пехотного и тридцать девятого, два казачьих полка и двенадцать орудий третьей легкой роты двадцатой артиллерийской бригады, К ним присоединился особый сводный батальон, составленный Красовским из двух рот, отделенных от сорокового полка, шестьдесят пионеров, восемьдесят стрелков Севастопольского полка и шестьдесят человек пешей грузинско-армянской дружины. Двухмесячное пребывание в Эриванский провинции настолько ослабило войска, что в батальонах едва насчитывалось по четыреста пятьдесят штыков, а казачьи полки, оба вместе; не могли выставить более трехсот всадников,— так что общая сила выступавшего отряда не превышала тысячи восемьсот человек пехоты и пятисот человек конницы, если не считать незначительной добавки к казакам конных армян, татар и грузин. В лагере, для прикрытия его, оставались только батальон Крымского полка, шестьдесят человек пионеров и десять орудий, под командой генерал-майора Берхмана. И в тот же день, когда загорелась под монастырем канонада, встревожившая Красовского, отряд в пять часов пополудни, уже совершенно готовый к выступлению, выстроился на небольшой площадке перед своими палатками. К нему выехал Красовский.

“Ребята! — говорил он, объезжая фронт и здороваясь с солдатами.— Я уверен в вашей храбрости, знаю готовность вашу бить неприятеля. В каких бы силах он с нами ни встретился,— мы не будем считать его. Мы сильны перед ним единством нашего чувства: любовью к отечеству, верностью присяге, исполнением священной воли нашего государя. Помните, что строгий порядок и устройство всегда приведут вас к победе. Побежит неприятель — преследуйте его быстро, решительно, но не расстраивайте рядов ваших, не

увлекайтесь запальчивостью. У персиян много конницы; потому стрелкам не отходить на большие дистанции и, в опасных случаях, быстро собираться в кучки. Вас, господа офицеры, прошу иметь за этим строжайшее наблюдение. Надеюсь, ребята, что мои желания исполнятся в точности, что порядок, тишина и безусловное повиновение будет для каждого из вас святой и главной обязанностью”.

Началось напутственное молебствие. Коленопреклоненно молился отряд, готовясь идти на бой, исход которого был скрыт за непроницаемой завесой будущего. Все знали, что идут на битву неравную,— и все хотели найти утешение в горячей молитве. Необъяснимо велика та минута, когда чувствуется уже кругом веяние смерти и каждый ежеминутно готовится предстать перед лице Божие!.. Благоговейно приложились к святому кресту офицеры и стали по своим местам. Священник,— это был благочинный двадцатой дивизии, Тимофей Мокрицкий,— окропил знамена святой водой и направился к отряду, молча и неподвижно стоявшему с обнаженными головами. Сзади шли певчие и пели: “Победы благоверному императору нашему на супротивные даруя”. Осенив колонну крестом и окропив ее святой водой, священник прошел по рядам, еще раз остановился впереди и, возвысив животворящий крест, после минутного молчания, сказал:

“Братцы! Не устрашитесь многочисленности врагов ваших. Многочисленность их прославит только мужество ваше, доставит вам еще большие лавры и почести. Всемогущий Бог, сильный и в малом числе своих избранных, истребит многолюдные полчища врагов, не ведающих святого имени Его. Вооружите же, православные воины, крепкие мышцы ваши победоносным русским мечом, дух — храбростью, сердце — верой и упованием на Бога, помощника вашего,— и Той сохранит и прославит вас!”

Еще раз благословил он всех на путь добрый, на славу оружия,— и благоговейно склонили свои головы солдаты, из которых многие принимали последнее благословение.

Но вот пробили отбой,— и войска тронулись по Эчмиадзинской дороге. В самом хвосте колонны медленно потянулся обоз, составленный из легких артельных повозок, артиллерийских дрог и тяжелых провиантских фур, до верху нагруженных провиантом. Солдаты шли бодро и весело,— везде гремела музыка, пелись песни.

От Дженгули до Эчмиадзина всего тридцать пять верст, и Красовский решил сделать их в два перехода. Уже вечерело, когда отряд, поднявшись на одно из возвышений, увидел вдали густую цепь неприятельских разъездов. По всему пространству, раскинувшемуся перед глазами русских, началась бешеная скачка; это персидские разъезды спешили в свой лагерь с известиями о появлении русских. И через полчаса по всему протяжению персидской позиции, на горе и вокруг ее, при Ушакане, поднялись тучи пыли, которые, постепенно увеличиваясь, вместе с тем распростирались по дорогам к Эчмиадзину и Сардарь-Абаду. Было очевидно, что лагерь снялся, и Что конница персидская скакала на равнину, окружающую монастырь. Войска между тем спустились в долину, против самого селения Сагну-Саванга, и стали в боевом порядке на ночлег. Было девять часов вечера.

День 17 августа обещал быть необычайно знойным. Как ни рано выступили с ночлега войска, но солнце уже жгло; а дорога между тем шла через горы, представлявшие собой местность каменистую и в полном смысле слова безводную. Обоз на первых же порах стал отставать, повозки ломались, падали; люди помогали тащить тяжелые арбы и, несмотря на раннее утро, уже задыхались от жажды.

Часов в семь утра колонна взобралась, наконец, на скалистый подъем и здесь остановилась; предстоявший спуск с горы был еще страшнее для артиллерии, чем был

подъем. Во время привала Красовский внимательно осматривал в зрительную трубу окрестность. И то, что было перед ним, не представляло ничего утешительного. Все видимое пространство на правом берегу реки было усеяно неприятельской конницей; неприятельские толпы переходили Абарань со стороны Аштакара, и гора под которой стоит Ушакан и которая еще вчера казалась покинутой неприятелем, теперь снова была покрыта войсками и укреплялась батареями; на левом берегу Абарани, по которому шел русский отряд, на крутых возвышениях против Ушаканской горы также стояло до десяти тысяч персидской пехоты с сильной артиллерией.

И уже в то время, как русский отряд был на привале, до трехсот человек персидской конницы близко подскочили к колоннам, спешились, залегли за камни и открыли ружейный огонь. Взвод стрелков оттеснил их. Но вслед затем две кавалерийские колонны, числом уже до пяти тысяч, вдруг, как две черные тучи, выдвинулись из глубокой рытвины и стали на самой дороге, лежавшей перед русскими. Это был как бы прямой вызов на битву. Но едва граната из батарейного орудия со свистом очертила в воздухе свою кривую линию и упала вблизи врагов, как вся эта конница вихрем пронеслась через дорогу и стала на высотах с левой стороны ее.

Видя, что отряд медлит спуститься с горы, персияне начинали думать, что Красовский не надеется пробиться к Эчмиадзину и намерен отступить в свой лагерь. Аббас-Мирза, опасавшийся этого более всего, предпринимал военную хитрость: он сделал вид, что отступает сам, и, отодвинув, назад свою пехоту к реке, спрятал ее в балке. Красовский улыбнулся. “Каков Аббас-Мирза!” — сказал он полковым командирам, собравшимся к нему за приказаниями.

Намерения неприятеля были совершенно ясны. От возвышенности, где стояли русские, дорога к Эчмиадзину пролегала между двумя рядами небольших, но крутых возвышенностей, образовывавших собой узкую лощину, почти ущелье. В этом-то ущелье, на самой дороге, неприятель и думал запереть русский отряд, чтобы затем истребить его губительным перекрестным огнем справа и слева.

Красовскому, только и видевшему впереди Эчмиадзин с его опасным положением и потому не допускавшему и мысли об отступлении, приходилось принять страшный неравный бой с весьма неверными надеждами на успех, которого не обещала, между прочим, и неопытность храбрых солдат. Уже восемь месяцев двадцатая дивизия находилась в Грузии; но, перенося всевозможные труды, она ни разу еще не встречалась с неприятелем в упорном и жарком бою. Происходившие до того времени ничтожные стычки только укрепили солдат в презрительном отношении к противникам, но не дали им ни опыта, ни той великой веры в самих себя, в которой заключалась вся тайна чудесных подвигов Карягиных и Котляревских. Если бы войска Красовского действовали налегке, они, быть может, еще и были бы способны вынести на своих плечах всю тяжесть чудовищно-неравного боя, когда одному приходилось сражаться против десятерых: но за войсками шел нескончаемый транспорт, и он вязал солдат по рукам и ногам, лишая их необходимой свободы действий.

Так или иначе, но отряд пошел вперед. Отдохнув и стянув обозы, он начал спускаться в страшное междугорье, грозившее отовсюду опасностями. Там уже невозможно было идти широким боевым фронтом, и потому Красовский расположил свои войска следующим образом: впереди, по обе стороны дороги, пошел батальон тридцать девятого егерского полка: две роты с двумя орудиями справа, две роты с двумя же орудиями слева; за ним следовал Крымский батальон в том же порядке, и тоже с четырьмя орудиями; по самой дороге длинной лентой тянулся обоз, прикрытый справа сводным батальоном, слева —

казачьими полками; и, наконец, шел арьергард. Так как, проходя к Эчмиадзину мимо Ушакана, отряд оставлял в тылу у себя неприятельский лагерь, то в арьергард назначены были солидные силы — весь сороковой егерский полк с четырьмя орудиями.

Толпы персиян между тем быстро увеличивались новыми толпами, приходившими из-за Абарани, и, пропустив мимо себя колонны, стали наседать на арьергард, в то же самое время грозной тучей подвигаясь слева, чтобы не дать отряду возможности уклониться в сторону и выйти из-под огня батарей, стоявших за рекой. И вот едва отряд приблизился к пункту, против которого за рекой лежит Ушакан, как с противоположного берега загремела персидская артиллерия, которая и продолжала обстреливать двигавшиеся войска на протяжении нескольких верст; а отклониться из-под выстрелов в сторону не представлялось никакой возможности. Едва солдаты вышли из-под батарей ушаканских, как попали под огонь других, которые, переправившись из-за Абарани, уже заняли позицию на скатах между рекой и отрядом. В то же время восемь орудий громили отряд с тыла и с левых высот, стреляя по русским батареям и вдоль обоза.

Положение отряда становилось с каждым шагом опаснее. Вся неприятельская пехота, скрытая в овраге, выдвинулась теперь опять на возвышение и быстро шла вперед, чтобы захватить в свои руки выход из ущелья. На помощь к ней, влево от отряда, по высотам, скакал пятитысячный конный отряд. Неприятель стремился соединиться впереди, чтобы сомкнуться в кольцо и совершенно окружить отряд. “Отступление от этого места, — говорит Красовский,— делало потерю Эчмиадзина невозвратной, а малейшая медленность могла ободрить персиян и ослабить доверенность ко мне подчиненных”. И вот, он, чтобы открыть себе путь в монастырь, приказал головным колоннам тридцать девятого полка стремительно ударить на врагов. К счастью, егеря успели взбежать на высоты прежде, чем неприятель соединился, и сильным огнем расстроили его намерения: неприятельская конница, осыпанная их выстрелами, была отбита назад, и пехота — остановилась сама. Зато теперь все силы неприятеля обрушились на русский арьергард, с целью по. возможности замедлить движение отряда. Напрасно Красовский приказывал спешить с отступлением, чтобы скорее миновать гибельное ущелье,— исполнение этого встречало неодолимые трудности.

Утомленные пятичасовым сражением, солдаты начинали обессиливать. А неприятельская пехота нападала на арьергард все с большей и большей яростью. Помощи отряду ждать было неоткуда, он защищался отчаянно,— и врагам дорого доставались его нападения: картечь била их массами. Мужество солдат сорокового полка превосходило всякое представление. До подошвы горы, откуда начиналась уже Эчмиадзинская равнина, оставалось четыре версты: но эти четыре версты для сорокового полка и артиллерии, действовавшей с ним, были поистине ужасны.

Дорога становилась здесь каменистее и труднее. Артиллерия, прыгая по камням, едва-едва подвигалась в извилинах ущелья; от лошадей валил густой пар, оси трещали, ломались колеса, и каждая подбитая или упавшая арба загораживала путь, останавливала, движение. Замешательство в войсках при этом естественно росло, и люди, сбившиеся в кучу, падали под перекрестным огнем неприятеля. С каждым шагом вперед потери становились значительнее. Пришлось подкрепить арьергард целым батальоном крымцев, и Красовскому не раз приходилось самому водить в штыки то ту, то другую роту, чтобы только дать время остальным уйти вслед за обозами. Тогда орудия с величайшим трудом брались на передки и до следующего действия отступали с полумертвой прислугой. Усталость людей доходила до буквального изнеможения, потери — до невозможности действовать артиллерией. Многие солдаты падали при своих орудиях и, облокотись на камень, равнодушно отдыхали под градом неприятельских пуль.

В один из таких-то моментов пришлось прикрывать отступление через опасный спуск двум орудиям третьей легкой артиллерийской роты, при которых находился сам командир батареи, капитан Соболев. Картечь и пули осыпали его со всех сторон. Красовский видел, что если орудия не удержатся и отступят преждевременно, пехота неминуемо погибнет под натиском неприятеля,— и сам поскакал на батарею, чтобы ободрить артиллеристов. Его встретил Соболев, “веселый и сияющий”. “Будьте спокойны, ваше превосходительство,— отвечал он, выслушав приказание не отступать ни в коем случае,— двадцать персидских орудий меня не собьют!” — И он, действительно, отступил не прежде, как получив приказание. “Мужество и неустрашимость,— говорит Красовский,— достойны изумления!”.

Едва Соболева сменил на спуске другой артиллерийский взвод с полковником Гилленшмитом, как неприятельское ядро раздробило ось у батарейного орудия. Его стали перекладывать на запасной лафет. Неприятель воспользовался этим моментом, чтобы броситься в атаку. Красовский, видя смущение растерявшихся людей, сам явился среди них и очутился под страшным картечным огнем, которым персияне, очевидно, хотели заставить бросить подбитое орудие. Стрелковая цепь на этом пункте скоро была сбита. “Ваше превосходительство! — сказал Красовскому Гилленшмит.— Я вас прошу, оставьте меня с орудием на жертву, но не подвергайтесь сами столь очевидной опасности. Будьте уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы спасти орудие”.— “Я останусь с вами”,— ответил Красовский.

Он приказал двум ротам сорокового полка, под командой майора Щеголева, не уступать ни шагу неприятелю, а сам поскакал к резерву и крикнул: “Ребята! За мной! Выручайте пушку!”

Его воодушевление сообщилось всем. Солдаты врезались в густую толпу персиян, уже .бежавших к орудию, и отбросили их. А пока шла рукопашная схватка, артиллеристы успели подхватить и вывезти орудие.

Сам Красовский едва избежал при этом гибели. Лошадь под ним была убита. Когда он пересел на другую, неприятельская граната осыпала его своими осколками. Он был контужен в руку, и контужен так сильно, что правая ключица оказалась раздробленной. Почти в тот же момент другим осколком убило под ним и вторую лошадь. Поручик Пожидаев, командовавший стрелками, подвел ему свою; но Красовский уже не мог сесть на нее без посторонней помощи; его посадили егеря. “Я старался,— говорит Красовский,— скрывать невыносимую боль в руке и казаться спокойным, чтобы ободрять людей везде, где нам угрожала наибольшая опасность”. А в это время подбежал к Красовскому батальонный адъютант, поручик Симановский, с известием, что неприятель сильно теснит первый батальон егерей, и что майор Щеголев опасно ранен двумя пулями в ногу и голову. Опасаясь, чтобы потеря этого любимого солдатами офицера не поколебала твердости его батальона, Красовский поскакал к егерям. Он нашел их стоявшими под страшным ружейным и картечным огнем; легкое орудие, из батареи Соболева, находившееся при батальоне, бездействовало, а неприятель находился от него уже не более ста шагов. “Отчего не стреляют? Стрелять картечью!” — крикнул Красовский. Но фейерверкер Ковригин спокойно ответил ему: “Ваше превосходительство! У меня осталось только два картечных заряда, и я храню их на крайний случай”... “Я готов”был в ту же минуту обнять и расцеловать этого старого служаку”,— говорит Красовский. К счастью, в это время подвезли зарядный ящик. Орудие грянуло,— и неприятель укрылся за высоты.

Едва отразили врагов на этом пункте, как Красовский заметил, что часть неприятельской конницы быстро перенеслась через дорогу и скрылась слева за гребнем ущелья. Опытным взглядом окинул генерал поле сражения, стараясь угадать причину этого движения, и тотчас же увидел два русские легкие орудия, которые слишком выдавались вперед, без прикрытия, энергично сдерживая своим огнем неприятеля, старавшегося сбить левую цепь. Очевидно было, что эти-то незащищенные орудия и манили к себе персидскую конницу. Закрытая рядом холмов, она была от них уже всего саженях в тридцати, как прискакал сюда Красовский. Бледный, с перевязанной рукой, он соскочил с коня и стал во главе тридцати егерей, прибежавших вслед за отважным начальником. В этот момент часть неприятельской конницы вынеслась на чистое место. Впереди, на чрезвычайно легкой лошади, в красном плаще и с красным знаменем в руках, скакал ее предводитель. Далеко опередив свою конницу, он приостановился на бугре, не далее пистолетного выстрела от батареи. Тридцать пять человек прикрытия не могли бы отстоять орудии. Но прежде чем неприятельская кавалерия стянулась и устроилась к битве, Красовский сам бросился в штыки,— и неприятель, изумленный и расстроенный внезапным нападением, быстро повернул назад. Орудия дали вслед ему карточный залп и поспешно отступили к отряду.

Среди постоянных битв, до последнего, момента, войска сохраняли порядок. И вот перед ними последний подъем, за которым начинается уже равнина. Все сознавали, что здесь-то именно отряд и будет встречен с фронта главными вражескими силами, которые попытаются преградить ему путь к Эчмиадзину; наступала роковая минута, когда, окруженный в десять раз сильнейшим неприятелем, он должен будет идти напролом, чтобы спасти знамена. Картечные заряды были уже все до последнего истрачены. Красовский видел себя вынужденным бросить обозы, но орудия разместил посередине батальона, чтобы не дать врагам овладеть ими. Священник Крымского полка, Федотов, с крестом в руках, пошел впереди, К счастью, гарнизон Эчмиадзина вышел в этот момент за монастырские ворота, и неприятель, опасаясь сам очутиться между двумя огнями, сошел с дороги.

Красовский быстро спустился на равнину и стал в двух верстах от монастыря, чтобы дождаться арьергарда. Стрелкам и казакам, находившимся по сторонам дороги, послано было приказание поспешна присоединяться к колоннам. Но стрелки, изнуренные жаждой, кинулись не к колоннам, а к широкой канаве с холодной водой, и никакие усилия не могли оторвать их от студеной влаги. Неприятель воспользовался этим моментом; вся персидская конница насела на стрелков и принялась рубить их, как умеет рубить только восточная конница. Казаки по своей малочисленности не могли оказать никакой помощи и должны были отступить к отряду. Гибель стрелков стала неизбежной. Многие солдаты в изнеможении ложились на землю и не пробовали даже защищаться. Персияне не брали в плен, а резали всем, и живым, и мертвым, головы, вязали их в торока и с этой кровавой добычей скакали назад, чтобы получить за каждую голову обещанные десять червонцев, большая часть русских трупов и были потом найдены обезглавленными.

В этот-то момент, когда главная опасность для всего отряда уже миновала, паника вдруг охватила русские войска. Артиллерия, не надеясь уже на прикрытие, поскакала к монастырю; за ней все бросилось бежать в таком беспорядке, что арьергард смешался с остальными частями.

Здесь, в бесполезном усилии восстановить порядок, погиб геройской смертью командир Крымского полка подполковник Головин, молодой, даровитый начальник, сраженный тремя персидскими пулями; здесь же получил тяжелую рану командир сорокового полка, полковник Шумский, и здесь же убит был храбрый майор Севастопольского полка

Белозор. Последний, еще при начале катастрофы, отдал раненому офицеру свою лошадь, а сам скоро изнемог до того, что солдаты вели его под руки. Измученные сами, люди, наконец, стали отставать от отряда; тогда Белозор сел на камень, достал кошелек с деньгами и, передавая его солдатам, сказал: “Спасибо вам, братцы, за службу. А теперь спасайтесь, иначе вы все погибнете вместе со мной совершенно напрасно”. Наскакавшие персияне сорвали с Белозора эполеты, вероятно полагая, что они золотые, и отрубили ему голову.

Сам Красовский избежал смерти только благодаря счастливой случайности. Он имел неосторожность отделиться от отряда, чтобы ободрить стрелков, и вместе с ними был окружен персиянами. Многие подле него были изрублены; та же участь ожидала и Красовского, уже вынужденного отбивать удары своей тонкой офицерской шпагой. К счастью, при нем находился в это время обер-аудитор Белов, человек замечательной силы и храбрости. Он успел пробиться сквозь ряды персиян и дал знать об отчаянном положении отрядного начальника стоявшему поблизости казачьему полку Сергеева. Пятьдесят донцов, с Беловым и своим полковым командиром, войсковым старшиной Шуруповым, во главе, с отчаянной храбростью кинулись спасать начальника. Очищая дорогу пиками и шашками, они пробились до самого Красовского, многих куртинцев положили на месте, остальных обратили в бегство. Красовский и горсть солдат, бывших с ним, были спасены.

Сражение кончилось. Среди оказанных в нем многочисленных подвигов, подобных тем, о которых рассказано выше, Красовский отмечает в своем донесении геройское поведение фейерверкера Осипова. Ядром перебило ему левую руку выше локтя и жестоко контузило в бок. Товарищи подняли его, чтобы положить на повозку. Но, придя в память, Осипов решительно отказался от этого. Неся правой рукой свою левую, висевшую только на коже, он говорил, что лучше желает умереть подле своего орудия, чем отойти от него. И таким образом он дошел вместе с орудием до самого монастыря.

Есть также известие о геройском самопожертвовании некоего армянина, по имени Акопа Арютинова, бывшего во время сражения в персидской артиллерии. В самом разгаре боя он направлял пушечные выстрелы так, что снаряды ложились не в русское, а в персидское войско. Его арестовали; но он успел бежать во время смятения битвы, но был пойман,— и сардарь эриванский приказал выколоть ему глаза и отрезать нос, губы, уши и пятки. Измученный и обезображенный, он успел, однако, добраться до Эчмиадзина. Впоследствии русское правительство вознаградило его, назначив ему единовременно десять червонцев и пожизненную пенсию в сто рублей.

Перед самыми воротами Эчмиадзина Красовский остановил шедшие впереди войска, чтобы дать время стянуться всему отряду. Солдаты были в таком изнеможении, что замертво падали под тень монастырских стен; и когда ударили подъем, пять егерей, которые не были совсем ни ранены, ни контужены, оказались умершими от истощения сил. Красовский ввел в монастырь только слабые остатки своего отряда, потеряв в этот страшный день весь транспорт, двадцать четыре офицера и тысячу сто тридцать нижних чинов,— потеря громадная, если припомнить, что вся численность отряда едва превышала две тысячи человек.

Эчмиадзин со своей стороны переживал во все время боя минуты страшного сомнения. Один из монастырских иноков, отец Иосиф, сидел на колокольне и с ужасом следил за тем, как две тысячи русских воинов бились, окруженные тридцатитысячной армией самого Аббаса-Мирзы. Весь монастырь молился. Архиепископ Нерсес, облаченный в праздничные святительские одежды, со всем духовенством совершал божественную

службу. Все время, пока происходило сражение, он простирал вверх святое копье, омоченное кровью Христа, и просил с коленопреклонением и со слезами победу благочестивому русскому воинству. “Умилительно было это зрелище,— говорит один очевидец,— не только весь народ и солдаты, но и больные и раненые подползали к монастырскому храму — и молились”...

Но вот пушечный гром мало-помалу затих, и остатки русского войска появились перед Эчмиадзином. Монастырь отворил ворота и встретил их с молебным пением и колокольным звоном, как своих избавителей. Архиепископ Нерсес обратился к ним с приветственной речью. “Горсть русских братьев,— говорил он, пробилась к нам сквозь тридцатитысячную армию разъяренных врагов. Эта горсть стяжала себе бессмертную славу, и имя генерала Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Эчмиадзина”.

Действительно, впоследствии, в память этого боя, по мысли престарелого патриарха Ефрема, поставлен был монастырем скромный обелиск, в виде часовни, на самом месте сражения, и вместе с тем установлено ежегодно праздновать 17 августа; в этот день все эчмиадзинское духовенство совершает крестный ход к памятнику и служит там панихиду по убиенным в сражении воинам. Высочайшее утверждение об этом памятнике последовало 1 сентября 1831 года. Он стоит и ныне, верстах в четырех от Эчмиадзина, на пути к деревне Ушакан; на медных досках, врезанных в пьедестал, начертаны имена начальников войсковых частей и названия полков и артиллерии, которые сражались в день 17 августа для спасения Эчмиадзинской святыни. Так память о страшной битве будет переходить из поколения к поколения, до позднейшего потомства тех, чьи сердца, в самый день подвига Красовского, колебались между страхом и надеждой и обращались с горячей молитвой к милосердному Богу, прося Его помощи и защиты.

Непосредственным следствием битвы 17 августа было совершенное освобождение монастыря от блокады, которая в ту же ночь была снята персиянами. Как ни велики были потери русского отряда, потери врагов были, вероятно, еще ужаснее, если судить по отчаянной решимости, с какой бились русские войска. Но всего более должны были поразить и страшно повлиять на дух впечатлительных персиян самые обстоятельства боя. Огромная армия оказалась бессильной остановить ничтожную горсть русских, которые, невзирая ни на ужасы смерти, царившей кругом, ни на страшное утомление людей, довели до конца предпринятое движение, не дав врагу ни одного военного трофея,— ни пушки, ни знамени. Персияне должны были чувствовать себя потерпевшими если не поражение,— невозможное при их превосходстве сил,— то несомненную неудачу, напомнившую самому Аббасу-Мирзе знаменитое отступление Карягина. И вот, они сами отступили от Эчмиадзина, отчаявшись в успехе предпринятого плана войны, пока первый шаг в нем, занятие монастыря, встретил столь неодолимое препятствие в русском мужестве.

Трудно, действительно, категорически сказать, был ли Аштаракский бой для русских победой или поражением, тем более, что все движение Красовского представляло собой скорее удачно выполненное, хотя и сопряженное с большими потерями наступление на врагов, осаждавших Эчмиадзин, чем отступление от них.

Так именно и взглянули на дело некоторые современники Красовского, ставящие Аштаракский бой в число самых ярких победных триумфов всей персидской войны. Но были, однако же, люди и совершенно противоположного взгляда. “Персидская война,— пишет, например, один очевидец событий,— была ведена для нас так счастливо, что нам нет надобности скрывать своих поражений, которых было всего два: в Герюсах и под

Аштараком”. К числу последних принадлежал и сам Паскевич, имевший к тому и личные неудовольствия против Красовского. Он называет аштаракское дело “странным” и в резких выражениях отзывается о нем в своих донесениях к государю и вообще в Петербург. “Я был поставлен в недоумение,— писал он графу Дибичу,— в каком виде я должен представить реляцию генерала Красовского. Препроводив ее без всяких суждений своих, я дал бы повод думать, что оправдываю действия Красовского и признав изложение их в полной мере справедливыми; присовокупив же замечания свои, я боялся упрека, что строго разбираю поступки моего подчиненного, и без того обвиняемого самими обстоятельствами”.

По мнению Паскевича, Красовскому следовало бы дождаться Кабардинского полка и затем уже совокупными силами идти на неприятеля, между тем как он “безрассудно, с какой-то неизменяемой торопливостью”, как выражается Паскевич, пошел всего с четырьмя батальонами против огромных сил и дал неприятелю случай воспользоваться “сим недостатком соображения”. Все доводы Паскевича блекнут, однако, перед тем фактом, что Кабардинский полк прибыл к Дженгулям только 18 числа, то есть, что битва могла произойти в этом случае только двумя-тремя днями позже, а в это время Эчмиадзин мог быть взят приступом, что нанесло бы неисправимый вред всей кампании, как материальный, так и нравственный, а, быть может, и дало бы Аббасу-Мирзе возможность исполнить свой план,— проникнуть в Грузию. Паскевичу, по его словам, пришлось лично убедиться, что после Аштаракского боя Красовский не только не мог приступить к осаде Эривани, но едва ли бы удержался и в монастыре, если бы Аббас-Мирза захотел вторично атаковать его. “Войска после Ушаканского сражения,— писал он государю,— до такой степени потеряли нравственную бодрость, что при одной фуражировке две роты бежали от появления десятка наших же татар и даже бросили пушку”. Но в словах Паскевича мы видим только предположение, а факт остается тот, что Аббас-Мирза не только вторично не атаковал Красовского, а даже не посмел приблизиться к его войскам, только издали следя за их движениями,— и все планы его о вторжении в Грузию сразу рухнули. Правда, часть главных русских сил должна была идти против Аббаса-Мирзы, которого Паскевич считал арестованным в Чорсе,— но в этом уже не вина Красовского. Так или иначе, но ни один голос в армии не поднялся тогда, чтобы обвинить в несчастных обстоятельствах Аштаракского боя самого Красовского. Все понимали, что если отряд, поставленный в такое тяжелое положение, все-таки пробился, спася знамена и не оставив в руках неприятеля ни одного орудия,— то этим он был обязан только необычайному мужеству и боевой распорядительности своего начальника. Так именно взглянул на дело и сам покойный император Николай Павлович. Прочитав донесение об Аштаракском бое, он написал собственноручно: “дать Красовскому орден св. Владимира 2-го класса”,— и повелел занести событие в календарь [В позднейших кавказских календарях Аштаракский бой уже не отмечался, по причинам, не находящим объяснения.], с присовокуплением слов: “Столь смелое и удачное предприятие заслуживает быть причислено к достопамятнейшим подвигам храброго российского воинства”.

Заняв монастырь, Красовский был отрезан от лагеря и подходившей к нему осадной артиллерии. Лазутчик пробрался, однако же, 13 августа навстречу к Кабардинскому полку и передал командовавшему отрядом генералу Лаптеву приказание — артиллерию оставить в Дженгулях, а с двумя кабардинскими батальонами и четырьмя орудиями ночью налегке подойти к Эчмиадзину и условным знаком известить гарнизон о своем прибытии. Лаптев с точностью выполнил приказание; ночью с 19 на 20 число, он уже стоял против Ушакана, откуда начинается известное ущелье, и дал условный сигнал. Но, к изумлению генерала, ответа не последовало. Лаптев уже думал, что монастырь взят персиянами, и был в большом затруднении. Через некоторое время он, однако, снова сделал условный пушечный выстрел,— и на этот раз из крепости ему ответили тем же. Оказалось, что там,

еще под слишком свежим впечатлением аштаракской резни, считали невозможным, чтобы Красовский полк мог подойти к монастырю без перестрелки, и явилось сомнение, не попали ли приказания Красовского в руки врагов и не сделан ли сигнал персиянами, чтобы заманить русских в засаду. После второго сигнала Красовский, оставив в Эчмиадзине весь сороковой егерский полк, вышел из монастыря навстречу Лаптеву, и, соединившись с ним около Ушакана, утром 20 августа двинулся в Дженгули, нигде не встречая неприятеля.

А в лагере в это самое время переживались весьма неприятные минуты.

Нужно сказать, что накануне, 19 августа, туда прибыла вся осадная артиллерия вместе со своим бесконечным парком,— одна перевозка которого от Тифлиса до Эривани обошлась казне в сорок три тысячи рублей серебром. В лагере теперь было более тысячи повозок разного рода. Длинная улица из маркитантских арб и духанов, разбитых под большими разноцветными наметами, огромные сараи для больных, скирды сена, множество волов, лошадей и длинные ряды повозок, оставленных ушедшими налегке полками,— делали лагерь издали, с гор, обширным, красивым и грозным; в действительности же, если он и был обширен и красив, то уже вовсе не грозен; когда Кабардинский полк вышел навстречу к Красовскому, для защиты лагеря остался, под командой генерал-майора Берхмана, всего один батальон Крымского полка, силой в пятьсот штыков, с тремя сотнями слабо-конных казаков и семью орудиями.

Между тем, в эту же ночь с 19 на 20 августа, Аббас-Мирза перенес свой лагерь из-под Ушакана на левую сторону реки Занги, ближе к Эривани, и стал в пятнадцати верстах от Дженгулинского лагеря. С Дженгулинских гор видны были и пехота его, окапывавшаяся над самым берегом Занги, и кавалерия, рассыпавшаяся вдоль берега речки, и какие-то рабочие, возводившие грозные ретраншементы. И Берхман справедливо думал, что пока Красовский будет в Эчмиадзине, неприятель, пользуясь благоприятными обстоятельствами, атакует Лагерь, и заранее принимал свои предосторожности; он вооружил не только всех нестроевых солдат, но даже черводаров и духанщиков, которых набралось до трехсот человек. Ждать ему пришлось, действительно, не долго.

В десять часов утра, 20 августа, то есть в то самое время, когда Красовский шел в Дженгули, соединившись под Ушаканом с Лаптевым, неприятельская кавалерия стала показываться на горах и вскоре большими толпами начала подходить к лагерю. Одна из кучек, менее, но пестрее и наряднее Других, остановилась на отлогости горы; там был сам Аббас-Мирза, окруженный своей свитой. Прочие подвигались вперед. Но чем ближе подходили персияне, тем движения их становились медленнее,— их очевидно смущала грозная наружность лагеря. Но вот грянула русская пушка, за ней другая, третья... После четвертого выстрела персияне и совсем отступили,— они получили известие, что русские войска идут на них из Эчмиадзина.

Аббас-Мирза не хотел совершенно отказаться от мысли так или иначе вредить отряду Красовского, и с этой целью начал действовать на его сообщения. Продолжая укреплять свой лагерь, он послал 25 августа две тысячи человек отборной конницы в Бомбакскую долину, чтобы помешать, пройти к Красовскому транспортам с провиантом, которые тогда должны были переходить Безобдал. Между тем в лагере оставалось продовольствия только на одну неделю, и потеря одного транспорта могла поставить русские войска в весьма бедственное положение. Красовский немедленно направил к Безобдалу форсированным маршем батальон Крымского полка, который 26 августа застал транспорт еще на месте, в Джелал-Оглы. Известие об этом не могло не встревожить Красовского, и 30 августа выступил другой батальон, теперь Севастопольского полка, при двух орудиях,

чтобы как можно скорее привезти в лагерь сухарей, — продовольствия оставалось в полках уже не более, как на три дня.

Приближение к Амамлам с одной стороны батальона Крымского полка, прикрывавшего транспорт, а с другой батальона севастопольцев, высланного Красовским, заставило неприятеля уйти из Бомбакской долины, и 3 сентября транспорт мог добраться до лагеря.

Уже накануне в отряде не было сухарей, и между приунывшими солдатами начинался говор, что не избежать-де им смерти от голода. Красовский лежал в то время больной, жестоко страдая от недавней контузии. С большим трудом он, однако же, встал с постели и отправился в лагерь Кабардинского полка, чтобы ободрить и успокоить солдат. “Вот что, братцы,— сказал он им,— прослужив более вас и проведя не один раз несколько дней без пищи, я узнал из опыта, что можно быть сытым и не евши”. Солдаты изумленно смотрели на него. Но Красовский приказал во всех ротах собрать песенников, распорядившись секретно, чтобы их не распускали до его приказания. И как только грянули разудалые русские песни, солдаты оживились и веселый говор пошел по всему бивуаку. Всю ночь, до белого света, гремели в лагере песни, плясали солдаты и пир шел горой. А рано поутру пришло известие, что транспорт идет и уже близко. Солдаты посмеивались и с любовью глядели на своего командира.

Неприятель выместил свои неудачи разбойничьими набегами там, где он не мог встретить серьезного сопротивления. Так, 2 сентября, сильная партия напала на табуны, пасшиеся возле Джелал-оглы, и отбила до семисот пятидесяти лошадей, быков и овец; прикрытие, захваченное врасплох, потеряло двенадцать человек убитыми и пленными. То же повторилось и 11 сентября, но только на этот раз персияне наткнулись на батальон Севастопольского полка, возвращавшийся в Джелал-Оглы из Гумров,— потеряли весь скот и понесли большую потерю.

Готовились между тем более крупные события. Аштаракский бой повел за собой совершенное изменение всего плана кампании.

XXIX. ПОД САРДАРЬ-АБАДОМ

Наступила вторая половина августа 1827 года, и армия Паскевича уже готовилась к походу на Тавриз, вглубь Персии. Вдруг в главную квартиру пришло известие, что Аббас-Мирза прошел с войсками в Эриванское ханство. Известие это было тем неожиданнее, что, не далее как за несколько дней перед тем, Паскевич имел, по-видимому, достовернейшие сведения из надежных источников о полной деморализации персидской армии, будто бы восставшей в Чорсе вместе с населением, арестовавшей самого Аббаса-Мирзу и разграбившей его имущество. Новые слухи и сведения, однако же, не менее заслуживали веры, исходя из тех же самых надежных источников. На основании их Паскевич и думал, что Аббас-Мирза вошел в Эриванское ханство лишь с некоторой частью своих войск, именно, с шестью батальонами пехоты и несколькими тысячами конницы. Силы Красовского, напротив, он считал гораздо значительнее, чем они были в действительности, ослабленные болезненностью, и был, притом, уверен, что Кабардинский полк, шедший из Грузии, уже успел присоединиться к нему с осадной артиллерией. Поэтому Паскевич не придавал серьезного значения движению Аббаса-Мирзы и с часу на час ожидал известий о его поражении. Между тем никаких известий от Красовского не было. Наконец, пришли донесения от 15 числа, но и из них Паскевич увидел только, что Аббас-Мирза обложил Эчмиадзин, а что Красовский еще стоит в Дженгули.

Паскевич был крайне недоволен таким положением дел. “Итак,— писал он в своем журнале,— генерал Красовский, вместо того, чтобы, сходно с данным ему наставлением, при первом появлении неприятеля идти вперед и разбить его, дожидался, чтобы оный перед ним сам атаковал Эчмиадзин и даже фланг коммуникационной линии его до Баш-Абарани. Сие заставляет меня предполагать, что положение Красовского было бы еще гораздо хуже, если бы я не снял блокады Эривани. Красовский, потеряв от болезней до половины людей, без сомнения принужден бы был снять оную, ибо не мог бы ничего предпринять с тремя тысячами человек, когда ныне с шестью тысячами действует лишь оборонительно, что я ему и поставил на вид”.

Истина, однако, скоро обнаружилась, и Паскевич узнал, что против Красовского стоял Аббас-Мирза со всеми своими силами, в то время как у того не было не только шести, но даже и трех тысяч, не говоря уже о том, что отряд ослаблен был к тому же целым батальоном, ушедшим в Гумры, с генералом Сипягиным. Последнее обстоятельство также раздражило Паскевича. “С сожалением увидел я,— говорит он в своем донесении государю,— что генерал-адъютант Сипягин так несвоевременно ослабил отряд Красовского, когда тому нужны все способы для решительного действия против Аббаса-Мирзы, ибо главное дело — разбить неприятеля, а защищать границу на всех ее пунктах — невозможно. Если неприятель разбит, то все покушения его кончатся сами собой, а если он победит, то и батальон будет истреблен; притом набег на пустую землю, какова Самхетия, не важен; а далее в больших силах он не осмелится проникнуть. Впрочем, лучше выдержать набег, чем, раздробляя свои войска, подвергать их опасности”.

Так или иначе, приходилось считаться с существующим фактом. В то время возникли три плана военных действий. Во-первых, Паскевич мог двинуться к Эривани по следам Аббаса-Мирзы и нанести ему поражение совокупными силами главной армии и отряда Красовского; во-вторых — идти прямо на Тавриз, где, как полагали, тогда находился шах; в-третьих — воспользоваться отсутствием Аббаса-Мирзы и действовать к стороне Баку или Хоя. В последних двух случаях Аббас-Мирза был бы вынужден поспешно оставить Эриванское ханство, чтобы воротиться для защиты своих земель. Но движение на Тавриз, прекрасно укрепленный и снабженный сильной артиллерией, требовало подготовки и могло состояться не раньше начала сентября, а между тем нужно было торопиться; притом у Паскевича было только на двадцать дней продовольствия, с которым, конечно, нельзя было углубляться внутрь вражеской страны, имея позади себя значительные силы неприятеля. Действие к стороне Хоя подвергало бы русскую армию возможности быть, как выражается Паскевич, “невольно завлеченной без определенного предварительного плана”, при том же невыгодном присутствии неприятельских сил в тылу. Таким образом, оставалось идти против Аббаса-Мирзы в Эриванское ханство, тем более, что в Петербурге уже ожидали войны с Турцией и считали взятие Эривани необходимым прежде всего, так как крепость эта была необходима для успешных действий в одно и то же время против Персии и Турции, в Азербайджане и в Карском пашалыке.

И вот, в то время, как обсуждались эти предположения, а Паскевич все еще склонялся на сторону немедленного похода к Тавризу, в главной квартире появилось известие об Аштаракском бое. Оно шло, однако, не от Красовского, а из частных источников, если и не возбуждавших недоверия, то во всяком случае способных исказить или преувеличить факты. От Эривани до Кара-Бабы считается около полутораста верст, и так как прямое сообщение с Эриванью было прервано персиянами, то естественно, что сведения, полученные об Аштаракском бое через армян, могли отличиться крайней неточностью. Достоверно было, однако, что Аббас-Мирза не отступил, и, стало быть, последствия боя были для русских неблагоприятны. А 27 августа Паскевич получил наконец и официальное донесение Красовского, нарисовавшее перед ним картину еще, быть может,

более мрачную, чем она была в действительности. Это известие и заставило, наконец Паскевича бросить все проекты и поспешно идти назад, к Эривани, на помощь Красовскому.

И в тот же день, 27 августа, полки Карабинерный, Грузинский и Ширванский уже выступили в поход из Кара-Бабы к Эчмиадзину. Кавалерия, стоявшая на траве в двух переходах от лагеря, не успела собраться и на целый день замедлила выступление самого Паскевича. Нижегородский полк явился в полном составе; но из уланской бригады, расстроенной болезнями и смертностью, пришлось образовать один сводный полк, а остальных людей отправить в Карабаг на отдых. Эта бригада, вместе со сводным гвардейским полком и двадцатью четырьмя орудиями, образовала второй эшелон, выступивший из Нахичевани 29 августа, под личным начальством самого Паскевича. На походе присоединились к нему еще Чугуевский уланский полк и казаки Карпова, шедшие из Карабага.

“С Божьей помощью,— писал Паскевич государю,— надеюсь на восьмой день прибыть отсюда к Эчмиадзину. Если бы Красовский имел достаточно продовольствия, то я не переменил бы плана кампании и пошел бы прямо на Тавриз. Но он пишет, что имеет хлеба только по 6 сентября, ровно до того дня, в который я могу приспеть к нему на помощь; в противном случае, он должен пробиваться и, может быть, потерять артиллерию”.

3 сентября отряд Паскевича уже был на Гарни-чае; в тот же день Аббас-Мирза, узнав о приближении русских, отступил за Араке и стал в укреплении Кара-Кала, в сорока пяти верстах от Сардарь-Абада. Войска, не встретив, таким образом, нигде неприятеля, прошли дальше, и 5 числа, в десять часов вечера, расположились уже у стен Эчмиадзина.

Несмотря на позднее время, архиепископ Нерсес встретил Паскевича со всей подобающей почестью. Но Паскевич обошелся с ним сухо; он считал его одним из главных виновников Аштаракского дела, и с этой минуты начинается явное нерасположение его к маститому представителю армянской церкви.

Еще с большей неприязнью встретил Паскевич Красовского, который 6 сентября, со всем отрядом и осадной артиллерией, прибыл под Эчмиадзин на соединение с главными силами. “На мой вопрос,— писал Паскевич об этом свидании,— о несчастном случае, который дал кампании столь невыгодный оборот, Красовский ответил мне, что он боялся, чтобы неприятель не разбил стен и не взял монастыря. Я посмотрел на стены и нашел, что сие опасение было напрасно, и что лучше позволить взять Эчмиадзин, чем рисковать судьбой войны для его спасения. Я предпочел бы потерять сей пункт, чем сделать то, что сделал Красовский”.

Красовский, со своей стороны, в своих неизданных записках так описывает свою встречу с Паскевичем.

“От меня,— говорит он,— никаких объяснений не принято, хотя я как единственной милости просил его о подчиненных, поистине заслуживавших примерного вознаграждения, и обращал его внимание на достойного сотрудника моего, архиепископа Нерсеса. На это было мне сказано: “Я отделаю господина архиепископа добрым порядком, чтобы он не смел вводить в ошибки там, где нет, моего присутствия”. Но этим не ограничился гнев, на меня обращенный. В Эчмиадзине не был пропущен ни один чиновник моего отряда, являвшийся к корпусному командиру, которому не было бы сказано с упреком: “Что вы мне наделали с вашим отрядным начальником!” Полковника Гилленшмита он даже спросил иронично: “Почему Красовский не употребил против

Аббаса-Мирзы осадной артиллерии?” Но и этого казалось ему недовольно, и расспросы продолжались несколько дней даже у солдат, бывших в моем отряде, о разных обстоятельствах сражения.

Таковые поступки могли уничтожить меня в глазах моих подчиненных, но я с душевным удовольствием видел, что ему не удалось поколебать со стороны их ни привязанности, ни доверия ко мне. Архиепископ Нерсес, при всей его скромности, не мог скрыть от меня, сколько он был огорчен самой обидной с ним встречей...”

Под Эчмиадзином Паскевич получил известие, что эриванский сардарь тайно бежал из крепости и укрылся на турецкой границе, покинув свои владения на произвол судьбы. Есть основание думать, что к этому решительному шагу его побудила только очевидная близость падения Эривани, далеко не удачный исход для персиян Аштаракского боя, быстрое прибытие главных сил Паскевича и поспешное отступление Аббаса-Мирзы за Араке — все говорило ясно, что Эривань долго держаться не может. После бегства сардаря, это звание принял на себя известный Гассан-хан, побужденный к тому, между прочим, опасением, чтобы жители, воспользовавшись отсутствием власти, не сдали бы крепости русским; по слухам, они были на это готовы. Гассан даже просил шаха переменить гарнизоны, и в Эривани, и в Сардарь-Абаде, коренными персиянами, так как он на азербайджанских сарбазов более не надеялся. Но Гассан-хан так же мало мог сделать для Эривани, как и прежний сардарь, и сами персияне были убеждены в близком ее падении. Все, естественно, думали, что из-под Эчмиадзина Паскевич двинется прямо под Эривань, с покорением которой можно было, уже не опасаясь за свой тыл, наступать дальше вглубь Персии. Но Паскевич решил прежде овладеть Сардарь-Абадом, так как эта небольшая крепость была важна по своему положению на пути к Эривани, и оставить ее в руках персиян, действительно, значило бы вести осадные работы под всегдашней угрозой нападения с фланга.

Намерение свое Паскевич хранил в величайшей тайне, и предосторожность была кстати, потому что кругом кишели персидские шпионы, и даже в самом русском лагере давно уже находился персидский курьер, привезший Паскевичу письмо от Аббаса-Мирзы и задержанный как лицо весьма подозрительное. Курьер этот встретил русские войска еще на пути к Эчмиадзину, и так как в письме, привезенном им, не было ничего, кроме обычных, весьма туманных рассуждений о мире, то Паскевич оставил его без ответа, а курьера приказал держать под строгим, хотя и благовидно устроенным арестом. Только по прибытии в Эчмиадзин он потребовал его к себе и, возвращая ему свободу, сказал: “Передайте от меня наследному принцу поклон и скажите, что я удивляюсь, что его высочество, имея в своей земле множество способов разведывать через лазутчиков о движениях наших войск, признал нужным еще отрядить шпионов и ко мне под видом Курьеров. Конечно, шах-заде сам бы назвал с моей стороны неосторожностью, если бы я не продержал их у себя несколько дней, покуда не объяснились мое и его движения. Теперь скрывать более нечего. Прошу извинения у принца, что так поступлено с его курьерами, но теперь они отпускаются. Что же касается письма, то передайте, что к тем предложениям, о которых я писал из Эчмиадзина, Аббас-Абада и Кара-Набы, более прибавить ничего не имею”...

И курьера под конвоем немедленно отправили из лагеря.

9 сентября русские войска выступили от Эчмиадзина двумя колоннами; главная, при которой находился сам Паскевич, перешла к Шагрияру и стала против крепости Сардарь-Абада, другая, под предводительством начальника корпусного штаба графа Сухтелена, незадолго перед тем прибывшего из Петербурга, пошла за Араке.

Отряд Сухтелена двигался быстро и скрытно. Уже были в виду горы, обозначавшие турецкую границу, а войска и сами не знали еще, куда и зачем их ведут. Но вот подошли наконец к местечку Кульпи, известному своими соляными каменоломнями, и овладели хлебными запасами, заготовленными здесь персиянами. Затем, присоединив к себе несколько десятков армянских семейств, желавших переселиться в русские пределы из опасения быть ограбленными курдами, колонна пошла назад и 12 сентября присоединилась к главным силам под Сардарь-Абадом. Быстрота и строго соблюденная тайна достигли вполне своих целей, и Аббас-Мирза, стоявший неподалеку со всеми своими силами, узнал о движении Сухтелена уже слишком поздно, чтобы помешать ему овладеть запасами.

В тот самый день, как Сухтелен воротился из своей экспедиции к Сардарь-Абаду, из Петербурга приехал фельдъегерь, привезший Паскевичу орденские знаки св. Владимира 1-й степени за покорение Аббас-Абада. Тотчас начались поздравления, и лагерь шумел разгулом до позднего вечера. К тому же, к отряду в этот день подошел еще батальон Кабардинского полка (другой оставлен был в Эчмиадзине) и были получены вполне достоверные известия, что Аббас-Мирза покинул Кара-Калы и со всеми силами отступил в Маку, оставив Сардарь-Абад и Эривань их собственной участи.

Крепость Сардарь-Абад, построенная эриванским ханом лет десять-двенадцать перед тем, стояла на обширной равнине, расстилавшейся от Эчмиадзина к стороне Алагеза. Двойные, высокие стены ее, расположенные правильным четырехугольником, с огромными башнями и воротами,— придавали ей вид весьма внушительный и требовали сил и искусства для овладения ею. Правда, двухтысячный гарнизон ее находился под командой внука Гассан-хана, молодого человека совершенно неопытного, и на это обстоятельство возлагались немалые надежды Паскевичем. Но надежды эти были, конечно, весьма призрачными, и, подходя к Сардарь-Абаду, Паскевич, действительно, узнал, что ночью пробрался туда и принял начальство над гарнизоном сам Гассан-хан. Известно было, что он старался воодушевить солдат воспоминанием об Эривани, которую он отстоял от русских в 1808 году, и взял с них клятву умереть на стенах крепости.

Энергичный вождь немало значил в деле защиты крепости, и Паскевич решил действовать с должной настойчивостью, но осторожно. Располагая теперь осадной артиллерией, прибытие которой ожидалось с часу на час, он хотел избежать штурма и покорить Сардарь-Абад правильной осадой. Начальником осадного корпуса назначен был генерал-лейтенант Красовский.

Красовский все еще недомогал от контузии, полученной в аштаракском бою. Тем не менее, 13 сентября, в бурную дождливую ночь, он сам выехал осмотреть крепость. В сопровождении обычного своего спутника, обер-аудитора Белова, сопровождавшего его всюду в самых опасных предприятиях, да двух донских казаков, взятых из полка Шамшева, Красовский бесстрашно углубился в сады, разросшиеся подле самых крепостных стен, подробно изучил расположение верков, определил пункты для батареи и решил, что осадные работы должны начаться на следующую же ночь.

Вечером 14 сентября, когда уже смерклось совершенно и кругом стояла мертвая тишина, два батальона карабинеров, две роты саперов, четыре орудия и целый полк казаков, лошади которых были навьючены турами и машинами, осторожно выступили из лагеря. Впереди ехал сам Красовский. Войска направлялись влево, к видневшемуся вдали возвышению, с тем, чтобы заложить на нем первую батарею; но едва рабочие успели занять свои места, как в крепости услышали шум; грянул пушечный выстрел, и началась перестрелка. Тем не менее батарея была поставлена; шесть батарейных и два легких

орудия заняли свои места в амбразурах, а два другие легкие орудия, под командой капитана Чернивецкого, остались в резерве на случай вылазки.

Красовский, превозмогая болезнь, всю ночь неотлучно пробыл при этих работах, сам руководя ими и подвергаясь ежеминутно опасности, одинаковой с последним из своих солдат.

С утра 15 числа началось бомбардирование города. Крепость отвечала. Но выстрелы ее почти не причиняли вреда осаждающим, которых заслонили густые сады, раскинувшиеся перед самыми крепостными верками. Персияне поздно заметили свою оплошность; они попытались было очистить эспланаду и вышли из крепости, чтобы вырубить сады,— но сделать этого им уже не позволили. Полковник Фридерикс, поставив роту карабинеров за бруствер в полной готовности к вылазке, приказал двум орудиям, бывшим в резерве, подъехал к садам и разогнал рабочих картечью. На полных рысях вынеслась вперед русская артиллерия. Персияне до того оторопели, что позволили орудиям сняться с передков у самого сада, и лишь тогда, когда картечь засвистела в кустах, крестя их по всем направлениям, открыли беспорядочный беглый огонь. Но картечь крушила всё, и выстрелы неприятеля скоро замолкли. Сквозь густую листву деревьев видны были только мелькавшие группы бегущих и бросающихся в ров сарбазов...

А в ночь трое рядовых, декабристы Пущин, Коновницын и Дорохов, с разрешения Паскевича, отправились еще раз осмотреть крепостные верки. Казачья сотня также вышла с ними из лагеря и скрытно расположилась в поле, готовая по первому выстрелу скакать к ним на помощь. Пущин, оставив между тем Коновницына и Дорохова в глубине садов, сам приблизился к крепости и высмотрел место для брешь-батареи. Погода была пасмурная, туманная, с мелким дождем; это, однако, не помешало ему хорошо изучить местность и даже трассировать батарею для ночных работ.

“Окончив поручение,— рассказывает он сам,— мы, совершенно мокрые, возвратились к Паскевичу. В палатке его я начертил осмотренную местность. Паскевич, чтобы отогреть нас, приказал подать шампанского и с ними, тремя солдатами, распил две бутылки”.

Утром 16 сентября в лагерь прибыла, наконец, осадная артиллерия. Весь день провозились с укладыванием пушек на станки и лафеты, а как только смерклось, весь гвардейский полк, батальон ширванцев, батальон крымцев и две роты саперов, с шестью орудиями, под начальством графа Сухтелена, без шума прошли сады и заложили за ними, по указанию Пущина, брешь-батарею. Еще ночь — и на этой батарее было уже установлено двадцать осадных орудий; особая батарейка для четырех мортир выдвинута была еще вперед и приготовилась действовать по крепости навесными выстрелами.

И вот, с рассветом 18 сентября, загрохотала осадная артиллерия. Персияне услыхали впервые залпы этих громадных чудовищ, от рева которых тряслась земля, сыпались верхушки башен в глубокий ров, и крепость представлялась окутанной дымом. Непрочные азиатские строения с шумом и рокотом рушились, хороня под развалинами своими несчастных жителей, искавших в них убежища. Особенное впечатление производила бомбардировка ночью, когда на темном небе зловещими огненными точками вспыхивали гранаты и бомбы, вносившие смерть и опустошение в самые дома обывателей.

Крепостные орудия мало-помалу замолкали, и лишь одна левая башня косвенными выстрелами еще удачно разбивала амбразуры русских батарей и мешала стрельбе. Против этой башни поставили ночью четыре орудия, под командой капитана Чернивецкого, перед

тем отвлекавшего неустанной стрельбой внимание неприятеля от осадных работ, приблизившихся к крепостной стене уже на восемьдесят саженей. Когда стало светать, Чернивецкий разглядел дуло, торчавшее из амбразуры той башни, которая весь день боролась одна со всей брешь-батареей, и приказал навести на него все четыре орудия. Грянул залп,— персидская пушка рухнула.

19 числа осадная артиллерия гремела беспрерывно. Неприятельские орудия, одно за другим, были окончательно сбиты. Средняя четырехугольная башня, возвышавшаяся над крепостными воротами, рухнула; куртина возле нее вполовину обвалилась и близка была к совершенному падению; в стенах повсюду образовались огромные проломы, и ядра, пронизывая город, опустошали целые улицы. Легкие орудия, всего в восьмидесяти саженях, обстреливали другие башни и зубцы стен так успешно, что скоро ни один неприятельский солдат не смел на них показаться. Возможность дальнейшей защиты была очевидна. И вот, 19 сентября, в пять часов пополудни, над крепостью развилось белое знамя. Явился парламентер с письмом от Гассана, в котором славный наездник просил перемирия на три дня и дозволения гарнизону отступить с оружием в руках.

“Скажи Гассан-хану,— отвечал Паскевич парламентеру,— что если он не сдастся в двадцать четыре часа безусловно, то будет со всем своим гарнизоном на штыках моих гренадеров”.

Русские батареи участили огонь. Часу в восьмом вечера в траншеях случилось одно в сущности незначительное обстоятельство, внесшее, однако, на момент смятение в ряды осаждавших, но в то же время и послужившее поводом к развязке осады крепости. Дело в том, что палительная трубка осадного единорога, необычайно далеко отброшенная при одном выстреле, упала в пороховой погребок, помещавшийся в самой траншее, и произвела страшный взрыв. Погребок взлетел на воздух, похоронив под развалинами своими трех офицеров и двух рядовых. Густой столб черного дыма закутал траншеи; поднялась суматоха... А Гассан-хан ловко воспользовался этим моментом и со всем гарнизоном бежал из крепости, в то время как в русском лагере об этом и не догадывались. В полуразрушенной траншее восстановили порядок, и вновь началась пальба, когда в ней уже не представлялось ни малейшей надобности, а нужно было только идти в крепость с одной стороны и преследовать Гассан-хана — с другой.

Хватились, однако, еще не слишком поздно, чему помог кто-то из жителей города, старавшийся дать знать о бегстве Гассан-хана криком с крепостной стены, с очевидной для себя опасностью от русских выстрелов.

Чернивецкий рассказывает в своих записках, что он сидел в траншее с генералом Трузсоном и мирно беседовал о бесполезности конгревовых ракет, как вдруг со стен крепости кто-то закричал весьма явственно: “Солдат иди! Сардарь бежал!” Все вскочили с места. И в лагере уже шла тревога. Конница поскакала в преследование, два батальона, ширванский и карабинерный, бегом прошли за ней на Эриванскую дорогу. Кто-то прискакал в траншею с приказанием, чтобы и Чернивецкий с двумя орудиями как можно поспешнее присоединился к пехоте. Но пока орудия запрягали, колонна уже скрылась из виду, и Чернивецкому пришлось догонять ее марш-маршем. Проезжая мимо крепости, он видел массы армян, распевавших на улицах свои молитвы,— верный знак, что в крепости не оставалось уже ни одного персидского сарбаза. Сначала орудия шли как будто по настоящей дороге. На каждом шагу встречались разбросанные трупы персиян; в некоторых замечались еще признаки жизни, и около них увивались сотни грузин и татар, мародерничавших по полю. Но чем дальше, тем трупов попадалось меньше, и скоро исчезли даже признаки движения войска. Проводник попался на плохой лошаденке и не

успевал скакать за орудиями, а ночь была мрачная, темная, положиться на собственное знание местности было нельзя. Отряда между тем нигде не было видно. Чернивецкий приказал наконец остановиться и стал вслушиваться... Гул скачущей колонны и крики, едва доносившиеся издали, ясно указывали, что кавалерия настигла неприятеля и рубит его, влево около горы; но это было очень далеко, и прийти туда ранее утра было невозможно.

Скоро оказалось, что проводник сбился с дороги; кругом была местность незнакомая. Попадались канавы, рытвины, можно было ежеминутно наткнуться на какую-нибудь блуждавшую шайку рассеявшихся персиян, а прикрытия никакого, и ночь — зги не видно. Была одна очень опасная минута. В темноте внезапно показалась какая-то конная толпа, двигавшаяся прямо на орудия. Один Линейный казак, случайно присоединившийся к батарее Чернивецкого, выехал к ней навстречу. Но было очень темно, и разобрать русские ли это или персияне — было нельзя. Линеец остановился и окликнул издали: “Кто едет?” Ему отвечали: “Казаки!” Выговор, однако был не казацкий. “Казаки, стой! Какого полка?” — продолжал допрашивать линеец. Молчание. Он повторил вопрос. “Казачьих полков!” — вдруг резко крикнул кто-то. Линеец повернул коня и поскакал назад.

“Ваше благородие, это кизильбаши; их человек сорок, они уж выдернули шашки”.

К счастью, ни Чернивецкий, ни его солдаты не растерялись. Они стали кричать “Ура! В ружье, казаков сюда!” Персияне остановились и стали всматриваться. Одно орудие между тем снялось с передков, и вдруг, в непроглядном мраке, грянул выстрел. Ядро просвистало в воздухе,— и персияне моментально исчезли.

На гул пушечного выстрела между тем прискакала целая сотня казаков. Оказалось, что пехота находилась отсюда всего в двух-трех верстах и, слыша выстрел, послала их узнать, в чем дело. Казаки провели орудия к тому отряду, к которому они шли.

А между тем, пока Чернивецкий блуждал по полям, в русском стане происходило следующее.

Едва раздался крик “сардарь бежал”, как карабинерный полк, занимавший в тот день траншеи, быстро двинулся к крепости. Первая карабинерная рота, капитана Золотарева, имея во главе генерал-майора Остен-Сакена и командира полка Фридерикса, смело прошла через ров и, поднявшись на бруствер, вступила в город. Тут она убедилась, что гарнизона в нем уже действительно не было. Из главного лагеря между тем также посланы были войска, чтобы преследовать сардаря. Пехота шла напрямик, по полям, усеянным на всем протяжении огромными каменьями; конница скакала в обход, стараясь захватить в свои руки дороги к Эривани, к Тавризу и к турецкой границе. Несмотря на темную ночь, нижегородцы, с полковником Раевским, первые настигли бегущих. К ним скоро подоспел Чугуевский уланский полк и затем казаки. Вся конница, под начальством генералов Бенкендорфа, Розена и Шабельского, ударила на колонну, при которой находился и сам Гассан-хан. Что произошло затем в ночной темноте, когда противники, сталкивавшиеся грудь с грудью, не отличая своих от чужих, рубились наобум, описать невозможно. С рассветом русская конница насчитывала до пятисот изрубленных персидских тел и возвратилась в лагерь с двумястами пятьюдесятью пленными. Сам Гассан-хан, однако, успел скрыться, и жители видели его потом блуждающего с сотней всадников в безводном ущелье, вблизи турецкой границы.

Паскевич с главными силами вступил в крепость утром 20 сентября, встреченный армянским духовенством и населением. В крепости взято было тринадцать орудий,

большие запасы хлеба, которые были очень кстати для войск, нуждавшихся в провианте, и было освобождено множество русских пленных. Во время осады все они были заперты в крепостной магазин, на крышу которого то и дело падали бомбы и ядра, ежеминутно угрожая смертью заключенным.

Замечательно, однако, что ни одному из них русские выстрелы не нанесли ни малейшего вреда. Когда крепость была занята, пленные немедленно получили свободу. Среди них были и армяне, и грузины, и немцы из разбитой персиянами Екатеринфельдской колонии, и молодые женщины и девушки. В числе других был освобожден тогда четырнадцатилетний мальчик, Спиридон Эсадзе, впоследствии замечательный генерал корпуса жандармов, умерший в 1875 году в Кутаиси. Радость освобожденных понятна вполне только тому, кто испытал всю тяжесть неволи и плена на жестокосердом Востоке. Потери русских были ничтожны.

Сардарь-Абад пал. Дорога к Эривани лежала перед Паскевичем открытой.

XXX. ПОКОРЕНИЕ ЭРИВАНИ

После падения Сардарь-Абада настала очередь Эривани. Обстоятельства войны к осени 1827 года так изменились, что в Петербурге и лично у государя составилось основательное убеждение, что в покорении не Тавриза, а именно Эривани, лежал в тот момент ключ к дальнейшим успехам. Вот что писал граф Акссельроде Паскевичу на его представления по этому поводу: “...Его величество полагает, что действия к Тавризу могли быть предприняты без предварительного занятия Эривани в весенней кампании, как предполагалось; но при нынешних же обстоятельствах каждое движение к Тавризу должно быть последствием овладения Эриванью”.

Действительно, политические дела в Европе складывались тогда так, что вероятность войны России с Турцией росла с каждым днем. А случись эта война, Кавказскому корпусу предстояли бы одновременные действия в Азербайджане и Карском пашалыке; тогда Эривань и Аббас-Абад должны были бы служить осью для военных операций его, и в обеих этих крепостях необходимо было собрать значительные запасы провианта и фуража, чтобы не испытывать затруднений в движениях слишком большими подвижными магазинами.

В то же время, оставить в блокаде Эривань и идти в Тавриз — значило растянуть операционную линию на огромное расстояние и, в случае неудачи главных ли сил под Тавризом или осадного корпуса под Эриванью, очутиться в трудном и даже опасном положении. Неприятель, действуя на пространстве между Тавризом и Эриванью, мог перерезать коммуникацию и этим вынудить русских отступать не по операционной линии, а к стороне Карабага, куда-нибудь на Мигри, Асландуз или Худоперинский мост. Тогда Нахичевань легко попала бы в руки неприятеля и все плоды целой кампании были бы потеряны. И если такой исход был маловероятен при войне России только с одной Персией, то в случае столкновения с Турцией, которая отвлекла бы большую часть русских сил от театра персидской войны, он представлялся вполне естественным. Все эти доводы были выражены Паскевичу в том предписании, о котором сказано выше, и, таким образом, действия прежде всего против Эривани были предрешены мнением самого государя, хотя мнение это и не было поставлено для Паскевича обязательным.

Взятие Эривани было, впрочем, в тот момент предприятием, уже далеко не представлявшим первоначальных. трудностей. Еще недавно лучший оплот персидского государства, крепость эта уже не обладала той нравственной силой, без которой

бесполезны всякие укрепления. По-прежнему стояла она на крутом утесистом берегу быстрой Занги, по-прежнему ее высокие, гордые твердыни, ее бастионы и башни грозно смотрели из-за глубоких, наполненных водой рвов, недоступных для эскалады; но за крепкими стенами уже давно исчез воинственный дух, и мирные жители; населявшие город, с их вечной заботой о насущном хлебе, представляли собой плохое ручательство за упорное сопротивление. Паскевич знал о нравственной слабости Эривани, и еще из-под Сардарь-Абада писал государю: “Конечно, Эрйвань не продержится более нескольких суток”.

Торопясь овладеть этим важным пунктом до начала ненастной осенней погоды, Паскевич 22 сентября уже был со своей армией в Эчмиадзине, а на следующий день весь корпус его двинулся к Эривани и стал на берегу Занги, в двух верстах от города. Нужно сказать, известие о падении Сардарь-Абада окончательно поколебало мужество и эриванского гарнизона, и, вероятно, он решился бы немедленно сдаться без боя. Но когда Паскевич подошел к крепости, в ней уже был все тот же неутомимый Гассан-хан, как-то успевший пробраться в нее с турецкой границы,— и мужество жителей и гарнизона было поднято.

Между тем Паскевичу приходилось вновь считаться с обычным злом, сопровождавшим русских во все продолжение персидской кампании, со страшной болезненностью в войсках. Несмотря на сравнительно благоприятное время года, она вновь сильно развилась в армии. В старом, ермоловском войске было еще значительно меньше больных, и оно смотрело гораздо бодрее, несмотря на то, что на него легли всей тяжестью осадные работы под Аббас-Абадом и Сардарь-Абадом, Джеванбулакский бой и громадные переходы, сделанные под Нахичевань и обратно форсированным маршем. Паскевич опытным глазом видел это и круто изменил свое обращение с кавказскими войсками: “он снял с них опалу”, как выражается один современник,— сделался с ними ласков и приветлив. Но полки, пришедшие из России, страдали ужасно. Замечательно, однако, что легче всех, легче даже коренных кавказских войск, переносил труды похода сводный гвардейский полк. И в то время, как в кавказских полках число больных доходило до восьмисот человек и батальоны выводили в строй по пятьсот-шестьсот штыков, гвардейский полк никогда не имел больных более трехсот человек,— остальные девятьсот были всегда под ружьем. “И под знойным климатом,— писал о них Паскевич великому князю Михаилу Павловичу,— незаметно, что они пришельцы из климата полярного”.

Но возникшие препятствия могли только поселять желание поскорее покончить с крепостью, и Паскевич энергично принялся за дело. После основательной рекогносцировки, 24 сентября, был собран военный совет и решено вести атаку на крепость с ее юго-восточного угла. “Как долго может продолжиться осада?” — спросил Паскевич у Пущина, ставшего тогда уже совершенно необходимым для него. “В Покров день покроем и крепость”,— ответил Пущин.

В ночь на 25 число, еще до начала осадных работ, брошено было в город несколько пробных бомб из-за кургана Муханатдтапа. Утром войска заняли восточный форштадт, и в садах его закипела работа. Полки Кабардинский и тридцать девятый егерский, батальоны Севастопольского и Крымского полков — дружно принялись готовить туры и фашины. И в ночь на 26 число уже устроена была таким образом первая демонтир-батарея на шесть тяжелых орудий, всего в трехстах саженях от восточной стены, на высоком Георгиевском холме, с которого видна почти вся внутренность крепости. Правее ее, в полутораста шагах, за уцелевшим строением форштадта, в садах, прикрытая высокой и твёрдой стеной расположилась другая батарейка на четыре двухпудовые мортиры.

С утра началась канонада. Не успели сделать трех выстрелов с русской демонтир-батареи, как по всей восточной стене Эривани, над пятью огромными башнями ее заклубились облака порохового дыма, и над головами артиллеристов загудели персидские ядра. Неприятель отвечал энергично, но скоро должен был уступить превосходству русской артиллерии; один из первых же снарядов ее попал в главную мечеть и пробил великолепный купол, сделанный с неподражаемым искусством из глазированных синих кирпичей, другой — пробил стену сардарьского дворца и повредил шахский портрет. На суеверных персиян это обстоятельство произвело чрезвычайно дурное впечатление; сам Гассан-хан покинул пышный дворец и переселился в тесную каморку крепостного каземата. Перед закатом солнца тяжелые орудия прекратили пальбу, но соседка, мортирная батарея, продолжала стрелять всю ночь, и бомбы ее, рисуясь высоко в воздухе, яркими метеорами падали и падали в крепость.

Между тем, едва только смерклось, две тысячи рабочих, с ломами, кирками и лопатами, рассыпавшись по обе стороны северо-восточного угла, в ста девяти саженях от рва, начали рыть траншею. Ночи стояли лунные; но на этот раз темные облака заволокли все небо и покровительствовали осаждающим. Когда полный месяц вышел наконец из-за туч и осветил местность,— неприятель открыл жестокий огонь по работавшим. Но молча продолжали свое дело солдаты; молча, с ружьем у ноги, стоял гвардейский батальон, прикрывавший их, ни одним выстрелом не отвечая неприятелю. “И в течение всей осады,— говорит Паскевич,— это хладнокровие в русском войске осталось неизменным”. К утру вся параллель, огибающая юго-восточный угол Эривани, была окончена, а на ее левом фланге появилась другая демонтир-батарея, вооруженная также шестью тяжелыми орудиями и двумя двухпудовыми мортирами.

Теперь, весь день 27 числа, крепость громили уже восемнадцать орудий с двух батарей. Несмотря на то, в урочный час, по захождении солнца, слышно было, как в Эривани на трубах и барабанах играли вечернюю английскую зорю; видно было, как крепостной гарнизон принялся исправлять повреждения, наделанные в стенах русскими снарядами, и затем все затихло в крепости,— не спали только одни часовые, густой цепью расставленные по крепостной стене; их протяжный оклик: “Сар-бас!” — не умолкал до самого света.

Русские работы в эту самую ночь быстро подвигались вперед, и час падения Эривани близился. 28 числа по крепости действовали уже четырнадцать осадных орудий. Это была брешь-батарея, расположенная на правом фланге траншей, всего в расстоянии сто пятьдесят саженей от стены. Со стен Эривани неумолимо также гремел артиллерийский огонь, но к нему в русском лагере относились совершенно равнодушно, он был безвреден. Только раз как-то одна из неприятельских бомб, случайно залетевшая в лагерь, угодила в самый котел, где варилась солдатская каша,— и в нем лопнула. И котел, и каша разбросаны были на далекое расстояние: батальон егерей лишился скромного обеда, но этим все и кончилось,— ни убитых, ни раненых не было.

А крепость испытывала между тем все ужасы бомбардирования. Весь день и всю ночь рев русской артиллерии потрясал эриванские стены, то и дело затмевавшиеся густыми облаками собственной пыли; с треском и гулом, большими каменными глыбами валились обломки на дно крепостного рва, засыпая его; амбразуры были разрушены, орудия подбиты. Огонь с крепости слабел час от часу. Восемнадцать тысяч жителей, из которых большинство было армян, согнанных насильно в крепость, просили Гассана о сдаче. Просьбы их были напрасны; угрюмый хан угрозами сдерживал их ропот. Тем не менее уныние само, незваное шло в крепость, подрывая ее последние нравственные силы. Вечером 28 сентября там не звучала уже английская зоря, и только слышались унылые

монотонные окрики часовых. С этой ночи, для предупреждения такого же прорыва неприятельского гарнизона, какой случился в Сардарь-Абаде, Паскевич приказал занять северный форштадт батальоном пехоты, дивизионом улан и казачьими полками с четырьмя конными орудиями, а на другом берегу Занги составлен был особый отряд из Нижегородского драгунского и двух казачьих полков с четырьмя орудиями, под начальством генерал-майора Шабельского. С этого же дня Паскевич приказал прикомандировать в траншеи, на все время, бессменно, всех офицеров, сосланных на службу в кавказский корпус для наказания, и всех разжалованных из офицеров, чтобы дать им случай отличиться при очевидно близком взятии крепости и заслужить прощение. А в крепости ожидали приступа.

29 числа с раннего утра опять загремела брешь-батарея, и к полудню, под ее жестоким огнем, рухнула восточная угловая башня Эриванской стены, вместе со смежной с ней куртиной. Теперь оставалось только взорвать контр-эскарп, и тогда, заваля им ров, можно бы было уже без помощи штурмовых лестниц, по разрушенным стенам, идти прямо в крепость. Потребовалось, однако же, добыть более точные сведения о глубине и ширине крепостного рва. Между офицерами бросили жребий, и честь исполнить это важное предприятие досталось на долю А. Ф. Багговута, тогда подпоручика лейб-гвардии Московского полка: а впоследствии известного кавалерийского генерала, героя Баш-Кадык-Лара и Кюрюк-Дара. В сопровождении двух солдат под огнем неприятеля он исполнил опасное поручение и, измерив лотом и ширину и глубину рва, возвратился назад только с одним солдатом,— другой был убит во рву наповал осколком бомбы. Паскевич тут же пожаловал Багговуту орден св. Владимира 4-ой степени с бантом.

Нужно сказать, что, щадя осажденных и сознавая, насколько выгоден каждый час более раннего покорения Эривани, Паскевич послал предложение Гассан-хану сдать крепость, под тем условием, что ему, со всем гарнизоном, предоставлен будет свободный выход. Шесть часов давалось ему на размышление. Гассан-хан не отвечал ни слова. Но когда 30 числа утром на Ираклиевой горе поставили новую шестиорудийную батарею, а затем осадные работы довели до третьей параллели, из Эривани, около полудня, приехал парламентер. Гассан-хан соглашался сдаться, но только просил позволения предварительно узнать волю Аббаса-Мирзы, стоявшего верстах в семидесяти, около Хоя. “Без посылки к Аббасу-Мирзе сдаться сейчас же,— отвечал Паскевич,— иначе Гассан узнает силу русских штыков”. Парламентер уехал и более не возвращался. Суровые меры стали неизбежны, несмотря на присутствие в городе христиан-армян.

Когда третья параллель была уже заложена, Пущина позвали к Паскевичу. Он нашел его на брешь-батарее, раздраженно говорившего с инженерным генералом Труз-соном. Увидев Пущина, Паскевич обратился к нему: “Можно ли сегодня ночью короновать гласис?”— “Почему же нельзя, если вы желаете; стоит только дать приказание”,— ответил Пущин. Трузсон на это возразил: “Любопытно видеть, как вы это приведете в исполнение?” — “Он вам покажет, как!” — сказал Паскевич и приказал Пущину сделать все приготовления.

“Трузсон,— рассказывает Пущин,— известный инженер-техник и теоретик, инженер-методист, ни за что не расставался с теорией искусства, которая не допускает коронования гласиса из третьей параллели без приближения к крепости двойной силой, прикрываясь траверзами и мантелетами. Но он упустил из виду, что мы имеем дело с неприятелем, который шесть дней к ряду не делал ни одной вылазки и не препятствовал нашим работам”.

И Пущин приказал подвигаться вперед не тихой, а летучей сапой. Между тем огонь русских батарей был усилен, и гром их смолк только перед вечером, когда Паскевич приказал отправить две тысячи рабочих, чтобы дойти летучей сапой непременно до самого гласиса. Луна, показавшаяся с вечера, теперь закрыта была облаками, и это много способствовало успеху работы. В то время, как солдаты работали, Паскевич стоял на батарее, облокотясь на медную пушку, и смотрел на восток, тревожно следя глазами за набегавшими тучами. Но темные облака задернули все небо и закрывали наших рабочих. Около полуночи, когда летучая сапа подведена была к крепости уже так близко, что можно было приступить к венчанию гласиса, вдруг стены Эривани осветились яркими подсветами, так что не только наши рабочие, но и батарея стали видны как днем, и в тот же момент с крепостных стен открыт был адский пушечный и ружейный огонь. В траншеях ударили отбой. Сводный гвардейский полк, прикрывавший рабочих, стал отходить назад; но Пущин не хотел повиноваться отбою и продолжал работы. Тогда Паскевич послал к нему Багговута с приказанием немедленно отступать. Пущин явился сам и умолял Паскевича не отрывать рабочих, ручаясь головой, что завтра крепость будет взята. “В траншеях много выбито людей”, — возразил ему Паскевич.— “Прикажите людям не показываться из траншей и плацдармов, и потери не будет”, — отвечал Пущин. Паскевич наконец согласился; убедившись в безопасности рабочих, он сел на лошадь и уехал в лагерь.

Между тем позаботились и о том, чтобы заставить замолчать неприятельскую артиллерию, и по освещенным стенам крепости открылась сильная канонада со всех русских батарей. Сорок орудий принялись громить крепость. В эту ночь, о которой с неописанным ужасом долго вспоминали эриванские старожилы, огонь русских батарей продолжался до белого света. Одних бомб брошено было в город более тысячи. Пламя от них и зарево пожаров освещало картину страшного разрушения. Крепость гибла под своими развалинами. Через час она должна была замолчать, скрыть яркие свои огни и спрятаться во мраке темной ночи.

Часа за два от открытия этой страшной канонады, Гассан-хан с некоторыми приближенными к нему чиновниками сделал попытку бежать из крепости. Часть гарнизона вышла и стала приближаться к северному форштадту, стараясь обойти его стороной, чтобы переправиться через Зангу. В этот день северный форштадт занимали две роты тридцать девятого егерского полка, а за ними, на высотах, прилегавших к Занге, были расположены два казачьих полка (Андреева и Сергеева), под общей командой подполковника Красовского, и весь Чугуевский уланский полк, под командой подполковника Ивлича. Наткнувшись на егерей, неприятель поспешно возвратился в крепость. Только одна конная партия, человек в шестьдесят, смело ударила на стрелков и прорвала цепь; но в тылу их она неожиданно встретилась с уланами и казаками. Тогда, окончательно расстроенные, персияне бросились назад, преследуемые и истребляемые. Впоследствии оказалось, что в этой партии и был сам Гассан-хан.

Когда он вернулся в крепость, она вся стояла в огне: ни одно строение не уцелело от разрушительного действия русских снарядов, ни плоские кровли домов, ни купола мечетей,— и многие жители погибли под развалинами своих домов. Смятение в городе было ужасно: женщины и дети с воплем бегали по узким улицам, стараясь укрыться от носившейся за ними смерти... Наконец огромная толпа жителей бросилась к Гассан-хану с требованием, чтобы он сдался. Гассан отвечал им бранью и проклятиями.

Так прошла страшная для Эривани ночь. Наступило утро 1 октября, и жители с ужасом увидели, что русские туры стояли уже на краю самого рва. Отчаяние овладело всеми. Не зная, куда укрыться от летевших снарядов, народ бросился на башни и валы: одни,

становясь на колени, махали белыми платками и кричали, что они сдаются; другие спускались в ров и, под градом пуль, перебегали в русские траншеи.

В один из таких моментов, когда жители толпой выставляли на крепостной стене белый платок и махали шапками, полковники Гурко и Шепелев, бывшие в траншеях, с шестью ротами гвардейского полка бросились, по распоряжению дежурного в траншее, генерала Лаптева, через брешь и быстро и решительно заняли юго-восточную башню под огнем неприятеля, еще стрелявшего с южной стороны. В то же время сам генерал Лаптев, с остальными гвардейскими ротами и рабочими от Севастопольского и тридцать девятого егерского полков, подошел к северным воротам, чтобы не дать никому выйти из крепости. Туда же скоро подоспел и генерал Красовский с частью своего отряда. Гордо стояли солдаты над рвом, облокотившись на опущенные к ноге ружья, еще не остывшие от последней перестрелки, и хладнокровно ожидали, пока растворят перед ними ворота, заваленные каменьями и засыпанные землей.. Чтобы ускорить этот момент, Красовский перешел через ров и стал возле самых ворот, сопровождаемый генерал-адъютантом графом Сухтеленом, генерал-майором Лаптевым, двумя адъютантами и опять обер-аудитором Беловым. Огромные, окованные железом ворота были еще заперты; за ними слышался шум, похожий на спор многих голосов. Красовский приказал Белову, хорошо владевшему татарским языком, сказать, чтобы ворота сию же минуту были растворены. Но едва Белов передал приказание генерала,. как из крепости грянул выстрел,— большая медная фальконетная пуля раздробила ему череп. Белов пал мертвый, и выбитый мозг его обрызгал стоявшего рядом Красовского. Но это была уже последняя пуля, пущенная из Эривани, последний выстрел, направленный рукой самого Гассан-хана... Через минуту ворота распахнулись,— и русские войска вошли в крепость. Предполагают, что упорный защитник Эривани намеревался в последний момент взорвать крепость, и с этой целью уже вложил в пороховую башню горящий фитиль. К счастью, поручик лейб-гвардии финляндского полка Лемякин вовремя заметил опасность и, бросившись в погреб, выхватил руками горящий фитиль. Гарнизон положил оружие. Но Гассан-хан, с горстью своих приверженцев, заперся в мечети.

Честь взятия в плен Гассан-хана приписывается обыкновенно графу Сухтелену. Так ставят, дело, по крайней мере, все печатные источники. Но генерал Красовский в своих посмертных записках говорит иначе, и в справедливости его слов едва ли можно сомневаться. Вот что рассказывает он. Когда он вошел с войском в крепость, на вопрос его, обращенный к одному из пленных: где Гассан-хан? — тот вызвался быть провожатым и указал большую мечеть, стоявшую близ ханского дома. Красовский тотчас приказал встретившимся ему двум ротам сводного гвардейского полка следовать за собой и, окружив мечеть, заставил неприятеля угрозой штурма прекратить перестрелку. Затем он один, с небольшой свитой, вошел в мечеть, где находилось больше двухсот персиян,— и этому присутствию духа и отважной решимости его русские только и обязаны тем, что взятие в плен сардаря, известного неукротимым и бешеным характером, обошлось спокойно и без пролития крови. “Оружие с него снято было моими руками,— говорит Красовский,— и тут же передано моему адъютанту барону Врангелю, а тот уже, по моему приказанию, передал его бывшему при Сухтелене свитскому офицеру Чевкину для доставления корпусному командиру. Каким же образом очутилось в донесении, что граф Сухтелен, отыскав Гассан-хана, снял с него оружие,— сего, конечно, литераторы ваши не разгадают...”

Вместе с Гассаном взяты в плен шесть значительных ханов; но коменданта Эривани, Суван-Кули-хана, нигде отыскать не могли. Позже его нашел поручик гвардейского генерального штаба Чевкин (впоследствии министр) спрятавшимся в подземелье; он был

переодет, надолго запасся провизией и в своем подземелье выжидал удобного случая для бегства.

Покорившись участи пленника, отважный Гассан-хан жаловался Красовскому на потерю драгоценного меча, который он потерял накануне, во время несчастной попытки бежать из крепости. Спускаясь по веревкам с высокой стены, он выронил его из ножен и, не разыскав его в суматохе, в бешенстве разбил богатые ножны о камень. Драгоценный меч представлял собой большую историческую важность. Он, по преданию, некогда принадлежал Тамерлану и был неразлучным спутником в его походах по Востоку и в битвах с турецким султаном Баязидом-Молнией. От Тамерлана меч перешел к одному из предков царствовавшей в Персии династии Софиев и долго служил украшением сокровищницы персидских государей. Когда Гассан-хан, в двадцатых годах, прославил себя победами над турками, шах прислал ему фирман, разрешая милостиво просить награду, какую он пожелает. Хан просил пожаловать ему тамерланский меч и титул “Сер-Арслана”, то есть главы или предводителя львов. Шах исполнил и то и другое. Очевидно, потеря меча, столь знаменитого в Персии, не могла не огорчать Гассана. Красовский принял горячее участие во всем этом деле, и при содействии Джафара-хана Айрюкского меч был найден у одного татарина, который тщательно скрывал драгоценность, рассчитывая обогатиться продажей ее. Татарин получил награду, а знаменитый меч, по желанию Гассан-хана, отправлен был Красовским в дар императору Николаю Павловичу.

“К стопам Вашего Императорского Величества повергаю меч Великого Тамерлана, добытый мной в стенах Эривани,— писал Красовский государю.— Кому, если не Государю моему и благодетелю, принесу я в дар меч сей, украшавший сокровищницу шахов Персидских? Некогда, в могучей деснице Тамерлана, он покорил Восток и попрал гордость турок, в лице их султана, Баязида-Молнии; ныне же, в благословенных руках Вашего Величества, да повторит он светлый удар Тамерлана, сокрушив врагов веры и человечества”.

К сожалению, большой драгоценный камень, украшавший рукоять меча, пропал бесследно и был заменен золотым наконечником.

Впоследствии, когда Гассан-хану объявили, что он должен готовиться к отъезду в Петербург, он принял это известие с видимым удовольствием. “Я знал,— проговорил он с важностью,— что великому русскому императору угодно будет увидеть старого заслуженного воина, которого имя доныне с ужасом произносится турками”...

“Я не страшусь предстать перед лицом великого монарха,— говорил он Красовскому,— он великодушен и простит мне, что я верно служил моему государю”.

Узнав, однако, о том, что вместе с ним должен отправиться и Измаил-хан, взятый в плен Бенкендорфом еще при Карасу-Баши, в начале кампании, Гассан заявил, что ему как персидскому сардарю неприлично ехать вместе с обыкновенным ханом, и просил отправить его одного. Паскевич уважил его просьбу. Политические обстоятельства помешали, однако, прибытию его в Петербург, и он был задержан на пути, в Екатериноградe, на Тереке.

Когда Эривань уже сдалась, в главном лагере еще ничего об этом на знали. Князь Голицын, посланный Красовским с донесением, упал на скаку с лошади и, жестоко разбившись о камни, привезен был в лагерь без чувств. “Паскевич,— говорит Пущин, — узнал о взятии Эривани только тогда, когда, по примеру гвардейского полка, все прочие войска стали производить сильный грабеж”...

Беспорядки продолжались, однако, весьма недолго; через два часа в городе повсюду стали русские караулы, и в нем водворилось полнейшее спокойствие и безопасность. Жители почти непосредственно затем стали возвращаться в свои деревни, в сознании, что наступило время не силы, а права и справедливости. Купцы стали приезжать из турецких земель. Официальное донесение рассказывает, что несколько таких купцов встретили одного славившегося буйством хана,— и хотели бежать от него. “Не бойтесь,— сказал он им,— все теперь спокойно, Эривань взята, и я уже подданный императора”. Так сказалось в крае пришествие русского владычества.

Но Эривани предстояло еще долго быть в положении безотрадном. Вид города был ужасен. “Доехав до юго-восточного угла крепости,— говорит один очевидец,— я удивился разрушению стен и башен. Мне кажется, что всемогущее время в четыре века не могло бы сделать того, что в четыре дня сделала осадная артиллерия”.

Победителям досталось в крепости сорок девять орудий, пятьдесят фальконетов и четыре знамени. В плен взято около четырех тысяч сарбазов. Потери русских сравнительно были ничтожны. Так пала в день Покрова Пресвятой Богородицы знаменитая крепость, под стенами которой, девятнадцать лет перед тем, русские потери считались тысячами.

На следующий день, 2 октября, войска торжествовали победу, слава которой должна была разнестись радостной вестью по всему русскому царству. Осенний день был прекрасен, и солнце, как бы приветствуя победителей, сияло во всем своем блеске на голубом, безоблачном небе. Пороховые тучи, окутывавшие Эривань в последние пять дней, рассеялись, и грозные стены, еще недавно уставленные пушками, теперь были унизаны толпами любопытных зрителей.

Войска, собранные перед южными воротами крепости, построены были в одно огромное каре, и перед ними прочитали следующий приказ главнокомандующего:

Храбрые товарищи! Вы много потрудились за царскую славу, за честь русского оружия. Я был с вами днем и ночью, свидетелем вашей бодрости неусыпной, мужества непоколебимого: победа везде сопровождала вас. В четыре дня взяли вы Сардарь-Абад; в шесть — Эривань, ту знаменитую твердыню, которая слыла неприступным оплотом Азии. Целые месяцы ее прежде осаждали, и в народе шла молва, что годы нужны для ее покорения. Вам стоило провести несколько ночей без сна, и вы разбили стены ее, стали на краю рва и навели ужас на ее защитников. Эривань пала перед вами,— и нет вам более противников в целом персидском государстве: где ни появитесь — толпы неприятелей исчезнут перед вами, завоевателями Аббас-Абада, Сардарь-Абада и Эривани; города отворят ворота свои, жители явятся покорными, и угнетенные своими утеснителями соберутся под великодушную защиту вашу. Россия будет вам признательна, что поддержали ее величие и могущество. Сердечно благодарен вам. Поздравляю вас, храбрые офицеры и солдаты кавказского корпуса! Мой долг донести великому государю истину о подвигах и славных делах ваших.

Отслужен был благодарственный молебен, и войска прошли церемониальным маршем. Зрители восторгались стройным движением пехоты и конницы, но царицей военного празднества являлась артиллерия, особенно те чудовищных размеров осадные орудия, перед которыми так быстро сокрушилась персидская твердыня и которые теперь медленно, с их длинной запряжкой, проходили мимо Паскевича. “С победой поздравляю вас, ребята!” — приветствовал главнокомандующий каждую отдельную часть. Солдаты кричали “ура!”

К сожалению, парад не обошелся без несчастного случая для многострадального города. Во время молебствия, когда запели: “Тебе, Бога, хвалим”, и вся осадная и полевая артиллерия, вытянутая в одну линию по берегу Занги, грянула залп,— часть эриванской стены, ветхой и поврежденной уже бомбардировкой, рухнула в ров от сотрясения воздуха, увлекая за собой многих зрителей, спокойно рассевшихся было между ее старинными зубцами и башнями. Это обстоятельство, кажется, и дало повод к известной шутке Ермолова, который называл Паскевича, получившего впоследствии титул графа Эриванского,— графом Ерихонским.

Император получил донесение о взятии Эривани в Риге, и тотчас собственноручным рескриптом поздравил с этим событием генерал-губернатора прибалтийского края, маркиза Паулуччи, некогда начальствовавшего в Грузии. Богатое оружие, снятое с Гассан-хана и поднесенное государю поручиком Бухмейером, пожаловано было им, в память пребывания в Риге, в городскую ратушу. Воротившись в Петербург, император со своей царской фамилией присутствовал 8 ноября при благодарственном молебствии в церкви Зимнего Дворца, а ключи покоренной крепости и четыре знамени, взятые на стенах ее, были в торжественной процессии возимы по улицам столицы при радостных восклицаниях народа.

Героям Эривани даны щедрые награды: Паскевичу орден св. Георгия 2-го класса; графу Сухтелену, Трузсону и Унтильи — тот же орден 3-ей степени; Георгия 4-ой степени — полковникам Гурко, Шипову и Долгово-Сабурову; Красовский получил бриллиантовые знаки ордена св. Анны 1-й степени; разжалованный декабрист Пущин, один из важнейших деятелей осады, произведен в унтер-офицеры.

Громкое имя Эривани стало с тех пор общеизвестным народу до самых глубоких его слоев как один из синонимов русской славы. Но грозные обстоятельства падения крепости должны были с мощной силой запасть особенно в воображение участников тогдашних событий, и русский солдат отметил их в своей песне, полной, в одно и то же время, энтузиазма и какого-то чисто русского юмора и презрения к смерти.

Не туман из-за моря
Тучей поднялся,—
Не туман, не дождичек,
Нет, орел взвился ...
Белый, как лебедушко,
Зоркий, как сокол,—
Он полки российские
В Персию повел.
Первый подвернулся нам
Сам Аббас-Мирза;
Мы мирзе с мирзятами
Плюнули в глаза.
И в глаза им плюнувши
Громовым огнем,
К Эриванской крепости
Шли минуты с днем.
А пришедши, начали,
Видя вражью мочь,
Шанцы, батареюшки
Строить день и ночь.
А построив, в нехристя

Прежде чем палить,
Пушечки, мортирочки
Стали наводить.
А потом, ребятушки,
Как пришла пора:
Крикнули по нашему
Русское “ура!”
Крикнули, ударили,
Понеслись на брань —
И в секунду с четвертью
Взяли Эривань.
Граф же Иван Федорыч —
Наша голова —
Тотчас в ней отпраздновал
Праздник Покрова,
И Мирзе Мирзовичу
Снова дав трезвон,
Царство бусурманское
Захватил в полон.

Такова эта солдатская песня. В сущности, она очень верно выражает внутреннюю последовательность и зависимость событий между собой. Удачно и последнее выражение; падение Эривани было началом именно “пленения бусурманского царства”,— оно открывало путь вглубь Персии, к самому Тавризу.

XXXI. ВЗЯТИЕ ТАВРИЗА

Осенью 1827 года персидская война, которую так усложнило было неожиданное нашествие Аббаса-Мирзы на Эчмиадзин, вдруг получила совершенно непредвиденно решительный оборот. Дело в том, что пока армия Паскевича, после падения Эривани, еще только шла на Тавриз, эта вторая столица персидского царства была взята небольшим отрядом князя Эристова, почти не встретившим сопротивления. Смелый и счастливый шаг этот совершен был при следующих обстоятельствах.

Выступая к Эривани, Паскевич поручил командование войсками, оставшимися в Нахичеванской области, генерал-лейтенанту князю Эристову, а в помощь к нему назначил полковника Муравьева, бывшего тогда помощником начальника корпусного штаба.

Трудно себе представить две личности, которые были бы столь различны по своему характеру, взглядам и даже привычкам, как князь Эристов и Муравьев. Первый, грузин, выросший и состарившийся в битвах с горцами, был плохой грамотей, но человек отважный и незаменимый в боевой решительной службе, любимый в войсках за храбрость и добродушие. Прослужив весь век с русским солдатом, привыкнув любить и уважать его, он до конца жизни плохо говорил по-русски и имел привычку, обращаясь к подчиненным, называть их “батушка”.

Солдаты, любовно и прозвавшие его “батушкой”, были ему преданы, ценя в нем всего более отсутствие педантизма; Эристов, действительно, не любил в походе стеснять их мелочной, никому не нужной формалистикой.

Совсем другой человек был Николай Николаевич Муравьев, впоследствии Карский. Он принадлежал к числу тех замечательных деятелей, имена которых если всегда будут

произноситься с глубоким уважением, то не всегда с теплой, сердечной любовью. При большом уме, обширном образовании и исключительной твердости воли, он был строг и требователен до педантизма, до последних мелочей, и потому тяжел и далеко не всегда симпатичен. Его сосредоточенный характер, с оттенком нелюдимости, в сущности был прям и открыт; он не терпел лжи, не выносил напыщенности и эффектов, был прост в речах и манерах, не искал популярности, но как начальник не терпел малейшей неисправности, малейшей манкировки службой. Чтобы легко примириться с этими качествами Муравьева, к нему надо было привыкнуть, нужно было понять, что он требует только того, чего требует закон, к чему обязывает дисциплина, и никогда не выходит из этих границ, не допускает и со своей стороны ни малейшего произвола, будучи к себе еще более строгим, чем к другим. Известность Муравьева на Кавказе была велика уже и при Ермолове. Она началась с его поездки в Хиву, где он имел случай выказать и свои дарования, и твердость воли, и высокое чувство долга, готовность жертвовать собой для блага родины. Затем, командуя карабинерным полком, он оставил в нем по себе лучшую память. Полковые ветераны любили вспоминать “муравьевское” время в полку, в которое, по выражению одного из них, “всякий был убежден, что правое дело не будет гласом вопиющего в пустыне”. Честность и бескорыстие Муравьева вошли в пословицу.

На этих-то двух лиц, на Эристова и Муравьева, Паскевич и возложил защиту столь важной в тогдашних военных операциях Нахичеванской области. Но, зная ничем не сдерживаемую храбрость Эристова и решительность Муравьева, он очертил круг их действительности строгой программой: отряд должен был защищать границы, прикрывать вагенбург и даже делать небольшие движения за Араке, чтобы отвлекать неприятельские силы от Эривани; но ему строго запрещено было вдаваться внутрь персидской страны и затевать какое-нибудь серьезное дело.

Невозможно не признать благоразумия этих распоряжений, потому что положение Эристова и без того представляло незаурядные трудности. В тот момент, когда Паскевич выступил под Эривань, для прикрытия обширного края, если не считать слабых гарнизонов, занимавших Аббас-Абад и Нахичевань, остались всего батальон Тифлисского полка, казачий полк, да несколько орудий, стоявших у Кара-Бабы. К ним, в случае надобности, могли присоединиться еще уланская бригада [Бело городски и полк и сводный, составленный из эскадронов второй уланской бригады.] да два полка черноморских казаков, по-прежнему оставленных на Базар-чае для прикрытия коммуникационной линии,— но это и было все, чем мог располагать князь Эристов в первые дни по уходе Паскевича. Сильные подкрепления, правда, ожидались из Карабага, но пока они еще не пришли, Эристову пришлось пережить тревожные минуты.

Началось с того, что неугомонный Керим снова появился под Аланчей, со всей своей конницей. Два черноморские полка вследствие этого должны были выдвинуться вперед, за Кечеры, чтобы закрыть табуны, которым теперь грозила постоянная опасность,— и оборона коммуникационной линии была ослаблена. К счастью, дорога, разрабатывавшаяся, по приказанию Паскевича, через Ах-Караван-Сарай к Герюсам, была к тому времени кончена, и освободившийся с работ батальон Козловского полка стал в резерв за черноморской бригадой. Покушения неприятеля с этой стороны были, таким образом, парализованы.

Но зато серьезная опасность висела теперь над самой Нахичеванью. Получены были известия, что Аббас-Мирза, покинув Эриванское ханство, остановился в Шарурской области, бок о бок с Нахичеванской провинцией, и замышляет исполнить тот же маневр, который уже раз удался ему против Красовского. Зная, какими ничтожными силами располагает Эристов, он думал легко овладеть Нахичеванью,— и 7 сентября войска его

уже двигались туда двумя колоннами: пехота шла со стороны Шарура, конница, предводимая Аллаяр-ханом,— по тавризской дороге. Вторжение с двух сторон, не давая русским возможности сосредоточить и те слабые силы, которые у них находились, обещало Аббасу-Мирзе полный успех, а по взятии Нахичевани ему казалось уже не трудным разбить Эристова у Кара-Бабы и истребить русские транспорты. Участь всей кампании снова висела на волоске, потому что увенчайся этот смелый план успехом,— и Аббас-Мирза приобрел бы результаты, несравненно важнейшие, чем те, которые представлялись после поражения Красовского. Тогда Паскевич должен был оставить поход на Тавриз, а теперь русские были бы вынуждены оставить даже и осаду Эривани.

Случилось, однако, что к тому времени, как Аббас-Мирза приблизился к русским границам, к Эристову уже подошли подкрепления. Из Карабага генерал Панкратьев привел батальон Нашабургскго и батальон Козловского полков; с Базар-чая прибыли другой батальон козловцев, уланская бригада и два полка черноморских казаков, смененные на своем посту войсками князя Вадбольского. С этими силами князь Эристов спустился с гор и придвинулся к Нахичевани, где к нему присоединились еще пять рот херсонских гренадер,— так что у него составилось до четырех тысяч пехоты и две тысячи конницы, при двадцати шести орудиях. Аббас-Мирза не рассчитывал встретиться с сильньм отрядом, он не хотел поверить, чтобы русские могли так быстро сосредоточить войска, но он должен был убедиться в этом, когда авангард его, перейдя Араке, остановился всего в семи верстах от города и увидел линию русского бивуака.

Столкновение, однако, не замедлило произойти, и начато было русскими. Генерал-майор барон Остен-Сакен со всей конницей тотчас двинулся против неприятеля. Персияне стали отступать, и чем дальше, тем поспешнее, так что настигнуть их на левом берегу Аракса русским не удалось. Начатая уже переправа главных персидских сил была тотчас приостановлена, и Аббас-Мирза сам начал укрепляться на противоположном берегу реки. День был знойный; русским приходилось идти безводными местами, и потому пехота далеко отстала от конницы. Уланы и казаки остановились у брода Кайгель, и с обоих сторон началась сильная орудийная канонада через Араке. Но едва показалась из-за высот голова русской пехоты, неприятель бросил начатые укрепления и стал отступать.

Таким образом, одна из задач князя Эристова, стараться отвлекать персидские войска от Эривани и Сардарь-Абада, исполнялась теперь, так сказать, сама собой. Но чтобы еще более отклонить внимание Аббас-Мирзы от осажденных крепостей, Эристов решил его преследовать, и в ту же ночь русские войска перешли Араке и вступили на персидскую землю.

Аббас-Мирза отступал, однако, с неимоверной быстротой. Он бросился вправо, в горы,— и скоро сам след его был затерян русскими. Эристов между тем все шел вперед, и 17 сентября авангард его уже был в Чорсе. Полковник Муравьев, с батальоном пехоты и дивизионом улан, отправился разыскивать неприятеля, и скоро увидел глубокие колеи, оставленные пушками на трудной горной дороге, по которой, видимо, только что прошел неприятель. Идя по этим следам, Муравьев скоро настиг его арьергард. Персияне защищались слабо и, после нескольких выстрелов, обратились в бегство. Преследовать их дальше, при наступавшей ночи, было, однако же, нельзя, и неприятель скрылся в скалах. Муравьев, удостоверившись, что Аббас-Мирза со всеми силами стоит около Хоя, вернулся в лагерь. Крепко хотелось Муравьеву пройти на тавризскую дорогу, чтобы заставить Аббаса-Мирзу спешить на защиту столицы и тем окончательно отдалиться от Эривани, но в отряде не было провианта, и Эристов вернулся в Нахичевань.

Как ни коротко было пребывание Муравьева за Араксом, он успел, однако же, добыть там чрезвычайно важные сведения. Он узнал, что Аббас-Мирза потерял при отступлении много людей отставшими, бежавшими и больными, и что в персидском лагере начинается полная деморализация. Такому энергичному человеку, как Муравьев, трудно было не воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами, которые могли уже никогда не повториться, и вот, он убедил Эристова немедленно предпринять другую экспедицию, но уже прямо по направлению к Тавризу.

30 сентября войска перешли Араке и очутились в одной из важнейших провинций Ирана, в Азербайджане, сплошь населенной татарским племенем, которое ненавидело персиян и всегда было готово восстать против царствовавшего дома Каджаров. Упорных битв, поэтому, здесь ожидать было нельзя. Тем не менее русская конница, высланная вперед, встретилась с персидской кавалерией при самом входе в Дарадатское ущелье, а пока происходило небольшое кавалерийское дело, разъезды высмотрели, что ущелье укреплено ретраншементом и занято двумя или тремя тысячами сарбазов. С этими сведениями уланы возвратились в лагерь.

На следующий день Муравьев, опередив отряд, поехал произвести в том направлении рекогносцировку. Подходя к ущелью, казаки, сопровождавшие его, услыхали выстрелы. Так как русских войск впереди быть не могло, то перестрелка вызвала всеобщее недоумение.

Но скоро из персидского стана прибежал один сарбаз, и все разъяснилось. Дело было в том, что в лагерь явился татарин с прокламацией князя Эристова, и в войске возникли беспорядки: одни хотели защищаться, другие требовали отступления, пока еще было время. Ссора окончилась перестрелкой. Тогда большинство солдат бежало, а остальные, уже не рассчитывая отстоять укрепление, бросили его, и поднялись на окружные горы.

Муравьев поспешно двинул вперед батальон с двумя орудиями и занял ущелье без боя. При самом входе в него еще лежали тела персиян, побитых накануне в кавалерийской стычке, а далее стояло пустое укрепление. Последнее тотчас же было срыто. Подоспевший батальон приступил к разработке дороги,— и отряд миновал ущелье уже беспрепятственно.

2 октября, в тот самый день, как Паскевич праздновал в стенах Эривани покорение этой твердыни, войска князя Эристова без боя вступали в город Маранду, пользующийся в Армении громкой известностью, так как, по преданиям, на месте его погребена жена праведного Ноя, Ноем-гамера — вторая мать живущих; самое слово “Маранд” в буквальном переводе значит “мать там”. Город, известный с глубокой древности, служил царством всевозможных плодов и фруктов, а пажити его славятся в целой Персии. Аббас-Мирза отдал их во владение своей регулярной конницы, которая ежегодно и проводила здесь по нескольку месяцев кряду. Теперь население вышло навстречу русским войскам и приветствовало их как избавителей. Правитель марандского округа, очарованный ласковым приемом князя Эристова, передался на сторону русских. Персидские чиновники также остались на своих местах и усердно хлопотали о продовольствии отряда. Войска между тем с музыкой прошли через город и заняли дороги, ведущие отсюда в Хой и к Тавризу.

Еще не успели раскинуться русские биваки, как пришло известие о приближении Аббаса-Мирзы. Действительно, шах-заде только одним днем не успел предупредить Эристова в Маранде. Он уже двигался сюда со всеми своими силами, но, узнав о занятии города

русскими, быстро занял нахичеванский путь и отрезал отряд от Аракса. Положение Эристова при других условиях могло бы сделаться весьма опасным.

К счастью, благодаря неимоверной быстроте, с какой обыкновенно распространяются в Азии вести всякого рода, в лагере Аббаса-Мирзы в этот самый день узнали о взятии Эривани. Известие это произвело на персидские войска потрясающее действие, а когда вслед затем разнеслась среди них весть, что из Маранды русские выступают по хойской дороге,— армия Аббаса-Мирзы, охваченная паникой, побежала. С несчастными остатками ее наследный принц уже не мог думать о каких-либо наступательных действиях и заперся в Хое. Но были слухи, что он послал в Тавриз приказание истреблять и вывозить оттуда все военные заготовления, чтобы они не достались русским. Муравьев, имевший об этом достоверные сведения, решился тогда воспользоваться общей паникой и овладеть Тавризом прежде, чем распоряжения Аббаса-Мирзы будут исполнены. Он хранил, однако, свои намерения в глубокой тайне, скрывая их даже от князя Эристова, не будучи вполне уверен, что тот согласится на столь ответственное и дерзкое предприятие.

Действительно, как ни верно были рассчитаны Муравьевым все шансы на успех,— движение это все же оставалось до крайности рискованным. Тавриз был многолюден, снабжен сильными укреплениями и, при решимости гарнизона, мог оказать непреодолимое сопротивление. “Но судьба,— говорит один очевидец этих событий,— как бы в возмездие за кровавые жестокости, совершенные некогда Ага-Мохаммед-ханом в Тифлисе, послала через тридцать лет мстителя персидскому народу в лице того же грузина, но во главе уже русского войска”... Дерзкое предприятие Муравьева удалось вполне.

Отряд Эристова выступил из Маранды по тавризской дороге 11 октября. Никому, не исключая и самого Эристова, не приходило в голову, что идут брать Тавриз, а Муравьев тщательно старался скрывать все, что могло хотя отдаленно намекнуть на близость второй столицы Персии. Переход был большой, утомительный, и многим пришлось разочароваться в стране, воспетой Саади и Гафизом. Местность лежала кругом безлесная, печальная; со всех сторон тянулись ряды обожженных солнцем красноватых гор, наводивших уныние, и только один Арарат оживлял картину своей гигантской вершиной, с которой все древние народы старались связывать свои священные легенды. Вечером войска прибыли в деревню Софиано и здесь остановились ночевать. До Тавриза оставалось отсюда всего сорок верст.

“Только тогда,— рассказывает Муравьев в письме к отцу,— князь Эристов хвалился, что я его привел на покорение столицы. Он удивился, что Тавриз так близко, говорил было об отступлении; но на другой день я еще подвинулся вперед и заняли лагерь в восемнадцати верстах от города. Тут уже мало колебались, ибо не было отступления, особенно для меня. Не взяв Тавриза, я не смел показаться начальству; взяв Тавриз, я предвидел также, сколько я подвергался неудовольствиям Паскевича. Но дело было уже решено; честь моя и обязанности требовали последнего: главные силы наши не могли еще скоро прибыть из Эривани, а я опасался, чтобы неприятель не приготовился к защите или не вывез бы всех запасов и заведений, там находящихся”.

13 октября, часов в восемь утра, войска остановились на речке Аджи-чае, в двух-трех верстах от Тавризского форштадта.

В городе между тем царствовало невообразимое смятение. Еще в то время, когда русские войска только что вышли из Маранды по тавризской дороге, и солдаты, и жители уже потеряли голову. С 12 числа по городу стали ходить какие-то письма, советовавшие

жителям не сопротивляться русским. То были письма правителя и некоторых из почетнейших жителей Маранды, ручавшихся тавризцам, что, в случае покорности, жизнь и имущество их останутся неприкосновенными. Несколько таких писем было перехвачено и доставлено Аллаяр-хану, начались розыски, аресты; а между тем ночью в город кто-то прискакал из Софиана с известием, что сильный русский авангард уже вступил в эту деревню. Весть эта быстро распространилась по всем частям Тавриза. Жители предместий спешили укрыться в стенах города, а горожане толпами бежали из него.

В Тавризе стояло в то время шесть тысяч войска, оставленного здесь Аббасом-Мирзой для защиты города, под начальством Аллаяр-хана. Но известие о взятии Эривани, близость русской армии, последние неудачи Аббаса-Мирзы, загнанного к Хою,— все это настолько уронило нравственную силу в персидских войсках, что сарбазы потихоньку, малыми частями, выбирались из города и бежали. Вскоре бегство сделалось общим, и на рассвете 12 октября весь корпус беспорядочными толпами уже отступал по тегеранской дороге, думая только о собственном спасении. Немногие лишь остались на своих постах или бродили по Тавризу. Думают, что солдаты были напуганы более всего угрозами самих же жителей. Кроме прирожденной ненависти к южным своим соотечественникам, тавризцы очень желали удаления сарбазов из города, опасаясь, что они, при наступлении русских, бросятся прежде всего грабить сами, а между тем ничтожным сопротивлением только ожесточат войска, которые тоща, со своей стороны, выместят свои потери на тех же тавризских жителях.

Аллаяр-хан поздно узнал о позорном поведении своего войска. Когда все увещания его вернуть беглецов остались безуспешны, он, в гневе, приказал тавризцам самим преследовать и грабить негодяев. Но едва этот приказ был отдан, как вооруженные граждане, не рискуя догонять бежавших, предпочли напасть на солдат, еще оставшихся на своем посту; несколько человек было убито, четыреста взяты в плен, ограблены до последней нитки и заперты в цитадели. Горожане, запиравшие ворота, ведущие в город, забыли, впрочем, что есть другие, за каким-то старым, давно покинутым строением, и плененные, воспользовавшись этим, один за одним успели бежать. Смятение было так велико, что, по словам Одного англичанина, бывшего тогда в Тавризе, если бы в эту минуту появились две русские роты, они без труда овладели бы всем городом.

Некоторый порядок сохранился только в двух батальонах шаггарийцев, стоявших лагерем в поле, неподалеку от городских стен, и они получили приказ подойти ближе, чтобы охранять ворота. Аллаяр-хан сам выехал к ним навстречу, уговаривая солдат исполнить свой долг честно и твердо. Собравшиеся толпы народа отвечали первому министру бранью и каменьями, заставившими его поспешно скрыться.

Весь день по городу рассеивались самые противоположные слухи: то ожидали русских, то кричали, что Аббас-Мирза идет из Хоя, и его конница уже в пяти верстах от города. Гарем наследного принца перевезли между тем в сады; главнейшие гражданские чиновники -со своими семействами также покинули город.

Но вот 13 октября, ранним утром, с высоких минаретов Тавриза действительно увидели какое-то двигавшееся войско, которое шло, однако, не от Хоя, а со стороны Софиано. Скоро ясно обозначились русские колонны; они дошли до речки Аджи-чая и остановились, как бы готовясь к сражению. Оба батальона шаггарийцев тотчас заняли городские стены. Пушки, установленные за несколько дней перед тем на бастионах и башнях, зарядили, ворота заняла надежная стража. Сам Аллаяр-хан, верхом на коне, старался ободрять войска. Но тот, кто повнимательнее вгляделся бы в лица солдат, прочел бы на них не решимость умереть, защищая город, а то особое настроение, при котором

довольно какого-нибудь ничтожного случая, чтобы паника охватила защитников. Так случилось и тут. Русские были еще далеко, а неприятель уже открыл по ним орудийный огонь; грянул один пушечный выстрел... другой... А третий, особенно гулко раскатившийся по городу, вместе с тем послужил сигналом к общему, ничем не объяснимому и неосмысленному бегству персидской пехоты... Как все это произошло — неизвестно; но только стены оказались пустыми, пушки — брошенными.

Народ заволновался. Напрасно Аллаяр-хан в бешенстве кричал, чтобы жители занимали стены, и резал уши и носы ослушникам,— ему уже никто не повиновался. Никто не решался, однако, и выйти к русским навстречу. Тогда Мир-Феттах-Сеид, глава тавризского духовенства, принял в свои руки спасение города. Он явился к Аллаяр-хану и решительно заявил, что всякое покушение сражаться при настоящих обстоятельствах послужит только ко вреду правоверных; он посоветовал хану сложить с себя звание главнокомандующего и уехать из города. Аллаяр-хан послушался и скрылся в одно из городских предместий. Ключи от города были спрятаны. Мир-Феттах приказал разбить ворота, заваленные камнями, и готовился со всем духовенством встретить князя Эристова.

В русском лагере между тем ничего не знали о всех этих происшествиях. “Мы,— говорит Муравьев в одном из писем,— видели перед собой огромную крепость, вооруженную множеством орудий, цитадель и многолюдный неприятельский город. Я ужаснулся, когда вместо встречи увидел молчание, нас окружающее. Но три пушечные выстрела из крепости возвестили мне мою обязанность”...

Видя, что жители не выходят с покорностью, Муравьев двинул вперед два с половиной батальона пехоты при шести орудиях — и без боя занял предместье. В это время на южной стороне Тавриза, в поле, показалась толпа скакавших от города всадников. Расстояние, до них было так велико, что преследовать было бы бесполезно, и их оставили в покое. Это бежал, как узнали после, гарем Аббаса-Мирзы, под прикрытием небольшого конвоя. Участь гарема была бы, однако, несравненно лучше, если бы он остался в городе. Куртинцы, сторожившие персиян по дорогам, напали на женщин и ограбили их дочиста, так что даже с любимой жены наследного принца сняли шитые золотом бархатные шальвары.

Заняв предместье, Муравьев не знал, будет или не будет защищаться Тавриз, и войска продолжали стоять в боевом порядке, с любопытством смотря на грозные стены цитадели. Но вот ворота растворились. Из них показались знатнейшие старшины, с самим муштехидом во главе, христианское духовенство с крестами и хоругвями, и массы народа. Город выходил навстречу победителям. Муравьев принял городских представителей и говорил с ними на армянском и на татарском языках, которыми владел в совершенстве. Последние остатки персидского гарнизона между тем бежали из Тавриза, и в городе было полное безначалие.

Главный отряд Эристова был еще в то время далеко. Тем не менее Муравьев тотчас же вступил в город через Константиновские ворота и поспешил занять цитадель, чтобы захватить в свои руки запасы и находившиеся там важные учреждения. В городе немедленно приняты были меры к прекращению беспорядков; к сожалению, толпа успела уже побывать во дворце наследного принца и расхитить из него большую часть ценных вещей.

К двенадцати часам вступили в город, с музыкой и барабанным боем, и остальные войска князя Эристова. Их встретил английский поверенный в делах, майор Монтейм, со своими

офицерами, прося защиты. К посольскому дому был отряжен особый караул, а войска стали лагерем между городом и его предместьем.

В Тавризе достались русским боевые запасы персиян, Различные склады, богатый арсенал, а главное, пороховой и литейные заводы, на которых в последнее время так деятельно работали англичане. Сорок орудий, два знамени и жезл Аббаса-Мирзы составляли военные трофеи. Пленных было немного; но в числе их находились пять инженерных офицеров из персиян, учившихся в Англии, все мастеровые и, наконец, Аллаяр-хан, верховный министр Персии, которому поручена была защита Тавриза. Есть основание предполагать, что Аллаяр-хан, которому ничто не мешало уйти из города, отдался в плен умышленно, чтобы избежать печальной судьбы, обыкновенно постигающей на Востоке тех, кому изменяет военное счастье. По крайней мере, по рассказам современников, жители сами указали русским тот дом в одном из городских предместий, где скрылся грозный вельможа. Сотник Помелов был тотчас послан с черноморскими казаками арестовать его. Рассказывают, что Аллаяр-хан выстрелил в Помелова, когда тот явился к нему, но ружье осеклось, и он сдался уже без сопротивления. По рассказам других, Аллаяр-хан сделал вид, что намерен бежать, но казачий урядник догнал его за городом.

В последнем случае уже одно то обстоятельство, что под урядником был незавидный казачий маштак, а Аллаяр-хан сидел на чистокровном арабском жеребце, с которым не могли бы состязаться в быстроте лучшие лошади Персии, заставляет заподозрить искренность намерения Аллаяр-хана ускакать от погони. Настигнутый в поле, он, по словам урядника, хотел в него выстрелить; но ружье осеклось,— и Аллаяр-хан отдался в плен. Казак посадил персидского вельможу на своего маштака и на чумбуре привез в Тавриз, где народ с изумлением и страхом смотрел на превратность судьбы, постигшую его грозного правителя.

Резиденция наследного принца Персии лежала у ног русского воинства. Тавриз! Какое громкое имя! Кто не представляет себе Тавриз пышным, шумным и обширным городом,— великолепной столицей сказочного Востока!? Войска, приближавшиеся к нему, испытывали это чувство внутреннего смущения перед роскошным неведомым. Казалось, этот город, один из перлов Востока, не обманет ожиданий. Закутанный в зелень платанов, тополей и яворов, из которых возвышались к ясному небу только верхи минаретов, свидетельствовавших, что здесь стоит обширный мусульманский город,— он, после утомительного, однообразного вида окружающих степей— очаровывал взоры. Но тут же начиналось и разочарование. Безжизненно смотрели на севере и северо-востоке горы неприветливого, темно-красного цвета. Это — злые духи Тавриза, вот уже несколько веков потрясающие основания города и много раз разрушавшие его. Кровавыми чертами запечатлена в памяти потомства роковая катастрофа, случившаяся в 1041 году, когда, по преданиям, землетрясение похоронило под развалинами города более сорока тысяч жителей. Грустно, безотрадно выглядят окружающие город развалины. Там мост, красивый и гордый, с широкими арками, когда-то перекинутый через реку,— и теперь заброшенный, уже обвалившийся до половины. Здесь стройные мечети, красивые минареты, памятники прошлого лежат в развалинах. И эти руины красноречивее всего говорят о былом и настоящем города.

Русские застали Тавриз населенным шестьюдесятью тысячами жителей; но в былые времена их было, говорят, несравненно более,— политические перевороты и военные бури, обрушивавшиеся на город и бросавшие его из рук одного народа к другому, не прошли даром.

Но были для Тавриза и времена великой славы — среди всех народов. Тавриз — столица Азербайджана. В буквальном переводе с наречия гвербов, “Азербайджан” значит — “дом огня”. Здесь родился Зороастр, основатель религии огнепоклонников, и, вероятно, самое название Азербайджану дано персиянами от религии Зороастра.

Время основания Тавриза — неизвестно. Во всяком случае этот древний город, столько раз разрушенный и вновь восстававший из развалин, возник еще тогда, когда Азербайджан был областью древней Мидии. Народные предания связывают его имя со знаменитым именем Гарун-Аль-Рашида.

Рассказывают, что Тавриз основан именно в память исцеления любимой жены мудрого царя мидийским врачом, который в награду своего искусства пожелал, чтобы в его отечестве был построен город, и назвал его Тебриз, от слова “теб”, значащего лихорадка.

Но есть и другие легенды, иначе объясняющие происхождение имени Тавриза. Рассказывают, что когда, в III веке, по Р.Х., армяне овладели каким-то персидским городом, стоявшим на месте нынешнего Тавриза, и разрушили его до основания, то армянский царь Хозрой, находя местоположение его чрезвычайно удобным для набегов отсюда на Персию, приказал возобновить разрушенный город и назвал его Тавреш, то есть мщение. Когда же Хозрой умер, Тавреш, среди неурядиц армянского царства, снова попал в руки персиянам уже с этим именем.

Некоторые ученые, увлеченные древностью и славой Тавриза, хотели видеть в нем древнюю Экбатану, основанную знаменитым мидийским царем. Но теперь уже известно, что Экбатана находилась к юго-востоку от Тавриза, на том месте, где ныне стоит Гомодан. Развалины, окружающие этот последний городок, свидетельствуют и теперь о великолепии и обширности исчезнувшего города.

Гомодан — также город исторический, библейский. Там находится гробница знаменитых людей еврейской истории, Эсфири и Мордохея. Она сделана из черного дерева, и на куполе ее сохранилась надпись на еврейском языке, гласящая, что саркофаг сооружен от сотворения мира в 4474 году, в четверток, 15 числа месяца адара.

В средние века христианской веры, обильные возрождением новых воинственных народов, Азербайджаном, а вместе с ним и Тавризом, обладали повелители разных племен. Более двух столетий служил он театром кровопролитных войн между Турцией и Персией — и стал гробом для многочисленных турецких ополчений. Христиане также соединяют с Тавризом свои священнейшие воспоминания. Есть предание, что истинный крест Спасителя, взятый в Иерусалиме при разорении его в 603 году по Р.Х. Хозроем персидским, увезен был в Персию и хранился именно в Тавризе, пока не был вывезен отсюда императором Ираклием.

Такова славная история священнейшего города персиян. Конечно, не многие из русских, вошедших теперь в него, соединяли с именем Тавриза определенное представление о вековой его судьбе, о бедствиях, пронесшихся над ним и о днях счастья, выпадавших на его долю. Но седая старина окружает подобные имена неувядаемым ореолом, блеск которого отражается в отдаленнейших странах и в течение тысячелетий. Откуда этот ореол, какие подвиги и страдания возложили его на славное чело,— часто совершенно забывается, но в целых рядах поколений величавое имя говорит воображению чудесную волшебную сказку о чем-то вечном, стоящем вне обыденных явлений жизни, рисует далекие недостижимые идеалы, заставляя сердце усиленно биться и кровь быстрее течь в жилах. Вот это-то неопределенное чувство невольного благоговения перед вековой

древностью — не мог не ощущать ни один из русских солдат, и оно сливалось с горделивым сознанием силы русской, перед которой пала эта чуждая святыня.

Все чувствовали важность совершавшегося события не для судеб только продолжавшейся войны, а для многих будущих поколений, по тому нравственному смыслу, который придавался событию вековыми воспоминаниями, связанными с Тавризом.

И не холодным обрядом смотрело торжество, не с холодным чувством присутствовали на нем войска, когда, на другой день по взятии Тавриза,— это был к тому же день рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны,— на гласисе служилось благодарственное молебствие при громе пушечных выстрелов с персидской цитадели. Стечение народа было огромное. Один англичанин, описывая этот парад, не мог не заметить особенного воодушевления в русских войсках, необычной торжественности их настроения, и, быть может, именно с целью передать его читателям своим, с новым, почти комическим незнанием русских порядков, прибавляет, что Эристов сам обходил ряды, поздравляя солдат с победой и, по русскому обычаю, спрашивал всех, как их здоровье? Вечером город иллюминовался персидскими факелами и плошками и спущен был богатый фейерверк, заготовленный также самими персиянами. В этот самый день князь Эристов получил официальное извещение о взятии Эривани и в ответ послал донесение о взятии Тавриза.

С политической точки зрения падение Тавриза было для Персии равносильно потере всей северной половины государства, а захват русскими в цитадели боевых средств, заготовленных персиянами, лишал ее всякой возможности продолжать войну. Понятно поэтому всеобщее удивление перед тем, что персияне не только не дали большого сражения под стенами столицы, но не сделали даже попыток остановить наступление русских. Три выстрела с крепостных стен, и то тогда, когда русские едва появились на горизонте,— вот все, что было похожего на оборону, а далее с обеих сторон уже не было потрачено ни зерна пороха. Никогда еще город, обнесенный стенами, не был взят с такой неимоверной легкостью.

Что касается жителей Тавриза, то перемена властителей скорее радовала, чем печалила их, и русские без малейшего опасения ходили одни по улицам города.

Как только распространилась весть о падении столицы, соседние провинции и города стали искать покровительства России. Первым возмутился тогда Марагинский округ, управляемый Фет-Али-ханом, одна из сестер которого была в замужестве за Аббассом-Мирзой. У него естественно и искали убежища жены наследного принца. Но когда в городе вспыхнул мятеж и чернь, ворвавшись во дворец, совершенно разграбила его, не пощадив даже и женщин,— семью Аббаса-Мирзы поспешили отправить в Мианды. Народ бросился преследовать ее; и только артиллерия, призванная для защиты беглянок, картечным огнем сдержала буйные толпы мятежников.

Марагинские старшины между тем прибыли в Тавриз и явились к Эристову. Их приняли с почетом, но потребовали немедленного освобождения русских пленных, находившихся у них в городе. Старшины отвечали, что пленные солдаты уведены слишком далеко, чтобы можно было воротить их; но за офицерами, находившимися всего в двух-трех переходах за Марагой, тотчас отправили нарочных, и конвой привел их обратно в Тавриз. Так освобождены были двадцать два штаб-и обер-офицера, из которых многие томились в неволе еще со времени поражения батальона Назимки на Ах-Кара-чае. За Марагой сдалась и неприступная крепость Аланча, стоявшая в горах Нахичеванской области, — и число русских военных трофеев увеличилось еще на четыре орудия.

В главной квартире долго не знали о взятии Тавриза. Увенчанный в Эривани свежими лаврами, Паскевич дал войскам кратковременный отдых и только 27 октября, получив донесение о движении Эристова внутрь Персии, вышел в поход; он шел прямо к Тавризу и 16 числа был уже в Маранде. Здесь только его встретил курьер от князя Эристова, с известием о взятии Тавриза, и ожидал персидский сановник с письмом от Аббаса-Мирзы, который просил позволения приехать для переговоров о мире. Паскевич отправил персидского посланного назад со словесным ответом, что место для свидания будет указано им своевременно,— и поспешил к Тавризу. Вся осадная артиллерия, теперь ненужная, оставлена была в Маранде, под прикрытием кабардинского полка, а остальные войска пошли вперед двумя эшелонами. В то время наступала уже осенняя слякоть, и дорога испортилась так, что отряд мог двигаться только небольшими переходами. Паскевич оставил пехоту и, в сопровождении одной кавалерии, карабинеров и батальона егерей, 19 октября появился в виду Тавриза. Вступление его в город было триумфальным шествием. Все духовенство, христианское и магометанское, старшины, почетнейшие беки и многочисленные толпы народа в праздничной одежде — встретили его за чертой города, усыпали ему дорогу цветами и, по обычаю Востока, поливали ее горячей кровью быков, тут же закалываемых в честь победителя. На гласисе крепости стоял под ружьем весь отряд князя Эристова, приветствовавший главнокомандующего барабанным боем, склонением знамен и криком “ура!” Едва Паскевич въехал на подъемный мост, как началась пальба из всех персидских орудий, расставленных по стенам цитадели и крепости. Пышная квартира была приготовлена ему во дворце Аббаса-Мирзы, и здесь князь Эристов, во главе городских представителей, поднес ему ключи от города. То были, впрочем, новые ключи, приготовленные наскоро, чтобы не лишить встречи одного из ее необходимых атрибутов,— настоящие не были найдены.

Свидание Эристова с Паскевичем обошлось благополучно. Эристов был чуть ли не единственный человек, сумевший до конца поддержать дружественные отношения с Паскевичем. Грузин по происхождению, он отлично умел скрывать азиатскую хитрость под личиной грубой откровенности; и вот, когда, при первой же встрече, Паскевич осыпал его упреками,— конечно, по поводу обстоятельств, не имевших как бы и отношения к взятию Тавриза,— Эристов все выслушал молча, с величайшим спокойствием, а затем поздравил Паскевича с тем, что он, Паскевич, покорил Тавриз. Паскевич его обнял и исходатайствовал ему орден св. Александра Невского.

Иначе отразилось покорение Тавриза на судьбе Муравьева, заподозренного в подстрекательстве. Правда, он получил генеральский чин; но с этого времени начинается постоянное нерасположение Паскевича к Муравьеву, в конце концов заставившее этого последнего покинуть Кавказ и перейти на службу в Россию. Впрочем, и Эристов вскоре был удален из действующей армии и отправлен в Грузию, сенатором.

Но с войсками Паскевич обошелся чрезвычайно приветливо. 24 октября устроен был большой парад. Войска одеты были в походную форму: офицеры в сюртуках, солдаты в шинелях. Это была мелочь, но мелочь, подействовавшая чрезвычайно хорошо на дух кавказских солдат. “Да это по-ермоловски!” — говорили они между собой. Церемониальным маршем войска проходили колоннами, и Паскевич горячо благодарил их за славную кампанию. Тут же, в свите его, находился и английский посланник Макдональд со всеми членами английского посольства, и впоследствии, в лондонских газетах, появилась даже статья “Из Персии”, в которой говорилось, что “солдаты, несмотря на продолжительность похода, шли бодро и весело и что кавказские войска хотя не красиво одеты, но своим видом умеют внушить к себе уважение”. По окончании парада Паскевич, в сопровождении почти всех офицеров, осматривал город.

В Тавризе жила в это время жена известного грузинского агитатора, царевича Александра,— Мария. Это была женщина двадцати трех лет, необыкновенной красоты, которая могла бы назваться баснословной, если бы очевидцы единогласно не подтверждали справедливости слухов, ходивших о ней по целой Персии. Влияние ее в правительственных сферах Тавриза было огромное, а потому Паскевич признал за лучшее удалить ее из края и выслать вместе с малолетним сыном в Эривань, где жил ее отец Мелик-Саак, один из знатнейших армян, доказывавший древность своего рода старинной церковью и фамильным кладбищем при ней, сооруженным его предками. Шестидесятилетний муж Марии проживал в это время в турецком городе Ване; там он продолжал агитировать, собирал шайки, затевал, во время последовавшей затем турецкой войны, вторжение в Имеретию, но кончил тем, что, после падения Ахалцыха, вернулся в Персию, и там окончил свою жизнь, проведенную среди крамол, мятежей и заговоров.

В Тегеране падение Тавриза произвело потрясающее впечатление. Гнев шаха был беспределен и обрушился, как рассказывают, прежде всего на каймакама, сановника, женатого на одной из дочерей шаха и носившего почетный титул “Соломона государства”. Шах призвал его к себе.

— Ты знаешь, что неверные овладели Тавризом? — спросил он.

— Великий шах! — отвечал тот.— Слышал я, что непобедимая твоя армия разбита проклятыми неверными, и сердце мое, преданное моему повелителю, растаяло от горести.

— Но ты должен знать, что в этом виноват ты сам! — сказал ему шах.

— Избави Боже! Могу ли я, ничтожный раб, недостойный лобызать прах туфель твоих, быть причиной такого несчастья? Что я за собака, чтоб быть причиной взятия Тебриза?

— Не ты ли мне советовал начать войну с русскими?

— Правда, я был в числе тех, которые советовали тебе, падишах, стяжать рай и прославить оружие уничтожением злых. Но успех зависел не от меня.

— Врешь! Ты уверял меня, что войско мое непобедимо.

— Да кто же может противостать силе падишаха, убежища мира!

— Молчи! Я выучу тебя вперед подавать мне советы мудрые и знать толк в делах...

Шах хлопнул в ладоши, и явились четыре ферраша с колодкой и палками. Они повалили “государственного Соломона” на ковер, заключили ноги его в роковые доски и по знаку “тени Аллаха на земле” распорядились с ним так, что сановник лежал три недели в постели, с распухшими ногами. Этот анекдотический рассказ если и не достоверен в подробностях, то, во всяком случае, относится к действительному факту.

В числе характерных анекдотов, рассказывавшихся тогда о шахе и характеризующих гнев его после взятия Тавриза, интересен также еще один, касающийся участи, постигшей великолепную хрустальную кровать, посланную с князем Меншиковым в подарок шаху русским двором перед самой войной. Весь Петербург любовался на это чудное произведение императорского стеклянного завода, составлявшее справедливую гордость русских мастеров,— оно выставлено было перед отправкой шаху в Таврическом дворце для публики. Кровать блистала серебром и разнообразной гранью хрусталей, была

украшена хрустальными столбами и ступенями, сделанными из прочного синего стекла. Она была устроена так, что с обеих сторон ее могли бить фонтаны благовонной воды и склонять к дремоте мелодичным шумом своим о хрусталь. При освещении она горела тысячами алмазных искр.

Когда привезли эту дивную кровать в Тегеран, восхищенный шах приказал поставить ее в одной из роскошнейших зал своего дворца и каждый день заходил любоваться на свое великолепное ложе. Персидские поэты писали оды в честь кровати, “сиявшей подобно тысяче одному солнцу”. Но началась война, Нахичевань, Аббас-Абад, Сардарь-Абад и Эривань были взяты, русские уже приближались к Тавризу. В одно прекрасное утро, возвращаясь с прогулки, шах проходил через ту залу, где стоял подарок русского государя. Красота кровати соблазнила “убежище мира”, и он, как рассказывают, впервые лег на нее. Почти в этот самый момент прискакал гонец с известием о взятии русскими Тавриза. Суеверный шах приписал несчастье “неверной” кровати и приказал в ту же минуту разобрать ее и снести в подвал. При поспешной уборке, а быть может и намеренно со стороны не менее суеверных подданных шаха, кровать была тогда вся переломана. И с тех пор ее уже больше никто не видел.

XXXII. МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Потеря Тавриза была неожиданным и страшным ударом для Аббаса-Мирзы, наследника персидского трона. Она лишала его решительно всех средств к продолжению войны, которая с этого момента и могла почитаться оконченной.

В политическом отношении Аббас-Мирза очутился в безвыходном положении, потому что, вытесненный из Азербайджана, он не мог появиться и в соседней Иранской области, где ожидала его неласковая встреча и шаха, и народа. Престарелый шах, искавший спокойствия и думавший только о своих одалисках, был вовлечен в войну единственно его домогательствами да интригами англичан, и ряд поражений, понесенных персидскими войсками, навлек гнев шаха на всех сторонников войны. Уже покорение Сардарь-Абада ужаснуло шаха; уже тогда он велел Аббасу-Мирзе заключить мир без замедления, ценой уступок областей Эриванской и Нахичеванской, и только Аббас-Мирза скрыл шахский фирман, рассчитывая, что продолжительная оборона Эривани задержит наступление русских до ненастной погоды, а тогда требования Паскевича естественно должны будут уменьшиться. Но вот пала Эривань, пал за ней Тавриз, и Аббас-Мирза, нарушивший волю шаха, являлся уже прямо ответственным за все несчастья. Как всегда в подобных случаях, на сцену появляются тут англичане, со своей вековой вероломной и двоедушной политикой, ничего не желавшей знать, кроме меркантильных выгод господствующих классов Англии. Втянув Персию в войну, с расчетом умалить влияние России в Персии, они готовы были теперь явиться великодушными посредниками,— роль, в которой так легко было представиться перед побежденными могущественной нацией, заставляющей победителя умерять свои требования. И едва Паскевич двинулся к Тавризу, как его уже встретил курьер от секретаря английской миссии, Кембеля, спешившего в Эривань с предложением своих услуг в деле мирных переговоров, которые должны были последовать. Паскевич резко отклонил его предложение и, желая показать персиянам, что заступничество англичан не принесет им ни малейшей пользы, послал сказать Кембелю, чтобы он не ехал дальше и ждал в Нахичевани. Суровый ответ секретарю английского посольства, пользовавшемуся громадным влиянием в персидских правительственных сферах, должен был убедить персиян, что Россия не отступит уже ни от одного из предъявленных ею требований.

В Нахичевани, вместе с Кембелем, встретил Паскевича Фет-Али-хан, беглер-бёг тавризский, и предъявил ему шахский фирман, уполномочивавший его вести переговоры. Из слов уполномоченного не трудно было заключить, что персияне готовы уступить провинции, вопрос же о деньгах — оставляли открытым; было ясно, что шах не хотел платить их. Паскевич прежде всего учтиво выпроводил из лагеря Кембеля как человека постороннего в деле и в услугах которого нет ни малейшей необходимости, а затем объявил Фет-Али-хану, что если, не доходя до Маранды, он увидит в своем лагере пять куруров, то есть десять миллионов рублей серебром, с условием, что другие десять миллионов будут уплачены потом в известные сроки,— то он согласится на мир; если же возьмет Тавриз раньше, чем будут доставлены деньги, то и требования будут возвышены. Между тем Тавриз в то время был уже взят. Получив об этом известие, Паскевич, верный своему слову, потребовал уже не десять, а пятнадцать куруров. Аббас-Мирза делал возможные попытки предварительно склонить главнокомандующего на свидание с собой,— но без предварительной уплаты наличными деньгами третьей части контрибуции, Паскевич не хотел ни видеть Аббаса-Мирзу, ни трактовать о мире.

“Я возвысил требования потому,— писал он в своем донесении,— что, в противном случае, персияне легко могли отважиться на случайности новой кампании, полагая, по своему легкомыслия, что всегда могут в пору заключить с нами мир, на условиях, к которым мы ничего не прибавим”.

Положение Аббаса-Мирзы становилось все хуже и тяжелее,— приходилось принимать мир на всяких условиях и во что бы то ни стало. И вот, едва Паскевич вступил в Тавриз, как на другой же день, 21 октября, прибыл от Аббаса-Мирзы каймакам, с полномочиями для заключения мира. Денег он, однако же, не привез с собой — их нужно было ждать из Тегерана, так как, с падением Тавриза, от Аббас-Мирзы отложился весь Азербайджан, единственный источник его доходов,— и денег в наличности не имелось. Паскевич согласился приступить к переговорам, но приказал остановить каймакама вне города. Он имел на то серьезные основания: нужно было опасаться, что Аббас-Мирза действует двулично и, под предлогом переговоров, прислал любимого народом и пользовавшегося в нем большим влиянием каймакама для того, чтобы произвести в Тавризе возмущение. А в Тавризе и без того уже обнаружились волнения от боязни, что русские возвратят Каджарам провинцию, которая так единодушно от них отложилась, и что Каджары внесут в нее ужасы восточной мести и деспотизма.

Нужно при этом сказать, что русские, со своей стороны, не сделали ничего, чтобы поднять возмущение в зааракских персидских провинциях. Переходя Араке, Паскевич не приглашал ни единого хана содействовать ему способом бунта или тайной измены, не призывал к восстанию ни кочевых племен, ни городских жителей и не обольщал никого суетной надеждой на избавление от власти персиян. Его прокламации наполнены были исключительно приглашениями к спокойному отправлению промыслов и мирной жизни; в них говорилось, что русские воюют против персидских войск и что народу нечего бояться. Но самые ревностные старания не могли бы сделать большего в этом направлении. Хан марандский тотчас же передался русским и даже сражался против персиян. Марагинский хан освободил русских пленных офицеров, слепец Атта-хан Мышкинский сам выехал навстречу Паскевичу с изъявлением покорности; Шекакинское воинственное племя подняло знамя бунта против Каджаров, прекратив проезд по тегеранской дороге, так что Паскевич вынужден был послать к ним Джехан-гир-хана, главного начальника этого племени, чтобы водворить между ними хоть тень порядка; в самом Тавризе духовенство открыто поощряло народное движение в пользу русских и громогласно проклинало Каджаров.

“Я мог бы иметь в своих руках,— писал Паскевич,— даже самого Аббаса-Мирзу, когда он, всеми оставленный, ожидал моего ответа в Салмасе; многие из ханов вызывались схватить и привести его ко мне, но я не хотел разрывать навсегда связь непокорного народа с прежним его правителем. Я опасался, что после того не с кем будет положить основание мира и что, вообще, при заключении его свободный наследный принц будет нам полезнее, чем пленный”.

“Не будучи виной сего повсеместного восстания здешнего народа,— продолжает Паскевич,— я тем не менее могу остановить его, если утвердится в нем опасение, что мы после мира предадим его в жертву оскорбленного им государя”.

На этих-то основаниях Паскевич и не считал удобным говорить о мире в самом Тавризе и, задержав каймакама в семи верстах от города, в деревне Кара-Мелик, отправил туда же дипломатического чиновника Обрезкова. Обрезкову дана была точная программа действий, необходимейшими условиями мира были поставлены: 1) уступка России двух ханств, Эриванского и Нахичеванского; 2) очищение персиянами ханства Талышинского, и 3) пятнадцать куроров (то есть тридцать миллионов рублей серебром) контрибуции.

В том случае, если бы денежные требования были окончательно отвергнуты персиянами, имелся наготове другой проект, именно отторжение от Персии всей Азербайджанской провинции, вместе с Тавризом; в переписке Паскевича с государем шел только вопрос о том, сделать ли ее простой областью России, по примеру других закавказских провинций, или образовать из нее независимые ханства под протекторатом России. Приобретение Азербайджана, конечно, представляло бы большие выгоды. Край этот, по соображениям Паскевича, мог собственными средствами содержать восемь местных батальонов пехоты, по тысяче штыков в каждом. А восемь тысяч сарбазов, под командой русских офицеров, были бы силой весьма внушительной для персиян, чтобы они могли отважиться на какие-нибудь предприятия в отвоеванном от них крае. К этому надо прибавить, что военные учреждения в Тавризе требовали бы издержек только для их поддержания, а внутреннее управление страной и вовсе ничего не стоило бы, так как жители могли судиться по древним обычаям мусульман духовным судом и взимание податей могло бы производиться по-прежнему. Не оскорбляя народного чувства неуместными нововведениями, можно было бы быть уверенным в преданности народа и приходилось бы только учредить политический надзор за страной, через русского президента в Тавризе, а в случае образования отдельных ханств — через главного правителя области, выбранного из тех же ханов под именем валия. Образование такой провинции создало бы преграду между Россией и Персией. Дух мятежа, тайные подкупы, возбуждения фанатиков уже не легко проникали бы из глубины Персии в Закавказские области, и на Араксе, где климат губительно действует на русское войско, уже не было бы надобности держать многочисленных гарнизонов. Собственные средства Азербайджана, свыше трех миллионов рублей серебром дохода, давали бы возможность держать в нем, помимо местного войска, еще целый русский прекрасно устроенный корпус. Император Николай вполне соглашался с этими доводами Паскевича, но предпочитал присоединению Азербайджана к России образование из него независимых ханств в Мешкиие, Ардебиле, Тавризе, Мараге, Хое и Урмии, так как прямое присоединение, по мнению государя, неминуемо давало бы повод думать, что Россия стремится водворить свое исключительное господство в Азии, и этим охладило бы дружественные связи с великими державами Европы. Это был довод политики Нессельроде.

Аббасу-Мирзе и было дано знать, что ежели пять куруров контрибуции не будут уплачены немедленно, а остальные в течение двух месяцев, то вся Азербайджанская область отделяется от Персии, и Россия предоставляет себе право устроить ее

политический быт по своему усмотрению, как признает для себя выгоднее и удобнее. Посылая для переговоров Обрезкова, Паскевич уведомил Аббаса-Мирзу о непременной воле русского императора, назначая шестидневный срок для ответа. В случае непринятия предложенных Россией условий, военные действия должны были продолжаться; в случае согласия на них,— Паскевич назначал наследному принцу свидание в местечке Дей-Карагане. На время переговоров персидские войска, во всяком случае, должны были отойти внутрь Персии, за озеро Урмию; русские имели право занять город Хой и все провинции Азербайджана. Каймакам принял все эти условия и только просил позволения видеться с английским министром Макдональдом, который один, мог открыть глаза шаху на отчаянное положение дел и на возможность гибели Каджарской династии, если война продолжится, и уговорить его заплатить контрибуцию, так как шах, по своему характеру, скорее мог согласиться на уступку не одного, а трех Азер-байджанов, чем на выдачу денег из своей сокровищницы. “Денежные требования,— писал государю и Паскевич,— самые затруднительные в земле, в которой государь казну и личные пользы свои совершенно отделяет от пользы народа”.

Посредничество англичан в этом случае могло быть очень полезно, а в искреннем желании их теперь содействовать миру не было сомнения. Англичане более, чем сами персияне, соболезновали несчастью Аббас-Мирзы и трепетали за Азербайджан, отнятие которого от Персии было бы полным нарушением могущества и влияния единственного в стране искреннего союзника. “Здесь, в Тавризе, был корень их настоящего влияния,— писал Паскевич.— Кроме Аббаса-Мирзы, несмотря на расточительность их дипломатов, никто не только покровительствовать, но и терпеть их не будет. С утратой Азербайджана,— метко прибавляет Паскевич,— английские чиновники могут сесть на корабли в Бендер-Бушире и возвратиться в Индию”.

Начинавшиеся переговоры и ожидание ответа от Аббаса-Мирзы не мешали, однако, Паскевичу принимать меры к продолжению войны, — и войска готовились к походу. Шесть рот Нашабургского полкв, батальон тифлисцев, казачий полк и двенадцать орудий, под начальством генерала Бенкендорфа, должны были двинуться на Чевестер, за шестьдесят верст от Тавриза по хойской дороге, там до 3 ноября ожидать проезда наследного персидского принца, а потом двинуться дальше и занять Салмасский округ. Шесть рот Кабардинского полка, три сотни казаков и три конные орудия, оставленные Паскевичем, еще во время движения его к Тавризу, в Маранде, вместе с осадной артиллерией, теперь под начальством генерал-майора Лаптева, должны были занять Хой. Если бы город вздумал защищаться, к нему же должен был свернуть Бенкендорф, а в случае надобности даже и потребовать из Маранды осадную артиллерию, чтобы подвергнуть его блокаде и бомбардированию. Оба эти отряда составляли, так сказать, правое крыло русского действующего корпуса.

В самом Тавризе, в центре театра войны, остались, под начальством генерал-лейтенанта князя Эристова, Херсонский и Грузинский гренадерские полки, Ширванский пехотный, рота пионеров и два полка черноморских казаков.

В виде авангарда, под командой генерал-майора барона Розена, был выдвинут на тегеранскую дорогу особый отряд, в состав которого входили: карабинерный полк, два дивизиона нижегородских драгун, бригада улан, полки Чугуевский и сводный Донской казачий и шесть конных орудий.

24 октября последний отряд занял Уджаны, и первый день стоянки там едва не разрешился ужасной катастрофой. В главном пороховом погребе, покинутом персиянами и находившемся как раз в черте расположения карабинерного полка, солдаты случайно

увидели зажженный фитиль, которому немного уже оставалось догореть до того, чтобы огонь коснулся пороха. Фитиль успели вытащить, иначе через немногие минуты гибель полка была бы неминуема. Богу угодно было спасти карабинеров от злодейского замысла неприятеля. Позже отряд этот, усиленный еще Херсонским гренадерским полком и шестью орудиями пешей артиллерии, подвинулся еще вперед, на самую границу Азербайджана, и расположился у подошвы Кафлан-Кух, близ города Мианё. Несмотря на суровую зиму, войска стояли там бивуаком: Розен не решался разместить солдат по квартирам, опасаясь ядовитых мианских клопов, укус которых считается безусловно смертельным.

Отдельный отряд генерала Панкратьева, состоявший из лейб-гвардии сводного полка, Козловского пехотного, дивизиона нижегородцев, сводного уланского полка, полка донских казаков и шести конных орудий,— был выдвинут по марагинской дороге в Дей-Караган, где должна была находиться во все время переговоров и главная квартира Паскевича.

Левое крыло действующего корпуса должно было образоваться из войск Карабагского отряда, под начальством генерал-лейтенанта князя Вадбольского, который уже шел на Агар, с тем чтобы занять Мышкинский округ. А для удобнейшего сообщения с ним батальон сорок первого егерского полка, рота пионеров и два орудия высланы были на разработку дороги от Тавриза к Агару.

Отряды Бенкендорфа и Лаптева находились уже в движении, когда пришли известия, что шах-заде изъявил согласие на все предложенные ему условия и едет в Дей-Кагаран. Персидские войска, действительно, уже очистили Хой и даже из Салмаса отступили за Урмию. Вследствие этого отряду Лаптева, шедшему на Хой, приказано было соединиться с Бенкендорфом, а навстречу наследному принцу, в виде почетного эскорта, отправлен был из главной квартиры третий дивизион Нижегородского полка *с* двумя конными орудиями, под командой флигель-адъютанта графа Толстого. Вместе с дивизионом отправились также сам командир Нижегородского полка, полковник Раевский, и флигель-адьютант полковник князь Долгоруков. Драгуны встретили наследного принца верстах в семи за Чевестером 4 ноября. Заметив их, Аббас-Мирза оставил свой конвой и, в сопровождении только пяти человек, приблизился к фронту. Драгуны отдали ему честь. Князь Долгоруков, Раевский и граф Толстой приветствовали его от лица русского главнокомандующего. Сопровождаемый этим почетным конвоем, принц отправился в Чевестер, где был для него приготовлен ночлег.

В это самое время из Чевестера, по дороге к Хою, выступали соединенные отряды Бенкендорфа и Лаптева. Узнав о приближении Аббаса-Мирзы, Бенкендорф остановил войска и выстроил их на обширной равнине близ озера Урмии. Когда принц приблизился к русскому фронту, его приветствовали шесть пушечных выстрелов. Бенкендорф встретил его перед войсками.

“Мне очень приятно,— сказал ему принц,— что вы, первый обнаживший против меня меч в кампании нынешнего года,— первым приветствуете меня и накануне мира”.

Аббас-Мирза, как рассказывает в своих записках Бенкендорф, произвел на всех неожиданно приятное впечатление. “Черты лица его,— говорит Бенкендорф,— отличаются замечательной красотой и правильностью. Подобные типичные лица могут встречаться только в Азии или в классическом Риме. Он прибыл один, без свиты, в сопровождении только своего зятя Фехт-Али-хана и двух английских офицеров в красных мундирах. Сам принц был одет чрезвычайно просто, и только один кинжал его весь

унизан был драгоценными каменьями... Лошадь под ним была лучшая, какую я когда-либо видел в жизни,— прибавляет Бенкендорф, страстный любитель лошадей.— Это был великолепный белый иноходец, украшенный массивной золотой сбруей. Проезжая по фронту, принц здоровался с солдатами по-русски, восторгаясь их молодецким видом. По его желанию кабардинский полк и дивизион нижегородцев с конной артиллерией прошли перед ним церемониальным маршем. Принц благодарил все войска. Но особенное впечатление произвела на него подвижность казачьей артиллерии; он тщательно осматривал орудия, упряжь, лошадей и, качая в раздумье головой, повторял неоднократно: “У нас есть пушки, но нет артиллерии”.

“Как много нужно времени,— сказал он в разговоре с Бенкендорфом,— чтобы каждый народ образовать для войны. Мы только что начали. Вы также имели свое время испытаний, прежде нежели дошли до той степени, на которой теперь находитесь... Но как бы то ни было,— прибавил он, улыбаясь,— отныне мы будем жить дружно, а в ожидании этого,— не правда ли? — немного странно, что я у вас в гостях, в той стране, которая столько веков принадлежит моим предкам”...

“Во все время пребывания в русском лагере, один Аббас-Мирза,— замечает Бенкендорф,— умел казаться веселым; на лицах особ, составлявших его свиту, особенно у англичан, выражалось чувство оскорбленного достоинства”...

Простившись с Бенкендорфом, Аббас-Мирза, сопровождаемый драгунами, отправился в Чевестер, а отряд Бенкендорфа пошел своей дорогой к Хою. Город этот сдался без малейшего сопротивления; в цитадели его найдены были четырнадцать орудий, которых персияне не успели увезти с собой. Оставив в Хое батальон Тифлисского полка, Бенкендорф двинулся далее, к Салмасу, и занял дороги, ведущие к Урмии.

4 ноября Аббас-Мирза ночевал в Чевестере; там была приготовлена для него роскошная палатка, и при ней стоял почетный караул, по одну сторону тридцать драгун, по другую — тридцать курдов.

Паскевич должен был видеться с принцем в Дей-Карагане и 5 ноября, вечером, был уже там, шестого числа к нему явился Хосров-Мирза, сын наследного принца, чтобы приветствовать его от лица персидского правительства, а вслед затем дали знать, что к городу приближается и сам Аббас-Мирза. Встречали принца торжественно. В семи верстах от Дей-Карагана, на самой дороге был выстроен эскадрон улан, одетый в парадную форму. Тут же находились Хосров-Мирза и генерал-адъютант граф Сухтелен со всем корпусным штабом. Принц благодарил всех, и солдат и офицеров, за труды, для него понесенные.

В Дей-Карагане, у самой квартиры принца, его ожидал почетный караул, рота гвардейского полка со знаменем и музыкой, и тут же приветствовал его командующий войсками, собранными в Дей-Карагане, генерал Панкратьев. Через час приехал с визитом и сам Паскевич. Рассказывают, что в ожидании этого визита Аббас-Мирза был в необычайном волнении и не соглашался даже сесть, говоря: “Сейчас приедет Паскевич”. Он принял главнокомандующего стоя посреди комнаты и первый протянул ему руку. Паскевич вскользь заметил, что принц, вероятно, устал с дороги, и потому не угодно ли его высочеству сесть. Аббас-Мирза сел и пригласил сесть Паскевича. О делах, на этот раз, не говорили ничего, и через четверть часа Паскевич уехал. На следующий день Аббас-Мирза отдал визит главнокомандующему и пробыл у него более двух часов, “чего,— как замечает Паскевич,— персидские принцы обыкновенно не делают”.

Начались конференции. С самого первого заседания Аббас-Мирза начал уже просить об уменьшении денежных требований. “Они были чрезмерно велики,— говорит и сам Паскевич,— но если бы объявлены были в половину против тогдашнего, то просьбы остались бы те же”. Тем не менее пять куруров, накинутых Паскевичем за взятие Тавриза, были сбавлены. Но далее ни на какие уступки Паскевич пока не шел. “Я требую теперь много,— говорит он в одном из своих донесений,— для получения чего-нибудь. Таков ход дел в здешнем государстве”.

Сбавка пяти куруров значительно подвинула дело вперед, и переговоры пошли успешнее. Персидские уполномоченные утвердили все требования России, уступали провинции, соглашались уплатить контрибуцию. Оставалось только соблюсти последнюю форму — послать торжественный акт на ратификацию шаха. Паскевич, однако, отказался подписать договор, пока первые пять куруров не будут в русском лагере. “Со всякой другой державой,— писал Паскевич министру иностранных дел,— конечно, сперва заключается мирный трактат, а потом приступают к его исполнению; но здесь наоборот: сперва надо заставить выполнить требование, а потом подписать и трактат”. Упорство Паскевича заставило ожидать известий от шаха. 22 ноября пришла, наконец, весть, что первый денежный транспорт выйдет из Тегерана 10 декабря и что шах избирает в посредники Макниля, доктора-англичанина, который должен был наблюдать, как деньги из шахской казны будут сочтены, уложены и отправлены.

Доктор Макниль, заступавший в то время должность английского поверенного в делах в Тегеране, был в то время лицом могущественным при персидском дворе. Он часто виделся с шахом, знал всех его жен,— а влияние на Востоке гарема могущественно. Макниль был противник войны, хлопотавший о возможно скорейшем ее окончании; зная положение Персии, он ясно видел, какие пагубные последствия для царствующей династии могло иметь движение русских к Тегерану.

Добрые намерения в добросовестность Макниля не подлежали сомнению. Там не менее Паскевич, чтобы не отдаться в руки англичан, нашел необходимым командировать в Тегеран русского офицера для наблюдения за своевременной высылкой денег, и выбор его остановился на капитане генерального штаба Вальховском. Вальховский встретил денежный транспорт 15 декабря, уже на пути из Тегерана. Но, узнав, что везут не пять, а только три курура, он нашел необходимым продолжать свой путь в столицу Персии, чтобы там поставить вопрос относительно отправки двух остальных куруров. “Возвратиться мне с деньгами почти от ворот города было невозможно,— писал Вальховский Паскевичу,— ибо сие не только дало бы повод к заключению, что мы довольствуемся только тремя курурами, но и могло бы иметь последствия самые неприятные”.

16 числа Вальховский уже был в Тегеране, а 19 представился Фехт-Али-шаху. Шах принял его в тронной комнате, говорил, что война начата без его воли пограничными начальниками, что он сердечно желает приобрести дружбу русского императора. Высылка денег была решена — и лишь отложена на несколько дней.

Но в это самое время, когда, казалось, дела идут так успешно, когда условия мира были приняты и уже исполнялись, вдруг в русско-персидских отношениях совершенно неожиданно произошел крутой поворот. В Дей-Карагане получено было известие, что денежный транспорт, находившийся уже в пути, задержан в Казбине, а вместо того едет в лагерь особый уполномоченный от шаха, Мирза-Абул-Гассан-хан, с уведомлением, что если русская армия без малейшего замедления не очистит Азербайджана и не отступит за Араке, то шах не заплатит никакого вознаграждения и не ратифицирует мира.

Дело было в том, что Турция, намереваясь объявить России войну, уведомила об этом шаха и советовала не спешить с заключением мира, обещая свою помощь. Ванский паша даже прямо предлагал в распоряжение Аббаса-Мирзы те силы, которые были собраны им на границе Салмаза, и если бы Аббас-Мирза не отклонил вмешательства, говоря, что помощь опоздала, что он подписал уже предварительные условия мира,— турецкие войска немедленно вошли бы в Персию. В Тегеране эти обстоятельства произвели глубокое впечатление и воспламенили совсем было уже потухшие надежды. По самому свойству восточных нравов, они не могли не повлечь за собой и еще одного явления. Могущество наследника трона теперь было подорвано несчастными обстоятельствами войны, и при гаремных обычаях, при борьбе детей властителя от разных матерей, естественно, должен был найтись новый претендент на звание наследного принца. Такой претендент нашелся. Это был любимый сын шаха, Хассан-Али-Мирза, герой хороссанский. Узнав о положении дел, он поспешил в Тегеран и как раз в это самое время вступил в него с семи- или восьмитысячным войском. Молодой, опрометчивый принц славился своей неустрашимостью; но ни он, ни его сподвижники еще ни разу не сталкивались с русскими, а потому приписывали неудачи в Азербайджане только малодушию своих соотечественников.

На легковерном Востоке народ всегда легко переходит от страха к безумной отваге, от отчаяния к надеждам,— и в Тегеране, при первых слухах из Турции, при первом известии о приближении Хассана-Али-Мирзы, встало огромное движение. Въезд в Тегеран принца сопровождался необычайными овациями. “Те, которые видели въезд в султанский лагерь, при начале войны, персидского первосвященника,— говорит Вальховский в донесении Паскевичу,— могут себе представить и нынешнюю тегеранскую сцену, превосходящую всякое описание...” Еще накануне происходило большое собрание духовных лиц, на котором было решено, что тот, кто посоветует шаху платить деньги неверным, будет объявлен врагом правоверия. Рассказывают, что, когда об этом решении узнал Хассан-Али-Мирза, он с необычайным пафосом воскликнул, что скорее умрет, нежели позволит вывезти хоть один червонец из столицы. Народ с восторгом разнес эти слова по городу, и где бы ни появлялся принц,— его встречали радостными криками и рукоплесканиями. Воинственное настроение персиян было, конечно, не прочно и могло так же быстро упасть, как поднялось. По крайней мере Вальховский, свидетель происшествий в Тегеране, не видел в персиянах твердой решимости вести войну и смотрел на нее как на последнюю отчаянную попытку шаха заставить Паскевича сбавить контрибуцию. Действовала тут, по его мнению, и лукавая недоверчивость, свойственная азиатам. Перед ними вставал вопрос,— а что, как русские, получив деньги, возьмут да и останутся в Азербайджане? И вот, под гнетом этой мысли, они требовали, чтобы русские прежде получения денег очистили их владения.

“В этих случаях,— говорит Вальховский,— персияне привыкли судить о других по себе; они сочли даже за государственную меру вооружить Абул-Гассан-хана лошадью с богатым убором для Паскевича, двадцатью драгоценными шалями для генералов и шелковыми материями для других чиновников. В то же время они просили Вальховского ходатайствовать, чтобы Абул-Гассан-хан был принят благосклонно, как прилично уполномоченному шаха, мотивируя свою просьбу тем, что “Паскевич человек, как выражались они, грозный, с которым трудно иметь дело”. Вальховский ответил на это, что в вежливом приеме министра не может быть никакого сомнения, но что подарков, конечно, не примут, и Паскевич ответит немедленным движением русских войск к Тегерану. “Иначе,— пояснил Вальховский,— на нем будет лежать великая ответственность перед императором за столь долгое и безрезультатное бездействие победоносной армии”.

Все эти факты не на шутку встревожили английскую миссию. Доктор Макниль в качестве посредника, как лицо ответственное не перед персидским только, а и перед русским правительством, становился в положение весьма щекотливое. Могло случиться, что шах, дождавшись отступления русских из Азербайджана, по скупости своей вдруг отказался бы совсем от уплаты контрибуции. И Макниль почел нужным заявить шахскому казначею, что отступят ли русские или нет, а он требует ручательства в точном выполнении персидским правительством обязательств касательно первых пяти куруров; иначе он хотел отправить к Паскевичу нарочного с уведомлением, что более не может ручаться ни за какие обещания и отказывается от всякого участия в доле. Макниль прямо объявил персиянам, что никогда не согласится служить орудием их недобросовестности, и угрожал, что в случае приближения русских к Тегерану будет искать покровительства Паскевича. Он настоял в тот же вечер на аудиенции у шаха и потребовал категорического ответа, будут ли уплачены пять куруров, за которые он, Макниль, ручался.

— Даю вам царское слово,— отвечал ему шах,— что эти пять куруров я уже считаю не моей, а английской собственностью; в условленное время они будут сданы вам в Казбине, а там можете везти их куда угодно, в Индию или в Тавриз, мне все равно.

— Но приближается время уплаты трех следующих куруров,— сказал Макниль,— и я бы желал знать, как вашему величеству угодно будет поступить в этом отношении.

— Уплата тех трех куруров,— отвечал ему шах,— дело наше, домашнее; англичан оно не касается. Я даю из них один курур; остальные два должен заплатить Аббас-Мирза, у которого денег много.

— Но, может быть, у его высочества нет в наличности такой значительной суммы,— заметил Макниль.

— Тем хуже для Аббаса-Мирзы,— отвечал шах.— Этим он доказал бы только неспособность его управлять государством. Двадцать шесть лет он сидит в Азербайджане и, кроме доходов от области, получал не раз от меня значительные суммы, а сам не платил войскам, не укреплял границ и только вылил несколько пушек в Тавризе; следовательно, он мог накопить деньги. Впрочем,— прибавил шах,— если Аббас-Мирза не согласится на уплату, то я найду другого принца, который возьмет это на себя и получит титул наследника.

Макниль тотчас известил обо всем Паскевича.

Паскевич, со своей стороны, мог допустить только один ответ на действия персидского правительства и народа,— немедленное движение русских войск к Тегерану. Такой ответ был тем необходимее, что отношения с Турцией, действительно, усложнялись, и эта же самая причина, заставлявшая Турцию интриговать в пользу продолжения .войны персиянами, требовала от русских последнего напряжения, чтобы возможно скорейшим окончанием ее развязать себе руки для борьбы с более сильным противником.

Абул-Гассан-хан прибыл в Дей-Караган 5 января, вечером, и на следующий же день был принят Паскевичем. Переговоры, впрочем, продолжались лишь несколько минут, так как Паскевич, не входя ни в какие рассуждения, поставил категорическое требование: “Деньги — или война!” В тот же день происходило и последнее заседание конференции, на котором Паскевич объявил переговоры прерванными. Наследный принц был более чем смущен последними событиями. “Положение его,— говорит Паскевич,— точно незавидное; на оружие рассчитывать ему теперь безрассудно, а о мире нечего и думать по

непреодолимой скупости отца его: деньги здесь ставятся выше чести и безопасности государства”.

Нужно сказать, что и сам Мирза-Абул-Гассан-хан с ужасом смотрел на совершающееся, предвидя, какие последствия может иметь новая война. Он поспешил в Тегеран, чтобы убедить своего государя не откладывать в дальний ящик заключение мира. А за день перед тем Паскевич писал в Тегеран главному первосвященнику: “Коль скоро я предприму движение, то война продолжится не долго. Шах и его советники не умели снискать моей приязни, но они еще менее того сумеют устоять в поле и храбростью заслужить себе уважение неприятеля”.

7 января Аббас-Мирза простился с Паскевичем. Война начиналась. Вальховскому послано было предложение немедленно оставить Тегеран, войска получили приказ готовиться выступить 11 января в поход.

XXXIII. ПОХОД 1828 ГОДА

Стояла суровая холодная зима с глубокими снегами и соверешенным бездорожьем, когда Паскевич, 8 января, выехал из Дей-Карагана, торопясь в Тавриз, чтобы скорее начать военные действия На этом сравнительно небольшом переезде Паскевич лично мог убедиться, какие страшные препятствия ожидали войска в зимнем походе. Ужасная вьюга, захватившая его в дороге, стояла целые сутки и была так сильна, что за массой крутившегося снега невозможно было добраться ни до какого жилья. Многие, из бывших даже в самом поезде Паскевича, отбились от него и блуждали по степи; два писаря корпусного штаба и несколько конных татар, занесенные сугробами, погибли буквально на глазах товарищей, которые, будучи и сами полузамерзшими, не могли оказать им помощи.

И несмотря на все это, откладывать военных действий было невозможно уже потому, что жители Азербайджана, неуверенные, кому будут принадлежать, начинали тяготиться пребыванием у них русских войск. Случаев, буйного ослушания еще пока не было, но многие уходили из своих домов вместе с семействами. Такое положение дел должно было возрождать в персидском правительстве коварную надежду, что его неуступчивость будет поддержана восстанием черни и ненавистью народа к русским. Перед Паскевичем могла возникнуть далеко не веселая перспектива. “Но сего торжества,— писал он еще прежде,— я персиянам не предоставлю и тотчас после разрыва перенесу театр войны из Азербайджана за Кафлан-Кух, в область Иранскую”... Нужно было также показать персиянам, что их расчеты на долгую зиму, на бездорожье, на возможность близкого разрыва между Россией и Турцией — напрасны и что войска не остановятся до самых ворот Тегерана.

Случилось к тому же, что, по пословице “нужда сама всему учит”, самое главное затруднение, именно движение по глубоким снегам обозов и артиллерии — устранилось. Пущин предложил сделать особые треугольники, употребляемые в Финляндии для расчистки дорог. Их сделали в тавризском арсенале из толстых, сплоченных между собой бревен, окованных железом, запрягли в каждый по четыре пары волов и пустили вперед. Треугольники отлично разгребали снег направо и налево, оставляя за собой сглаженную дорогу, по которой колесный обоз, поставленный на зимние полозья, и пушки могли двигаться хотя и медленно, но довольно свободно.

По плану Паскевича все русские войска, не исключая и бездействовавшего до тех пор Карабагского отряда, одновременно двинулись вглубь Персии, чтобы соединенными усилиями сделать для шаха всякое сопротивление невозможным.

Войска правого Фланга, занимавшие под начальством генерала Лаптева Хойскую провинцию и Салмазский округ, должны были занять Урмию и охранять главный корпус от нападения персиян с той стороны, и в то же время наблюдать за турецкой границей, на всем протяжении ее от гор Урмийского округа до Хоя и Маку. Войска из Дей-Карагана, предводимые генералом Панкратьевым, двигались по марагинской дороге, чтобы рассеять персидские войска, стоявшие, в ожидании исхода переговоров, в Мири-Абаде, к югу от Урмийского озера. Карабагскому отряду поручено было овладеть Ардебилем и затем выйти на путь к Тегерану, для соединения с главными силами. А сам Паскевич с центральной колонной выступал из Тавриза на Миане, где стоял авангард барона Розена. Отсюда предполагалось перейти хребет Кафлан-Кух и наступать далее, по тегеранской дороге, к Зенгаму.

Паскевич ожидал, что совокупного наступления всех русских сил будет достаточно, чтобы заставить шаха просить снова мира. “Если же и сим не ограничится предпринимаемый поход,— писал он государю,— то, приближаясь к Казбину, назначу хана в Гиляны, где с радостью, как и во всем государстве, сбросят с себя иго ненавистного правительства”.

Вообще эта экспедиция на Астрабад, Гиляны и Мазандеран давно уже занимала Паскевича, а при настоящих обстоятельствах казалась ему для наказания персиян средством тем более действенным, что область эта была отечеством Каджаров, составляла собственный шахский удел, и отторжение ее вконец подрывало бы не только нравственный престиж, но и материальные средства персидского властителя. Поэтому, в случае упорства шаха, Паскевич уже заранее предположил с ранней весной, как только морские приготовления в Астрахани будут закончены, двинуть на Астрабад Тенгинский и Навагинский полки из отряда Вадбольского. Начальство над этой экспедицией, по личному указанию государя, предполагалось поручить полковнику Муравьеву как уже бывшему в тех местах и имевшему сношения с соседними туркменами, которые в этом случае могли быть весьма небесполезны.

Но так далеко идти не пришлось. Быстрое наступление русских войск сразу поразило паникой всю Персию. Шах готовился покинуть страну, персидские войска нигде не защищались, и план Паскевича быстро приводился в исполнение. 15 января генерал Лаптев занял Урмию. Урмия — многолюдный город, с порядочной цитаделью и с громадной стеной, укрепленной множеством башен; в историческом отношении она замечательна как родина Зороастра, основателя в персии огнепоклонства, в политическом,— это был главный центр сильного авшарского племени, из которого произошел Надир-шах, а имея в руках это воинственное племя, можно было ручаться за спокойствие всех остальных племен, обитавших вдоль турецкой границы. Тем не менее город сдался Лаптеву без всякого сопротивления. Еще ранее этого Козловский пехотный полк с четырьмя орудиями и сотней казаков, высланный Панкратьевым из Дей-Карагана, под командой полковника Пояркова, вступил в Марагу, и персияне, стоявшие в его окрестностях в числе двух тысяч, отдали город тоже без выстрела. Главные силы Паскевича шли из Тавриза по направлению к Миане, не встречая перед собой нигде и никаких препятствий. А позади их, в самом Тавризе, формировалось двенадцать тысяч местных азербайджанских всадников, готовых содействовать русским в низложении ненавистных им Каджаров.

Самые большие труды и большие результаты военных действий этого времени выпали на долю левого фланга, войскам Карабахского отряда, вызванным сюда обстоятельствами. Совершенное спокойствие, давно уже водворившееся в Карабаге, дало Паскевичу возможность еще в октябре производить Карабахским отрядом небольшие наступательные движения за Араке, чтобы отвлекать внимание неприятеля от Эривани, на которой в то время сосредоточивались главные усилия русской армии. Начальником Карабагского отряда уже с сентября был генерал-лейтенант князь Иван Михайлович Вадбольский, старый гусар, но еще бодрый, сохранивший весь пыл старинного кавалериста. Он постоянно носил на шее Георгиевский крест как памятник своих заслуг во время французских войн, когда, командуя Мариупольскими гусарами под Сен-Дизье, он был ранен в рукопашной схватке с французскими латниками палашом в живот — и остался во фронте.

С беззаветной храбростью Вадбольский соединял и значительную опытность в военном деле. Уже одним умением говорить и обращаться с солдатами, одними заботами о их нуждах, привычках и даже прихотях он показывал себя личностью далеко незаурядной. Солдаты, действительно, боготворили Вадбольского и в своих разговорах называли его “Николаем Чудотворцем” как по наружному сходству его серьезного, сухощавого лица, обрамленного длинной седой бородой, с изображением святого угодника, так и по доблестям его высокой души.

Но при всех своих достоинствах Вадбольский был слишком стар, чтобы быстро ориентироваться в совершенно новом для него крае, в новых условиях неиспытанной азиатской войны. После французских войн он командовал третьей гусарской дивизией и назначен был состоять при Кавказском корпусе лишь в конце 1826 года, прямо по случаю начавшейся войны с персиянами. Это незнакомство с театром военных действий и с характером неприятеля не замедлило отразиться невыгодно и на его образе действий. Когда Паскевич, озабоченный осадой Эривани, предписал Эристову сделать движение из Нахичевани на Маранду, Вадбольский должен был также перейти Араке и, со своей стороны, содействовать Эристову движением на Лори и Агар. Но Вадбольский, перейдя Араке 8 октября, дошел только до Дарауртского ущелья и 15 числа вернулся назад к Ах-Углану, оставив Эристова без всякой помощи. Хорошо, что тот, уже занявший в то время Тавриз, не нуждался ни в каком содействии, а могло случиться, что поспешное отступление Карабагского отряда было бы причиной весьма затруднительных обстоятельств, и Эристову пришлось бы иметь дело со всей персидской армией, уже не развлекаемой наступлением русских из Карабага к стороне Ардебиля.

Вадбольский собирался вновь перейти Араке и писал Паскевичу, что ожидает только формирования транспортов, но указывал на трудность переправы через Араке, на непроходимость дорог к Мышкину и особенно к Агару и потому просил разрешения взять с собой одни только вьюки. В действительности дорога на Мышкин считалась здесь совсем не затруднительной, а переправа при Маральяне была даже весьма удобна. Паскевич поручил этот рапорт уже в Тавризе, он понял, что князь еще не знает земли, в которой ему нужно действовать, и категорически предписал ему немедленно идти за Араке, чтобы овладеть Ардебилем.

Вслед за этим предписанием, это было 17 ноября, в то время, когда в Дей-Карагане начались конференции, князь Вадбольский, с полками Тенгинским и Навагинским, с двумя батальонами от егерских сорок первого и сорок второго полков, с двумя казачьими полками, со сводным уланским (дивизионы чугуевцев и белогородцев) и с тринадцатью конными и пешими орудиями, двинулся из Ах-Угланского лагеря к Асландузскому броду. Весь этот поход обошелся без тех затруднений, которых ожидал князь Вадбольский.

Один из участников шаг за шагом рассказывает об этом движении войск. На утро 18 ноября отряд уже был на берегу Аракса, перед Асландузским бродом, и расположился бивуаками вокруг какого-то разоренного и уже давно оставленного жителями селения, в котором еще лежали чрезвычайно красивые развалины мечети и возвышался уцелевший при ней высокий минарет, откуда, быть может, уже более века не раздавался крик правоверного муэдзина. А вблизи Араке сверкал своей быстротечной зыбью; на противоположном правом берегу его высился знаменитый курган; а там Дарауртское ущелье сходило к Асландузу широкими каменными ступенями с высот угрюмого Сальвата,— и по этой гигантской лестнице катились гремучие воды Дараурт-чая. Картина была ослепительна и располагала к думам о предстоящих опасностях. К вечеру 20 ноября отряд благополучно перешел зыбкую границу Персии, Араке, и снова расположился бивуаком уже вокруг Асландузского кургана. Здесь все говорило о былой славе русской. Правда, ни татары, ни персияне не могли ничего рассказать о совершившемся здесь,— ни исторического факта, ни легенды, ни песни; но на обширном кургане еще видны были следы земляного укрепления, построенного в 1812 году персиянами, то есть собственно европейскими инженерами того самого укрепления, которое не помешало герою Ленкорани с горстью храбрых разбить персиян наголову и взять курган штурмом.

Пройдя теснины, в которых бешено бьется Дараурт-чай, отряд остановился на урочище Замбур, в чудной зеленой долине, и почти вместе с отрядом пришло сюда татарское кочевье, многочисленные стада которого еще спускались с высот Сальвата. Это было проявление дружественного чувства со стороны окружающего населения.

По двухверстному крутому скату спустился отряд в глубокое ущелье, к самой подошве Сальвата,— исполина Азербайджанского, вершина которого так похожа на нахлобученную рогатую шапку. Подъем на него был труден, и на крутых, извилистых тропинках повозки и орудия приходилось втаскивать уже на канатах.

Через семь дней отряд вышел из гор на равнину, расстилавшуюся от города Лори, который расположен на утесах одного из скатов, идущих от снеговой вершины Севелана далеко за Ардебиль, и стал на левом берегу Кара-Су, при селении Мышкин. Здесь отряд получил приказание остановиться до окончания переговоров, начатых в Дей-Карагане. Но войска стояли в полной готовности выйти отсюда в любом направлении.

Таким образом Карабагский отряд составил левое крыло главного корпуса и должен был участвовать в его дальнейших действиях, если бы обстоятельства заставили внести оружие в Иранскую область.

И вот теперь, как только переговоры были прерваны, курьер из Дей-Карагана привез князю Вадбольскому приказание начать немедленно наступление к Ардебилю. Паскевич придавал большую важность этому движению и, чтобы быть более уверенным в успехе предприятия, послал начальника корпусного штаба, генерал-адъютанта графа Сухтелена, принять временно начальство над отрядом Вадбольского.

Граф Павел Петрович Сухтелен был старшим сыном известного своими заслугами, ученостью и глубоким умом инженер-генерала графа Петра Корниловича, которому Россия обязана учреждением генерального штаба. Под руководством отца молодой Сухтелен получил блестящее образование и начал службу тринадцать лет от роду колонновожатым в свите государя по квартирмейстерской части.

Через год он перешел в Кавалергардский полк и вместе с ним был в Аустерлицком сражении, где на его долю выпало участие в одном из самых тяжелых, но вместе с тем и

блестящих эпизодов этого боя. Сражение уже было проиграно, и русская армия отступала в крайнем расстройстве, когда на поле битвы явились кавалергарды. Стремительный удар этих отборных латников — удар, которому удивлялись впоследствии сами французы,— выручил пехоту; но сами кавалергарды попали в такую страшную сечу, что из четвертого эскадрона, в котором служил Сухтелен, уцелело только восемнадцать человек. Командир эскадрона полковник князь Репнин и все офицеры, раненые, остались в руках неприятеля. В числе их был и Сухтелен, контуженный ядром и раненый саблей в голову,— так дорого достался ему, семнадцатилетнему юноше, первый шаг на боевом поприще. В пятом часу пополудни Наполеон, возвращаясь с поля сражения, увидел пленных и узнал, что между ними есть гвардейские офицеры, потребовал к себе старшего. Явился князь Репнин.

— Вы командовали кавалергардским полком Императора Александра?— спросил его Наполеон.

— Я командовал эскадроном,— отвечал князь Репнин.

— Ваш полк честно исполнил свой долг,— сказал Наполеон и прибавил, что он с удовольствием отдает должное своим храбрым противникам.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда для солдата,— отвечал Репнин.

Наполеон ласково кивнул и спросил:

— Кто этот молодой человек, который стоит рядом с вами?

Князь Репнин назвал Сухтелена. Наполеон посмотрел на него с улыбкой и прибавил:

— Он слишком молод, чтобы бороться с нами.

— Молодость не мешает быть храбрым,— смело отвечал Сухтелен и прибавил:

Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées

La valeur n'attend pas le nombre des années.

[Я молод — это правда,— но в благородных душах

Храбрость не совпадает с годами.

Корнель]

— Браво, молодой человек! — воскликнул император.— Прекрасный ответ! Вы далеко пойдете!

Эта встреча с молодым Сухтеленом послужила сюжетом к известной картине, которая заказана была Наполеоном и вместе с портретами маршалов долго украшала стены его любимого Тюльерийского дворца. Рассказывают, что император Александр, по взятии Парижа, посетив зал, где она висела, долго стоял перед картиной в раздумье и наконец сказал: “Здесь не стыдно вспомнить и об Аустерлице”.

По окончании войны Сухтелен возвратился в Россию и был награжден за храбрость золотой шпагой и чином поручика. В кавалергардском же полку он дрался с французами в

кампанию 1807 года, участвовал в военных действиях против шведов в Карелии и Саволаксе, находился при взятии Свеаборга, был в жарком деле при Индельсальме, где пал князь Долгоруков, любимец императора Александра, и вместе с Кульневым переходил по льду Ботнический залив. Война сделалась привычной стихией для молодого человека, и потому, едва замолкли последние отголоски битв в суровой Финляндии, Сухтелен, пренебрегая почетной службой при отце, тогда чрезвычайном посланнике в Швеции, перенесся с севера на берега Дуная и там, в сражении при Слободзеи, выказал редкую отвагу и присутствие духа. В разгаре боя посланный Кутузовым передать приказание в отряд генерала Маркова, действовавший по ту сторону Дуная, он отважно бросился в рыбачий челн и переплыл Дунай под страшным огнем неприятеля, отделавшись, к удивлению всех, только легкой раной в ногу. Звание флигель-адъютанта, чин ротмистра, орден св. Владимира 4-ой степени и Анна на шее — были наградами его за эти кампании.

По возвращении из Турции Сухтелен отправлен был государем в Англию с секретным письмом к королю и возвратился оттуда только осенью 1812 года. Это была для него, в сущности, уже не первая служебная командировка, выходившая из круга обыкновенных обязанностей боевого офицера; после фридландской кампании он, вместе с отцом, был посылаем для обзора укреплений по западным границам империи, а во время шведской войны вел переговоры о сдаче Свеаборга и по заключении Фридрихсгамского мира состоял при своем отце, во время пребывания последнего посланником в Стокгольме.

В отечественную войну Сухтелен командовал Волынским уланским полком, в партизанском отряде Чернышева. Там он был ранен пулей в левую руку, но остался во Фронте и затем, целым рядом боевых отличий, заслужил алмазные знаки ордена св. Анны 2-го класса, Владимира на шею, Георгия 4-ой степени и чин генерал-майора на двадцать шестом году от роду. Из иностранных орденов он уже имел в то время: прусские “Pour le mérite” и Красного Орла 2-й степени, шведский Командорский Меча и золотую медаль, французский св. Людовика.

Последние годы царствования императора Александра Сухтелен командовал гусарской бригадой. В это же время, вместе с отцом своим, он возведен был в графское достоинство Российской Империи. Император Николай, в день своей коронации, произвел Сухтелена в генерал-лейтенанты и назначил генерал-квартирмейстером главного штаба Его Императорского Величества.

Когда началась персидская война, Сухтелен не мог оставаться равнодушным зрителем ее и просил у государя назначения на театр военных действий, куда отправлялись товарищи его боевой жизни: Давыдов, Бенкендорф, князь Долгоруков. Государь согласился с тем, однако, чтобы по окончании войны Сухтелен возвратился немедленно к своим обязанностям генерал-квартирмейстера главного штаба.

Человек еще молодой, полный сил, за которым притом считалось так .много боевого прошлого, Сухтелен занял в войсках Паскевича видное и ответственное положение начальника штаба отдельного Кавказского корпуса и в этом звании принимал участие во всех важных делах кампании 1827 года. Теперь назначение командовать карабагским отрядом дало ему случай навсегда вписать свое имя в летописи подвигов кавказских войск.

Отряд князя Вадбольского Сухтелен встретил уже под Аваром. “Трудно поверить,— писал он отсюда Паскевичу,— какое количество снега выпало в здешних местах, которые теперь представляют совершенный вид нашей северной зимы. Дорога состоит из узкой тропинки, и двигаться по ней с колесными арбами решительно невозможно”. Из Агара

войска шли к Ардебилю. И как прежде юный Сухтелен со своими волынцами особенно отличился при взятии Реймса, города, славного венчанием на царство французских королей, так и теперь ему предстояло взять Ардебиль, исстари знаменитый коронованием в нем персидских государей. Несмотря на суровую зиму, памятную в Персии необычайно глубокими снегами и холодом, Сухтелен 25 января уже стоял перед целью своего похода.

Старинный город беспечно раскинулся в широкой и привольной долине, окаймленной чудными Таврскими горами, между которыми, как снежный гигант, вставала громадная гора, достигающая двенадцати тысяч футов, и, казалось, не ждал нашествия неприятелей. Он совершенно не был готов к обороне. Сыновья Аббаса-Мирзы, Махмет и Джанхир, бывшие тогда в нем, заперлись в цитадели с двухтысячным гарнизоном и хотели защищаться; но нескольких ракет, пущенных в город, было достаточно, чтобы поколебать мужество защитников. Начались побеги из цитадели, а в городе вспыхнул мятеж, и жители, толпами бросившись в крепость, обезоружили всех сарбазов. Между тем старейшины города уже отворили ворота и встречали подходящий отряд с хлебом и солью. Сухтелен торжественно вступил в Ардебиль. Оба принца, лишенные возможности бежать, сдались военнопленными. В Ардебиле взято было русскими двадцать семь орудий и в числе их четыре пушки, захваченные в прошлом году персиянами в Ленкорани.

Русскому отряду довелось найти в Ардебиле и более печальные трофеи персиян от войны с русскими, чем эти четыре пушки. На том самом месте, где в 1826 году стоял шахский лагерь, верстах в четырех от города, влево от тавризской дороги, на высоком кургане, еще возвышались воздвигнутые по приказанию шаха шесть каменных пирамид, уставленных головами русских, павших во время нечаянного вторжения персиян в пределы Карабага. Сухтелен имел горестное утешение отдать последний долг неведомым мученикам-героям, погибшим за отечество. 31 января на кургане собраны были казачий Грекова полк, рота пионер и часть сорок второго егерского полка, наиболее других потерпевшего в начале войны, прочитаны молитвы об упокоении душ погибших за веру, царя и отечество, и при возглашении вечной памяти и троекратном залпе — кости опущены в могилу. Рядовые сорок второго егерского полка воздвигли над ней большой деревянный крест.

Но то, что сделало завоевание Ардебиля особенно памятным, как в летописях военной истории, так и в летописях мирной науки, это — приобретение Россией богатой библиотеки, хранившейся в мечети Шейх-Софи-Эдине, в этом палладиуме шиитской мудрости, служившем лучшим украшением города.

Мечеть эта, основанная, как полагают, в эпоху возобновления Тамерланом персидской монархии, замечательна своей архитектурой, богатством и древностью. Широкие и некогда величественные ворота, покрытые сводом, произведением смелого восточного зодчества, сохраняют еще остатки лепных украшений давно утраченного стиля и ведут во внутренность небольшого двора, окруженного толстыми каменными стенами, в которых вырублены кельи. В самой мечети узорчатые стены испещрены разноцветными, большей частью зелеными кирпичами. Мраморные ступени ведут во внутренность храма, где холодный мраморный пол весь устлан богатыми хороссанскими коврами,— приношениями богомольцев. В одной из стен, в прекрасно выделанной нише, под мрачным куполом стоит гробница святого основателя храма, Шейха-Софи-Эдине, привлекающая сюда на поклонение массу магометан шиитов со всего мира. Гробница отличается искусной резьбой, а богатое покрывало, облекающее и ее, и все возвышение, на котором стоит она, подобно тем, которые ежегодно отправляются почитателями Магомета из Каира в Мекку. Три лампады разливают слабый свет по этому обиталищу смерти, и при слабом мерцании их, и день и ночь, над гробом читаются молитвы смиренными отшельниками, на которых лежит обязанность блюсти в лампадах

неугасимый огонь. Рассказы магометанского духовенства о чудесах Софи-Эдине и написанная им история жизни святого — сбивчивы и противоречивы; но из них ясно, что шейх был человек с необыкновенным умом и большим по своему времени образованием. Вправо от ниши Софи-Эдине находится другая гробница, в которой покоится шах Измаил-Софи, основатель новой персидской монархии и родоначальник династии Софиев, царствовавшей до Надира-шаха. Некогда над этой царственной могилой висели укрепленные в своде храма четыре, принадлежавшие шаху Измаилу, меча, острием и силой которых он утвердил свой род на престол Персии. Рука беспощадного времени исторгла два из них, другие два сняты персидскими государями,— и теперь драгоценные памятники мощной древности заменены какими-то жалкими, ничего не стоящими изделиями новейших оружейников.

Левее царского гроба находится светлая веселая комната, устроенная Шах-Аббасом и украшенная подаренными им чашами и вазами индийского фарфора. Еще левее вход в залу, в которой и находилась славная на всем Востоке библиотека арабских и персидских рукописей. Говорят, что эта библиотека получила основание в царствование Шах-Аббаса, тщательно собиравшего все драгоценные литературные памятники древности, которые потом он и сложил в мечеть, сооруженную в память его деда, Шейх-Софи. Несколько драгоценных дверей, окованных серебром и чистым золотом, вели в это хранилище мусульманской мудрости. Этой-то драгоценной библиотекой, всем, что было в ней ценного, что составлялось веками из пожертвований многих властителей Персии, Сухтелен овладел как военным трофеем. И ныне она хранится в Императорской Санкт-Петербургской публичной библиотеке. А там, где она была прежде, любопытный путешественник находит лишь опустевшие полки.

Сухтелен провел это дело политично и тонко. Опасаясь увозом книг возбудить негодование народа, он начал выражением уважения и удивления перед мусульманской святыней и подарил мечети огромный персидский ковер. Ковер этот был тотчас же разостлан между гробами шейха и шаха Измаила. Это было доказательством благоприятного для русских расположения умов населения, которое, нужно сказать, гордилось еще накануне тем, что ни в городе, ни в округе его никогда не водворялись христиане. Тогда Сухтелен созвал к себе знатнейших представителей магометанского духовенства города, имевшего огромное влияние в целой Персии, и объявил им, что русское правительство, заботясь о нравственном воспитании и благоденствии своих многочисленных мусульманских подданных, крайне нуждается в книгах и в сочинениях знаменитых писателей Востока и что ему поручено по этому поводу просить согласия духовных лиц отправить всю библиотеку Шейх-Софи-Эдине в Петербург, где с книг снимут копии, после чего подлинники возвращены будут обратно. После долгих споров, рассуждений и отговорок почтенные хаджи и муллы наконец изъявили свое согласие. Тогда Сухтелен, в сопровождении их, отправился в мечеть и возложил на гроб шейха Софи парчовый мешок с восьмьюстами червонцев, сказав присутствующим, что это — дар русского императора. Богатство приношения поразило мулл, и книги тотчас же были сданы Сухтелену. Необходимо заметить, что персияне долго не понимали, что вся коллекция их манускриптов стала собственностью России; они все ждали их возвращения и были убеждены, что русские переписчики все еще не успели списать их рукописи.

Покорением Ардебиля закончились и военные действия 1828 года в Персии. Вновь занятые русскими пункты, Урмия, Марага, Ардебиль и путь к Миане,— образовали железную цепь, надвигающуюся к самому сердцу Персидской монархии. Сопротивление шаха становилось невозможным.

Еще прежде, когда передвижения русских войск только что начинались, невозможность сопротивления поняли англичане. Не отошли главные силы Паскевича и одного перехода от Тавриза, как мимо их верхом проскакал английский посланник Макдональд, а когда они едва миновали Уджан, он уже возвратился из Тегерана с известием, что шахом приняты все условия мира.

Паскевич назначил деревню Туркменчай пунктом, где должно состояться заключение мира,— и продолжал к нему наступление.

XXXIV. ТУРКМЕНЧАЙСКИЙ МИР

В сорока трех верстах от Миане, на пути из Тавриза, расположена небольшая деревня Туркменчай. Этому ничтожному селению, едва известному во времена Паскевича в ближайших центрах Персии, суждено было оставить свое имя в истории.

Получив известие, что Аббас-Мирза, по повелению шаха, едет навстречу русским войскам для подписания мирного договора, Паскевич тотчас послал нарочного, чтобы просить наследного принца остановиться в деревне Туркменчае. Место это было выбрано, по словам самого Паскевича, потому, что в окрестностях находится много деревень, которые могли достаточно обеспечить продовольствие войск.

В самом Туркменчае поместились, однако же, только два эскадрона улан да сводный гренадерский батальон из рот Херсонского и Грузинского полков, назначенные в конвой главной квартиры. Комендантом се на время конгресса назначен был командир Херсонского полка, полковник Попов.

Паскевич приехал в Туркменчай только шестого числа. Его встретили уланы и батальон пехоты за деревней. Он обошел войска, приветливо здоровался с солдатами и остался ими чрезвычайно доволен. “Я нашел их,— говорит он,— в исправности, и даже одежду — порядочной. А не надо терять из виду, что эти роты стояли в Уджане бивуаком при двадцатиградусных морозах, а летом, под Аббас-Абадом, выдерживали пятидесятишестиградусный зной”.

Квартира для Паскевича была отведена в доме деревенского кеят-худе, старосты. Домик этот, любопытный для каждого русского, и поныне сохраняется в том виде, в каком он был во времена персидской войны; он весьма невелик, одноэтажный и состоит всего из двух комнат, разделенных между собой коридором; в каждой комнате по одному окну, и так как стекла в них разноцветные, то в комнатах всегда царствует полусвет; наверху — бельведер с маленьким помещением, на дворе — прекрасный цветник, также маленький,— и все это обнесено, по восточным обычаям, высокой глиняной стеной. Паскевич занял в доме только одну комнату, оставив другую для Аббаса-Мирзы. Здесь и решилась судьба Персии, а в лавровый венок россии вплелась новая ветвь славы.

Местные жители долго помнили и хранили предание о том, как жили в доме туркменчайского старосты Паскевич и наследник Персидского царства. “Велик наш падишах,— говорил впоследствии хозяин домика одному русскому путешественнику, посетившему Туркменчай в 1839 году,— но ваш еще больше! Когда жил здесь Паскевич, наш Аббас-Мирза, бывало, все ходит за ним, все просит его,— такой смирный стал... А на дворе, бывало, целый день музыка гремит, а за деревней сотни пушек стояли”...

При данных обстоятельствах переговоры, конечно, затянуться надолго не могли, да притом и все пункты уже были рассмотрены и утверждены Аббасом-Мирзой еще в Дей-

Карагане. Русское правительство, нужно добавить, и само склонялось уже на уступки, готово было ограничить контрибуцию всего пятью курурами. Паскевич, однако, скрыл это решение,— и Аббас-Мирза согласился на все.

С девятого на десятое февраля, ровно в полночь, в момент, объявленный персидским астрологом самым благоприятнейшим,— мир был подписан. Сто один пушечный выстрел немедленно возвестил об этом событии войскам и народу. В лагере прогремело “ура”, персияне сами изъявляли живейшую радость, поздравляли и обнимали друг друга. Аббас-Мирза казался печальным; но и он скоро оправился и принимал поздравления от русских и персидских чиновников “с достоинством и свойственной ему любезностью”, как выражается Паскевич,— и тут же, по персидскому обыкновению, раздавал леденцы всем присутствующим.

По туркменчайскому трактату Персия уступала России Эриванское и Нихичеванское ханства, причем обязывалась не препятствовать переселению в русские пределы армян, предоставить России исключительное право плавания по Каспийскому морю и заплатить десять куруров, или двадцать миллионов рублей серебром, контрибуции.

Когда трактат был подписан, Аббас-Мирза предложил снять с края постоянную угрозу военной бури, которая заключалась в стоящих друг против друга враждебных войсках. Предложение было принято. Персидские войска, занимавшие Зангам, отступили к Тегерану, русский авангард, стоявший в Миане, отошел к Тавризу, а графу Сухтелену послано было приказание очистить Ардебиль, город, в котором Аббас-Мирза должен был иметь свою временную резиденцию до окончательного выступления русских войск из Азербайджана. Но когда именно русские должны будут очистить Азербайджан, долго оставалось нерешенным вопросом.

Дело в том, что, по настояниям Паскевича, из числа десяти куруров семь — должны были быть внесены прежде, чем войска оставят Тавриз; в обеспечение восьмого курура русские временно оставляли за собой Хойскую провинцию, а уплата остальных двух куруров была рассрочена персиянам на несколько лет. Пять куруров персияне заплатили. И двадцать шесть повозок, нагруженных золотом и запряженных рослыми лошадьми, покрытыми богатыми коврами, имели торжественный въезд в Тифлис при радостных криках жителей, которым казалось, что в стены Тифлиса возвращаются сокровища, некогда увезенные из него свирепым Ага Мохаммед-ханом, родоначальником нынешней царской династии. Шестой курур был в дороге,— а седьмого достать было пока негде. Шах не иначе соглашался дать его из собственных денег, как за поручительством английского правительства в том, что Аббас-Мирза впоследствии возвратит ему эту сумму; английский полномочный министр Макдональд не решался дать это ручательство, не уверенный, будет ли Аббас-Мирза иметь средства к уплате без возвращения ему Азербайджана. Чтобы выручить Аббаса-Мирзу из столько затруднительного положения, Макдональд предложил Паскевичу из своего казначейства немедленно миллион рублей серебром, с тем чтобы русские очистили Тавриз таким образом не за семь, а за шесть с половиной куруров. Паскевич на это не согласился, требуя в обеспечение остального миллиона Урмийскую провинцию. Дело наконец уладилось. После короткого колебания Аббас-Мирза согласился оставить в русских руках Урмию,— и очищение Тавриза было решено. Не лишнее сказать, что миллион, добытый с таким трудом от Макдональда, обошелся персидскому наследному принцу весьма недешево: Макдональд за услугу потребовал уничтожения трактата, которым Англия обязывалась, в случае нападения на Персию какой-либо державы, давать ей восемьсот тысяч рублей субсидии или помогать войсками и оружием.

Когда, таким образом, все дела были, наконец, улажены, Паскевич отправил в Тегеран генерал-майора барона Розена приветствовать шаха с заключением мира. Вместе с Розеном ехали флигель-адъютант полковник граф Толстой и генерального штаба штабс-капитан Куцебу; на последнего возлагалась обязанность собрать в Персии русских пленных и препроводить их в родные границы.

Когда они готовились к отъезду, Мирза-Абдул-Гассан-хан, министр шахский, просил Паскевича отправить в подарок шаху пять тысяч червонцев, и, если возможно, новой монетой, утверждая, что шах примет этот подарок с особенным удовольствием. Как ни странна была просьба, как ни нелепо казалось подносить царствующему государю денежный подарок, однако настойчивость, с которой просил об этом персидский министр, не оставляла ни малейшего сомнения, что предложение это делается по желанию самого шаха. “Английский посланник,—отмечает Паскевич в своем журнале,— подтвердил мне о таковой странности в характере Фетх-Али-Шаха”. И вот, собрав и вложив в богатый парчовый мешок пять тысяч самых новеньких червонцев, Паскевич поручил барону Розену вручить их шаху, в навруз, то есть десятого марта, в день нового года по магометанскому летоисчислению.

Розен прибыл в Тегеран первого марта. На пути повсюду, в городах и селениях, его встречали с почестями; две тысячи конницы сопровождали его в виде почетного эскорта. Но народ, ожидавший появления русских войск за Кафлан-Кухом, видимо был недоволен изменившимися обстоятельствами. Находились смельчаки, которые прямо говорили Розену: “Зачем вы едете одни? Почему не ведете с собой войска и отдаете нас опять ненавистным Каджарам?”. Во многих местах ожидались серьезные волнения, и Розен заметил, что войска персидские повсюду стояли наготове.

Целую неделю прожил Розен в Тегеране, прежде чем принят был шахом в торжественной аудиенции. Она состоялась восьмого марта. Прием был без соблюдения восточного унизительного этикета, раз навсегда уничтоженного для русских настойчивостью Ермолова. Шах был чрезвычайно благосклонен, выражал горячие чувства русскому императору, с уважением говорил о Паскевиче, удивлялся строгой дисциплине в русских войсках. “Если подданные мои и потерпели разорение,— сказал он Розену,— то не от русских, а от своих же соотечественников”. Шах поинтересовался, между прочим, как русские смотрят на Аббаса-Мирзу, и остался весьма доволен, когда Розен дал ему тонкий дипломатический ответ, что “Аббас-Мирза есть достойный сын великого государя”.

Через два дня, в день навруза, шах получил назначенный ему подарок. К сожалению, впечатление подарка было ослаблено непрошеной молвой, которая с чудовищной быстротой облетела всю Персию и заранее дошла до шаха. Говорили именно, что Розен везет с собой не пять тысяч червонцев, а четыреста тысяч рублей, и шах, доверивший слуху и уже предвкушавший удовольствие получил именно означенную сумму, был разочарован. Судьба, впрочем, позаботилась изгладить в уме повелителя Ирана нелестное мнение о щедрости русских. Почти в тот самый день, как Розен представлял шаху подарок, вспыхнуло восстание среди племени эздов. Жители выгнали от себя правителя, одного из царственных принцев, разграбили дом его и, может быть, из опасения наказания, отправили шаху из награбленного богатства восемь миллионов рублей, рассчитывая смягчить гнев его. Это было совершенной неожиданностью для шаха, а о том, каким путем достались ему эти сокровища, он не хотел и думать. Розен писал Паскевичу, что шах был в восторге и даже сказал ему: “Я не жалел платить деньги русским для блага и спокойствия своего государства, и Аллах ниспослал мне эти, взамен тех”.

Изыскивая сделать что-либо приятное русскому государю в ответ на подарок, шах повелел, чтобы гвардейский батальон джанбазов, расположенный в Тегеране, именовался батальоном Его Величества, императора Всероссийского, а один из батальонов азербайджанских — именем Паскевича. В то же время, чтобы дать своим подданным пример к возвращению русских пленных, шах приказал освободить даже нескольких женщин из своего гарема. “Такой беспримерный случаи — говорит Розен в донесении к Паскевичу,— изумил тегеранских вельмож и народ, но не вызвал среди персиян подражания”.

Вообще, пленные возвращались с большими затруднениями. В Казвине, еще на пути к Тегерану, Розену едва не силой пришлось освобождать многих несчастных, скрытых и запертых в тайниках при первом слухе о приближении русской миссии. Собрать всех пленных не было уже никакой возможности: многие были проданы туркменам и через десятые руки дошли до самой Хивы; немалое число их томилось в отдаленнейших провинциях Персии, где шахский фирман являлся гласом вопиющего в пустыне. А в Тавризе совершалось и нечто такое, что было прямой противоположностью размену военнопленных. Именно в последние дни замечено было, что персияне исподтишка склоняют русских солдат к побегам и что эти подговоры идут с каждым днем все с большей энергией. Были даже случаи открытого насилия, и нескольких солдат, захваченных поодиночке, увели в плен, а впоследствии или зачислили в шахскую гвардию, или продали в далекое безысходное рабство. Вспоминается при этом подвиг рядового ширванского полка Куксенки, который, в одном из подобных случаев, обнаружил замечательное присутствие духа и оказал русскому делу весьма серьезную услугу.

Однажды,— это было вечером 4 марта,— тавризскому коменданту дали знать, что несколько русских солдат задержаны персиянами в одном из домов, стоявших в самой отдаленной части глухого форштадта. Полицеймейстер с офицерским патрулем немедленно отправился туда, и солдаты были освобождены. На шум сбежалась между тем огромная толпа вооруженного сброда и напала на патруль; офицер был ранен, и слабая команда вынуждена отступить. Вот в это-то время двое рядовых, Куксенко и другой, имя которого не сохранилось, были отрезаны от своих и очутились среди толпы персиян. Товарищ Куксенки, оступившись, упал в какую-то яму, и хотя успел выскочить из нее, но уже без оружия. Тогда оба они бросились в первую попавшуюся хату и в ней заперлись. Персияне, окружив дом, потребовали, чтобы солдаты сдались, и, получив отказ, вломились в двери. Тогда ширванцы сделали почти невероятное дело. Выстрелив два раза из оружия и положив на месте двух персиян, Куксенко громко скомандовал самому себе: “На ру-ку!” — и с криком “ура!” поднял на штык первого персиянина; затем он устремился в толпу и, прокладывая себе путь штыком и прикладом, не только отбился от сотен вооруженных людей, но успел провести сквозь остолбеневшую толпу и своего безоружного товарища. Геройский подвиг этот послужил достойным эпилогом к персидской кампании. Паскевич собственноручно надел на Куксенко знак отличия Военного ордена.

Случаи, вроде рассказанных, указывали на враждебное настроение жителей Азербайджана в отношении к русским и заставляли ожидать все больших и больших беспорядков. Действительно, когда седьмой курур был кое-как Аббасом-Мирзой собран и уплачен, когда таким образом наступало время выступления русских войск из Тавриза и известке об этом распространилось по Азербайджану, повсюду вспыхнули волнения. Персияне, опасаясь теперь мщения Аббаса-Мирзы за измену и стараясь смягчить его гнев, видимо усердствовали нападениями на русских. В самом Тавризе несколько солдат и офицеров были убиты из-за угла; в Мараге команда, посланная на фуражировку, встречена была

каменьями; в Урмии один офицер, проходивший по улице ночью, был ранен кинжалом. Ходили слухи, что урмийские жители готовятся даже устроить и поголовную ночную резню.

Конечно, как в Урмии, так и в Хое оставался довольно значительный русский отряд, под начальством генерала Панкратьева, и потому серьезной опасности не было; но так как войска эти оставались в персидских провинциях на неопределенное время, пока не будет уплачен персиянами восьмой курур, то естественно было позаботиться о водворении порядка в буйствовавших провинциях,— и меры принимались.

Выступление русских войск из Тавриза началось 22 февраля, когда из города вышла первая колонна, и продолжалось до 8 марта. И все это время население города провело в тревоге, усложнившей для русских войск и без того хлопотливое дело. Произошло это, между прочим, оттого, что вместе с войсками готовился уехать из Тавриза и глава мусульманского духовенства, тавризский “муджтехид” Ага-Мир-Феттах-Сеид, пожелавший переселиться в Россию. Нужно сказать, что влияние муджтехида на весь Азербайджан, и тем более на жителей столицы, было громадно. Добрые качества души его, бескорыстие и готовность помогать бедным привязывали к нему всю чернь, находившую в нем всегдашнего своего защитника, и отъезд его не мог не поднять на ноги все население Тавриза. Само персидское правительство думало, что отъезд Феттах-Сеида в Россию будет настолько же пагубен для власти Каджаров в Азербайджане, насколько принесет пользу России окончательным умиротворением ее мусульманских провинций.

Действительно, приобретение в лице муджтехида, столь важной духовной особы Алиевой секты, не могло не иметь для русских серьезного политического значения, которым Паскевич и намеревался воспользоваться в полной мере. Он думал подчинить Феттах-Сеиду все духовенство шиитов, по необходимости относившееся до сих пор в делах, касавшихся веры, к персидским муджтехидам, которые своим влиянием и поддерживали только ненависть к русским в своих единоверцах. Но персидское правительство далеко не прочь было удержать эти старинные порядки и принимало меры, чтобы отклонить муджтехида от его намерения. Аббас-Мирза слал ему пригласительные письма, английский посланник его уговаривал, Аллаяр-хан требовал от Сеида какой-то небывалый долг, чтобы этим иском задержать его,— но муджтехид остался непреклонен, и выезд его из Тавриза был назначен на 7 марта. Наступил, наконец, этот день. С утра народ запрудил все улицы, а кровли усеялись женщинами. Толпа волновалась.

Муджтехид сам вышел на балкон своего дома. С большим смирением, всегда его отличавшим, он говорил народу, что изменить слову, однажды им произнесенному, для него было бы еще прискорбнее, чем расстаться с родиной и близкими, что поступок его не может быть подвергнут осуждению, так как не деньги и почести влекут его в Россию, а исключительно привязанности к народу, который он имел случай узнать и среди которого решился окончить свою жизнь. Толпа отвечала воплями и рыданиями. Наружность муджтехида в эти трудные минуты изменилась; он был бледен и дрожащим голосом уговаривал народ забыть его пребывание в Тавризе.

В восемь часов утра дорожная коляска Феттах-Сеида, окруженная казачьим конвоем, выехала из ворот дома; за ней бросилась толпа. Многие кидались под лошадей, все — целовали руки его и просили на память куски его одежды. Верст пять за городскую заставу провожала его толпа; но вот экипаж понесся во всю прыть, и — народ отстал.

На следующий день, 8 марта, утром, выехал из Тавриза Паскевич, а в полдень Аббас-Мирза имел торжественный въезд в свой загородный дворец,— и торжественный и

печальный в одно и то же время. Управляющий тогда Азербайджанской областью генерал-майор барон Остен-Сакен, еще оставшийся в городе, так рассказывает об этом в своих записках:

“Положение Аббаса-Мирзы, при возвращении в Тавриз, было самое неприятное, которое стеснило бы и умнейшего из умных. Но я был свидетелем забавной сцены, выразившей и находчивость его, и дерзость в высшей степени. Я оставался в Тавризе с последней колонной войск до приезда Аббаса-Мирзы, которому должен был передать управление Азербайджанским краем. Я ожидал его с почетным караулом в загородном дворце, вокруг которого толпились тысячи народа. После приветствия, обращенного к солдатам, Аббас-Мирза пригласил меня с собой в комнату. Войдя, мы подошли к окну, и я с возрастающим любопытством ожидал, что он скажет народу. Я приказал переводчику слушать со вниманием и передать мне все буквально. Вот вкратце слова его:

“Несчастье, ниспосланное нам Богом, да послужит для нас уроком. Взгляните на этот дворец; здесь зимовала казачья бригада. И что же? Прутика не тронуто, как будто бы я поручил мой дворец лучшему хозяину. А вас, негодяев, куда ни поведу,— вы везде грабите, жжете и убиваете. Вас встречают и провожают проклятиями. Может ли быть над вами благословение неба?”

Народ был ошеломлен такой речью,— но разразился знаками одобрения.

Довольный спокойствием, порядком и сохранением Тавриза, Аббас-Мирза сказал между прочим полковнику Лазареву:

“Кто любит своего коня, тот радуется, когда его холят. И я тем более обязан вам за попечение о жителях, что они весьма близки моему сердцу; я жил с ними от самой моей юности”.

Как только Аббас-Мирза приехал в загородный дворец, последние русские войска, полки Херсонский и Грузинский, покинули Тавриз, чтобы дать ему возможность в тот же день торжественно вступить в свою резиденцию и уже в отсутствие гяуров встретить 9 марта, то есть навруз, новый мусульманский год. Войска потянулись по персидской земле, конвоируя громадные обозы, магазины и парки,— все, что засело в Тавризе до последней минуты и теперь двигалось обратно на русскую сторону Аракса. Еще стояла суровая зима, попутная гористая часть Персии была совершенно безлюдна и безлесна, и войскам приходилось переносить неимоверные лишения, не имея часто даже кустарника, чтобы разложить на ночлег скудный бивуачный огонек. Так дошли до Аракса и 24 марта переправились через него у Асландуза, чтобы встретить раннюю в тот год Пасху уже на русской земле. Южная часть Карабага ничем не отличается, правда, от Персии: те же опустошения, то же безлюдье,— следы минувшего персидского вторжения, от которого страна не успела еще оправиться. Но здесь ласковее было солнце, приветливее смотрело ясное, голубое небо. Начиналась весна, и оживающая природа вливала силу и бодрость в усталых солдат. Сухое разговенье одними сухарями, даже без водки, которой не нашлось у маркитантов, не ослабило общего веселого настроения духа. Войска сознавали, что пришли домой, что труды долгой войны закончены, и закончены со славой, обессмертившей имена участников ее.

Результаты войны были, в самом деле, необыкновенно богаты для России, и это умели оценить уже ближайшие ее современники.

“Многие,— говорит один из них,— с легкой руки Паскевича, приписывали причины этой войны интригам самого Ермолова, из желания прославить себя. Что он бесцеремонно обращался с персидским двором, часто задирал его и всячески старался мешать влиянию англичан в Персии — это правда; что он завистливым оком смотрел на богатую Эриванскую провинцию, нужную нам, сверх того, для обуздания разбойнических кочевых татар, живших тогда на пограничной черте и имевших поддержку в эриванском хане,— это тоже несомненно. Но в сравнении с лордом Клейвом или Гастингсом Ермолов был ангел чистоты. И если интрига его вывела персиян из терпения и понудила начать войну, самую счастливую для России по легкости завоеваний и полученной огромной контрибуции, втрое покрывавшей расходы,— то Ермолову за эту важную для наших польз интригу следует поставить памятник, с означением, впрочем, на пьедестале и услуги англичан тогдашней Ост-Индской компаний, как подстрекателей персиян к вторжению в русские пределы”.

Заключение мира праздновалось в Петербурге с особенной торжественностью. Признательный монарх щедро наградил вождя победоносных русских войск. За Аббас-Абад Паскевич получил орден св. Владимира 1-го класса, за взятие Эривани — Георгия 2-ой степени, за заключение мира — миллион рублей ассигнациями из взятой контрибуции, за присоединение к русским владениям Армянской области с главным городом Эриванью он возведен в графское достоинство, с титулом Эриванского.

Паскевич в следующих словах выразил свою благодарность войскам: “Вам я обязан и славой личной, и милостями ко мне Государя. С растроганной душой благодарю вас, храбрые друзья и сослуживцы”. Персидский шах, в свою очередь, прислал Паскевичу алмазные знаки ордена Льва и Солнца на бриллиантовой цепи, ценой в шестьдесят тысяч рублей, чтобы этот орден наследственно переходил в фамилии Паскевича. Извещая о своих наградах Жуковского, Паскевич писал между прочим: “Жаль, что ваши струны замолкли; может быть и мы в превосходных творениях ваших приютились бы к бессмертию если не громкими делами, то перенесением трудов неимоверных. Право, их можно не краснея передать если не потомству, то хотя современникам на память”... Но и муза Жуковского не осталась холодна к славе того, с чьим именем связана память об одной из победоноснейших войн России.

И все царство Митридата,
До подошвы Арарата,
Взял наш северный Аякс;
Русской гранью стал Араке.

Так говорит Жуковский в своем знаменитом стихотворении: “Бородинская Годовщина”.

Всем офицерам, участвовавшим в компании, пожаловано не в зачет годовое жалование, а нижним чинам по пять рублей ассигнациями на человека. Нижегородский драгунский полк получил Георгиевские штандарты; сорок второй егерский — знамена с надписью “За оборону Шуши против персиян в 1826 году”; полки Кавказской гренадерской бригады — надпись на кивера: “За отличие”. Кроме того, в память покорения Эривани, седьмому карабинерному полку повелено именоваться впредь Эриванским карабинерным полком, а шефом Грузинского полка назначен новорожденный великий князь Константин Николаевич. Приказ состоялся об этом 27 октября 1827 года и получен во время стоянки в Тавризе. “Офицеры,— говорит историк этого полка,— возбужденные чувством признательности, блестящим торжеством доказали чужеземцам, как русские люди умеют ценить милость государя,— и тогда же положили между собой — праздновать этот день

всегда и везде, где бы они ни находились, как память счастливейшего события в их полковой жизни”.

Не лишнее сказать, что Макдональд усиленно домогался, чтобы ему и всем чиновникам английской миссии, за хлопоты и принятые на себя обязательства, исходатайствованы были русские ордена. Паскевич предложил назначить ему орден св. Анны 1-ой степени, Макнилю — 2-ой степени, прочим — Владимирские или Анненские кресты. Но так как по английским статутам никто не может получить чужестранного ордена, не участвуя в боях с войсками той державы, от которой получается орден, то разрешения на это со стороны английского правительства дано не было. Макдональд получил богатую табакерку с портретом императора, Макниль — табакерку с вензелем.

Аббасу-Мирзе как одному из уполномоченных, подписавших мирный трактат, император назначил в подарок восемнадцать пушек с полным к ним комплектом боевых зарядов и свой портрет богато украшенный, для ношения на груди, на голубой ленте. “Приличнейшего подарка для наследника престола соседней державы нельзя было приискать”,— писал граф Нессельроде Паскевичу, поручая ему отправить этот драгоценный подарок с нарочным офицером. Паскевич послал своего адъютанта ротмистра Фелькерзама, поручив ему, однако, вручить подарки не ранее, как после ратификации мирного договора шахом. Фелькерзам застал Аббаса-Мирзу в Тегеране.

3 июня шах подписал мирный трактат, а 4 числа Фелькерзам и русский консул Амбургер были приняты им в торжественной аудиенции. Шах, видимо, уже примирился с понесенными потерями; он говорил Амбургеру, что война была даже полезна Персии в том отношении, что соединила ее с русским государством теснейшей дружбой.

“Двадцать миллионов, которые я. отдаю,— говорил шах,— чем отличаются от тех денег, которые хранятся в моем казначействе? Разве тем только, что они перешли к императору. Но что же делать?.. Его величество нуждался в деньгах и имел большую надобность в двух моих областях для войны с султаном. Я ему все это уступил охотно, но если они мне когда-нибудь понадобятся, то император, конечно, мне в них не откажет”.

7 числа последовало представление и наследному принцу. В церемониальном шествий Амбургер и Фелькерзам ехали верхом; портрет и письмо императора на золотом подносе вез один из чиновников русской миссии, также верхом; церемониймейстер, шахские есаулы, ферраши и войско сопровождали шествие. Во дворе дворца, где был расположен почти весь тегеранский гарнизон и все придворные чины, все сошли с коней. Фелькерзам взял поднос в руки. Войска отдали ему честь с барабанным боем. Аббас-Мирза встретил посланников сидя на троне, окруженный своими и шахскими министрами.

Амбургер громко провозгласил, что государь император соизволил пожаловать его высочеству наследному принцу восемнадцать пушек и свой портрет в знак особого своего благоволения. Принц встал и, сделав несколько шагов вперед, принял портрет и письмо. Каймакам прочел его. Наследник был видимо тронут и с чувством выражал благодарность государю. “Одно, что его высочество позволил себе против этикета,— доносил Амбургер,— было то, что он не надел тотчас на себя портрета. Но он извинился тем, что хочет в первый раз украсить себя оным, когда представится императору”.

Последний, заключительный акт Персидской войны совершился 29 июля 1928 года, под стенами только что покоренной тогда русскими турецкой крепости Ахалкалаки. Там произошел размен ратификаций мирного договора между Россией и Персией.

В этот день, когда спала жара, весь генералитет и все офицеры, находившиеся при главной квартире, собрались к ставке главнокомандующего; тут же выстроен был весь сорок второй егерский полк и дивизион сводного уланского полка в парадной форме. В семь часов вечера музыка возвестила приближение персидского посланника, Мирзы Джафара. Он нес в руках, под золотой парчой, ящик с мирным договором. Ему предшествовали комендант главной квартиры и несколько ассистентов, из офицеров разных полков. Войска отдавали честь, играла музыка. Паскевич, окруженный блестящей свитой, принял посланника в своем шатре, где перед ним на столике стоял обитый малиновым бархатом ящик, верхнюю крышку которого украшали пять золотых орлов, а края выложены были золотыми позументами. В этом-то ящике, обшитом внутри дорогим атласом, хранились три свитка туркменчайского договора на тонком белом пергаменте, подписанных собственноручно императором Николаем. К каждому из свитков привешена была, на золотом шнуре с кистями, государственная печать, сохранявшаяся в отдельном золоченом футлярчике.

Персидский трактат, за подписью Фет-Али-Шаха, уложен был в ящик, обшитый снаружи чистым золотом с вытесненными на нем цветами в азиатском вкусе. Самый трактат был вписан в книгу с богатым парчовым переплетом.

Такая роскошь трактатов, по сравнению с трактатами прошлых времен, была чрезвычайна; еще за сто лет перед этим мирные договоры европейских держав не имели и тени великолепия. Славный, например, Нейштадтский трактат был привезен к Петру в двух простых деревянных лубках, перевязанных простой бечевкой.

Размен ратификаций совершился в шатре. Паскевич, сопровождаемый персидским посланником, вышел к войскам и был приветствуем громкими криками “ура!” Егеря и уланы прошли перед ними церемониальным маршем. Не лишнее сказать, что сорок второму егерскому полку, который первый из войск Кавказского корпуса сражался с главными силами Аббаса-Мирзы в самом начале войны, пришлось быть единственным свидетелем и последнего обряда заключения мира, так как другого полка при главной квартире в то время не случилось.

Персидская война заключилась окончательно. Но новым поводом к торжеству послужило вступление в Москву сводного гвардейского полка, который в тяжкой войне заслужил себе прощение за вину, увлекшую его на отдаленный Кавказ, и новое благоволение государя. Когда, 3 ноября 1828 года, он с музыкой и распущенными знаменами вступал в улицы первопрестольной Москвы, тысячи жителей древней столицы спешили приветствовать грозных победителей. Москва первой узнала о вторжении персиян, и первая же увидела на стогнах своих знамена побежденной Персии. Последние принадлежали ей. “В бытность мою в Москве для священного коронования,— писал император в рескрипте своем на имя тогдашнего московского военного генерал-губернатора князя Голицына,— получил известие о вторжении персиян в наши области и вслед затем донесение о поражении и изгнании неприятеля из пределов Империи. В ознаменование случая сего даровал я любезному первопрестольному граду Москве первые знамена, отбитые от персиян, повелев, чтобы и впредь все трофеи, которые будут взяты во время войны с Персией, были бы также хранимы в Москве”. Лейб-гвардии сводный полк и вступал теперь в первопрестольный город России с новым трофеем, который предназначался для московской оружейной палаты, где хранятся многоразличные сокровища русских царей. Это был драгоценный трон Аббаса-Мирзы, завоеванный в Тавризе и представляющий собой старинное кресло с резной раззолоченной работой, обитое малиновым бархатом. Остальные трофеи: семь пушек, вылитых персидскими мастерами на тавризском литейном дворе, во время управления

русскими Азербайджанской областью; ключи от ворот персидской столицы, нарочно сделанные для поднесения императору искуснейшим оружейником принца, знаменитым Ага Мохаммед-Алием; две любопытные исторические картины, взятые в Уджанском дворце; азиатские ружья, палатка Аббаса-Мирзы с двумя богатейшими принадлежащими к ней коврами и, наконец, богатая Ардебильская библиотека, заключавшая в себе драгоценные манускрипты Персии — отправлены были в Петербург.

Персидская война, случившаяся в один из значительнейших моментов жизни России и сопряженная с неимоверными трудностями, вести о которых разносились по всей русской земле, оставила глубокое впечатление, и ближайшие современники отметили ее целым рядом памятников.

Император Николай установил для всех участников войны серебряную медаль на соединенной ленте орденов св. Георгия и Владимира. “Да послужит знак сей,— сказано было в высочайшем приказе войскам,— памятником мужества и кроткого поведения вашего. Да будет он новым залогом верной службы русского войска и моей к вам признательности”.

Грузия предложила построить в Тифлисе, со стороны эриванского въезда, триумфальные ворота с устроенным внутри их помещением для четырех отставных ветеранов. Сводчатые ворота эти предполагалось сложить из дикого камня, а все барельефы и украшения, представляющие виды взятых крепостей, отлить из чугуна, “дабы время не истребило их и потомство запечатлело бы в памяти своей блистательные успехи российского оружия”. На лицевой стороне ворот проектировался бюст императора Николая с надписью: “Признательная Грузия победоносному российскому воинству”; на другой — герб древней Иверии с вензельным именем императора, а под ним, в лавровом венке, названия покоренных крепостей и тут же на мраморных досках имена генералов и всех полков, участвовавших в персидской кампании. Жители Грузии готовы были пожертвовать для этого значительные суммы, самый проект уже был представлен на высочайшее утверждение, но почему он не был приведен в исполнение,— неизвестно.

К числу памятников персидской войны следует отнести и богатое собрание литографированных видов и картин, изображающих главнейшие события ее. Эти картины были написаны известным художником Машковым, который был прислан на Кавказ академией наук и художеств еще в 1816 году и с тех пор не покидал Кавказа. Находясь в беспрерывных разъездах, он осмотрел все, что было любопытного на Кавказе, и составил богатые коллекции картин, из которых некоторые были представлены императору Александру Павловичу. В персидскую войну Машков сопровождал Паскевича, был очевидцем главных происшествий этой достопамятной кампании и создал целый альбом из тринадцати больших картин, изображающих следующие моменты: 1) поражение персиян под Елизаветполем, 2) сражение при Джеванбулаке, 3) положение победителей и побежденных по окончании Джеванбулакского боя, 4) сдача крепости Аббас-Абада, 5) взятие Сардар-Абада, 6) покорение Эривани, 7) переправа русских войск через Аракс, 8) торжественное вступление в Тавриз, 9) поход на Тавриз, 10) первое свидание графа Паскевича с Аббасом-Мирзой, 11) заключение мира в Туркменчае, 12) персидский транспорт с золотом, переходящий через горы и 13) прием контрибуционного золота в Тавризе.

Художник старался изобразить в своих картинах все роды войск, как русских, так и персидских, в их характерных типах и костюмах. Здесь и кавказские солдаты и черноморские казаки и сарбазы и джамбазы, и куртинцы и прочие,— и в различных положениях этих воинов автор хотел представить их характеристику. Кроме

художественного достоинства, удачный выбор момента изображаемых событий и портреты всех наиболее выдающихся деятелей придавали этой коллекции особенную историческую ценность. [Стоили все эти гравюры в то время пятьдесят рублей ассигнациями. Но сохранились ли где-либо полные экземпляры этой коллекции, к сожалению, неизвестно.]

Были, как известно, и еще картины, не вошедшие в это собрание. К ним принадлежат “Торжественная встреча русских войск архиепископом Нерсесом в Эчмиадзине”, о которой упоминает Красовский, и “Переселение 40000 армян из Персии в русские пределы под личным распоряжением полковника Л. Е. Лазарева в 1828 году”, о чем упоминается в “Собрании актов, относящихся к обозрению истории Армянского народа.

Любопытно также, что сами персияне оставили в России характерный памятник этой войны. Еще во время пребывания Паскевича в Тавризе, к нему явились два персидские художника и предложили выбить медали в память взятия русскими войсками Эривани и пребывания их в столице Азербайджана. Паскёвич отправил образчик таких медалей из золота, серебра и меди в Петербург и писал, что “медали эти, выбитые самими персиянами посредством штемпелей и машин, сделанных ими же, в самом Тавризе, послужат довольно замечательным памятником этих событий”.

Впоследствии знаменитый русский скульптор и медальер, граф Федор Петрович Толстой, создавая свою известную коллекцию медалей войны 1826—1829 годов, в дивно художественных аллегорических изображениях отметил и славнейшие подвиги персидской войны. Последней посвящены им имение три медали, изображающие Елизаветпольскую победу, взятие Эривани и взятие Тавриза. На медали в память Елизаветпольской битвы изображен всадник, вместе с конем поверженный могучим витязем, чело которого осенено шлемом. Поверженный перс с его характерным лицом и рукой, которой он хочет закрыться от удара, мощный, с крупными формами конь, опрокинутый на землю, наконец, витязь с гордо поднятым челом и с мечом, устремленным на врага,— поражают совершенством художественного выполнения. Медаль на взятие Эривани представляет русского война, напоминающего видом своим императора Николая; у ног его, головой к зрителю, обнаженное тело врага, брошенное на развалины; кругом стены крепости, по местам разбитые и превращенные в груды камней; справа от витязя, на стене, водружены знамена, а слева — восходящее из-за развалин солнце — эмблема новой эпохи свободы и просвещения, наставшей для Армении. Взятие Тавриза изображено так: несколько старшин, облеченных в длинные восточные костюмы, почтительно подходят к витязю, ожидающему их; за ними стены города. Художественная прелесть изображений необычайна на этих трофеях мирного искусства, взятых с воспоминаний о величественных подвигах русских на бранном поле.

С окончанием персидской войны трое из ее виднейших деятелей, Красовский, Бенкендорф и граф Сухтелен, удаляются с военной сцены Кавказа. Красовский, правда, остается еще некоторое время в качестве управляющего Эриванской областью, но Бенкендорф и Сухтелен уезжают с Кавказа тотчас по заключении мира.

Бенкендорф в короткое пребывание свое в воинственном крае сумел приобрести общую любовь и оставил по себе добрую память. Вернувшись в Петербург, он в качестве генерал-адъютанта сопровождал императора Николая в турецком походе. Рассказывают, что привязанность к нему государя была так сильна, что он поменялся с ним шпагами.

Остаться в бездействии, при главной квартире, Бенкендорф не мог по своей подвижной, деятельной натуре и выпросил себе летучий отряд, который, расположившись у подножия

Балкан в селении Проводы, служил связывающим звеном между главной армией и ее корпусами, осаждавшими Шумлу и Варну. Но здоровье Бенкендорфа, уже расстроенное знойным климатом Персии, не выдержало новых трудов; он тяжко заболел и умер под солдатской палаткой 6 августа 1828 года, на сорок четвертом году от рождения. Последний вздох его довелось принять его знаменитому сослуживцу по Грузии, князю Мадатову.

“Я третьего дня,— писал Мадатов 5 августа,— приехал сюда (в Проводы) командовать отрядом на место Константина Бенкендорфа. Я нашел его в самом отчаянном положении. Вечером он пришел в память, радовался моему приезду, спросил о Грузии, потом простился со мной и говорил, что ожидает каждую минуту своей смерти. Я успокоил его сколько мог, подавая надежду на выздоровление. Все было тщетно, он был очень труден; на ночь начался пароксизм, он не мог переносить его, совершенно пришел в беспамятство и умер в одиннадцать часов пополудни. Бедные дети остались сиротами. Тело велел отпеть русским священникам, за неимением лютеранского, также сделал гроб свинцовый и отправил на большую дорогу к местечку Казлуджи. Может быть, родные захотят перевезти его в Россию”.

Тело Бенкендорфа, действительно, отправлено было в Штутгарт и предано земле в фамильном склепе.

Занимая почетное место в ряду военных деятелей, Бенкендорф не менее почетное место получил и в русской военной литературе. Изданное на французском языке сочинение его о казаках и вообще о службе легкой кавалерии пользуется известностью и может служить весьма полезной школой для изучения партизанской войны.

Немногими годами пережил Бенкендорфа и товарищ его по персидской войне, граф Сухтелен. Вернувшись в Петербург, на прежнюю должность генерал-квартирмейстера главного штаба, он также участвовал в турецком походе, то начальствуя особым отрядом под Варной, то состоя при особе императора, то командуя корпусом в Бабагаде. Расстроенное здоровье помешало ему участвовать в кампании

1829 года; он ездил лечиться за границу, а по возвращении назначен был, в апреле 1830 года, оренбургским военным губернатором.

Старожилы Оренбурга и до сих пор хранят признательную память о Сухтелене,— так много в короткий период его управления было сделано для процветания тогда еще пустынного, полудикого края. Там он и умер 20 марта 1833 года от нервного удара.

С прискорбием принял государь неожиданное известие о кончине графа и не велел печатать приказа об исключении его из списков, пока не будет приготовлен к этой печальной утрате престарелый отец покойного. Это было вполне заслуженное внимание государя к человеку, оставившему после себя прекрасную память в рядах всей русской армии и в народе, с которым ему доводилось приходить в соприкосновение.

Среди жителей Оренбурга внезапная смерть Сухтелена вызвала выражения истинного горя.

Тело его, по настоянию жителей, погребено было в самом центре города, в ограде собора Петропавловской церкви, где и теперь виднеется его одинокая, к сожалению, уже забываемая могила, со скромным памятником, представляющим гранитную скалу,

увенчанную большим золоченым крестом. Короткая надпись на черной мраморной доске гласит: “Здесь погребено тело раба Божия, графа Павла Петровича Сухтелена”.

До какой степени народ благоговел к его памяти, может служить следующий факт. Когда обер-прокурор святейшего синода узнал, что Сухтелен был реформатского вероисповедания, и возбудил вопрос о незаконном погребении его в ограде православной церкви,— государь приказал запросить об этом мнение нового начальника оренбургского края, Перовского. Перовский отвечал категорично, что “заслуги Сухтелена слишком велики для того, чтобы поднимать вопрос о принадлежности его к тому или другому исповеданию, что погребение его в ограде Петропавловской церкви сделано согласно собственному желанию покойного, что это желание было известно всем жителям города и неисполнение его могло бы произвести в народе, непросвещенном и преданном покойному графу, ропот и даже негодование”. Народ, помнивший его доброту, действительно, не хотел справляться, какого он вероисповедания, и усердно служил по нем панихиды, тысячными толпами собираясь к его могиле, сокрывшей преждевременно так много надежд, заслуг и добродетелей.

XXXV. ПОСОЛЬСТВО И СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА

Туркменский трактат положил конец неприязненным отношениям между Россией и Персией, и император Николай, в возобновление дружеских сношений, учредил пост полномочного министра при персидском дворе. На этот высокий пост получил назначение Грибоедов. Славный во всем великом отечестве нашем как творец “Горя от ума”, Александр Сергеевич Грибоедов мало известен в качестве дипломатического деятеля на Кавказе. Между тем он, пробывший свои лучшие годы в Персии и на Кавказе в одну из самых героических эпох тамошнего русского владычества, принимавший, наконец, весьма близкое участие в заключении Туркменчайского мира, представляет собой одного из весьма замечательных кавказских деятелей на дипломатическом поприще, на подготовку к которому он отдал лучшие свои годы.

Грибоедов родился в Москве, 4 января 1795 года, в обстановке богатого помещичьего быта, и получил солидное юридическое образование в московском университете. Но тогдашнее поприще юриста не манило его. Был к тому же роковой двенадцатый год, самый разгар борьбы с Наполеоном, когда все молодое поколение стремилось стать под знамена отечества; Грибоедов не мог оставаться равнодушным зрителем грозных событий и последовал общему примеру, поступил корнетом в Иркутский гусарский полк. Полк этот назначен был, однако же, в кавалерийские резервы, — и Грибоедову не удалось участвовать в кровавых битвах, наполеоновской эпохи. Вместо победных полей он очутился среди невылазной грязи литовских европейских местечек. Гусарская жизнь, проходившая тогда среди нескончаемых кутежей, попоек, карт и обожания женщин, не могла, конечно, поглотить собой Грибоедова, натуру глубокую и проницательную. Он слишком ясно видел сокровенные пружины, двигающие жизнью, чтобы отдаться с увлечением пустому существованию. Но пламенная душа его требовала деятельности, ум — пищи, а в томительной тоске и бессодержательности окружавшей его действительности не было исхода молодым силам. И вот он нередко предавался самым крайним проявлениям страстной жажды жизни. То он устраивал оргии, которые надолго нарушали спокойствие мирных обывателей, то появлялся на коне в каком-нибудь танцевальном зале, то прогонял органиста в костеле и, заняв его место, после дивных импровизаций, изумлявших церковь глубиной молитвенного настроения, вдруг начинал играть “казачка” или “комаринскую”.

К счастью для Грибоедова, эта пора разгула страстей, разрушительно действовавшая и на его здоровье, скоро прошла. Он познакомился и подружился с С. И. Бегичевым, который обнаружил на него самое благотворное влияние. Случайно сошелся он также с князем Шаховским, известным русским драматургом. Под влиянием этих двух личностей Грибоедов сознал необходимость покончить раз и. навсегда со своей беспутной молодостью. Он круто переменил свою жизнь, стал заниматься литературой, вышел в отставку и, поселившись в Петербурге, сблизился с кружком, тогдашних литераторов (князем Шаховским, Хмельницким, Жандром и др.). Прекрасно образованный, свободно изъяснявшийся на четырех языках, притом отличный музыкант-импровизатор, Грибоедов стал душой столичных салонов. Но жизнь его и тогда продолжала время от времени выбиваться из правильной колеи, сказывались следствия пылких страстей, которые и привели его в конце концов к кровавой истории, заставившей долго говорить о себе весь Петербург.

Это была известная в свое время дуэль между Шереметьевым и Завадовским, по поводу знаменитой тогдашней танцовщицы Истоминой. Грибоедов принял в этой дуэли случайное участие, благодаря вмешательству одного из секундантов, а именно Якубовича. По настоянию последнего составилась двойная дуэль: Шереметьев должен был стреляться с Завадовским, Якубович с Грибоедовым. Очередь была за первой парой. И когда Шереметьев был убит, Грибоедов и Якубович нашли необходимым отложить свои личные счеты до более благоприятного момента.

Тяжелые наказания, ожидавшие всех участников дуэли, были значительно смягчены, благодаря заступничеству старого отца Шереметьева. Завадовский был выслан за границу; Якубович, служивший поручиком в лейб-гвардии уланском полку, переведен тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, а Грибоедов отделался, кажется, одним замечанием. Но ему не легко было примириться с собственной совестью: он беспрестанно видел перед собой тень убитого юноши, так что самое пребывание в Петербурге стало для него невыносимым. В это время поверенный по русским делам в Тавризе, Мазарович, предложил Грибоедову ехать с ним в Персию в качестве секретаря посольства. Грибоедов охотно согласился и 30 августа 1818 года уехал из Петербурга.

В Тифлисе его ждал Якубович. Они стрелялись, и Грибоедов был ранен пулей в ладонь левой руки, от чего у него свело мизинец. Это увечье, спустя одиннадцать лет, помогло отыскать тело Грибоедова, изуродованное до неузнаваемости тегеранской чернью.

Дуэль с Якубовичем была последняя дань, уплаченная Грибоедовым молодости. Жизнь, обставленная серьезными задачами, которую он вел уже и в последние годы в Петербурге, сложилась еще строже в Персии, в “дипломатическом монастыре”, как он называл посольство. Здесь его крепкая воля и сильный ум окончательно сложились и получили определенное направление. И если он утратил навсегда веселость и беззаботность юноши, то приобрел взамен их другие, более солидные качества, заставившие его взглянуть серьезнее на свои обязанности к родине. Грибоедов принялся учиться, знакомился с восточными языками, читал персидских поэтов, наблюдал нравы и быт Востока,— и вскоре богатством познаний выдвинулся из ряда дипломатов, успев даже оказать серьезные услуги. Его именно энергии и настойчивости Ермолов был, например, обязан тем, что персияне согласились освободить всех русских пленных, томившихся в неволе еще со времен Цицианова. Грибоедову, во время этой благородной миссии, ежеминутно грозили опасности со стороны раздраженной фанатичной черни, и он знал это; и тем не менее дело было им начато и энергично доведено до конца. Ермолов назвал эти действия храбрыми,— и они, действительно, были под стать спокойному и холодному мужеству Грибоедова.

Три года, проведенные под знойным небом Ирана, неблагоприятно отозвались на здоровье Грибоедова. Но пребывание его в Тавризе было до некоторой степени ссылкой,— и поэтому только в 1822 году, по ходатайству Ермолова, указывавшего на Грибоедова как на достойного кандидата в директора школы восточных языков, тогда только что еще проектировавшейся, ему разрешили, наконец, вернуться в Грузию. Ермолов назначил его состоять при себе в качестве секретаря по иностранным делам.

В первое свое пребывание в Персии Грибоедов задумал и обессмертившую его имя гениальную комедию “Горе от ума”. Вот что рассказывают о том, как она впервые родилась в уме Грибоедова.

Как-то летом, в 1821 году, утомленный зноем, заснул он в садовой беседке. Снилось ему, что он на родине, в кругу друзей — и рассказывает о плане новой, будто бы, написанной им комедии. Тотчас по пробуждении, под свежим впечатлением загадочной грезы, Грибоедов записал сюжет к набросал первые сцены приснившейся ему комедии. Это и был сюжет, легший в основание одного из гениальнейших произведений всей русской литературы.

В Тифлисе Грибоедов написал только первые два действия своей комедии; остальные докончены были им позднее, в имении Бегичева, в Тульской губернии, куда он ездил в отпуск, летом 1824 года. Как известно, “Горе от ума”, за исключением некоторых отрывков, не было напечатано при жизни Грибоедова,— тогдашние цензурные условия не допустили этого; не была она и поставлена на сцену. Грибоедов, уже мечтавший остаться в Петербурге, чтобы отдаться литературной деятельности, вернулся на Кавказ. Ермолова он застал в Екатериноградской станице, где снаряжалась тогда большая экспедиция против чеченцев; но в это самое время пришло известие о событиях 14 декабря, и вскоре Грибоедов был арестован и препровожден в Петербург. Причиной его ареста, как оказалось, были дружеские отношения его со многими декабристами. Черная туча, нависшая над головой поэта, скоро, однако, рассеялась. Он был освобожден, и государь, пожаловав ему чин надворного советника, отправил его снова в Грузию, под начальство уже Паскевича, который был женат на двоюродной сестре Грибоедова.

Заниматься литературой при новом начальнике оказалось не совсем удобным. Паскевич вел обширную переписку, и Грибоедов был завален работой. Ему преимущественно и принадлежат все те необыкновенно литературно и умно составленные донесения из канцелярии Паскевича,— который, как известно, сам писал по-русски весьма неправильно. Пришлось тоща Грибоедову пожалеть и о Ермолове. “При Алексее Петровиче,— писал он к одному из своих приятелей,— свободного времени было у меня больше, чем нужно, и если я при нем не много наслужил, то вдоволь начитался. Авось теперь, с Божьей помощью, употреблю это в свою пользу”.

Весной 1827 года персидская война дала Грибоедову несколько случаев участвовать в военных действиях. Он делал кампанию в свите Паскевича и был во всех важнейших делах того времени, выказывая пыл и горячность бывалого наездника. Гусарская кровь не раз заговаривала в молодом дипломате, и он с каким-то фатализмом приучал себя переносить опасности, назначая себе вперед известное число выстрелов, которые должен был выдержать, разъезжая спокойно по открытому месту под огнем неприятеля.

Вот что, по свидетельству одного из современников, сам он, год спустя, рассказывал по этому поводу, утверждая, что власть человека над самим собой ограничивается только физической невозможностью, а что во всем другом человек может повелевать собой совершенно: “Говорю это потому,— приводит рассказчик собственные слова

Грибоедова,— что многое испытывал над самим собой. Например, в персидскую кампанию, во время одного сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей,— и в первый миг я подумал, что он убит. Это развило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только контузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в душе? Мысль нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечиться от робости. Я хотел не дрожать перед ядрами, в виду смерти, и, при первом же случае, стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мной самим число выстрелов и потом тихо поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной опасности. Но поддайся чувству страха — оно усилится и утвердится".

Рассказ этот показывает, какой силой воли обладал молодой дипломат и уже знаменитый тогда писатель.

Близкое знакомство Грибоедова с жизнью и людьми Персия давало Паскевичу прямой повод поручать ему сношения с персидским правительством. Так Грибоедов ездил в Чорс для переговоров с Аббасом-Мирзой после Джеванбулакского сражения; так принял он деятельное участие и при составлении условий мирного трактата в Дей-Карагане и Туркменчае.

С вестью о заключении мира и для поздравления государя со славным окончанием войны Паскевич отправил в Петербург Грибоедова. Таким образом, в начале 1828 года ему пришлось опять, уже в последний раз, побывать на родном севере. Друзья его заметили в нем тогда какую-то необычайную сдержанность; он был грустен. Он предчувствовал, что на различных почестях, которыми его осыпали как вестника славного мира, дело не остановится и дипломатическая миссия его на Востоке грозит затянуться надолго, чего ему очень не хотелось. Действительно, государь пожаловал ему чин статского советника, орден св. Анны 2-ой степени, украшенный алмазами, и четыре тысячи червонцев, а вслед затем, 25 апреля 1928 года, именным повелением назначил его на пост полномочного министра при Тегеранском Дворе. Грибоедов сделал завидную служебную карьеру; но это назначение, которого Грибоедов отнюдь не добивался, только увеличило его грустное настроение. Мрачное предчувствие, видимо, тяготило его душу. Как-то раз Пушкин начал утешать его, Грибоедов ответил: "Вы не знаете этого народа (персиян), увидите, что дело дойдет до ножей". Еще определеннее выразился он А. А. Жандру, сказав: "Не поздравляйте меня с этим назначением: нас там всех перережут. Аллаяр-хан — мой личный враг и никогда не подарит он мне туркменчайского договора".

Перед отъездом из Петербурга Грибоедов хлопотал о постановке на сцену "Горя от ума", уже тогда в тысячах рукописных экземпляров разошедшегося по всей России. Все его старания были, однако, напрасны, и комедия сыграна была в первый раз в Петербурге только 26 января 1831 года, когда Грибоедова уже не было на свете.

Один раз ему удалось, впрочем, видеть свое произведение, исполненное на сцене любителями. Это было зимой в 1827 году, в Эривани, когда, по инициативе генерала Красовского, был устроен офицерский театр в одной из зал дворца персидских сардарей. Здесь-то в первый раз и была сыграна бессмертная русская комедия.

Грибоедов оставил Петербург в первых числах июня 1828 года. Первое же его вступление в святилище гор ознаменовалось уже недобрым предзнаменованием. 3 июля он выехал из Казбека верхом на казачьей лошади, что давало полный простор наслаждаться

величественными видами окружающей суровой природы. С ним вместе ехало десять грузин с майором Челяевым, начальником горских народов. Начинало смеркаться, когда вся кавалькада была верстах в пяти от Коби. Вдруг показались скачущие осетины, и один из них, отозвав Челяева в сторону, шепотом сообщил, что недалеко впереди на дорогу выехала разбойничья партия в триста человек, которая и поджидает их в засаде. Грибоедов, узнав, в чем дело, настаивал на том, чтобы ехать вперед. Челяев, однако, не согласился,— и все вернулись в Коби.

В Тифлисе Грибоедов обвенчался с известной красавицей, тогда еще шестнадцатилетней княжной Ниной Александровной Чавчавадзе, которая своей наружностью, как выражался он сам, напоминала ему его любимую картину Мурильо. Он любил ее, она отвечала ему взаимностью, и эта любовь ярким светом озарила немногие дни, оставленные ему судьбой. Обряд венчания происходил в Сионском соборе 22 августа, а 9 сентября Грибоедов, вместе с женой, выехал в Персию.

За снеговым Безобдалом, в нескольких верстах от селения Амамлы, там, где начинается узкая долина, обставленная невысокими горными кряжами, Грибоедов приказал остановиться. Оставя экипаж и свиту, он медленно свернул к видневшемуся в стороне от дороги полуразвалившемуся памятнику и возвратился оттуда в глубоком раздумье, навеянном на него посещением одинокой могилы.

Там, среди невозмутимой тишины захолустья, под памятником, поставленным еще во времена Цицианова, но незадолго перед тем, в 1827 году, разрушенным землетрясением, покоился прах бесстрашного воина. Это была могила Монтрезора, погибшего здесь со всем своим отрядом в кампанию 1804 года. Думал ли тогда Грибоедов, что, спустя очень короткое время, и он, подобно Монтрезору, отдаст свою жизнь, защищая свой пост, достоинство и честь своей отчизны?

Путешествие Грибоедова по Персии намеренно обставлено было, по приказанию Паскевича, пышностью и блеском, шумными народными овациями, официальными встречами и церемониями. Так Грибоедов достиг, наконец, Тавриза.

Здесь ему предстояло разрешить щекотливый вопрос о скорейшем очищении Хойской провинции, все еще занятой тогда русскими войсками в обеспечение уплаты шахом восьмого курура. Дело в том, что Аббас-Мирза, еще в апреле месяце, начал переговоры об очищении Хоя, предлагая тогда же внести триста тысяч туманов, то есть один миллион двести тысяч рублей серебром, а остальные прося рассрочить на семь месяцев без залога. Паскевич не соглашался на это и требовал или уплаты полностью, или обеспечения такими вещами, “сбыт коих не доведет правительство наше до убытков”, как он выражался. В этом виде переговоры тянулись до глубокой осени, а деньги между тем персиянами мало-помалу уплачивались. В то время, как Грибоедов приехал в Тавриз, денежные счеты были в следующем положении: к 21 ноября уплачено было персиянами один миллион пятьсот двенадцать тысяч рублей, на шестьдесят тысяч в руках русского правительства имелись векселя английского полномочного министра, на четыреста тысяч приняты были от Аббаса-Мирзы, в залог, его собственные драгоценные камни, шали и жемчуга; остались неуплаченными и необеспеченными только двадцать восемь тысяч, достать которые Аббасу-Мирзё было негде. Грибоедов, для очищения Хойской провинции, потребовал, в обеспечение этих двадцати восьми тысяч, трон Ага Мохаммед-хана, в котором одного золота, не считая эмали и художественной работы, по оценке считалось на тридцать шесть тысяч рублей. “Я принимал его всего в двадцати восьми тысячах,— говорит Грибоедов,— чтобы понудить персидское правительство скорее его выкупить, тем более, что персияне расставались с ним весьма неохотно, ибо трон сей

почитался государственной регалией... Если же при окончательных счетах и окажется какая-нибудь незначащая недоимка, то мы в драгоценных камнях Аббаса-Мирзы имеем полное обеспечение и даже с избытком”...

Паскевич соглашался с Грибоедовым, но только возвращать персиянам трон он уже не хотел, находя, что исторический памятник этот будет хорошим трофеем в московской грановитой палате. И потому он поручал Грибоедову настаивать, чтобы трон оставался совсем в России, в уплату двадцати восьми тысяч, “или даже с некоторой не весьма значительной,— как выражается Паскевич,— надбавкой”. За какую именно сумму он был уступлен персиянам — сведений нет, но дело уладилось; трон поступил в число трофеев персидской войны и был доставлен в Аббас-Абад, а русские войска получили приказание выйти из Хойской провинции.

Неотложные дела в Тавризе этим были покончены, и Грибоедов должен был отправиться в Тегеран, чтобы представиться шаху. Оставив в Тавризе жену, он выехал с надеждой немедленно вернуться, так как резиденцией русского полномочного министра, как и министра английского, назначен был Тавриз. Судьбе угодно было, чтобы он вернулся уже в гробу.

В Тегеране русского посланника встретили с такими почестями, которых никогда не оказывали в Персии ни одному европейцу. Шах принял его чрезвычайно благосклонно; он пожаловал ему орден Льва и Солнца 1-ой степени, а всем членам миссии отправил богатые подарки.

Исполнив свои поручения, Грибоедов готовился уже выехать в Тавриз; состоялась уже прощальная аудиенция у шаха, лошади и катера были готовы к отъезду, как вдруг одно неожиданное обстоятельство перевернуло все вверх дном и привело к страшным последствиям.

Некто армянин Мирза-Якуб, евнух, служивший более пятнадцати лет при гареме шаха казначеем, ночью явился к посланнику и выразил ему желание возвратиться в Эривань. Грибоедов отвечал, что ночью ищут прибежища только одни преступники и что министр русского императора оказывает свое покровительство не тайно, а явно. Якуб удалился, но на следующий день явился снова. Грибоедов пробовал уговорить его остаться в Тегеране, доказывал ему, что он здесь человек знатный, тогда как в России совершенно ничего значить не может и тому подобное. Якуб остался непреклонным. Грибоедов уже не мог без ущерба достоинства русского посланника отказать ему в покровительстве и оставил его у себя, чтобы препроводить в Эривань.

Шах принял это обстоятельство как личную обиду. Якуб в течение многих лет занимал при нем должность главного евнуха и, поселившись вне Персии, мог дать тайнам шахского гарема полнейшую огласку. Гнев шаха был беспределен. Когда Грибоедов послал взять оставшееся в доме Якуба имущество, когда оно уже было навьючено на катеров, явились шахские ферраши, и навьюченные катера были отняты и отведены в дом шахского казначея.

Весь персидский двор был в неописанном волнении. Раз двадцать в день приходили к Грибоедову посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что евнух то же, что шахская жена, и что, следовательно, посланник отобрал у шаха жену его. Грибоедов отвечал, что Якуб, на основании только что заключенного трактата, теперь русский подданный и что посланник не имеет права отказать ему в покровительстве, а тем более выдать его. Тогда персияне прибегли к другому средству: они предъявили на Якуба

огромные денежные требования, до ста пятидесяти тысяч рублей, заявляя, что он обворовал шахскую казну и потому отпущен быть не может. Чтобы разъяснить это обстоятельство, Грибоедов вынужден был отправить Якуба к шахскому казначею, но в сопровождении своего переводчика. Комната, куда они вошли, была наполнена хаджами, которые все сразу кинулись с бранью на Якуба. Тот не остался в долгу,— и, таким образом, кроме ругательств ничего из всего этого не вышло.

Тогда шах назначил духовный суд над Якубом. Грибоедов изъявил и на это согласие, но с тем, чтобы на суде присутствовал секретарь русского посольства, Мальцев. Вероятно, последнее обстоятельство было причиной того, что суд не состоялся; персияне сами от него отказались, так как никаких доказательств виновности Якуба в чем-либо не было.

Между тем Грибоедов, по указанию того же Якуба, потребовал из гарема Аллаяра-хана двух пленных армянок, которые изъявили желание возвратиться на родину. Это переполнило чашу негодования персидских вельмож; и не без их подстрекательства, конечно, вспыхнул в городе мятеж, скоро достигший крайнего ожесточения.

Во главе движения стал сам муждтехид, верховный мулла тегеранский, Мирза-Месих, известный фанатик, изувер. Он пустил слух, разнесшийся по всему городу, что Якуб ругает магометанскую веру. “Как,— говорил он в собрании хаджей,— этот человек двадцать лет исповедывал нашу религию, читал наши книги, а теперь поедет в Россию, чтобы надругаться над нашей верой? Он должен умереть”. Распущен был также слух, что в доме посланника силой удерживают женщин и принуждают их к отступничеству от мусульманства. Народ кричал: “Не мы писали мирный договор с Россией!.. Мы не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру”. И народ требовал освобождения задержанных. Ахунды ходили по площадям и кричали: “Правоверные! Запирайте завтра базары, идите в мечети, там вы услышите наше слово”.

Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, и народ с утра толпился в тегеранской соборной мечети. Муджтехид сказал зажигательную речь. Толпа, быстро возросшая до нескольких тысяч, бросилась к дому посланника. И пока одни с обнаженными кинжалами врывались во двор, другие влезали на крыши соседних домов, предвидя кровавое зрелище, и лютыми криками выражали свою радость.

Не встретив никакого сопротивления со стороны караульных сарбазов, не имевших при себе даже ружей, сложенных, как впоследствии оказалось, на чердаке, толпа вломилась во двор. Первой жертвой ее стал Мирза-Якуб,— ему отрубили голову. Затем были убиты переводчик Дадымов и двое прислужников. Персидский караул бежал. Казаки около часу отстреливались от наступавшей многолюдной и свирепой толпы, но их было мало, и, смятые массой, они были, наконец, все изрублены. По трупам этих людей убийцы бросились в дом, где было русское посольство. Там вместе с Грибоедовым находились князь Меликов, родственник его жены, второй секретарь посольства Аделунг, медик и несколько человек прислуги. На крыльце убийцы встречены были храбрым грузином Хочетуром. Он некоторое время один держался против целой сотни людей. Но когда у него в руках сломалась сабля, народ буквально растерзал его на части. Приступ принимал все более и более страшный характер: одни из персиян ломились в двери, другие проворно разбирали крышу и сверху стреляли по свите посланника; ранен был в это время и сам Грибоедов, а его молочный брат и двое грузин убиты. Медик посольства обнаружил при этом необыкновенную храбрость и присутствие духа. Видя неизбежность гибели, он вздумал проложить себе дорогу через двор маленькой европейской шпагой. Ему отрубили левую руку, которая упала к ногам его. Он вбежал тогда в ближайшую комнату, оторвал с дверей занавес, обернул им свою страшную рану и выпрыгнул в окно; рассвирепевшая

чернь добила его градом камней. Между тем свита посланника, отступая шаг за шагом, укрылась наконец в последней комнате и отчаянно защищалась, все еще не теряя надежды на помощь шахского войска. Смельчаки из нападавших, хотевшие было ворваться в двери, были изрублены. Но вдруг пламя и дым охватили комнату; персияне разобрали крышу и подожгли потолок. Пользуясь смятением осажденных, народ ворвался в комнату,— и началось беспощадное избиение русских. Рядом с Грибоедовым был изрублен казачий урядник, который до последней минуты заслонял его своей грудью. Сам Грибоедов отчаянно защищался шашкой и пал под ударами нескольких кинжалов... Обезображенный труп его вместе с другими был три дня игралищем тегеранской черни и узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей Якубовича.

Любопытны слова Пушкина по поводу смерти Грибоедова: “Я ничего не знал,— говорит он,— счастливее и завиднее последних дней бурной его жизни. Сама смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна”.

Позднее, когда разъяренная чернь уже доканчивала свое кровавое дело, пришла, наконец, сотня шахских сарбазов; но у этого войска не было патронов, и оно имело к тому же приказание действовать против черни красноречием, а не штыками.

После избиения посла и его свиты начался грабеж. Персияне с криком и дракой делили между собой деньги, бумаги и разные ценные вещи. Само жилище посланника было разрушено, и развалины его существуют поныне как памятник ужасного события, заставляя содрогнуться каждого, кто посетит это несчастное место.

Последний долг печальным останкам Грибоедова был отдан духовенством в армянской церкви, где было выставлено его тело. Прочих, убитых с ним, похоронили в общей могиле, за стенами Тегерана, где они оставались до 1836 года. В этом году кости их были выкопаны и преданы земле в заранее приготовленном склепе среди самого города. Нельзя не заметить, что персияне, допустив перенесение христианских тел в город, должны были победить вековой предрассудок, которого до этого времени упорно держались.

В кровавый день 30 января погибло, по свидетельству Мальцева, тридцать семь человек русских и девятнадцать тегеранских жителей. Но персидские историки показывают, однако же, что убитых мусульман было не менее восьмидесяти человек. Из всей русской миссии остался в живых только Мальцев, состоявший при Грибоедове в качестве первого секретаря. Молодой человек, одаренный счастливыми способностями, он познакомился в Тегеране с каким-то ханом, жившим рядом с домом посланника, часто его навещал и ему обязан был своим спасением. Рассказывают, что хан этот полюбил и привязался к Мальцеву, и уговорил его, в самом начале катастрофы, укрыться в его доме, а вечером, переодетого в сарбазское платье, доставил во дворец Зилли-Султана, где Мальцев и пробыл до отправления в Тифлис.

Так представляется в своих внешних чертах неслыханное дело убийства русского посланника в Тегеране. Ближайшее расследование обстоятельств намекает, однако, что причины этого события лежат глубже, чем это представляется с первого взгляда. К сожалению, эти причины остаются и поныне невыясненными. Персидские историки утверждают, что Грибоедов, увлекшись успехами русского оружия в Азербайджане, держал себя непомерно гордо, оскорблял шаха непристойным и беззастенчивым обращением с ним, что люди, находившиеся при посольстве, позволяли себе разные насилия, что, наконец, посланником были незаконно задержаны женщины, которых, будто бы, хотели обратить силой в христианскую веру.

Говорят, действительно, что свита Грибоедова, особенно армяне и грузины, вели себя не совсем пристойно, но бестактность этих третьестепенных лиц посольства была обстоятельством во всяком случае настолько маловажным, что о нем не стоит и распространяться. Что же касается задержания женщин, то есть свидетельства совершенно противоположные, показывающие, что Грибоедов никого не брал с собой насильно. Известен, например, факт, что когда, на пути к Тегерану, в Казвине, к нему приведены были от одного сеида две женщины, одна армянка, а другая немка из Екатеринфельдской колонии, разбитой персиянами, и обе они заявили, что желают остаться в Персии, то Грибоедов немедленно возвратил их сеиду, и эта справедливость его заставила громко говорить о себе не только весь город, а и всю Персию. Впрочем, и в переписке, возникшей между Грибоедовым и персидскими министрами, много было говорено относительно Мирзы-Якуба, но не было даже и речи о женщинах; о них стали говорить лишь после смерти посланника. Берже, нужно думать, частью прав, полагая, что главная ошибка Грибоедова заключалась не в задержании этих женщин,— он имел право на это по смыслу туркменчайского договора,— а в том, что он, действительно, зашел в своих требованиях слишком далеко и коснулся гаремов лиц слишком значительных и важных. Паскевич думал, что все внешние поводы возмущения, история с Якубом, женщины и тому подобное, суть только ширмы, за которыми скрывался Аллаяр-хан. Он всегда был явным противником Аббаса-Мирзы и сильнейшей опорой враждебных ему братьев. И теперь с некоторым правдоподобием можно было заключить, что вся тегеранская история была обдуманной игрой самого вероломного коварства. Аллаяр-хан мог желать снова вовлечь шаха в войну с русскими, чтобы истребить совершенно династию Каджаров или же отдалить Аббаса-Мирзу от наследства Персии в пользу одного из его братьев.

“При неизвестности всех обстоятельств дела, можно предположить даже,— писал Паскевич,— что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении черни, хотя, может быть, и не предвидели пагубных последствий его; ибо они неравнодушно смотрели на перевес в Персии русского министерства и на уничтожение собственного их влияния”.

Предположение Паскевича об участии англичан не лишено веского основание. Англия теряла слишком много, чтобы примириться со своей второстепенной ролью, в которую поставило ее стечение несчастных обстоятельств,— и естественно могла пустить в ход свои обычные интриги. Правда, желая выразить ужас и скорбь по случаю катастрофы, английский министр Макдональд предложил всем великобританским подданным, находившимся в Персии, облачиться в траур и даже протестовал перед персидским правительством, говоря, что история народов не представляет подобного ужасного случая, когда бы миссия дружественной нации погибла среди совершенного мира, и притом в столице самого государя,— но все это могло быть только простым соблюдением внешних международных приличий со стороны дипломата, ровно ничего не теряющего от выраженного им чувства негодования. В самой Персии предположения о тайном влиянии англичан находили себе полную веру.

Один из адъютантов Аббаса-Мирзы сказал даже по этому случаю следующую притчу: “Однажды чертова жена со своим ребенком сидела неподалеку от дороги в кустах. Вдруг показался путник с тяжелой ношей на спине и, поравнявшись с тем местом, где сидели черти, споткнулся о камень и упал. Поднимаясь, он с сердцем произнес: “Будь же ты, черт, проклят!” “ Как люди несправедливы,— сказал чертенок, обращаясь к матери,— мы так далеко от камня, а все же виноваты.” — “Молчи,— отвечала мать,— хотя мы и далеко, но хвост мой спрятан там, под камнем”... Вот так-то,— заключил персиянин,— было и в деле с Грибоедовым; англичане хотя и жили в Тавризе, но хвост их все же был скрыт в русской миссии в Тегеране”...

Дальнейшее поведение англичан не лишено было и некоторых странностей, которые как бы подтверждают эти предположения. Когда, например, тело Грибоедова привезли в Тавриз, то, как доносил Паскевичу Мальцев, никто из англичан не выехал навстречу; по их настоянию гроб не ввезли даже в город, а поставили в маленькой загородной армянской церкви, которой также никто из англичан не посетил. 6т Наиб-султана не было оказано телу покойного Грибоедова никаких почестей, даже не был приставлен почетный караул,— и есть некоторый повод думать, что Аббас-Мирза так поступил в угоду Макдональду. “Признаюсь,— писал Мальцев,— что я такой низости никогда не предполагал в английском посланнике. Неужели и в том находит он пользу для ост-индской компании, чтобы мстить человеку даже после его смерти”...

Впрочем, какие бы ни были посторонние причины убийства русского посланника, достоинство Империи требовало примерного возмездия за неслыханное нарушение прав международных.

Поэтому серьезнейшим вопросом во всем этом деле было то, какое участие в печальном происшествии принимало само персидское правительство? Старый муджтехид, вышедший в Россию из Тавриза, утверждал, что злодейство совершено с умыслом, с целью показать народу, что персидское правительство вовсе не так боится русских, как думают. Можно было также допустить, что шаху, по крайней мере, не безызвестны были приготовления к восстанию, но что цель возмущения состояла вовсе не в истреблении русского посольства; шах не хотел только мешать народу убить Якуба, смерть которого была ему желательна, а потом, когда разъяренная чернь добралась и до русских, он оказался уже бессилен остановить мятежников.

Никаких серьезных оснований даже к последним заключениям, однако, не оказалось, и до войны, которая была бы в противном случае неизбежна, дело не дошло. Все ограничилось приездом принца Хозров-Мирзы в Петербург, где он от лица шаха просил императора предать вечному забвению роковые события 30 января.

Известие о смерти Грибоедова пришло в Петербург 4 марта, то есть, по странному стечению обстоятельств, в тот самый день, когда, за год перед тем, он прибыл в Петербург с известием о Туркменчайском мире. Император Николай Павлович с глубоким чувством сожаления узнал о преждевременной бедственной кончине своего министра в Персии. Он принял живейшее участие в его осиротевшей семье, лишившейся всего достояния, так как наличные деньги и банковские билеты, принадлежавшие Грибоедову, на сумму около шестидесяти тысяч рублей, были разграблены персиянами. В вознаграждение заслуг Грибоедова, он пожаловал вдове и матери покойного по тридцать тысяч рублей единовременно и по пяти тысяч рублей ассигнациями пенсии. Впоследствии, по ходатайству князя Воронцова, пенсия вдове Грибоедова была увеличена еще на две тысячи рублей ассигнациями.

Останки Грибоедова долгое время оставались в Тегеране, и только спустя три месяца были вывезены оттуда шестнадцатилетней вдовой его, которая свято исполнила желание мужа, сказавшего ей однажды, в минуты мрачного предчувствия: “Не оставляй костей моих в Персии и похорони меня в Тифлисе, в церкви Св. Давида”.

Печальная церемония перенесения праха Грибоедова из Персии в русские пределы совершилась 1 мая 1829 года. Когда тело его, переправленное через Араке, вступило на родную землю, его встретили батальон Тифлисского пехотного полка с двумя орудиями, масса народа, духовенство и все военные и гражданские власти Нахичеванской области. Особая комиссия немедленно приступила к вскрытию гроба. По словам Амбургера, тело

покойного уже не имело и признаков прежнего вида; по-видимому, оно было ужасно изрублено и избито камнями; к тому же оно предалось уже сильному тлению. Гроб заколотили снова и залили нефтью. Отслужена была торжественная панихида, и при возглашении вечной памяти “убиенному болярину Александру” гроб был поставлен на особые дроги, под великолепный балдахин, нарочно заказанный для этого случая генералом Мерлини. Батальон тифлисцев отдал покойному воинскую честь,— и тихо и величественно началось траурное шествие при звуках похоронного марша.

Никогда еще окрестным магометанам не приводилось видеть подобные пышные похороны. Черные дроги, везомые шестью лошадьми, укутанными с головы до ног черными попонами, люди в необычайных траурных мантиях и шляпах, ведущие лошадей под уздцы, длинный ряд факельщиков по обе стороны гроба, роскошно убранный балдахин, войско, идущее с опущенным долу оружием, рыдающие звуки музыки,— все это производило сильнейшее впечатление. Кроме русского священника на встречу покойного вышло все армянское духовенство, с епископом во главе, и это придало еще более величия печальному шествию. Так процессия достигла Алинджа-чая.

2 мая шествие приблизилось к Нахичеванскому мосту и остановилось. Духовенство облачилось в ризы; весь город, от мала до велика, вышел навстречу Грибоедову и сопровождал гроб, несомый офицерами на руках, до самой площади, где стояла армянская церковь. Около храма густые толпы народа теснились всю ночь. “И трогательно было видеть,— говорит очевидец,— то живое участие, которое принимали решительно все в злополучной участи покойного министра. Между женщинами слышались громкие рыдания, и они всю ночь не выходили из церкви. Это были армянки,— и их участие, конечно, делает честь этому народу”.

Всю ночь стекались жители из окрестных селений, и на следующий день, 3 мая, когда похоронное шествие направилось из города далее, стечение народа было так велико, что, по словам очевидца, трудно было поверить, чтобы Нахичевань могла вместить в себе такое огромное население. Народ провожал покойного до второго источника по эриванской дороге. Здесь отслужена была последняя лития, гроб сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой грузинской арбе, так как горная дорога не допускала торжественного шествия. Поручик Макаров с несколькими солдатами Тифлисского полка назначен был сопровождать гроб до Тифлиса.

В этой печальной обстановке прах Грибоедова и был встречен около Гергер, на Безобдале, А. С. Пушкиным. “Два вола,— рассказывает он в своем “Путешествии в Арзерум”,— впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы?” — спросил я их. “Из Тегерана”.— “Что везете?” — “Грибоедова”. Это было тело Грибоедова, которое препровождали в Тифлис”.

Карантины на эриванской дороге замедлили прибытие тела Грибоедова в Тифлис до последних чисел июня. С того времени и по 18 июля, день, назначенный для погребения, оно простояло также в карантине, в трех верстах от города. Накануне, поздно вечером, тело перевезено было в Тифлис, в Сионский собор, с печальной торжественностью. Дорога к городской заставе шла по правому берегу Куры, а по обеим сторонам ее тянулись виноградные сады, огороженные высокими каменными стенами. Ничто кругом не говорило о смерти,— и тем величественнее и трогательнее было печальное шествие. Сумрак вечера, озаряемый факелами, стены, сплошь унизанные плачущими, грузинками, окутанными в белые чадры, величественное, раздирающее душу пение, толпы народа за колесницей, наконец, воспоминание об ужасной кончине того, кто теперь приближался к городу на вечное упокоение в нем,— все это глубоко западало в душу и терзало тех, кто

знал и научился любить покойного. Вдова, осужденная в самом расцвете своей молодости испытать такое страшное горе, стояла с семьей у городской заставы, и едва свет первого факела возвестил о приближении дорогого праха, она упала в обморок и долго, несмотря на все меры, оставалась без чувств.

На другой день Грибоедова торжественно, в присутствии всей знати и всего населения города, отпели. Экзарх Грузии, митрополит Иона, едва и сам могущий говорить от рыданий, сказал трогательное надгробное слово. И затем тело отвезли для погребения в монастырь Св. Давида. Все население города вышло на ту улицу, по которой проходила из Сионского собора процессия, и провожало ее с горестными чувствами к монастырю.

Вдова Грибоедова осталась неутешной. Грибоедов имел редкое, хотя и слишком кратковременное, счастье найти в супруге истинного друга, полного к нему любви и уважения. Пораженная своей незаменимой потерей, Нина Александровна Грибоедова, в полном расцвете своей красоты, решила остаться верной своей первой любви и памяти мужа. Она представляла собой глубоко трогательное зрелище человека, не принадлежащего себе, отдавшегося любимой идее. Русский поэт (Я. П. Полонский), встретивший ее на жизненном пути, был поражен ее душевной красотой и самоотверженной преданностью памяти гениального ее мужа и выразил свои чувства в следующем теплом стихотворении, превосходно изображающем ее трогательную судьбу:

Не князь, красавец молодой,
Внук иверских царей,
Был сокровенною мечтой
Ее цветущих дней;
Не вождь грузинских удальцов —
Гроза соседних гор —
Признаньем вынудил ее
Потупить ясный взор;
Не там, где слышат валуны
Плеск алазанских струй,
Впервые прозвучал ее
Заветный поцелуй.
Нет, зацвела ее любовь
И расцвела печаль
В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сазандарам
Святая старина,
Где часто музыка слышна,
И веют знамена.

В Тифлисе я ее встречал,
Вникал в ее черты...
То — тень весны была, в тени
Осенней красоты.
Не весела, и не грустна,
Где б ни была она,
Повсюду на ее лице
Царила тишина.
Ни пышный блеск, ни резвый шум
Полуночных балов,

Ни барабанный бой, ни вой
Охотничьих рогов,
Ни смех пустой, ни приговор
Коварной клеветы,—
Ничто не возмущало в ней
Таинственной мечты;
Как будто слава, отразясь
На ней своим лучом,
В ней берегла покой души
И грезы о былом.
Хоть горя вечного понять
Не может праздный свет,
Она не без улыбки шла
К нему на склоне лет;
Хоть не видна была на ней
Страдания печать,
Я не решался никогда
При ней воспоминать
О том, кто горе от ума
Изведав, завещал
Ей всепрощающую скорбь
И веру в идеал...

Я помню час, когда вдали
Вершин седые льды
Румянцем вспыхнули, и тень
С холмов сошла в сады;
Когда Метех с своей скалой
Стоял, как бы в дыму,
И уходил сионский крест
В ночную полутьму.
Она сидела на крыльце,
С поникшей головой,
И, помню, кроткий взор ее
Увлажен был слезой.
Вот вспыхнул месяц за горой,
Как лампа, в синей мгле,
Но яркий луч ее бледнел
На молодом челе...
Иль о недавней старине
Намек нескромный мой
Смутил ее больной души
Таинственный покой,
Или воспоминанья вдруг
Проснулись и пришли,
И стал к ней близким тот, кто был
Далеким от земли...
Она молчала; в этот миг
Я скорбь ее любил,
И чудилось мне, взор ее
Со мной заговорил:
“Поймите, я с тех пор, как он

Погиб, чужда страстей,
Живу — уже не для себя,
И вряд ли для друзей!
Поймите, посреди живых
Я тень его люблю!
Вы знаете... но знают все
Историю мою.

Он русским послан был царем,
В Иран держал свой путь
И на пути заехал к нам
Душою отдохнуть.
Желанный гость, он принят был
Как друг моим отцом;
Не в первый раз входил он к нам
В гостеприимный дом.
Но не был весел он в тени
Развесистых чинар,
Где на коврах не раз нам пел
Заезжий сазандарь,
Где наше пенилось вино,
Дымился наш кальян,
И улыбалась жизнь гостям
Сквозь радужный туман.
И был задумчив он, когда,
Как бы сквозь тихий сон,
Пронизывался лунный свет
На темный наш балкон.
Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно Север ледяной
Рукоплескал ему,—
Он там оставил за собой
Бездушную зиму,
Он там холодные сердца
Оставил за собой;
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой.
Он так давно меня любил,
И так был рад, так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд.
И скоро перед алтарем
Мы с ним навек сошлись...
Казалось, праздновал весь мир
И ликовал Тифлис.
Всю ночь к нам с ветром долетал
Зурны тягучий звук
И мерный бубна стук и гул
От хлопающих рук.

И не хотели погасать
Далекие огни,
Когда, лампаду засветив,
Остались мы одни.
И не хотела ночь унять
Далекой пляски шум,
Когда с души его больной
Скатилось бремя дум,
Чтоб не предвидел он конца
Своих блаженных дней,
При виде брачного кольца
И ласковых очей.

Но час настал: посол царя Умчался в Тегеран
Прощай любви моей заря!
Пал на сердце туман.
Как в темноте рассвета ждут,
Чтоб страхи разогнать,
Так я ждала его, ждала,
Не уставала ждать!
Еще мой верующий, ум
Был грезами повит,—
Как вдруг... вдруг грянула молва,
Что он убит... убит!
Что он из плена бедных жен
Хотел мужьям вернуть;
Что с изуверами в бою
Он пал, пронзенный в грудь;
Что труп его, кровавый труп,
Поруган был толпой
И что скрипучая арба
Везет его домой.
Все эти вести в сердце мне
Со всех сторон неслись...
Но не скрипучая арба
Везла его в Тифлис.
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин.
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки...
Дымились факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор.
И я пошла его встречать.
И весь Тифлис со мной
К заставе Эриванской шел
Растроганной толпой.

На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я.
О, для чего пережила
Его любовь моя!

И положила я его
На той скале, где спит
Семья гробниц и где святой
Давид их сторожит,
Где раньше, чем заглянет к нам
В окошки алый свет,
Заря под своды алтаря
Шлет пламенный привет;
На той скале, где в бурный час
Зимой, издалека
Причалив, плачут по весне
Ночные облака,
Куда весной, по четвергам,
Бредут на ранний звон,
Тропинкой каменной, в чадрах,
Толпы грузинских жен.—
Бредут нередко в страшный зной,
Одни — просить детей
Другие воротить мольбой
Простывших к ним мужей,—
Там в темном гроте — мавзолей,
И — скромный дар вдовы —
Лампадка светит в полутьме,
Чтоб прочитали вы
Ту надпись, и чтоб вам она
Напомнила сама
Два горя: “Горе от любви
И горе от ума”.

Прошло двадцать восемь лет,— и под тем же камнем, где покоятся останки творца бессмертной комедии, рядом с ним, похоронили и супругу его. Она скончалась в 1857 году, на сорок шестом году своей прекрасной жизни.

И ныне всякий русский, проезжая Тифлис, посетит дорогую могилу, в которой сокрыта одна из слав нашей родины. На западной стороне города возвышается святая гора Мтацминда, на которую в прихотливых зигзагах вьется, подобно ленте, узкая тропинка для пешеходов. На одном из уступов святой горы, на половине ее высоты, виднеется женский монастырь св. Давида, как будто гнездо ласточки, прикрепленное к скале. Этот уголок, который Грибоедов называл “поэтической принадлежностью Тифлиса”,— прекрасен. Вид с монастырской террасы очарователен: весь Тифлис виден отсюда как на ладони. На востоке сверкает быстрая Кура; за ней, вдали, синеют горы благословенной Кахетии; шумный город с его полуевропейской и полуазиатской физиономией далеко внизу,— вы стоите между небом и землей. Здесь, перед величавой картиной, которая так нравилась Грибоедову, и покоится прах его, в гроте под тяжелыми сводами, имеющем вид красивой часовни. Внутри грота — бронзовый памятник. На возвышенном пьедестале поставлена прекрасная статуя, работы известного художника Кампиони, изображающая женщину, склонившуюся на колени перед гробовой урной у подножия креста.

“В позе молящейся так много грации, так живо выражена в ней глубокая скорбь,— говорит один из путешественников,— что вы не только любуетесь ею как высшим проявлением искусства, но вы сочувствуете ей как существу живому”. У ног коленопреклоненной с одной стороны крест и евангелие — символы страдания и веры, с другой — раскрытая книга, на корешке которой короткая надпись: “Горе от ума”. На одной стороне пьедестала барельефом сделан портрет покойного писателя, а под ним начертано золотыми буквами:

“Александр Сергеевич Грибоедов. Родился 1795 года, января 4. Убит в Тегеране 1829 года, января 30”.

На другой стороне пьедестала надпись: “Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?”

XXXVI. ХОСРОВ-МИРЗА

В один из февральских дней 1829 года весь Тифлис был поражен страшной вестью, что русская миссия истреблена в Тегеране. Впечатление было тем сильнее, что никто не ожидал подобной катастрофы, так как отношения между Персией и Россией были, по-видимому, самые дружественные. Еще за несколько дней перед тем Паскевич в торжественной аудиенции принимал у себя персидского посланника, Мирзу-Салеха, привезшего ему бриллиантовый орден Льва и Солнца 1-ой степени как знак особого благоволения Фетх-Али-шаха. И Мирза-Салех, оставивший Тегеран среди невозмутимого спокойствия, теперь не менее других был поражен и удивлен катастрофой, совершившейся среди глубокого мира, в столице шаха, который из своего дворца мог слушать шум, смятение и вопли избиваемых жертв. Гибель посольства дружественной нации на глазах властей, которые по всем международным обычаям и законам обязаны были ее защищать, была таким событием,— бедственных последствий которого никто не мог предвидеть. Было ясно, что оскорбительный поступок не мог пройти Персии даром,— достоинство России требовало примерного возмездия, и новая война казалась неизбежной. Между тем война с Турцией поглощала в тот момент все русские силы и заставляла действовать по отношению к Персии с величайшей осторожностью.

К счастью, русское правительство должно было признать, что шах и его министры не были причастны к гнусному злодеянию, и император Николай признал достаточным для восстановления попранных прав России, чтобы шах, наказав преступников, прислал в Петербург торжественное извинение через одного из принцев крови. Персидское правительство подчинилось этому решению, Аббас-Мирза приготовился сам ехать в Петербург; но император Николай признал неудобным такое долговременное отсутствие в Персии наследника престола. “Постигая пагубное влияние коварных замыслов, которые колеблют спокойствие Персии,— писал ему государь,— я признаю ваше присутствие в Тавризе необходимым для укрощения буйства и предупреждения происков, а потому приглашаю вас не удаляться из ваших пределов в столь сомнительное время. Я почту достаточным возмездием оскорбленному достоинству Российской Империи, когда шах пришлет торжественное извинение через одного из сыновей своих или ваших, в сопровождении кого-либо из доверенных вельмож”. Выбор пал на Хосров-Мирзу, пятнадцатилетнего сына наследника персидского трона.

Дружественное решение, принятое по отношению к России персидским двором, встревожило английскую миссию. Рассказывают, что, узнав о сборах Хосров-Мирзы в Петербург, Макдональд сказал, что ему в Тавризе делать больше нечего и что он поедет в

Кирман-шах, чтобы собрать там партию в пользу Хассан-Али-Мирзы против наследника. Интриги и запугивания англичан не имели, однако, на этот раз успеха.

2 мая 1829 года Хосров, в сопровождении Мамед-хана, одного из важнейших сановников Персии, начальника регулярных войск (эмир-низама), переехал русскую границу. У городской заставы его встретил начальник корпусного штаба, барон Остен-Сакен. Принц пересел в коляску и отправился прямо к графу Паскевичу. Аудиенция была не долга. После взаимных приветствий граф в открытом экипаже сам проводил принца до приготовленной ему квартиры, в доме военного губернатора, и там сообщил ему только что полученное известие о поражении турок под Ахалцыхом.

“Радуюсь,— сказал Паскевич,— что это событие совпало с днем вашего приезда.

“Смею уверить вас,— возразил на это Хосров-Мирза,— что в Тавризе несравненно более меня будут радоваться этой победе.

В секретном разговоре с Паскевичем принц, между прочим, жаловался на интриги и недоброжелательство английской миссии. Макдональд, по его словам, заявлял открыто, что если Персия, как предполагалось, пойдет вместе с Россией против Турции,— то англичане пойдут против Персии. Принцу было известно также, что, когда Грибоедов ехал в Тавриз, английский посол, опасаясь его влияния на тегеранский двор, писал о том Ост-Индской компании, и та отвечала ему, что сокровища ее открыты для сохранения “какими бы то ни было средствами” могущества Англии в Персии. Француз Семино, бывший в свите принца, говорил, что он не ручается даже, чтобы англичане не покусились на жизнь самого Аббаса-Мирзы. Хосров просил Паскевича только ничего не разглашать об этих событиях для спокойствия своего отца.

Паскевич сообщил обо всем графу Нессельроде. А между тем военные действия в Турции уже начинались, и Паскевич отправился в армию, не ожидая отъезда персидского посольства, оставшегося в Тифлисе еще на несколько дней, чтобы осмотреть достопримечательности города. В день своего выезда принц сделал прощальный визит графине Паскевич и поднес ей две прекрасные шали, а сыну ее — полное собрание сочинений персидского поэта Сзади. Самому Паскевичу еще ранее этого был отправлен в подарок от принца прекрасный жеребец чистой арабской породы.

23 мая посольство выехало, наконец, из Тифлиса. Погода стояла пасмурная; дождь, начавшийся с утра, обратился в ливень и продолжался до вечера — примета, по поверьям персиян, хорошая. Ровно в шесть часов пополудни Хосров-Мрза сел в экипаж,— и поезд тронулся. Принца сопровождало более сорока человек свиты, я с русской стороны назначен был состоять при нем генерал-майор Ренненкампф, в распоряжении которого находились и двадцать конвойных казаков.

Несмотря на доброе предзнаменование, под которым началось путешествие, переезд через Кавказские горы по Военно-Грузинской дороге совершился не без приключений. В теснине между Дарьялом и Ларсом на поезд едва не напала партия горцев, внезапно спустившаяся с гор Осетии. Казаки, сопровождавшие посольство, завязали перестрелку,— осетины отступили. Но страх, обуявший персиян при этом нападении, был так велик, что, по рассказу Ренненкампфа, они не разбежались только потому, что их собственные вьюки загромождали ущелье и бежать было некуда. Сам принц при первых выстрелах вышел из экипажа и пересел на коня. Русские удивились его отваге; но дело в том, что молодой азиат, не привыкший к карете, мог видеть в ней скорее западню, нежели убежище.

От Владикавказа поезд сопровождался уже постоянным конвоем, переменявшимся на Линии в каждой казачьей станице. Выезжал навстречу принцу, приветствовать его, и старый кабардинский валий, Кучук Джанхотов, с тремястами лучших кабардинских наездников. Сам командовавший войсками на Кавказской линии генерал Эммануэль ожидал его в Пятигорске, где Хосров-Мирза остановился на несколько дней, чтобы видеть минеральные источники. В память пребывания принца в этом городе тогда же, на вершине Машука, поставлен был, по приказанию Эммануэля, обелиск, на пьедестале из серого песчаника, которым так богаты окрестности Пятигорска; на фронтоне столба — стих какого-то персидского поэта гласил: “Добрая слава, оставляемая после себя, лучше золотых палат”, а под ним принц собственноручно начертил следующую арабскую надпись:

Любезный брат! Мир здешний не останется
ни для кого;
Привяжись сердцем к Создателю
И не полагайся на блага мирские;
Ибо многих, подобных тебе, Он сотворил
и уничтожил.

Хосров-Мирза 1244 г.

К сожалению, надпись эта, при общем небрежении нашем к памятникам, мало-помалу изгладилась; скоро появились, как и всегда, другие, уже русские надписи, свидетельствовавшие только о словоохотливости досужих путешественников, а еще немного,— и этот обелиск постигла общая участь многих исторических памятников на святой Руси — он был заброшен, рассыпался, и ныне, как говорят, на осталось даже и следов его.

Из Пятигорска дальнейший путь посольства лежал через Ставрополь, Новочеркаск и Воронеж. Везде встречая широкое русское гостеприимство, персияне могли убедиться воочию, как русские люди легко забывают обиды, даже затрагивающие их национальную честь и самолюбие. После шестинедельного путешествия, .14 июля, в половине седьмого вечера, посольство добралось, наконец, до Коломны.

Отсюда оно должно было иметь торжественный въезд в первопрестольную русскую столицу. Принц въезжал в Москву в богатой карете, запряженной шестью лошадьми цугом, предшествуемый и сопровождаемый конными отрядами казаков и жандармов. На всем пути его следования до Серпуховских ворот и далее по Тверскому бульвару стояли войска, отдававшие военные почести с музыкой и орудийной пальбой, которая прекратилась только тогда, когда высокий гость остановился наконец перед домом графини Разумовской, где было приготовлено для него роскошное помещение. Здесь его ожидали почетный караул, городские власти и именитое купечество, встретившее его с хлебом и солью. Сюда же, спустя короткое время, прибыл и московский генерал-губернатор, князь Димитрий Владимирович Голицын, который как хозяин города приветствовал принца с благополучным прибытием.

Едва отдохнув от пути и никого не предупредив о своем намерении, Хосров-Мирза отправился к матери Грибоедова, чтобы выразить ей скорбь, которую причинила Персии смерть ее сына. Растроганный до глубины души слезами несчастной матери, Хосров-Мирза старался утешить, успокоить осиротевшую мать,— и, как рассказывают, сам горько плакал. Такой благородный поступок нашел себе большое сочувствие в обществе и сразу расположил москвичей в пользу юного принца.

Несколько дней, проведенных посольством в Москве, были посвящены осмотру ее исторических памятников. Хосров-Мирза был везде и всем интересовался. Но особенное внимание его обратил на себя хранящийся в оружейной палате матросский костюм, который Петр Великий носил в Саардаме. Грубый материал и простой вид одежды поражали персиян, никак не умевших согласовать вопиющую простоту ее с величием русских венценосцев. Однако же, когда один из свиты, рассматривая костюм, засмеялся, Хосров-Мирза серьезно заметил ему:

“Помни, что если бы Петр не носил такого костюма, то русские не имели бы флота и земля их не была бы тем, чем она есть”.

Около 20 июля принц оставил Москву, 2 августа прибыл в Петербург, где для него был приготовлен Таврический дворец. Императорская фамилия жила в то время в Петербурге, и потому прием принца состоялся только 12 августа, когда император Николай возвратился в столицу.

В этот день, в десять часов утра, генерал-адъютант граф Сухтелен явился в посольский дом, чтобы приветствовать Хосров-Мирзу от лица государя и затем пригласить его отправиться с собой в Зимний дворец. Эта поездка была опять церемониальным, торжественным шествием. Процессия открывалась дивизионом конногвардейцев в их парадной, рыцарской форме, с распущенным штандартом, музыкой и литаврами; далее, в предшествии дворцовых служителей, тянулся длинный ряд придворных экипажей, и уже за ними ехала посольская карета, окруженная царским конвоем; дивизион кавалергардов замыкал процессию. Все улицы, по которым проезжал принц, были запружены народом, окна и балконы домов украшены коврами, фестонами и разноцветными флагами.

Император Николай принял принца в Георгиевской зале, стоя у ступеней императорского трона. По обе стороны его стояли: вся царская фамилия, государственный канцлер граф Нессельроде, государственный совет, сенат, главный штаб, дипломатический корпус, генералитет и все офицеры гвардии; в соседних комнатах разместились армейские штаб- и обер-офицеры, все лица, имевшие приезд ко двору, и именитое купечество.

Хосров-Мирза сам нес шахскую грамоту и, приблизившись к императору на несколько шагов, сделал глубокий поклон и произнес от лица персидского монарха следующую извинительную речь:

“Могущественнейший Государь Император!

Спокойствие Персии и священный союз, существующий между Вашим Императорским Величеством и великим обладателем Ирана, моим повелителем и дедом, были противны духу зла. Он воздвиг в Тегеране толпу неистовую, совершившую неслыханное злодеяние, жертвой которого стала российская миссия. Такое злополучное происшествие покрыло глубоким мраком скорби весь наш дом и всех его верноподданных. Ужаснулось праведное сердце Фетх-Али-шаха при мысли, что горсть злодеев может привести к разрыву мира и союза между его высочеством и великим монархом России.

Он повелевал мне, внуку своему, поспешить в столицу Вашей державы. Он уверен, что глас мой, глас правды, обратит на себя милостивое внимание Вашего Императорского Величества и сделает дружбу между двумя величайшими и могущественнейшими государями мира. — незыблемой.

Мне поручено именем могущественного моего повелителя просить об этом Вас, великий государь! Предайте вечному забвению происшествие, оскорбившее равно двор российский, как и двор персидский. Пусть познает вселенная, что и при самом ужасном случае два мудрые монарха откровенно объяснились и все недоумения, все подозрения — исчезли, всему положен конец вожделенный".

Затем началось чтение шахской грамоты, которую император принял из рук Хосрова-Мирзы и передал графу Нессельроде.

Шах выражал живейшую горесть по поводу случившегося печального события, говорил, что правительство персидское перед правительством русским "покрыто пылью стыда" и что лишь "струя извинения может омыть лицо его".

"От обширного ума великого нашего благоприятеля, украшающего вселенную,— писал шах,— зависеть будет, принять милостиво или отринуть извинение". Грамота окончилась даже стихами Саади:

Пришла пора опять скрепить
Союз приязни снисхожденьем —
И все минувшее затмить
Благотворительным забвеньем...

Положив грамоту на нарочно приготовленный для нее стол, граф Нессельроде ответил принцу от лица императора следующей речью:

"Его Императорское Величество повелевает мне уверить ваше высочество в том совершенном удовольствии, с каким он внимал объяснениям вашим и изъявлению праведного сетования от лица вашего государя. Движимый чувствами великодушными, его величество, шах, не мог, конечно, без ужаса взирать на злодейство, имевшее целью расторгнуть дружественные связи между двумя державами, еще недавно примирившимися. Посольство ваше долженствует рассеять всякую тень, которая могла бы помрачить взаимные сношения России с Персией после происшествия столь плачевного.

Да будет уверение это принесено вами его величеству, шаху. Да будет он убежден в непоколебимой воле Его Императорского Величества хранить мир и утверждать узы дружбы, возобновленные в Туркменчае.

Избрание вашего высочества для этих объяснений весьма приятно Государю Императору. В этом вы благоволите удостовериться теми чувствами, которые выражены мною от имени Всемилостивейшего моего Государя".

По окончании речи, император подал руку Хосров-Мирзе и сказал ему:

"Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие".

На следующий день Хосров-Мирза имел частную аудиенцию у государя, в Елагинском дворце, на которой он просил о сложении с Персии оставшихся неуплаченными двух куруров контрибуции. Ему отвечали через министерство, что Россия, после тегеранского события, и без того показала довольно умеренности, чтобы теперь, когда объяснения по этому обстоятельству едва приведены к благополучному концу, думать о новых снисхождениях.

Между тем из Персии были получены письма князя Долгорукова, находившегося там для временных сношений с тегеранским двором, и император Николай с удовольствием узнал из них о мерах, принятых в Тегеране для наказания всех, участвовавших в истреблении посольства. Желая выразить свою признательность и уничтожить немедленно все опасения, какие могли еще существовать в уме персиян насчет видов русского правительства,— государь подарил Персии один курур, а уплату другого отсрочил еще на пять лет.

Таким образом, миссия Хосров-Мирзы увенчалась полным успехом. Два месяца прожил он в Петербурге, окруженный утонченным вниманием самого государя и высшего общества, которое его баловало, привлекаемое к нему и его умом, и наружностью. “Это был действительно красивый юноша,— говорит о нем в своих воспоминаниях граф А. Д. Блудов,— с такими большими прекрасными черными глазами, что я помню их и поныне, через сорок шесть лет времени”.

Старожилы Москвы и Петербурга долго не забывали прекрасного юношу, приезжавшего смыть пятно, павшее на Персию. Не многие из русского общества могли предвидеть тогда грустную судьбу, которая должна была постигнуть его на родине. Еще менее мог кто-либо предвидеть, что эта печальная будущность, грозившая ему, сложится благодаря отчасти именно этим симпатиям к нему со стороны русского общества. А между тем, действительно, расположение русского государя и высшего петербургского общества не могло не оставить в юном уме персидского принца глубокого впечатления, и есть основание думать, что именно это-то обстоятельство -и было настоящей причиной неосновательных расчетов его на Россию, которыми он обусловил образ своих действий, подготовивший ему бесповоротное и грустное падение.

Прощальная аудиенция дана была принцу 6 октября и сопровождалась новыми милостями со стороны императора. Подарков посольству роздано было более чем на восемьдесят девять тысяч. Самому Хосров-Мирзе пожалован был от императора бриллиантовый орел для ношения на шее, на голубой ленте, и бриллиантовое же перо с изумрудами: эмир-низаму — богатый кинжал и орден Белого Орла; всем остальным членам посольства — драгоценные перстни.

Вполне счастливый, со светлыми надеждами на будущее оставил Хосров-Мирза Петербург 18 октября 1829 года, путь его в Персию лежал через Карабаг. Мусульманский край, еще недавно переживший смутное время персидского вторжения, теперь встретил и проводил принца горячими овациями. Уже за целый месяц до приезда его весь Карабаг хлопотал над приготовлением торжественной встречи возвращающемуся принцу; собирались стада баранов и кур, беки рыскали за джейранами. Из Щекинской и Ширванской провинций съезжались агалары в нарядных чохах, с богатым оружием, на лихих, роскошно убранных конях. Батальон сорок первого егерского полка, с военно-окружным начальником мусульманских провинций генералом Абхазовым, расположился на реке Тертере; карабагский комендант с татарской конницей ожидал принца на самой границе бывшего Ганжинского ханства. Здесь, среди обширной степи, под склоном высоких гор, составляющих летнее убежище некоторых кочевок карабагцев, близ небольшого дубового лесочка, расставлены были шестьдесят лачуг, и между ними огромный белый шатер для самого принца.

При этой встрече со своими единоверцами принцу, еще слишком молодому и неопытному, приходилось обдумать каждый свой шаг, чтобы не подать повод к каким-нибудь превратным толкованиям своего поведения, чтобы не оскорбить никого и в то же время удержаться вдали от излишнего, быть может, усердия мусульманских беков, еще

так недавно и так легко изменивших России. И нужно отдать принцу полную справедливость: он держал себя в высшей степени осторожно и тактично.

Вот как описывает эту встречу один из очевидцев: “Пока его высочество тешился дорогой стрелянием птиц и ястребиной охотой, свита принца в длиннополых кафтанах, со множеством катеров, тяжело навьюченных, уже была на месте. Через несколько часов прибыли генерал-майор Ренненкампф с некоторыми почетнейшими лицами посольства. Мирза-Садых, приводя в изумление слушателей, тот-час принялся рассказывать всем о России,— как вдруг показалась толпа всадников. “Хосров-Мирза — глияр!” — закричали татары и все опрометью бросились из шатра. Я последовал за ними. Наши татарские беки в нарядной одежде, на лихих, богато убранных конях неслись рысью за комендантом; за ними следовал дормез, в котором ехал Хосров-Мирза, и другой, в котором сидел эмир-низам. Дормез остановился перед палаткой, и принц, проворно выпрыгнув из экипажа, вошел в нее. Мы все последовали за ним. Его высочество сказал генералу несколько слов по-французски и потом объявил, что устал и желает отдохнуть. Мы откланялись и вышли из палатки. На другой день принц, в сопровождении многочисленной свиты, отправился в дальнейший путь”.

В конце февраля 1830 года Хосров-Мирза прибыл в Тегеран и был благосклонно принят самим Фетх-Али-шахом, которому и вручил грамоту русского императора.

“Мне приятно,— писал в ней государь,— что Хосров-Мирза был избран вашим величеством для укрепления союза Персии с Россией. Похвальные качества его, в непродолжительное пребывание в России, приобрели ему не только Мое благоволение, но и любовь всеобщую. Я поздравляю вас, державный государь, со внуком, подающим блестящие надежды: он явился здесь достойным сыном любимого вами наследника вашего. В заключение я долгом считаю поручить Хосров-Мирзу особенному вниманию и милостям вашего величества”.

Расположение и внимание, которыми император Николай отличил молодого принца, хорошо были известны в Персии и на первых порах поставили его в глазах народа чрезвычайно высоко. К этому прибавились военные отличия, оказанные принцем в Хороссанской экспедиции, в начале 1831 года, когда Аббас-Мирза предпринял поход в восточные провинции. Персии, “чтобы стереть,— как он писал государю,— нечистый прах мятежа с лица того края”. Хосров-Мирза, двигавшийся к нему на соединение через Систанские степи, с горстью своих людей разбил текинскую конницу и вообще оказал такие услуги шахскому правительству и самому Аббасу-Мирзе, что был сделан самостоятельным начальником города Ак-Дербента.

Так жизнь Хосрова складывалась сначала необыкновенно счастливо, обещая ему долгие годы славных деяний. Но люди Востока редко умеют держаться в пределах благоразумия. В принце мало-помалу возникали честолюбивые стремления, а слухи о том, будто бы Аббас-Мирза готовится сделать его своим наследником, помимо старших сыновей, окончательно вскружили ему голову надеждами, которым никогда не суждено было сбыться. Под обаянием этих надежд принц стал заносчив и надменен даже с родными братьями. Последние, конечно, не остались в долгу и против Хосрова образовалась целая враждебная лига, во главе которой стал Мамед-Мирза, старший брат, боявшийся потерять через него шахский престол, который он должен был наследовать по праву рождения.

Хосров отлично понимал опасную игру, которую затеял с таким легкомыслием. Но, заручившись расположением к себе каймакама, Мирзы-Абул-Касима, человека всемогущего, перед которым дрожала целая Персия, он мало обращал внимания на

подпольные интриги, которыми его старались опутать. И уже одна эта беспечность едва не погубила Хосрова.

Однажды, проезжая через город Себзевар, находившийся под управлением Мамед-Мирзы, он был задержан и подвергнут, по приказанию последнего, строжайшему надзору; четыреста конных туркмен были приставлены к принцу, чтобы следить за каждым его шагом, а для большей безопасности распорядились даже секретно расковать его любимую лошадь, не имевшую себе подобной в целом улусе. Глубоко оскорбленный принц решился бежать и ждал для этого только удобного момента. Покорностью и лаской ему удалось усыпить бдительность своих сторожей, и раз, во время прогулки, воспользовавшись тем, что конвой ехал довольно беспечно, он отделился вперед и вдруг пустился скакать по тегеранской дороге... Поздно понял конвой, что это настоящее бегство. Четыреста человек понеслись в погоню, но конь Хосрова скакал быстрее стрелы,— и туркмены “не достигли, по выражению персиян, даже взвившейся пыли, которая укрыла за собой уносившегося всадника”.

В Тегеране Хосрова ожидали, однако, недобрые вести: в столице носились слухи о тяжкой болезни его отца, который на пути к Герату заболел водяной болезнью и был безнадежен. Аббас-Мирза, действительно, и умер в Мешеде 10 октября 1833 года.

Известие об этом как громом поразило престарелого шаха. Лишившись в Аббасе-Мирзе испытанного помощника, он перенес все свое расположение на старшего сына его, Мамед-Мирзу, который тотчас был вызван в Тегеран и объявлен наследником престола.

Из Тегерана Мамед-Мирза отправился в Тавриз, постоянную резиденцию наследников каджарских венценосцев; за ним, по приказанию шаха, последовал и Хосров-Мирза.

Его положение становилось весьма двусмысленным и печальным. Сам каймакам, уступая обстоятельствам, перешел теперь в лагерь его противников и, желая как-нибудь угодить Мамеду, выпросил у шаха фирман, повелевающий следить за поведением молодого принца, который, будто бы, после своей поездки в Петербург вел беспорядочную жизнь, проигрывался в карты и к своему надменному характеру присоединил еще своеволие и неуважение к деду. Принца обвиняли даже в тайных сношениях с кочующими около Ардебиля племенами и опасались, что он возмутит Азербайджан с целью низложить своего соперника.

Хосров между тем действительно не хотел изменить своих отношений к Мамеду и открыто избегал титуловать его “валиахадом”, то есть наследником.

Высокое положение, занятое старшим его братом в государстве, делало тем не менее невозможным для принца несоблюдение по отношению к нему этикета; в известных случаях он должен был являться к нему на поклон. Случилось, что с последней именно целью прибыл однажды в Тавриз брат Хосрова, Джехангир-Мирза, правитель Хои и Урмии, и между ними тотчас установились секретные сношения.

О чем говорили между собой братья, остается неизвестным. Но каймакам, в угоду наследнику трона, донес ему, что Хосров и Джехангир замышляют произвести возмущение в самом Тавризе. Мамед-Мирза, не решаясь употребить против них открытой силы в своей резиденции, пригласил обоих братьев к себе на обед, в один из загородных садов Тавриза, и там изменническим образом окружил их сарбазами. Принцы были отвезены в Ардебиль и заключены в темницу.

Известие об этом событии быстро дошло до Тегерана. Но шах, встревоженный самоуправством своего наследника, тотчас отправил к нему гонца с приказанием немедленно освободить заключенных. И Мамеду оставалось только исполнить категорическое предписание повелителя, как вдруг является новый гонец с громовым известием, что Фетх-Али-Шаха не стало: он умер 8 октября 1834 года, в Испагани, после кратковременной болезни, последовавшей от невоздержанности в пище.

Шах скончался на семьдесят шестом году своей жизни, после тридцатидевятилетнего царствования. Как государь он не совершил ничего, что бы могло дать ему право на блестящее имя в истории. Как человек он остался памятен своим подданным более всего своей внешностью,— необычайно длинной, особенно резко бросающейся в глаза при его небольшом росте и сухощавости, бородой, которая начиналась под самыми глазами и простиралась далеко ниже пояса. Эта борода считалась самой длинной в Персии, и живописцы, желая польстить “средоточию вселенной и убежищу мира”, увеличивали ее на портретах до бесконечности. Памятен остался шах еще своей неимоверной, превосходившей всякое представление, скупостью. Он сознавался сам, что день, в который ему не удавалось положить хоть что-нибудь в свой кошелек, почитал потерянным и не мог спать. Про него рассказывали в Персии бездну анекдотов. Привычка его обращаться с деньгами была так велика, что он по тяжести узнавал, сколько держит денег в горсти, никогда не ошибаясь ни на один червонец. Проводя большую часть своей жизни в гареме, он имел целую тысячу жен, и за то оставил после себя девятьсот тридцать пять сыновей и внуков,— потомство, ничего не обещавшее Персии, кроме кровавых раздоров.

Таков был сошедший в могилу старый шах. И тем не менее, смерть его поразила всех. В течение сорокалетнего царствования все так привыкли видеть его своим повелителем, что мысль о новом государе не могла уложиться “ни под одной бараньей шапкой”. Известие о внезапной смерти шаха перепугало и Тавриз, и всю Персию, так как нужно было ждать, что поднимется обычная борьба за трон и внесет в страну все ужасы междоусобия.

По счастью, Мамед-Мирза сумел не допустить развития интриг и беспорядков. Он немедленно объявил себя шахом и принял энергичные меры к подавлению возникших уже было волнений. Скоро все стихло.

Новое царствование жестоко отозвалось на судьбе Хосров-Мирзы и его брата, и этой страшной судьбой своей они были обязаны опять интригам каймакама, искавшего расположения нового шаха. Каймакам начал с того, что в самых ужасающих размерах представил шаху опасность, угрожающую Персии в том случае, если бы Россия потребовала освобождения Хосрова. И вот, чтобы лишить этого принца всякой возможности когда-нибудь играть политическую роль, он предложил ослепить его вместе с братом и затем сослать в одну из отдаленнейших провинций государства. Долго не соглашался шах на ужасную меру, но убежденный каймакамом, он, наконец, возложил исполнение приговора на своего ферраш-баши, Измаила, хана караджадагского.

Прошло уже несколько месяцев, как Хосров и Джехангир томились в ардебильской тюрьме. При полной неизвестности о том, что происходило за стенами их мрачного приюта, они тем менее могли что-либо знать о кознях против них каймакама; да если бы и знали, то уже ничего не могли предпринять для своего спасения. Узники жили в глубокой тоске и унынии... А вокруг все точно вымерло, и только крики муэдзинов, с высоты минарета призывавших в урочные часы правоверных на молитву, да оклики тюремной стражи нарушали мертвую тишину и безмолвие. С трудом прожитый день сменялся бессонной ночью, которой, казалось, также не было предела. Надежды гасли одна за

другой. И вот настал для них ужасный момент. В народе сохранился следующий рассказ о последних днях, проведенных несчастными узниками в темнице.

Однажды, в глухую ночь, Хосров-Мирза, по склонности человека пытать будущее таинственными средствами, взял сочинение Хафиза, служащее в Персии оракулом, и на случайно раскрывшейся странице прочел следующее двустишие: “Лови, лови часы наслажденья, ибо не вечен жемчуг в своей раковине”.

В глубоком раздумие закрыл принц книгу, а между тем час решения его судьбы приближался. Вот послышался мерный шорох, Хосров очнулся и вздрогнул. В комнату вошел Измаил-хан и с ним несколько сарбазов. Они развернули шахский фирман и прочли повеление ослепить обоих братьев. Прежде чем принцы пришли в себя от ужаса, сарбазы бросились на Хосров-Мирзу, повергли его наземь, и палач совершил бесчеловечную операцию... Та же участь постигла и Джехангира. Мир Божий навсегда закрылся для несчастных.

Освобожденные из заключения, они поселены были в Тусиргане, близ Хамадана, и здесь безвыездно прожили в течение многих лет, вместе со своими семействами, в особом замке, отданном в их исключительное владение. Мамед-шах, мучимый совестью, всячески старался облегчить их положение. Рассказывают, что Хосров приезжал даже к нему в Тегеран с какой-то просьбой, но когда об этом доложили шаху, он отвечал: “Сделайте все, что он требует, но, ради Бога, не показывайте мне несчастного брата”.

Если Хосров-Мирзе суждено было вынести на себе всю тяжесть восточного деспотизма, то в сердцах своих соотечественников он навсегда оставил неизгладимые следы глубокого к себе расположения и сострадания. Общее сочувствие к нему всего красноречивее выразилось в той радости, которая вызвала повсюду казнь каймакама, главного виновника его несчастья.

Интриги Мирза-Абул-Кассима привели в конце концов и его самого к гибели. Он убит в Тегеране 14 июня 1835 года, по повелению шаха, понявшего наконец все козни опасного интригана. Нужно сказать, что, с целью сохранить корону Персии в своей линии, Мамед-хан объявил своего четырехлетнего сына, Наср-Эддина, наследником трона. Скоро разнеслись слухи, что каймакам замышляет нечто по поводу этого распоряжения шаха. Перехваченная переписка его с некоторыми преданными ему вельможами Персии обнаружила его намерения и замыслы.

К этому присоединились жалобы всех приближенных к трону. Негодование шаха на некоторые поступки каймакама с ним самим — давно уже копилось в глубине души его и ожидало только случая, чтобы разразиться грозой. Теперь его участь была решена. Жалобы начальников войск, что солдатам не платят жалования, дали шаху внешний предлог покончить с каймакамом.

Шесть дней просидел каймакам в заключении, совершенно спокойный и уверенный, что гнев шаха пройдет и что он скоро станет снова, и, может быть, с большим блеском, “шить и пороть”, то есть, правительствовать. Проницательность, однако же, на этот раз обманула его. На седьмой день вошел в темницу посланный от шаха и предъявил ему фирман, в котором было сказано, что “коварные замыслы его против особы государя обнаружены в полной мере и что за все его преступления шах повелевает лишить его жизни посредством задушения”. Изумленный каймакам думал сначала, что его только пугают; но он скоро убедился в серьезности дела. Он затрясся всем телом, побледнел и закричал отчаянным голосом: “Нет, ты не смеешь душить меня!”.

“Как не смею? — возразил исполнитель казни.— А вот увидишь! Но я не таков, как другие. Ты добрый человек, и я помню твои благодеяния; слава Аллаху, я заработал много от тебя, бивши по пятам рабов Божьих по твоему приказанию и отбирая в казну их имения. Что я за собака, чтоб забыть все твои милости! Не бойся; я не оскверню тебя мерзкой веревкой. Из уважения к твоему доброму сердцу и сану, иншаллах, если угодно Аллаху, мы постараемся задушить тебя руками. Ферраши!” Три ферраша вошли в комнату.

Они бросились на каймакама и начали душить. Отчаянное сопротивление его было ужасно: он грыз, рвал, царапал своих палачей. Отвратительная борьба продолжалась с четверть часа; но мало-помалу силы начали оставлять осужденного, ноги его подкосились, и он упал бездыханный на каменный пол темницы. Ферраши вышли, и начальник их донес шаху об исполнении приговора. Через некоторое время, когда ферраши возвратились, чтобы убрать тело, они были поражены неожиданным невероятным зрелищем: каймакам ходил по комнате! Завидя своих палачей, он бросился на них с неимоверной для старика силой, и три ферраша решительно не могли ничего с ним сделать. Тогда они позвали на помощь товарищей, и восемь человек разложили его на полу, навалили на него кучу тюфяков и подушек, уселись все на них, закурили кальяны и два часа на этом страшном диване делали кейф, боясь, чтобы шейтан-каймакам не ожил вторично. Бесчеловечная сцена, достойная подземелий Востока!

Изменнический умысел каймакама, как говорят, действительно существовал и состоял в том, чтобы убить шаха, объявить для формы повелителем Ирана малолетнего наследника и царствовать под его именем; утверждают даже, что он имел намерение истребить со временем весь дом Каджаров и сделаться шахом.

Рассказывают, что, среди общего ожесточения против каймакама, нашелся один человек, добром помянувший всем ненавистного вельможу. Это был некто Абул-Кассим, которого, как говорят, облагодетельствовал каймакам во дни своего величия. Узнав об ужасной смерти своего благодетеля, Абул-Кассим купил у палачей тело его и с великой честью похоронил близ деревни Шах-Абдул-Азима, где и поныне еще видна могила каймакама, так печально завершившего свои интриги.

А Хосров-Мирзе предстояла долгая жизнь. Он пережил многими годами самого шаха, скончавшегося в 1848 году и передавшего трон нынешнему повелителю Персии, Наср-Эддину,— и умер в 1875 году, на шестьдесят третьем году

своей трагической жизни.

XXXVII. СТРАНА АРАРАТА

В указе правительствующему сенату, данном императором Николаем Павловичем по поводу заключения мира с Персией, сказано:

“Силой трактата, с Персией заключенного, присоединенные к России от Персии ханство Эриванское и ханство Нахичеванское повелеваем во всех делах именовать отныне Областью Армянской и включать оную в титул наш”.

Это было восстановлением и призывом к новой жизни древнего народа, пронесшего через века бедствий и гнета свою духовную самобытность. Великий результат персидской войны 1826—1828 годов был только осуществлением великой мысли славного Преобразователя России, сумевшего, наряду с уважением к европейскому просвещению,

сохранить глубокое понимание оригинального характера и пользу русского народа и давшего на целые века программу политических деяний для своего великого государства.

Восстановление прав армянского народа распространялось не на те только области, которые становились под защиту единоверного царства. Русский царь, приняв титул царя Армянского, с тем вместе поднимал на свои царственные рамена великий подвиг защиты и тех армян, которые оставались еще во власти мусульманских государств. Европейские державы, уже в силу политического соревнования, присоединились к защите священных прав веры и свободы армянского народа, и с тех пор в договоры с Турцией постоянно включают направленные к тому обязательства.

Таким образом, с восстановлением области Армянской, заря будущего занялась и для всего армянского народа, который, храня сознание невозможности борьбы немногочисленному племени с сильными мусульманскими царствами, давно уже стремился слить свое существование с государственной жизнью одной из христианских наций, могущей оградить его драгоценные интересы.

Но чтобы в полной мере понимать все историческое величие подвига России, нужно знать, какой же это народ призывался теперь к новому существованию, нужно вспомнить его историю, длинный ряд веков борьбы и тяжких испытаний, в которых устояли не многие племена и из которых армянский народ умел выйти без громких побед, но с полным торжеством, не дав стереть свою духовную особность.

Нижеследующее изложение не претендует дать историю Армянской страны; оно имеет целью только очертить нравственный облик армянского народа, каким он выражается не в одних исторических событиях, а и в его легендарных представлениях.

XXXVIII. ДРЕВНЯЯ АРМЕНИЯ

На обширном плоскогорье, простирающемся от Каспийского моря, от устья Куры и Аракса до древней Каппадокии, и от Грузии до древней Мессопотамии — со стародавних времен обитало особое племя индо-германского корня, известное под именем Армянского.

В средоточии этой земли возвышается священная гора Арарат, налагающая на всю страну религиозно-мистический колорит как на вторую колыбель человеческого рода. Величавая гора, на которой “седе ковчег” Ноев, стала для обитателей страны вечным свидетельством присутствия Верховного Существа еще в те времена, когда Армения не знала истинного Бога. От обманчивой игры солнечных лучей, отражаемых ею, она кажется близкой повсюду в Армении и всегда служила для жителей ее как бы соединяющей святыней. Редко взор достигает вершины Арарата, закутанной почти всегда в облаках и составляющей яркий контраст с вечно ясным куполом неба. Арарат как бы привлекает к себе облака,— он жилище вечных бурь и гроз; каждый почти день природа представляет собой здесь бурную воздушную область, и по мрачной завесе облаков то извиваются быстрые молнии, то мелькает величественная радуга. “Тут,— говорит один историк,— душа воспламеняется восторгом и мысль дополняет то, что укрывается от взоров”.

Четыре величавые реки орошают страну. Кура отграничивает ее от древней Иверии и Албании; всем своим протяжением лежит в ней величавый Араке; Тигр — течет своими верховьями, и Евфрат отделяет ее от древней Каппадокии.

Мало есть стран земных, где бы на таком тесном пространстве встречались столь разительные противоположности природы. Здесь соединились все климаты земного шара, от знойного до полярного. Сосновые и дубовые леса Мессопотамии соприкасаются здесь с лимонными и пальмовыми. Дев аравийский ревом своим некогда отвечал здесь на вой волка гор Таврских. В низменных равнинах Армении — долгое лето и тропическая жара; в горах ее — вечные льды, стужа, зима, продолжающаяся две трети года. Глубокие снега и ураганы не раз даже спасали страну от сильных врагов ее. Так Ксенофон, описывая знаменитое отступление десяти тысяч греков, рассказывает о неимоверных трудностях, встреченных войсками его около истоков Евфрата.

История застает армянское племя на довольно высокой степени умственного и политического развития. Страна управляется царями, то самостоятельными, то подпадающими под власть суровых завоевателей, наводнявших кровью весь азиатский запад от Малой Азии и гор Кавказа до берегов Ганга и недосягаемых снегов Гималаев. Царство распадается на множество почти самостоятельных уделов (нахарарств) — наследственную принадлежность известных родов; нахарары составляли главнейшую внутреннюю силу Армении, не раз ограничивавшую власть царей, и в руках их были суд и казни, подати и сбор войск.

С древнейших времен Армения славилась и развитием своей торговли. Занимая место на переходе из Азии в Европу и от цивилизованных стран Малой Азии к дикой Скифии, она самим положением своим как бы предназначалась для торговых сношений.

Такой застают Армению исторические народы Азии. Происхождение общественного устройства и быта ее коренится в народном характере армян, но еще более в их вековой истории, легендарное начало которой восходит к той эпохе, которой только могла достигнуть память человечества.

Народ Араратской страны никогда не называл ее Арменией,— это имя дали ей другие народы. Греки, всюду видевшие себя, производили имя Армении от одного из героических царей ее, Арама. Священная библия знает Армению только под именем страны Араратской, и лишь в позднейших переводах ее это выражение заменяется иногда именем Армении; а соседняя Грузия зовет страну просто Самхетией, что значит “страна, лежащая на юг”.

Сами себя армяне называют Гаи, по имени легендарного Гайка, родоначальника народа и основателя династии, господствовавшей до времен Александра Македонского. Этим Гайком и начинается легендарная история Армении.

Гайканские предания, прошедшие через влияние христианских представлений, начинают историю Армении Ноем,— первым человеком после потопа. Но в армянском народе и до христианской эпохи должно было существовать такое же представление о происхождении Гайка. Ему не могло быть неизвестно халдейское предание о потопе, рассказанное в эпосе Издубара, о котором знали все окружающие народы и которое армянский народ в христианское время должен был забыть, слив его со сказанием о Ное. Эта халдейская легенда, имеющая огромное сходство с библейским повествованием, рассказывает, что во втором поколении людей жил один справедливый и богобоязненный муж по имени Хасисуадр, по-гречески Ксизустр. Бог, раздраженный нечестием мира, известил его что род людской погибнет от потопа. Он повелевал ему записать начало, историю и конец всех вещей земных по порядку и скрыть эту летопись в одном древнем городе, лежащем в полуденной стране; потом построить себе ковчег и, введя в него животных и птиц, запереться в нем со своим семейством и с друзьями. Праведный Ксизустр в точности

исполнил повеление Божье. И вот земля была поглощена водою, уничтожившей всех людей, и все, что жило с ними. Когда потоп кончился, Ксизустр вышел из ковчега с дочерью и кормчим, и все трое исчезли. Тогда невидимый голос сказал оставшимся в ковчеге, что Ксизустр и спутники его возведены в череду богов, и повелел им идти в южную землю, где была скрыта летопись.

Нужно думать, что легенда о Гайке стояла в том самом отношении к сказанию о Ксизустре, в каком, впоследствии, она была поставлена к повествованию о Ное, что Гайк считался и древними армянами праправнуком человека, спасшегося во времена потопа.

История принадлежит к тем легендарным повествованиям, которыми начинается история всех народов. По армянскому сказанию он жил сначала в Мессопотамии, куда, как выше сказано, и посланы были потомки Ксизустра голосом с неба. Когда он был в Вавилоне, там царствовал Бэл Титанид, в лице которого хотят видеть Немврода, исполина и “великого ловца перед Господом”. Предание заставляет Гайка строить вместе с Немвродом великую башню, чтобы избежать нового гнева божия, потом ссорит его с ним из-за деспотических стремлений исполина — и, наконец, уводит его в страну Арарата.

Гайк обосновался в нынешнем Ванском пашалыке,— тогда области Васпуракан.

Между Немвродом и Гайком возникает война.

Рассказ о ней, занесенный в армянские летописи, носит на себе характер глубокой древности, отличаясь в то же время необыкновенной верностью народному и местному колориту.

Бэл,— говорит предание,— не мог примириться с независимым от него существованием царства Гайканов и отправил одного из своих сыновей с предложением Гайку признать его владычество. “Ты поселился,— велел он сказать ему,— среди холодных ледников. Согрей, смягчи холод оцепеневшего, гордого твоего нрава и, покорившись мне, живи, где тебе угодно”. Но Гайк отослал послов назад с суровым ответом.

Гордый титан двинулся к пределам Араратской земли.

Враги встретились у озера Вана, на полуденной стороне его. Гайк, воодушевляя свои войска, говорил: “Друзья! Не страшитесь исполинов, двинемся единодушно и дружным мужеством сокрушим дерзновенных. Врывайтесь туда, где в толпе храбрых увидите Бэла. Быстрота даст нам победу. Но если порыв наш не поколеблет тирана — умрем, но рабами исполинов не будем!” Крик “умрем или победим” был ему ответом”.

“Как бурный поток низвергается с крутых высот, так быстро стремятся войска Титанида к озеру Вану”. Осторожный Гайк, построив свои дружины, поднялся сам на высокую гору, чтобы обозреть стан неприятельский, и увидел, что Бэл, с полком своих исполинов, стоял на крутом холме, вдали от остальных своих войск, рассеянных по полю. Гайк поспешил воспользоваться выгодами разделения неприятельских сил. Он приказал сыну своему Арменаку и внуку Кадму ворваться в промежуток между двумя неприятельскими станами, чтобы не дать им соединиться, а сам повел колонну своих исполинов против царя ассирийского.

Бэл, в железном шлеме, в медных досках, защищавших его грудь и плечи, с обоюдоострым мечом, гордо стоял, облокотясь на щит, и смотрел на наступавших врагов. Видя их приближение, он быстро спустился с холма навстречу Гайку. Задрожала земля от

столкновения исполинов, и долго победа не хотела склониться ни на ту, ни на другую сторону. Но вот, Кадм и Арменак, отрезав Бэла от массы его войск, нападают на него сбоку. Тогда, в недоумении и страхе, он спешит отступить на тот холм, где он стоял прежде. Но “луконосец” Гайк натягивает свой упругий, широкий трехаршинный лук, крылатая стрела, спущенная с его тетивы, ударяется в грудной панцирь Бэла, насквозь пронизывает его,— Титан падает мертвым. “Вместе с ним,— говорит историк,— падают на прах земной и все мечты гордыни и властолюбия”.

Пораженные ужасом, ассирияне бегут к пределам своих областей и, спасая только жизнь, оставляют стан в добычу победителям.

Так кончилась война, первая в истории человечества.

В память победы, обеспечившей самостоятельное существование армянского народа, Гайк основал, на самом месте битвы, город Гайкашен, развалины которого поныне указывают на запад от города Вана; на холме же, где пал Титан, он похоронил его раскрашенное тело и воздвиг гробницу, чтобы она, по выражению летописца, “возвещала и современникам и отдаленному потомству о жребии гордого властолюбца”.

История Гайка относится армянскими преданиями к двухтысячным годам дохристианской эры. Затем идет темный двухвековой период, не оставивший в преданиях ни светлых страниц, ни крупных событий. Нет, однако, сомнения, что этот период был временем слагавшейся государственности армянской страны, период завоеваний, построения городов и прочего. Благодарное потомство сохранило из этого периода имя родоначальника Арменака, утвердившегося окончательно в областях Араратской и Нахичеванской, где обитали, по преданиям, прямые потомки Ноя и где самые имена местностей поныне носят отпечаток библейских сказаний. Остался в памяти народа и сын его Арамаис, давший реке Араксу имя своего внука Эрасха и основавший знаменитый впоследствии город Армавир, который стал столицей Армении. Известен родоначальник Амасия, по имени которого армяне и теперь называют Масисом священный Арарат.

С Арамом, жившим два века спустя после Гайка, вновь связывается представление о великих исторических событиях. Арам, подобно Гайку,— все еще лицо мифическое, послужившее только центром, около которого слагались легендарные представления. Армения, как и всякая страна, должна была пережить ту эпоху, когда народ стал выходить из неизвестности и государство приобретало определенные границы. Все события этой эпохи, разбросанные, быть может, на протяжении не одного столетия, народ армянский и приурочивает к личности Арама, которого предания называют царем. Ему приписывается образование армянского государства в тех границах, в которых оно стало известно историческим народам.

Нужно сказать, что по всей истории армянского народа проходит красной нитью та черта, что он, даже в своих собственных представлениях, является, в огромном большинстве случаев, не самостоятельным двигателем событий, а только участником в тех событиях, которые создавались другими народами, игравшими крупную роль в истории Востока. Появляются на сцене истории Мидяне,— и в созидании их могущества участвуют армяне: падают тираны Вавилона,— и армяне участвуют в свержении их. Поэтому великие имена Армении постоянно связываются с современными им великими именами народов, получавших преобладание. Исключений из этого общего правила почти не существует.

И подобно тому, как имя Гайка тесно связано с именем Бэла, легендарное имя Арама есть только спутник легендарного имени ассирийского Нина. Армянские предания

представляют Арама бескорыстным противником деспотического царя. Они заставляют Нина желать отомстить Араму за победу Гайка над Немвродом и в то же время, боясь его могущества, искать дружбы его, посылать к нему посольства и дары. Но, конечно, Нин в жизни Армении играл лишь роль завоевателя, а Арам был только отважным защитником ее. Предания говорят, что Арам одержал многие победы над мидянами и ассириянами и стал славен на всем Востоке. Многие думают, что этим он и дал повод соседним народам назвать его именем всю страну, которой он был повелителем.

Араму наследовал сын его Арай, по прозванию Прекрасный, отличавшийся, действительно, необыкновенной красотой. Но слава, и его имени опять стоит в зависимости от имени Семирамиды, преемницы Нина. Наводняя своими полчищами Восток, Семирамида, конечно, не могла миновать Армении, которая, как нужно думать; была данницей Нина. Но легенды облекают эти простые отношения в поэтические формы. Они рассказывают, что когда молва о необычайной красоте Арая дошла до слуха знаменитой царицы, она отправила к нему дары и послов, приглашая его к своему двору. Арай, которого предания делают идеалом семейных добродетелей, отказался. Тогда Семирамида быстро собрала войска и внезапно вторглась в Армению.

На полях Араратских произошла битва, и Арай погиб в сече, несмотря на приказание Семирамиды щадить его жизнь.

С тех пор в преданиях народных древнее имя Арарата, существующее, должно заметить, задолго до Арая, связалось с именем этого царя и стало объясняться слиянием двух слов Арай-Арат, что будто бы значит “гибель Арая”.

По одному из преданий, Семирамида, пораженная красотой уже мертвого Арая, повелела набальзамировать его тело и поставила в своей опочивальне в золотой гробнице. По другому преданию, опасаясь непримиримой вражды армян к ассириянам за смерть Арая, Семирамида потребовала от верховного жреца и волхва Мираса, чтобы он воскресил его. А когда тот уверил ее, что Арай уже перешел к богам на вершину Кавказа и оттуда по непреложной воле их будет препровожден в Халдею, Семирамида отыскала воина, похожего на Арая, и как воскресшего царя показала его армянам.

Семирамида оставила глубокие следы своего пребывания в Армении, привив ей культуру древней Ассирии. Дивясь благорастворенному климату страны, она вознамерилась приезжать в Армению каждое лето на время жары и с этой целью среди прелестного ландшафта построила великолепный город Шамирамакерт, то есть Семирамидин город, известный ныне под названием Ван, при озере того же имени.

Самое построение этого города облекается легендарными преданиями. Рассказывают, что из всех стран своего обширного царства Семирамида вызвала сорок две тысячи работников, и в числе их шесть тысяч искуснейших “каменщиков, литейщиков, кузнецов и землекопов, обученных многим искусствам.

Несколько лет продолжались работы. Валы и чугунные ворота окружили город с домами из камней разноцветных, с обширными, прекрасными площадями, с великолепными банями. На укрепленных высотах воздвигались дворцы с потайными ходами и обширными подземельями. В скалах, таких твердых, что резец едва может провести на них легкую линию, были высечены храмы, гостиницы и казнохранилища. Множество камней было покрыто надписями, начертанными с такой легкостью, словно на листе бумаги.

По берегам озера Семирамида приказала раскинуть селения, сады и рощи, чарующие взоры. Плодоноснейшие холмы превратились в виноградники. Следы этой величавой постройки сохраняются поныне близ города Вана, и поныне находят там высокий и широкий вал, сооруженный из огромных камней, скрепленных особым цементом из извести и песка,— и камни эти так стиснуты, так крепко прилегают один к другому, что никакими усилиями нельзя разъединить их иначе, как раздробив. Но во впадинах и пещерах, образуемых этой громадой, теперь укрываются лишь разбойники да бродяги.

Когда великолепный город был отстроен и обведен стенами, Семирамида ввела в него многочисленное население. Армянские предания связывают со своей историей и саму смерть Семирамиды. Они говорят, что когда возмутился сын ее, Нинус, она бежала в Армению, и царь Кардас, сын Арая, вместе с ней двинулся к пределам Ассирии, что в первом же сражении и Семирамида, и Кардас пали, множество тысяч армян были избиты,— остальные бежали в окрестные горы.

Семирамидой, от XVIII века до Р.Х., начинается длинный, тысячелетний период зависимости Армении от Ассирийского царства; она была простой данницей царей ассирийских, и ходила вместе с ними в завоевательные походы. Есть отдаленное свидетельство, будто бы армяне участвовали в защите Трои. Говорят именно, что армянский властитель Зармаир, видя окровавленное тело Гектора, бросился будто бы отважно на Ахиллеса и пал в единоборстве с ним.

Во второй половине восьмого века до Р.Х. в жизни Армении совершается знаменательный переворот,— ее владетель Паруйр провозглашает себя независимым. В сообществе мидян и вавилонян он восстает против ассирийского владычества и участвует в трехлетней осаде Ниневии, окончившейся, как известно, добровольной гибелью на костре последнего царя ее, Сарданапала, вместе с его женами и всеми сокровищами.

Паруйр первый из армянских владетелей принимает титул царя и, как говорит летописец, венчается царской диадемой, которую отняла у рода его Семирамида и возвращение которой лежало у Паруйра на сердце. С этого времени Армения имеет уже коронованных царей, и Паруйру наследуют потомки его из рода в род, до самого прекращения Гайканской династии.

Но участие Армении в смертельном ударе, нанесенном ассириянам, стоило ей только перемены владычества ассирийского на вавилонское, и при наследниках Паруйра перед взором историка проходит все та же картина деятельности народа в зависимости от его верховных повелителей. Салманассар ведет армян на разгром царства Израильского; с Навуходоноссором они участвуют в пленении евреев и разрушении Иерусалима. Начинается эпоха Кира,— и Армения является деятельной пособницей в его всемирных завоеваниях.

“Я поведу Кира за десницу,— вещал небесный глагол устами пророка Исайи,— он разрушит крепость царей, перед ним отверзнутся врата, и грады не затворятся”. И в этих словах вся величавая судьба Кира, в которой Армении ее историки отводят такое видное место.

Когда, при самом рождении своем, обреченный на смерть, вследствие зловещего пророчества о нем, и спасенный лишь жалостью царедворца, Кир вновь был приближен ко двору грозного деда своего, мидийского царя Астиага, а потом сослан им опять в Экбатану,— тогда, по словам этих историков, армянский царь Тигран, восхищенный

молвой о Кире, пригласил его к себе и выдал за него одну из своих сестер. Так завязались между ними крепкие узы родства и дружбы.

А в то время, как между Киром и Тиграном крепнул союз, Астиагу привиделся зловещий сон, являвшийся как бы пророческим извещением о грядущих событиях. Видел он себя в какой-то неведомой стране, близ высокой горы, вершина которой была покрыта вечными льдами. Говорили, что это земля Гайкидов. Пока Астиаг пристально смотрел на гору, на вершине ее появилась прекрасная женщина, облаченная в пурпур и в покрывало небесного цвета, мочившаяся родами. И вдруг, перед глазами изумленного Астиага, она разрешилась тремя взрослыми героями. Первый из них, сев на льва, устремился к закату, второй, на леопарде, держал путь на полночь, а третий, взнуздав чудовищного дракона, напал на царство Мидийское.

Снилось потом Астиагу, что он стоит на кровле своего дворца, покрытой многоцветными красивыми шатрами; видит он венчавших его богов, стоящих в дивном величии, видит себя, окруженного своими царедворцами, и вместе с ними чествующего богов жертвоприношениями и фимиамом. И вдруг, взглянув наверх, он увидел дивного полубога, сидящего на драконе и несущегося, как бы на орлиных крыльях, сокрушить богов. Астиаг, бросившись между ними и всадником, принял на себя нападение. Кровля дворца обратилась в море пролитой крови. В продолжение долгих часов бился Астиаг с исполином — и пал, пораженный мечом его... Тут сон исчез,— и царь проснулся, облитый холодным потом.

Была полночь. Несмотря на то, он медленно созывает своих советников, рассказывает им страшное видение и говорит: “Оно предвещает нам сильное нашествие, подготовляемое Тиграном Гайкидом”.

С ужасом внимали грозному пророчеству царедворцы и, под влиянием зловещего страха, советовали Астиагу немедленно погубить Тиграна при помощи любимой сестры его Тигрануи. “Лучшее средство против врага,— говорили они,— это измена, прикрытая личной дружбой. Возьми Тиграную в жены, и тогда, опутав ее сетями интриг, мы возьмем Тиграна, как бессильного ребенка”.

Астиаг, оставшийся в народной памяти армян под именем Аждахака, то есть “дракона”,— принимает этот совет. Он пишет письмо армянскому царю, прося руки прекрасной сестры его Тигрануи. “Ты можешь быть уверен,— говорилось в нем,— что она будет царицей цариц”. Тигран соглашается и отправляет сестру свою к Астиагу “царским обычаем”, а Астиаг назначает ее первой между своими женами. Но напрасно стараются и Астиаг, и царедворцы сделать Тиграную участницей заговора. Сведав о коварстве мидийского царя, она обо всем уведомила брата. И когда Астиаг, замышляя измену, пригласил Тиграна для свидания на границу своих владений,— Тигран, уже предупрежденный сестрой, отвечал, что “идет,— но не на свидание, а на бой”.

На границе Мидии сошлись две сильные вражеские армии. Обе они действовали, однако, с крайней нерешимостью. Астиаг, под влиянием сна, страшился мысли сойтись с Гайкидом. Тигран поджидал Кира и старался выручить сестру, измена которой могла стоить ей жизни. Наконец Тигрануя явилась в лагерь брата, переодетая простым воином, а вслед затем пришел и Кир со своими победоносными полками. Астиаг был разбит и пал на поле сражения. По одним преданиям, он был убит Тиграном, собственноручно поразившим его копьем; по другим — разбитый и покинутый всеми, Астиаг умирает в пустыне от жажды и голода.

Говорят, что львы той пустыни стерегли его тело и оно, после многих дней, найдено было нетронутым тлением.

Разгром мидийского царства послужил началом величия Кира. Тиграну достался тогда весь царский дом Астиага и десять мидян, которых он поселил в окрестностях Арарата. В память заслуг Тигрануи царь основал великолепный город Тигранокерт и выдал ее замуж за одного из нахараров, предоставив ей все доходы с этого города. Потомки ее составили особое поколение, именовавшееся “вольным домом”; они существовали до десятого века по Р.Х. и считались принцами крови, имевшими наследственные права на престол Армении.

По свержении Астиага армяне участвовали во всех дальнейших походах Кира, видели в цепях побежденного Креза Лидийского и гибель царя Валтазара, предсказанную ему вещими огненными словами. Тигран, друг и сподвижник Кира, умер в 520 году, оставив страну свою на высокой ступени могущества. Благодарное потомство назвало его Великим.

Прошло двести лет. Наступают времена великого македонского завоевателя,— а вместе с ними наступают для Армении и новые времена бедствий. В Армении царствовал в то время Ваге, сын Вана, основателя знаменитого города, существующего и ныне на развалинах древнего Шамирамакерта. Видя грозную тучу, обтекавшую Азию, слыша о падении царств и гибели народов, он, подобно древнему Гайку, решился или отразить нападение, или умереть за независимость Армении. На требование покорности он ответил: “Лучше пасть за отечество, чем видеть, как чужеземцы попирают ногами родную землю”. Тогда полководец Александра, Митрас, вступил в Армению и одним ударом разгромил ее войско. Ваге был взят в плен и казнен.

Так пала династия Гайканов, которая затем уже никогда не владела более армянским престолом. Но, сходя со сцены истории, она, имевшая одного общего родоначальника с народом, оставила в Армении самые отрадные и светлые воспоминания. Горячая любовь к ней народа впоследствии выразилась преданностью его к нахарарам, представителям того же гайканского дома. Прошли тысячелетия с тех пор, как погиб последний царь Гайкан, но народ армянский поныне слагает песни о тех стародавних временах, воодушевляемый памятью о популярнейших царях родной ему династии. И знаменитый Моисей Хоренский, приступая к изложению истории Гайканского дома, говорит: “Любезны моему сердцу эти мужи, происшедшие от нашего царя, как мои соотечественники, кровные мои и братья. О, как бы желал я, чтобы в то время совершилось пришествие Спасителя и мое искупление, чтобы я родился при тех царях, наслаждался бы их лицезрением и тем избавился бы от настоящих бед”.

По смерти Ваге Александр совершенно уничтожает в Армении царское достоинство,— и страна становится провинцией, управляемой македонскими сатрапами. Потеря независимости, тяжело отозвавшаяся на армянском народе, вызвала, однако, со стороны его попытки к сопротивлению. В этот момент на сцену армянской истории и выступает героическая личность Ардоата, искусного полководца последнего царя из рода Гайка.

Пока Арменией управлял кроткий и человеколюбивый Митрас, знамя восстания еще не поднималось в ней; но когда по смерти Александра царство его рушилось, когда управление Азией досталось Пердикасу и правителем Армении был назначен Неоптолем, принесший с собой в страну все ужасы тирании,— Ардоат решился на подвиг освобождения отечества. Переодетый, он тайно объезжал области Армении, созывая всех, кто способен был стать на защиту родины; в лесах и в ущельях гор собирались к нему

вооруженные дружины. И вот под его начальством образовалось сильное войско, о чем и не подозревал утопавший в разврате Неоптолем. Ардоат окружил дворец сатрапа, одолел македонскую стражу и послал сказать ему: “Армения не восстает против Македонии; она ополчилась только против тирании и несправедливости, которых не могут желать и сами властители Азии. Возврати нам счастье, которым мы пользовались при Митрасе, и любовью к народу исторгни из рук наших оружие”.

Неоптолем, испуганный восстанием, бежал в Кападокию. Разгневанный Пердикас послал в Армению полководца Евмена усмирить возмущение. Но умный Евмен не хотел прибегать к оружию и вступил с Ардоатом в переговоры, предлагая ему уважить верховный сан Неоптолема и принять его снова в Армению. “Сограждане твои,— писал он,— не постыдно могут покориться могуществу македонян. Прими Неоптолема с почестями, приличными его сану,— это не помешает тебе остаться героем”.

“Слава героев,— отвечал Ардоат,— в правоте и миролюбии. Мы уважаем власть верховную. Пусть Неоптолем возвращается в Армению, но пусть он правит ею так, как того требует величие славы македонской”.

Неоптолем вернулся, и Ардоат остался при нем начальником армянских войск.

Среди возникших затем смут и кровопролитий между полководцами Александра Великого, когда Антипатр, Кратер, Неоптолем, Евмен, Пердикка, Антигон и другие боролись между собой, Ардоат старался стоять в стороне, объявив торжественно, что не намерен вмешиваться в дела македонские. “Не пролью капли крови армянской,— сказал он,— за раздоры иноплеменников”. Однако, уступая силе обстоятельств, по настоятельному вызову Антигона, он должен был отправить к нему часть своих войск и тем навлек на себя мщение Евмена.

Среди приближенных последнего был некто Оронт, сын знаменитого армянина, командовавшего при Неоптолеме армянской конницей. Оронт отличался военными способностями, обладал привлекательным умом и обольстительной наружностью. Он был как бы создан для интриг и происков. Ему поручил Евмен часть македонских войск, чтобы изгнать Ардоата и овладеть Арменией. Оронт, имевший на родине многочисленных приверженцев, вошел в Южную Армению и оттуда разослал воззвания, обещая награды и почести тем, кто примет его сторону. И скоро к его македонскому войску присоединилось двенадцать тысяч армян. Готова была возгореться междоусобная война. Ардоат, чтобы избежать ее, задумал победить своего противника хитростью и поручил преданному себе полководцу Мергаму захватить Оронта. Мергам, под видом вражды к Ардоату и соблюдая всевозможную осторожность, чтобы не выдать себя, послал к Оронту письмо, предлагая перейти на его сторону со всем своим войском. Оронт был очень обрадован, обещал награды, но от решительного ответа уклонился, опасаясь обмана. Меграм, чтобы сломить его недоверчивость, прибег к новой хитрости. Он захватил какого-то важного лазутчика, вероятно, им же самим подготовленного, и доставил его к Оронту. Тогда Оронт, убежденный наконец в преданности Мергама, принял его с большими почестями и совершенно на него положился. Меграм вкрался в такую доверенность к Оронту, что добился даже права свободно входить в шатер его и днем и ночью. И вот однажды, воспользовавшись благоприятным случаем, он опоил Оронта сонным порошком, одел его в платье простого воина и с несколькими своими приверженцами вынес его из шатра и увез к Ардоату.

Внезапное исчезновение Оронта внесло смуту и мятеж в его войска. Один из полководцев, Аспар, попытавшийся восстановить порядок, был убит,— и солдаты рассеялись. Между

тем Оронт, привезенный в Армавир, был заточен в храм Орамазда, служивший всегда местом заключения для царственных узников; там ему объявили, однако, что жизни его не угрожает ни малейшая опасность. Пораженный великодушием Ардоата, Оронт, в присутствии волхвов, перед лицом бога Солнца, добровольно поклялся в верности Армении,— и был освобожден.

Между тем верховным правителем Азии становится Антигон, успевший победить своих соперников. Он повсюду переменил наместников, казнил казавшихся ему подозрительными и, наконец, потребовал на суд к себе и Ардоата. Ардоат отвечал ему: “Я не вмешиваюсь в чужие дела, но не обязан никому отдавать отчета в том, как я защищаю свои области”. Тогда Антигон двинул на Армению двух своих полководцев. Ардоат встретил их на границах своей земли и, отступая внутрь страны, искусно навел их на приготовленную засаду. В Гордиенских горах, там, где цепи скал образуют теснины почти неприступные, мидяне и персы внезапно охвачены были со всех сторон армянами. Оба полководца едва успели спастись через вершины гор, но войска их были истреблены или взяты в плен. Армения стала на время свободной.

Но умер Ардоат,— и независимость армянского народа снова исчезла. За Ардоатом следует тот темный междуцарственный период Армении, о котором Моисей Хоренский говорит: “С этих пор и до воцарения Вагаршака в Армении ничего верного не могу рассказать, ибо, вследствие возникших смут, всякий думал захватить власть и управлять нашей страной. Сатрапы и восставшие против них армянские полководцы, чередовались между собой во главе страны. Но в этом длинном ряде деятелей уже не было людей, одаренных талантами Ардоата, и, за немногими исключениями, они оставляют от себя лишь смутное и тяжелое впечатление. Оронт, заместивший Ардоата, на третьем же году своей власти, малодушно подчинившись первому же требованию Селевка Никанора, обязался платить ему ежегодно четыреста талантов и шесть тысяч коней в полном снаряжении. Сын его, Артавазд, пытается восстать против Антиоха Великого и на требование его покориться посылает ответ: “Будем отражать силу силой,— а дани не дадим”.

Но среди приготовлений к упорной борьбе Артавазд умирает,— и ворота Армении открываются для Антиоха Великого без борьбы и усилий. Полководцы армянские Артаксиаз и Задриадес добровольно подчиняются ему, чтобы стать сатрапами. Артаксиаз получает в управление Большую Армению, Задриадес — Малую. Тогда совершилось политическое отделение Великой Армении от Малой.

Правление Артаксиаза памятно в истории первыми сношениями Великой Армении с Римом.

Едва прошло столетие с тех пор, как в пределах Азии гремели победы Александра Македонского, а теперь уже имя римлян разносилось по всем трем частям древнего мира. И вот далекие пунические войны,— бедствия Италии от меча Аннибала, в три месяца покорившего всю Испанию и через грозные Альпы внесшего ужасы войны в пределы гордого Рима, под самые стены его, наконец, разгром Карфагена,— вся эта великая борьба, совершавшаяся на одном конце тогдашнего мира, с грозной силой отразилась на совершенно противоположном конце его — в Армении. Покинутый отечеством, Аннибал бежал к Антиоху Великому; но вслед за собой он увлекает и победоносное оружие римлян, не хотевших оставить в покое своего гениального врага. Римские легионы тут впервые появляются на равнинах Азии. От разбитого Антиоха римляне требуют выдачи Аннибала,— и знаменитый карфагенский вождь ищет убежище у Артаксиаза, в Армении. Армению, защищенную самой природой, Аннибал мечтал противопоставить

стремительным завоеваниям Рима и искал союза с соседними народами. Но ни Митридат Понтийский, занятый осадой Синопа, ни Аршак, царь парфянский, воевавший в Индии, не согласились на его предложения.

Присутствие Аннибала в Армении между тем тревожит римский сенат. Римляне впервые вступают тогда в сношения с далекой Арменией и предлагают Артаксиазу высокий титул союзника их", если он выдаст им Аннибала. Артаксиаз, "привыкший,— как говорит историк — жертвовать добродетелью позорным расчетом изворотливой политики", вступает в тайные сношения с Римом. Но Аннибал, предупрежденный о замыслах его, бежит из Армении и, всюду гонимый судьбой и Римом, кончает жизнь свою самоубийством.

Так мечты Аннибала разрушились. Но памятником пребывания его в Армении осталась непреодолимая твердыня, обширный город Арташат, построенный по плану его на берегу Аракса, на трех утесах, сросшихся в своем основании. Сюда, под защиту грозных укреплений, возведенных гениальным полководцем, Артаксиаз перевел из Армавира свой двор, переместил все государственные учреждения,— и Арташат в течение многих веков служил столицей Великой Армении.

На этот раз римское оружие не коснулось Армении. Но зато оно отразилось тяжело на Селевкидах, победная звезда которых с тех пор час от часу угасает на небосклоне Азии. Но чем слабее становились властелины, тем самовластнее, деспотичнее являлись правители провинций, вызывая повсюду ропот и негодование. Последний сатрап Армении, Артавазд, прозванный армянским Сарданапалом, отличается таким развратом и такой жестокостью, что вынуждает, наконец, лучшую часть армянского народа обратиться за помощью к парфянскому царю Аршаку Великому, славному тогда на всем Востоке. Аршак восстанавливает в Армении царское достоинство и назначает царем брата своего Вагаршака.

Когда Вагаршак вступил в Армянскую землю, полководцы, войско, народ — все приняло его сторону. Артавазд, как бы возобновляя историю Сарданапала ассирийского, хотел защищаться. Но народ встретил его негодованием, а льстецы, испуганные народным движением, поспешили уговорить его снова скрыться в своих гаремах, предоставив защиту отечества одним полководцам. Не много стоило труда склонить Артавазда к тому, что так льстило его чувственной натуре и привычке к распущенности гаремной жизни. А между тем новый царь, Вагаршак, поддерживаемый сильной рукой своего брата, быстро шел вперед и уже был под стенами столицы. Городские ворота открылись перед ним беспрепятственно. Тогда Артавазд в ужасе бежал из дворца и на берегу Аракса поразил себя мечом.

Так пало в Армении владычество Селевкидов и воцарилась славная династия Арзасидов, или Аркуши.

Когда Вагаршак, коронованный царем Армении, пожелал узнать от брата, где границы его царства, Аршак заметил ему: "Границы для храбрых определяет меч; сколько отрежет он, тем и владеет".

И вот, прежде чем утвердиться на престоле, Вагаршак должен был выдержать упорную борьбу с соседями, чтобы восстановить Армению в ее древних границах. При помощи могущественного брата он возвратил все отнятые у Армении земли, вновь присоединил под свое владычество Малую Армению и обеспечил за своей страной независимое существование почти на целых полстолетия.

Затем в его царствование начинается период мирной деятельности, которому он обязан своей славой еще более, чей военным подвигам. Давно уже страдал народ под тяжестью расточительности сатрапов, приносивших с собой от восточных дворов тиранический произвол, рядом с невиданной роскошью и развратом. Парфянский повелитель, напротив, приносил с собой законность, древнюю простоту и строгость нравов. Нужно сказать, что Армения, в течение веков управляемая чуждыми ей сатрапами в отношении политическом, во внутреннем государственном строе сохранила свою самобытность; ею спокойно ведали, по древним обычаям, роды нахараров, наследственно и почти самостоятельно управлявшие своими владениями.

Вагаршак, обнаруживая свойства мудрого правителя, не коснулся прав нахараров, понимая, что не сможет ограничить их, не вооружив против себя народ, преданный им, как своим единокровным родоначальникам. Напротив, все усилия его были направлены к тому, чтобы при их содействии водворить в стране благосостояние, которого давно уже не было в ней. В злополучные времени Селевкидов соседние северные народы спускались со своих гор и предавались в армянских землях необузданным разбоям; поля Армении запустели; плотины, политые кровью и потом народа, рушились, и некогда плодоносные нивы залились водой. По повелению Вагаршака теперь сооружались новые оплоты для осушения болот, проводились протоки для свободного течения рек, расчищались дремучие леса, служившие притоном разбойников; покинутые и запустевшие места вновь заселялись жителями,— и вскоре одичавшая было страна зацвела новой жизнью, возникли ремесла, художества. “В награду за все это,— говорил Вагаршак — я желаю только того, чтобы встречать в стране нравы кроткие и общество человеколюбивое”.

С именем Багаршака соединяется представление и о начале армянской литературной образованности. Существует повествование о том, как заботится царь Вагаршак о создании армянской истории. Предания говорят, что он послал к брату своему, Аршаку Великому, некоего Мар-Ибаса-Кадина, уроженца Сирии, искусного в языках восточных, с просьбой открыть ему архивы и дать возможность отыскать тайны древней армянской истории. Мар-Ибас, по найденным рукописям, а еще более по древнему народному эпосу, составил полную историю Армении и возвратился с ней к Вагаршаку, который приказал главнейшие события из нее начертать на мраморном столбе, сооруженном в его чертогах.

По смерти Вагаршака страна не долго оставалась независимой. Распространение римского владычества на Азию сурово отразилось на судьбе Армении, сделав ее невольной участницей митридатских войн, а затем — и данницей Рима. Некоторые армянские хроники, смешивая имена и годы, относят общеизвестные подвиги Митридата Понтийского к армянскому царю Арташезу, который будто бы превосходил Митридата и военными способностями, и политической мудростью. Они говорят, что знаменитые походы в пустыни Скифии, где не побеждали ни Кир, ни Александр Македонский, Митридат совершил будто бы только по поручению Арташеза. А когда о победах Митридата заговорил весь свет и римский сенат потребовал от него очищения завоеванных им областей,— тот же Арташез с мудрой предусмотрительностью уговорил Митридата на время смириться перед Римом, чтобы прежде собрать возможные средства для борьбы с повелителями мира. По его совету Митридат в три года обошел под чужим именем все области Малой Азии, научился двадцати двум языкам и узнал обычаи и свойства жителей. Только тогда, когда Митридат вернулся к Арташезу, царь быстро собирает такое многочисленное войско, что “никто даже не знает ему счета”. Он наводнил своими полками всю Малую Азию, покорил всю сушу между двумя морями и наполнил океан множеством кораблей, желая поработить весь запад... Римляне, встревоженные быстрыми успехами Арташеза, уже готовившегося перенести победоносное оружие в западные пределы Европы, подослали тайных убийц; они прокрались в армянский стан,

успели возродить в нем смуту, и, при возникшем мятеже, Арташез пал под мечами своих же собственных воинов. Говорят, что, умирая, он воскликнул: “Увы! Как превратен жребий царей! Как быстро пролетает земная слава! Рад, что умираю, не пережив своего счастья!”...

В этих сказаниях, перемешивающих эпохи и лица, есть та доля истины, что в них отразилась именно память о великих событиях, совершавшихся тогда в Армении, которых не. могли затемнить и грандиозные события, влиявшие на судьбы всей тогдашней Азии.

В то самое время, когда Митридат начинал борьбу Свою с Римом, в Армении царствовал зять его, сын Арташеза, Тигран II, названный Великим. Междоусобные распри в фамилии Арзасид дали ему случай занять первенствующее положение в тех странах, где владычествовали представители этой династии. Он построил себе дворец в самой Персии, где господствовали старшие из Арзасидов, чеканил монету со своим изображением и принял титул “царя царей”. Это и был единственный момент в истории Армении, когда она становилась во главе азиатского мира. Подвиги Тиграна сделали имя его известным не только на Востоке, но и на Западе, где римляне внимательно следили за его успехами.

Когда Митридат, разбитый Лукуллом, бежал в Армению и Лукулл, преследуя его по пятам, осадил Тигранокерт,— армянский царь пришел в непосредственно враждебное столкновение с Римом.

Рассказывают, будто бы, гордый Тигран, увидев малочисленные легионы Лукулла, сказал: “Если римляне пришли послами, то их слишком много,— а если сражаться, то их мало”. Но тут, по словам Плутарха,— случилось нечто неожиданное: двенадцать тысяч римлян разгромили полтораста тысяч противников, потеряв сами только пять человек. И тем не менее, Тигран, еще питая в душе безумную надежду отстоять свою независимость от римлян, продолжал войну. Он выказал в этой борьбе много мужества, много военных дарований, но не мог воспрепятствовать победоносным легионам Помпеи пройти через всю Армению до самого подножия Кавказа.

Загнанный в горы, Тигран должен был наконец признать себя данником Рима. Ему был оставлен престол Армении, однако же с условием помогать Риму в борьбе с Парфией.

Так дело всей его жизни, результаты всех его завоеваний сразу были уничтожены приговором мощной силы. Рассказывают, что, когда Тигран явился к Помпею, полководец римский любезно заметил ему, что он не только не теряет царства, но приобретает себе еще новых друзей в лице римского народа.

В дальнейших событиях Армения надолго становится спорным краем в борьбе между Римом и Парфией. Лавируя между противниками, Тигран ищет опоры в каждом из них, подчиняется и помогает то той, то другой стороне, стараясь только предохранить свою собственную землю от бедствий вражеского нашествия.

Преемник Тиграна, Артавазд, не сумел продолжать его мудрой политики и тем погубил Армению. Вопреки обязательствам, он открыто принял сторону Парфии и выслал свои войска против легионов Антония. Тогда Антоний хитростью заманил его в свой лагерь и в серебряных оковах отправил в Александрию, где царь армянский был предан смерти. Чтобы ослабить Армению, Антоний после того делит ее уже на три части; Нижнюю, Верхнюю и Малую. Последняя отдана была царю понтийскому, а первые две управлялись то царями из рода Арзасидов, то римскими сатрапами.

С этих пор для Армении наступает глухое и темное время, от которого не осталось даже настоящих имен ее царей и правителей. По крайней мере римские и греческие историки называют одни имена, в то время, как историки армянские — совершенно другие. Нужно думать, что это историческое разногласие произошло оттого, что армянские историки считают царями этой эпохи потомков Аршакуни, которые при тогдашних тревожных обстоятельствах владели иной раз лишь незначительной частью Южной Армении, тогда как в остальных областях ее царили римские и парфянские ставленники, которых армянские историки гордо игнорируют.

К этим-то потомкам Аршакуни и принадлежал Авгар, владевший Едессой, знаменитый своими сношениями со Спасителем мира. Но зато к ним же принадлежал и целый ряд других царей, преемников его, обративших несчастную страну в арену кровавых убийств почти на целое столетие. Ананун, сын Авгара, предаст мечу все, что исповедует после отца его христианскую веру. Санатрук, наследовавший ему, истребляет весь род Ананунэ и всех потомков Авгара, Еруанд убивает Санатрука, уничтожает детей его, но и сам погибает от руки убийцы, в борьбе своей с Арташезом.

Единственный уцелевший от истребления потомок славного дома Авгара, Арташез,— воспитанный в горах и прозванный по этому случаю “питомцем гор”,— напоминает своим правлением лучшие времена Армении. В длинное сорокалетнее царствование его несчастная страна отдохнула от тяжких бедствий, угнетавших ее при его предшественниках. Смерть этого царя вызвала в народе истинное горе.

И было о чем горевать армянскому народу. В сыне Арташеза, Артавазде II, возродился самый худший представитель тирании, которая когда-либо существовала в армянской земле. Его беспощадная кровожадность была так безумна, что народ приписывал ее помешательству, для объяснения которого создал даже страшную легенду, показывающую, какие глубокие следы оставили в народной памяти бедствия его короткого царствования.

***

Легенда эта рассказывает, что, когда отец его, Арташез, по обычаю страны, лежал в великолепном золотом гробе, на престоле из виссона, в златотканом царском одеянии, с короной на голове и золотым оружием в ногах; когда, окружая престол, рыдали его сыновья, родные и множество старейших нахараров; когда полки вооруженных воинов, как бы готовых на бой, стояли перед умершим повелителем, а за ними — рыдали одетые в траур армянские девы и теснились огромные печальные толпы народа; когда перед гробом почившего совершилось множество добровольных самоубийств,— Артавазд, видя эти проявления народной любви к отцу, в припадке подозрительней зависти, говорил себе: “Мой отец увлекает за собой народ. Армяне орошают гроб его слезами и кровью. Они не хотят жить без него. Над кем же я буду царствовать?” Тогда,— повествует сказание, — Арташез поднялся из гроба и поразил сына проклятием и безумием, предрекая ему гибель и пленение злыми духами.

И вот однажды, на охоте, в окрестностях Арарата, Артавазд, в припадке безумия, повернул лошадь с моста и стремглав низринулся в глубину потока.

Не лишнее сказать, что по народным песням, сложенным, очевидно, уже в христианские времена, долго спустя после Артавазда, он поглощен был пламенем из разверзшегося перед ним ущелья святого Иакова. Но из-под острия смертной косы — говорит легенда — Артавазд уведен был злыми духами в ущелье Арарата и там окован железными цепями. В

свирепой ярости он непрестанно грызет их, чтобы убежать и снова нагнать на Армению бурю злоключений. К каждому новому году цепи становятся тоньше волоса и готовы разорваться. И вот в армянском народе возникает следующий обычай. Накануне нового года, когда зажгутся вечерние огни в каждой армянской кузнице раздаются три мерные звонкие удара. В этот вечер молот опускается не на раскаленное железо, рождая тысячи огненных брызг, куется не подкова карабагскому скакуну,— кузнец, исполняя древний обычай своего цеха, бьет молотом по наковальне сопровождая три удара таинственными словами: “Крепчайте цепи Артавазда”.

Так выразилась в народе боязнь, чтобы снова не настали времена жестокого безумного царя.

В качестве римской данницы Армения влачила незаметное существование до половины третьего века. Не раз пыталась она сбросить железное иго Рима; и каждый раз, побеждаемая, умела, однако, новыми договорами обеспечивать за собой хотя бы тень политического существования.

В половине третьего века на Востоке совершаются крупные события. В Персии, в лице царя Арташира, возникает новая династия Сассанидов и истребляет всю фамилию Арзасидов, господствовавшую в тех странах около шести столетий. Такой переворот естественно не мог не отразиться и на Армении, связанной с Персией теснейшими родственными узами. И вот царь ее Великий Хозрой начинает с Сассанидами кровопролитную войну, столько же для поддержания древней родственной династии, как и для собственной защиты. Сассаниды нашли в Хозрое смелого и счастливого противника. Он занял весь Азербайджан, разрушил главный город этой провинции, стоявший на месте нынешнего Тавриза, и простер свои смелые набеги далеко внутрь Персии. Чтобы отделаться от беспокойного противника, Арташир поручил одному из своих приближенных убить Хозроя. Этот цареубийца был родственником Хозроя, нахарар, происходивший из рода Аршакуни, по имени Анак. Как бы избегая гонений новой персидской династии, он пришел к Хозрою, прося у него убежища. Дружески принятый, два года искал он случая исполнить свой злодейский умысел и наконец убил Хозроя на охоте, близ столичного города Арташада. Но и сам убийца не успел бежать и пал жертвой народной ярости. Малолетний сын Хозроя, Тиридат, спасенный от преследований Сассанидов приближенными вельможами, был увезен в Рим,— и для Армении начинается тяжкий двадцатисемилетний период междуцарствия, после которого Тиридат, при помощи римского оружия, опять возвращается в Армению.

Тиридатом начинается христианская эпоха в стране, истомленной веками бедствий.

XXXIX. ХРИСТИАНСКАЯ АРМЕНИЯ

Древняя Армения, как и все народы, населявшие соседние страны, обоготворяла природу. Но во второй половине третьего века царь Тиридат, из династии Арзасидов, принимает святое крещение, и с тех пор христианство, крепнувшее с веками, получает значение огромной образовательной и государственной силы в Армении. Оно нашло в стране готовую почву. Свет истинной веры давно уже проникал в нее, и начало христианства местные предания относят к тому времени, когда Спаситель мира был на земле и совершал дело своей божественной проповеди. Царь Авгар, владевший тогда Едессой, после неоднократных походов в Персию впал в тяжкую болезнь. А в то время Восток уже огласился чудесами, которые совершал на земле Иудейской новый великий пророк, Иисус из Назарета. Едесский царь, ища исцеления своей болезни, отправил к Нему послов со следующим собственноручным письмом:

“Достигло слуха моего весть о чудесах и дивных исцелениях Твоих без всяких врачебных пособий. Гремит молва, что по слову Твоему слепые прозревают, хромые и увечные ходят, прокаженные очищаются, что Ты изгоняешь бесов и злых духов, возвращаешь здравие неисцелимо больным и мертвых вызываешь вновь к жизни. Эти слухи воодушевляют меня; я верую, что Ты Сын Божий, совершающий эти чудеса; осмеливаюсь переслать к Тебе это письмо и умоляю Тебя благодушно посетить меня, чтобы вылечить меня от мучительного моего недуга. Слышал я также, что иудеи Тебя преследуют, ропщут на Твои чудеса и грозят Тебе гибелью. У меня здесь есть город, хотя не обширный, но спокойный; в стенах его Ты найдешь все, в чем можешь нуждаться”.

Спаситель отвечал Авгару:

“Блажен, Авгар, в Меня верующий, не видя Меня, ибо обо Мне писано, что видевшие Меня не уверуют, чтобы не видевшие Меня уверовали и обрели жизнь. Я должен здесь кончить то, для чего послан, и потом отойти к Тому, Кто Меня послал. Возвратясь к Нему, пришлю к тебе одного из учеников Моих, да исцелит он тебя от недуга и да принесет с собой жизнь тебе и твоим”.

Христианское предание говорит, что среди посланных Авгара находился живописец, которому поручено было изобразить лик великого пророка, и он рисовал в то время, когда Спаситель говорил с народом. Но лучезарные черты божественного лица ускользали от искусной кисти живописца. Тогда Спаситель подозвал его к себе, взял убрус, приложил его к своему лицу и вручил его художнику. На убрусе отпечатлелся нерукотворный божественный образ. Образ этот и поныне составляет драгоценное наследие города Едессы.

По Вознесении Христовом, когда божественная проповедь распространилась по лицу земли, апостолы появились и в Армении. Фома, из двенадцати, послал к Авгару Фаддея, одного из семидесяти учеников Иисусовых. В то время жил в Едессе некий вельможа, по происхождению еврей. Фаддей и пришел к нему. И вот по всему городу разнеслась молва, что появился ученик великого еврейского пророка, распятого в Иерусалиме и, как всюду носился слух, воскресшего из мертвых. Когда весть о том дошла до царя Авгара, он сказал: “Это тот, о котором писал Иисус”, и тотчас же пригласил его к себе. Когда Фаддей входил в царскую палату, Авгар на лице его увидел знамение Бога. Он встал со своего престола и пал ниц перед апостолом; вельможи, его окружавшие, изумились, ибо не поняли знамения. Авгар спросил Фаддея: “Не ты ли тот ученик Иисусов, которого он обещал прислать ко мне; не ты ли можешь исцелить мои недуги?” — “Если веруешь во Христа Иисуса, Сына Божия, то просьба сердца твоего исполнится”,— сказал ему Фаддей. “Я уже верую в Него и в Отца Его,— ответил Авгар.— Я готов был со своим войском идти на истребление евреев, которые распяли его, если бы мне ню воспретил этого Рим”.

Тогда Фаддей возложил на царя руку, исцелил его от недуга и начал проповедовать евангелие ему и народу его. Он сотворил многие чудеса, исцеляя больных и недужных. Авгар и весь город приняли крещение, замкнули двери языческих храмов и обернули тростником кумиры, находившиеся на столпе и на жертвенниках.

В то же время апостол Варфоломей со своими учениками перешел Араке и распространял учение Христа в восточной части Армении, не подвластной Авгару, строил церкви, ставил епископов, пока не был замучен в городе Аребани.

Христианство, как и повсюду, медленно вытесняло древнюю веру, в которой долго оставалась большая часть жителей,— и последователи его подвергались страшным

гонениям. Уже сын Авгара был лютым врагом христианства. Под угрозой меча народ возвращался к своим кумирам. Тщетно св. Аттей обличал царя, убеждая внять голосу милосердия; он и сам принял мученический венец из рук тирана.

И повсюду в Армении преследовались христиане. Одни из них были замучены, другие скрывались в горы и вели отшельническую жизнь, многие поклонялись Христу тайно, оставаясь без пастырей.

Два первых века христианства прошли для Армении в этой борьбе, в чередовании царей, враждебных Христу, с равнодушными к Нему. Но число служителей истинного Бога росло,— и вот появляется в Армении царь Тиридат, сын Хозроя Великого.

История Тиридата необыкновенно знаменательна.

Когда отец его по воле царя Арташира персидского был изменнически убит своим родственником Анаком и всему роду его грозила гибель, верные вельможи спасли двух его младенцев, укрыв дочь в неприступной крепости Ани, а сына, Тиридата, отправив ко двору кесарей римских, коренных врагов царей Сассанидов. Тиридат вырос в Риме. Не много данных сохранилось о том, какое влияние обнаружил на него вечный город, но по свидетельству римских историков, он вел там жизнь разгула и всевозможного потворства страстям, столь обычного в городе Нерона, Калигулы, Каракаллы.

Рассказывают, что Тиридат сделался весьма популярен в Риме необычайной силой, которую ему приходилось показывать в ипподроме. А какова была телесная мощь Тиридата — можно судить по нескольким случаям, о которых рассказывает Моисей Хоренский: Раз, уже будучи царем, он в сражении с аланами напал на вождя их и одним ударом обоюдоострого меча рассек его пополам вместе с головой и шеей его лошади. Силе своей, по словам историков, Тиридат обязан и царским саном. Перед лицом императора Диоклетиана он сразил на поединке исполина готфского, вызывавшего на бой самого кесаря, и благодарный император облек его порфирой и отпустил на царство.

Тиридат вернулся в родную сторону еще язычником. Но не один возвращался он в отечество; с некоторого времени неотлучно находился при нем ревностный служитель, близкий его сердцу, хотя и неведомый родом, которому он вполне доверял. Этот служитель был будущий великий просветитель Армении, святой Григорий.

Григорий был сын Анака, от руки которого пал царь Хозрой. Когда раздраженный народ растерзал убийцу, Григорий, тогда двухлетний младенец, был спасен своей кормилицей, успевшей бежать с ним. Один персидский вельможа, женатый на христианке, встретив на пути кормилицу, приютил младенца, и, таким образом, Григорий вырос под непосредственным влиянием ревностной поклонницы Христа. Девятнадцати лет он женился на дочери одного из именитых армянских князей, исповедовавшей также христианскую веру, и от этого брака были у него два сына. Но призванием Григория была не тихая семейная жизнь; его влекло к себе христианское подвижничество. И он расстался с детьми и женой, которая со своей стороны отдала себя также служению Богу в безмолвной обители. На душе Григория лежал тяжкий грех отца,— он знал об убийстве им царя Хозроя,— и, расставшись с семьей, решился искупить его тяжким подвигом. Он отправился в Рим, чтобы служить Тиридату, сопровождать его в походах с римскими легионами, всюду оказывая ему свою приверженность. Рим был для великой души Григория великой школой христианской любви и терпения: он был свидетелем гонений на христиан, непобедимого мужества их веры, воодушевлялся им и готовился к мученичеству, постигшему его в Армении.

С царскими почестями и римским великолепием шел Тиридат в свое царство, окруженный многочисленной свитой и римскими легионами. Народ, изнуренный беспорядками двадцатисемилетнего междуцарствия и персидским гнетом, с восторгом встречал единоплеменного царя; Тиридат желал торжественно отпраздновать свое вступление на царство, и в стенах храма Анагиды (Дианы) принес богатую жертву, благодаря богов за сохранение своей жизни и царственное возвращение на родину. Но здесь вере св. Григория и суждено было подвергнуться тяжкому испытанию. Когда Тиридат потребовал, чтобы Григорий поклонился вместе с другими кумирам, Григорий отказался.

“Я исповедую Создателя неба и земли и не поклоняюсь творениям рук человеческих; верно служу царю земному,— хочу сохранить верность и небесному”,— сказал он. Тиридат был разгневан. Тогда, желая ускорить падение царского любимца, услужливые царедворцы открыли царю тайну рождения Григория. “Сын цареубийцы не достоин жизни!” — воскликнул Тиридат. Григорий был подвергнут мучительным истязаниям и, измученный пытками, брошен в глубокий ров, наполненный ядовитыми гадами; в ров этот, находившийся вблизи города Арташата, около того места, где убит был некогда царь Хозрой, обыкновенно ввергались преступники, осужденные на смерть. Целых четырнадцать лет судьба Григория облечена была непроницаемой тайной. Ни в пределах Армении, ни в чертогах Тиридата, нигде не повторялось самое имя мученика, которого считали уже погибшим. Но Провидение хранило Григория. Благочестивая вдовица, жившая подле самой темницы, ежедневно бросала ему в малое отверстие скудную пищу, а ядовитые гады не касались его. И вот настал наконец час, когда из святых уст мученика должна была раздаться христианская проповедь и внести в Армению свет истинной веры.

Но прежде Провидением суждено было пролиться новой мученической крови, чтобы засвидетельствовать о Христе в стране языческой. “На костях мучеников утверждается церковь”. Незадолго перед тем жили в Риме пятьдесят дев, посвятившие себя служению Богу; все они жили вместе, под руководством благочестивой старицы Гаяны, и между ними была одна царского рода, по имени Рипсима, отличавшаяся необыкновенной красотой. Преследуемые Диоклетианом, хотевшим взять Рипсиму в жены, они тайно отплыли в Палестину, а там божественное видение внушило им удалиться в Армению. Тридцать семь дев поселились близ тогдашней армянской столицы Вагаршапат, в убогом домике, близ виноградника, и проводили время в трудах и молитве. Кесаря известили, где укрылась Рипсима, и он написал Тиридату, прося его выслать к нему царевну, если он сам не пожелает взять ее себе в супруги. Тиридат, пораженный ее красотой, послал ей богатые царские дары; они были отвергнуты. Тогда он приказал предать ее всенародно мучительной казни. Подруги ее, пришедшие взять тело мученицы, были также схвачены и на том же месте преданы смерти. А затем, на другой день, были замучены и сама наставница Гаяна с остальными тремя непорочными девами, из которых одна, Мариамна, убита на одре болезни. Тела всех тридцати семи дев были брошены на съедение зверям,— но звери не смели коснуться святых мучениц.

На шестой день сам Тиридат, его ближайшие сановники и исполнители казни подверглись участи Навуходоносора. Пораженные безумием, они стали скитаться с дикими зверями и терзали собственное тело, наполняя страшными воплями окрестности Вагаршапата. Ужас объял столицу.

Тогда, в тайном видении, сестра Тиридата была извещена, что только один узник Григорий может исцелить бесновавшихся. Некий вельможа немедленно отправился в Арташат, не веря, чтобы Григорий, после четырнадцатилетнего забвения в ядовитой яме, мог быть еще в живых.

Григорий, однако, был жив; его освободили, облекли в светлые ризы и с торжеством повезли в Вагаршапат. Сестра царева, синклит и весь народ вышли навстречу ему за ворота столицы и пали к ногам его. В то же время, привлеченные какой-то неведомой силой, бесновавшийся царь и сановники устремились к святому и простерлись; перед ним с дикими воплями. Григорий исцелил их, говоря: “Не мне поклоняйтесь,— ибо я только человек, вам подобный, а Тому, Кто создал небо и землю и нас людей и Кто ныне исцелил вас”. “Где божий серны? — спросил он потом, и когда ему указали место избиения дев, он собрал нетленные останки их, обвил в собственные одежды, отвергнув как недостойные богатые ризы, принесенные язычниками, снес их в один виноградник и остался там в уединенной молитве над ними.

В полночь его посетило видение.

Он видел, что свод небес разверзся и необыкновенный свет пролился до земли; по направлению лучей его стремились сонмы ангелов, а перед ними высокий муж, с грозными взором, державший в деснице своей золотой молот. Он летел с неба быстрее орла и достигнув до центра города Вагаршапата, с неимоверной силой о ударил молотом о землю. Застонала земля; гул пронесся в недрах ее, страшные вопли исторглись из ада, и горы сравнялись с землей.

И вдруг посреди самого города, близ царского дворца, появился высокий, круглый, обширный золотой пьедестал, на нем — огненный столп, над столпом — облачный свод, увенчанный светозарным крестом; вокруг него — четыре других столпа, из которых три на месте казни святых дев, и над каждым по кресту над сводами. Все изображение покрывал чудный купол из облаков, служивший основанием огненному престолу, на котором крест Господень в светозарных лучах проливал свет, проникавший до самого основания столпов. Тогда выступил из земли обильный источник и потек через все поле, далее и далее, пока зрение могло следить за ним. Ангел Божий прилетел к изумленному Святителю и сказал ему: “Муж с грозным видом и высоким станом, шествовавший впереди сонма ангелов с золотым молотом в деснице и ударивший по земле — Сам Господь. Да будет место это храмом Божиим, домом молитвы всех верующих и престолом Первосвященника”.

Всколебалась земля — и видение исчезло.

На месте его Григорий водрузил знамение креста и положил основание трем другим престолам, на месте избиения Рипсимы, Мариамны и Гаяны с их подругами,— там, где явились столпы. Главный престол был назван “Шогокат”, что значит “излияние лучей”, и здесь впоследствии основалась величайшая святыня Армении, монастырь, названный, в память видения, Эчмиадзин, то есть “Сошествие Единородного Сына”. На другой день тела св. мучениц были преданы земле. Раскаявшийся царь более всех трудился для достойного погребения своих жертв, и жены вельмож носили на могилу камни в своих драгоценных одеждах.

Царь и весь его совет единодушно решили тогда избрать Григория пастырем себе в вере Христовой и отправили его для посвящения к архиепископу Кесарии, Леонтию. В Кесарию между тем долетела уже молва о мученических подвигах Григория, о чудесном обращении им целой страны к свету Христову,— и Леонтий рукоположил Григория епископом всей Армении. На берегах Евфрата встретил возвращающегося святителя Тиридат со всем царственным домом, сановниками и народом. Григорий крестил их в водах реки, освященной воспоминанием о земном рае. Но прежде он наложил на них

короткий приготовительный пост, который церковь Армянская и поныне соблюдает в память ее просвещения.

Святитель водворился в царственном Вагаршапате и тридцать лет светил родине своей словом истины и благим примером. Видя, что уже достаточно утверждена им вера Христова в отечестве, Григорий поставил на кафедру сына своего Аристагеса, а сам удалился в дикую пещеру области Таронской, где спасалась некогда одна из спутниц царевны Рипсимы. Там он и закончил в молитве свое нелегкое поприще. Соседние пастухи нашли однажды неведомое им тело его и погребли в пустыне. Только через многие годы открыто было небесным ведением одному отшельнику место погребения святителя, и его нетленные останки перенесли с честью в селение Тартан, где устроилась обитель. Теперь голова святого находится в Неаполе, левая рука в Сисе, правая же в Эчмиадзине, где и поныне служит для посвящения преемников его — католикосов.

Царь Тиридат был ревностным помощником Григория в распространении христианства. По рассказу Моисея Хоренского, он обладал не одной телесной силой, но и необыкновенной волей, и возвышенным умом; а увлекательным красноречием и силой убеждения он превышал даже самого просветителя Армении, Григория. Приняв христианство, он сам стал проповедовать слово Божие, рассказывая всем о чудесах, которые Бог сотворил над ним. В этой проповеди провел он всю свою жизнь и пал наконец жертвой той же ревности в вере. В управляемой им стране еще оставались многие нахарары, державшиеся язычества, и царь постоянным увещанием принять христианство вызвал ропот даже среди своих приближенных. Тогда он снял со своей головы царский венец и ушел в пещеру, где проводил свои последние дни святой Григорий. Царедворцы, боясь народного неудовольствия, просили его воротиться на царство, и когда он отказался — они отравили его. Армянская церковь причисляет Тиридата к лику своих великих святых, как равноапостольного.

С укреплением христианства в Армении ее политическая жизнь выиграла не много. Если вначале и установились у нее дружественные отношения с сильной Византийской империей, то, с другой стороны, Армения столько же проиграла от усиливавшейся ненависти к ней Сассанидов соседней Персии. Дружба Византии вообще обходилась Армении дорого; императоры смотрели на нее просто как на свою вассальную страну и в этом именно смысле оспаривали ее у персов. Армения стала яблоком раздора между этими двумя сильными государствами, ареной разорительной для нее борьбы и смут между нахарарами, переходящими на сторону то персов, то византийцев. А такие переходы далеко не были безразличны для боровшихся сторон, так как они сопровождались обыкновенно переходом дружин и, главным образом, конницы, которая считалась в то время лучшей в целой передней Азии. По свидетельству самих греческих историков, в конце концов, произошел даже простой раздел Армении между персами и греками, причем последним досталась лишь незначительная западная часть страны. Да и недолговременна была эта внешняя дружба маленького государства с огромной империей; она превратилась скоро в суровую ненависть, бывшую отчасти причиной того, что греки мало-помалу потеряли и ту незначительную часть Армении, которая оставалась в их власти. В то время, как византийское правительство неблагоразумными поступками, закрытием школ, преследованием национальности армян, их языка и обычаев, отчуждало своих приверженцев, персидский двор ласками, наградами, а еще чаще тайными интригами и обещаниями привлекал на свою сторону нахараров,— и мало-помалу в Армении установилось преобладание персидской партии. Цари, не имевшие в сущности фактической власти, давно уже были игрушкой в руках то того, то другого из соперничавших государств; значение их падало все более и более, развратная жизнь надоела всем до того, что нахарары сами обратились к персидскому царю с настоятельной

просьбой уничтожить в Армении царское достоинство. Просьба эта, составлявшая полное торжество политики персов, была уважена, и в 482 году персидский царь Баграм V сверг в лице Арташира с престола Армении династию Аршакуни. Страна сделалась провинцией, раздробленной на множество нахарарств,— и самостоятельное существование Армении надолго прекратилось.

Это было печальное время в Армении, печальное тем более, что армянский народ, быть может, именно под влиянием христианства, начал жить в это время высокой умственной жизнью. Этой именно эпохе, V веку до Р.Х., принадлежит величайший из армянских писателей-историков, знаменитый Моисей Хоренский, живой свидетель политического падения своей родины. Моисей родился в конце IV века в селении Хорень, давшем ему свое имя. Замечательный умом, знаменитый историк видел в течение своей долгой жизни весь тогдашний свет и имел возможность научиться всему, что знало человечество. Он был в Едессе, Антиохии, Византии, посетил Рим, Палестину, Афины и Александрию, читал произведения греческих и римских классиков и, наконец, своей историей Армении создал великий памятник и в родной литературе. Он прожил, как говорят, сто семнадцать лет. Вернувшись уже в старости из своих путешествий, он застал Армению как раз во время падения династии Аршакуни и в таком положении, которое исторгло у него вопли страдания. “Сетую о тебе, земля Армянская,— записал он в своей истории,— сетую о тебе, страна благороднейшая из всех стран Севера: нет у тебя более ни царя, ни священника, ни советника, ни учителя... Жалею о тебе, церковь армянская, не вижу более разумное твое стадо ни пасущимся на зеленом лугу, покоящемся у вод, ни собранным в овчарни, ни защищенным от волков: оно рассеяно по пустыням и крутизнам гор”... Так оплакивал свою отчизну благороднейший сын своего века и своей страны.

Около половины седьмого века пали и сами Сассаниды; их место заняли новые завоеватели, арабские калифы,— и в борьбе между ними и византийскими императорами Армения снова сделалась ареной кровопролитий и опустошений, завоевываемая то арабами, то греками. Ревностнейшие распространители своей религии, арабы, по отношению к Армении оказались, однако, не худшими властителями и даже наименее стеснявшими их политическую жизнь и религиозную свободу. Один из нахараров, Ашот, происходивший из древней армянской фамилии Багратидов (Багратуни), с соизволения самих, уже слабевших калифов, искавших опоры между прочим и в Армении, принял в 885 году царский титул и, возложив на себя корону, начал собой новую династию Багратидов.

Происхождение этой фамилии и ее значение в прежней жизни Армении составляет одну из интереснейших страниц армянской истории. По преданию, во времена вавилонского пленения в Армению пришла еврейская колония под предводительством некоего Шамбата, производившего свой род от царя Давида, При царе Вагаршаке один из потомков Шамбата, Багарат, за преданность и помощь царю; за верность и мужество получил звание родоначальника и занял придворную должность возлагателя короны. Арташез II, за новые заслуги одного из Багратидов, пожаловал ему венец, украшенный драгоценными каменьями. Права и должности, пожалованные Багратидам этими царями, были наследственными в их роде, давая им большое значение между нахарарскими родами. И гордые Багратиды всегда помнили эти права. Рассказывают, что один из Багратидов, Сембат, взяв в плен изменника Меружана, претендовавшего на армянскую корону, надел ему на голову свернутое наподобие венца раскаленное железо, говоря: “Венчаю тебя, Меружан! Ты искал армянской короны — и мне, венценалагателю, по обычному наследственному нашему праву, надлежит возложить на тебя корону”.

Один из представителей этого знаменитого рода и становится теперь царем Армении. Гений народный как бы воскрес со вступлением на престол династии Багратидов; для Армении настала новая эпоха благосостояния и развития. Столицей царства был сделан город Ани, который с течением времени украсился великолепными храмами и дворцами и разросся до стотысячного населения. Развалины этого города поныне красноречиво свидетельствуют о том, какой высокой степени просвещения достигала тогда Армения и какая будущность могла бы предстоять ей, если бы не грозы все новых и новых нашествий.

При Багратидах оправившаяся Армения пользовалась некоторым спокойствием и значением до конца X века; и цари, хотя власть их была зависима и нуждалась в признании, то со стороны калифов, то со стороны византийских императоров, нередко носили титул царя царей. Но с начала XI века между самими представителями династии возникли раздоры и войны за престол. Арабы из политических видов поддерживали семейные распри, охотно раздавая короны разным членам царствующей фамилии. В Армении возникли тогда три царства, одно в нынешнем Ванском пашалыке, другое в Карее, третье в области Сюник (Карабаг). И каждый из трех царей желал преобладания над другими и титула царя царей.

А между тем наступила эпоха падения Багдадского калифата, и с запада шли несметные орды завоевателей. Армянские цари, озабоченные междоусобной борьбой, усмирением непокорных нахараров, уже не имели возможности защищать отечество от этих новых опустошительных нашествий. Быстро падает благосостояние Армении, а вместе с тем и царская власть. Наконец сами нахарары изменнически предали последнего Багратида Гагика II византийскому императору Константину Мономаху. Отвезенный под предлогом свидания с императором в Константинополь, он был там коварно задержан и силой принужден отречься от престола. Столица его Ани была захвачена также путем измены, несмотря на упорное сопротивление жителей. Греки, впрочем, не долго пользовались плодами своего коварства. В 1064 году султан Али-Арслан овладел Ани. Армянское царство пало навсегда, и лишь за немногими нахарарами оставалась некоторая власть. Но в 1242 году пришли монголы и разгромили всю Армению, оставив в ней лишь слабые признаки некогда бывшей политической самостоятельности.

В то время, когда оканчивалось существование Великой Армении, на недолгое время приобретает некоторое значение Армения Малая. В эту страну и соседнюю с ней Киликию переселились многие армяне, гонимые бедствиями отечества. Они вместе с коренным населением и образовали отдельное государство. Маленькое государство это в одиннадцатом веке успело сбросить с себя византийское иго и поставило себе царем родственника Багратидов, Рупина,— первого представителя целой династии. Малой Армении довелось играть настолько замечательную роль в крестовых походах, что царь ее, Леон II, был возведен императором Генрихом VI в короли и 6 января 1192 года коронован в Тарсе. Довольно долгое время Мало-Армянское царство счастливо противостояло притязаниям монголов и турок; но внутренние неурядицы, вместе с вмешательством пап в церковные дела, мало-помалу совершенно ослабили и его.

В 1375 году последний царь Армении, Леон VI, был пленен мамелюками, и, таким образом, прекратилось политическое существование и последней отрасли армянского царства.

Не лишнее сказать, что Леон VI впоследствии освободился из плена и умер в Париже в 1393 году. Он погребен в церкви Целестинов, откуда прах его позднее был перенесен в Сен-Дени. Над его могилой стоит памятник, и поныне посещаемый многими

путешественниками. Современный Леону французский историк Фруассар говорит о нем: “Лишенный трона, он сохранил царские добродетели и прибавил к ним еще новые — великодушие и терпение. Со своим благодетелем Карлом IV он обходился как с другом, но никогда не забывал собственного царского сана. И смерть Леона была достойна жизни его”.

Возвращаясь к прошлому, можно отметить, что во время крестовых походов выдающаяся и в то же время страшная роль выпала на долю Едессы, города Авгара. В первой половине XII века она была во власти французских крестоносцев; но потом ее взял и предал жестокому опустошению турецкий султан, отец славного Нуредина. Франки снова овладели городом,— вслед затем опять должны были уступить его туркам. Едесса донесла на этот раз такой кровавый разгром, что даже хладнокровный летописец восклицает: “О тучи гнева, о день жестокий, о ночь смерти, заря ада, день погибели для несчастных едессцев, жителей великолепного города!”

С падением Мало-Армянского царства начинается ряд переселений армян в разные страны земного шара. Гонимые бедствиями отечества, они разбросались тогда на восток до Индии и на запад — по целой Европе, преимущественно в главных центрах ее, в Париже, Лондоне и так далее. Тем не менее, основная масса населения осталась в своей первоначальной стране, и лишь европейская Россия и собственно Константинополь отняли у родины армян многих ее членов, сделавшись очагами армянской эмиграции. Это стремление армян к переселениям не дает права заключить, по словам одного историка, “о бездушном индифферентизме их к своему отечеству”; оно объясняется вековыми религиозными гонениями.

В 1472 году, когда возникает новое персидское царство, Армения становится простой персидской провинцией. Западную часть ее, сто лет спустя, завоевал турецкий султан Селим II, восточная — осталась по-прежнему за Персией. И в этом виде застает и Великую, и Малую Армению новейшая история.

Такова в кратких очертаниях политическая история армянского народа в эпоху господства в нем христианской веры. В пятнадцативековой период она не представляет ни великих полководцев, ни крупных политических деяний, которых не чужда древняя история Армении. Политическая самостоятельность уже никогда не поднималась в Армении на этот длинный ряд столетий, и страна была то безмолвной данницей сильных соседей, то яблоком раздора между ними. Каждый сильный народ, появляющийся на сцене исторического мира, каждое новое нашествие значило для Армении только перемену повелителя.

Но тем удивительнее зрелище народа, сохранившего в эти века зависимости и веру, и язык, и свое особенное духовное лицо, в то время как соседние великие народы, управлявшие судьбами мира, вместе с потерей политического могущества обыкновенно утрачивали и нравственную самобытность, сливаясь с другими племенами. Невозможно отказать Армении в своеобразном величии, невозможно представить ее себе лишенной мужества и нравственной силы. Действительно, если от верхнего слоя фактов, отмечаемых политической историей, погрузиться вглубь вековой жизни армянского народа, перед наблюдателем возникает картина не сонливой неподвижности порабощенной страны, а постоянной деятельности, направленной именно на то, чтобы сберечь свой дух от притязаний завоевателей. Существуют свидетельства, что в этой суровой борьбе армяне не раз проявляли высокую нравственную силу. Этот народ, столь неспособный к завоеваниям, так немного заботившийся о политической самостоятельности, представил мощные доказательства того, что не в отсутствии

мужества лежит объяснение его вековой исторической зависимости, и что там, где мог и находил нужным бороться — он находил в себе и непреодолимые силы.

Вот что писал, например, один из персидских полководцев эпохи Сассанидов об армянах, сражавшихся с ним под предводительством некоего героя Вагана: “Сколько вреда нанес нам Ваган со своей малочисленной дружиной, говоря истину, состоявшей иногда из нескольких сотен людей, могут свидетельствовать старшины нашего войска. Тяжело говорить, и покажется невероятной речь моя, как с малочисленной дружиной он неустрашимо вел упорную борьбу, делая нападения на войска, расположенные в стане, и причиняя огромный вред. Но я расскажу об одном деле, которого я сам был свидетель — дело неслыханное, превышающее все дела человеческие; оно покажется для слушателей невероятным. С тридцатью воинами Ваган бесстрашно напал на три тысячи человек и совершил такой подвиг, что бывшие там до сих пор вспоминают о нем и до сих пор не могут освободиться от наведенного на них страха. Дело это ничему нельзя уподобить. Как деятельные работники, острыми серпами и косами накосив траву и собрав ее в скирды, весело и беспечно возвращаются по домам своим, точно так же и тридцать воинов-армян, напав на полк Махрама, разбили, опрокинули его и множество храбрых перерезали, а сами не убегали, не гнали своих лошадей назад, но долгое время беззаботно ехали около нас, и никто из нашего войска не смел взглянуть на них,— они казались нам не людьми. Хотя эти слова, произнесенные перед тобой — дерзость с моей стороны, но я осмеливаюсь высказать истину. Если бы Армения с такими Людьми была с нами, то Грузия и Албания не посмели бы никогда отложиться от нас...”

И если, действительно, политическая история Армянского царства представляет преимущественно и почти исключительно факты бессилия перед иноплеменниками, приходившими покорять его, то история христианства в этой стране, напротив, богата доказательствами необыкновенной, упорной стойкости народа в защите своих верований; этой силе религиозного духа он и обязан сохранением своей национальной обособленности. В долгие века подчиненного существования Армения была постоянной мученицей и, веруя в слова Спасителя, что “пройдут и земли, и небо, но не пройдут никогда слова Господни”,— вела упорную, кровавую борьбу с язычеством, магометанством и, наконец, с нетерпимостью Византии.

Вся эпоха зависимости Армении от персов испещрена фактами защиты веры с оружием в руках. Персидские цари неумолимо преследовали в ней христианство, побуждаемые к тому всего более причинами политическими. В своем непреклонном стремлении отнять Армению от Византии и уничтожить в ней греческое влияние они, вечно сомневавшиеся в верности иноверных армян, употребляли все силы к тому, чтобы привлечь к себе нахараров, а в народе ввести огнепоклонство и религиозными узами крепко связать Армению с Персией. Так персидский царь Шапух послал в Армению многочисленное войско, под начальством одного из армянских же нахараров, отступника Меружана, прямо с целью искоренения в ней христианства. Меружан старался уничтожить весь чин христианский, заключал епископов и священников в оковы и отсылал их в персидскую землю, объявлял повеление царя, чтобы никто не учился и не говорил по-гречески, сжигал греческие книги и запрещал переводить их. Царь Шапух II, сомневаясь в покорности армянского царя Аршака, упрекал его за дружбу с греческим императором и говорил: “Я знаю, что вы, армяне, хитрите и обманываете меня; вы любите того, кто исповедует вашу веру, и, сделавшись его единомышленниками, от меня убегаете”. И в чаду подозрительного недоверия Шапух клялся солнцем, водой и огнем, что не оставит в живых ни одного христианина. Эта политика по отношению к Армении была общей для длинного ряда персидских царей с IV и до VII века. Одному из византийских императоров армяне писали: “Мы непоколебимо сохранили веру от жестоких, нечестивых царей

персидских, когда они упразднили престол наш, погубили всех нахараров и войско страны нашей, предали мечу мужей и жен и увели в плен множество жителей городов и деревень, оставив висеть над остальными всегда угрожающий меч”... И только уже в позднейшее время один из персидских царей издал указ: “Чтобы каждый оставался в своей вере и чтобы с этих пор никто не смел притеснять армян, так как все они наши подданные и телами нам будут служить, а душами их пусть ведает Тот, Кто души судит...”

Указ этот не надолго, однако, избавил Армению от религиозных преследований. Появились арабы, за ними татары,— и она вновь подверглась опустошительным набегам и вновь пролила потоки крови, защищая веру отцов от фанатизма мусульман.

Не меньше притеснений пришлось вынести армянам и от христианской Византии. Только в самом начале и были дружественные отношения между армянскими царями и византийскими императорами. Тиридат, как говорят, пользовался большой приязнью императора Константина, который, вместе с патриархом, с любовью принял его и св. Григория в Византии. “Два царя и оба архипастыря обязались жить и умереть друг за друга и в знак ненарушимости договора грамоту обмочили в Святые Тайны”. Этот договор лег в основание отношений между Арменией и Византией, и на него постоянно опирались в случаях возникавших недоразумений.

Но вражда не замедлила разъединить два единоверные народа. Армяне, остановившиеся на постановлениях трех первых вселенских соборов и не признававшие остальных, являлись схизмой в глазах константинопольских патриархов и естественно должны были постепенно отчуждаться от них и сами. Византийские императоры думали, что стоит только склонить на свою сторону армянское священство,— и весь народ присоединится к греческой церкви. Но они ошиблись. Некоторые епископы склонялись к признанию всех вселенских соборов, но этим только лишали себя значения в народе и создавали к себе народную ненависть. В XI веке императоры замышляли даже упразднить самый престол армянских католикосов и силой заставить армян принять греческую веру.

Как поступила Византия, показывает письмо армянского католикоса Нерсеса к императору Мануилу, по поводу проектировавшегося соединения церквей армянской и греческой. “Вам следует не грозной царской силой привлекать к себе удалившихся, но христианским смирением,— писал архипастырь.— Не должно повторяться то, что было причиной нашего от вас удаления: разорение церквей, ниспровержение престолов Господних, истребление Христовых знамений, жестокие преследования духовенства и разные клеветы”. Следствия такой политики Византии были весьма невыгодны для самих же греков; армяне, вначале смотревшие на Грецию как на единоверную христианскую державу, помогавшие ей в войнах с Персией и перенесшие столько гонений за свою преданность к ней, в конце концов возненавидели греков и более желали быть подданными турок, чем христианских императоров.

В непрестанной борьбе за свою веру армянскому народу естественно было выучиться считать ничтожными перед ней и жизнь, и имущество, и все остальные интересы общественного и личного существования. Это воззрение армянского народа и создало его духовенству преобладающее положение в стране. Духовная иерархия армянской церкви получила окончательное устройство при патриархе Нерсесе Великом, в IV столетии. Когда епископы константинопольские и иерусалимские начали именоваться патриархами, царь Аршак и нахарары возвели Нерсеса в патриарший сан, и с этих пор армянские патриархи принимают посвящение уже не из Кесарии, но от собора своих епископов В первые времена они выбирались исключительно из рода Григория Просветителя, что облекло их ореолом святости; и прекращение этого рода впоследствии — считалось

причиной всех несчастий Армении. Не все католикосы оставили равную память в истории армянской церкви, но все одинаково служили выразителями внутренней духовной жизни своего народа. Выходя из недр его и охраняя его интересы, католикосы естественно приобретали в стране все большее и большее влияние. И между тем как светская власть посреди беспрестанных политических бурь падала, переходя из рук Аршакуни к Сассанидам, от Сассанидов к византийцам, а нахарары отступничеством или насилием старались ее вырвать друг у друга,— церковное управление казалось основанным на незыблемом начале. Двор католикоса стал отличаться внешними знаками величия и пышностью. По свидетельству одного из историков, “двенадцать епископов и четыре вардапета (ученые монахи), шестьдесят евреев из иноков и пятьсот мирян” были всегда в доме патриарха. Престол патриарший был не беднее царского. Страна покрывалась монастырями, готовыми исполнять повеления католикосов; каждый из этих монастырей, привлекая толпы богомольцев, сделался средоточением целого округа. Светская власть должна была селиться о бок с духовной, и, при шаткости первой, резко выставлялась наружу незыблемость последней. Таким образом Армения, бессильная против бурь политических, создала себе крепкое орудие для ограждения религиозных притязаний Византии и Рима. Католикос является независимым главой особой церкви, и эта самостоятельность ее составляет духовную связь, поныне делающую из армян, рассеянных по разным странам, один народ.

Религиозная жизнь наложила свой яркий колорит на все представления народа. Мертвая природа ожила перед умственными очами в образах, которые ему дало священное писание. Арарат в своей серебряной раздвоенной тиаре, вероятно, бывшей некогда огнедышащей горой, по легендарным сказаниям армян был тем пламенным мечом архангела, который возбранял Адаму и его потомству вход в потерянный рай. Всемирный потоп потушил огненный меч и разрушил Эдем, но именно потому-то Ной и должен был пристать к Арарату, чтобы род человеческий вторично начал свое существование у ворот рая.

Величавыми преданиями окружались святые места армянской земли. Эчмиадзин, столица католикосов, в которой в старину считалось обязательным для каждого армянина побывать хоть один раз в жизни, сияет в ореоле отдаленной крепости. На том месте, где стоял некогда царственный Вагаршапат, стоит теперь Эчмиадзин, а вблизи его другие три монастыря, Гаяны, Римсимы и Шагокат, на тех самых местах, где возникли столпы в видении св. Григория. Эчмиадзинская церковь, построенная крестообразно из красного порфира, в течение длинного ряда веков сохранила и до сих пор общий характер и размеры, данные видением. Все здесь говорит о тех временах, когда в стране появился впервые свет истинной веры.

В Эчмиадзине хранятся величайшие святыни Армянской церкви: десница св. Григория, которой рукополагаются и поныне преемники его, католикосы, голова блаженной Рапсимы и руки апостола Фаддея, сына св. Григория, Аристагеса и родственника его св. Иакова. По древнему армянскому обычаю священные предметы эти вложены в особые серебряные изваяния, чтобы благословлять ими народ как бы руками самих святителей. Тут же показывают и небольшой кусочек дерева от Ноева ковчега, добытый, по местным преданиям, св. Иаковом.

Богатый серебряный киот, с вычеканенными на нем иконами, хранит священное для каждого христианина копье, которым был прободен на кресте Спаситель. Копье, обагрившееся кровью Христа, сделано из простого черного железа, с довольно широким лезвием; внизу лезвия — полукруг; боковые крылья обломаны, и из них сделан крест, прибитый гвоздями над полукругом; на нижнем конце — рельефные фигуры ангелов.

Украшения эти появились уже после того, как оно послужило исполнению пророчества, а предание утверждает, что крест и гвозди на копье вбиты рукой апостола Фаддея, принесшего его в дар царю Авгару, после вознесения Спасителя. Прежде, по свидетельству старых людей, вместе с копьем хранился в Эчмиадзине и один из гвоздей, которым был пригвожден Спаситель к кресту. Теперь его уже нет.

Тифлисским жителям памятно чудо, совершенное над их городом в страшную чуму 1813 года. Объятое ужасом население послало в Эчмиадзин почетную депутацию за святым копьем, которому издавна приписывалась таинственная сила — отвращать губительные поветрия. Медики восстали тогда против этого, говоря, что при лобзании святыни всем народом еще более распространится страшная язва. Генерал Ртищев, управлявший в то время Грузией, стал на сторону народа, и копье было встречено за городом духовенством и всем населением. И старые, и малые, и хворые, и немощные спешили с верой приложиться к святыне. Мор прекратился. Такое же явление повторилось позднее, уже при Паскевиче, во время его турецкого похода 1829 года. Чума появилась в войсках в Баязете; но едва, по приказанию Паскевича, святое копье было принесено туда из Эчмиадзина,— чума прекратилась.

Основание другого священного монастыря армян, на озере Гокче, предания относят также к началу христианства в Армении. Они говорят, что тамошний храм во имя Св. Воскресения Христова основан Просветителем Григорием в 305 году. Соорудив храм, св. Григорий сказал: “Са-э-ван”, что значит “То — монастырь”, и название это, после стольких столетий, дошло до нас под именем Севанг. Теперь храм этот разрушен; но близ развалин его поныне лежит каменный крест, освященный, как гласит предание, руками Великого Просветителя.

После св. Григория скоро явились на острове еще три храма, сооруженные из тесаного камня. Построение двух из них приписывается некой царице Марии. Предание, сохранившееся у пустынников севангских, утверждает, что царица получила завещание от супруга своего построить в разных местах Армении сорок церквей. Построив тридцать восемь, благочестивая царица пожелала прибыть на остров Севанг, чтобы основать там остальные две церкви. Настоятель пустыни, св. Маштоц, известил царицу, что он не может позволить ей вступить на остров, потому что, по правилам монастыря, женщина не должна переступать за его ограду. После долгих просьб Марии настоятель послал к ней одного из иноков сказать: “Молись Богу, чтобы получить то, что желаешь”, и сам он на коленях молился целую ночь, прося Бога, чтобы небесным видением дано ему .было знать, можно ли царице вступить на остров. В одно и то же время и царице на берегу озера, и настоятелю в монастыре было одно и то же видение. Разверзлось небо, и на остров медленно нисшел яркий свет, окруженный двенадцатью апостолами, которые сказали св. Маштоцу: “Здесь постройте церковь во имя наше”,— и опять поднялись на небо. На следующее утро царица вступила на остров, где у ворот монастырских встретил ее настоятель. Они и основали два храма, во имя св. Апостолов и Богоматери. Событие это относят к концу девятого века. Севангские пустынники и некоторые из армянских писателей утверждают, что царица Мария, оставив мир, остриглась в монахини и провела на острове Гокче последние дни своей жизни. Гробницу ее указывают к северо-востоку от главного храма монастыря. На надгробном камне есть надпись, но разобрать ее нельзя, так как она заросла мхом.

Армения — страна развалин. Но и в этих развалинах веет все тот же дух религиозных преданий. Одно из них, относящееся к св. Иакову, прибавляет лишнюю мистическую черту к вечно таинственному Арарату” Св. Иаков, родственник Великого Григория,

принадлежит к замечательнейшим подвижникам Армении, и нетленная рука его, как сказано выше, хранится в Эчмиадзине.

Местная легенда рассказывает, что св. Иаков, проводивший подвижническую жизнь в ущельях Арарата, был мучим желанием увидеть Ноев ковчег. Несколько раз пытался он войти на вершину Арарата. Но каждый раз, как исполнение заветной мечты казалось уже близко, сон овладевал им и неведомая сила сносила его обратно к подножью горы, Иаков не хотел, однако же, оставить своего намерения. И вот однажды, в сонном видении, явился ему ангел и запретил всходить на гору, а в вознаграждение трудов вручил ему кусок дерева от Ноева ковчега. Иаков принес его в дар Эчмиадзину, а на месте видения построен был впоследствии монастырь во имя св. Иакова. Ниже монастыря раскинулось цветущее армянское селение Ахуры, еще ниже — обширные сады и виноградники.

Не лишнее сказать, что монастырь и деревню постигла страшная участь уже в наше время, в роковой вечер 20 июня 1840 года. В тихую и ясную погоду вдруг загрохотал подземный гром,— и, с первым ударом землетрясения, с утесистых склонов Большого Арарата отторглись целые скалы вместе с вековыми снегами, которые, низвергнув с высоты нескольких тысяч футов, мгновенно завалили ущелья, и на протяжении нескольких верст изгладили всякие следы жизни. Под страшным обвалом исчезли навсегда с лица земли и монастырь св. Иакова, и селение Ахуры с его роскошными плантациями, садами и виноградниками. Все население мгновенно погибло, и не осталось ни одного очевидца, который мог бы передать подробности ужасной катастрофы. Уцелело только одно старое кладбище. Множество старинных камней с едва видными полуистертыми от времени надписями, поросшие мхом, доказывают, как велико и древне было население Ахур. И вот жилища живых внезапно превращаются в мертвое кладбище, а мертвое кладбище остается живым свидетелем и памятником исчезнувшего навеки селения.

Рассказывают, что во время катастрофы одна молодая женщина молилась на могиле недавно умершего мужа. Когда началась катастрофа, испуг поверг ее в обморок; она спаслась вместе с кладбищем, но ничего не могла рассказать о том, что происходило в погибших Ахурах.

Два казака, случайно бывшие к Ахурах, при первом ударе вскочили на коней, и что было духа пустились скакать на пост. Там застали они своих товарищей, объятых неописанным ужасом. Между тем черная ночь спустилась на окрестность, а на утро казаки, отправившись к подножью Арарата, увидели на месте Ахур только громады скал, снега и льда. Страшные подземные удары еще повторялись, и казаки не решились подъехать к развалинам. Да они хорошо и сделали: обрушившиеся льдины быстро таяли, и вдруг — вся эта масса, висевшая над долиной Аракса, опять ринулась вниз, пронеслась в течение двух минут двадцать верст до речки Кара-су и там почти, совершенно исчезла, превратившись в опустошительные потоки густой клокочущей грязи.

Царственный город Ани, столица Багратидов, своими развалинами, быть может, еще более, чем все уцелевшие поныне города и деревни, свидетельствует о старых временах религиозной жизни и деятельности Армении. Армянские предания говорят, что Ани сначала подверглась нашествиям монголов и турок, а опустошительное землетрясение в начале XIV века довершило начатое ими дело разрушения.

С того времени она не поднималась больше из своих развалин. Турецкое и армянское суеверие охраняет ее остатки от конечного истребления. Народ верит, что Божий гнев тяготеет над разоренным городом; кто возьмет его камни и построит себе, из них жилище,— болезнь и скорбь, будто бы водворятся в доме и не выйдут, пока не возьмут

определенного числа жертв. В кучах камней, поросших травой, таятся лишь змеи, да бедная деревушка, лепящаяся к этим развалинам, хранит для потомства имя славной столицы. А было время, когда знаменитый город, один из богатейших городов всей передней Азии, носил название города церквей, которых в нем, по свидетельству некоторых историков, было до тысячи. И в самых развалинах, среди прекрасных каменных зданий, сохранилось и поныне еще до пятисот остатков этих храмов роскошной архитектуры; а на церковных стенах уцелели даже образа, дающие понятие как о степени развития искусства в древних христианских государствах Востока, так и о костюмах царей, духовенства и вельмож Армении до XIV века.

В числе этих церквей, более или менее сохранившихся, есть одна, которую и турки, и армяне называют “Чабан-Килиса” — церковь пастуха. Она отмечена следующей легендой.

В цветущие времена Ани жил в горах бедный пастух, который только раз в году, в Светлое Христово Воскресение, приходил в город помолиться и поставить свечку в храме Божием. Стар стал пастух-пустынник, и плохо уже служили ему усталые ноги. Накануне одной Пасхи собрался он по обыкновению в великолепный город Ани и шел целую ночь по глухим горным тропинкам. Весенняя ночь была темна, горные тропинки обрывисты. Множество злых духов, удалившихся на этот раз из Ани, привязались к старику и старались помешать ему прийти к началу заутрени. То бросали они ему камни под ноги, то сводили его с дороги в сторону и толкали в какую-нибудь трущобу. Оспаривая каждый свой шаг, пустынник пришел в город поздно, когда уже в церквях пропели “Христос Воскрес”. Все церкви, залитые ярким светом свечей и лампад, от пола до купола, были уже битком набиты народом. Толкнулся пустынник в одну церковь, толкнулся в другую, в третью и десятую,— не дают ему прохода: теснота непролазная всюду, а сил у старика нет, чтобы растолкать толпу. Обходил он все Божьи храмы, и все понапрасну. Не слышал он первой заутрени светлой седьмицы и свечи, по обещанию, не поставил. А обещал что-нибудь Богу в будущем,— есть уже грех, не знаешь, что породит завтрашний день. Сокрушился старец зело; стоит на распутье и плачет. Валит народ из церквей: одни на колесницах, другие на конях, большинство пешком; юноши в галунах, красные девы в парче и ожерельях. Все видят бедного пастуха, видят рубища, седины, слезы — и, проходят мимо. Ни одной души не тронули слезы, седины и рубища. Идет, наконец, епископ с клиром и, видя старца сетующего, вопрошает его приветливо: “О чем плачешь, старче, во всерадостное утро сие?”. Отвечает старец: “Дожил я, отче, до горьких дней: не пустил меня народ в церковь Божию”. Потрясая жезлом, вещал владыко: “Подобает старцам не леностно от одра ночного вставати и ранее младых во храм на молитву поспешати”. Возопил старец: “Не ленился я, отче, нимало: всю ночь с супостатом боролся и хождением пешим подвизался. Но горе мне,— старцу пустынному сущу: оскудела до остатка крепость мышц львиных и борзость ног оленьих. Народ же ныне весьма ожесточился, и нет уж в юношах цветущих призрения к немощи старческой. Пускай же молятся они в своих церквях, а ты, владыко, построй мне, убогому старцу, особую церковь”. Улыбнулся владыко добродушно и вещал мягкой, паче воска, речью: “О, человёче! Множеством златниц и серебренников зиждутся храмы в великом городе Ани; рубищем ли твоим и слезами ли твоими построю тебе особую церковь?”. Поклонился старец до земли и молвил: “Добре вещал еси, отче: но, есть рубище под златом, и есть злато под рубищем. Заутра, прежде нежели тимпан возгласит трижды, многоценное сокровище придет к тебе в кошнице убогой, на хребте онагра пустынного. Возьми сокровище, владыко, и построй старцу убогому церковь”.

Сказал и удалился в горы.

Сколько ярких звезд на голубом небе, столько звонких медных голосов в славном городе Ани огласили на утро тишину рассвета. При третьем ударе тимпана владыко сходит с высокого крыльца палат беломраморных и видит онагра, пьющего воду у Фонтана. На хребте его ветхая кошница, в какую нищие кладут кусок хлеба, поданный им во имя Христово. В той кошнице лежало сокровище тяжкое; три отрока едва могли снять его. Благочестивый епископ окропил золото водой, произнося слова: “если ты от нечистой силы, то превратись в прах и пепел”. Сокровище не превратилось ни в прах, ни в пепел. Тогда призвал владыко зодчих из Византии и соорудил великолепный храм. Не умирает в народе память о бедном пастухе, строителе богатого храма, и зовется этот храм Чабан-Килиса до нынешнего дня.

Чабан-Килиса устояла против землетрясения, постигшего Ани, и уже молот Магомета Второго пробил ее круглый и прекрасный купол.

Как последняя искра под пеплом, долго еще существовал среди развалин Ани монастырь св. Григория. Но богатство его привлекло лезгин,— и они разорили его в половине прошлого столетия.

Недалеко от Ани, на берегу Арпачая, находятся еще развалины — Баш-Шурагеля, в древности Широкована, имевшего, как говорят армянские хроники, сорок верст в окружности. Это был когда-то город, современный Ани, но от прежнего его величия осталась только одна полуразрушенная церковь. Памятники, наиболее переживающие павшую цивилизацию,— это памятники религии. Но местные жители обращаются с ними крайне небрежно, и часто под уцелевшим сводом святого алтаря устраиваются закуты, ночуют животные.

“Печальное и возмущающее душу зрелище! — пишет посетивший одни из подобных развалин.— Невольно зарождается вопрос: зачем пало это величественное здание, в которое уложено столько труда, смысла, царских сокровищ, людских пожертвований? Зачем отдан на разрушение и попрание этот храм, в котором каждый камень посвящен имени Господа и освящен именем Его? Зачем носильщик тяжестей, ишак, ночует на том месте, где преклонялся и молился первосвященник? Конечно, спутники людских скорбей, людские грехи, поглощают нравственное значение храмов, разлагают и превращают вещественный состав их в первобытное, безразличное состояние. “Земля еси и в землю отьидеши”,— вот что говорят эти поруганные развалины”...

И эти слова могут, быть с равным правом отнесены ко всем древним остаткам великой Армении.

XL. ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМЕНИИ

С тех пор, как Армения окончательно потеряла свою политическую независимость, для нее не прекратились века несмолкаемой и мучительной борьбы за веру отцов и народность. Малочисленному племени, угнетаемому огромным мусульманским миром, раскинувшимся кругом, естественно было прийти к сознанию, что ему необходимо слить свое существование с жизнью сильной христианской народности. Но ожидать помощи было неоткуда. С востока, юга и запада неподвижной стеной стояли мусульманские страны, разделявшие его огромными пространствами от христианских земель; на севере изнемогала в непосильной борьбе, подобно ему, православная Иверия; и лишь за Кавказским хребтом возникало государство, настолько сильное, что одолело татар и распространило свое владычество до устьев великой реки Волги и берегов Каспийского моря. И вот взоры Армении устремляются все пристальнее и пристальнее на север.

Сношения армян с московским государством путем торговли начались с давних времен, и с каждым столетием росла между ними мирная связь, выражавшаяся льготами, даваемыми русскими царями предприимчивым обитателям далекого юга. Времена даря Алексея Михайловича ознаменовались целым рядом драгоценных для армян жалованных грамот и царских указов, которыми скреплялись нравственная и материальная связь армянского народа с народом русским.

Петр Великий впервые взглянул на армян с точки зрения политической, гениально предвидя будущую роль России в судьбах Армении. И с этого момента начинается по отношению к ней деятельная политика русских государей. Еще до Дербентского похода к Петру уже являлось несколько депутаций от карабагских меликов, просивших его заступничества. Все они говорили, что как только русские войска станут приближаться к ним, начальные люди армян соберут свои войска в Нахичевани и, взяв царские знамена, в двадцать четыре часа выгонят неверных, а в пятнадцать дней овладеют всей землей; что взять Эривань будет нетрудно, так как в этом городе живет много армян и в их руках находятся пороховая казна и другие припасы; что, наконец, армянская страна может выставить до ста шестнадцати тысяч войска, так как армяне турецкие наверное пойдут на помощь персидским. И когда, перед оружием Петра пал Дербент, и русские войска готовились овладеть всеми северными провинциями Персии, казалось, заря армянской свободы занялась светло и ярко. Уже двадцать тысяч армян, под предводительством карабагских меликов, и тридцать тысяч грузин, с царем своим Вахтангом, стояли у Ганжи в ожидании царя и его приказаний. Эти христианские войска ликовали, считая освобождение от ненавистного мусульманского ига делом несомненным. Как громовой удар разразилась среди них весть, что Петр возвращается с Кавказа, не довершив начатого дела. По свидетельству армянского митрополита Исая, этому не хотели верить, не могли понять, что такое случилось; одни говорили, что русские ушли обратно от болезней, другие,— что, по случаю зноя, пали у них кавалерийские лошади, третьи,— что было крушение на море и погибли артиллерия и провиант.

Неожиданный отъезд Петра из Дербента поразил глубокой скорбью армянские и грузинские войска; энергия их упала. Вахтанг со своими грузинами ушел в Тифлис, который вслед затем был осажден, взят и разорен лезгинами. Карабагские медики удалились в горы и, запершись там в неприступных башнях, в течение нескольких лет стойко выдерживали ожесточенную борьбу за свободу с турецкими, персидскими и дагестанскими полчищами. Эта борьба армян, вызванная, но не поддержанная походом Петра, была тем не менее началом уже не прекращавшихся попыток добиться свободы.

Христианскому населению Закавказья нанесен был тяжкий удар тем, что Петр, по договору с Турцией, оставил за собой лишь Каспийское побережье,— а все армянские и грузинские провинции уступил Оттоманской Порте, которая была, конечно, раздражена против христиан за их симпатии к России. Тучи бедствий висели над злополучным краем. Россия не могла помочь ему оружием,— еще не пришел час развернуть ей мощные силы, тогда только что начавшие крепнуть. Но судьбы армянского народа по-прежнему оставались близкими сердцу императора,— и он широко растворил двери своей империи для их эмиграции. Русские, владея Дербентом, Баку, Астрабадом, Гилянами и Мазандераном, должны были заботиться о том, чтобы скрепить эти приобретения выгодами материального благоденствия, плодами мирной деятельности,— и это великое начало легло в основание дальнейшей политической программы Петра. И он старался привлечь армян в эти страны. “Стараться всячески,— писал он Матюшкину по поводу заселения вновь покоренных земель,— призывать армян, а басурман зело тихим образом, чтобы не узнали, сколь возможно убавлять”. И вот на зов Петра сотни армян стремятся в Гиляны и в крепость Св. Креста. Петр писал своим сподвижникам, чтобы они оказывали

переселенцам всевозможные льготы, отводили лучшие земли, где пожелают, защищали от обид и притеснений; “Понеже,— писал великий император,— мы оный армянский народ в особливую нашу императорскую милость и протекцию приняли”. И в документах того времени ясно выражается взгляд Петра на ту пользу, которую он ожидал от водворения умного, торгового и предприимчивого армянского народа в Российской империи.

Из числа первых эмигрантов до семисот человек тотчас же поступили в русскую военную службу и образовали в Гилянах два особых полка, армяне — драгунский, грузины — гусарский.

Но пока ничтожная часть армян искала убежища в пределах России, вся масса населения изнемогала в непосильной борьбе с мусульманами и взывала о помощи. “До сих пор,— писали армяне Петру,— имея неприятелей с четырех сторон, мы по возможности оборонялись; но теперь пришло множество турецкого войска и много персидских городов побрано”...

Это последнее послание, к несчастью, не застало уже в живых гениального русского царя.

Нерешительная политика преемников Петра еще тяжелее отозвалась на судьбах армянского народа. О мужественной борьбе его, веденной одновременно с турками, с персиянами и с дагестанскими горцами,— борьбе, исполненной героизма, когда горсть армян восемь дней кряду выдерживает, например, ожесточенную битву с целым сорокатысячным турецким корпусом Сары-Мустафы Сераскира,— свидетельствует фельдмаршал князь Долгоруков. Но он же прибавляет в донесении своем, что армяне требуют серьезной помощи оружием и что если теперь не оказать ее, то впредь уже будет трудно привлечь армян на нашу сторону. Оставайся энергичный князь Долгоруков на Кавказе, быть может, судьбы этого края были бы иные. Но Долгоруков пал, императрица Анна Иоановна, мало заботившаяся о поддержании того, что создано было Великим Петром, решает вовсе оставить покоренные им земли. Русские войска отступают на Терек,— и власть над армянами переходит опять от турок к персиянам.

Страх нового владычества заставляет многих армян променять тогда прекрасную карабагскую природу на болотистые берега Терека, куда, вслед за войсками, идут и те из них, которые уже основали свои поселения в Гилянах и в крепости Св. Креста.

Так образовывается армянское поселение на Тереке, в Кизляре. Число переселенцев, вероятно, возросло бы до весьма значительной степени, если бы императрица Анна Иоановна, в угоду Надир-шаху, не издала указа 29 мая 1734 года, которым, в доказательство дружбы к шаху и доброжелательности к персидскому народу, повелевалось всех грузин, армян и других иноземцев, вышедших из Персии, отправить обратно к шаху,— “даже тех, которые сего возвращения и не желали бы”. Правда, эта ничем не объяснимая ошибка правительства императрицы Анны через несколько лет была несколько заглажена особым указом, уже воспрещавшим выдавать персиянам тех из армян, которые приняли русское подданство; но впечатление, сделанное первым распоряжением, долго не могло изгладиться в умах армян.

Так или иначе, но надежды армян могли основываться только на помощь все той же России, которая одна могла оградить их интересы под кровом своей могущественной власти. И спустя лишь несколько лет, в 1760 году, приезжал в Петербург из Англии богатый армянин, по имени Эмин Осипов, наживший миллионы в Индии. Он просил помочь армянам возвратить свою независимость и предлагал на это все свои огромные

богатства. Но правительство императрицы в ту пору было далеко от активного участия в делах закавказских,— и предложение Осипова не встретило сочувствия.

В таком положении оставались дела до воцарения Екатерины Великой. При ней, когда заселялись обширные степи Южной России, возникают по эту сторону Кавказа новые армянские поселения, и между ними значительный город, внесший оживление в малолюдный и пустынный край. Двадцать тысяч армян в то время покидают татарский Крым и идут на Дон. Переселение это сопряжено было с громадными утратами, лишениями и жертвами. Два года скитаются переселенцы в палатках, в окрестностях Самары и Екатеринослава, подвергаясь и голоду, и стуже, и зною; многие не выдерживали трудностей пути и умирали, с любовью вспоминая родной Крым, его монастыри и церкви; но остальные все-таки бодро шли к новой цели — и основали, наконец, город Нахичевань на Дону, где их встретили льготы, преимущества и выгоды, щедро расточаемые правительством. Но более чем выгоды и сильнее чем льготы манила армян надежда на нравственный отдых, на религиозную свободу, на охрану их интересов прочным государственным порядком и под кровом христианского правительства.

В то же время, как бы возрождая великие идеи Петра, Екатерина обращает особое внимание и на дела Закавказья. В 1783 году русские войска занимают Грузию, делающуюся с тех пор вассальным царством России. Составляются тогда проекты освобождения Армении, и всемогущий Потемкин входит в деятельные сношения с армянским архиепископом Иосифом, чтобы создать из Армении сильное христианское государство в Азии, под верховным главенством России.

Таким образом армянский вопрос вновь выдвигается на сцену. Есть известие, подтверждаемое многими официальными документами, что князь Потемкин стремился стать царем восстановленной Армении, которая должна была граничить с Персией, Турцией и Россией и иметь гавань в Каспийском море. Он уже заказал за границей, в Индии и в Китае, богатую фарфоровую посуду с золотыми гербами древних армянских царей [Экземпляр такого фарфорового кувшина с гербом хранится в Тифлисе, в Кавказском музее.]. Армянские царские гербы уже печатались и на страницах издаваемых тогда армянских книг. Архиепископ Иосиф, в письмах к эчмиадзинскому патриарху и к знатным армянам, предлагал радоваться и молиться Богу, намекая на что-то важное, которое готовится армянам заботами Великого Севера.

Дело было в том, что Иосифу предложили составить проект договора, который должен был предварительно быть заключен между российским императорским двором и армянской нацией. На первом плане этого любопытного документа стояла полная свобода и независимость армянской церкви, и избранный царь Армении, будет ли он армянин или один из преданнейших сподвижников императрицы, — обязывался держаться армянских законов. Царское коронование предполагалось в святом Эчмиадзине, по примеру прежних царей Армении. Столицей назначалась Ани или Эчмиадзин. Герб армянского царства должен был составиться из трех древних гербов — одноглавого орла Арзасидов, агнца Божия — времен христианства, и двух львов — герба Малой Армении. В воспоминание важнейших моментов исторической жизни Армении учреждались три ордена: первый — во имя Ноева Ковчега, на ленте трех цветов, красного, зеленого и синего, в подражание цветам радуги; другой — во имя Григория Просветителя, третий — в честь Нерукотворного образа Спасителя.

В политическом отношении Армения проектировалась состоящей под покровительством России. Небольшой русский отряд должен был занимать страну для защиты границ ее от нападения турок я персов, а один из армянских царевичей — находиться постоянно при

дворе императорском. Армянское царство обязывалось уделять России часть добываемого им серебра и золота. В случае войны обе державы должны были помогать друг другу.

Любопытной статьей этого договора остается требование со стороны армян, чтобы в стране их не было вводимо крепостное право как совершенно несвойственное характеру народа. Армяне ссылались на свою историю и указывали на тот факт, что когда греки, владевшие Арменией, хотели закрепить их рабами за своими вельможами, народ перешел в подданство богдадских калифов, предпочтя тяжкую политическую зависимость потере свободы народной внутри страны.

Исполнение проекта требовало больших сил и денежных средств. Естественно, что тут вспомнили об Эмине Осипове, предлагавшем за несколько лет перед тем свои миллионы на дело освобождения Армении. Но Эмина уже не было в живых, и капиталы его как выморочные достались ост-индскому банку.

Нашелся, однако, и на этот раз некий, также индийский армянин, по имени Шамир-шах, предложивший свой полный кошелек Армении. Только по его мнению не следовало начинать войны, а просто ценой золота купить Армению у Турции и Персии. Этот богач предполагал в Борчалах, Лори и в Эриванской области развести индиго, сахарный тростник, хлопчатую бумагу, кофе, завести фабрики, построить заводы — и разом оживить разоренную вековыми бедствиями страну.

Таким образом капиталы имелись уже в виду,— оставалось действовать. Решено было начать с Карабагского ханства,— свергнуть Ибрагим-хана и посадить на его место правителя из армян. Самая кампания предполагалась летом 1784 года; готовились уже войска.

Но пока писались проекты и подготовлялось их выполнение, политические обстоятельства круто изменились. Омар-хан опустошает Грузию, несмотря на присутствие в ней русского войска, и готовится двинуться на Карабаг. Россия начинает в это время вторую турецкую войну и уже не в состоянии защитить Грузию. Армения вновь предоставляется своей судьбе и подвергается мести за свои стремления. Персияне и Ибрагим-хан карабагский начинают среди них страшные неистовства. Армения снова обагряется кровью; преданные России карабагские мелики истребляются почти поголовно, и лишь немногие из них успевают бежать в Тифлис, к царю Ираклию.

Ни армяне, ни русское правительство не могло, однако же, отказаться от заветной идеи, от задачи, предложенной историческим течением дел и предвиденной еще Петром Великим. В рескрипте, данном на имя главнокомандующего графа Зубова, перед персидской войной 1796 года, вновь прямо сказано, что Россия поднимает оружие для освобождения древних христианских царств Армении и Грузии. Но и этот блестящий поход, как известно, окончился весьма неудачно,— император Павел внезапно отозвал войска назад, и все предначертания Екатерины, лежавшие в основе этого военного предприятия,— рухнули. Русские войска опять оставили Закавказье, и, на этот раз, можно сказать, прямо на жертву свирепости Ага-Мохаммед-хана. Быть может никакие тамерлановские опустошения не сравнились бы с кровавыми ужасами, которые готовил шах Армении, если бы, летом 1797 года, нож убийцы внезапно не положил конец его кровожадным проектам.

Но прошло три-четыре года,— и половина задачи, столь трудной, если судить по фактам недавнего еще прошлого, исполнилась сама собой; Грузинское царство, со смертью царя Георгия, вошло в состав России. Это обстоятельство приблизило освобождение Армении, изменив, однако, в корне прежние проекты; теперь о существовании вассального,

самостоятельного царства Армянского рядом с присоединенной к России Грузией — уже нечего было и думать.

Число армян собственно в Грузии в тот момент, как она присоединилась к России, сравнительно было не велико; но оно начало теперь быстро возрастать. При князе Цицианове, несмотря на суровые отношения этого замечательного кавказского деятеля вообще к армянам, несколько десятков тысяч их поселились в Грузии и приняли русское подданство. Преследуемые персиянами, сотнями бежали армяне из пограничных персидских ханств, теряя все свое имущество. Лишенные всякой материальной помощи, они кое-как устраивались у своих единоплеменников, старожилов Грузии, заселяли пустоши и даже записывались в крепостные. Сотнями вымирали от холода, голода, изнурительных лихорадок, а чума 1804-1805 годов не оставила и четвертой доли этих несчастных. Тем не менее армяне заселили тогда части уездов Телавского, Сигнахского, Борчалинского и Лори,— места, страдавшие отсутствием мирного земледельческого труда. Обрабатывая пашни, те же армяне служили проводниками для русских войск, предупреждали измену и возмущения, доставляли сведения о неприятеле, давали провиант и, когда нужно было, храбро дрались в рядах русского войска.

Во время Ганжинского и Эрнванского походов Цицианова и Гудовича архиепископ Иоаннес и монах Нерсес собрали армянскую дружину в полторы тысячи человек и стали сами во главе этого ополчения. Армяне постоянно находились в авангарде, штурмовали Ганжу и понесли большой урон в знаменитом сражении 20 июня 1804 года, при разгроме Цициановым персидской армии. Карягин, Котляревский и даже сам Цицианов, относившийся, как сказано, к армянам весьма недружелюбно, единогласно говорят о многих подвигах, совершенных в их времена армянами.

Важнее всего было то, что в армянах русские приобретали надежных друзей, на которых можно было положиться. Так в смутное время кахетинского бунта Ртищев писал, что “армянский народ, составляющий знатную часть населения Грузии, остался в непоколебимой верности и, жертвуя своим имуществом и самой жизнью, сражался с мятежниками, не раз выказывая опыты мужества и искреннейшей верности”.

Император Александр ответил тоща на это донесение высочайшей грамотой “всему любезно-верноподданному армянскому народу, обитающему в Грузии”, данной 15 сентября 1813 года. “Все сословия армян,— говорилось в ней,— доказали чувства верноподданнической благодарности на многократных опытах и непоколебимой верности во всех случаях; они отличались примерным постоянством и верностью, когда легкомыслие и неблагонамеренность старались вовсю поколебать водворенное нами в Грузии спокойствие, и посреди смутных обстоятельств пребыли тверды и непоколебимы в своем усердии к нам и к престолу нашему, жертвуя имуществом своим и самой жизнью на пользу службы нашей и общего блага. Да сохранится это свидетельство в честь и славу их в памяти потомков”.

Ртищев признал необходимым, чтобы “этот особый знак высочайшего благоволения, долженствующий в роды родов оставаться незабвенным памятником для армянского народа как свидетельство преданности его престолу русскому”, был объявлен всенародно торжественным образом. И вот 22 ноября того же года все знатнейшие армянские князья и почетнейшие граждане были собраны в доме главнокомандующего. Здесь высочайшая грамота положена бала на богатую парчовую подушку; четыре старейшие князя и два из знаменитейших граждан приняли ее и в сопровождении густой массы народа, наполнившей все ближайшие улицы, двинулись торжественным шествием к главному армянскому собору Ванк. Ртищев, со всем штатом военных и гражданских чиновников,

участвовал в процессии; войска при появлении высочайшей грамоты отдавали воинскую почесть. У самого монастыря архиепископ Минас в торжественном облачении, со всем духовенством, с крестами и святыми иконами, встретил процессию; он принял высочайшую грамоту в свои руки и, возложив ее себе на голову, двинулся к собору, при пении молитв, при колокольном звоне и радостных криках народа. У входа в храм ожидал процессию первенствующий армянский архиепископ Аствацатур, окруженный всем величием, подобающим его высокому сану. Приняв высочайшую грамоту, он благоговейно поднял ее также на голову и продолжал шествие через церковь. У подножия престола архиепископ преклонил колени и, положив грамоту на приготовленное место, дал благословение начинать благодарственное молебствие. “Истинное благоговение и слезы душевного умиления, кои при сем случае видны были на лицах всех сословий армянского народа,— доносил Ртищев,— суть вернейшие истолкователи истинных чувств их благодарности и усердия к императору”.

Вечером общество армянское дало блестящий бал, и армяне пожертвовали тут же четыре тысячи рублей для раздачи бедным, чтобы и их сделать участниками общей народной радости. Курьер, привезший грамоту, получил от общества тысячу рублей. И эти факты искренней радости армянского народа при благосклонном слове русского царя лучше всего доказывают, как велико было стремление армян к освобождению от власти иноверных иноплеменников, как непреоборимо было их тяготение к могущественной северной державе и как, потому, естественна и законна была принятая на себя Россией миссия в Закавказских христианских странах.

Проходили годы. А освобождение армянских святынь из рук неверных и армянского народа от притеснений их веры — все не наступало. Но в коренной Армении не умирала идея освобождения, именно при помощи России. Некогда один из святых отцов армяно-григорианской церкви предсказал, что Армения будет освобождена северным народом. В это предание армяне верили всеми силами своей души, и оно жило в их памяти так крепко, что умирающие отцы на смертном одре завещали своим детям праздновать колокольным звоном тот день, когда заря освобождения взойдет над Арменией, чтобы и они в могилах, за пределами земной своей жизни, услышав благовест, возрадовались бы о спасении отчизны. И этого радостного события армяне ждали с особенной страстностью и надеждами.

И вот, когда началась персидская война 1827 года, армяне персидских провинций встретили русские войска с восторгом, как своих избавителей. В это время выразителем народных стремлений армян и их предводителем является архиепископ Нерсес, личность в высокой степени энергичная и всей своей жизнью как бы прямо подготовленная для своего тяжелого подвига.

Нерсес был сын священника селения Аштарак. С юных лет он посвятил себя монашеской жизни и, всюду сопровождая покровительствовавшего ему архиепископа Даниила, приобрел тот опыт, то знание людей, жизни и обстоятельств, которые так пригодились ему впоследствии. В сане архимандрита, в 1799 году, он был с Даниилом в Константинополе, узнал знатнейших армян турецкой столицы, видел падение тамошнего патриарха Иоанна, сосланного в заточение, возвышение на его место Даниила; потом низложение, через десять месяцев, самого Даниила, с которым вместе он и очутился в ссылке в Тифлисе. В это время скончался эчмиадзинский патриарх Иосиф Долгоруков,— и Даниил был провозглашен на место его католикосом Армении, Он и Нерсес поспешили в Эчмиадзин; но по дороге, в Баязете, они узнали, что в Эчмиадзине уже провозгласил себя католикосом Давид и утвержден в этом сане и султаном, и шахом вследствие будто бы завещания покойного патриарха, которое, однако, оказалось подложным. Тогда

Даниил остановился в небольшом монастыре Уч-Килиса, близ Баязета,— и с этого момента начинается известная в истории армянской церкви борьба за патриарший престол, в которой Россия, поддерживавшая сначала права Давида,— удостоверившись в подложности патриаршего завещания, перешла на сторону Даниила. Эриванский сардарь, как говорят, подкупленный двенадцатью мешками денег, вмешался в эту распрю, и Даниил вместе с Нерсесом, закованные в цепи, были привезены в Эчмиадзин и там ввергнуты в темницу. Нерсес успел бежать отсюда в Грузию, в то время как Даниил был сослан в Марагу. Но прошло немного времени, и персидское правительство, под угрозой России, само низложило Давида, и патриарший сан перешел к Даниилу. Нерсес явился в Эчмиадзин и был посвящен в епископы.

Еще большим влиянием Нерсес стал пользоваться при преемнике Даниила, Ефреме. Но вследствие притеснений персидского правительства, в 1814 году, он покинул Эчмиадзин, приняв место епархиального архиерея в Грузии, где встретил большое расположение со стороны Ермолова. Между тем политические обстоятельства сложились так, что и сам патриарх вынужден был бежать из Эчмиадзина и искать убежища в Грузии, в епархии Нерсеса. Они свиделись в Шуше. Старец Ефрем, поселившись в одном из монастырей, вновь поручил Нерсесу верховное правление престолом. Аббас-Мирза, зная влияние Нерсеса на армянское население и беспокоясь, что он совершенно вне его власти, старался всеми средствами, деньгами и почестями, склонить его переехать вместе с патриархом в Эчмиадзин. Под давлением его требовали возвращения Ефрема и эчмиадзинские монахи. Но Нерсес хотел остаться независимым от персидского правительства и оставался в Грузии, склоняя к тому же и патриарха.

Нужно думать, что уже в то время Нерсес не чужд был надежд на скорое освобождение родины и действовал в этом направлении. Нерсес был страстный патриот, с детства воспитанный в этом направлении своим отцом. Позже он со слезами говорил, что последней волей его покойного отца было то, чтобы он не приходил к могиле его, пока не исполнится пламенное желание армян и не воскреснет вновь угнетенная магометанами святая вера, что с тех пор он и жил только надеждой пойти и поклониться могиле отца вместе с русским военачальником.

И вот, когда весной 1827 года авангардные русские войска, с Бенкендорфом во главе, вступили в Эриванское ханство, среди них был и Нерсес. Присутствие его в войсках, пришедших освобождать христиан, воодушевляло армянское население.

Во все времена военных действий Нерсес пробыл в Эчмиадзине, с трепетом следя за грозными перипетиями войны; он видел нашествие Аббаса-Мирзы, грозившее самому Эчмиадзину, аштаракский бой, падение Эривани и Тавриза и заключение мира. В один из моментов уверенности в освобождении отечества он имел утешение исполнить завещание отца. В полуверсте от бедной деревни Аштарак, родины архиепископа, находилось уединенное кладбище семейства Шахазизиан Камсаракан. Тогда привел Нерсес генерала Красовского и на коленях, с горячими слезами, припал к гробу отца, к которому долгие годы не смел приближаться.

Освобождение коренной армянской земли от персидской власти не могло не найти отклик в армянах, живших в Персидских областях, не могло не вызвать в них патриотического чувства и стремлений к свободе. И уже вскоре по занятии русскими войсками Тавриза к Паскевичу стали являться депутации от азербайджанских армян, с просьбами о переселении их в русские пределы. Это было вполне согласно с видами русского правительства. Главнокомандующий ласкал их и отпускал домой с разрешением готовиться к переселению.

Жестокая зима, а быть может и надежда, что самый Азербайджан навсегда останется за русскими, удерживали, однако, христиан до марта месяца от сборов к далекому путешествию. А там могли появиться другие препятствия: раздумье самих армян, подговоры со стороны персидского правительства и тому подобное — и русские власти решили принять меры, чтобы поддержать в армянах нравственную бодрость. Нерсес послал для этого в персидские провинции архиепископа Стефана и архимандрита Николая; Паскевич отправил туда же полковника Лазарева, вызванного из Петербурга именно с целью руководить всем делом переселения.

Полковник Лазарев принадлежал к той, давно поселившейся в России армянской фамилии, которая известна основанием института восточных языков, построением армянских церквей в столицах и, вообще, широкой помощью своим соотечественникам. История обогащения этой фамилии, как говорят, тесно связана и с историей одного из драгоценнейших камней, составляющих принадлежность императорской русской короны. Бриллиант, принадлежавший Надир-шаху, добыт именно одним из Лазаревых. Когда шах был убит, драгоценный камень этот, переходя из рук в руки, дошел до армянина Шафраса, жившего тогда в Петербурге. Лазарев взял на себя посредничество к приобретению его для графа Григория Орлова, и бриллиант был куплен за четыреста тысяч рублей. Орлов поднес его императрице Екатерине в первый день Пасхи, в футляре, сделанном в виде красного яйца. По чрезмерной величине своей, по отличной игре, огранке и воде камень этот составляет такую редкость, что знатоки оценивали его в несколько миллионов рублей. Екатерина приказала вделать его в императорский скипетр.

Один из представителей этой-то фамилии и появился теперь в Армении, чтобы своим влиянием облегчить дело армянского переселения. Лазарев сам ездил с этой целью и в Марату, и в Салмаз, и в Урмию, а несколько русских офицеров проникли даже в Курдистан, где также жили немногие армяне. И дело переселения вначале пошло весьма успешно.

Лазарев писал с дороги Паскевичу, что армяне показывают истинное желание остаться навсегда в русском подданстве, и, несмотря на то, что всякому человеку трудно расстаться со своей родиной, они готовы покинуть дома и идти, куда прикажут. “Вам принадлежит слава,— писал он Паскевичу,— быть восстановителем народа армянского, избравшего меня, по доверенности к роду нашему, для изъяснения чувств перед вашим высокопревосходительством”. Действительно, едва стало известным, что войска в скорости должны очистить Азербайджан,— армяне стали собираться в дорогу.

На первый взгляд дело переселения как Лазареву, так и многим казалось нетрудным, тем более, что армяне сами просили о нем; но на практике встретились большие затруднения. Когда переселенцам приходилось окончательно расставаться с домами, с могилами своих трудолюбивых предков, оставивших им в наследство прекрасные и плодоносные поля, когда пришлось бросать многолетние заведения со всеми их выгодами, и верное, настоящее менять на неизвестное будущее — армяне начали колебаться. Первые показали пример нерешительности несторианцы. Когда они полагали, что весь Азербайджан останется за русскими,— они пресмыкались у ног Паскевича; но когда наступил час пожертвований, они предъявили такие требования и притязания, которые благоразумие предписывало отвергнуть. И несторианцам, которые, как выражается Лазарев, корыстолюбивую руку простирали к России, а сердце отдавали персиянам,— было им во всем отказано. Тем не менее, пример несторианцев нашел отголосок и в коренном армянском населении. Справедливость требует сказать, что нашлись даже армянские епископы, как например Израиль Салмасский, которые в угоду персиянам, забыл долг христианский, тайными пронырствами и явными угрозами, как свидетельствует о том

Нерсес, удерживали армян от переселения. Нужно сказать, что условия, предложенные Россией переселенцам, были действительно тяжелы и не могли не вызывать колебаний. Все богатство армян состояло в недвижимом имуществе; а между тем дома, плодовые сады, отлично возделанные поля — все это должно было быть брошено, и потому естественно было просить им, чтобы Россия вернула хотя бы третью часть стоимости того, что они покидали. Правда, туркменчайский договор предоставлял им право продавать свою собственность магометанам; но на деле это оказалось не выполнимым, так как персидское правительство просто запретило своим подданным всякие торговые сделки с армянами, заставляя последних, таким образом, или остаться в персидском подданстве, или лишиться всего своего имущества.

Между тем Лазарев, в точности исполняя предписание Паскевича, старался не обольщать армян никакими несбыточными надеждами. Он прямо говорил им, что они не найдут за Араксом того, что покидают в Персии, что все пособие не может простираться в сложности более пяти рублей серебром на каждое семейство; но что под сенью единоверной державы они могут быть уверены в благоденствии их потомства и в собственном спокойствии.

Действительно, для первоначальных пособий переселенцам ассигновано было только пятьдесят тысяч рублей, и все надежды армян могли возлагаться лишь на обещание освободить их на несколько лет от податей и повинностей. Но, оставляя дома в такое время года, когда всякого рода домашние запасы начинают уже истощаться, и получая всего по шесть-семь рублей на семейство, армяне не могли купить даже достаточного количества хлеба; те же, у которых были некоторые запасы,— не имели способов к перевозке их по отдаленности пути и дороговизне скота, которого в последнее время и купить даже было невозможно. За дрянного ишака приходилось платить по двенадцать и по пятнадцать рублей серебром.

Персидское правительство, неохотно терявшее громадное число трудолюбивых подданных, со своей стороны ставило Лазареву всевозможные преграды. Оно по всей стране рассеяло агентов, которые внушали армянам, что по прибытии в Россию их обратят в крепостных и будут брать в солдаты, между тем как Персия освободит их от всяких податей и даст многие льготы. В доказательство им предлагали теперь же гораздо более денег, чем мог предложить Лазарев. Но когда и это не подействовало, персидское правительство прибегло к последнему средству: оно объявило, что русские переселяют армян силой и тем нарушают туркменчайский трактат. Аббас-Мирза писал в этом смысле Лазареву, упрекая его в насильственном уводе армян, и прося его не употреблять во зло влияния на умы привязанного к нему населения. “Если рассудить по совести,— говорил он в письме,— как возможно, чтобы несколько тысяч семейств по искреннему и добровольному желанию бросили бы тысячелетнюю родину, имение, сады, поля,— чтобы остаться без места и безо всего”.

Под видом ограждения интересов армян из Тавриза прислан был даже капитан английской миссии, Виллок. Лазарев заставил его поехать вместе с ним в стан переселенцев и предоставил самому опрашивать армян. Когда же те отвечали, что “лучше согласятся есть русскую траву, чем персидский хлеб”, Лазарев заставил Виллока дать ему в том письменное удостоверение. К серьезным помехам переселения надо отнести и ненависть магометан, которые осыпали переселенцев бранью, а в некоторых местах бросали в них каменьями. Можно было опасаться даже кровопролития, тем более, что персидское правительство не обращало никакого внимания на неистовые поступки татар, надеясь, быть может, устрашить армян и удержать их в Персии. Особенная враждебность замечалась в Курдистане, откуда удалось выселить, и то с величайшей опасностью, лишь

несколько семейств. Рассеянные жилища тамошних армян, находясь среди крутых и высоких гор, соединялись с остальным миром узкими тропинками, извивавшимися над пропастями, а кругом лежали селения магометан, лишь номинально подчинявшихся Персии. Надо было удивляться отважности офицеров, которые, в сопровождении двух-трех казаков, решились проникнуть в эти трущобы, где каждая вершина утеса, каждый глубокий овраг и темное ущелье — грозили им засадой и смертью. В озлобленной ярости куртинцы даже среди белого дня нападали на небольшие партии армян, грабили их, убивали или гнали назад. Лазарев должен был просить помощи у генерала Панкратьева, и только войска, прибывшие из Урмии, рассеяли разбойников.

Но все эти препятствия, конечно, уже не могли остановить начатого дела,— и по мере того, как выступали из персидских провинций русские войска, вместе с ними уходило и армянское население.

Первая, самая большая партия двинулась в путь 16 марта 1828 года. Стояла роскошная восточная весна; со всех сторон, по отлогостям гор азербайджанских, двигались огромные караваны переселенцев и направлялись к Араксу. “Трогательно было видеть,— рассказывает Глинка,— как матери учили малюток выговаривать священное имя первого армянского царя — Николая, как они внушали им помнить великого своего избавителя”.

Известный художник Мошков написал большую картину, изображающую это переселение сорока тысяч армян, под личным распоряжением полковника Л. Е. Лазарева. Вдали видны Арарат, Араке и селения, лежащие по дороге к Эривани. На правой стороне картины — сам Лазарев, отдающий приказания армянским старшинам, а кругом его свита и поверенные в делах, английский и персидский; на заднем плане картины — обширный стан переселенцев.

Не совсем, однако, ласково на первых шагах встретила этих переселенцев их новая родина. Когда более пяти тысяч семейств уже приближалось к Араксу, Лазарев получил известие от эриванского областного правления, что оно, по недостатку хлеба, не может дать нужный помощи прибывающим, и просило удержать их на персидском берегу Аракса до собрания жатвы. Армяне стояли под открытым небом и терпели во всем крайний недостаток; свободных земель не было, и большую часть переселенцев пришлось отправить отсюда в Карабаг.

Так совершилось переселение армян, доставившее России огромные выгоды приобретением трудолюбивого и, можно сказать, единственного земледельческого народа в Закавказье. Напротив, население Азербайджанской области заметно поредело, и Персия понесла ущерба более чем на тридцать два миллиона рублей, по исчислению самого персидского правительства. На все переселение, как видно из отчетов Лазарева, было израсходовано только четырнадцать тысяч червонцев и четыреста рублей серебром; и на эту-то ничтожную сумму было переселено восемь тысяч двести пятьдесят семей, что в сложности составляло более сорока тысяч жителей.

“Смею сказать,— доносил Паскевичу Лазарев, отдавая ему отчет в своих действиях,— что, населив приобретенные вами обширные области народом промышленным и трудолюбивым, вы открыли для государства новый источник богатства, и как бы ни была велика сумма, издержанная на переселенцев, она с избытком вознаградит правительство. Вместо пустынь, покрывающих теперь поля древней Великой Армении, возникнут богатые селения, а может быть, и города, населенные жителями трудолюбивыми, промышленными и преданными Государю”.

Впоследствии, в 1833 году, министерство юстиции возбудило вопрос о древнем армянском гербе, и исследования по этому поводу возложены были на ученого армянина, профессора Черпети. Черпети, ссылаясь на древних армянских писателей, отвечал, что при царе Тигване, современнике Кира, употреблялось изображение семиглавого дракона; позднее, при династии Авшакуни, дракон был заменен одноглазым орлом; со времен введения христианства на гербе Армении изображался нерукотворный образ, потом образ заменился агнцем с изображением креста, и, наконец, на гербе Рупиниянов появился лев. Из всех этих знаков хотели составить один общий герб для Армянской области; но дело почему-то не сладилось, и герб в окончательной форме получил следующий рисунок: по середине накладного щита, на голубом поле, изображена серебристая снеговая вершина Арарата; ее окружают серебряные облака, а на вершине — золотой ковчег.

Нижняя часть герба разделена надвое: направо, в красном поле, древняя корона армянских царей; корона — золотая, с серебряной звездой, и вся осыпана жемчугом; повязка и подкладка ее — голубые. Налево, в зеленом поле,— церковь эчмиадзинская, вся серебряная, а главы и кресты золотые.

В верхнем отделении герба, в золотом поле, двуглавый русский орел. Он объемлет и держит в лапах означенный щит. А надо всем — императорская корона.

В гербе же собственно русских императоров остался лев как герб последней царственной династии Армении — Рупиниянов.

Не лишнее сказать, что в тридцатых годах армянами составлен был проект образования местного армянского войска, которое, под командой и русских, и местных офицеров, должно было нести пограничную и внутреннюю службу. “Армянская нация,— писалось между прочим в этом проекте,— за счастье почтет, если из сыновей богатейших и первых фамилий ее составится дружина или эскадрон и будет находиться в Петербурге, при особе монарха, в виде гвардии. Чем меньше будет стеснений, чем проще служба, тем значительнее возрастет и число желающих”. Для образования же офицеров из армян проект предлагал устройство особых корпусов, без всякого пособия от казны, с введением как в них, так и в других армянских заведениях обязательного обучения русскому языку. К сожалению, дальнейшая судьба этого проекта — неизвестна.

Два замечательнейших деятеля освобождения Армении были и первыми деятелями на поприще ее умиротворенной жизни. Это — Красовский и Нерсес.

Когда пала Эривань и вся провинция вместе с Нахичеванской областью присоединены были к России, в пышном дворце эриванских сардарей поселился генерал-лейтенант Красовский, первый русский военный губернатор Армении. Не нужно искать каких-нибудь громких деяний в мирной деятельности его в только что покоренной стране; достаточно знать, что армяне, истощенные недавними бедствиями, благословляли его имя не меньше, чем его подчиненные, что гуманное отношение его к населению в это тяжкое время дало даже повод к обвинению его в пристрастии к армянам.

Фактический духовный глава армянского народа, архиепископ Нерсес, мог и оставил более ясные следы своей кратковременной деятельности. В порыве благодарных чувств к Богу и русскому императору за освобождение Армении от ига неверных, он на могиле отца дал обещание построить в Сардар-Абаде на собственный счет православную церковь, во имя святителя, чудотворца Николая. В этом добром желании приняло горячее участие все сардарь-абадское Христианское население, и храм был заложен в присутствии Красовского 1 января 1828 года.

Еще ранее этого совершилось такое же торжество и в Эривани. Когда русские вошли в этот город, в нем был только один христианский храм, принадлежащий армянам. Это была убогая, деревянная церковь Зоровар, “Святыня Сильных”, которая, по преданиям, хранит в своих подземельях мощи апостола Анания, крестившего Савла. Паскевич желал увековечить память покорения персидской твердыни основанием нового храма, достойного самого события. И вот, по его ходатайству, главная эриванская мечеть, построенная турками в 1582 году и украшавшаяся золотой луной, была обращена в православную церковь, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в память взятия в этот день крепости. Стараниями Нерсеса храм приготовлен был ко дню тезоименитства государя императора. К этому времени с берегов Невы на берега Занги присланы были священная ризница, иконостас, драгоценная утварь и августейший дар двух императриц, Марии Федоровны и Александры Федоровны,— одежды на престол и на жертвенник и три воздуха, вышитые их собственными руками. Освящение храма совершилось 6 декабря 1827 года. В это же время во всех армянских церквях и магометанских мечетях приносились молитвы за русского царя — нового повелителя Эриванской области. Население встретило эти события с энтузиазмом; не только армяне, но даже татары собрали между собой весьма солидную сумму, свыше трех тысяч рублей, для раздачи войскам, расположенным в Эриванской провинции.

Но скоро, почти в самом же начале, деятельность как Красовского, так и Нерсеса должна была прерваться вследствие недоразумений с Паскевичем.

Паскевич, недовольный Красовским еще с того времени, как тот был его начальником штаба, не мог простить ему Аштаракского боя и дошел в своей вражде к нему до того, что не только слепо отрицал в нем военные дарования и административные способности, но и возвел на него целый ряд обвинений по управлению вновь покоренным краем. Паскевич жаловался, что доходы с Эриванской области в казну не поступают, тогда как Азербайджан, при худших условиях, дает их; что описания казенных имуществ в ханстве не сделано, и долги Эриванского сардаря в известность не приведены; что местные средства края пошли не на довольствие войск, а на помощь жителям и розданы Красовским для посевов, тогда как для войск доставлять продовольствие из Грузии крайне затруднительно и так далее. Паскевич упрекал Красовского в предоставлении Нерсесу неограниченного влияния на все дела, и во вредном покровительстве армянам, тогда как три четверти населения области составляют магометане.

“Не служив с Красовским до сих пор во время войны,— писал Паскевич Дибичу,— я почитал его человеком способным и просил о назначении его начальником штаба. Вам известно, какую пользу в этом звании принесла его служба. Потом я полагал, что он может командовать отдельным отрядом,— вы изволите знать, какие были последствия из этого назначения. Наконец, он был назначен в управление вновь покоренной областью, в которой от первого начала зависело все будущее устройство ее и даже образ мыслей насчет правительства,— вы изволите усмотреть, выполнил ли Красовский обязанности и по этому званию”... “Могу ли я желать себе такого помощника?.. Не буду ли ответствовать перед императором?”— спрашивает Паскевич далее,— и приходит в конце концов к заключению, что “Красовский полезен быть не может”.

Дибич, которому хорошо была известна истинная причина оставления Красовским должности начальника штаба, постарался ослабить резкость подобного мнения. И Красовский хотя, в угоду Паскевичу, и был отозван с Кавказа и зачислен по армии, однако же, вместе с тем получил за окончание персидской войны алмазные знаки ордена св. Анны 1-ой степени и от государя единовременно сто тысяч рублей.

28 апреля 1828 года Красовский выехал из Эривани в Россию. Проводы, сделанные ему, могли утешить его вполне за неудовольствия, которые он должен был вынести. Один из очевидцев говорит, что в них выразилось уважение не к “присвоенному ему чину — это было личное к нему уважение”. Депутация тифлисских армян приезжала благодарить его за услуги, оказанные им армянской нации; католикс Ефрем, старец, уже ступающий во гроб, благословлял его за попечения о бедных: архиепископ Нерсес, во главе эчмиадзинского духовенства, напутствовал его прощальной речью как избавителя первопрестольного монастыря от мести и злобы врагов христианства, а чувства подчиненных его нашли себе выражение в адресе, поднесенном ему от лица всего военного сословия.

“С достоинством воина,— говорилось в нем,— Вы соединили в себе достоинство человека,— и вот почему Вам справедливо принадлежат и души, и сердца наши”.

Офицеры двадцатой пехотной дивизии испросили высочайшее соизволение на поднесение Красовскому большой картины, изображавшей бой при Аштараке, где сам Красовский представлен был в минуту отбития им персидской конницы от русских орудий.

“Мы, осчастливленные отеческим вниманием Вашим, спасенные Вами, в день Аштаракской битвы,— писали они ему,— желаем иметь изображение любимого начальника, равно как и изображение той минуты, когда мы содрогнулись при виде опасности, в которой Вы находились, присутствуя везде, где сильней была сеча. И мы подносим Вашему Превосходительству портрет Ваш и картину, прося об исходатайствовании Высочайшего соизволения на гравирование оных. Не столь долговечно, слабо приношение наше,— но пусть оно покажет общее желание излить пред Вами и доказать пред светом чувства живейшей признательности, искренней привязанности и глубочайшего уважения нашего”.

Такая личность, как Красовский, конечно, не могла долго оставаться в тени,— и скоро он на деле опровергает мнение о себе Паскевича. С открытием турецкой войны Красовский командует седьмой пехотной дивизией, а в кампании 1829 года уже играет видную роль в качестве командира третьего пехотного корпуса, с которым осаждает Силистрию. И там, на полях европейской Турции, Красовский все тот же, каким видели его на Березине, на страшном штурме Борисова, под Парижем и в Аштаракской битве,— храбрый, распорядительный, веселый, обожаемый своими подчиненными! Один из офицеров, описывая дело под Силистрией, бывшее 5 мая, говорит: “Подъезжая к левому флангу, я увидел колонну первого егерского полка, при которой находился Красовский. Она шла на штурм редута. Сцена была прелестная! После нескольких залпов картечью Красовский берет полк,— сам впереди с песенниками, которые по его приказанию грянули веселую русскую песню. Потом, несмотря на дождь пуль,— громоносное “ура!” — и колонна вскочила в окопы”. “... Наш Афанасий Иванович,— прибавляет он далее,— показал себя в этом деле самым храбрейшим генералом, который и в пылу боя сохраняет все хладнокровие и распорядительность. Солдаты в его присутствии жаждут подраться...”

“Что всего приятнее,— говорит он в другом месте,— это веселый дух солдат и храбрых офицеров. Этим третий корпус обязан нашему Красовскому, который знает все утонченные струны русского воина и мастерски ими управляет”.

Под Силистрией 6 мая Красовский, осматривая вечером один из редутов, был контужен в плечо: ядро помяло эполет, согнуло пуговицу сюртука, но ему повредило мало; только на другой день он почувствовал боль в контуженной и обожженной руке.

Когда Силистрия, 18 июня, пала, Красовский блокирует Шумлу и содействует Дибичу в переходе за Балканы. Имя его становится в ряду лучших русских генералов, и он получает Владимира 1-го класса, награду исключительную в генерал-лейтенантском чине.

В польскую войну Красовский — уже начальник главного штаба первой армии, фельдмаршала князя Остен-Сакела. Когда Варшава пала и последние остатки польских войск были преследуемы за Вислой, фельдмаршал князь Остен-Сакен отправляет его, чтобы руководить военными действиями шестого пехотного корпуса. Именем фельдмаршала Красовский настаивает на самом энергичном преследовании — и настигает Рамарино у местечка Ополе. Здесь неприятель занимает неприступную позицию, к которой можно подойти только по бревенчатой плотине, тянувшейся на целую версту. Осмотрев позицию, Красовский решается взять ее штурмом. Напрасно некоторые из генералов объясняют ему, что переход через болота невозможен. Красовский скрывает досаду и продолжает делать свои распоряжения; он рассчитывает только на своих храбрецов и, обладая даром действовать на них, говорит, указывая на тринадцатый егерский полк: “Они не знают невозможного!” Электрически действуют эти слова на храбрых егерей, в рядах которых Красовский начал свою службу. С криком “ура!” бросаются они на неприятеля,— неприятель, в пять раз превосходнейший в силах, бежит из Ополе.

Для шеститысячного русского отряда разгром Рамарино был подвигом весьма знаменательным. “Там, где генералы показывают хороший пример,— справедливо замечает Смидт в своей истории польской войны,— солдаты совершают даже невозможное.”

Покончив с Рамарино, Красовский изъявил желание разделить труды и славу побед с генералом Ридигером, который действовал в то время за Вислой, против корпусов Ружицкого и Каминского. Красовский был старше Ридигера, облечен большим полномочием со стороны фельдмаршала и, несмотря на то, просил позволения сделать поход под его начальством. Ридигер поручает ему авангард. 12 сентября, у Скальмиржа, Красовский разбивает наголову корпус Каминского, быстро преследует его и останавливается только под стенами вольного Кракова, куда Каминсний едва успел укрыться. Красовский потребовал, чтобы мятежники тотчас оставили Краков. “В противном случае,— писал он,— ежели Краковский сенат не имеет достаточных сил, чтобы принудить их к повиновению,— то я явлюсь за ними сам.” Краков очищен, и русские войска победоносно вступили в город.

Наградами Красовскому за польскую войну были алмазные знаки ордена Александра Невского и звание генерал-адъютанта.

Вот какой блестящей деятельностью ответил Красовский на устранение его с Кавказа, за отсутствие будто бы в нем “военных дарований”.

По окончании войны Красовский опять занимает должность начальника главного штаба первой армии. Потом он был членом военного совета, а в 1842 году, с производством в генералы, от инфантерии, назначен командиром первого пехотного корпуса, расположенного в Киеве. Там, спустя несколько месяцев, он и окончил свою жизнь на шестьдесят втором году от рождения.

Не прошло и нескольких месяцев после отъезда с Кавказа Красовского, как пришла очередь и архиепископа Нерсеса.

Вначале деятельность Нерсеса находила полное признание и оценивалась по заслугам, чему немало способствовала и привязанность к нему патриарха. По окончании персидской войны, жалуя престарелому Ефрему алмазные знаки ордена Александра Невского, государь в то же время и тем же орденом без украшений, награждает и Нерсеса, при следующем замечательном рескрипте:

“С давнего времени,— писал государь,— оказывали Вы отличную приверженность к России, и в особенности в нынешнюю войну с персиянами, когда Вы приняли деятельное участие при наших войсках, подвергая себя даже личной опасности. Генерал-адъютант Паскевич неоднократно доносил о таковых похвальных подвигах ваших, изъясняя, что во все продолжение войны Вы ознаменовали себя особым усердием к пользе России, постоянно сохраняя в народе Армянском приязненное расположение не только благоразумными советами и внушениями, но и личным своим примером. В ознаменование столь важных услуг, и в знак особенного Моего благоволения ко всему народу Армянскому, я сопричисляю Вас к ордену св. Александра Невского”.

Но отношения Паскевича к Нерсесу скоро изменились. Есть положительные данные предполагать, что главным поводом к тому послужило заявление Нерсеса, посланное им Паскевичу в Дей-Караган, относительно присоединения к России Макинского ханства и проведения новой персидской границы. Нерсес полагал справедливо, что эта граница, начиная от Нахичевани, должна была идти на запад не по Араксу,— как это было уже решено,— а прямой линией по горным кряжам вплоть до турецких пределов, чтобы Персия не вдавалась острым углом во владение России. Паскевич оскорбился этим указанием — и совета не принял.

В марте 1828 года отношения между ними настолько обострились, что Паскевич даже совершенно устранил Нерсеса от фактического участия в управлении Эриванской областью; уведомляя только Дибича, что “это сделано им самым вежливым образом, без нанесения ему малейшего оскорбления”. Затем, в целом ряде донесений он старается дискредитировать Нерсеса в глазах государя, представляя не только деятельность его по отношению к России, но и всю его прошлую жизнь сплетением интриг, созданных его самовластием и честолюбием. Донесения эти в конце концов достигли своих целей. И в июле 1828 года Дибич уже пишет Паскевичу: “Государь Император из неоднократных донесений вашего сиятельства заметил, что деятельность архиепископа Нерсеса часто оказывается противной видам и пользам нашего правительства, чему может служить доказательством жалоба армянских ратников, которых он самовольно обязал служить двадцать пять лет в Эчмиадзине. Все это дает повод к заключению, не питает ли Нерсес какие-либо секретные замыслы и намерения насчет присоединенных к России областей?”

Вот что ответил на это Паскевич:

“Поведение Нерсеса не обнаруживает каких-нибудь вредных против правительства замыслов или каких-либо скрытных намерений насчет областей, присоединенных к России. Напротив, во время персидской войны Нерсес всегда являл готовность к услугам в пользу нашу и показывал приверженность к России. Но, отдавая ему полную справедливость в сем отношении, я не могу умолчать, что властолюбие увлекает его за пределы обязанностей звания его и сана и что он не только в духовных, но и в мирских делах желает действовать с самовластием неограниченным... Глубокая старость и болезни верховного патриарха Ефрема дали ему случай овладеть управлением армянской церкви,— и он, не довольствуясь этим, распространяет свое влияние и на дела мирские, желая выставить себя как бы главой и начальником всего армянского народа. В сем отношении честолюбие его простерлось до того, что он начал издавать прокламации к

заграничным армянам и вошел в сношение с соседними турецкими начальниками, стараясь выставлять себя в виде соседа и владельца берега реки Арпачая, отделяя собственные свои выгоды от общих интересов государственных... Сверх того, Нерсес обнаружил неоднократно односторонние виды свои к увеличению доходов и имущества Эчмиадзинского монастыря, хотя бы то клонилось и к ущербу правительства. Одной из причин известных интриг, бывших в Эривани, служило, без сомнения, то, что Нерсес увидел с первого раза заботливость мою об охранении польз казенных и постиг, что я буду сильно противодействовать намерениям его насчет присвоения армянской церковью имений и доходов, ей не принадлежащих.”

В доказательство своего мнения Паскевич приводит случай: “Едва отданы были на откуп Кульпинские соляные заводы, как Нерсес тотчас объявил, что греческий император Ираклий еще в 629 году, за тысячу двести лет перед этим, пожертвовал третью часть Кульп Эчмиадзинскому монастырю... Наклонность Нерсеса к интригам,— продолжает он,— естественным образом должна была возродиться от властолюбия и односторонних видов в пользу армянской церкви. Неуместное пристрастие Нерсеса по делам армянским может найти себе опору в происках других значительных лиц из этого народа, у которого было и есть положительное стремление отстранить себя от влияния и действия наших законов и нежелание подчинить себя обязанностям, отбываемым прочими подданными. Разительный тому пример представляют армяне, водворенные на Северном Кавказе, которые до сего времени не только уклоняются от всех обязанностей, ссылаясь на привилегии, дарованные Петром I, но и стараются к ущербу казны вводить в свои права новых выходцев, которым сих прав никогда предъявлено не было. Такового же стремления должно ожидать и от армян закавказских”.

“Относительно Нерсеса,— прибавляет Паскевич,— я нахожусь в большом затруднении. Политика запрещает мне совершенно устранить его от дел, а между тем, если оставить его при всем влиянии, то монастырские притязания будут бесконечны и казна лишится всех доходов, которые иметь может”.

Государь решил отозвать Нерсеса. Как раз в это время скончался архиепископ армян, обитающих в Бессарабии и в сопредельных с ней областях. 4 июня он уже выехал из Эчмиадзина в новую свою резиденцию — Кишинев.

Отъезд Нерсеса глубоко опечалил армян и патриарха Ефрема. В письме государю, от 18 октября 1828 года, Ефрем пишет о заслугах Нерсеса, о том, сколько он лично обязан этому достойному архиепископу, и просит о возвращении его в Эчмиадзин, чтобы еще при жизни своей вручить ему кормило патриаршего правления. Понятно, с каким неудовольствием принял Паскевич подобное ходатайство. Он писал Блудову, главноуправляющему духовными делами иностранных исповеданий, об ослаблении умственных сил в старце, о степени дерзости приверженцев Нерсеса и в заключение говорил, что назначение Нерсеса верховным католикосом всей Армении,— для пользы России и спокойствия края, допущено быть не должно.

В свою очередь Нерсес, понимая, что Бессарабская кафедра служила только благовидным предлогом к почетному удалению его от дел Армении, старался оправдать себя в глазах того же Блудова и писал ему 21 января 1929 года следующее:

“В продолжение двадцати восьми лет неутомимые попечения и усиленные труды, основанные на беспредельной ревности и непоколебимой преданности, устремлял я на пользу России и на благоустройство соплеменной мне нации. Судьба определяла мне быть со времен князя Цицианова в походах, везде и во всех отношениях усердно содействовать

русским; исполнением этих приятных обязанностей стяжал я, по праву трудов, забот и пожертвований моих признательность российских императоров, главнокомандующих, нации и верховного патриарха. Наконец, во многих случаях содействовал я и графу Паскевичу в персидской кампании, и в особенности при взятия Сардарь-Абада и Эривани".

"Граф Паскевич,— говорит он далее,— имел неприятности с главными генералами, с которыми я был по делам в сношениях, и, вместо признательности, родились у него на меня подозрения, а потом наветы расстроили нас. Происшедшая же ошибка графа по одной важной статье при заключении мира с Персией, относительно границ России, навлекла на меня уже явное его недоброжелательство".

Паскевич возразил на записку Нерсеса подробным объяснением: "Архиепископ Нерсес,— писал он,— упоминая, что поводом к неприятностям, будто бы возникшим между нами, послужили сношения его с главными генералами, сам высказывает этим, что он участвовал в интригах против меня, которые не безызвестны государю-императору".

"Думать должно,— продолжает он далее,— что Нерсес, упоминая об ошибке, будто бы сделанной мною при проведении границы, говорит об отвергнутом мною смешном представлении его касательно присоединения к нашим областям Макинского ханства. Сие происходило следующим образом. Во время бытности моей в Дей-Карагане, я, к удивлению моему, получил рапорт генерала Красовского, в коем он, уведомляя меня о слухах, что Макинский магал возвращается персиянам, объяснил, что по сему предмету он получил отношение архиепископа Нерсеса, которое и препровождает на мое соображение. Если бы генерал Красовский писал мне не официально, то я, конечно, счел бы отношение его шуткой, ибо трудно было вообразить, чтобы генерал-лейтенант совместно с архиепископом вздумали формально предлагать мне советы, как должен я заключить мир, по полномочию коего я удостоен Государем Императором. И потому, не желая допустить под моим начальством республиканских правил, я сделал генералу Красовскому, за то, что он вмешивается не в свое дело,— выговор. Что же касается до предложения архиепископа Нерсеса насчет присоединения Макинского округа, я должен сказать следующее:

1) что и без сего округа мир с Персией заключен мной довольно выгодный;

2) с присоединением Макинского магала мы имели бы границу весьма неопределенную, и

3) приобретение Макинского магала было очень желательно Нерсесу собственно потому, что в оном находится богатый армянский монастырь".

Нельзя сказать, чтобы доводы, приводимые Паскевичем, были убедительны. По крайней мере его объяснения вроде того, что "мир заключен и без того выгодный", упоминание о богатом монастыре, приобретение которого не могло же быть для нас не желательным, указание на вечные интриги и тому подобное ровно ничего ни доказать, ни опровергнуть не могут.

Тем не менее ходатайство Ефрема о перемещении Нерсеса в Эчмиадзин было отклонено. Судьбе угодно было, однако, чтобы Нерсес возвратился в Армению католикосом и двенадцатилетней деятельностью засвидетельствовал свою глубокую преданность истинным пользам России. Этим результатом он много был обязан одному из замечательнейших государственных людей того времени, князю Воронцову, который,

имея случай близко узнать Нерсеса во время своего генерал-губернаторства в Новороссийском крае, совершенно оправдал его в глазах государя.

По смерти Ефрема, в 1831 году, когда еще Паскевич оставался на Кавказе, престол католикоса занял Иоаннес. Но когда в 1842 году умер и он, Нерсес был избран католикосом единогласно, в то время как другой кандидат, Захарий, патриарх иерусалимский, из двадцати шести голосов получил за себя только семнадцать. Оба кандидата представлены были государю на утверждение. Император утвердил Нерсеса “как лицо, на которого все и присутствовавшие и отсутствовавшие избиратели указали единодушно и единогласно”.

Назначенный Верховным Патриархом, Нерсес прибыл в Тифлис, однако, только в декабре 1845 года, задержанный в Петербурге почти двухлетней тяжкой болезнью.

Памятна осталась Тифлису встреча нового католикоса армянами. 17 декабря, утром, как молния пронеслась весть, что патриарх ночует в Аначуре, за семьдесят верст от города. В одно мгновение лавки были заперты, дома брошены, и всякий, кто только был в силах, поспешил на встречу верховного патриарха. Все пространство, начиная от армянской кафедральной церкви, через весь город до Дигамского поля и далее до Мцхета, на протяжении двадцати с лишком верст, закипело народом. На улицах, по которым надлежало проезжать католикосу, окна, балконы и крыши домов заняты были пестрыми толпами, и на всех лицах были написаны светлая радость и нетерпеливое ожидание.

В полдень, 18 декабря, Нерсес прибыл в Веры, предместье Тифлиса, и отсюда начался его торжественный въезд в город. По древнему обычаю шествие открывал шталмейстер, за которым вели двух богато убранных коней, покрытых золотыми чепраками,— обычай, вероятно, оставшийся от прежних времен, когда турецкие султаны и персидские шахи имели обыкновение, при вступлении патриархов на эчмиадзинский престол, присылать им в дар коней с драгоценными уборами. За шталмейстером и конями следовал ряд скороходов с булавами, а далее ехала патриаршая карета, которой предшествовали два архимандрита, один с патриаршим жезлом, другой с церковной хоругвью. На Александровской площади католикоса встретило все духовенство. Он вышел из кареты, стал под патриарший балдахин, и процессия, при колокольном звоне со всех армянских церквей, вступила в кафедральный собор.

Народ ликовал. С именем Нерсеса соединялось у всех воспоминание о той эпбхе, когда он, среди русских войск, вступал в Армению на ее освобождение. И теперь его возвращение и встреча были как бы новым торжеством армянской свободы.